РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
■
Институт истории и археологии

УРАЛЬСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

№ 7

Екатеринбург, 2001

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Институт истории и археологии

УРАЛЬСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

№ 7

Историческая наука на рубеже II и III тысячелетий:
итоги и перспективы

Издательство «Академкнига»
Екатеринбург, 2001

ББК 63.3(2Р36)
У 68
УДК 947(470.5)

У68 **Уральский исторический вестник,** № 7 (Историческая наука на рубеже II и III тысячелетий: итоги и перспективы). — Екатеринбург: Издательство «Академкнига», 2001. — 432 с.

ISBN 5-93472-063-5

Данный выпуск посвящен теоретико-методологическим и историографическим проблемам истории. В статьях определяется специфика собственно исторического знания, место исторической науки в кругу прочих научных дисциплин, оцениваются познавательные возможности теоретических и концептуальных подходов, составляющих арсенал современной исторической науки, обобщается историографический опыт изучения актуальных и значимых аспектов истории России и Урала. Существенное внимание уделяется вопросам применения в исторических исследованиях теорий модернизации, демографических циклов, методов изучения менталитета и повседневности.

Главный редактор

академик РАН В.В. Алексеев

Редакционная коллегия:

к.и.н. Е.Т. Артемов; д.и.н. В.С. Балакин; д.и.н. А.В. Головнев;
к.и.н. К.И. Зубков; д.и.н. Г.Е. Корнилов; д.и.н. К.И. Куликов;
д.и.н. Б.В. Личман; к.и.н. И.Л. Манькова;
к.и.н. М.Ю. Нечаева (ответственный секретарь);
к.и.н. И.В. Побережников (зам. главного редактора);
д.и.н. С.П. Постников; к.и.н. А.Ф. Сметанин; д.и.н. А.В. Сперанский;
д.и.н. Г.Н. Чагин; к.и.н. А.Т. Шашков; д.и.н. А.Ф. Шорин.

ISBN 5-93472-063-5

© УрО РАН, Институт истории и археологии, 2001
© Оформление. Издательство «Академкнига», 2001

ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР

События последнего десятилетия XX века — распад СССР, кардинальные изменения в общественно-политической, экономической, социокультурной жизни страны — оказали глубокое воздействие на отечественную историческую науку. Произошел отход от представления о марксизме как единственной научной теории исторического познания, были созданы основы для утверждения в рамках науки теоретико-методологического плюрализма, в значительной степени претерпели изменения познавательные приоритеты, существенно расширились контакты отечественной исторической науки с зарубежными историографиями, широкие масштабы приобрел перенос и адаптация на отечественную почву теоретических и методологических подходов, разработанных в мировом обществоведении. Тем не менее, несмотря на произошедшие перемены, потребность в формировании нового понимания истории, расширения спектра подходов и методов постижения прошлого по-прежнему остается актуальной для отечественных ученых. В связи с этим нам представляется крайне своевременным произвести своеобразную инвентаризацию достижений и возможностей современной отечественной исторической науки, наметить некоторые перспективные направления ее дальнейшего развития. Именно эти задачи стояли перед авторами данного, седьмого, выпуска «Уральского исторического вестника».

В статьях В.В. Алексеева, В.А. Виноградова и С.Я. Веселовского рассматриваются кардинальные проблемы исторического пути России в XX в. По мнению В.В. Алексеева, магистральным направлением динамики страны в указанный период являлась модернизация, несмотря на различия программ развития — политических и идеологических, путем реализации которых она и осуществлялась. В.А. Виноградов и С.Я. Веселовский проанализировали динамику отношений собственности в России XX в., их влияние на ход экономического развития страны.

В.Э. Лебедев сопоставляет нововременную (классическую) и постмодернистскую (постклассическую) модели постижения истории, рассматривает динамику перехода от первой ко второй. В статье В.И. Шарина анализируется соотношение между историческим познанием и математическим мышлением, рассматривается проблема идентификации исторической науки. О.Г. Дука демонстрирует возможности применения вероятностно-смыслового подхода для анализа научно-исторических теоретических систем. Статья И.В. Побережникова посвящена рассмотрению социального изменения в рамках различных теоретических подходов. С.А. Нефедов оценивает возможности метода демографических циклов при изучении социально-экономической и политической истории стран Востока. В статьях Е.В. Алексеевой и О.Л. Лейбовича обсуждаются познавательные возможности теории модернизации, специфика ее применения в исторических исследованиях. Е.Т. Артемов проанализировал роль науки как фактора социального развития, механизмы осуществления научно-технического прогресса, воздействие научно-технического прогресса на темпы и характер советской модернизации. Методологические аспекты исторического изучения ментальности рассматриваются в статье О.С. Поршневой.

Интересная попытка анализа эволюции методологических и концептуальных подходов в провинциальной (уральской) исторической науке конца XX в. представлена в статье В.Д. Камынина. Историографические проблемы изучения местного управления и самоуправления в России рассматриваются в статьях Д.Е. Хохолева и Е.Ю. Апкаримовой. Различные теоретические подходы в рамках исторической типологии семьи — предмет исследования в статье С.В. Голиковой. Историографические и исторические аспекты становления системы социальной защиты на Урале обсуждаются в статье Л.А. Дашкевич. Перспективным направлением современных исторических исследований является история повседневности, методологические проблемы изучения которой находятся в центре внимания О.Н. Яхно. Автор, в частности, характеризует информативный потенциал материально-вещной среды, возможности использования вещи в качестве источника для реконструкции повседневного мира горожан. Зарубежные исследования по проблемам освоения восточных регионов России в советский период рассматриваются в статье В.П. Тимошенко. А.В. Трофимовым проанализированы интерпретации роли личностного фактора в СССР середины 40-х — середины 60-х гг., предпринятые отечественными и зарубежными историками различных теоретико-методологических и политико-идеологических направлений. Г.Н. Чагин подвел итоги историко-этнографических исследований Среднего Урала и выделил перспективные направления изучения уральских народов на будущее. В статье С.В. Токмяниной проанализирована современная историография принудительного труда в СССР. Серия статей посвящена проблемам истории Урала в XX в. (М.А. Фельдман, А.В. Ермаков, А.В. Сперанский, А.С. Смыкалин).

В номере помещены публикации исторических источников, рецензии научных изданий.

Главный редактор
академик РАН В.В. Алексеев



В.В. Алексеев

ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ XX В.

Прошлый век был самым сложным и противоречивым, героическим и трагическим, переполненным великими свершениями и одновременно опустошительным во всей тысячелетней истории государства Российского, оказавшегося на грани выживания. В чем причина случившегося, какова основная тенденция развития страны в эту эпоху, как интерпретировать ее историю, оглядываясь на век минувший? На эти вопросы нет убедительного ответа, несмотря на тысячи публикаций как в России, так и за ее пределами.

Многочисленные историографические школы от апологетики до критики капитализма, социализма, либерализма, не считая мелких увлечений, в той или иной форме объясняют суть происшедшего с идеологических позиций, преувеличивая роль политической истории, которая, разумеется, имела важное, но не решающее значение. Любой руководитель страны или политическая партия пытаются решать вопросы, поставленные жизнью, но вся проблема в том, какие вопросы и почему на данном историческом этапе выдвигает эта жизнь?

Нам представляется, что необходимо подняться над суетностью политических страстей современности, отказаться от модных «измов», а искать истину в конкретике исторического процесса. У каждой эпохи свой колорит, свое лицо, свои проблемы и адекватные им решения. Возникает естественный вопрос: что определяло лицо России в двадцатом столетии? На него нельзя ответить без учета мировой тенденции данной эпохи, а она заключалась в апогее модернизации — переходе от традиционного, патриархального, сельского общества к современному, индустриальному, городскому, демократическому, который по значимости равняется неолитической революции (замене собирательства и пастушества земледелием). Следовательно, мы имеем дело с явлением цивилизационного масштаба. Все остальное было причинами или следствиями, а иногда и попутными событиями главной закономерности эпохи. Именно на этом пути надо искать ключ к пониманию судьбы России в XX в., тем более что она вошла в него патриархальной аграрной страной, а вышла современной индустриальной.

Начало XX века со всей остротой поставило перед Россией вопрос о выборе пути: или оставаться традиционным обществом, с преимущественно аграрной экономикой, или решительно становиться на стезю индустриального развития со всеми вытекающими отсюда социально-экономическими последствиями (устранение главных атрибутов традиционного общества — самодержавия, крестьянской общины; установление демократических порядков; формирование гражданского общества; массовое распространение грамотности и т.д.). Веками тянувшиеся полумеры не отвечали требованиям времени. Началась радика-

лизация общественных отношений, которая была подогрета геополитическими противниками России и подтолкнула страну к грандиозной революции, что чрезвычайно осложнило классический путь модернизационного перехода.

Поэтому задачей первостепенной важности является выяснение взаимодействия между модернизацией и революцией, прежде всего ее социалистическим этапом. Только ответив на этот вопрос, можно будет понять, двигалась ли Россия в колее мирового прогресса или прозябала на обочине, на каком полустанке она остановилась в конце века и в каком направлении ей идти дальше?

В отличие от многих государств мира, особенно европейских, Россия до XX века не знала революции, но, начав ее в 1905 г., не смогла завершить до конца столетия. В истории России принято выделять три революции: 1905—1907 гг., февральскую и октябрьскую 1917 г. Это взгляд, идущий с начала века. По его завершению необходимо смотреть на проблему шире, с позиций не только начала событий, но и их следствий, т.е. в континуитете. При таком подходе выясняется, что все три революции имели сходные черты, близкие результаты и одинаковую незавершенность, приведшую к почти вековому перманентному революционному процессу [1].

Революция, возглавляемая большевиками, преследовала одновременно две противоположные цели с точки зрения цивилизационного подхода к историческому процессу. С одной стороны, она уничтожала феодальные пережитки, которые тормозили модернизационный переход, а с другой стороны, свергала нарождающиеся буржуазные отношения и тем самым нарушала естественное течение этого перехода. В первом случае было историческое завоевание, во втором — историческая ошибка. Такой парадокс порождался тем, что большевики приняли побочное противоречие эпохи (классовую борьбу, острота которой впоследствии была преодолена в значительной мере за счет технического прогресса) за основное (переход от традиционного общества к современному).

Под знаменем классовой борьбы в России прошел почти весь XX в. Она унесла десятки миллионов человеческих жизней, истощила демографические и природные ресурсы страны, обанкротила ее духовно-нравственный потенциал. Такого затратного политического механизма не знало ни одно государство в двадцатом столетии. Начав с разрушения экономики своей страны, становящейся после буржуазных реформ второй половины XIX в. на путь активной модернизации, большевики замахнулись на крушение западного общества, завершающего свою модернизацию.

Со времени захвата власти в России и до начала 1922 г. они истратили на нужды мировой революции только из бывшей царской казны 812 232 600 руб. золотом [2]. Такая линия настойчиво проводилась до середины 20-х гг., пока не обанкротилась. Мировая революция не отвечала национальным интересам России и ничего не дала для ее модернизации. Более того, она разрушила заделы, которые имелись в имперской России. Правда, надо объективно отметить, что она нанесла сокрушительный удар по остаткам феодализма как в России, так и во многих других странах мира, что ускорило их модернизацию.

Ответом на попытку российских большевиков развязать мировую революцию стала иностранная интервенция, которая едва не погубила Отечество. Дело

не только в том, что Запад пытался задушить коммунизм в колыбели. Это был только повод для вторжения. Главная цель заключалась в том, чтобы раздробить некогда могущественную империю, овладеть ее богатейшими сырьевыми ресурсами, необходимыми для завершения модернизации развитых стран в условиях передела мира. Ставилась задача устранения с политической арены великой державы. Не случайно еще Александр III за два дня до кончины предупреждал своего сына, будущего императора Николая II, о том, что у России нет друзей, ее необъятным просторам завидуют соседи. К чести большевистского правительства надо сказать, что оно сумело отразить интервенцию, сохранить цельность разваливающегося на глазах государства.

После краха мировой революции в стане большевиков начался разлад, развернулись острейшие дискуссии о путях развития России, ее модернизации, которая оказалась в эпицентре идейной борьбы, хотя конфронтирующие стороны до конца и не осознавали этого, поскольку продолжали мыслить революционными категориями. На практике же вопрос сводился к тому, как из аграрной страны сделать индустриальную и тем самым преодолеть ее отсталость, закрепить новый режим, защитить его от посягательств извне. В ходе идейных баталий, замешанных на властных интересах, и последующих репрессий погибли тысячи партийных лидеров разного уровня, миллионы ни в чем не повинных рядовых партийцев и беспартийных граждан. Об этой кровавой драме написано слишком много, и в данном тексте нет смысла к ней возвращаться.

Важнее другое — правильно оценить победу сталинского курса на ускоренную модернизацию страны. При всей его жестокости он объективно отвечал насущным интересам государства в ту эпоху. Впрочем, не надо забывать о том, что и в западных странах путь к модернизации не был усыпан розами. Стоит только вспомнить английскую и французскую революции, движение луддитов и многие другие кровавые события европейской истории эпохи модернизации.

Основой советской модернизации стала мобилизационная экономика, которая предполагает высокоцентрализованную систему управления, жесткое подчинение экономических задач политическим целям, чрезвычайные меры по достижению этих целей, сочетание благородных идеалов с грубым принуждением, наличие специальных компенсаторов экономического и социального плана, крайнюю идеологизированность проводимых мероприятий. Последнее обстоятельство в советской модернизации играло особую роль, поскольку ускоренный переход от аграрного общества к индустриальному в условиях социально-экономической отсталости государства требовал мобилизации всех, не только экономических, но и духовных сил общества. Он, в отличие от капиталистической модернизации, проводился под знаменем социального равенства, светлого коммунистического будущего.

Стержнем преобразования страны стала индустриализация, что нашло отражение в многочисленных публикациях. Не возвращаясь к их сюжетам, нам предстоит осмыслить роль индустриализации в процессе модернизации России. При этом важно проследить, как она перекликалась с революционными преобразованиями, какое воздействие оказала на страну, что имела общего и специфического с мировым модернизационным переходом. Не имея возможности в кратком тексте

проследить все детали этого процесса, попытаемся соотнести главные результаты, полученные в СССР, с основными критериями модернизации.

Создание тяжелой промышленности требовало огромных средств, современного сложного оборудования и высококвалифицированных кадров. Ничего этого в стране, разрушенной революцией и гражданской войной, не было. Стартовый уровень индустриального развития оказался как нигде в мире низким. Однако мобилизационная экономика с большим напряжением преодолела его.

В результате первых двух пятилеток (1929—1937 гг.) СССР существенно продвинулся по пути индустриализации. К концу второй пятилетки уровень промышленного производства 1913 г. был перекрыт в 8,2 раза. Если по объему валовой продукции промышленности дореволюционная Россия занимала пятое место в мире, а ее доля в мировом промышленном производстве составляла 2,6%, то СССР к концу второй пятилетки вышел по объему валовой продукции на первое место в Европе и второе место в мире, его удельный вес в промышленности всего мира достиг 13,7%. В 1937 г. на промышленность приходилось 77,4% общей стоимости народно-хозяйственной продукции [3].

Накануне первой пятилетки рабочие и служащие составляли 17,6% населения страны, а в 1939 г. уже 50,2%. Доля рабочих в социальной структуре выросла за эти годы с 12,4 до 33,5% [4]. Индустриализация кардинально изменила соотношение городского и сельского населения. Если в 1926 г. в городах проживало 18% населения СССР, то к началу 1938 г. горожанами стали 30%. За 1929—1940 гг. среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве сократилось на 19,6 млн. чел. (36%), а в промышленности и строительстве выросла на 8,9 млн. чел. (в 3,2 раза) [5].

Вышеприведенные цифры советской статистики, возможно, нуждаются в уточнении, но их порядок убедительно доказывает принципиальные изменения в экономической и социальной структуре государства, что свидетельствует о крупных шагах на пути модернизации России, переходе от традиционного аграрного к индустриальному обществу. В подтверждение этой тенденции можно привести факты из других сфер общественной жизни.

В политической области произошла дальнейшая централизация государства, превзошедшая даже известные ранее аналоги. Состоялось разделение властей, но оно носило формальный характер и не отвечало требованиям модернизации. Широкие массы населения активно включались в политический процесс, но со временем их энтузиазм был узурпирован тоталитарной властью. Гигантские изменения состоялись на поприще культуры. Ярко выраженный характер получила секуляризация культурных систем и ценностных ориентиров, правда с однобокой социалистической ориентацией. По темпам и масштабам побили мировые рекорды секуляризация образования и распространение грамотности. Число специалистов с высшим и средним специальным образованием (без военнослужащих) в 1929—1940 гг. возросло с 521 тыс. чел. до 2,4 млн чел., т.е. с 4,8 до 7,7% всех рабочих и служащих [6].

Названные успехи позволили совершить гигантский экономический рывок. За двенадцать лет масштабы экономики страны возросли в 4 раза. Среднегодовые темпы прироста национального дохода составляли в среднем 12,2%, продукции

промышленности — 14,5% в год. Советский Союз превратился в страну с современным производственно-техническим и научно-образовательным потенциалом [7].

Из приведенных фактов вытекает однозначный вывод о том, что страна шла по пути модернизации в русле мирового прогресса, и нет никаких оснований отлучать ее от этого, как делают некоторые политологи в сегодняшней России и за рубежом. Другое дело, что модернизация насаждалась сверху железной диктатурой, ее темпы форсировались в ущерб качеству процесса и здоровью нации. Она носила догоняющий и очевидный военно-политический характер, не решала многих задач классической модернизации, таких, как создание полноценного рынка товаров, капиталов и труда, не обеспечивала свободу личности, являющуюся главным залогом успехов и необратимости процессов модернизации.

Советская модернизация проводилась в контексте социалистических преобразований и не была их антиподом. Она шла в русле перманентной революции в стране, тесно переплеталась с ней, отражая ее суровый характер. Экспроприация дореволюционных носителей модернизации нанесла тяжелый урон не только им, но и очень сильно осложнила, увеличила жертвы советской модернизации. Индустриализация, осуществляемая в значительной степени за счет крестьянства и сельского хозяйства, привела к их деградации, от которой они не могли оправиться до конца советской власти, когда страна, имевшая максимальные посевные площади на душу населения, импортировала около 40 млн т зерна ежегодно, тратя на это огромные валютные резервы, и оказывалась не способной преодолеть дефицит продуктов питания.

Коллективизация и ликвидация кулачества как класса были подпроцессами советской модернизации на селе, проводились в форме настоящей революции, иначе нельзя назвать кардинальную смену форм собственности. Это дает основание утверждать, что революция продолжалась и после ее формального завершения. Такой вывод подтверждают и многочисленные сталинские репрессии, от которых погибло значительно больше людей, чем в некоторых странах во время классических революций.

Вторая половина века тоже прошла под знаменем модернизации, ее качественно нового этапа, масштабы и темпы которого задавали уже не только внутренние, но и внешние обстоятельства. Перед страной встали две группы двухуровневых задач высокой сложности и исключительной исторической важности. Первая группа задач была связана с внутренними проблемами, вторая — с внешними.

Решение внутренних проблем требовало, с одной стороны, выйти на мировой уровень технического прогресса, который очень сильно подстегнула вторая мировая война, для того, чтобы снова не оказаться в аутсайдерах модернизации, а с другой стороны, предстояло обеспечить значительное повышение жизненного уровня населения, компенсировать социальный долг, накопленный за годы довоенных пятилеток, поскольку социально-политическая обстановка послевоенного времени настоятельно требовала этого (острейший дефицит продуктов питания, товаров первой необходимости, жилья, медицинского обслуживания, затянувшееся ожидание улучшения жизненных условий после лишений индустриализации и коллективизации, массовых репрессий, Отечественной войны).

Вторая группа задач тоже состояла из двух уровней: обеспечение военно-стратегического паритета с США и активное военно-экономическое сотрудничество со странами социалистической ориентации, возникшими после второй мировой войны. Это были принципиально новые задачи огромной геополитической важности. К их оценке можно относиться по-разному, но бесспорно одно — история поставила Россию в такое положение, а насколько правильно она выходила из него — это уже другой вопрос. По крайней мере, пришлось с гигантским напряжением форсировать новый виток модернизации для того, чтобы выполнить свою историческую миссию.

В целом решать столь крупные задачи в пределах жизни одного поколения было также тяжело, как и преодолевать экономическую отсталость в ходе довоенной модернизации, тем более в рамках прежней мобилизационной модели и исчерпания ресурсов доверия к существующему режиму. Пришлось корректировать соотношение между накоплением и потреблением, между городом и деревней, переходить от трудоемких к трудосберегающим технологиям. При этом надо было совместить несовместимое в условиях острого дефицита финансовых ресурсов — огромные затраты на оборону и подъем жизненного уровня населения.

Для решения столь сложных задач был пересмотрен ряд ключевых принципов советской власти. Произошел переход от «мобилизационного общества» 30-х гг. к советскому аналогу «общества массового потребления» (развернулось активное жилищное строительство, производство бытовой техники, набирал темпы агропромышленный комплекс и др.), осуществлялся перевод экономики на новый уровень эффективности, связанный с замещением энергоносителями дефицитных трудовых ресурсов, что привело к форсированной разработке запасов энергоресурсов (живой труд активно заменялся энергоносителями, мощность электромоторов в промышленности за 50—60 гг. возросла в 7 раз). Основным источником инвестиций стал рост валовых сбережений, сменивший в этой роли сдерживание потребления. Вплоть до начала 70-х гг. рост оптовых цен и заработной платы опережал динамику розничных цен. Заметно росла производительность труда, повышалась заработная плата [8].

Новый этап модернизации оказался не менее плодотворным, чем предшествующий, но был глубже технологически и благотворнее для населения страны. Экономический рост, хотя и замедлился по сравнению с предвоенными годами, оставался устойчивым и динамичным. Его темпы в 50—60 гг. составляли 7—10% (6—8% с учетом скрытого удорожания продукции) за год, заметно превышая соответствующие показатели большинства развитых стран Запада [9].

Эти годы отмечены крупными достижениями научно-технического прогресса. Мировые беспрецедентные достижения были получены в области атомной энергетики, ракетно-космической техники, электроэнергетики, машиностроения и в других отраслях экономики. Они хорошо известны современному читателю и не требуют детализации. СССР стал одной из двух стран мира (наряду с США), способных производить любой вид промышленной продукции, доступный в данное время человечеству. Тем самым было преодолено стадиальное отставание России от передовых индустриально развитых стран. В середине 80-х гг. СССР входил в число мировых промышленных гигантов, занимая передовые

места по многим показателям индустриального прогресса. К 1985 г. его промышленная продукция составляла около 85% от американской.

Под влиянием модернизации происходили значительные изменения в социально-демографической сфере. В 1960 г. впервые произошло выравнивание численности городского и сельского населения СССР. К концу века по сравнению с его началом доля населения, занятого в сельском хозяйстве, сократилась с 80 до 20%. Состоялся скачок в качестве жизни. За 50—60 гг. среднедушевое потребление товаров возросло в 2,9 раза (с учетом скрытого роста цен) и достигло уровня, сопоставимого со стандартами среднеразвитых стран мира. Принципиально изменился рацион питания. Если в ходе довоенной модернизации при четырехкратном росте объемов промышленной продукции на душу населения производство мяса и молока снизилось соответственно на 24% и на 14%, а калорийность питания оказалась ниже уровня 1913 г., не обеспечивая медицинских норм, то за 50—60 гг. душевое потребление качественных видов продовольствия (мясо, молоко, рыба) возросло почти вдвое, достигнув устойчивого обеспечения физиологических потребностей человека. Развертывание массового жилищного строительства позволило снизить критическую остроту жилищной проблемы. Городское население в основном переселилось из подвалов и бараков в индивидуальные квартиры. Число людей, получивших новое жилье, в 1951—1960 гг. составило 84,6 млн чел. (41%) населения, в 1961—1970 гг. — 109,5 млн чел. (46%) [10].

Улучшение питания, жилищных условий, медицинского обслуживания, привело к резкому повышению продолжительности жизни. В 50-е гг. она увеличивалась в среднем на один год за год и к началу 60-х гг. достигла 70 лет, что соответствовало уровню высокоразвитых стран, тогда как в начале века составляла 32 года. Советская модель благосостояния в эти годы ориентировалась на насыщение первичных потребностей населения при невысоком уровне потребления, относительно низкую дифференциацию доходов и потребления, высокую степень охвата населения социальными услугами преимущественно за счет государства.

Эти результаты могли быть еще выше, если бы не гигантские расходы на оборону. Историческое противостояние двух сверхдержав — СССР и США — вместе с возглавляемыми ими военно-политическими блоками породило горы оружия, которое базировалось на достижениях модернизации и пожирало львиную долю ее выдающихся свершений. Военно-промышленный комплекс (ВПК) СССР, стержнем которого было ядерное оружие и средства его доставки, использовал 13—17% валового внутреннего продукта страны, что было непомерно много для хозяйственной системы, пытающейся выйти из мобилизационного режима развития. Расходы на оборону выросли с 16,2 млрд руб. в 1950 г. до 51,3 млрд руб. в 1970 г. (в сопоставимых ценах). Численность занятых в ВПК увеличилось с 1135 тыс. чел. в 1946 г. до 2850 тыс. чел. в 1956 г. и 4 533 тыс. чел. в 1965 г. (17% занятых в промышленности) [11].

В результате такого напряжения удалось добиться стратегического паритета с США. Если в 1945 г. США имели 6 атомных боезарядов, а СССР ни одного, то в 1978 г. у СССР было 25 393, а у США — 24 424 боезарядов с соответствующими средствами доставки [12]. Формальный паритет принципиально

важен, но нужен ли он был на таком высоком уровне? По всей вероятности, той или другой стороне достаточно было применить хотя бы десятую часть своих боеголовок, чтобы уничтожить все живое на планете. Такая гонка за лидером привела Россию к разорению, на что, видимо, и рассчитывали США.

Геостратегическое противостояние СССР и США, Варшавского блока и НАТО разные политики и ученые оценивают по-разному, но бесспорно то, что Россия смогла достигнуть в нем успехов только благодаря мощному модернизационному рывку второй половины XX в. В тех условиях это была вынужденная и необходимая мера, обеспечившая независимость и целостность государства. Последующие события показали, что, несмотря на разрядку, новое политическое мышление периода перестройки и либеральных реформ, геополитическая обстановка в мире не улучшилась для нашего Отечества.

В тесной связи с военно-стратегическими задачами Советского Союза находилась интеграция его хозяйственной системы в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), что также протекало на базе модернизации. Удельный вес стран-членов СЭВ во внешнеторговом обороте СССР составлял в рассматриваемый период 53—57%. Во второй половине 60-х гг. доля экспорта СССР в национальных доходах этих стран достигала в среднем 20%. Если учесть активные экономические отношения Советского Союза с азиатскими, латиноамериканскими и даже африканскими странами, то окажется, что под его влиянием находилась чуть ли не четверть мира. Это был апогей геополитического горизонта России.

В итоге второго этапа модернизации Советский Союз обрел самодостаточную экономику, которая вместе с его союзниками была соразмерена с мощью Западного мира. Эти две системы имели много общего и еще больше различного, в частности западная система строилась на территориальном разделении труда, а советская — на функциональном, которое со временем гипертрофировалось и привело к всевластию индустриальных сатрапий, не считавшихся с национальными интересами.

Достигнутое благодаря модернизации относительно высокое благосостояние народа со временем также гипертрофировалось, когда советская экономика втянулась в «потребительскую гонку» с Западом. Ей оказались не под силу две беговые дорожки одновременно — соревнования в области вооружений и массового высокого потребления. Западная система, имея многовековой опыт модернизации, загнала неокрепшую советскую экономику в тупик, что трагически сказалось на судьбе России в конце XX в.

Мировые достижения советской модернизации уживались с отставанием в важных областях. Индустриальный прогресс гражданских отраслей начал терять темпы, перестал поспевать за техническими достижениями Запада, особенно в области высоких технологий. Гипертрофированное развитие тяжелой промышленности сужало сферу потребления и услуг, ограничивало рост благосостояния народа. Набравшая высокий темп урбанизация активно распространяла городской образ жизни на село, тем самым свидетельствовала о важных шагах перехода от аграрного общества к индустриальному, но по причине догматической трактовки она вела к опасным социальным и экологическим последствиям. Сельскохозяйственный труд все более превращался в разновидность труда индустриального, что

также доказывало движение по пути модернизации, однако в связи с волюнтаристской политикой на селе последнее все более деградировало, перестав удовлетворять потребности народа в продовольствии, а промышленности — в сырье.

Горбачевская перестройка во второй половине 80-х гг. и либеральные реформы 90-х гг. не исправили положение, не способствовали завершению модернизационного перехода, а привели к развалу страны, откату назад по многим принципиальным показателям. Возобладал поспешный курс на постиндустриальное общество, что привело к демодернизации, гибели половины индустриального потенциала государства. В результате к середине 90-х гг. производительность в промышленном секторе России не достигала 20% американской [13]. Между тем, мировой опыт указывает на необходимость завершения технологической модернизации для продвижения крупной экономики к постиндустриальной модели развития.

Таким образом, Россию не миновала основополагающая цивилизационная тенденция XX в. — переход от традиционного аграрного общества к современному индустриальному. Можно по-разному относиться к этому переходу, но игнорировать его нельзя. Более того, придется признать, что именно он определял внутреннюю и внешнюю политику страны независимо от того, к какой политической системе она относилась. Конечно, все это сопровождалось острейшим идейным противостоянием, ожесточенной борьбой различных политических сил, триумфом и трагедией их лидеров, многомиллионной гибелью сынов и дочерей Отечества, давлением со стороны внешних сил, героизмом трудового народа и предательством сановной бюрократии, но оно было производным по отношению к главной тенденции эпохи, развивалось на ее фоне, отражало ее противоречия и часто заслоняло суть поистине цивилизационных сдвигов.

Печальным итогом XX в. для России является ошибочный отказ большевиков от основополагающей тенденции века, связанной с модернизацией, и переход к иллюзиям социализма в его начале, а затем еще более мучительный поворот от них либерал-демократов в конце века к ценностям далеко ушедшего за это время вперед гражданского общества. Ныне страна возвратилась на стадию первоначального, примитивного, грабительского накопления капитала, которое в начале века олицетворяло модернизацию и вызвало взрыв народной революции. Не исключена возможность того, что этот порочный круг замкнется в начале XXI в. и приведет к аналогичным последствиям.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. подробнее: Алексеев В.В. Столетняя революция в России // Северная Евразия: взгляд через тысячелетия. Урало-Сибирские исторические чтения, посвященные 275-летию Российской Академии наук. Екатеринбург, 2000; Опыт Российских модернизаций XVIII—XX века. М.: «Наука», 2000.
2. Платонов О.А. Терновый венец России. История русского народа в XX веке. Т. I. М., 1997. С. 656.
3. История советского рабочего класса. М., 1987. Т. II. С. 426—427.
4. Там же. С. 199.

5. Белоусов А. Становление советской индустриальной системы // Россия: XXI век. 2000. № 2. С. 36.
6. Там же. С. 35.
7. Там же. С. 39.
8. Там же. С. 44—56.
9. Белоусов А. Становление советской индустриальной системы // Россия: XXI век. 2000. № 3. С. 29.
10. Там же. С. 30-31.
11. Там же. С. 49.
12. Советская военная мощь от Сталина до Горбачева. М., 1999. С. 167.
13. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. М., 2000. С. 268.

THE BASIC TENDENCY OF THE RUSSIAN HISTORY IN THE XX CENTURY

The paper deals with civilization dynamics of Russia in the XX century. The author comes to the conclusion that the process of modernization realized in different political and ideological programs was the leading tendency of the country's life in the indicated period. Chief internal and external factors influencing dynamics of national development are detected and positive and negative results of Russia's modernization are demonstrated.

V.V. Alekseyev

В.А. Виноградов, С.Я. Веселовский

ГОСУДАРСТВО И СОБСТВЕННОСТЬ В РОССИИ В XX СТОЛЕТИИ

Грандиозные социальные и политические потрясения, происходившие в России в XX веке, оказали огромное влияние на траекторию развития мировой цивилизации. И далеко не последнюю роль в этом сыграли периоды революционных преобразований отношений собственности.

Известно, что отношения собственности всегда были и продолжают оставаться одной из самых острых и противоречивых проблем любой общественной и экономической системы, поскольку они непосредственно затрагивают конкретные интересы различных социальных сил. Всякое изменение структуры прав и отношений собственности — болезненный и сложный процесс, независимо от того, происходит ли это изменение эволюционным или революционным путем.

В XX столетие Россия вступила в ряду первого десятка государств мира с достаточно развитой структурой отношений собственности и с соответствующей этой структуре экономикой. Начало века было отмечено в России дальнейшим укреплением позиций частной собственности, проявлявшимся в бурном росте акционерных обществ с национальным и иностранным участием, формировании крупных промышленных концернов, слиянии банковского и промышленного капитала.

Вместе с тем экономика молодого российского капитализма дореволюционного образца унаследовала из прошлого традиционную для России устойчивость государственных интересов.

Государственность всегда являлась базовой социально-политической и экономической идеологемой российского общества и российского национального менталитета. Корни этого следует искать в особенностях формирования российской нации начиная с допетровской эпохи, когда стало очевидным, что только сильное государство способно удерживать социальные и хозяйственные связи в многонациональной империи, простиравшейся на обширном евроазиатском пространстве.

В начале столетия государственная форма собственности, особенно в промышленности и экономической инфраструктуре, получила в России дальнейшее развитие. О масштабах государственного предпринимательства в России можно судить хотя бы по тому, что государству принадлежало более 700 промышленных предприятий (4—5% от их общего числа). Самыми крупными и технически оснащенными были военные заводы. Значительной была государственная собственность в горной промышленности. Государство владело также 70% железнодорожных магистралей, имевших общенациональное значение.

Естественный и динамичный процесс развития различных форм собственности в России был прерван в октябре 1917 года. Системный политический, экономический, социальный кризис, охвативший ослабленную участием в Первой мировой войне страну, открыл путь к власти силам, определившим, как потом оказалось, судьбы России на многие десятилетия.

В течение 70-летнего периода Россия, переименованная в СССР, развивалась своим особым путем. Можно, конечно, согласиться с теми, кто утверждает, что это развитие происходило вне контекста мирового экономического процесса. Нам думается, такая постановка вопроса страдает известной ограниченностью. Все зависит от того, что понимать под мировым экономическим процессом. При более широком подходе вполне правомерно допустить, что мировая экономика не только включала в себя обе системы, построенные на различных основаниях отношений собственности, но и в определенной степени развивалась именно благодаря этим различиям.

Марксистская идеология, адаптированная к российской специфике пришедшими к власти в 1917 году большевиками во главе с В.И. Лениным, рассматривала государственную собственность как фундаментальную категорию новой системы общественных отношений. Однако социалистическая государственная собственность, утвердившаяся в Советском Союзе, имела мало общего с той формой государственной собственности, которая существовала в дореволюционной России. Принципиальное отличие заключалось в том, что если прежде права государственной собственности принадлежали конкретному социальному институту — государству, то при социализме государственная собственность была провозглашена по сути тождественной общенародной собственности. В этой новой системе отношений собственности государство в лице аппарата формально было объявлено лишь инструментом управления, действовавшим как бы от имени и в интересах всего народа.

Процесс огосударствления экономики, запущенный в октябре 1917 года, первоначально развивался далеко не столь однозначно, как некоторые сегодня полагают. В первые месяцы Советской власти ни о какой всеобщей национализации не было речи. В тот период Ленин вполне допускал сохранение в частной собственности средних и мелких предприятий, выступал за развитие различных государственно-капиталистических форм хозяйствования — правда, под строгим контролем со стороны большевистского государственного аппарата. Декрет о национализации крупной промышленности страны был принят Советом Народных Комиссаров лишь в июне 1918 г., когда собственностью РСФСР были объявлены крупнейшие предприятия, составлявшие костяк экономики страны. Всего национализировалось свыше 3000 заводов и фабрик.

При этом все промышленные объекты, объявленные по декрету достоянием государства, впредь до особых распоряжений ВСНХ, которые должны были приниматься отдельно по каждому предприятию, оставались «в безвозмездном арендном пользовании прежних владельцев». В декрете предусматривалось, что весь персонал национализированных предприятий, включая и руководителей, считается состоящим на службе у государства. В течение последующих месяцев 1918 г. в ведение государства фактически перешли 1125 крупных предприятий.

Только в период Гражданской войны и иностранной интервенции, под давлением обстоятельств, Советская власть в рамках политики военного коммунизма национализировала среднюю и значительную часть мелкой промышленности. Однако уже в 1921 году, при переходе к НЭПу, многие мелкие и часть средних предприятий были вновь денационализированы.

Одним из важнейших решений в рамках НЭПа стало допущение частнокапиталистического предпринимательства в промышленности — правда, лишь в ограниченных формах: во-первых, государственные предприятия отныне могли сдаваться в аренду частному капиталу; во-вторых, были созданы правовые основы для образования смешанных акционерных обществ с участием государственного и частного капиталов; в-третьих, было разрешено создавать небольшие частные предприятия, численность наемного персонала которых не превышала бы двадцать человек.

Другой инструмент НЭПа — введение хозрасчетных отношений в промышленности. Со второй половины 1921 года многие крупные предприятия объединялись в хозрасчетные тресты, лишенные права на получение государственных дотаций. Подобные действия со стороны государства способствовали оживлению производства и зарождению конкуренции между товаропроизводителями.

Трестам предоставлялась хозяйственная автономия, однако важнейшие функции экономического регулирования и контроля сохранялись за ВСНХ. Это не могло не сказаться отрицательно на показателях эффективности работы трестов; тем не менее, даже при такой урезанной самостоятельности хозрасчетные объединения демонстрировали значительные результаты в производстве товарной продукции и успешно конкурировали с государственными предприятиями.

Свертывание НЭПа, произошедшее в конце 20-х годов под лозунгом борьбы с неуправляемой мелкобуржуазной стихией, открыло дорогу тотальной национализации промышленного производства, торговли и сферы услуг. К середине 30-х годов в СССР в частной собственности оставалось лишь немногим более 1%, в колхозной и кооперативной — порядка 7,8%, а в государственной — свыше 90% совокупных овеществленных производительных активов общества. В собственности государства также находились все 100% природных ресурсов страны.

Экономика СССР создавалась как жестко централизованная система ради достижения четко сформулированных целей. Интересы выживания государства были поставлены превыше всего. Курс на скорейшую индустриализацию, провозглашенный в еще не окончательно оправившейся от разрухи стране, требовал создания иерархической системы управления из единого центра. Поэтому фундаментом успешной реализации такого курса могла быть только государственная собственность, которая стала основой стремительного экономического роста страны и одновременно — первопричиной многочисленных диспропорций, ставших впоследствии источником экономической слабости советской экономики, технического отставания и низкой производительности труда.

Права собственности, сосредоточенные на уровне центральной власти, распределялись между несколькими структурами: партийными органами, отраслевыми министерствами, Госпланом, министерством финансов и т.п. Соответственно, существовал и своеобразный механизм «разделения труда» между структурами центральной власти, включавшийся при реализации распределенных прав собственности.

В основе такого механизма лежала не столько экономическая или бюрократическая рациональность, сколько властный потенциал соответствующей структуры. Именно это в конечном счете и стало главным фактором накапли-

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук
от «___» _____ 20___ г.
Вх. №

вающейся неэффективности советской экономики, предопределившим распад командно-административной системы.

Предпринимавшиеся неоднократные попытки рационализировать этот механизм (в особенности с конца 50-х годов), не разрушая сложившуюся систему отношений собственности, как правило, оказывались безуспешными.

Эрозия института государственной собственности в СССР началась задолго до того, как в период горбачевской перестройки были предприняты первые робкие попытки системного реформирования экономики. И наиболее очевидным признаком такой эрозии стало расширение экономической площадки, на которой хозяйничал теневой капитал. В СССР, равно как и во всех бывших социалистических странах, существовали обширные зоны негосударственной (альтернативной) экономики, которые в условиях абсолютного хозяйственного диктата государства могли выжить, только оставаясь на нелегальном положении.

В так называемом теневом секторе, функционировавшем под негласным покровительством коррумпированных государственных чиновников, были аккумулированы огромные финансовые и материальные ресурсы, которые уже в 70—80-е годы достигли таких масштабов, что стали задыхаться в тесном теневом пространстве и потому искали возможности легализации.

К середине 80-х годов, когда в СССР окончательно обнажились пороки системы, построенной на тотальном огосударствлении и подавлении частнопредпринимательской инициативы, в остальной части мира уже полным ходом разворачивалась приватизация. В основе ее лежала неолиберальная экономическая философия, исходившая, среди прочего, из необходимости резкого ограничения размеров государственного предпринимательского сектора.

Резкий поворот экономической политики в странах с казалось бы устоявшейся структурой отношений собственности не был, разумеется, случайным. Чтобы разобраться, почему это произошло, необходимо совершить небольшой экскурс в экономическую историю.

В течение полувека, начиная с мирового кризиса 1929—1933 гг., в странах с развитым рынком отчетливо проявлялась потребность не в свертывании, а наоборот — в усилении государственного вмешательства в экономику.

Основная причина этого была в том, что механизм стихийного рыночного регулирования, подорванный порожденной им самим тенденцией к монополизации, становился все менее пригодным для поддержания воспроизводственных пропорций в условиях усложняющейся структуры экономических связей.

Не следует, однако, сбрасывать со счетов и демонстрационный эффект успехов социализма, особенно на начальном этапе его становления: как раз в тот период, когда капитализм переживал тяжелейший в его истории кризис, сжатая в государственный кулак экономика СССР демонстрировала поразительные темпы роста в базовых отраслях промышленности, являвшихся в то время двигателем индустриального развития.

Именно в ходе мирового экономического кризиса конца 20-х годов стало очевидным, что дальнейшее функционирование капиталистической системы невозможно без создания эффективного механизма коррекции несовершенств рынка с использованием различных инструментов, имеющихся в распоряжении государства.

Подготовка ко Второй мировой войне, сама война, связанные с ней политические и экономические потрясения привели к бурному росту государственной собственности в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, где была национализирована вся крупная и средняя промышленность. Мощный сектор государственных предприятий сложился в нацистской Германии и фашистской Италии. Широкая национализация была проведена во Франции и Англии. В США в годы войны было построено большое число государственных военных заводов.

Возрастание экономической роли государственной собственности и государственного предпринимательства продолжало оставаться одной из наиболее характерных черт в послевоенной экономической истории стран с развитым рынком, хотя направленность государственного интереса стала несколько иной. Государственная собственность проникала в первую очередь в те сегменты народного хозяйства, которые требовали крупных долгосрочных инвестиций.

Однако уже примерно с середины 70-х годов в странах с развитой рыночной экономикой наметилась и в дальнейшем стала все более отчетливо проявляться тенденция к свертыванию традиционных форм государственного вмешательства в сферу непосредственного производства товаров и услуг, к сужению экономической зоны, охватываемой государственной собственностью, и соответствующему расширению «области распространения» частного капитала.

Одной из основных причин такой перемены экономической политики стала перегрузка расходной части бюджетов. Резко обострилась проблема бюджетных приоритетов. Макроэкономические цели государственного предпринимательства, достигаемые нередко ценой бюджетных субсидий и дотаций неблагополучным предприятиям, все дороже обходились казне.

Масштабы перенакопления частного капитала также достигли критической массы: капитал готов был хлынуть не только в новые отрасли, где развертывание производства всегда связано с повышенным коммерческим риском, но даже в те сферы экономической активности, которые традиционно были закреплены за государством и куда прежде он проникал весьма неохотно.

Таким образом, к середине 70-х гг. отчетливо проявились дефекты исправно функционировавшего до сих пор и, казалось бы, неплохо зарекомендовавшего себя механизма поддержания динамического равновесия рыночной хозяйственной системы с помощью активного государственного присутствия в экономике.

Ключевым фактором, обнажившим к середине 70-х гг. несостоятельность концепции «большого государства», явился выход мирового цивилизационного процесса на новый виток технологического развития.

Приватизация стала наиболее ярким символом программы «новой рыночной динамики» в странах Запада. На протяжении последних двух десятилетий уходящего века неустойчивый баланс между государством и рынком, между государственным и частным предпринимательством под влиянием объективных хозяйственных требований все более заметно смещается в сторону усиления экономического веса частного сектора.

Глубинная цель приватизации повсюду оставалась одной и той же: добиться большей гибкости, мобильности, приспособляемости национальных экономических систем к усложняющимся условиям воспроизводства.

В СССР сначала реформы второй половины восьмидесятых, а затем развернувшаяся ускоренными темпами либерализация экономики, подготовили к 1992 году благоприятную почву для прорастания идей приватизации и их реального воплощения в законодательных решениях власти.

Реформа вызревала в недрах советского хозяйственного организма долго и болезненно. Не следовало бы недооценивать и влияние мощного внешнего фактора: одна из целей холодной войны, определявшей политический ландшафт в мире на протяжении практически всей третьей четверти XX века, состояла в том, чтобы измотать и в конечном счете экономически подорвать СССР с его высокомилитаризированной и тотально огосударствленной экономикой.

На отдельных этапах этой гонки системе, построенной на базе абсолютизации государственной собственности, даже удавалось вырываться вперед на каком-то одном направлении, используя свои возможности концентрации колоссальных ресурсов для достижения поставленной цели (амбициозные космические проекты, создание новых систем вооружений, ядерная энергетика и др.).

Тогда казалось, что централизованной экономике, управляемой плановыми решениями, под силу любые задачи, недоступные децентрализованному, стихийному рынку.

То было время, когда экономический потенциал большинства стран во многом базировался еще на традиционных («дремлющих») технологиях и инновациях преимущественно улучшающего типа, хотя признаки приближающегося технологического взрыва уже были заметны (особенно с начала 60-х гг.).

Когда же революционный скачок в развитии технологий потребовал резко раздвинуть как внутристрановые, так и интернациональные границы экономической свободы, обнаружилось, что в жестко регулируемой, замкнутой экономике нерыночного типа отсутствует механизм, способный «переваривать» новые технологии и ассимилировать их для производственных целей в необходимом объеме.

Темпы инновационного обновления советской экономики оставались недопустимо низкими для страны, претендующей на роль великой экономической державы, а отраслевая структура — отсталой даже в сравнении с далеко не самыми развитыми странами мира.

Таким образом, при всем разнообразии внешних и внутренних обстоятельств, вынудивших советское руководство в середине 80-х годов в конечном счете принять трудное политическое решение о запуске процесса реформирования экономики, одним из важнейших элементов которого стала приватизация, фундаментальным импульсом к столь кардинальному пересмотру экономической стратегии стало технологическое отставание страны.

Поражение СССР в технологической гонке повлекло за собой сдачу позиций и в политическом противостоянии с Западом: этот процесс растянулся почти на целое десятилетие. Он завершился в 1989—1991 гг. каскадом мощных социальных потрясений, приведших к окончательному крушению политических режимов на востоке Европы и в СССР, развенчанию идеологемы тоталитарного государства, построенного по сталинскому проекту на экономическом фундаменте государственной собственности.

В сегодняшней России едва ли можно найти какую-либо другую экономическую проблему, которая получала бы столь же противоречивые оценки, как приватизация. Без преувеличения можно утверждать, что вопрос о перераспределении прав собственности останется одним из центральных вопросов экономической политики и на ближайшую перспективу. Приватизация в России затронула всю систему хозяйственных отношений. То, что в западных странах происходило как ограниченный по воздействию и растянутый по времени процесс, в России совершалось в краткий временной промежуток и в гораздо более сложных рамочных условиях.

Начать с того, что в Европе, Америке, да и во многих странах других континентов приватизация разворачивалась в условиях давно сложившегося рынка, который сравнительно легко готов был поглотить дополнительные вливания капитала и труда. Поэтому в большинстве западных стран достаточно было серии законодательных актов, принятых на уровне центральных и местных органов власти, чтобы дать начальный импульс процессу приватизации.

В России приватизация протекала болезненно, принимала порой уродливые формы, сопровождалась многочисленными злоупотреблениями. Сказались, в частности, отсутствие рыночной культуры в обществе и инерция политического мышления; неистребимый монополизм производителей и перекосы в развитии финансового рынка; давление во многом сохраняющей свою силу номенклатурной элиты, не брезгующей криминальными связями, и противоречивость нормативных документов, регулирующих порядок и условия передачи государственных предприятий в частную собственность.

Массовая приватизация, стремительно проведенная в нашей стране в 1992—1994 гг., привела к грандиозным, поистине тектоническим сдвигам в структуре отношений собственности и повлекла за собой изменения социально-экономического уклада, сопоставимые по своей масштабности с революционными потрясениями 1917 года.

На старте российской массовой приватизации намерения были самые благие: повышение уровня эффективности и подъем национальной экономики за счет раскрепощения частной хозяйственной инициативы; содействие формированию конкурентной среды и демонополизации отраслей; образование мощного слоя частных собственников; создание необходимых условий для оживления инвестиционной деятельности, в том числе за счет привлечения финансовых ресурсов из-за рубежа. Ваучерная приватизация рассматривалась в качестве своего рода социального амортизатора, призванного смягчить шоковый удар, нанесенный населению так называемой «либерализацией цен».

Катастрофический спад производства в подавляющем большинстве отраслей отечественной промышленности, конечно, нельзя списать только на приватизацию. Однако приватизация, вне всякого сомнения, придала этому процессу дополнительный импульс.

Во-первых, она была проведена насильственно и форсированно в высокомонополизированной экономике.

Во-вторых, в России, в отличие от других стран, осуществлявших широкомасштабную приватизацию, в государственный бюджет поступило крайне мало средств, вырученных от распродажи госсобственности.

В-третьих, изменение формы собственности повлекло за собой ликвидацию бюджетного финансирования производственных программ, что поставило многие приватизированные предприятия в тяжелейшее финансовое положение.

В-четвертых, приватизация не привела к созданию массового слоя эффективных собственников, поскольку методы, которыми она проводилась, цели, которые она преследовала, практически исключали такую возможность.

В-пятых, приватизация, особенно ее ваучерная модель, не создала, да и не могла создать реальных предпосылок и для развития конкуренции между производителями. Как известно, механизм конкуренции запускается не столько сменой форм собственности, сколько условиями функционирования самого рынка, который в России все еще находится в стадии формирования.

Пожалуй, наиболее зримым результатом приватизации стало стремительное обогащение директорского корпуса и представителей криминальных структур, воспользовавшихся несовершенством законодательства для скупки предприятий сначала на купленные «по дешевке» ваучеры, а затем путем приобретения по смехотворной цене у рабочих и служащих полученных ими бесплатных акций.

Однако главная причина диспропорций и несоответствий российской приватизационной политики в целом заключается в том, что она лишь идеологически оказалась сопряжена с другими реформаторскими инициативами, но не была увязана с ними экономически в единый комплекс мероприятий по управлению сложнейшим процессом системного преобразования российского экономического пространства.

К тому же некоторые важные политические решения, необходимые для эффективного развертывания приватизации — такие, например, как принятие реальных мер по ограничению монополизма и содействию конкуренции, поддержке малого предпринимательства и регулированию рынка ценных бумаг — вообще оказались на периферии экономической политики.

Таким образом, вписавшись в общую схему либеральных рыночных преобразований, приватизация в России развивалась фактически по своему собственному сценарию, тем самым превратившись из инструмента экономической политики в самостоятельную, самодостаточную цель.

Если даже в относительно стабильных в экономическом и политическом отношении странах с развитой рыночной системой приватизация порождала серьезные структурные диспропорции и сопровождалась усилением социальных трений в обществе, то что уж говорить о России, где условия для ее проведения оказались явно далекими от оптимальных: характерными признаками системного кризиса, разразившегося в стране в девяностые годы, и особенно в период 1992—1998 гг., стали резкое падение производства, разрыв хозяйственных связей между регионами и предприятиями, упадок и вымирание целых отраслей, неустойчивость финансовой системы и денежного обращения, усиление национального и регионального сепаратизма, сращивание криминальных и властных структур.

Несмотря на многие принципиально важные различия в наборе факторов, обусловивших движение к приватизации в странах с рыночной, квазирыночной, нерыночной и антирыночной экономикой (в последнем случае я имею в виду экономику советского типа), генетические корни поворота к приоритетам част-

ной собственности и свободного предпринимательства повсюду в мире оказываются одними и теми же. Импульсом к формированию новой структуры отношений собственности послужил кризис представлений об экономических функциях и возможностях государства, вызванный глубинными изменениями в технологическом базисе современного общества.

* * *

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о перспективах трансформации отношений собственности в нашей стране, как они видятся на рубеже веков.

Приватизация в России вступает в новую фазу. «Ползучая» приватизация (через денежные аукционы и инвестиционные торги), в ходе которой происходит дальнейшее перераспределение прав собственности между крупными и крупнейшими инвесторами, начавшись в 1995 г., продолжается и поныне. Разворачивается очередной передел собственности, теперь уже между новыми частными владельцами.

Поэтому сегодня нелишне еще раз окинуть ретроспективным взглядом опыт приватизации, накопленный другими странами. Этот опыт не следует бездумно копировать, но в нем есть много рационального, полезного, которое следует учитывать. Несмотря на сохранение тенденции к экономической либерализации, государство повсюду по-прежнему удерживает контроль над обширным полем хозяйственной деятельности — и не только с помощью косвенных рычагов регулирования, встроенных в рыночную систему, но и в ряде случаев непосредственно через управление капиталом некоторых стратегически важных отраслей.

С особой осторожностью следует подходить к приватизации естественных монополий. Во Франции, например, этот вопрос сегодня остается открытым, хотя французское правительство испытывает сильное давление со стороны Европейского союза. В Великобритании, где после передачи частному капиталу прав собственности на энергоносители, системы связи, водо- и теплоснабжения приватизация перекинулась на железнодорожный транспорт. Этот курс правительства вызывает все более резкую критику со стороны потребителей: работа железных дорог значительно ухудшилась. Сходные тенденции прослеживаются и в Японии.

Несколько слов хотелось бы сказать и о таком больном для сегодняшней России вопросе, как перспективы введения частной собственности на землю. Речь в первую очередь идет не столько о частной собственности на землю вообще, сколько на землю, находящуюся в сельскохозяйственном обороте. Если рассуждать чисто теоретически, в отрыве от российских реалий, то создание рынка земли, превращение земли в объект купли-продажи следует рассматривать как вполне логическое и естественное углубление процесса реформирования отношений собственности.

Однако проблема введения частной собственности на землю в России чрезвычайно сложна и может привести не только к аграрной катастрофе, но и к непоправимому социальному расколу в стране.

Наконец, хотелось бы остановиться на экономической роли российского государства в послеприватизационный период. Похоже (и это подтверждается фактами), что отсутствие в России сколько-нибудь вразумительной стратегии реализации экономических интересов государства там, где они непосредственно должны присутствовать — одно из самых слабых звеньев в уже осуществленной приватизации. В частности, речь идет о передаче государственных контрольных пакетов акций в управление ряду крупных корпораций — например, РАО «ЕЭС» и Газпрому, а также и в других случаях. По нашему мнению, это наносит огромный ущерб всей экономике.

В настоящее время государству принадлежат пакеты акций, в том числе и контрольные, более чем трех с половиной тысяч предприятий. Известны факты, когда об этих пакетах забывают, поступление дивидендов в бюджет никак не отслеживается и государство несет огромные потери.

Вот характерный пример. Недавно газета «Известия» со слов главы Мингосимущества Фарита Газизуллина сообщила о странной, если не сказать больше, ситуации, сложившейся в ОАО «Рыбкомфлот». На балансе этой компании уже 6 лет значатся суда, за строительство которых было уплачено из государственного бюджета около 300 млн долларов. Тем не менее до 1999 г. государство не получало ни копейки от деятельности этой компании.

Как стало известно, Мингосимущество планирует к 1 марта 2001 г. провести инвентаризацию госпакетов и представить предложения по их дальнейшей судьбе. Получается, что полной информацией о размерах государственной доли в активах акционерных обществ со смешанным государственно-частным капиталом министерство до сих пор не располагает! Не исключено, что пакеты, составляющие менее 25% акций, будут проданы. Такие пакеты закреплены за государством почти на 2000 предприятий. Это означает, что впереди ожидается большая дополнительная распродажа государственных учреждений, требующая серьезной подготовки и учета допущенных ранее ошибок.

В правления предприятий, в которых имеются государственные пакеты акций, должны входить независимые в экономическом и в других аспектах представители Мингосимущества. Они обязаны строго следить за соблюдением интересов государства и регулярно отчитываться о своей деятельности, своевременно сигнализировать о возникающих проблемах.

Россия сегодня находится на крутом изломе своей исторической судьбы. Впереди — труднейший период, когда обществу, разбуженному после долгих лет пребывания под каблуком тоталитарного режима, предстоит найти в себе силы к возрождению, вновь стать полнокровным, здоровым организмом.

Возрождение российской экономики на новом технологическом базисе и в новом организационном качестве должно произойти на основе тщательно продуманной и реалистической концепции разгосударствления собственности. Одновременно следует озаботиться восстановлением роли государства как выразителя общенациональных интересов, устанавливающего единые для всех хозяйственных субъектов правила игры и несущего полную ответственность за ресурсную, военную, социальную и экономическую безопасность общества, за развитие науки и культуры.

Похоже, что в самое последнее время из хаоса мнений, пожеланий и политических решений мало-помалу начинает вырисовываться прагматическая, взвешенная концепция построения отношений собственности в российской экономике, отражающая своеобразие «российского цивилизационного пути», и одновременно синтезирующая все ценное, что было накоплено мировым и отечественным опытом и очищенная как от безудержного радикализма крайне правых, так и от догматического консерватизма крайне левых.

STATE AND PROPERTY IN RUSSIA IN THE XX CENTURY

The authors examine dynamics of property relations in the XX century's Russia. They determine the factors rendering influence on a correlation of ownership patterns, the effect of institutionalized models of property on the course of national economic development. The dynamics of property relations in Russia is considered in a context of the global process of civilization.

V.A. Vinogradov, S.Ya. Veselovsky

В.Э. Лебедев

ИСТОРИОСОФСКОЕ МЫШЛЕНИЕ: ОТ НОВОВРЕМЕННОЙ К ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ

В истории западного мышления, которое в отличие от восточного обращалось преимущественно не к трансфизическим (метаисторическим), а земным (историческим) проблемам существования человека, прослеживается определенная динамика в постижении истории, представленная в табл. 1. Из таблицы видно, что соответствующие модели осмысления истории складывались под влиянием доминанты общественного сознания той или иной эпохи, в рамках которой ставились фундаментальные вопросы исторического бытия человека: об онтологическом статусе истории («что» истории), о механизмах ее функционирования («как» истории), о ее направлении («куда» истории), о ее единстве и множественности («сколько» историй), о ее пространственно-временной определенности («где» и «когда» истории). Все многообразие этих вопросов сходится как в фокусе в постановке проблемы о смысле и цели истории.

Современное историософское мышление формируется как результат длительного духовного движения человечества, в контексте чего целесообразна сравнительная характеристика нововременной и постмодернистской концептуальных моделей истории. Стержнем концептуальной архитектоники нововременной историософии являлась теория исторического прогресса. Ее первоначальное осмысление в западной философии было предпринято древнегреческими мыслителями, софистами. В целом же в античности историософема прогресса была далеко не определяющей мыслительной конструкцией, поскольку история не рассматривалась как онтологическая реальность: бытие прочно связывалось с природой, космосом, с присущей им циклической ритмикой (см. табл. 1). Такое мировосприятие утверждало в философии господство циклических концепций. В средние века на место священного космоса древних встает Священная история. Постижение ее смысла основывалось на универсальной доктрине божественного промысла, в контексте которой идея прогресса распространялась только на духовную жизнь, ориентированную на спасение.

Преобразование историософского пространства, связанное с выдвижением в его центр теории прогресса, обусловливалось тем, что с распадом средневековой мироисторической парадигмы на первый план выступала чисто светская система ценностей, проявившаяся в секуляризации взглядов как на природу, так и на общество. Этому тектоническому сдвигу во многом способствовал «отец новой философии» Декарт (1596—1650), который стремился освободить мир, жизнь людей от тайны и таинственных сил и утвердить веру в неограниченные возможности человеческого разума.

Рационализм был той мировоззренческой средой, в которой происходила смена фундаментальных оснований философии: от трансцендентного Бога к имманентной субстанции. Философский субстанциализм, существенно минимизируя роль Бога, стремился найти основание всего сущего внутри мира, объяснить мир из него самого. Данная формула субстанциализма отчетливо была выражена Спинозой (1632—1677), отождествлявшим Бога с субстанцией. Бог и субстанция

Таблица 1

Концептуальные модели постижения истории [1]

Модели истории / Параметры	Античная модель (IX в. до н.э. – сер.V в.)	Средневековая модель (сер. V – сер. XVII вв.)	Нововременная модель (сер. XVII–XIX вв.)	Постмодернистская модель (XX в.)
Доминирующая форма общественного сознания	Значительное влияние мифологии	Религия	Классическая наука, признающая исключительно рациональные формы духовного опыта	Постклассическая наука, признающая сосуществование рациональных и иррациональных форм духовного опыта
Траектория исторического движения	Циклическая модель (циклы, как круговорот бесплодных повторений, без качественных изменений)	Линеарная модель (движение по восходящей линии: от грехопадения к Царству Небесному)	Линеарная модель (движение по восходящей линии: от примитивных к высшим формам социального развития)	Спиралеобразная модель (движение циклическое, но в конечном итоге – к прогрессу)
Онтологический статус истории	Бытие прочно связывалось с природой, Космосом (человек растворял себя в Космосе, а Космос в себе). История не рассматривалась как онтологическая реальность	История обрела онтологический статус, но воспринималась как Священная история, т.е. сфера проявления Бога	Утвердился взгляд на историю как самостоятельную область бытия, но она ограничивалась только социосферой	История – пересечение двух планов бытия: земного и небесного
Горизонт исторического пространства	Возникла идея всемирности истории лишь как предчувствие единства человечества. Единство мировой истории создавалось ценою его ограничения греко-римским миром (единство сводилось к единичности)	Исключительность греко-римской истории сменилась включением во всемирную историю всех народов без различия этнической принадлежности при условии принятия ими христианства (единство представлялось в единообразии)	Целенаправленный, закономерный и поступательный всемирно-исторический процесс при одинаковости событий и исторических судеб народов (единство в единообразии)	Во всемирной истории синтезируются такие ее свойства как единство и качественное многообразие (единство в многообразии)
Источник исторического движения	Законы природы, Космоса	Божественное провидение	Социальные законы	Взаимодействие факторов биокосмосоциосферы и воздействие божественного плана бытия

сливались у него в одно понятие. Бог не стоит над природой, не является Творцом вне природы. Он находится прямо в ней как ее имманентная причина. Спиноза, таким образом, отвергал личного Бога и понимал его как универсальную причину мира. Субстанция — неизменна, меняются лишь ее модусы, единичные вещи. При жестко проведенном противопоставлении неизменной сущности (субстанции) и изменчивого существования (модусов) история не могла стать достойным предметом философской мысли: в ней нет существенного, субстанциального.

В противовес учению Спинозы о единой субстанции Лейбниц (1646—1716) утверждал, что субстанций бесконечное множество, которые он именует монадами (неделимые психические первоэлементы истинно сущего, умопостигаемого мира). Каждая монада имеет «историю», т.е. деятельность монады есть развертывание некоей заложенной в ней программы, изначально гармонизированной Творцом с программами других монад. Согласно закону внутреннего развития монад, каждое последующее ее состояние не может быть тождественным предыдущему. Она содержит в себе как все свое будущее, так и все свое прошлое. Монада Лейбница принесла понятия индивидуальности, связи единичного и общего сознания, универсальности и внутренней необходимости мирового, а вместе с тем и исторического становления. Правда, эти выводы развивались медленно и проявились позже.

Пересмотр философских оснований субстанциализма начался с Канта (1724—1804) — родоначальника немецкой классической философии, у которого впервые предметом изучения становится познающий субъект, а не познаваемая субстанция. В структуре познающего субъекта им особо вычленяется ее трансцендентальная составляющая. Кант назвал свою философию трансцендентальной, поскольку исходил из признания особой ценности для философского знания априорных идей разума, сообщающих целесообразность предмету познания. Трансцендентальность воззрений Канта не лишала их историзма, но обусловливала лишь умозрительное, априорное конструирование философии истории без опоры на эмпирический материал, когда масштабы истории брались не из нее самой, а из разума.

Опираясь на мудрую идею спинозизма о полноприсутствии универсума в каждой точке его единичной действительности, учение Лейбница о постоянном возвышении следующих собственному внутреннему закону монад и кантовское положение о самопознании разума, Гегель (1770—1831) создал великую теорию динамики исторического бытия [2]. Хотя Гегель отвергал термин «трансцендентальная философия», его учение, взятое в целом, представляет собой завершение идущего от Канта трансцендентально-философского сознания. В качестве трансцендентального субъекта у Гегеля выступает человеческая история, занявшая место, ранее принадлежавшее субстанции. Субстанция — субъект определяется как саморазвивающаяся, самоподвижная, что позволило Гегелю вывести диалектическое тождество логического и исторического. Завершив пересмотр философского субстанциализма, Гегель пришел к панисторизму. Он подчинил истории не только человека, но и Бога, — Бог стал созданием истории.

Утверждение парадигмы прогресса в качестве концептуальной доминанты нововременного историософского дискурса не означало движения философии истории в сторону теоретического монизма. Она зачастую коррелировалась с

другими моделями реконструкции объективной исторической реальности, содержащимися в историософской копилке человечества.

В определенной степени на выбор тех или иных доктрин как приоритетных влияли конкретно-исторические условия развития различных регионов Европы. В XVII—XVIII вв. новым гравитационным центром европейской экономики и политики стали Англия, Франция, Прирейнская Германия, где в сфере духовных исканий восторжествовала идея абсолютного прогресса, находившая проявление в преклонении перед непрерывным, поступательным историческим развитием. В этих странах, широко охваченных Просвещением, представление о прямолинейном, поступательном движении истории сопровождалось презрением к «темному» прошлому человечества (античности и средневековью). Картезианцы Перро, Фонтенель, Удар де Ла Мот решительно восстали против безусловного авторитета античности и, сравнивая страну Гомера с образованной Францией, находили, что первая похожа на деревню, а ее герои — на грубое простонародие. Древние времена, по их мнению, были дики, безнравственны и полны всевозможных предрассудков. В Италии в этот период угасание культуры Ренессанса и разложение городских республик стали прологом глубокого национального упадка. А просветительское движение в условиях политической раздробленности не было единым, распадалось на отдельные группы, слабо связанные между собой, и осложнялось тем, что здесь власть папского престола ощущалась несравненно сильнее, чем в других католических странах. Такие обстоятельства сделали рационализм на итальянской почве особенно жалким, что отразилось в философии истории признанием идеи лишь относительного прогресса, как у Дж. Вико (1668—1744), который разрабатывал ее в рамках циклической концепции [3]. Его представления о непрерывном развитии человечества не связаны с преврением к древней и средневековой истории: детство человеческого рода им определяется как «вечная прелесть». Более того, на материале античной истории он постигал законы развития социума.

В отличие от итальянского мыслителя Вико, придерживавшегося идеи относительного прогресса, представитель немецкого Просвещения Иоганн Гердер (1744—1803) развивал идею абсолютного прогресса [4]. На формирование взглядов Гердера оказали сильное влияние ранний Кант, Спиноза и Лейбниц.

Историософема абсолютного прогресса Гердера основывалась на том, что историческое развитие имеет восходящий и непрерывный характер, который определяет его направление к максимуму. Человеческое общество представляет собой саморазвивающееся целое, любой элемент которого связан с предыдущим и последующим. Каждый народ использует достижения своих предшественников и подготовляет почву для преемников.

В целом, прогресс в рамках философии истории Просвещения был представлен как эмпирический факт, когда мыслители удовлетворялись внешними показателями прогресса, т.е. показателями свершившихся социокультурных изменений. В рамках эмпирической историософии просветителей были достигнуты существенные результаты в осмыслении объективной исторической реальности: Гердер привнес идею плюрализма и вариантности истории, утверждение самоценности и самостоятельности всех существовавших и существующих национальных культур; Тюрго и Кондорсе предложили концепцию стадиального

развития человечества; Монтескье выдвинул идею совершенствования законов и общественных институтов как фактора исторического движения. Однако эмпирическая ограниченность доктрины прогресса приводила к тому, что история при ее постижении утрачивала целостность, единство, смысл и цель.

Заслуга постановки вопроса о прогрессе, отходящей от эмпирических критериев просветителей, принадлежит выдающимся представителям немецкой классической философии. Они искали критерии прогресса в сфере сознания, в связи с чем вплетали человека не только в эмпирические, но и трансцендентальные события истории. Проблематика истории стала рассматриваться изнутри, с точки зрения субъекта истории (человека), точнее, модификаций его сознания.

Деятельностную концепцию сознания, ключевую в немецкой классической философии, начал разрабатывать Кант. Он, рассматривая структуру сознания, впервые указал на различие между рассудком и разумом. Рассудок, которому доступен только мир опыта, упорядочивает лишь причинно-следственные связи (что было характерно для просветителей) и не способен осуществить всеобъемлющего синтеза или, по терминологии Канта, высшего единства. К такого рода единству можно прийти с помощью разума, которому доступно то, что находится за пределами опыта. Разум — это высшая способность субъекта, которая руководит деятельностью рассудка, ставит перед ним цели. При выделении целеконструирующей функции разума философское осмысление истории необходимо предполагало указание цели человеческой деятельности, цели пребывания человеческого рода в истории (телеологический взгляд на историю) [5].

Кант, не отрицая плодотворности принципа эмпирического историзма просветителей, предложил совершенно иной принцип — принцип трансцендентального историзма. В его основе лежала телеологичность взгляда на историю, который определялся кантовским признанием особой ценности априорных идей разума, позволявших достичь наивысшего синтеза при осмыслении истории.

Обращение к телеологизму в рамках трансцендентального историзма вело к объяснению «исторического бессознательного» как феномена несовпадения между целями и результатами исторических действий, на что указывал еще Вико. По Канту, люди, реализуя в истории свои цели, в то же время движутся к неведомой им исторической цели.

Данная мысль была подхвачена и развита Шеллингом (1775—1854), у которого в работе «Система трансцендентального идеализма» история конституируется отношениями между необусловленным индивидом, с одной стороны, и исторической необходимостью — с другой. Все индивиды наделены свободой воли и человеческий мир творит осознанно, однако в результате возникает нечто такое, чего никто не замышлял, т.е. нечто неосознанное [6].

Телеологизм, будучи ведущей компонентой трансцендентального историзма, полностью пронизывал историософские построения Гегеля [7]. Все в истории обретает свой смысл только в соотнесении с целью — как с общей конечной целью истории, так и со связанными с ней конкретными целями каждого исторического этапа. Цель исторического развития — прогресс духа в сознании свободы.

Параллельно немецкому философско-историческому мышлению развивалось совершенно иное по своему характеру англо-французское позитивистское мыш-

ление. Позитивизм отказывался от представлений «немецкой классики» о прогрессе в форме трансцендирующего из самого себя сознания, — представлений, которые строились без всякого обращения к законам природы и в соответствии с которыми определялось ступенеобразное движение народов как всякий раз индивидуальная конкретизация разума [8]. Вместо гегелевской метафизики спиритуалистического монизма был введен монизм позитивного, т.е. естественнонаучного метода. Отрицались метафизика, априорность и признавался только опыт. Позитивизм в целом вырос из идей англо-французского Просвещения, продолжив также и его идею прогресса как эмпирического факта. Позитивистская философия истории характеризовалась принципиальным социоцентризмом; ведущее место в ней занимала проблема общества.

Наиболее значительной разновидностью радикальной философии прогресса, наряду с позитивизмом в XIX в., являлся марксизм. В историософии К. Маркса прогресс связывался с развитием прежде всего производительных сил.

Несмотря на коренные отличия просветителей, идеалистов, позитивистов и Маркса в конструировании цели исторического развития, их, по существу, объединяло одно: антиципация будущего осуществлялась на основе абстрактно-рационалистических моделей, так как в Новое время доминантой общественного сознания выступала классическая наука, признающая исключительно рациональные формы освоения мира.

Рационалистические общеисторические теории Нового времени, основывавшиеся на концепте прогресса, были направлены на обоснование исключительно идеи единства истории. Идея единства в ее рационалистической интерпретации усматривалась в целенаправленности, закономерности и поступательности всемирно-исторического процесса и вела в конечном итоге к обоснованию единообразия, одинаковости событий и исторических судеб народов [9]. Рационалистическая историософская интенция на гомогенность всеобщей истории была задана философией Декарта, объявившей суверенитет мысли в «Cogito ergo sum». Декарт наделял познание человека определенной автономией, что способствовало как бы изыманию его из мира; связь познавательной деятельности человека с миром, в котором он живет, философ если не отрицал, то ею пренебрегал. Результатом этого явилось признание за разумом не только возможности, но и права создавать понятия в отрыве от реальности и ее специфики, создавать условный мир. Из признания участия сознания в конструировании мира явлений родилась его (сознания) нацеленность все переделать и улучшить по правилам логики. Отрыв разума от истории и объявление его некоторой неизменной человеческой природой (субстанцией) обусловили восприятие единства исторического развития как его единообразия и установку на постижение глобального смысла человеческой истории, предполагающего однозначно предопределенный магистральный путь прогресса. Ориентация на целостное, завершенное видение истории (глобальные объяснительные схемы) приводила к потере человека как индивида и личности. Смысл всемирной истории оказывался не для него и не о нем.

«Возвращение» человека в историю осуществляется в постмодернистской историософии, и заслуга в этом во многом принадлежала основателю феноменологи-

ческой философии Эдмунду Гуссерлю (1859—1938), несмотря на его безусловную связь с установками Нового времени. В феноменологии нашла выражение переориентация западной философии в вопросе о принципах понимания человеком мира. Именно Гуссерль выступил с утверждением, что в основе всех наших суждений о мире лежит активность выносящих эти суждения субъекта, что мир дан человеку только в актах его душевной жизни, актах его сознания. У Гуссерля содержится иное, по сравнению с классической философией, понимание связи сознания с внешним миром: субъекта гуссерлевской философии интересует не мир как он есть сам по себе, а смысл и значимость его для субъекта [10]. Философ вводит понятие «феноменологической редукции», смысл которого состоит в имплицитном предположении о том, что мир вокруг нас есть творение нашего сознания. Конечно, внешний мир существует объективно, но для нас он начинает иметь значение только через его осознание. Мир, который мы воспринимаем, становится миром внутри нас. Структурирование мира в нашем сознании невозможно без обращения к повседневным контекстам сознания, поэтому Гуссерль предложил понятие «жизненный мир».

Познающий субъект «возвращался» в историю через повседневную реальность — новое измерение человеческого мира. Обращение к повседневности стало императивом и для философии Гуссерля, искавшей в ней основание рационального, научного сознания, и для «философии жизни» (Ф. Ницше, В. Дильтей), восставшей против репрессивности разума и в целом против традиции классической философии, в которой обосновывалась идея субстанциального единства истории. Повышенное внимание к повседневности — признак смены парадигм: классической на постклассическую, постсовременную [11]. Разрушение хрустального замка философских абстракций и вплетение конкретного индивида в эмпирическое кружево повседневности были главной задачей, решаемой в рамках одного из крупнейших и влиятельных философских течений XX в. — экзистенциализма, философии существования (К. Ясперс, М. Хайдеггер), заимствовавшей много мыслей из «философии жизни» и феноменологический метод Гуссерля — описание смыслополагания. Идея «экзистенциальной историчности» о включенности человека в поток событий истории приводила к выводу о ее незавершенности, неокончательности. Принципиальная незавершенность истории проецировалась как в прошлое, которое переосмысливается каждый раз по новому, так и в будущее, которое предстает в его вариативности, «открытости» спектру возможностей. Человек не познает смысл истории, существующий вне его, он его конструирует. Наблюдается лишь смена чередующихся смыслов истории. Такой подход присущ и философской герменевтике, основоположником которой является Х.Г. Гадамер, ученик М. Хайдеггера. Фундаментальную идею герменевтики Гадамер выразил в следующей формуле: истину не может познавать и сообщать кто-то один, процесс поиска смысла («сути дела») неотделим от самопонимания каждого интерпретатора. Согласно экзистенциально-герменевтической установке, человек, включенный в поток событий истории, не способен объективно и в завершенном виде понять ее смысловое содержание. Это, в свою очередь, породило идею множественности смысловых картин прошлого. Таким образом, вместо глобального смысла истории признавался плюрализм ее смысловых интерпретаций.

Сосредоточие внимания на существовании, а не на сущности (едином субстанциальном начале), все большее перемещение интереса в сферу повседневности —

туда, где непосредственно решается судьба человека, было обусловлено кризисным настроением, порожденным Первой мировой войной. В условиях, когда рационально организованная деятельность миллионов людей оказалась направлена на цели уничтожения, важной чертой сдвигов в общественном сознании стало распространение иррационализма — неверия в возможности человеческого разума. До сих пор истину искали у разума, теперь ее стали усматривать в противоположном: в до-сознательном, без-сознательном, подсознательном. К изучению иррациональных форм духовного опыта, наряду с философией существования, обратились психоаналитическая философия, основанная З. Фрейдом, который в комплексах бессознательных мотиваций (стремление к самоутверждению и сексуальные влечения) видел условие не только большинства психических действий человека, но всех исторических событий; и философская антропология М. Шелера с ее антитезой «порыва и духа», где «дух», то, что делает человека человеком, наслаивается на иррациональный стержень, «порыв», выступающий синонимом не только безудержного потока жизни, но также емким обозначением фактического хода истории во всех ее реалиях. Если бы в философии XX в. в связи с восстанием против гипертрофии рассудочности и абстрактного рационализма, несостоятельного перед запросами жизни, акцент делался только на нерациональных элементах (ницшеанская «воля к власти», аналогичный ей шелеровский «порыв», «бессознательное» Фрейда, «экзистенция» Хайдеггера, Ясперса, Сартра), то ее можно было бы охарактеризовать как антимодернистской, т.е. полностью порывающей с традицией классической философии. Философская ревизия, начавшись с протеста против рационалистической гармонизации мира, была оправданной, так как нацеливалась на защиту жизни. Но коль скоро она перерастала в тотальное обличительство и шла «войной на уничтожение» разума, весь контекст борьбы менялся — нетрадиционная установка теряла свои преимущества. Она не преодолевала уплощенность и отвлеченность рационализма, но лишь противопоставляла одному отвлеченному началу другое. Бескомпромиссная борьба против репрессивности разума приводила представителей ряда философских школ к утверждению абсолютной бессмысленности истории, ее враждебности человеку (Франкфуртская школа — Т. Адорно, М. Хоркхаймер, «Новая философия» — Ж.-М. Бенуа, Б.-А. Леви).

Ориентация на радикальный пересмотр философии Нового времени не была единственной. Ей противостояла линия на конструктивное переосмысление традиции философской классики, связанная с осознанием возможности и границ компетенции разума. Конструктивная полемика с представителями классической философии велась неокантианцами (В. Виндельбанд, Г. Риккерт), неогегельянцами (Р.Дж. Коллингвуд, Б. Кроче), неопозитивистами (Б. Рассел, К. Поппер), неотомистами (Ж. Маритен, Э. Жильсон) и неопротестантами (Р. Нибур, П. Тиллих) [12]. Сосуществование двух противоположных ориентаций в западноевропейской философии XX в. является свидетельством того, что она представляет собой философию не анти-, а постмодерна, содержательным ядром которой выступает принципиальный плюрализм. В результате историософский дискурс постмодерна также характеризуется диверсивностью, сосуществованием различных парадигм. Константные, традиционные схемы (историософемы провиденциализма, прогресса, циклизма) коррелируются с нетрадиционными (психоаналитическими, структуралистскими,

антропологическими) матрицами осмысления социально-исторической реальности. В последних в качестве предмета исследования выступают либо психология выдающихся лидеров, увлекающих мир в неожиданную плоскость культурного развития (психоанализ), либо инстинктивная природа человека, тяготеющего к тому, чтобы разорвать оковы цивилизации (философская антропология), либо некие, постоянно возобновляемые структуры исторического процесса (структурализм).

В рамках алгоритма диверсивности постмодернистской историософии (корреляции традиционных и нетрадиционных парадигм), предполагающего сопряжение идеи единства с идеей множественности смысловых картин прошлого, открывается возможность связать такие свойства истории, как единство и качественное многообразие (единство в многообразии).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Составлено по: Лебедев В.Э. Философия истории и метаистории. Екатеринбург, 1997.
2. Трёльч Э. Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории. М., 1994. С. 209.
3. См.: Вико Д. Основания новой науки об общей природе наций. М.; Киев, 1994.
4. См.: Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.
5. Шаймухамбетова Г.Б. Гегель и Восток. Принципы подхода. М., 1995. С. 134—135.
6. Гулыга А.В. Шеллинг. М., 1994. С. 89, 91.
7. Перов Ю.В., Сергеев К.А. «Философия истории» Гегеля»: от субстанции к историчности. Вступ. ст. // Г.В.Ф.Гегель. Лекции по философии истории. СПб., 1993. С. 31.
8. Философия истории / Под ред. А.С.Панарина. М., 1999. С. 365—366.
9. См.: Смоленский Н.И. Возможна ли общеисторическая теория // Новая и новейшая история. 1996. № 1.
10. Хюбшер А. Мыслители нашего времени. Справочник по философии Запада XX века. М., 1994. С. 195—196.
11. Козлова Н. Социология повседневности: переоценка ценностей // Общественные науки и современность. 1992. № 3. С.51.
12. См.: Губман Б.Л. Смысл истории. Очерки современных западных концепций. М., 1991.

HISTORIOSOPHIC THINKING: FROM MODERN TO POSTMODERN CONCEPTUAL MODEL

The author analyses dynamical transition from modern (classical) pattern of comprehension of history to a postmodern (postclassical) model. Both patterns are compared and characterized. According to V.E. Lebedev, the modern conceptual pattern was based on abstract rationalistic principles and belief in progress and the unity of history. Unlike it, the postmodern model of history is related with anthropological processes in knowledge, the attention emphasized on irrational sources of knowledge, with attempts to interlink the idea of unity with the idea of qualitative variety of the past.

V.E. Lebedev

В.И. Шарин

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ФОРМЫ НАУЧНОЙ РЕФЛЕКСИИ

Решающим обстоятельством, выделяющим человека из окружающего мира, является интеллектуальная рефлексия — особая способность мышления, умение конструировать рационально очищенные образы реальности и манипулировать ими в целях моделирования реальности. Интеллектуальная рефлексия не только является основой для такого социокультурного института, как научное познание, но и, будучи источником для создания науки и технологии, играет роль основного инструмента, применяя который можно создавать понятия и новые объекты реальности, тем самым оказывая решающее воздействие на ход всего цивилизационного процесса. Таким образом, проблемы, связанные с технологиями интеллектуальной деятельности, имеют не только теоретический интерес, но и сугубо прикладное значение. Практически любая область природной или социальной реальности может составить предмет научного исследования. Жизнь и познание неразделимы. В процессе познания мы не только познаем природную реальность, но и наполняем ее новыми качествами.

Таким образом, возникает целый ряд вопросов о соотношении материальных и идеальных аспектов реальности. С начала XX века принято делить науки по областям — на науки о природе и науки о духе, естественные и гуманитарные (В. Виндельбанд, Г. Риккерт). Естественные науки в основном имеют дело с материальными объектами реальности, а гуманитарные — с идеальными. Разумеется, это деление весьма условно и связано с тем, что мы не способны познавать реальность как изначально целое.

Как только такая классификация была осознана, возник весьма нетривиальный вопрос о сходстве и различии методов гуманитарных наук и методов естественных наук [1]. В центре таких дискуссий был спор о возможности применения метода логической индукции к наукам о духе. Представления о статусе метода логической индукции оказались тесно связанными со статусом математической индукции. Эта проблема далека от окончательного решения и сегодня. В ходе развития научного познания и прояснения природы понятий математики, эпистемологический статус самой математической индукции — одного из основных инструментов математических исследований — с тех пор только понизился.

Другим способом классификации наук, возникшим в результате дальнейшей дискуссии, стало их разделение по типам рациональности на рациональность целевую (телеология) и ценностную (аксиология) [2]. Целевые и ценностные аспекты познания практически невозможно отделить друг от друга не только в процессе познания, но и в ходе глобального развития человечества, поскольку ценности создаются, а цели реализуются. Но в результате развития процесса познания изменилось само представление о реальности, а значит, изменилось и понимание соотношения материальных и идеальных аспектов бытия, связи между ними усложнились, следовательно, и такое разделение оказывается недоста-

точным и нуждается в усовершенствовании. В качестве естественного шага в этом направлении можно считать формулирование представления о рациональности специального типа — рациональности концептуальной [3]. Постараемся дать чуть более развернутое описание соотношении между ними.

Рациональное (технологическое) познание решает проблемы достижения власти над природой, обществом и историей, опираясь на установленные в процессе познания законы и закономерности, управляющие развитием общества и природы. В основе этого процесса лежит возможность идеализации и упорядочения объектов реальности и организации из них комплексов объектов определенного класса. Это составляет предмет специальных, позитивных по О. Конту, наук.

Ценностное (метафизическое) познание изучает вопросы, относящиеся к фундаментальным ценностям и приоритетам человеческого бытия, занимается систематическим анализом предельных проблем, связанных с включением человека в Природу и Историю. Любые попытки в явном виде отказаться от признания их актуальности приводят к неявному признанию их значения. Субститутом метафизики в этом случае всегда является тот или иной вид идеологии.

Фундаментальные ценности человеческого бытия и реализуемые технологические цели должны быть встроены в единую систему. Отсутствие такой системы или ее деформация, разрыв глубинных связей между аксиологией и телеологией неизбежно ведут к фатальным последствиям, а в итоге — к глобальным проблемам для человечества. Учреждение «института» концептуального (методологического) познания способно преодолеть разрыв между механизмами рационального и ценностного познания. Концептуальное познание должно быть ориентировано на установление сущностных, а не видимых свойств реальности, на прояснение механизмов и допустимых пределов идеализации ее объектов, на изучение эволюции отношений между ценностями и целями как в процессе исторического развития человечества, так и в каждой конкретной ситуации. Представление о концептуальной рациональности позволяет связать рациональную и ценностную стороны познания в единую, целостную систему. Очевидно, что речь идет о формализации тривиального представления о неустранимой связи между Зачем и Как в процессе жизни и познания.

Истинным истоком научного познания, а также религии, философии, искусства и морали, является осознание фундаментального различия таких аспектов реальности, как явление и сущность, двух ее актуальных и несовпадающих сторон. Поиск связей между сущностью и явлением, их постижение на протяжении всей истории человечества имели решающее значение и высоко ценились. Разумеется, постоянно возникал вопрос об адекватности таких связей, об их истинности. Классические определения истины принадлежат Канту, понимавшему ее «как соответствие понятия предмету», и Гегелю, считавшему, что «истинной формой, в которой существует истина, может быть лишь научная система ее».

Религиозные учения, философские доктрины, научные теории, эстетические системы и моральные предписания являются частными случаями систематического формулирования признаваемых адекватными связей между сущностью и явлением. Вся история познания начиная с Платона занята решением этой задачи. Само изменение понятия реальности есть ни что иное как изменение формы

этих связей. Наиболее отчетливо эту проблему сформулировали европейские схоласты в ходе спора номиналистов и реалистов, признававших существование либо вещей, либо их имен, понятий. Логически возможно несколько вариантов соотношения сущности и явления, основными из которых следует считать:

— европейский рационализм, считающий, что существуют вещь, сущность вещи, но не явление;

— позитивизм, признающий существование явления, но отрицающий существование сущности;

— трансцендентализм и феноменология, их различные модификации, признающие одновременное существование вещи, ее сущности и явления и наличие связей между ними.

Еще одним логически возможным вариантом соотношения сущности и явления являются различные версии нигилизма, в частности, буддизм, отказывающийся признать существование и сущности, и явления одновременно. Разумеется, такой подход имеет место и за пределами буддизма, например, в философии Шопенгауэра. В таком случае говорить о систематическом познании реальности нет возможности, так как нет объекта познания, а значит, нет и науки.

Рассмотрим указанные варианты подробнее [4].

Позитивизм сосредотачивает усилия на анализе явлений, за которыми не признается никакой сущности. В этом случае явление неизбежно принимает на себя функции сущности. Реально существующим для позитивистов является только то, что может быть взвешено, измерено или подсчитано, то есть то, что может быть познано лишь с помощью органов чувств. Множество явлений реальности нельзя ни структурировать, ни упорядочить, ни систематизировать. Следствием принятия такой позиции будут утверждения типа: сознание имеет физико-химическую природу, мысль порождается мозгом, душа есть функция нервной системы. Неполноценность позитивизма может быть установлена логическим путем, приведением к противоречию. Если есть явление, то что-то должно являться, и явление, будучи отличным от этого нечто, тем не менее, должно быть с ним каким-то образом связано. Далее, если явление связано с сущностью, то оно указывает на нее, на то, что является, указывает на существенную сторону явления. А это значит, что являемое есть сущность явления. Но, по определению, явление и сущность не совпадают. Поэтому мы приходим к противоречию, утверждая одновременно, что нет никакой сущности, а есть только явление, и что являемое есть в то же время сущность явления. Таким образом, логическое разворачивание позитивистской концепции противоречит здравому смыслу.

Рационализм исходит из альтернативной позиции, признавая существование лишь вещей и отказывая в истинном существовании явлениям. Наиболее ясно и полно эта установка познания сформулирована Декартом, отцом европейского рационализма. Реальный мир дедуцируется им из субъективного «Я» методом логической дедукции. Вместо анализа реального мира процесс познания у рационалистов состоит из формальных рассуждений об абстрактных сущностях, когда функции сущности приписываются самому явлению. Как только сущность никак не проявляется, ведь явления нет, то она превращается в абстрактную мыслимость, в абстрактное понятие. Изучение реальности в этом

случае происходит в форме дедукции абстрактного явления из абстрактной сущности. Но, признавая существование сущности, мы неизбежно судим о ней, говорим о том, что поддается познанию, то есть сущность должна являться. Следовательно, из признания существования сущности неизбежно следует признание существования самого явления, и мы приходим к выводу об эпистемологической неполноценности позитивизма.

Несмотря на различие исходных познавательных установок позитивизма и рационализма, между ними есть глубинное сходство — это их принципиальная абстрактность и признание существования лишь одной из сторон реальности. Познавательные установки позитивизма и рационализма противопоставляют бытие и мышление. Следы такого разрыва можно обнаружить не только в новоевропейской философии и науке, но и в идеологии, и политике. Указанная односторонность установок позитивизма и рационализма подпитывается неадекватным представлением о той роли, которую играют математические структуры и методология математического мышления в процессе познания начиная с Нового времени. Не случайно совпадение по времени возникновения рационализма и позитивизма и осознания феноменальной мощи методов математической физики. Предельное развитие математического формализма в науках о природе и эффективность математических методов породили иллюзию о возможности их использования в гуманитарной сфере.

Познавательная установка, основанная на доминировании методов позитивизма и рационализма, детерминирует такие социокультурные феномены, как стиль мышления, научная парадигма или структуры социальности. Основанный на них тип дискурса является одновременно как формой социальной репрезентации, так и инструментом интеллектуальной и социальной легитимации. Но еще Г. Риккерт, анализируя проблему ценностных установок гуманитарного познания, показал невозможность их устранения [5]; к таким же результатам пришли французские семиологи [6], установившие, что любой дискурс принципиально идеологичен.

Третий вариант, учитывающий наличие явления и сущности, или исходит из представления о том, что между ними или нет никакой связи (лежит непреодолимый разрыв), или сводит эту связь к логическим или психологическим качествам. Кант и Фихте, следуя Декарту, выводили реальное знание из субъекта — «сознания» у Канта и «я» у Фихте. Знание о реальности, о ее качествах выводится из самого субъекта, считающего внешний мир «вещами-в-себе» или «не-я». Эта эпистемологическая позиция получила название трансцендентализма Канта и наукоучения Фихте. Другой версией, основанной на абстрактных механизмах познания реальности, являются различные версии гуссерлевской феноменологии. Кант и его последователи, признавая непознаваемость «вещи-в-себе», отказывали в придании существованию вещей метафизического статуса, расщепляя реальность на субъект и объект. Феноменология преодолевает этот разрыв, разрыв между субъектом и объектом, на принципах психологизма, придавая способности понимания реальности априорный характер. Фактически в этом случае метафизический дуализм субъекта и объекта, присущий различным версиям рационализма и позитивизма, заменяется чисто логическим дуализмом.

Феноменологи, подобно кантианцам, заняты исследованием чистых смысловых структур, резко разделяя и противопоставляя друг другу факты и смыслы. Трансцендентализм и феноменология, являясь попыткой преодоления крайностей рационализма и позитивизма, едины с ними в абстрактности своих конструкций, основанных на негативной форме ответа на вопрос о связи бытия и мышления. Как есть данные бытия в сознании, в мышлении?

Адекватные представления о связи бытия и мышления следуют из признания одновременного наличия явления и сущности, существования неустранимой связи между ними. Систематическое формулирование всего круга этих проблем носит исторически обусловленный и конкретный характер. Формой такой связи можно считать развитие гегелевской системности. Сущность есть, явление тоже есть, а все явления сущности есть проявления сущности. Их взаимозависимость устранить нельзя не только в познании, но и в жизни. Итак, формами познания, признающими наличие связи между сущностью и явлением, являются трансцендентализм, феноменология и диалектика.

Важнейшим признаком единства гуманитарного и естественнонаучного знания является механизм трансляции научных понятий из одной области познания в другую на основе признания наличия глубинных связей между языком, мышлением и реальностью. Понятия, включаясь в новый эпистемологический контекст, обретают тем самым новый теоретический статус. Множество смыслов исходного понятия, помещенного в новый теоретический контекст, способствует проявлению ранее не осознаваемых смыслов теории. Так, революция в физике начала XX века, сформулировав новые представления об относительности позиции наблюдателя и результатов научного эксперимента, породила феноменальную экспансию категории «относительность» далеко за пределы физики. Достаточно вспомнить работы М. Бахтина о диалогичности сознания и использовании им термина «хронотоп» в литературоведении [7].

Следует, однако, отметить, что гуманитарные науки зачастую не критически используют термины точных наук. Стандартный гуманитарный дискурс состоит в механическом компилировании — используются понятия точных наук, они подставляются в синтаксически корректные лексические формы, а затем — в корректные грамматические структуры. Расщепление реальности на сущность и явление, движущиеся в автономном режиме в форме синтаксиса и семантики, наложившись на логику релятивизма, породило не стремление познать истинную связь между означаемым и означающим (Ф. де Соссюр), а пародирование реальности симулякрами [8]. Стилистика подобного гуманитарного дискурса определяет и определяется симулятивным стилем мышления. Глубинное родство методов научного познания и их предельной актуализации в форме структур математики замаскировало гораздо более важные различия между природой изучаемых ими объектов. Научное познание рационально, но рациональность природы и истории различна.

Симулятивный дискурс гуманитарного мышления, пародируя научное познание, опирается на дедуктивные процедуры в рамках аристотелевой логики, оставляя за пределами анализа все содержательные характеристики объектов. Формальный дискурс, его рекурсивность и алгоритмичность порождают иллю-

зию математической точности, не адекватной объекту познания гуманитарной строгости. Классическим примером использования подобной методологии можно считать применение количественных математических методов в исторической науке, когда линейные методы статистики применяются к существенно нелинейным процессам реальности, связывая между собой принципиально плохо формализуемые объекты реальности и понятия исторического познания. Нелинейность состоит в том, что реальные исторические объекты эволюционируют во времени, в то время как в теории они заменяются жесткими формализованными понятиями, схожими с объектами математики, по определению инвариантными по времени, что не позволяет адекватно описывать зависимость понятий теории и объектов реального мира. Математические модели познания плохо приспособлены для изучения темпоральных объектов реальности.

Симулятивная природа значительных объемов современного научного познания есть результат принципиального отказа от поиска истины. Ясно, что такая установка познания мотивирована не вполне рациональными аргументами. Современное научное познание нацелено на построение теорий, способных описать или дать формализованное объяснение того или иного круга явлений. К теории предъявляется ряд конкретных требований, несоблюдение которых оставляет за пределами науки целый ряд социально значимых феноменов: религии, мистики, оккультизма. Такими требованиями являются: систематичность, воспроизводимость, дедуктивная структура вывода и совместимость с твердо установленными результатами, составляющими ядро современной науки. Требование систематичности и дедуктивность — основные характеристики математического мышления. Сам термин «теория» («феория» греческих орфиков) понимался создателями математического мышления — пифагорейцами — как «страстное и сочувственное созерцание» [9] и имел эмоциональную окраску. Сами методы дедуктивного мышления на протяжении длительного периода были тесно связаны, вплоть до Канта, с методами систематической теологии, а истина понималась как истина Откровения и имела надчеловеческую природу.

Математика, религия и этика, оперируя методами логического доказательства, основывались на аксиомах — самоочевидных истинах, истинах Откровения или платоновских идеях, принципиально недоступных чувственному познанию. Их постижение было возможно лишь с помощью интеллекта. «Этика» Спинозы или «пари Паскаля» являются яркими примерами использования формально-логических методов в этике и теологии.

Еще одно обстоятельство, укрепляющее значимость формальных выводов, связано с тем, что теоретическая модель по своему статусу не полна и конечна и имеет дело с ограниченным кругом явлений, в то время как современная математика имеет дело с формализованными представлениями об иерархии бесконечности. Только математик [10], подобно Богу, работает с бесконечностью как актуальным объектом. Как утверждал теолог и математик Б. Больцано, один из создателей теории множеств: «В реальном мире мы не находим примера актуально бесконечного множества. Чтобы указать такое множество, мы должны выйти за рамки непосредственно реального мира». Больцано поэтому прибегает к теологи-

ческим рассуждениям. Он доказывает существование определенного бесконечного множества «в мысли Божией». Логические проблемы соотношения части и целого, решаемые в математике, анализировались на другом материале С. Кьеркегором, создателем «негативной диалектики» или «диалектики парадокса». Обозримый эмпирический материал не дает возможности прояснить на глубинном уровне характер связей теоретических моделей с практически бесконечным контекстом, в котором эта модель функционирует, что было ясно любому верующему, но стало ясно математикам только в двадцатом веке.

Нарушение когерентности между теоретической моделью и реальным контекстом неизбежно происходит в ходе углубления процесса познания, порождая вопросы о соответствии теоретической сущности и практического явления. Но, по утверждению М. Бахтина, «вопрос всегда есть смысл» [11]. Установление подобных смыслов приоритетно по сравнению с проблемами проявления смыслов внутри самих теорий. Указанием на это является использование в современной философии и методологии науки практически равнообъемных понятий, таких как «парадигма» Т. Куна, «метафизика» Б. Уорфа, «языковая игра» Л. Витгенштейна, «лингвистическая структура» Р. Карнапа, каждое из которых понимается как систематическое и непротиворечивое объяснение связей между сущностью и явлением. Данное обстоятельство не является случайным, а отражает кардинальное свойство мышления, способного актуально работать лишь с конечными моделями.

Познаваемая реальность состоит из связанных между собой вещей и фактов. Задача теории — установить форму такой связи. Сами эти объекты познания имеют нетривиальную структуру. Вещь, ее бытие есть:

— носитель качеств;

— определенная пространственная форма;

— единство множественности, данного в ощущениях.

Факт, его бытие есть:

— носитель информации;

— идеальная мыслимая структура;

— единство множественности, данного в мышлении [12].

Бытие вещи материально, а факта — идеально; вещи существуют в природе, а факты — в мышлении. Проанализированное выше соотношение сущности и явления может быть применено к анализу соотношения вещи и факта. Наука, в самом общем виде, есть мышление в понятиях, занятое установлением тождества и различия. Природа тождества и различия, природа границы не являются данными раз и навсегда. Фактически именно природа налагаемых на вещи и факты ограничений, их эволюция составляют содержание процесса познания. Понятие — основной инструмент мышления — нетривиальным образом связано с вещами и фактами, структурирующими реальность при активном участии мышления [13]. Популярность кантовской методологии и гуссерлевской феноменологии в современном научном познании связано с их предельной абстрактностью и схематичностью, так привлекательными для современных физиков и математиков, а значит и для гуманитарных наук, постоянно оглядывающихся на физиков и математиков.

Материальные объекты — предмет интереса физики (понимаемой как наука о природе) — при активном участии мышления превращаются из объектов природы в понятия научного познания — «абсолютно твердое тело», «идеальная жидкость», «материальная точка» и др., в природе не существующие. Процесс их создания может быть описан как идеализация материального: одно теоретическое понятие связано с множеством объектов мира природы.

Следует отметить, что, будучи строгой наукой, физика ясно представляет границы идеализации, о которой говорилось выше, тогда как для истории ситуация выполняется с точностью до наоборот.

Идеальные факты — предмет интереса истории (гуманитарных наук) — с помощью интеллектуальной рефлексии преобразуются в объекты научного познания. Их идеальная природа материализуется в теоретическом дискурсе — слове или знаке (например, категории «цивилизация», «общество», «культура» и др.). Кратко этот процесс может быть описан формулой — материализация идеального: один объект — много понятий.

Таким образом, между физикой и историей существует принципиальное отличие не только в способах конструирования своих объектов, но и в структуре соотношения между теоретическими понятиями и объектами изучения. Одно понятие и много объектов — это физика, один объект и много понятий — это история.

Математика же, в отличие и от физики, и от истории, есть универсальное использование фундаментального принципа: одно понятие — один объект.

Любое математическое понятие («функции» или «группы») инвариантно относительно теоретического контекста. Связь между математическими понятиями неизменна во времени. Семантическая составляющая — смыслы первого уровня, извлекаемые из связи математических теорий с реальным контекстом — в пределе равна нулю. Математика сама по себе не нуждается в материальных объектах. Изучение математических структур есть установление синтаксических смыслов, извлекаемых из математических теорий; это смыслы второго уровня. Они замкнуты на формальный синтаксис математических теорий и извлекаются с помощью дедуктивных процедур. Теоремы математики устанавливаются один раз и навсегда. Так, теорема Пифагора будет справедлива вечно; математическое пространство, в котором она не выполняется, перестает быть евклидовым, превращаясь в пространство Лобачевского или Римана. Но — это уже совсем другие теории. Их теоремы устанавливаются чисто логическим путем на основе различных аксиоматических систем; к физической реальности это не имеет никакого отношения.

Эффективность математического мышления в физических или исторических исследованиях связана с единством как природы самого математического мышления, строго дедуктивного по своему характеру, сохраняющего точность и непротиворечивость логического вывода, так и с общими требованиями достоверности любого теоретизирования. Только первые из них по своему происхождению не могут быть иными, а вторые неформализуемы до конца. Обогащая математические понятия внешними смыслами, осуществляя их экспансию за пределы формальных систем в соответствующий контекст, мы предписываем определенный характер связи математических понятий с объектами физики или

истории, что означает определенный произвол и требует постоянного контроля и анализа адекватности получаемых результатов. Мощь дедуктивного метода и определенная степень свободы ее применения позволяет эффективно моделировать физическую или историческую реальность. Наиболее общей формулой, описывающей процесс теоретической рефлексии с использованием методов математического мышления, будет:

— использование синтаксиса математических теорий, понятия которых обогащены семантикой соответствующего теоретического контекста при помощи процесса, обратного процессу содержательной редукции;

— выяснение связей семантического типа между объектами теории и объектами реальности.

Это позволяет использовать возможности дедуктивных систем в анализе нематематических проблем, не забывая о необходимости дополнительного контроля за содержательной стороной логического вывода.

Кажется, что ответ на вопрос одного из крупнейших физиков современности Ю. Вигнера «о непостижимой эффективности математики в естественных науках» [14] может выглядеть именно так, если не затрагивать фундаментальную проблему принципиальной возможности человеческого познания. Квалификация теоретика состоит в умении оптимально пользоваться синтаксическими и семантическими составляющими теоретического дискурса.

Таким образом, можно указать следующие структурные соответствия, имеющие место между понятиями теории и объектами моделируемой реальности:

— «одно понятие—один объект» — это математика;

— «одно понятие—много объектов» — это физика;

— «один объект—много понятий» — это история.

Различие индуктивного и дедуктивного подхода было осознано на заре новоевропейской науки в работах создателей математического анализа В. Лейбница и И. Ньютона [15]. Лейбницев calculus racionator и ньютонова natural phylosophy реализовывали разные методологические идеалы. У Лейбница речь шла об оперировании четкими формальными понятиями, построенными в соответствии с жесткими синтаксическими правилами; их семантическая составляющая была равна нулю. С точки зрения Ньютона: «Основанием для геометрии является практика механики, и в действительности геометрия есть не что иное, как та часть механики в целом, которая точно устанавливает и обосновывает искусство измерения». Отсюда видно, что семантическая составляющая, используемая в ньютоновом понятии, реально присутствует. Нужно отметить, что под геометрией здесь понималась математика, а классические математики долгое время назывались «геометрами». У Ньютона содержательный смысл формальных понятий тесно связан с необходимостью проверять следствия математических утверждений физической практикой.

Однако, как только мы формулируем утверждения типа «Представим, что...», мы имеем дело со структурами чистой математики: аксиомами, теоремами и доказательствами, — анализируя формально-логические связи между объектами теории. Ее структура жестко фиксирована и содержит в себе все множество потенциальных смыслов, которые можно извлечь с помощью логической дедук-

ции и перевести их из потенциального в актуальное состояние. Правда, выяснилось, что проект построения формальных теорий Лейбница нельзя реализовать; он столкнулся с неожиданными ограничениями, связанными с природой объектов самой математики. Теоремы Геделя о неполноте формальных систем и Тарского о невыразимости истины показали, что в рамках любой строго формальной теории существуют утверждения, истинность которых нельзя ни доказать, ни опровергнуть средствами самих этих теорий. Если истинность логической индукции ограничена принципиальной конечностью доступного нам эмпирического материала, то истинность результатов логической дедукции ограничена временем вывода. Весь эмпирический материал недоступен нам актуально, а все возможные теоретические выводы недоступны нам потенциально. Это означает, что теоремы типа геделевской «демонстрируют невозможность окончательного разделения синтаксических построений от содержательной семантики» [16]. Тем более, такие теоремы ограничивают сферу применимости дедуктивных методов в науках типа истории. Как представляется, для гуманитарного познания гораздо более важны не позитивные конструкции математики, а те или иные теоремы ограничительного типа. Их содержательное значение для гуманитарного познания состоит в фундаментальном единстве научного мышления и устанавливаемых с их помощью его качественных характеристик.

Европейский индустриализм — ядро современной цивилизации — есть закономерный итог развития новоевропейских наук, основанных на методически рациональном отношении ко времени и представлениях об исчислимости реальности. Подобный сплав идей, развиваемых в современной исторической науке, применяющей методы математического мышления, в общем виде можно представить в виде познавательной установки, исходящей из абсолютной адекватности представлений о его:

— целевой рациональности;

— детерминистическом финализме;

— признании прогресса как неотъемлемого модуса бытия.

Таким образом, за пределами подобного подхода оказываются все связи с высшими ценностями, а основанная на нем картина мира носит плоский характер. Но еще Хайдеггер утверждал, что «истина о сущем целом издавна носит название «метафизика». Всякая эпоха, всякое человеческое множество опираются на ту или иную метафизику и через нее встают в определенные отношения к совокупности сущего и, тем самым, и к самим себе» [17]. Как только эпистемология эмансипировалась от теологии, а в центре был помещен субъект познания, то познавательные процессы обрели собственную мощную логику развития, характеризуемую все увеличивающимся разрывом между сущностью и явлением. Все глубже проникая в реальность, моделируя ее с помощью эксперимента, мы, зачастую, отдаляемся от ее истинного понимания. Возникает вопрос, что в теоретическом понимании зависит от нас, а что от реальности. Но ведь еще Гегель в «Феноменологии духа» сформулировал, что важен не только результат познания, но и тот путь, которым мы к нему пришли [18]. Научные данные есть формализованный код, получаемый нами в результате вопрошания реальности особого типа, организованной нами в ходе эксперимента. Этот код

нуждается в расшифровке и приобретает статус теоретического утверждения лишь в процессе его интерпретации, просеивания через сито теории, что позволяет включить эти утверждения в ткань науки только при выполнении целого ряда условий императивного типа [19]. Список этих требований и их иерархия изменяются от эпохи к эпохе, от науки к науке, от культуры к культуре. Такая ситуация имеет место как в естественных, так и в гуманитарных науках. Крупнейший специалист по аналитической философии Ст. Хемпшайер отмечал: «Мы не можем придать смысл оппозиции между природой и реальностью и условиями нашего знания о ней» [20]. Глубинные установки познания, как уже выше отмечалось, не поддаются полной формализации, к числу их важнейших составляющих можно отнести интуитивное представление о времени, о порядке и симметрии. Отметим, что порядок и симметрия — понятия математических наук, а представления о времени есть трансцендентальное условие познания.

Историцизм, апеллируя к темпоральности бытия в структурах современного гуманитарного дискурса, порождает глубинный конфликт между динамическими объектами реальности и статическими структурами математики. По словам М. Элиаде: «Свыше столетия основная часть научных и философских усилий европейской мысли была посвящена истолкованию факторов, «обуславливающих человеческое бытие». Показывали, как и до какой степени человек обусловлен своей наследственностью, социальной средой, культурными стереотипами, бессознательным — и, прежде всего историей, то есть своим положением в современности и своей личной историей. Это последнее открытие западной мысли — открытие того, что человек по своей сути есть существо, подверженное времени и истории, что он — тот и может быть только тем, кем его сделала история, доминирует в западной философии. Некоторые философские направления даже заключают отсюда, что настоящая задача, поставленная человеком, состоит в принятии этой временности. Этой историчности свободной и целиком, потому что любой другой выбор эквивалентен бегству в абстракции, в не подлинное, бегству, влекущему за собой не только выхолощенность, но и духовную смерть, безжалостно карающую за всякое предательство в отношении к истории» [21].

Историцистская установка познания имеет длительную историю. Еще Геродот утверждал: «История — учитель жизни». Однако, целевая рациональность, лежащая в основе современного сознания и являющаяся ядром методологии современной науки, не только ставит под сомнение центральную роль исторического познания, но служит источником многочисленных конфликтов между историчностью и метафизичностью. Здесь метафизичность есть синоним рациональности. Особая роль метафизики в том, что без опоры на метафизические конструкции нет возможности обеспечить преемственность как исторического бытия, так и исторического познания. Даже объекты математики не мыслимы вне признания справедливости метафизических установок.

Сформулированная Гегелем система познания, историчная по своей природе, основывалась на тождестве Бытия и Мышления [22]. Версия гегелевской системности в виде марксизма, используя это тождество, абсолютизировала человеческую Практику, но, потерпев историческое поражение как футурологический проект, марксизм сошел со сцены. Однако, как методологи-

ческая установка его значение в определенном смысле сохраняется — в частности, не принимая представления марксизма об истории как строго детерминистском процессе, можно согласиться с тем, что отчуждение (гегелевское Entfremdung) есть решающее обстоятельство, обусловливающее включение человека в природу и историю. Наука, культура, социальное неотделимы от процесса отчуждения и являются его специфическими версиями, конкретными формами рефлексии.

Математика — это рефлексия индивидуального «я» над дедуктивными структурами сознания, противостоящими как объекту, так и субъекту — «я» в форме идеальных логических структур. А историческое познание — это рефлексия коллективного «мы» над разворачивающимися во времени и пространстве структурами социального. Именно в данном обстоятельстве заключается принципиальное различие между ними, тогда как сходство между историей и математикой может быть обнаружено лишь с учетом особого характера выше описанных связей между теоретическими понятиями и объектами познания, поскольку наука не есть просто набор эмпирических связей, а главным образом метод, каким эти факты обрабатываются. Решающим требованием следует считать требование полноты и непротиворечивости математических и исторических теорий. Эти критерии не являются абсолютными для всех эпох, но изменяются во времени:

— непротиворечивость — отсутствие взаимоисключающих суждений при формулировании всего множества теоретических смыслов извлекаемых из теории;

— полнота — требование максимального учета актуальных связей между утверждениями теории и содержательным контекстом.

Можно указать, что требования непротиворечивости и полноты генетически связаны с историческими формами использования рассудка и разума в смысле Канта [23]. Рассудок контролирует логическую сторону теоретического процесса, а разум отвечает за отбор фактов и формулирование понятий. Рациональное, рассудочное мышление принципиально односторонне и требует обращения к разуму, что означает неизбежное устаревание теории, в ходе познания сталкивающейся со своими опровержениями. Очевидно, что здесь нет принципиального различия между физикой и историей, но есть фундаментальное различие между ними и математикой. Так, А. Пуанкаре утверждал, что «вопрос этот представляется как натуралисту, так и историку: он представляется так же и математику: руководящие принципы для тех и других заключают в себе общие стороны» [24]. Да, с учетом того, что мы различаем рассудок и разум.

Объекты исторической науки как формы коллективной рефлексии над темпоральными аспектами бытия с необходимостью требуют наличия методов их верификации — факты, изучаемые историей, должны быть подтверждены присутствием материальных свидетельств. Объекты математического мышления такого подтверждения не требуют, они не связаны с объектами реальности. Как утверждал Д. Гильберт: «В математике существовать означает быть свободным от противоречий» [25]. Но драма познания состоит в том, что только с помощью мышления невозможно установить истинную непротиворечивость теории.

Сами представления об объективности и закономерности в рамках теории имеют исторически ограниченный характер, не являясь справедливым на все времена. Во всякой теории имеется известное количество отвлеченных понятий, гипотез, опытных фактов, логических дедукций, образующих одно сложное, составное целое, части которого можно отделить лишь с трудом, поэтому, вообще говоря, никакой опыт не может ручаться нам за истинность одного какого-нибудь из входящих в эту комбинацию элементов. Благодаря этому нередко параллельно друг с другом развиваются различные теории, служащие для объяснения одной и той же группы явлений. Значительная часть прогресса наук состоит в том, что мы все точнее и точнее познаем объективные элементы вещей. Это выражается словами, что наука стремиться стать все более и более объективной. Эта сторона развития науки неизбежно влияет на образование отвлеченных понятий и комбинаций из них. Тем не менее, мы должны признать, что полная объективность науки — это химера. Наша наука, созданная нами и с помощью наших органов чувств, всегда будет соответствовать нашим меркам, всегда будет до некоторой степени зависеть от наших отношений к внешнему миру. Необходимо учитывать плохо формализуемое представление о месте и статусе познания. Кантовский вопрос, что такое человек, будет всегда актуален. Таким образом, абсолютно точных законов, абсолютно объективных и абсолютно достоверных нельзя обнаружить нигде, кроме математики.

Фундаментальное сходство гуманитарного и естественнонаучного познания заключается в том, что его процедуры совпадают. Процесс формулирования фундаментальных принципов и выбора теоретических понятий можно разбить на следующие стадии:

— стадия выбора сферы научного исследования состоит из этапов:

1. Выявление экспериментальных фактов;
2. Обнаружение отношений между ними;
3. Формулирование понятий теории;
4. Установление иерархии этих понятий — построение теории;
5. Описание синтаксиса теории.

— стадия теоретического анализа — установление теоретической полноты и непротиворечивости:

1. Установление связей между объектами теории и объектами реальности;
2. Формализация отношений внутри теории;
3. Моделирование логической структуры теории;
4. Объяснение через соотнесение с научным ядром;
5. Интерпретация полученных зависимостей.

— третья стадия заключается в выявлении смыслов, подтверждающих или разрушающих когерентность (соответствие) между теоретической моделью и соответствующим фрагментом реальности, соотношения:

1. Факт—значение;
2. Отношение—закон;
3. Модель—контекст;
4. Интерпретация—объяснение;
5. Объяснение—понимание.

Отсюда ясно, что семантическая незамкнутость теории не позволяет нам утверждать, что полученные нами утверждения в науках о природе и духе имеют абсолютный характер. Наука, отвечая на вопросы, занята поиском смыслов, вопрос же о существе истины средствами теоретического анализа окончательно установить невозможно. Это задача философии и метафизики. Современный кризис науки есть кризис метафизики декартовского типа, исходящий из противопоставления субъекта объекту и видящего связь между ними только на основе принципов логики или психологии.

Парадоксальным образом метафизическая установка познания актуализируется через историцистскую парадигму, но историцизм — неустранимо метафизичен. Вот существо фундаментального эпистемологического конфликта. Приведем слова Ф. Ницше: «Ложность суждения еще не служит для нас возражением против суждения; это, быть может, самый странный из наших парадоксов. Вопрос в том, насколько суждение споспешествует жизни, поддерживает жизнь, поддерживает вид, даже, возможно способствует воспитанию вида; и мы решительно готовы утверждать, что самые ложные суждения (к которым относятся синтетические суждения априори) — для нас самые необходимые, что без допущения логических фикций, без сравнивания действительности с чисто вымышленным миром, самотождественного, без постоянного фальсифицирования мира посредством числа человек не мог бы жить, что отречение от ложных суждений было бы отречением от жизни, отрицанием жизни. Признать ложь за условие, от которого зависит жизнь, — это, конечно, рискованный способ сопротивляться привычному чувству ценности вещей, и философия, отваживаясь на это, ставит себя уже одним этим по ту сторону добра и зла» [26].

Таким образом, даже из краткого анализа проблем исторического познания в связи с применением в нем формально-логических методов современной математики следует, что адекватность их применения может быть установлена только на основе фундаментальных соотношений между историческим познанием, математическим мышлением и философскими проблемами. Ключевая роль различных типов рациональности и их связи с проблемами познания нуждается в дополнительном осмыслении. Ясно, что применение математических методов есть проекция формально-логических конструкций математики в проблематику исторического познания, но не прямое использование только методов линейной статистики и количественного анализа.

Истинное понимание адекватности научных результатов, полученных с использованием дедуктивных методов на основе формализованных связей исторического познания и математического мышления, требует осознания их методов не только как методов формальных замкнутых теорий, но как семантически открытых структур, обладающих собственным оригинальным синтаксисом, а значит, собственными требованиями к строгости теоретических построений.

Таким образом, вопрос о методах исторического и естественнонаучного познания не является простым, он требует тщательного обсуждения. Их сходство и различие не может быть выявлено без обращения к проблемам, как мышления вообще, так и к проблеме его связи с фундаментальными характеристиками математического мышления. Ясно, что в центре математики лежат представления о синтаксической точности, а в гуманитарной науке — о семантической строгости.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1988.
2. Вригт Г.Х. фон. Объяснение и понимание // Вригт Г.Х. фон. Логико-философские исследования: Избранные труды. М., 1986.
3. Шарин В.И. Концептуальное единство науки и образования // Интеграция академической науки и высшего образования. Екатеринбург, 1997. С. 126.
4. Лосев А.Ф. Вещь и имя // Лосев А.Ф. Бытие, имя, космос. М., 1993.
5. Риккерт Г. Философия истории // Риккерт Г. Философия жизни. Киев, 1998.
6. Барт Р. Труды по семиотике. М., 1992.
7. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
8. Делез Ж. Логика смыслов. М., 1998.
9. Рассел Б. История западной философии. Ростов-на-Д., 1998. С. 52.
10. Вопенка П. Математика в альтернативной теории множеств. М., 1983. С. 122.
11. Бахтин М.М. Из записей 1970—1972 годов // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 353.
12. Шарин В.И. Научное познание — между метафизикой и историцизмом // Гуманитарное знание и образование на рубеже тысячелетий. Екатеринбург, 2000. С. 11.
13. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Т. 1—3. М., 1970—1972.
14. Вигнер Ю. О непостижимой эффективности математики в естественных науках // Вигнер Ю. О симметрии. М., 1974.
15. Энгелер Р. Метаматематика элементарной математики. М., 1985.
16. Шарин В.И. Указ. Соч. С. 12.
17. Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М., 1993. С. 64.
18. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа // Соч. Т. 4. М., 1959.
19. Шарин В.И. Новый информационный порядок 2. Этос прибора — между кодом и языком // Человек и общество в информационном измерении. Екатеринбург, 2001. С. 385.
20. Hampshire St. Thought and action. N.Y., 1960. P. 13.
21. Элиаде М. Йога: бессмертие и свобода. М., 1999. С. 54.
22. Гегель Г.В.Ф. Указ. соч.
23. Кант И. Критика чистого разума. М., 1994.
24. Пуанкаре А. Наука и метод // Пуанкаре А. О Науке. М., 1983. С. 285.
25. Гильберт Д., Бернайс П. Основания математики. Т. 1. М., 1979. С. 43.
26. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Соч. Т. 2. М., 1990. С. 243.

HISTORICAL KNOWLEDGE AND MATHEMATICAL THINKING AS THE FORMS OF SCIENTIFIC REFLECTION

The correlation between historical knowledge and mathematical thinking against a background of fundamental epistemological problems is analyzed in this paper. The idea of a particular type of rationality — a conceptual rationality — capable of teleological and axiological rationality integrating in a unified system is introduced. The ratio between objects and theoretical concepts in sciences and arts and structures of mathematical thought is considered. This serves the basis for the types of formal links between objects and concepts formulation.

V.I. Sharin

О.Г. Дука

ВЕРОЯТНОСТНО-СМЫСЛОВОЙ ПОДХОД КАК ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕОРИЙ И КОНЦЕПЦИЙ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

В процессе изучения теорий и концепций исторического процесса невозможно не столкнуться с проблемой выбора метаязыка, на котором они будут описаны. В его выборе мы руководствовались следующими соображениями.

Историческая действительность — умозрительный, виртуальный конструкт. Теории, концепции исторического развития есть прежде всего смысловые конструкции, с помощью которых объясняется, осмысливается, интерпретируется историческая действительность. Следовательно, они могут быть описаны языком семиотики — науки о знаковых, смысловых системах. Так мы обратились к семиотике, с позиций которой все теории и концепции описываются как равнозначные — семиотические, знаковые системы. С позиций семиотики нам удалось единообразно структурировать, а следовательно — сравнить теории и концепции. У каждой из них были выделены свои синтаксический, семантический и прагматический аспекты. С позиций семиотики были созданы абстракции еще более высокого уровня — динамические семиотические системы, — корреляционно связанные группы теорий и концепций исторического процесса.

На втором этапе исследования особую значимость приобрел семантический аспект теорий и концепций. Но язык семиотики не позволял детально и предметно работать с ним: он оказался слишком абстрактным. Так возникла необходимость в метаязыке второго приближения — теоретическом языке, на котором могли бы быть описаны и сопоставлены планы значения анализируемых теорий и концепций. Таким языком стал язык герменевтики — учения о понимании — менее абстрактный, чем метаязык семиотики, более отвечающий задачам новой стадии исследования и не вступающий в противоречие с метаязыком «первого приближения». Обращение к герменевтике было обусловлено и тем, что необходимо было определиться, в каком смысловом значении нами будут использоваться понятия «понимание», «смысл».

Анализ трудов специалистов по герменевтике показал, что язык герменевтики адекватен как метаязык задачам второй стадии настоящего исследования. С его позиций продуктивно анализируются не только семиотические составляющие теорий и концепций исторического процесса, но и сам процесс исторического познания как процесс понимания, интерпретации истории. Задачам и духу исследования в наибольшей степени соответствуют истолкование А.Л. Никифоровым процедуры интерпретации как придания, приписывания смысла тому, что мы понимаем, и его же идея о эпистемологической равнозначности всех (в том числе и авторской) интерпретаций [1].

Смысловая многозначность терминологического аппарата теорий и концепций исторического процесса предопределила наш подход к анализу их смыслового содержания с позиций *вероятностных* методов исследования. Их язык пополнил терминологию метаязыка второго приближения.

Обратясь к трудам специалистов по вероятностным методам исследования, мы пришли к выводу, что вероятностная идея прочно вошла в структуру современного научного мышления. Она является одной из базисных идей формирующейся сегодня новой научной модели мира и познания.

Вероятностная идея занимает все более прочные позиции и в современной исторической науке. Свидетельством тому является разработка понятия тернарной причинности.

В нашем исследовании пересеклись два направления отхода от классического детерминизма. Первое — введение в теорию исторического познания понятия вероятности как его существенного компонента. Второе — появление в исторической науке новых представлений об исторической реальности (как реальности условной, вероятностной). Ни одно из этих направлений в отдельности не дало решающих аргументов против жесткого детерминизма. В первом случае всегда оставалась возможность сослаться на неполноту описания исторической реальности классическими статистическими методами. Во втором же случае перед концепцией классического детерминизма вообще не возникало явных проблем, поскольку описание новых видов реальности осуществляется на основе законов однозначной, жесткой детерминации.

В нашем исследовании вводится такой новый тип исторической реальности, полное описание которого делается *целиком* на основании вероятностных методов исследования.

Применение вероятностных методов исследования в исторической науке вполне целесообразно. Анализ гносеологической природы исторических знаний показывает их вероятностный характер. Это связано, во-первых, с тем, что эти знания не полные, истинные лишь в известной степени, т. к. они нуждаются в дальнейшем обосновании. Во-вторых, вероятностный характер гносеологической природы исторических знаний во многом обусловлен эвристическим характером исторической аргументации, когда степень доказательности, правдоподобия каждой конкретной системы аргументов может быть определена только средствами ситуационной логики. В-третьих, вероятностная природа исторических знаний проявляется и в том, что изучение предполагает неоднозначный или множественный характер интерпретаций, что связано с различиями действующих в разных социальных средах, в разные эпохи систем ценностей и оценок. Наконец, это связано, с полисемантичностью исторических понятий, обусловленной субъект-объектной корреляцией на уровне источника и стихийным характером их номинации.

Неопределенность большинства исторических понятий влечет за собой и неопределенность отношений между ними. Отсюда — вполне закономерный вывод о том, что разнообразные теоретические системы, описывающие исторический процесс, можно рассматривать как вероятностно упорядоченные смысловые структуры, которые целесообразно анализировать с использованием приемов и методов многозначных, вероятностных логик. Мы остановили свой выбор на вероятностной логике В.В. Налимова, созданной для анализа именно смысловых структур.

На основе динамической модели семиотических систем Ю.М. Лотмана [2], семантической концепции понимания А.Л. Никифорова [3], вероятностной логики В.В. Налимова [4] и деятельностного подхода А.Н. Леонтьева [5] нами

была разработана новая технология научного исследования — вероятностно-смысловой подход.

Суть его состоит в следующем. Историческое пространство рассматривается нами как пространство семантическое, т.е. заполненное смыслами — раскрытыми и нераскрытыми. Понятие смысла при этом трактуется как субъективная ценностная значимость. Каждая смысловая единица (понятие, образ, представление, факт-знание) рассматривается как понятие с размытым смысловым содержанием. Целью познания истории с позиций вероятностно-смыслового подхода является понимание — уяснение смыслов. Процесс исторического познания поэтому рассматривается как процесс интерпретации и ре-интерпретации смысла истории.

Интерпретация осуществляется посредством априорного вероятностного приписывания смыслов понятиям. Вероятностная мера при этом задается фильтрами предпочтения — теми или иными идеями, принципами и другими критериями истины, которых придерживается интерпретатор. Появление конкретных фильтров предпочтения в процессе познания носит спонтанный характер.

Результатом познания является конструирование вероятностно упорядоченных смысловых структур — исторических теоретических систем. Поскольку вероятностная логика не знает закона исключения третьего, то интерпретации не подразделяются на истинные и ложные. Истина признается как бы «распределенной» между всеми вероятностно упорядоченными структурами. Интерпретации рассматриваются как равноценные в эпистемологическом отношении срезы в видении объекта. Не является исключением и обобщающая интерпретация истории. За ней признается лишь одно преимущество — большая разъяснительная сила.

Вероятностно-смысловой подход в историческом познании является отражением вероятностной революции в мировой науке. Кроме того, он больше соответствует характеру научного творчества, которое осуществляется в режиме не Аристотелевой, а вероятностной логики, где привлекаются механизмы интуиции.

С позиций вероятностно-смыслового подхода нами была разработана концепция процесса исторического познания. Ее системообразующим компонентом стало понятие эпистемологического образа. Если в объяснении процедуры интерпретации исторической действительности использовались результаты когнитивно-психологических исследований на основе ассоциативной модели мышления, то при описании и анализе эпистемологических образов — результаты исследований на основе другой модели исследования, опирающейся на идею внутреннего представления проблемной области, на знания о ее особенностях, закономерностях и процедурах в ней.

Эпистемологические образы — это своеобразные, многокатегориальные семиотические гомеостаты — смысловые единицы сознания, характеризующие фундаментальные свойства окружающей действительности. С одной стороны, они представляют собой емкую форму репрезентации окружающей действительности, с другой стороны — играют роль фильтров предпочтения в интерпретации исторической действительности.

Анализ процесса познания с позиций вероятностно-смыслового подхода позволил нам выяснить гносеологическую природу вероятностного содержания ис-

торических знаний. Оказалось, что познавательные ситуации, порождающие это содержание исторических знаний и предусматривающие осуществление процедуры вероятностного взвешивания смыслов, возникают и на имманентном, и на оценочном уровне изучения прошлого. Но решающее значение имеет в этом смысле процедура ценностного обоснования знания.

Анализ содержания эпистемологических образов научной рациональности, научной истины, исторического времени, исторического пространства, исторического процесса подтверждает этот вывод. Он показывает, что конкретными факторами, обусловливающими многозначный, вероятностный характер исторических знаний в процессе интерпретации, являются главным образом ценностные компоненты их содержания.

Анализ многочисленных современных отечественных теорий и концепций исторического процесса позволил выделить как минимум 14 интерпретаций истории России. Это явление следует оценивать как нормальное, естественное, характеризующее историю как живую, саморазвивающуюся науку. Процесс реинтерпретации истории, искусственно сдерживаемый в советское время, был простимулирован очевидной несостоятельностью традиционной советской концепции истории и вызванным этим методологическим кризисом.

Анализ теорий и концепций А.С. Ахиезера [6], О.Э. Бессоновой [7], С.Г. Гомаюнова [8], Л.Е. Гринина [9], Л.Н. Гумилева [10], Л.Е. Зильберглейта и Е.Б. Чернявского [11], Е.М. Ковалева [12], Л.В. Милова [13], Е.Д. Панова [14], А.И. Ракитова [15], Л.И. Семенниковой [16], А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского [17], И.Г. Яковенко [18], Ю.В. Яковца [19], традиционной советской концепции с позиций вероятностно-смыслового подхода показывает, что процесс исторического познания развивается как вероятностно детерминированный процесс. Появление новой интерпретации подготавливается всем ходом предшествующего развития науки. Но выбор автором того или иного конкретного фильтра предпочтения всегда носит спонтанный, самопроизвольный характер; помимо эпистемологических образов в роли фильтров предпочтения выступают другие вероятностно-упорядоченные смысловые структуры — теории и концепции. Для новых классических интерпретаций в этой роли выступают традиционные немарксистские методологии, для неклассических — смежные с историей гуманитарные науки, для постнеклассических — естественные науки; новые смыслы рождаются на стыках смысловых структур. Конкретными приемами смыслообразования являются: образование двухсловных терминов; «наращивание» смысла термина; отождествление смыслового значения разных терминов; соподчинение их смысла; обобщение их смысла; изменения смысла термина под влиянием изменения контекста; создание системы фильтров предпочтений (двойной, тройной и т.д., действующих параллельно и последовательно); общая закономерность процесса реинтерпретации истории состоит в росте числа распакованных смыслов в семиотическом историческом пространстве. Являясь генетическими предшественниками новых смыслов, старые смыслы остаются на смысловом континууме. Они вступают с новыми смыслами в конкурентные и партнерские отношения, порождая смыслы «третьего» поколения. Т. е. образуется такая система взаимоотношений, в которой каждый смысл

многократно (но в разных отношениях) выступает и причиной, и следствием. Старые же смыслы, прекратившие свое участие в процессе смыслообразования, превращаются в симулякры первого, второго и т.д. уровня; несмотря на смысловое разнообразие, интерпретации истории можно систематизировать с позиций вероятностно-смыслового подхода. Теории и концепции исторического процесса как статические семиотические системы, ориентированные на передачу примарной информации, объединяются в корреляционно связанные группы — по парадигмам научного мышления. Эти группы рассматриваются как динамические семиотические системы, ориентированные на передачу вторичной информации — обобщающих интерпретаций. Составляя друг для друга внесистемное окружение, они выполняют функцию динамического резерва, за счет которого происходит обновление их внутреннего смыслового пространства; корреляционно связанные группы теорий и концепций исторического процесса функционируют как гомеостаты постоянства отдельных параметров. Этими параметрами являются принципы классического, неклассического и постнеклассического научного мышления, эпистемологические образы исторического времени, исторического пространства, исторического процесса и научной истины, соответствующие этим принципам; сравнительный анализ корреляционно связанных групп теорий и концепций исторического процесса показывает, что они глубоко взаимосвязаны и детерминируют друг друга. Причем детерминации не сводятся к причинно-следственным связям. Здесь имеют место и целевая, и корреляционная, и системная детерминации. Все это позволяет создать обобщающую вероятностно упорядоченную смысловую структуру — вероятностно-смысловую концепцию исторического процесса.

Вероятностно-смысловой подход, основанный на признании возможности полионтичности исторической реальности, вероятного характера научных знаний о ней, предлагает принципиально новую в исторической науке парадигму научного мышления, в которой фиксируется сложность устройства исторической реальности.

Вероятностно-смысловой подход наряду с другими вероятностными методами исследования образует основу нового — вероятностного стиля научного мышления в исторической науке.

В основе этого стиля мышления лежит идея случайности как одного из самостоятельных начал мира, его строения и эволюции и вытекающая отсюда субординация между понятиями, характеризующимися через категории необходимости и случайности. Вероятностные понятия, отражающие роль случайности, становятся одним из основных логических классов понятий теорий. Включение же в логическую структуру теорий вероятностных понятий влечет за собой соответствующие изменения в формулировании исходных принципов логического построения теорий, в постановке исследовательских задач.

Второй отличительной чертой вероятностного стиля мышления является выделение в структуре изучаемого объекта как минимум двух автономных, неравноценных по всем своим параметрам, уровней, связи между которыми характеризуются гибкостью, многозначностью. Именно идея уровней придает внутреннюю гибкость вероятностному стилю мышления, делает его более содер-

жательным и глубоким в сравнении с классическим стилем научного мышления, основанном на схеме жесткой детерминации [20].

Вместе с тем следует подчеркнуть: не сами по себе вероятностные методы, а понимание того, как их использовать, сделать инструментом исследования — вот где скрыто то, что можно назвать вероятностным стилем мышления. Вероятностно-смысловой подход, являясь не только формой вероятностного стиля мышления, но и технологией его формирования, способствует успешному решению этой задачи.

Овладение историком логикой вероятностно-герменевтических суждений расширяет его интеллектуальные возможности, делает его профессиональное мышление гибким, полилогичным. В частности, язык вероятностно-смыслового подхода делает возможным использование в творческой лаборатории историка вероятностных методов, применяемых в исследованиях по логике, информатике, синергетике.

Вероятностно-смысловой подход позволяет глубже осознать многомерный характер исторической действительности, безграничность процесса ее познания. Сам факт осознания историком вероятного характера исторического знания придает характеру научного творчества большую рефлексивность и самокритичность. Понимание того, что его интерпретация не является «истиной в последней инстанции», делает его сознание открытым для восприятия других подходов, их принятия и творческого использования.

Понимание субъективности исторического познания, вероятного характера знаний о многоаспектой по природе исторической действительности научным сообществом историков позволит окончательно изжить монологический подход к оценке результатов исследований, при котором признается правильной только интерпретация.

На основе вероятно-смыслового подхода становится возможным продуктивный диалог гуманитарных и естественных наук. Вероятностный стиль мышления проникает во все отрасли знания, вследствие чего во многих естественнонаучных и гуманитарных исследованиях обнаруживается тождество структуры мысли, особенно на уровне обобщений. Структурное тождество теорий, анализирующих природные, социальные и мыслительные процессы, вероятностных по своей сути, является важнейшей предпосылкой создания многоаспектной теории исторического процесса, воссоздающей «голографический», максимально приближенный к истине образ исторической действительности.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Никифоров А.Л. Семантическая концепция понимания // Загадка человеческого понимания. М.: Политиздат, 1991. С. 72—94.

2. Лотман Ю.М. Динамическая модель семиотических систем // Избранные статьи. В 3-х т. Т. 1. Таллинн: Александра, 1992. С. 90—95.

3. Никифоров А.Л. Указ. соч.

4. Налимов В.В. Спонтанность сознания. Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника. М.: Изд.-во «Прометей» МГПИ им. В.И. Ленина, 1989.

5. Леонтьев А.Н. Человек. Сознание. Деятельность. 2-е изд. М.: Политиздат, 1977.

6. Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. Т. I: От прошлого к будущему. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997.
7. Бессонова О.Э. Институциональная теория хозяйственного развития России // Свободная мысль. 2000. № 1. С. 95—100.
8. Гомаюнов С.Г. От истории синергетики к синергетике истории // Общественные науки и современность. 1994. № 2. С. 99—106.
9. Гринин Л.Е. Формации и цивилизации // Философия и общество. 1997. №№ 11—12.
10. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Свод № 3. Международный альманах. М.: Танаис ДИ-ДИК, 1994.
11. Зильберглейт Л.Е., Чернявский Е.Б. Термодинамика истории и феномен России (опыт естественной периодизации) // Человек. 1996. № 3. С. 47—48.
12. Ковалев Е.М. Гуманитарная география России. М.: ЛА «Варяг», 1995.
13. Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М.: РОСПЭН, 1998.
14. Ракитов А.И., Панов Е.Д. Путь России: понять и жить. Социально-философские этюды. М.: Изд.-во «Республика», 1995.
15. Ракитов А.И. Историческое познание: системно-гносеологический подход. М.: Политиздат, 1982.
16. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. Брянск: Курсив, 1996.
17. Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Русь и Рим. М., 1999.
18. Яковенко И.Г. Цивилизация и варварство в истории России. Ст. I: Варварство: социологическая модель // Общественные науки и современность. 1995. №№ 4—6, 1996, №№ 1—2.
19. Яковец Ю.В. История цивилизаций. М., 1995.
20. См.: Сачков Ю.В. Введение в вероятностный мир. Вопросы методологии. М.: Наука, 1971. С. 204.

THE PROBABILITY—SEMANTIC APPROACH AS A TECHNOLOGY FOR THE STUDY OF THEORIES AND CONCEPTS OF HISTORICAL PROCESS

The text of the article reveals the essence of a new research technique applied to the study of theoretical scientific systems of history. It is called the probability-semantic approach and is based on the synthesis of ideas of semiotics, hermeneutics, cognitive psychology and probability logic. Significance of the approach for appearance of a new, probability style, of scientific historical thinking is substantiated.

O.G. Duka

И.В. Побережников

СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЯХ

Со времен Томаса Гоббса проблема *порядка* занимала ключевые позиции в социальном и гуманитарном познании [1]. В XIX в., вследствие осознания грандиозности социальных последствий индустриализации для стран Европы и Северной Америки и фундаментальных отличий последних от традиционных обществ других частей света, к ней прибавилась проблема социального изменения [2]. Изменения, перемены так же присущи обществам, как и тенденции к упорядочиванию и организации социальной жизни. Стабильный порядок и вариативная изменчивость лишь на первый взгляд могут представляться в качестве полярных состояний общества. В действительности, с одной стороны, поддержание порядка, социальной организации требует осуществления множества разноплановых и разномасштабных социальных изменений, призванных обеспечивать ответы на вызовы внешней среды (по отношению к данному порядку), а также на энтропийные внутрисредовые процессы. С другой стороны, динамические процессы также могут рассматриваться как предпосылки социальной кристаллизации, становления определенных социальных упорядоченностей, структур, взаимосвязанных целостностей [3].

Можно утверждать, что между порядком и изменением в области социальной реальности существует непрерывная диалектическая связь. Сложно дать окончательный ответ на вопрос, что же является первичным, а что вторичным в рамках этой тесно связанной пары категорий. Изменение, все таки, представляется более универсальным явлением, поскольку именно оно лежит, как ни парадоксально это звучит, в основе социального порядка. По меньшей мере, представляется не корректным придавать социальному изменению подчиненный статус относительно социального порядка (памятуя поиски инвариантных универсалий, которым, как считают многие, подчиняются динамические процессы, возможно, было бы более правильным отнести данную проблему определения первичного начала к числу принципиально не разрешимых — типа, что первичнее: курица или яйцо).

Особое отношение к социальному изменению у специалистов, занимающихся изучением прошлого. Темпоральность — непременный атрибут той предметной области, которая интересует историков. Между тем, весь опыт исторического познания убеждает, что не бывает абсолютно изоморфных исторических ситуаций, фиксируемых на разные моменты времени. Историческая ситуация ($Т_1$) будет обязательно чем-то — пускай, трудно уловимым, — отличаться от исторической ситуации ($Т_2$). Еще представитель второго поколения древнегреческих философов Гераклит утверждал, что все находится в состоянии постоянного изменения или движения, нельзя дважды войти в одну и ту же реку — ведь во второй раз другой будет река (прежняя вода утечет), да и человек несколько изменится. Реконструкция последовательности исторических ситуаций, привязанных к вектору хронологической последовательности — традиционная про-

цедура исторического исследования. Таким образом, анализ изменений органически входит в арсенал познавательных приемов историка. В связи с этим исследование параметров социального изменения, систематизация подходов, применимых к его изучению, заслуживают особого внимания.

Концептуализация понятия *социальное изменение*

Понятие *социальное изменение* в высшей степени многогранно, оно охватывает трансформации социальных структур, практик, возникновение новых или обеспечение функционирования прежних групп, форм взаимодействия и поведения. В социальной среде (на разных ее уровнях: принято говорить о микро-, мезо- и макроуровне, — хотя список их может быть детализирован) происходят демографические, экологические, технологические, экономические, политические, социокультурные, социально-психологические (и т.д.) изменения различной скорости, масштаба, сложности, направленности.

Все эти мириады перемен вызываются различными причинами (факторами, источниками), иерархию которых очень сложно реконструировать, поскольку их множество (здесь, среди прочего, и врожденное любопытство человека, его вечное стремление к экспериментированию, освоению и исследованию новых неизвестных доселе пространств, преодолению созданных им же проблем), между ними существуют достаточно тесные и порой запутанные взаимосвязи. Структурные (интересы и ценности социальных групп), нормативные (системы норм и обычаев) и поведенческие (индивидуальные предпочтения) факторы представляют значительную, хотя, конечно, далеко не полную совокупность источников социальных изменений. В обществоведении существуют две полярные позиции по поводу объяснения источника социальных изменений: 1) *детерминистская*, сторонники которой пытаются обнаружить единственную причину («перводвигатель»), объясняющую всю совокупность последующих общественных изменений (возможен, например, географический, демографический, технологический, экономический, конфликтологический, политический, идеологический детерминизм; и т.д.); 2) *плюралистическая*, более предпочтительная, представители которой акцентируют внимание на множественности факторов социальной динамики и на обоюдности их влияний.

Не претендуя на выявление первопричин социальных изменений, попытаемся выделить лишь некоторые линии причинно-следственных зависимостей.

Природно-климатические изменения, несомненно, вызывают соответствующие социальные реакции. Наводнения, засухи, ураганы, длительные изменения климата приводят к демографическим трансформациям, миграциям, сдвигам в структурах занятости. Социокультурная и политическая организация общества зависит от физического окружения, особенно в экстремальных ситуациях. Географические условия становились катализатором социальных и политических изменений, приводивших к возникновению государства и его эволюции. Так, исследователи полагают, что возникновение государств на обширных территориях, с сильной централизованной властью, имеющей деспотический характер, было связано с формированием так «называемого азиатского способа производства», географической основой которого была необходимость проведения в

широких масштабах ирригационных работ. Порой географические и связанные с ними демографические условия (например, проживание немногочисленных индейских племен на бескрайних просторах Северной Америки) не могли способствовать быстрому образованию государства хотя бы по причине недостаточной концентрации населения и вытекающей отсюда невозможности создания сильных центров власти. По мнению академика РАН Л.В. Милова, именно природно-климатический фактор (существование российского социума в суровых природно-климатических условиях) оказывал определяющее воздействие на характер и темпы развития российской государственности: сравнительно позднее возникновение государственности; длительность самодержавной формы управления; широкие хозяйственно-экономические функции государства; активность государства в области создания так называемых «всеобщих условий труда» [4]. Известный американский россиевед Р. Пайпс также отводит значительное место географическому фактору при анализе истории российского общества. Огромные размеры России и отсутствие естественных границ приводили, по его мнению, к необычайному расширению территории Русского государства. Правительство, в силу своей бедности, а также из-за слабости коммуникаций, больше полагалось на произвол администраторов, препятствуя развитию самоуправления, эффективных правовых институтов, обеспечению прав человека. Располагая огромными природными ресурсами, Россия не имела средств для их использования. Развитию торговой цивилизации и городской жизни мешала удаленность от морей и мировых торговых центров. Культурная жизнь в этих условиях определялась религией и церковью. Окруженная мусульманами и католиками, Россия ощущала себя изолированной и отчужденной, а это, в свою очередь, как считает Р. Пайпс, порождало настроения мессианства. Вера в особый путь, утверждает американский историк, оказала скорее разрушительный эффект на эволюцию России как при царях, так и при коммунистах [5]. И все же, преувеличивать воздействие географической среды на социальные процессы не следует. «Имелись случаи, когда люди, обладающие самой примитивной технологией, — справедливо отмечает один из крупнейших современных социологов Э. Гидденс, — создавали продуктивную экономику в достаточно негостеприимных условиях. И наоборот, охотники и собиратели часто населяли очень плодородные регионы, но никакими видами скотоводства или земледелия не занимались. Это означает, что вряд ли можно говорить о существовании прямой и постоянной связи между природной средой и типом производственной системы данного общества» [6].

Демографические сдвиги (изменения в количестве, составе, распределении населения) справедливо рассматриваются в качестве важного двигателя социальной динамики. Население имеет тенденцию к росту, когда в наличии имеется достаточно продовольствия. В свою очередь, увеличивающаяся в размерах человеческая популяция вынуждена искать более эффективные технологии (агрикультурные инновации или новые формы социальной организации) для обеспечения производства большего количества продуктов. Если все же прирост населения опережает производство продовольствия, возможны наступление голода и эпидемий, эскалация конфликтов и войн или миграции части населения

на новые территории с целью поиска средств к существованию. Подобные сценарии были широко представлены в истории как доиндустриальных обществ древности и средних веков [7], так и в новое и новейшее время (например, массовые миграции в Северную Америку и Австралию из плотно заселенных районов Западной Европы в период новой истории; или постоянная конфликтность в современных голодающих регионах Третьего мира).

Социальные изменения находятся в значительной зависимости от *технологических сдвигов*, технологического прогресса. Технологические новшества способствовали повышению возможностей адаптации общества к окружающей среде, росту производительности труда, изменению структуры производства, трудовых ресурсов, системы расселения, образа жизни. Тесная связь, которую подчеркивают сторонники модернизационного подхода, между индустриализацией (переходом от ручного к машинному труду), с одной стороны, и множеством прогрессивных динамических процессов в других социальных областях, с другой стороны (демографическая революция; утверждение открытой системы стратификации с высоким уровнем социальной мобильности; переход от племенных или феодальных структур к бюрократическому устройству демократического или тоталитарного типа; снижение роли и влияния религии; отделение функции образования от семьи и общины, удлинение и обогащение образовательного процесса; рост «массовой культуры»; развитие средств массовой информации и т.д.), не вызывает сомнений.

Идеи технологического детерминизма (придания технологическим факторам решающего значения в процессе социального развития) лежат в основе многих схем исторической эволюции общества. Ряд тезисов основоположников исторического материализма дает основание для трактовки их в духе технологического детерминизма. Так, согласно формуле К. Маркса, «ручная мельница дает вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница — общество с промышленным капиталистом». «Орудия дикаря обусловливают его общество совершенно в той же мере, как новейшие орудия — капиталистическое общество», — писал Ф. Энгельс К. Каутскому от 26 июня 1884 г. В работе В.И. Ленина «Развитие капитализма в России» различия между пореформенной и предшествующей эпохами даны в терминах технологистского объяснения: «Пореформенная эпоха резко отличается в этом отношении от предыдущих эпох русской истории. Россия сохи и цепа, водяной мельницы и ручного ткацкого станка стала быстро превращаться в Россию плуга и молотилки, паровой мельницы и парового ткацкого станка» [8]. Но, все же, в историко-материалистической модели исторического процесса технологические факторы тесно увязываются с экономической организацией общества, с социальными производственными отношениями.

Более очевидна технологическая детерминация в схеме Ж. Фурастье, который предложил в свое время рисунок последовательной смены первичной, вторичной, третичной цивилизаций (преобладание, соответственно, аграрного производства, промышленности, сферы услуг и духовного производства), в основе которого лежала идея воздействия на общество достижений научно-технического прогресса, которому приписывался самодовлеющий характер, автономность от общественных отношений [9]. Более известно членение истории человечества на

доиндустриальное (аграрное), индустриальное (капиталистическое и социалистическое) и постиндустриальное общество (Д. Белл, Г. Канн, А. Турэн; технотронное — З. Бжезинский; сверхиндустриальное — А. Тоффлер; инфор-мационное — Й. Масуда, Т. Сакайя; также — супериндустриальное, кибернетическое, постмодернистское, постдефицитное, посткапиталистическое, постбуржуазное, постпредпринимательское, пострыночное общество, «третья волна», общество автоматики и связи, общество услуг, общество знаний), которое предлагается многими сторонниками концепции постиндустриального общества. Представители данной концепции также придают уровню технического развития решающее значение при определении основных стадий эволюции общества [10].

Однако, абсолютизация зависимости между изменениями производственных технологий и социальными сдвигами подвергается критике за то, что она ведет к игнорированию социальных процессов, создающих необходимые предварительные условия для изобретений и применения технологических инноваций. Технологический детерминизм камуфлирует также проблему сосуществования разнообразных социальных механизмов с различными типами технологии.

Широкое признание в социальных науках получила идея, согласно которой динамика общества в значительной степени определяется *экономическими сдвигами*. Так, в рамках марксистского подхода производственные отношения (в первую очередь, собственность на средства производства) рассматриваются как решающий фактор, детерминирующий процессы социального развития, социально-классовую структуру общества, его политическую и социокультурную надстройку. Размышляя над проблемой синхронности генезиса капиталистических отношений и рефеодализации в различных регионах Европы XVI в., известный польский экономист и историк Е. Топольский обнаруживает ряд причинно-следственных зависимостей между экономическими и социальными переменными. «Кризис сеньориальных доходов» и «повышение социально-экономической активности горожан и крестьян» приводят к «повышению активности дворянства», которое может выступать в качестве фактора «рефеодализации» (Центральная и Восточная Европа). Одновременно «повышение социально-экономической активности горожан и крестьян», а также «повышение активности дворянства» могут вызывать в качестве следствия «генезис капитализма» [11].

Противоречия интересов и борьба по поводу ограниченных ресурсов (*конфликты*) также нередко интерпретируются как весьма важные источники социальных изменений. Конфликтность обнаруживается в межцивилизационном и межстрановом пространстве, между классами, региональными и локальными, социально-профессиональными, расовыми и этно-конфессиональными группами, между институтами, ведомствами, между государством и гражданами страны и, наконец, между конкретными индивидами. При этом конфликту приписываются как деструктивные (подрывающие социальный порядок), так и конструктивные последствия (обнаружение и устранение болевых точек, дефектов общественного устройства, обновление, оживление социального организма).

Широкий круг социальных изменений связывается с внедрением *инноваций*, то есть новых способов производства [12]. При этом выделяются две разновидности инноваций: 1) *открытие* определяется как приращение знания на

основе использования некоторых уже существующих теорий; 2) *изобретение* — это облечение в некоторую новую форму наличных знаний (например, создание паровой машины, синтетических материалов или автомобиля). Инновации (и открытия, и изобретения) преимущественно являются не изолированными, случайными действиями, но результатами накопления технологического и социального знания. Последнее выступает в качестве базы, определяющей горизонты научного поиска и возможности изобретательской деятельности. Так, самая смелая попытка Леонардо да Винчи — попытка создания механического летательного аппарата — была заранее обречена на неудачу, так как такое необходимое для этого предварительное изобретение как бензиновый двигатель было все еще в далеком будущем. Поэтому великому представителю итальянского Возрождения пришлось удовлетвориться изобретением велосипеда. Вообще, трагедия гения эпохи Возрождения, по мнению известного историка науки Дж. Бернала, состояла в том, что «он мог изобретать машины чуть ли не для любой цели и рисовать их несравненно хорошо, однако почти ни одна из них и ни одна из наиболее важных не смогла бы работать, даже если бы он сумел найти достаточно денег, чтобы их сделать. Без количественного знания статики и динамики, без использования первичного двигателя вроде паровой машины инженер эпохи Возрождения фактически не мог даже выйти за пределы, установленные традиционной практикой» [13].

Социальные изменения чаще всего вызываются инновациями следующих трех типов: 1) новые технологии (автомобиль, например, революционизировал городской ландшафт и характер жизни горожан; по мнению У.Ф. Огбёрна, изобретение стартера, облегчившее и упростившее управление автомобилем, напрямую способствовало эмансипации женщин, позволив им войти в деловой мир и трансформировав их роль в рамках семейных отношений); 2) культурные новшества (новые верования, ценности, идеологические конструкции; так, по мнению Р. Нисбета, идея прогресса стимулировала стремительные технологические трансформации в Западной Европе на протяжении XVII—XVIII вв.); 3) новые формы социальной структуры (например, бюрократическая организация в свое время явилась новым типом социальной структуры, призванной справляться со сложными административными задачами, спровоцированными обществом modernity).

Существенным фактором социальных изменений выступает *диффузия* — то есть распространение инноваций, в том числе их импорт в данное общество извне [14]. Именно способность обществ заимствовать технологии, практики, институты, культурные модели выступает в качестве предпосылки ускорения социального прогресса. Процесс диффузии получает дополнительные импульсы благодаря совершенствованию транспорта и средств коммуникации, облегчивших интерсоциетальные контакты и взаимодействия внутри обществ. Распространению инноваций способствуют торговля, войны, путешествия, радио и телевидение.

Роль диффузии в истории трудно переоценить — трансляция письменности, алфавитов, мировых религий сопровождала становление цивилизаций. Весьма распространенная в Европе модель абсолютистско-полицейского государства являлась упрощенной версией популярной в Германии XVII—XVIII вв. уто-

пии так называемого полицейского государства. Известно, как широко растекались в XVIII в., переступая государственные границы, идеи Просвещения в Европе и даже в Новом Свете, какое значительное влияние они оказывали на политические и социокультурные процессы.

Индустриализация, развернувшаяся первоначально в Великобритании во второй половине XVIII в., также осуществлялась во многом в результате диффузии, а не независимого развития в рамках отдельных сообществ. Колоссальное расширение коммуникационных возможностей в современном обществе привело к превращению земного шара в своего рода «глобальную деревню» (выражение М. МакЛухана). Следствием колоссально выросшего уровня диффузии становится «революция растущих ожиданий» — стремление населения различных регионов мира, в том числе бедных, обеспечить себе образ жизни, который преподносится рекламой, телевидением, кино и который не всегда в состоянии поддерживать национальная экономика.

При этом, признавая огромную роль диффузии в процессе социальных изменений, особенно в современном мире, не следует понимать ее буквально, упрощенно, как простой перенос каких-либо явлений в пространстве. Следует помнить, что в процессе адаптации к новым условиям происходят сложные взаимодействия (включающие обоюдные влияния) между импортированными технологиями, институтами, ценностями и т.д. и средой, где они должны укорениться. Последствия диффузии одного и того же элемента или комплекса элементов для различных территорий могут быть совершенно различными (по меньшей мере, отличными). Данный тезис хорошо иллюстрирует наблюдение М. Малиа по поводу распространения в Европе пришедших на место «старого порядка» (*l'ancien régime* — то есть, абсолютная монархия, узаконенная социальная иерархия, монополия государственной церкви) структур modernity, характерных для Нового времени: «Так, начав с передового атлантического Запада, силы демократии и индустриализма, либерализма и социализма, классицизма и романтизма двигались с Запада на Восток. Однако в процессе этого движения каждый из этих аспектов современной цивилизации преображался, а иногда и искажался, по мере проникновения в неравномерно развитые зоны. Таким образом, внутри большой Европы существует ряд подразделений: англо-французский Запад, германский Центр, славянский Восток и средиземноморский Юг. Кроме того, существует дальний Запад — за Атлантическим океаном, в Америке, — сочетающий в себе элементы всех европейских подразделений» [15].

Идея обоюдного влияния и взаимообусловленной трансформации импортируемых инноваций и эндогенных традиций лежит в основе концепции парциальной (или частичной, «фрагментированной») модернизации. «Во многих обществах — писал автор данной концепции Д. Рюшемейер, — модернизированные и традиционные элементы сплетаются в причудливые структуры. Часто такие социальные несообразности представляют собой временное явление, сопровождающее ускоренные социальные изменения. Но нередко они закрепляются и сохраняются на протяжении поколений. Именно такие устойчивые формы существования разнородных социальных структур являются предметом настоящего исследования. Если давать формальное определение, то частичная

модернизация представляет собой такой процесс социальных изменений, который ведет к институционализации в одном и том же обществе относительно модернизированных социальных форм и менее модернизированных структур» [16]. Возможность парциальной модернизации связывалась с проникновением современных социокультурных практик и ценностей в слаборазвитые общества, то есть с механизмом диффузии и наличием контакта между обществами, стоящими на существенно различных ступенях развития. При этом исторический материал свидетельствовал в пользу существования достаточно широких возможностей для восприятия даже сложных институциональных и культурных феноменов обществами-реципиентами, весьма далекими от того, чтобы самостоятельно производить подобные феномены.

Нельзя обойти вниманием такой источник социальных изменений, как *нормативные системы* — субъективные регулятивы, функционирование которых основывается на способности человека подражать, действовать по образцам. Нормативные системы — исключительная принадлежность социальной реальности, не имеющая аналогов в физической реальности [17]. Нормативные системы состоят из нормативов, возникающих субъективно в целях упорядочения социальной действительности путем организации определенных линий поведения и имеющих, соответственно, субъективную природу (согласно К.Р. Попперу, «нормативное предположение о некоторой линии поведения или норме с целью принятия после последующей дискуссии и решение о принятии этой линии поведения или нормы создают эту линию поведения или норму» [18]). Это разнообразные, созданные человечеством, регулятивные системы: нормативные предписания, социальные стереотипные ценностные установки, традиции, обычаи, образцы производственной деятельности, образцы поведения, речи, мышления и т.д., которые властно вмешиваются в ход исторического процесса, дирижируя его, диктуя его конкретные шаги. Импульс субъективному регулятиву может задавать как вполне осознанное, планируемое, точно фиксируемое волеизъявление (например, в государственном законе, политике правительства), так и спонтанное, конвергентное, растянутое во времени рождение экземпляров поведения (например, традиция). Сфера и масштаб действия и последствий субъективных регулятивов могут быть различными. Одно дело — этикетная инструкция, определяющая правила поведения в быту. Другое дело — норматив, регулирующий отношения в социальной, административно-политической, экономической и др. сферах. Современные законодательные, судебные, административные институты перманентно вырабатывают новые правила человеческой жизнедеятельности (законы, инструкции и т.д.), которые могут оказывать воздействие как на все общество, так и на определенные его сегменты, изменяя природу властных и социальных отношений, перераспределяя права и обязанности, влияя на ценности, поведенческие установки, жизненные стили, приемы адаптации, институционализированные модели и практики партнерства. Правовая система выступает в качестве вездесущего инструмента социальных изменений благодаря непрерывным процессам регулирования, дерегулирования, выборочного принуждения.

Социально-психологические факторы социальных изменений также заслуживают внимания, поскольку, в конце концов, общества трансформируются благодаря тому, что меняются люди. Существо различных социально-психологических перспектив и заключается в выявлении зависимостей между изменениями психологических параметров (которые трактуются как детерминанты) и социальной динамикой. Социальные трансформации при этом могут объясняться предварительным осуществлением в рамках данного общества определенных социально-психологических мутаций; социальная стагнация связывается с отсутствием последних. Данный подход акцентирует внимание на человеке и психологических детерминантах, которые стимулируют людей осуществлять определенные виды деятельности (карьера, изобретательство, научные открытия и т.д.). Хорошо известна концепция М. Вебера, согласно которой развитие капитализма в Западной Европе было подготовлено утверждением «духа протестантизма». По мнению Д. МакКлелланда, успешная модернизация должна быть обеспечена мотивацией достижения или достижительной (ориентация на успех, активность, мобильность в противоположность традиционному образу действий), которую необходимо предварительно привить человеку [19].

Социальные изменения приобретают разнообразные конфигурации. По мнению У. Мура, можно выделить 10 моделей социальных изменений, различающихся своей направленностью [20].

Модель *постепенного и непрерывного роста (модель 1)* графически может быть изображена в виде прямой линии, плавно поднимающейся со временем снизу вверх. Подобная траектория обычно использовалась для характеристики линеарного прогресса, который в чистом виде, вероятно, в реальности не встречается. Тем не менее, данная модель может быть использована в качестве аппроксимации направления последовательности социальных изменений, которые имеют место в течение более коротких интервалов времени (например, средний рост производительности для страновой экономики).

Стадиальная ступенчатая эволюция (модель 2) — более распространенная модель социальных изменений — широко используется при характеристике процессов исторического развития. В основе данной модели лежит представление о постоянном чередовании периодов расширенного роста, стимулируемых каким-либо крупным прорывом, открытием, достижением, с периодами стабильной динамики («лестница» на диаграмме). Подобная модель вызвала к жизни схемы развития человечества через последовательности эпох или стадий (цивилизаций), где каждая последующая стадия считалась более совершенной по сравнению с предшествующей (например, известная археологическая периодизация — палеолит, мезолит, неолит, энеолит, бронзовый век, железный век; историко-материалистическое членение всемирно-исторического процесса по формациям: первобытнообщинный строй, рабовладельческое общество, феодальное общество, капитализм, коммунистическая формация). Модель 2 может использоваться и при рассмотрении социально-экономического и научно-технического прогресса («непрерывность прогресса ... сочетается с дискретностью отдельных его периодов («ступеней»), каждый из которых вызывается определенным импульсом, имеющим собственную продолжительность» [21]).

Представление о непропорциональности темпов эволюции лежит в основе следующей модели социальных изменений, которую можно идентифицировать как модель *неравномерного развития* (*модель 3*). Данная модель может быть применена для описания экономического роста, если последний представить некоторыми пиками: например, 1) первая промышленная революция конца XVIII — начала XIX в.; 2) вторая промышленная революция конца XIX — начала XX в.; 3) третья промышленная революция середины XX в., перешедшая в научно-техническую революцию [22]. В рамках данной модели весьма быстрый рост после внедрения комплекса инноваций сменяется стабилизацией темпов развития; причем интервалы динамики не отличаются симметричностью.

Модель *циклического роста* (*модель 4*) предусматривает векторную повышательную динамику, включающую циклы с фазами подъема и регресса. Считается, что данная модель позволяет, например, описывать деловые циклы, которым присущи как прогрессивные стадии (оживление, процветание, зрелость), так и стадии упадка (упадок, депрессия). Если первые, классические схемы теорий модернизации наивно строились на основе моделей непрерывного или стадиального развития (соответственно, модели 1 и 2; например, концепция стадий экономического роста У. Ростоу), то представители современного неомодернизационного анализа утверждают, что процесс модернизации не может трактоваться как непрерывный, даже если конкретным обществом пройдена стадия «взлета» («take-off»). Они обнаруживают склонность формулировать свои схемы, опираясь на модель циклического развития. Так, Э. Тирякьян подчеркивает необходимость более внимательного отношения к циклической природе процесса модернизации: «существуют периоды расширенной деятельности по изменению или совершенствованию социальных структур или институционального устройства не только внутри, но и между обществами, и имеют место другие периоды, когда наступают удовлетворенность и усталость, сопровождаемые лишь слабыми попытками подъема и обновления». Такие периоды кажущейся неактивности, отмечает исследователь, могут быть эпохами упадка (например, последовавший после грандиозного взлета период стагнации в истории Нидерландов в XVIII в.) или медленного скрытого вызревания инноваций и новой ментальности, еще не проникших в официальный институциональный порядок и властные структуры [23].

Модель 5 (*разветвленная, многолинейная динамика*) является более сложной по сравнению с предшествующими, поскольку пытается объять разнообразные возможные маршруты эволюции: стабильный рост для одних обществ, цивилизаций, сегментов общества; застойность для других; регресс и даже абсолютный упадок (завершающийся исчезновением) для третьих. При этом модель предусматривает возможность изменения траектории движения с течением времени: стабилизация или упадок после стремительного подъема; внезапный рост после длительных периодов относительно медленного развития и т.д. Графическое отображение модели дает рисунок ветвящегося дерева, протянутого вдоль временной оси. Данная модель отвечает некоторым современным концепциям модернизации, предусматривающим способность процессов перехода от традиционности к современности адаптироваться к разнообразным контек-

стам по мере их исторического развертывания, возможность осуществления модернизации в одно и то же время как в одной стране, так и в кластере стран; отказ от представления о каком-то одном фиксированном «центре modernity» и признание возможности существования нескольких «эпицентров» модернизации, число которых может пополняться, а конфигурация их — меняться [24].

Циклическая безвекторная динамика (отсутствие тренда) воплощается *моделью 6*, которая использовалась в циклических теориях общественно-исторической эволюции, например, Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, П. Сорокина. Определенную популярность в современном отечественном обществоведении получила концепция географически и культурно детерминированного циклизма российской истории, якобы вечно возвращающейся к «исторически более ранним формам» в силу недостаточного потенциала развития (А.С. Ахиезер) [25]. В рамках данной модели эволюция предстает в виде циклической флуктуации, не ведущей в конечном счете к прогрессу, но лишь постоянно повторяющей предшествующие периоды. Пики и спады данной модели не свидетельствуют о наличии какой-либо общей восходящей тенденции, в отличие от моделей 3 и 4. Считается, что модель циклической безвекторной динамики может с успехом применяться для интерпретации множества социальных явлений (например, динамики браков, рождений, разводов и т.д.), если мы прибегаем к относительным, а не абсолютным показателям.

В основе *логистической кривой (S-образной) роста* (*модель 7*) лежит гипотеза «насыщения», то есть присутствия предельной для данных конкретных условий численности, по мере приближения к которой прирост замедляется в силу влияния некоторых препятствующих ему сил (например, ограниченности ресурсов). Данная модель нашла широкое применение при характеристике демографических процессов роста населения. Концепция логистического роста населения впервые была высказана в 1835 г. бельгийским ученым А. Кетле, развита бельгийским же математиком П. Ферхюлстом (1838 г.). В 1920 г. логистическая кривая была вновь «открыта» американскими биологами Р. Пирлом и Л. Ридом. Изучая продолжительность и темпы роста популяции плодовитых мушек в зависимости от ее плотности, они установили, что первоначально прирост увеличивается (медленно, затем — все быстрее), а затем, достигнув определенного уровня (асимптота), приостанавливается. Данная закономерность была перенесена Р. Пирлом на рост человеческого населения и обнаружила свою адекватность применительно к отдельным периодам (до 1920-х гг.) нескольких европейских стран и США. Модель логистического роста использовалась при описании демографической и экономической динамики в исследованиях представителей школы «Анналы» (Ф. Бродель и др.), экономиста Р. Камерона, в рамках миросистемного анализа (И. Валлерстайн). Известны попытки ее применения при изучении культурных комплексов (Х. Харт). При помощи логистической кривой роста моделируется индивидуальный жизненный цикл технологий (продуктов — например, автомобиля, самолета, радио и т.д.) — в данном случае предполагается, что первоначальный быстрый рост постепенно понижается под давлением со стороны насыщенного и сужающегося рынка (концепция Г. Менша) [26].

Реверсивная логистическая кривая (*модель 8*), являясь симметричным отражением модели 7, применяется для описания некоторых нисходящих тенденций. Например, снижение темпов смертности вследствие улучшения продовольственного снабжения, медицинского обслуживания (в период *демографического перехода* или *революции*) первоначально протекает быстро, но затем, приблизившись к некоторому минимуму, замедляется [27].

Ряд феноменов социальной реальности позволяет аппроксимировать модель *экспоненциального роста* (*модель 9*). Так, данная модель использовалась для описания неограниченного демографического роста (концепция Т.Р. Мальтуса, основанная на законе народонаселения, который, по мнению ученого, «состоит в постоянном стремлении, свойственном всем живым существам, размножаться быстрее, чем это допускается находящимся в их распоряжении количеством пищи»).

Следующая модель (*модель 10*), имеющая вид *нисходящей кривой*, обслуживает ситуации, противоположные тем, которые описываются предшествующей моделью. Модель 10 применяется при изучении процессов упадка, деградации.

Идентифицированные У. Муром модели, не охватывая всех возможных вариантов социальных изменений, существенно упрощают процедуры изучения последних. При этом к данным моделям следует относиться не как к конкурирующим обобщениям (абсолютизация одной из моделей вряд ли оправдана), а как к схемам, применимым к соответствующим ситуациям, аспектам социальных процессов и явлений (модели — инструменты познания, которые должны оцениваться по эффективности, плодотворности и эвристическим возможностям). Подбор адекватных моделей для анализа конкретных сторон социальной действительности — весьма сложный процесс, требующий глубоких знаний и даже интуиции от исследователя. Переплетенность социальных тенденций, их взаимодействие между собой, вызывает потребность в создании сложных модельных конструкций, модулями которых могут выступать более простые схемы социальных изменений (например, в длинноволновые модели экономической динамики могут инкорпорироваться свернутые модели логистического и экспоненциального роста, упадка и т.д.; многолинеарная модель модернизации может быть представлена как суперкомпозиция, включающая прогрессивные, стадиальные волновые модели роста, схемы циклической безвекторной динамики и даже упадка и т.д.).

Многоаспектность социальных изменений существенно осложняет процедуру концептуализации данного понятия. Определение *социального изменения* зависит от дисциплинарных привязанностей авторов (социологи, экономисты, политологи, историки, демографы, этнологи и представители других специальностей обнаруживают склонность по разному интерпретировать природу социальных изменений), от акцентуации внимания на различных сторонах социальных сдвигов. Теоретико-концептуальные и идеологические ориентации ученых также оказывают влияние на формирование исследовательского фокуса при решении данного вопроса.

Согласно одной из точек зрения (1), социальное изменение сводится к модификации (с течением времени) социальных практик и социальных ролей, выполняемых людьми в ходе социальных взаимодействий. Трансформация социальной структуры, то есть моделей социального действия и взаимодействия,

воплощенных в нормах (правилах поведения), ценностях, культурных продуктах и символах (2), рассматривается другими исследователями как основная характеристика социального изменения («Социальное изменение, — по мнению Н. Смелзера, — можно определить как изменение способа организации общества [28]». Э. Гидденс характеризует социальные изменения как «перемены в базовых структурах социальной группы или общества» [29]). Сторонники данного подхода обращают внимание на неустойчивость, противоречивость, гибкий характер агрегирования социальных структур, подверженных существенным изменениям. Ряд исследователей обращает внимание на то, что социальное изменение нельзя сводить только к структурным сдвигам, но необходимо также учитывать и перемены в характере функционирования общества (3). Так, по мнению Э.К. Аспа, под социальными изменениями следует понимать «прежде всего перемены в структуре и функционировании социальной системы»; «социальная перемена означает процесс, в ходе которого наблюдаются значительные изменения структуры и деятельности какой-то социальной системы» [30]. Сторонники данной точки зрения считают, что игнорирование динамических процессов, важных для функционирования системы в целом (например, достижение целей или выполнение определенных условий), делает исследование социальных изменений односторонним. Порой социальные изменения трактуются как, в первую очередь, изменения социальных отношений (4). Существует мнение, что социальное изменение, помимо сдвигов в области социальных отношений, должно включать также структурные трансформации. В рамках данного подхода обращается внимание на множественность уровней (от индивида до структуры), на которых протекают процессы социальных изменений (5) [31].

В рамках данных попыток концептуализации акцент делается на выделение той области социальной реальности, где, по мнению ученых, локализуются изменения. Подобные подходы неизбежно страдают определенной односторонностью и описательностью. Синтетическую попытку концептуализировать понятие социального изменения предпринял С. Ваго, включивший в орбиту рассмотрения сущностные параметры изменения. По мнению ученого, социальное изменение можно определить как процесс запланированных или незапланированных качественных или количественных сдвигов в социальных явлениях, который отображается в 6-мерном континууме, составленном из взаимосвязанных аналитических компонентов (*идентичность, уровень, продолжительность, направление, масштаб, степень изменения*) [32].

Идентичность изменения, в схеме С. Ваго, означает определение того социального явления, который подвергается трансформации — того, что меняется (это может быть норма, отношение, определенная практика, поведение, установка, мотивация, образец взаимодействия, структура власти, уровень производительности, престиж, система стратификации и т.д.). Например, изменение может иметь отношение к какой-либо социальной функции — специализация и дифференциация труда, понижение экономической роли (функции) семьи — или к социальной структуре (социальная дифференциация, кристаллизация власти, установление кооперативных либо конкурентных отношений и т.д.). Идентификация социального изменения — отнюдь не тривиальная процедура.

«Неудача в определении идентитета или того, что меняется, — как пишет С. Ваго, — может легко привести к путанице».

Уровень изменения связан с локализацией того места в социальной системе, где происходит какой-либо сдвиг (например, уровень индивида, группы, организации, института, взаимоотношений подсистем или общества в целом). Изменение может быть локализовано на уровне индивидуального (сдвиг в области психологических установок, верований, стремлений) или группового уровня (скорее, механизмы взаимодействия, методы преодоления конфликта, достижения солидарности, конкуренции и т.д.). На уровне организации придется рассуждать о сдвигах в ее структуре и функциях, иерархическом и коммуникационном устройстве, ролевых сетях, механизмах рекрутирования и социализации. Институциональный фокус требует изучения, например, изменений моделей семьи, образования, хозяйственной деятельности. Анализ изменений на уровне общества в целом может быть связан с рассмотрением динамики крупных социальных подсистем — стратификации, экономики и т.д. — или взаимоотношений между ними — например, установление доминирующих позиций административно-политической сферы относительно экономики в условиях тоталитарного режима.

Параметр *продолжительность* важен для фиксации длительности изменения, которое может быть краткосрочным или долгосрочным. Использование данного индикатора приобретает особую актуальность в свете признания бесконечной множественности исторического времени (например, Э. Лабрусс, Ф. Бродель). Известно, что обычно более продолжительны изменения географического и материального контекста, быстрее происходят экономические изменения, еще быстрее — политические (соответственно, долгое, среднее и краткое время истории, по Ф. Броделю). О вариативности временной динамики различных исторических феноменов писал также М. Блок: «Ведь каждому типу явлений присуща своя, особая мера плотности измерения, своя, специфическая, так сказать, система счисления. Преобразования социальной структуры, экономики, верований, образа мышления нельзя без искажений втиснуть в слишком узкие хронологические рамки» [33]. Большую познавательную ценность имеет выяснение характера взаимодействий и взаимовлияний между социальными изменениями различной длительности, которые протекают одновременно, но в разных частях общества (различные институты, уклады, сегменты населения, регионы и т.д.). Представляется, что именно вследствие подобных взаимодействий крупномасштабные изменения приобретают неповторимый национальный (страновый) облик.

Направление изменения указывает на различие между начальной и конечной позицией социального феномена, подверженного изменению. Изменение может характеризоваться как развитие, прогресс или, наоборот, упадок, деградация. Использование данного параметра позволяет квалифицировать изменение как линеарное, эволюционное, стадиальное, циклическое, зигзагообразное или подчиняющееся какой-либо иной модели. Траектории социальных изменений, как уже отмечалось, могут быть самыми различными. Сложность заключается в том, что обычно изменение включает множество менее масштабных изменений различной, в свою очередь, направленности. Положительные (име-

ющие в качестве следствия процессы развития) изменения внутри макросистемы должны резюмировать как положительные, так и, вероятно, неизбежно отрицательные микроизменения (эрозия каких-то частей макросистемы, блокирующих положительный рост).

Масштаб характеризует размер, величину изменения. При этом С. Ваго предлагает придерживаться 3-частной модели (предложенной Р. Далем для измерения величины политических изменений [34]), которая предусматривает восхождение от частных, маргинальных (инкрементальных) изменений к разносторонним и, наконец, к революционным. Инкрементальными С. Ваго квалифицирует такие изменения, которые повышают или понижают значение отдельных норм или поведенческих практик, не меняя базовых принципов общества, его структуры. Всесторонние изменения ученый характеризует как кульминацию взаимосвязанных частных изменений (по выражению Р. Даля, «радикальные инновации или решительная отмена установленных норм или образцов поведения). Революционные изменения, по мнению С. Даля, связаны с полной, всеобъемлющей сменой прежних норм и форм поведения. Как можно видеть, граница между изменениями различного масштаба по С. Ваго не является четкой: накопление частных изменений может результироваться более обширными, в конце концов, революционными изменениями.

Использование показателя *степень* изменения указывает на скорость перемен (быстрое или медленное, непрерывное или спазматическое, организованное, упорядоченное или беспорядочное, неустойчивое изменение).

Степень сознательности, целенаправленности, планомерности, проективности (противоположностью в данном случае будет выступать стихийность, спонтанность, незапланированность), присущая социальному изменению, как нам кажется, заслуживает специального измерения, возможно, путем использования параметра *характер* социального изменения. Естественно, преднамеренность и стихийность не могут рассматриваться как абсолютно оппозиционные категории. Чисто планомерное изменение невозможно в силу действия феномена незапланированного планирования: «чем обширнее осуществляемые холические изменения, тем значительнее их непреднамеренные и во многом неожиданные последствия, вынуждающие холического инженера обращаться к приемам «поэлементной» импровизации»; «утопический инженер постоянно делает вещи, которых он делать не собирался» [35]. Так же невозможно, вероятно, и абсолютно спонтанное изменение — хотя бы потому, что любые социальные изменения предполагают (складываются из) какие-то действия социальных акторов. Последние же, в свою очередь, склонны обдумывать свои поступки, «планировать» их (пускай и не всегда; возникли целые отрасли знания, в частности, психоанализ, обсуждающие человеческие действия, «проектируемые» подсознанием).

Тем не менее, различать степень сознательности (то есть фиксировать конкретное социальное изменение на шкале, ограниченной двумя идеализированными полюсами — абсолютной программируемости и абсолютной стихийности) при анализе социальных и исторических процессов представляется полезным. Предсказание (информация о ситуации) оказывает определенное влияние на ситуацию, способствуя ее появлению или предотвращению. К. Поппер именует

связь между информацией о ситуации и развитием самой ситуации «Эдиповым эффектом», ссылаясь на легенду об Эдипе (убил своего отца, которого никогда не видел, в результате пророчества, когда-то заставившего отца покинуть сына) [36]. Хотя проект действия не всегда аналогичен (обычно, как раз не аналогичен) свершившемуся действию, изучение зависимости между проектом и актом (социальным изменением) дает много нового материала о природе среды, о потенциальных планах ее трансформации, в конце концов, о том окончательном рисунке социального изменения, который оно приобретает. Исследуя социальные движения, революции, историки предпринимают попытки разделить проективные и спонтанные составляющие этих явлений, чтобы понять их сложность и многоплановость, те формы и масштаб, которые они принимали. При этом как раз игнорирование сложного характера социальных явлений (абсолютизация планомерности или, наоборот, стихийности) приводит к искажению воссоздаваемой исторической картины (можно вспомнить о модных в постперестроечный период попытках приписывать революционерам-большевикам все беды Октябрьской революции, основанных на невежественном забвении того факта, что революция отнюдь не является изолированным событием, происходящим по воле только ее лидеров; с другой стороны, стремление советской историографии установить прочную связь между стихийными крестьянскими движениями середины XIX в. и преобразованиями 1860—1870-х гг. в ущерб «сознательной» деятельности «верхов» по их подготовке также не способствовало углубленному пониманию эпохи «Великих реформ»).

Как нам представляется, схему С. Ваго следовало бы дополнить также за счет подключения еще одного измерения, а именно *источника изменения*. В этом случае исследователь получает возможность идентифицировать отношение фактора изменения к тому социальному феномену, который подвергается изменению. В первую очередь, важно знать, является ли источник изменения внутренним (эндогенным) или внешним (экзогенным).

Эволюционистская парадигма

Рассмотрим несколько теоретических парадигм, акцентирующих внимание на социальных изменениях, но при этом предлагающих отличные интерпретации этих изменений. В XIX в. широкую популярность приобрела эволюционистская парадигма, в основе которой лежала идея о предсказуемом, кумулятивном процессе изменений общества, движущегося от одной стадии к другой, обычно более совершенной, сложной, расширяющей возможности человека. Эволюционистские подходы нашли применение как в социальных науках, так и в биологии (наиболее влиятельным биологом-эволюционистом был Чарльз Дарвин, предложивший теорию естественного отбора для объяснения развития биологических видов).

Эволюционистская парадигма развивала идею прогресса, которая стала активно использоваться для объяснения динамики истории в эпоху Просвещения XVIII в. Считается, что наиболее полно прогрессистская концепция истории была разработана Ж.А. Кондорсе, который утверждал бесконечность и необратимость эволюции человеческого сообщества. По мнению Кондорсе, в историческом раз-

витии человечества выделяется десять основных эпох: 1) эпоха племенной организации, когда основными занятиями людей были рыболовство, охота и собирательство; 2) эпоха перехода от скотоводства к земледелию, приведшая к росту производительности человеческого труда, появлению в итоге у человека досуга, развитию его разума и талантов; 3) эпоха «прогресса земледельческих народов до изобретения письменности», которая сопровождалась усилением неравенства, ростом городов, административной и судебной власти, возникновением новых форм политического устройства общества, впоследствии получивших наименование республиканских; 4) эпоха античности, для которой было характерно возникновение профессиональной группы людей, занимавшихся наукой, появление культуры теоретизирования и искусства; 5) эпоха «прогресса наук от их разделения до их упадка», в ходе которой начался процесс дифференциации научного знания, а затем распространение и возвышение христианской религии, послужившее, по мнению Кондорсе, сигналом полного упадка наук; 6) эпоха упадка просвещения вплоть до начала крестовых походов; 7) эпоха возрождения наук на Западе до изобретения книгопечатания, сопровождавшаяся быстрым развитием производства, появлением первых бумажных фабрик, ветряных мельниц, переворотом в военном деле, связанным с изобретением пороха и компаса; 8) эпоха с изобретения книгопечатания и до избавления науки и философии от ига авторитета, в течение которой прогресс становится окончательным и необратимым, разум и природа превращаются в единственных учителей и авторитетов для человека, осуществляются географические открытия и религиозная реформация; 9) эпоха от времени Декарта до образования французской республики характеризуется, по мнению Ж.А. Кондорсе, тем, что «разум окончательно разбивает свои цепи», наблюдается стремительный прогресс науки (открытие законов природы Ньютоном; быстрое развитие изящных искусств; установление в обществе законов, гарантирующих личную и гражданскую свободу), смягчение нравов, ослабление религиозной нетерпимости; 10) эпоха прогресса человеческого разума, которая, согласно Кондорсе, приведет к уничтожению неравенства между нациями, прогрессу равенства между различными классами и действительному совершенствованию человека [37]. Таким образом, «линеарная концепция *прогрессивного развития* Кондорсе утверждала неуклонное, без остановок и падений, восхождение человечества к высотам разума, справедливости, мира и добра» [38]. При этом необходимо отметить, что Ж.А. Кондорсе предполагал для отсталых народов возможность ускоренного развития, с минимальными издержками, благодаря использованию плодов просвещения более передовых стран мира (то есть благодаря диффузии).

В начале XIX в. французский социальный теоретик К.А. Сен-Симон сформулировал эволюционный закон, согласно которому общество в зависимости от господствующих в нем типов знания проходит по восходящей лестнице три стадии: *теологическую* (переход от первобытного идолопоклонства к политеизму и связанному с ним рабству), *метафизическую* (смена политеизма монотеизмом христианской религии и утверждение феодально-сословного строя) и *позитивную* (постепенное утверждение с XV в. позитивного, научного мышления и индустриализма, искоренение паразитизма). Последняя совпадала с

появлением *индустриальной системы* (термин был предложен самим Сен-Симоном), которая характеризовалась превращением общества во всеобщую ассоциацию людей; складыванием единого, хотя и многослойного, класса «индустриалов», занятых в индустриальном производстве (объединявшего буржуазию и пролетариат); утверждением индустриальной технологии, завершившей борьбу общества за гегемонию над природой; обязательным для всех производительным трудом; равными для всех возможностями применения своих способностей; введением распределения «по способностям»; государственным планированием промышленного и аграрного производства; превращением государства из орудия лишь господства в инструмент организации производства и просвещенного благосостояния; постепенным утверждением всемирной ассоциации народов и всеобщего мира при стирании национальных границ [39].

Вера в социальную эволюцию, прогрессивное развитие социальных форм человеческого общежития составила кредо возникшей в XIX в. науки социологии, которая фокусировала внимание на динамику социальных классов, культур, нормативных систем, других институционализированных моделей поведения и, наконец, общества в целом.

Один из основателей социологии, предложивший собственно данный термин (1838 г.) для обозначения научной дисциплины, О. Конт (1798—1857) опирался на прогрессистские идеи просветителей XVIII в. и работы К.А. Сен-Симона, секретарем и помощником которого он был с 1817 по 1824 г. О. Конт верил в то, что общество движется от низших стадий к высшим, к совершенному устройству. При этом Конт полагал, что переход к совершенному обществу произойдет не посредством политической революции, а благодаря применению новой моральной науки (представляющей вершину наук) — социологии, пользующейся «позитивистским» научным методом (наблюдение, эксперимент, сравнение), который позволит понять порядок и обеспечит прогресс. Как и К.А. Сен-Симон, О. Конт полагал, что общество проходит (согласно «закону трех стадий») три исторические эпохи развития, соответствующие трем стадиям интеллектуальной эволюции человека: 1) *теологическую* или воображаемую (скрытые силы как первопричина развития; знание пронизано «теологическими» концепциями, а в примитивном обществе господствуют жрецы и монархия, военная элита; данная эпоха сама включает три стадии: а) анимизм и фетишизм; б) политеизм; в) вера в единого бога или возникновение христианства, что знаменует кульминационный момент развития в рамках данной стадии); 2) *метафизическую* или абстрактную (абстрактная сущность как первопричина развития; господство спекулятивного знания, связанного с «негативной» эрой социального критицизма, а также политической революции; объяснение причинно-следственных связей в терминах абстрактных сил; промежуточное общество) и 3) *позитивную* или научную (взаимоотношения как первопричина развития; эпоха социальной реорганизации на основе «позитивного», «надежного» научного знания, разрабатывающего объяснения в терминах естественных процессов и научных законов, утверждения нового рационального правительства и «религии гуманизма»; индустриализм; научное общество). По мнению О. Конта, западная цивилизация достигла позитивной

стадии в управлении природной средой и была на подступах к ней в деле управления социальными отношениями [40].

Г. Спенсер (1820—1903) полагал, что развитие является универсальным процессом, то есть всеобщим законом природы. Социальное развитие он рассматривал как линеарный непрерывный кумулятивный процесс, посредством которого все постоянно синтезируется на более высоких уровнях сложности. Он утверждал, что человеческое общество, подчиняясь непреложным законам, следует путем естественного развития, от относительно примитивных форм организации к более сложным структурам, характеризующимся расширяющейся специализацией частей. Как и О. Конт, Спенсер признавал стадиальность социальной эволюции (простые, сложные, двойной сложности и тройной сложности), в частности, движение от простой однородности в *«военном»* обществе (совместная деятельность по обороне и наступлению ради сохранения и увеличения территории, противоборство, агрессия; принуждение, принудительное сотрудничество; индивид для государства; государственная централизация; фиксированный статус; автономная и самодостаточная экономика; патриотизм, лояльность по отношению к власти, дисциплина) к сложной разнородности в *индустриальном* обществе (мирное воспроизводство индивидуальных деятельностей; добровольное сотрудничество; государство для человека; индивидуальное самоограничение; государственная децентрализация; пластичный и открытый статус; экономическая взаимозависимость; уважение, индивидуальная инициатива, сила убеждения, альтруизм). Кроме того, Г. Спенсер настаивал, что существует равновесие между населением и продовольственным снабжением: прирост населения, превышающий увеличение ресурсов, необходимых для выживания, вызывает борьбу за существование. Объясняя функционирование общества, Г. Спенсер, будучи сторонником эволюционного учения Ч. Дарвина, прибегал к организмической аналогии (представление о взаимозависимости различных частей общества, которые стремятся обеспечить выживание и функционирование системы в целом) — признанию принципиального сходства изменений в социальных и биологических организмах (увеличение массы или размера какой-либо части в любом из этих организмов корреспондирует с соответствующими изменениями многочисленных взаимосвязанных частей данных организмов). Г. Спенсер не верил в возможность усовершенствования общества посредством законодательных инструментов, отводил государству минимальную роль в регулировании общества, полагая, что последнее должно развиваться естественным путем [41].

Во второй половине XIX в. в рамках эволюционного подхода нашла отражение «великая дихотомия» между традиционным и современным обществом. Фердинанд Тённис (1855—1936) предложил различать понятия gemeinschaft (небольшие по размерам, примитивные, традиционные, гомогенные, тесно связанные *общины*, в которых доминируют близкие, доверительные человеческие отношения, аналогичные отношениям в первичных группах типа семьи или между старыми друзьями — поскольку члены такого сообщества заинтересованы в благосостоянии соседа, они готовы помогать друг другу бескорыстно, нерасчетливо) и gesellschaft (большие, урбанистические, индустриальные *общества*,

в рамках которых человеческие отношения приобретают безличный, индивидуалистический, формальный, договорный, прагматический, конкурентный, реалистический и специализированный характер, лишенный взаимного доверия), то есть сельскохозяйственное и индустриальное общества. Если люди в *общине* выступают как спаянный коллектив, то в *обществе*, скорее, каждый отвечает за себя, преследует собственную выгоду, и поэтому там господствует напряженность; вмешательство в личную жизнь расценивается членами *общества* как враждебное действие. Доверие, забота друг о друге, характерные *общине*, заменяются контрактными отношениями между людьми в *обществе*. По мнению ученого, в процессе исторической эволюции, под влиянием урбанизации, *община* подвергается разрушению и замещается *обществом* [42].

В интерпретации Э. Дюркгейма формам социального порядка в примитивных (традиционных) и современных обществах были подобраны соответствующие понятия *механической* (основанной на общих убеждениях и консенсусе, обнаруживаемых в пределах коллективной совести) и *органической* (взаимозависимость экономических связей, возникающих в результате дифференциации и специализации в современной экономике, новая сеть профессиональных ассоциаций, связывающих индивидов с государством, появление в этих ассоциациях коллективно создаваемых моральных ограничений) *солидарности* [43].

Материалистическая схема социальной эволюции, базировавшейся на развитии отдельных элементов материальной культуры, была разработана американским антропологом и историком Л.Г. Морганом (1818—1881) в сочинении «Древнее общество» (1877 г.). Введенная Морганом периодизация включала три стадии: дикость, варварство, цивилизация, — которые, в свою очередь, делились на ступени (I. Низшая ступень дикости, происхождение человека; II. Средняя ступень дикости, открытие рыболовства и использование огня; III. Высшая ступень дикости, открытие лука и стрел; IV. Низшая ступень варварства, открытие гончарного производства; V. Средняя ступень варварства, доместикация животных и земледелие; VI. Верхняя ступень варварства, открытие железа; VII. Цивилизации, от изобретения алфавита, письменности до настоящего времени) [44].

В целом классическая эволюционная теория характеризовалась представлением 1) о детерминистической предопределенности социальной эволюции (человеческое общество естественно, неизбежно, непрерывно развивается); 2) о векторности социальной динамики (социальные изменения однонаправленны, социальные единицы движутся вдоль одной линии, от низших уровней к высшим, от примитивного к развитому, продвинутому социальному устройству); 3) о имманентной природе эволюции (источники изменений, потенциалы возможностей располагаются в самих социальных единицах, подвергающихся трансформациям; они имеют эндогенный характер); 4) положительной ценностной окраской эволюционного процесса (движение к конечной стадии приравнивалось к прогрессу, росту гуманизма и цивилизованности); 5) видением социальных изменений как медленных, постепенных, кумулятивных, пошажных; эволюционных, а не революционных; 6) редукционистским сведением форм эволюции к некоторому универсальному стандартному набору, обязательному для всех обществ.

В середине XX в. эволюционная парадигма оказала существенное воздействие на модернизационный подход, послужив ему, наряду с функционализмом, теоретическим фундаментом. Обыкновенно, сторонники данного подхода говорили о прохождении человеческими коллективами стадий традиционного, переходного и современного (modernity) общества. Рельефное воплощение эволюционизм получил в одной из наиболее известных модернистских конструкций — концепции стадий экономического роста У. Ростоу. Согласно У. Ростоу, процесс экономического развития (модернизации) последовательно проходит пять стадий: 1) традиционное общество; 2) подготовка к «взлету»; 3) «взлет» или «рывок» (takeoff stage); 4) движение к зрелости; 5) общество высокого массового потребления [45].

Первая стадия в схеме У. Ростоу (традиционное общество) характеризуется преобладанием сельскохозяйственного производства, невысокими темпами накопления, практически отсутствием сбережений, традиционной ментальностью, тормозящей развитие. *Вторая стадия* призвана подготовить предпосылки для взлета. На данной стадии растет численность населения, аграрное производство, появляются предприниматели, возникают банки и другие экономические институты, происходит централизация государственного аппарата, получает распространение идея, согласно которой экономический прогресс не только возможен, но и необходим. На *третьей стадии* экономический рост становится обычным явлением. Взлет, согласно У. Ростоу, сопровождается увеличением удельного веса сбережений и реинвестиций (накопления) к внутреннему доходу с 5 до 10 и более процентов; развитием одного или более базовых производственных секторов, характеризующихся высокими темпами роста; наличием или быстрым появлением политических, социальных и институциональных рамок, обеспечивающих эксплуатацию импульсов к расширению в современном секторе экономики. У. Ростоу фиксирует начало стадии взлета для Великобритании примерно 1783 г., для Франции и США — 1840, а для Индии — 1950 г. *Четвертая стадия* характеризуется широким применением современных технологий во всех секторах экономики; увеличением с 10 до 20% удельного веса реинвестиций от национального дохода; созданием условий для непрерывного, устойчивого, самоподдерживающегося экономического развития «на собственной основе», без обязательной перекачки капитала извне и без дополнительных изменений в поведенческих моделях потребления, сбережения и накопления, на основе достижения производительности, превосходящей рост потребления. На *пятой стадии*, по мнению У. Ростоу, наблюдается сдвиг в сторону производства потребительских товаров и услуг, роста благосостояния населения. Данная стадия, как полагал У. Ростоу, была достигнута Соединенными Штатами приблизительно в 1920 г., Западной Европой и Японией — в 1950-х гг. Предложенная У. Ростоу схема эволюции, несмотря на присущую ей дисциплинарную ограниченность, вызвала плодотворные научные дискуссии и стимулировала, таким образом, развитие подходов в рамках теории модернизации и экономического роста.

Между тем, на протяжении XIX—XX вв. социологами, историками, антропологами было собрано много информации, которая противоречила однолинейной схеме эволюции человеческого сообщества путем его постоянного

усложнения, совершенствования. «Когда европейцы начали открывать мир, они столкнулись с огромным многообразием обществ, каждое из которых демонстрировало невероятное многообразие обычаев и ценностей, — пишет Х.Дж.М. Классен, — Эти общества возникли как следствие реализации многочисленных региональных вариантов развития. Лишь с огромным трудом наши предшественники XIX столетия смогли систематизировать сведения об этом сбивающем с толку многообразии человеческих культур» [46]. Многочисленные примеры стагнации, упадка, коллапса, циклические структуры, возвращение к сходным политическим и социокультурным моделям на различных стадиях эволюции (вызывающее ощущение *déjà vu*) никак не укладывались в прокрустово ложе линеарной необратимой прогрессивной динамики человечества [47].

Проблемы, поставленные на основе изучения эмпирического материала, вызывали разнообразные теоретические реакции, лежащие как в рамках эволюционной парадигмы (попытки ее обновления, корректировки), так и за ее пределами (например, циклическая парадигма или отказ от претензий на макросоциологическое теоретизирование и призыв к углубленному изучению эмпирического материала, микроисторических ситуаций). В результате наметилась тенденция к диверсификации эволюционной парадигмы: одни ее сторонники пытались сохранить данный подход практически в неизменном виде (например, Р. Карнейро [48]), другие вносили разнообразные изменения, способствовавшие некоторой трансформации парадигмы. Идея однолинеарной эволюции в значительной степени дискредитировала себя и была потеснена мультилинейными (в том числе билинейными [49]) моделями развития. Мысль о многолинеарной природе эволюции в 1930-е гг. высказал антрополог Дж.Х. Стюард, оппонировавший своего современника — Л.А. Уайта, продолжавшего защищать идею однолинейной эволюции (Л.А. Уайт в 1959 г. утверждал: «В настоящее время существуют некоторые признаки того, что эпоха антиэволюционизма в культурной антропологии завершается. Это подобно выходу из темного тоннеля или пробуждению после кошмарного сна. Драгоценное время было потеряно в противостоянии этой плодотворной научной концепции, но теория эволюции вновь займет свое место и докажет свою значимость в культурной антропологии, как это уже произошло в других областях науки» [50]). Дж.Х. Стюард утверждал, что «некоторые базовые типы культуры могут развиваться сходными путями под влиянием аналогичных условий, однако немногие конкретные аспекты культуры будут появляться во всех человеческих обществах в упорядоченной последовательности». Сторонники мультилинеарного подхода полагали, что модели эволюции (примерно равноценные) могут существенно варьировать, что возможно существование различных путей развития, что динамики различных обществ не обязательно подчиняются одним и тем же закономерностям, а общества не всегда проходят одни и те же стадии в процессе своей эволюции, то есть, не существует единого исторического маршрута, проходимого всеми обществами. В 1960 г. М. Салинз и Э. Сервис пытались объединить перспективы линеарной и многолинейной эволюции, предложив различать «*общую*» (прогрессивная эволюция человеческой культуры в целом посредством ее усложнения; развитие следующих друг за другом продолжительных стадий, таких, например, как

эпоха охоты и собирательства, аграрное общество, период промышленной революции, атомный век и т.д.) и «*специфическую*» (качественные трансформации конкретных обществ, локальных культур или групп культур в течение относительно коротких временных интервалов; культурное разнообразие, обусловленное воздействием частных факторов, таких как среда, диффузия, новации, составляет главную особенность специфической эволюции) *эволюцию* — таким образом, идея многолинеарности сводилась указанными авторами к признанию побочных траекторий развития [51].

Идея многолинейной динамики получила широкое распространение в рамках современного модернизационного анализа (необходимо признать, что некоторые представители модернизационной перспективы говорили о возможности движения к обществу modernity различными путями и ранее — так, Б. Мур уже в 1960-е гг. выделял три траектории модернизации: буржуазная в Великобритании и США; аристократическая в Германии и Японии; крестьянская в России и Китае [52]). В исследованиях 1990-х гг. утверждается, например, о четырех «дверях» или «путях в/через модернизацию» (Г. Терборн), восьми типах трансформации обществ второй половины XX в. (В. Цапф) и т.п. [53].

Тезис об усложнении, совершенствовании как основных принципах эволюции также оценивается некоторыми исследователями как неудовлетворительный. Х.Дж.М. Классен высказывает мнение о предпочтительности использования понятия *структурного изменения* как базисного, на основе которого можно было бы построить здание эволюционной конструкции. «Структурное изменение, — пишет он, — выражает тот факт, что в одной или нескольких сферах культурной системы происходят изменения, которые сказываются на всех (или большинстве) других сторон этой системы. Система как целое будет изменяться вследствие данных изменений. Нет необходимости в том, чтобы вся она трансформировалась сразу; процесс может растянуться на какое-то время» [54].

В целом эволюционная парадигма, пользовавшаяся большой популярностью на протяжении XIX—XX вв., испытывает сегодня серьезные затруднения. В частности, вызывает вопросы эволюционистский телеологизм и фатализм, который вряд ли могут прояснить туманные ссылки на анонимные естественные законы развития. Не вполне ясно в рамках эволюционистской парадигмы место «человеческого фактора» (человек, наделенный волей и рассудком, — активный актор исторического процесса, творец истории), который обыкновенно редуцируется сторонниками эволюционизма до уровня зависимой переменной в силу признания естественного характера развития. Отсутствуют четкие критерии, позволяющие относить очередную трансформацию общества (переход от одного типа к другому) к числу общеэволюционных сдвигов или к разряду неупорядоченных случайностей. Если пользоваться дихотомической схемой «общая»—«специфическая» эволюция, то, опять же, возникают затруднения при определении статуса социальных изменений — являются они *общими* или же *специфическими*. Всегда может возникать опасение — не есть ли идентификация общего пути эволюции лишь некоторой интеллектуальной подгонкой, метафорой, за которой скрываются идеологические, политические, расовые или другие интересы. Некоторой метафорой представляется и обычное придание эволюционному процессу по-

ложительного характера, статуса прогресса. Тезис о том, что социальные изменения способствуют расширению возможностей адаптации общества к среде, не является абсолютно очевидным. Хорошо известно, что усложнение социального устройства, колоссальные успехи в технологической и научной сферах не делают общество менее хрупким, менее уязвимым, более устойчивым. Напротив, «прогресс» расширяет диапазон и масштаб рисков, которые приобретают все более угрожающий для человека характер (понятие «общества риска», возможно, наиболее адекватно отражает существо современного социального порядка [55]). Кроме того, само понятие «прогресс» имеет историческую и, вероятно, национальную природу. Содержание, которое в него вкладывалось, например, в индустриальную эпоху или вносится в эру постмодерна, далеко не аналогично. Прогресс в советском обществе трактовался иначе, нежели в постсоветской России [56]. В связи с тем, что темпы развития различных компонентов социума не совпадают, а возможны ситуации, когда их динамики имеют различную направленность (прогресс (и эволюция) в сфере технологической и, в меньшей степени, экономической представляется более понятным; ответить же на вопрос, что такое прогресс в сфере социальных, политических отношений, культуры, весьма затруднительно), сложно представить, что вообще должно обозначать понятие *эволюция общества или культуры в целом*.

Циклическая парадигма

Пик популярности циклических теорий социальных изменений пришелся на 1920—1930-е гг., то есть на период между Первой и Второй мировыми войнами [57]. Данные теории в большинстве своем характеризовались крайним пессимизмом в оценках перспектив развития человека и общества, что, как принято считать, отражало ощущение катастрофичности, нарастания хаоса, распада человеческого сообщества, нарастания отчуждения и падения нравов, вызванных индустриализацией, урбанизацией, секуляризацией, девальвацией религиозных ценностей, пугающим рождением «массового общества» и т.д.

Циклическая парадигма нашла отражение в творчестве таких мыслителей, как О. Шпенглер (1880—1936), А. Тойнби (1889—1975), П.А. Сорокин (1889—1968), В. Парето (1848—1923), А.Л. Крёбер (1876—1960), которые преимущественно акцентировали внимание на формах динамики отдельных цивилизаций или культур. Созданные ими конструкции были по существу циклическими теориями исторического круговорота, согласно которым общество и его подсистемы движутся по замкнутому кругу, регулярно возвращаясь вспять, к исходному состоянию. Указанные ученые стремились восстановить последовательность фаз в развитии мировых цивилизаций, которая обычно включала рождение, рост, зрелость и упадок. Предлагаемые ими схемы динамики не исключали присутствие в историческом процессе определенных закономерностей (ритмическая, рекуррентная регулярность, повторяемость в рамках, ограниченных, с одной стороны, деградацией, смертью, а с другой, — расцветом, кульминацией развития), но не предусматривали векторности, направленности истории, которая цементировала эволюционистскую парадигму. Таким образом, в основе циклической парадигмы лежало убеждение, что все наличные совре-

менные социальные формы, механизмы, практики уже имели место быть прежде, на более ранних витках динамики человеческого сообщества, что вся история — это рецидивирующий, возвратный процесс. Данный подход явно обнаруживает аналогию с биологическим циклом — замкнутым циклом развития живого существа от его рождения до смерти, вечно повторяющимся вплоть до исчезновения популяции, к которой он принадлежит.

По мнению немецкого историка О. Шпенглера, общества (культуры [58] — египетская, вавилонская, индийская, китайская, классическая или «аполлоновская» (греко-римская), византийско-арабская или «магическая», мексиканская (майя) и западная или фаустовская), подобно людям, проходят фазы детства, юности, зрелости («золотой возраст») и старости. Умирая, обладавшие душой культуры, по схеме О. Шпенглера, перерождаются в мертвые, бездуховные цивилизации.

В виде циклического процесса рассматривал динамику обществ (цивилизаций) известный английский историк А. Тойнби. Каждый цикл, по его мнению, начинался с «вызова» со стороны окружающей среды, на который следовал «ответ» общества. В случае успешного ответа общество выживало, и процесс социальной динамики продолжался вплоть до следующего вызова; если же ответ был неудачным, общество погибало. При определенных условиях (присутствие в данном обществе творческого меньшинства и наличие среды, которая не является слишком неблагоприятной, но, в то же время, и слишком благоприятной) возможно возникновение цивилизации (исследователь насчитывал более 20 цивилизаций). Рост цивилизации, согласно концепции А. Тойнби, — это постоянный кумулятивный процесс ее внутреннего самоопределения и самовыражения, этерализации (возвышения) ее ценностей, экспонирования ее потенций (например, эстетических в античной цивилизации, религиозных — в индийской, научно-механистических — в западной), не связанный жестко с технологическим прогрессом. Но, в конечном счете, неспособность справиться с очередным вызовом приводит к надлому (недостаток созидательной силы у творческого меньшинства, отказ большинства подражать меньшинству, распад социального единства в обществе), разложению и гибели цивилизации. Между надломом и гибелью цивилизации (стадия упадка), как считал А. Тойнби, могли проходить столетия и даже тысячелетия. Историк допускал возможность преображения цивилизации, ведущего к рождению новой цивилизации. Таким образом, динамика цивилизации в концепции А. Тойнби включает возникновение, рост, надлом, распад и гибель. Однако историк не настаивает на фатальной предопределенности прохождения каждым обществом всех перечисленных фаз и допускает возможность выталкивания цивилизации с циклической дистанции истории в результате безответного вызова со стороны внешней среды.

Циклический подход при анализе социальных изменений применялся видным русско-американским социологом П.А. Сорокиным. Его книга «Социальная и культурная динамика», вышедшая в 4-х томах в 1937—1941 гг., — беспрецедентный по объему и эмпирическому охвату труд, была посвящена детальному исследованию греческой, римской и западной культур приблизительно с 600 г. до н.э. до 1920 г. (делаются также экскурсы в египетскую, индусскую,

китайскую культуры). П.А. Сорокин выделил три главных типа социокультурных суперсистем — «идеациональную» (сверхчувственную), «чувственную» и «идеалистическую» (позднее получившую наименование «интегральной»), — каждая из которых «обладает свойственной ей ментальностью, собственной системой истины и знания, собственной философией и мировоззрением, своей религией и образцом святости, собственными представлениями правого и недолжного, собственными формами изящной словесности и искусства, своими нравами, законами, кодексом поведения, своими доминирующими формами социальных отношений, собственной экономической и политической организацией, наконец, собственным типом личности со свойственным только ему менталитетом и поведением». Элементы «идеациональной» системы основываются на вере, интуиции, нечувственном восприятии; цели и потребности в рамках ее носят духовный характер («священная» система); «чувственная» система составлена из элементов, подчеркивающих чувственную сторону человеческой природы, непосредственно воспринимаемых органами чувств человека, изучаемых эмпирической наукой («светская» система). «Идеалистическая» система, промежуточная, смешанная по своей природе, комбинируется из элементов «идеациональной» и «чувственной» систем и характеризуется большим вниманием к творческой активности человеческого разума в области искусства, литературы и мысли. В конкретной истории лидирует та или иная суперсистема (поэтому подход П.А. Сорокина иногда называют теорией смены социокультурных типов). П. Сорокин на основе изучения различных культурных компонентов — музыки, литературы, живописи, науки, техники, философии, права, которые он пытался измерять (при активном использовании статистических методов), — построил множество графиков, призванных иллюстрировать динамики указанных областей культуры. Исследователь утверждал, что циклические колебания в области творческих достижений на Западе имели место с самых истоков истории. П. Сорокин соотнес динамики культурных практик с выделенными им социокультурными системами («идеациональной», «чувственной» и «идеалистической») и картировал их подъемы и спады. П. Сорокин пытался ответить на вопрос, происходит ли перестройка культуры в целом как единой системы, или изменения различных элементов культуры осуществляются независимо друг от друга. По мнению П. Сорокина, циклы совокупной культуры и ее различных элементов взаимосвязаны между собой и направляются своего рода логическим принципом, который содержится в самой культуре в целом (при этом П. Сорокин противостоял экстерналистским интерпретациям причинности). Ученый утверждал, что «начиная с момента возникновения, каждая социокультурная система является главным фактором собственной системы. Судьба, или последовательные стадии жизненного пути системы, — это главным образом раскрытие потенциальных возможностей, присущих данной системе». «Поскольку в системе, с момента ее возникновения, — писал П.А. Сорокин, — заложен ее дальнейший путь, она является системой самодетерминированной. Так как будущее системы зависит главным образом от нее самой, подобного рода самодетерминация является свободной, проистекающей спонтанно, согласно природе системы, из ее глубин» [59].

По мнению П.А. Сорокина, общей моделью динамики социокультурных систем являются «непрерывно изменяющиеся повторяющиеся процессы». Исследователь отвергает как ошибочные односторонние строго цикличные, однозначно линейные концепции, концепции абсолютной уникальности изменений (отсутствие повторяющихся ритмов, акцент на их новизне) и концепции статической тенденции (инвариантность, неизменность социокультурного мира). «Достоверной концепцией является та, согласно которой в мире происходит «непрерывное изменение» главных повторяющихся тем и которая включает в себя, как частный случай, все перечисленные концепции» [60]. Социокультурное изменение, например, может принять первоначально линеарную форму, затем, в результате внутренних преобразований, модифицировать направление динамики, в результате чего может появится новая форма. Последняя может быть снова линейной, циклической или, возможно, колебательной (вибрирующей, осцилляторной). В процессе последующих нерегулярных флуктуаций культура может частично вернуться к состоянию, близкому, но все же не идентичному прежнему, уже когда-то пережитому. Такую сложную динамику культуры можно рассматривать как близкую к циклической.

Антрополог А.Л. Крёбер анализировал множество отраслей культуры — философию, науку, зодчество, живопись, театральное искусство, литературу, музыку — со времен ранней греческой цивилизации до 1940-х гг. (в орбиту внимания были включены как европейские, так и многие азиатские культуры). Он заметил, что те индивиды, которые признавались выдающимися, гениальными для соответствующих эпох, появлялись чаще в кластерах, а не в изоляции. Ученый полагал, что появление таких кластеров означает периоды наивысшего развития культурного творчества (расцвета, подъема). В то же время возможны периоды, лишенные выдающихся открытий и личностей (регрессии, упадка). Таким образом, согласно схеме А.Л. Крёбера, динамика цивилизаций описывалась как чередование нерегулярных пиков и спадов (своеобразные циклы). Вопреки О. Шпенглеру и А. Тойнби, А.Л. Крёбер утверждал, что одна и та же культура может переживать расцвет неоднократно. Крёбер не обнаруживал тесной корреляции между динамиками различных элементов культуры, хотя и признавал тенденцию к совпадению успешного развития в различных областях культуры в периоды, отмеченные высоким уровнем раскрытия творческого потенциала [61].

В целом, применение циклической парадигмы вызывает множество вопросов, порой схожих с теми, которые рождает использование эволюционной парадигмы. Самый главный вопрос, видимо, касается природы тех непреложных «законов», которые регулируют якобы ритмическую повторяемость исторического процесса. Социальные изменения не всегда имеют циклический характер — данное обстоятельство тоже создает затруднения для сторонников циклической парадигмы. При этом не следует, думается, отбрасывать опыт, накопленный сторонниками циклической парадигмы, как абсолютно не имеющий значения. Представляется, что его изучение может пролить дополнительный свет на многие стороны социальной динамики, а некоторые аспекты социальных модификаций могут быть адекватно проанализированы только при посредстве циклических моделей.

«Равновесная» парадигма

В рамках «равновесной» парадигмы (структурно-функциональный анализ) динамика рассматривается как фактор, обеспечивающий сохранение социального порядка, структуры (равновесия). Исследователи, работающие в русле данного подхода, существенное внимание уделяют объяснению функций, которые должны выполняться, чтобы стабильность социальной системы или ее подсистем не подверглась деструкции. К числу ключевых концептов и категорий, которые осваивались в рамках «равновесного» подхода, можно отнести такие, как *структура, функция, равновесие, входы и выходы, среда, обратная связь*. При помощи данных концептов ученые формулировали всеобъемлющие теоретические модели социальных систем, которые могли выступать в качестве идеальных типов при идентификации и сравнительно-историческом изучении эмпирических общественных систем [62].

«Равновесная» парадигма формировалась под значительным влиянием органической метафоры — признания аналогии между социальным и биологическим организмами. Сторонники данной парадигмы исходят из того, что тесная связь между общественными институтами, гармоничная координация между ними напоминают взаимосвязь и взаимозависимость между частями биологического организма. По аналогии с биологическим организмом, каждая часть которого выполняет определенную функцию ради блага целого, социальные институты также имеют конкретные полезные функции, обеспечивающие стабильность и развитие общества.

Подобная ориентация сторонников «равновесной» парадигмы содействовала формированию у них образа общества в виде структурно упорядоченной системы: «Самым главным и фундаментальным свойством системы является взаимозависимость частей или переменных. Эта взаимозависимость состоит в строгой определенности отношений между частями или переменными и противостоит случайности изменений. Другими словами, взаимозависимость — это упорядоченность отношений между элементами системы» [63].

Т. Парсонс (1902—1979), крупнейший и наиболее влиятельный представитель функционализма XX в., сформулировал концепт «функционального императива», согласно которому для нормального существования общества необходимо выполнение четырех решающих функций (в противном случае общество подвергается деградации): а) адаптации, соотнесения с окружающей средой при использовании ее ресурсов, рациональной организации объективного мира путем распределения людей и средств производства (выполняется экономическими институтами); б) целедостижения, то есть постановки целей и задач перед социальной системой (за реализацию данной функции ответственно государство); в) социальной интеграции, связывания институтов воедино, обеспечения сотрудничества взаимосвязанных индивидов, поддержания внутреннего порядка, (данная функция выполняется правовыми и культурно-религиозными институтами); г) поддержания латентности, то есть обеспечения соответствующих мотиваций, побуждающих индивидов действовать соответственно системным целям (выполняется институтами семьи и образования). Органическая аналогия, помимо прочего, привела Т. Парсонса к формулированию концепта «гомеостатического равновесия». В обществе, как и в биологическом организме, по мнению Т. Парсонса,

имеют место постоянные взаимодействия между институтами с целью поддержания гомеостатического равновесия. Как только один из институтов провоцирует социальное изменение, это вызывает цепную реакцию перемен в прочих институтах, чтобы сохранить гомеостазис. С этой точки зрения, социальная система Т. Парсонса не является статичной, неизменной целостностью; напротив, институты, ее составляющие, постоянно меняются и приспосабливаются друг к другу.

Изменения внутри социальной системы связываются сторонниками «равновесной» парадигмы с реорганизацией ролей, которая может приобретать различные формы, в том числе исчезновение каких-то ролей, появление новых или их модификация. В исследовании, посвященном английской хлопчатобумажной промышленности, Н. Смелзер утверждал, что более развитые общества отличаются от менее развитых или традиционных большей сложностью и структурной дифференцированностью основных институциональных ролей. Он предложил 7-стадийную схему последовательных действий, в рамках которой реорганизация ролей вызывает дальнейшую структурную дифференциацию [64]: 1) неудовлетворенность существующей моделью целедостижения в рамках социальной системы или подсистемы в вопросах возможностей изменений; 2) признаки беспокойства в форме «необоснованных» негативных эмоциональных реакций и «утопических» надежд различных элементов социальной системы; 3) скрытое управление этими напряженностями и мобилизация мотивационных ресурсов на новые попытки реализовать возможности существующей системы ценностей; 4) поощрение распространения «новых идей» без навязывания определенной ответственности за их выполнение или последствия; 5) положительные попытки освоить новые идеи и институциональные образцы; 6) ответственное выполнение новых практик индивидами или коллективами, которые или получают в результате вознаграждение или же подвергаются наказанию, в зависимости от приемлемости данных инноваций в рамках существующей системы ценностей; 7) если выполнение новых практик (стадия 6) получает одобрение, они постепенно подвергаются рутинизации, превращаясь в обычные образцы исполнения и санкций; их исключительность в результате уменьшается [65].

Преимуществом «равновесного» подхода считается его «универсальность», «всеобщая» применимость. Однако, у этого подхода имеются и свои недостатки. Дело в том, что он дает скорее некоторые концептуальные рамки, которые сами по себе не продуцируют проверяемые гипотезы или то, что обычно называют «обобщениями среднего уровня». Данный подход в общем слабо стимулирует стремление углубляться в эмпирический материал. Фундаментальной проблемой «равновесного» подхода является то, что он не эластичен к динамике, изменениям. Само понятие «система» и сопутствующее ему понятие «равновесие» ориентируют исследователя на изучение структурных, более-менее стабильных, находящихся в состоянии относительного равновесия, а не динамических, компонентов исторического процесса. Конечно, возможно использование концепта «система» в динамическом контексте, с фокусировкой при этом на такие понятия, как отставание, запаздывание, сдвиг фаз, руководство, инициатива, обратная связь. Однако в действительности большинство исследований, проведенных на базе структурно-функционального подхода, не акцентирует внимания на дан-

ных динамических категориях. Акцент делается на разработке моделей различных типов систем, а не на исследовании различных типов изменений и переходов от одной системы к другой.

Конфликтологическая парадигма

Конфликтологическая парадигма в значительной степени противостоит «равновесной», акцентируя внимание не на стабильности, порядке, а на социальных изменениях, противоречиях, конфликтах, которые, как считается, имеют повсеместный характер. Таким образом, для представителей «равновесного» и конфликтологического подходов важными представляются различные стороны социальной реальности: для первых — это инвариантность, организованность, стабильность; для вторых — динамизм, изменчивость. Сторонники конфликтологического подхода (к числу крупнейших представителей данного направления следует отнести К. Маркса и Ф. Энгельса, Р. Дарендорфа, Л. Козера; в последнее время активно развивается направление феминистских и гендерных исследований, также основанное на убеждении, что именно неравенство и конфликт — в данном случае между полами, — а не солидарность, олицетворяют властные отношения между различными сегментами социума) рассматривают конфликт в качестве важнейшего фактора социальных перемен. При этом имеются существенные различия во взглядах между представителями конфликтологической парадигмы. В рамках историко-материалистического подхода модель социального конфликта приобрела дихотомический характер — все общества делятся на два основных антагонистических класса эксплуататоров и эксплуатируемых (в капиталистическом обществе данные классы представляют интересы труда и капитала), неизбежная борьба между которыми (классовая борьба) вследствие неразрешимости классовых противоречий ведет к революционному разрушению существующего социального порядка и кардинальной трансформации всего общества («... всякая историческая борьба — совершается ли она в политической, религиозной, философской или в какой-либо иной идеологической области — в действительности является только более или менее ясным выражением борьбы общественных классов, а существование этих классов и вместе с тем и их столкновения между собой в свою очередь обусловливаются степенью развития их экономического положения, характером и способом производства и определяемого им обмена» [66]). Л. Козер и Р. Дарендорф признают возможность конфликта по поводу контроля над определенными ресурсами и распределением власти и авторитета в обществе в разнообразных формах. Они предпочитают говорить не о дихотомическом, а о перекрестных множественных конфликтах (отражающих множества интересов), когда союзники в одном вопросе превращаются в противников в другом, которые предотвращают разделение всего общества по одной оси. Подобный подход превращает конфликт в фактор, скорее, предотвращающий социальную нестабильность за счет уравновешивания различных интересов и практик [67]. К позитивным последствиям конфликта сторонники ряда конфликтологических перспектив относят: предохранение социальных систем от окостенения, создание стимулов для изобретательской деятельности, внедрения инноваций; укрепление взаимной связи внутри противоборствующих сторон; выявление целей и стремлений конфликту-

ющих групп; уменьшение индивидуальных отклонений и аномии в группах; усиление тенденций созидания и обновления. В качестве отрицательных влияний конфликта рассматриваются следующие: упрощение и схематизация решения в том случае, если конфликтующие стороны хотят достичь компромисс; инкриминирование конфликтующей группе отклоняющегося поведения на основании зачастую одного не репрезентативного случая; создание трудностей в деле поддержания порядка и устойчивости.

Конфликтологическая парадигма вносит существенный теоретический вклад в разработку проблем социальных изменений. Тем не менее, она не может претендовать на всеобъемлющее объяснение истории. За ее рамками оказывается множество важных факторов и механизмов преобразований. Сторонники конфликтологической парадигмы обыкновенно оказываются в затруднении, когда пытаются придать своему подходу теоретически самостоятельный характер, — им нередко приходится прибегать к категориям, принадлежащим другим направлениям социальной мысли (например, «функция», «система», «формация», «стадия» и т.д.). Нередко конфликтологический подход интегрируется в более сложные теоретические конструкции, построенные на основе использования различных перспектив (например, историко-материалистический подход).

Итак, мы рассмотрели ряд парадигм, применяемых при изучении процесса социальных изменений. Ни одна из них не может считаться всеобъемлющей. Наряду с достижениями, каждая из указанных парадигм несет груз проблем. Вряд ли современного исследователя может удовлетворить органицизм, который лежит в основе «равновесного» подхода и, в определенной степени, — эволюционного и циклического. Немногие сегодня согласятся признать, что процессы социальных изменений осуществляются строго и однозначно по однолинеарной или, например, циклической модели. Перестройки, преобразования общества подчиняются гораздо более сложным механизмам, направление движения общества в целом может меняться, непрерывный прогресс — скорее фикция, художественный образ, чем реальность. Уповать на естественный характер социальной динамики также представляется легкомысленно. Выбор направлений развития находится в значительной зависимости от действий людей, наделенных сознанием и волей. Проблема взаимодействия между социальными структурами (экономическими, собственно социальными, политическими, институциональными, культурными, ментальными и т.д.) и субъектами истории, наделенными волей и свободой выбора, между структурной детерминантностью и человеческими возможностями выходить за рамки установленных прошлым ограничений заслуживает дальнейшей серьезной разработки. Тем не менее, выявление накопления нового качества, сдвигов в экономической, социокультурной, институционально-политической сферах жизни, определенных этапов, которые проходит общество в своем развитии, представляется оправданным (в качестве одного из подходов познания). Картина, которая получается в результате применения данного подхода, может напоминать набор дискретных отрезков, протянутых вдоль гипотетической линии, возможно, олицетворяющей движение от точки недостаточной развитости к прогрессу (но не обязательно). Необходимо также фокусировать внимание и на комплексе достаточно медленно меняющихся параметров, характеризующих социокультурное и ци-

вилизационное ядро социальной системы. В рамках данного подхода исследователь акцентирует внимание на инерционность истории, на континуитет между историческим прошлым и настоящим. Различные по своему существу, эти подходы взаимодополняют друг друга. Действительно, весь ход человеческой истории убеждает в том, что в ней присутствует динамика, развитие, несмотря даже на возможность серьезных кризисов и реверсивных движений. При этом очевидно, что различные компоненты общественной структуры меняются (и развиваются) неравномерно, с различными скоростями, и скорость развития каждого из них оказывает определенное воздействие на прочие компоненты (в свою очередь, ускоряя или замедляя их развитие). Общество на хронологически более ранней стадии обычно по целому ряду параметров отличается от общества через определенный промежуток времени. В то же время изменения обыкновенно не способны целиком размыть характеристики, которые приписываются конкретному обществу. Сами трансформации зачастую приводят лишь к перегруппировке, перестановке акцентов в комплексе характеризующих его корневых параметров, к трансфигурации взаимосвязей, существующих между ними. История — это не только точки и паузы, но и последовательная строка, что необходимо учитывать при описании любых исторических процессов и «длительностей».

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: Тернер Дж. Структура социологической теории. М.: Прогресс, 1985. С. 27—28.

2. Мнение, что проблема социальных изменений является центральной в обществоведении, также представлено в литературе. Например, см.: «Изучение социальных изменений — основное в социологии. Возможно, вся социология концентрирует внимание на изменениях» (Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 12).

3. Заслуживает внимания мысль Антуана Про о наличии связи между историей (процессом истории) и структурацией (кристаллизацией структурных связанностей): «Время историков предстает, таким образом, как уже структурированное, уже артикулированное время. <...> Однако период представляет и подлинно научный интерес: он указывает на то, что одновременность не является случайным совпадением, простым рядоположением, связывающим факты разного порядка. Различные элементы, составляющие период, более или менее тесно связаны между собой. Они «идут вместе». Это — *Zusammenhang* немцев. Они объясняют друг друга. Целое учитывает части». (Про А. Двенадцать уроков по истории. М., 2000. С. 120.).

4. Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 1998.

5. См.: Рогов К.Е. Россия и современный мир (Москва). 1993, № 1 // Вопросы истории. 1994. № 3. С. 182.

6. Гидденс Э. Социология. М., 1999. С. 597.

7. Нефедов С.А. Метод демографических циклов в изучении социально-экономической истории допромышленного общества. Автореф. дисс. ... к.и.н. Екатеринбург, 1999.

8. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 133; Т. 36. С. 146; Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 3. С. 597—598.

9. См.: Фурастье Ж. Технический прогресс и капитализм с 1700 по 2100 год. Какое будущее ожидает человечество? Прага, 1964; Легостаев В.М. Наука в рамках технократической утопии Жана Фурастье // Вопросы философии. 1974. № 12.

10. См.: Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М., 1999; Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. М., 1999; Тоффлер О. Третья волна. М., 1995; Также см.: Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. М., 2000; Аси Э.К. Введение в социологию. СПб.: Алетейя, 2000. С. 179—193.

11. Топольский Е. Рефеодализация в экономике крупных землевладений в Центральной и Восточной Европе. М., 1970.

12. О роли инноваций в процессах экономического развития см., например: Санто Б. Инновация как средство экономического развития. М., 1990.

13. Бернал Дж. Наука в истории общества. М., 1956. С. 215.

14. См.: Алексеев В.В., Нефедов С.А., Побережников И.В. Модернизация до модернизации: средневековая история России в контексте теории диффузии (к постановке проблемы) // Уральский исторический вестник. Екатеринбург, 2000. № 5—6: Модернизация: факторы, модели развития, последствия изменений. С. 152—183.

15. Малиа М. Краткий XX век // Россия на рубеже XXI века: Оглядываясь на век минувший. М.: Наука, 2000. С. 122.

16. See: Rueschemeyer D. Partial modernization // Explorations in general theory in social science: essays in honor of Talcott Parsons / Ed. by J.C. Loubser et al. N.Y., 1976. Vol. 2. P. 756—772; Цит. по: Волков Л.Б. Теория модернизации — пересмотр либеральных взглядов на общественно-политическое развитие (Обзор англо-американской литературы) // Критический анализ буржуазных теорий модернизации. Сборник обзоров. М., 1985. С. 72—73. Необходимо признать, что Р. Бендикс уже в 1960-е гг. признавал, что реальный процесс модернизации протекает как «частичный» (See: Bendix R. Tradition and modernity reconsidered // Comparative studies in society and history. Hague, 1967. Vol. 9. № 1. P. 330). Также см.: Побережников И.В. Модернизация: теоретико-методологические модели // Дни науки УрГИ. Гуманитарное знание и образование в контексте модернизации России. Материалы научной конференции. Екатеринбург: Уральский гуманитарный институт, 2001. С. 19—20.

17. См.: Розов М.А. Методологические особенности гуманитарного познания // Проблемы гуманитарного познания. Новосибирск, 1986. С. 33—54; Побережников И.В. Методологические проблемы исторического исследования: природа исторической реальности и масштаб рассмотрения // Ирбитский край в истории России. Екатеринбург, 2000. С. 7—25.

18. Поппер К.Р. Логика и рост научного знания. Избранные работы. М., 1983. С. 399.

19. См.: Вебер М. Избранные произведения. М., 1990; Он же. Избранное. Образ общества. М., 1994; McClelland D.C. Business Drive and National Achievement // Social Change: Sources, Patterns and Consequences / Etzioni A. and Etzioni-Halevy E. (eds.). New York: Basic Books, 1973. P. 161—174; Также см.: Зарубина Н.Н. Социокультурные факторы хозяйственного развития: М. Вебер и современные теории модернизации. СПб., 1998.

20. Moore W.E. Social Change. Englewood Cliffs, N.Y.: Prentice-Hall, 1974. P. 34—46; Also see: Vago S. Social Change. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1989. P. 75—79; Штомпка П. Социология социальных изменений... С. 31—37.

21. Длинные волны: Научно-технический прогресс и социально-экономическое развитие. Новосибирск, 1991. С. 15.

22. Анчишкин А.И. Наука, техника, экономика. М., 1986. С. 177—178.

23. Tiryakian E. Modernization in a Millenarian Decade: Lessons for and from Eastern Europe // Social Change and Modernization: Lessons from Eastern Europe / Grancelli B. (ed.). Berlin; New York: De Gruyter, 1995. P. 254—256.

24. See: Tiryakian E. The Changing Centers of Modernity // Comparative Social Dynamics: Essays in Honor of Shmuel N. Eisenstadt / Cohen E., Lissak M., Almagor U. (eds.). Boulder, CO: Westview Press, 1985. P. 131—147.

25. См.: Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). Новосибирск, 1997. Т. 1: От прошлого к будущему.

26. См.: Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв.: В 3-х тт. М., 1986, 1988, 1992; Cameron R. A Concise Economic History of the World. From Paleolithic Times to the Present. New York; Oxford, 1989; Wallerstein I. Underdevelopment Phase-B: Effect of the Seventeenth-Century Stagnation on Core and Periphery of the European World-Economy // The World-System of Capitalism: Past and Present / Ed. by W.L. Goldfrank. Beverly Hills, CA: Sage, 1979. P. 73—84; Длинные волны... С. 106—108.

27. См.: Смелзер Н. Социология. М., 1994. С. 567—568.

28. См.: Там же. С. 611.

29. Гидденс Э. Социология. С. 673. В другом месте автор пишет: «Для определения значимости перемен необходимо установить, насколько изменилась глубинная структура данного объекта или ситуации в течение некоторого периода времени. Если говорить о человеческом обществе, то, чтобы решить, в какой степени и каким образом система подвержена процессу изменений, необходимо определить степень модификации основных институтов в течение определенного периода. Любой учет изменений также предполагает выделение того, что остается стабильным, так как это является основанием, на фоне которого определяются изменения». (Там же. С. 591.)

30. Асп Э.К. Введение в социологию. С. 114, 172.

31. See: Vago S. Social Change. P. 7—9.

32. See: Ibid. P. 4—6, 9—10.

33. Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1986. С. 104.

34. See: Dahl R. Pluralist Democracy in the United States: Conflict and Consent. Chicago: Rand McNally, 1967.

35. См.: Поппер К. Нищета историцизма. М., 1993. С. 81.

36. См.: Там же. М., 1993. С. 20.

37. См.: Кондорсе Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума // Философия истории. Антология. М.: Аспект-Пресс, 1994. С. 38—48.

38. Философия истории. Под ред. проф. А.С. Панарина. М., 1999. С. 364.

39. См.: Сен-Симон К.А. Собрание сочинений. М.; Л., 1923; Он же. Избранные сочинения. М.; Л., 1948. Т. 1—2.

40. См.: Конт О. Основные законы социальной динамики, или общая теория естественного процесса человечества // Философия истории. Антология. С. 116—130; Comte A. The Progress of Civilization through Three States // Social Change. Sources, Patterns, and Consequences. Ed. by Eva Etzioni-Halevy and Amitai Etzioni. N.Y., 1973. P. 14—19. Также см.: Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. С. 86—147.

41. См.: Spencer H. The Evolution of Societies // Social Change. Sources, Patterns and Consequences. P. 9—13; Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая социология. СПб., 1996. С. 28—38.

42. Toennies F. Community and Society: Gemeinschaft und Gesellschaft. East Lansing: Michigan State University Press, 1957; Idem. From Community to Society // Social Change. Sources, Patterns, and Consequences. P. 54—62; Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая социология. С. 81—84; Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. М., 2000. С. 650—654.

43. См.: Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. Также см.: Арон Р. Этапы развития социологической мысли. С. 315—401; Монсон П. Современная западная социология: теории, традиции, перспективы. СПб., 1992. С. 37—41.

44. Морган Л.Г. Древнее общество, или Исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. Л., 1934; Он же. Лига ходеносауни, или ирокезов. М., 1983.

45. Rostow W.W. The Stages of Economic Growth. A Non-Communist Manifesto. Cambridge, 1960; Rostow W.W. The Takeoff into Self-Sustained Growth // Social Change. Sources, Patterns, and Consequences. P. 285—300.

46. Классен Х.Дж.М. Проблемы, парадоксы и перспективы эволюционизма // Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 13.

47. См.: Там же. С. 7.

48. См.: Карнейро Р.Л. Культурный процесс // Антология исследований культуры. СПб., 1997. Т. 1: Интерпретации культуры. С. 421—438; Carneiro R.L. The Four Faces of Evolution // Handbook of Social and Cultural anthropology / Ed. by J.J. Honigman. Chicago: University of Chicago Press, 1973. P. 89—110.

49. См.: Коротаев А.В., Крадин Н.Н., Лынша В.А. Альтернативы социальной эволюции (вводные замечания) // Альтернативные пути... С. 45—49.

50. См.: Уайт Л.А. Концепция эволюции в культурной антропологии // Антология исследований культуры. С. 558.

51. См.: Классен Х.Дж.М. Проблемы, парадоксы и перспективы эволюционизма... С. 11—15; Коротаев А.В., Крадин Н.Н., Лынша В.А. Альтернативы социальной эволюции... С. 49—61; Steward J.H. Evolution and Progress // Anthropology Today / Ed. by A.L. Kroeber. Chicago: University of Chicago Press, 1953. P. 313—326; Idem. Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution. Urbana: University of Illinois Press, 1955; Idem. A Neo-Evolutionist Approach // Social Change. Sources, Patterns, and Consequences. P. 131—139; Уайт Л.А. Концепция эволюции в культурной антропологии // Антология исследований культуры. С. 536—558; Он же. История, эволюционизм и функционализм как три типа интерпретации культуры // Там же. С. 559—590; Также см.: Аверкиева Ю.П. Историко-философские взгляды Лесли А. Уайта (1900—1975) // Этнография за рубежом (историографические очерки). М., 1979. С. 48—69.

52. Moore B.Jr. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston, 1966.

53. Therborn G. European Modernity and Beyond: The Trajectory of European Societies, 1945—2000. London, New Delhi: Sage Publications, 1995. P. 5—7; Цапф В. Теория модернизации и различие путей общественного развития // Социс. 1998. № 8. С. 16—17.

54. Классен Х.Дж.М. Проблемы, парадоксы и перспективы эволюционизма... С. 7—8.

55. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000; Beck U. Risikogesellschaft. Frankfurt, 1986.

56. Например, см.: Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997; Dube S.C. Modernization and Development: The Search for Alternative Paradigms. Tokyo, London, 1988.

57. Необходимо признать, что циклическая парадигма имеет длинную традицию. Циклические представления разделяли многие философы и историки древности, средних веков, нового времени (Гераклит, Аристотель, Полибий, Сыма Цянь, Ибн Хальдун, Н. Макиавелли, Дж. Вико, Н.Я. Данилевский и др.).

58. «Культуры, — по мнению О. Шпенглера, — это организмы, а мировая история есть их коллективная биография».

59. Сорокин П. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. СПб., 2000. С. 748.

60. Там же. С. 779, 781.

61. В целом о циклической парадигме см.: Сорокин П. О концепциях основоположников цивилизационных теорий // Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. М., 1999. С. 38—47; Он же. Общие принципы цивилизационной теории и ее критика // Там же. С. 47—54; Он же. Социальная и культурная динамика... ; Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск, 1993; Он же. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. М., 1998. Т. 1—2; Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. М., 1996; Он же. Постижение истории. М., 1991; Крёбер А.Л. Стиль и цивилизации // Антология иссле-

дований культуры. С. 225—270; Он же. Конфигурации развития культур // Там же. С. 465—496; Spengler O. The Life Cycle of Cultures // Social Change. Sources, Patterns, and Consequences. P. 20—25; Pareto V. The Circulation of Elites // Ibid. P. 26—29; Также см.: Штомпка П. Социология социальных изменений... С. 186—201; Философия истории. Под ред. проф. А.С. Панарина. М., 1999. С. 340—361; Мелко М. Природа цивилизаций // Время мира. Альманах. Вып. 2: Структуры истории. Новосибирск, 2001. С. 306—327; Уэскотт Р. Исчисление цивилизаций // Там же. С. 328—344; Ито Ш. Схема для сравнительного исследования цивилизаций // Там же. С. 345—354.

62. См.: Мертон Р.К. Явные и латентные функции // Американская социологическая мысль: Тексты. М.: Издание Международного Университета Бизнеса и Управления, 1996. С. 393—461; Парсонс Т. Система координат действия и общая теория систем действия: культура, личность и место социальных систем // Там же. С. 462—478; Он же. Функциональная теория изменения // Там же. С. 478—493; Он же. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // Там же. С. 494—525; Он же. О структуре социального действия. М., 2000; Parsons T. A Functional Theory of Change // Social Change. Sources, Patterns, and Consequences. P. 72—86; Уолш Д. Функционализм и теория систем // Новые направления в социологической теории. М., 1978. С. 111—139.

63. Parsons T., Shils E. Towards a General Theory of Action. Free Press, New York, 1951. P. 107; Цит. по: Новые направления... С. 113.

64. Н. Смелзер определяет структурную дифференциацию как процесс, в ходе которого «одна социальная роль или организация ... дифференцируется на две или большее количество ролей или организаций, которые функционируют более эффективно в новых исторических условиях. Новые социальные единицы структурно отличаются друг от друга, но, взятые в совокупности, они представляют функциональный эквивалент первоначальной единицы» (Smelser N.J. Social Change in the Industrial Revolution. Chicago: University of Chicago Press, 1959. P. 2).

65. Ibid. P. 15—16.

66. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 259.

67. Там же. Т. 7. С. 5—110; Козер Л.А. Функции социального конфликта. М., 2000; Он же. Функции социального конфликта // Американская социологическая мысль... С. 542—546; Он же. Завершение конфликта // Там же. С. 546—555; Dahrendorf R. Toward a Theory of Social Conflict // Social Change. Sources, Patterns, and Consequences. P. 100—113; Coser L.A. Social Conflict and the Theory of Social Conflict // Ibid. P. 114—122; Антология гендерной теории. Минск: Пропилеи, 2000; Также см.: Тернер Дж. Структура социологической теории. С. 125—219; Томпсон Д.Л., Пристли Д. Социология. М.; Львов, 1998. С. 407— 418; Асп Э.К. Введение в социологию. С. 147—150.

SOCIAL CHANGE IN THEORETICAL PROJECTIONS

A social change as a phenomenon of social reality is identified in the article and its parameters are defined. The author analyses different theoretical approaches (evolutional, «equilibrium», cyclical, conflict, etc.) applied to the study in change and defines their epistemological limits.

I.V. Poberezhnikov

С.А. Нефедов

МЕТОД ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ

Характерной чертой современной ситуации в отечественной историографии являются поиски новых подходов к раскрытию закономерностей исторического процесса. Происходит переоценка и новое осмысление теорий, разработанных европейскими и американскими научными школами. В этой связи большой интерес проявляется к работам французской школы «Анналов», в частности, к используемой представителями этой школы концепции демографических циклов. Речь идет о циклических колебаниях численности населения, о циклах, которые Фернан Бродель называет «вековой тенденцией», Раймонд Пирл — «демографическими», а Рондо Камерон — «логистическими циклами».

«Демографические приливы и отливы есть символ жизни минувших времен, — писал Фернан Бродель, — это следующие друг за другом спады и подъемы, причем первые сводят почти на нет — но не до конца! — вторые. *В сравнении с этими фундаментальными реальностями все (или почти все) может показаться второстепенным*... [1]. Растущее население обнаруживает, что его отношения с пространством, которое оно занимает, с теми богатствами, которыми оно располагает, изменились... Возрастающая демографическая перегрузка нередко заканчивается — а в прошлом неизменно заканчивалась — тем, что возможности общества прокормить людей оказывались недостаточными. Эта истина, бывшая банальной вплоть до XVIII века, и сегодня еще действительна для некоторых отсталых стран... Демографические подъемы влекут за собой снижение уровня жизни, они увеличивают... число недоедающих нищих и бродяг. Эпидемии и голод — последний предшествует первым и сопутствует им — восстанавливают равновесие между количеством ртов и недостающим питанием... Если необходимы какие-либо конкретные данные, касающиеся Запада, то я бы отметил длительный рост населения с 1100 по 1350 год, еще один с 1450 по 1650, и еще один, за которым уже не суждено было последовать спаду — с 1750 года. Таким образом, мы имеем три больших периода демографического роста, сравнимые друг с другом... *Притом эти длительные флуктуации обнаруживаются и за пределами Европы и примерно в то же время Китай и Индия переживали регресс в том же ритме, что и Запад, как если бы вся человеческая история подчинялась велению некоей первичной космической судьбы, по сравнению с которой вся остальная история была истиной второстепенной*» [2].

Ф. Бродель неоднократно подчеркивает, что демографические циклы являются фундаментальными реальностями, глобальными закономерностями истории, исходя из которых можно объяснить многие события политической и экономической жизни. Таким образом, актуальность исследования демографических циклов определяется их ролью как одного из важнейших факторов исторического процесса.

Влияние демографического фактора на течение исторического процесса отмечалось многими философами, начиная с античных времен. В трудах Платона, Аристотеля, Хань Фэй-цзы рост численности населения связывался с

опасностью перенаселения, которое приводило к нехватке пахотных земель, к недостатку продовольствия, бедности, голоду и восстаниям бедняков.

Начало исследования проблемы перенаселения в Новое время связано с именем основателя демографической науки Томаса Роберта Мальтуса. По теории Мальтуса численность населения N возрастает со временем t как геометрическая прогрессия со знаменателем r, где r — коэффициент естественного прироста. Мальтус утверждал, что при благоприятных условиях население возрастет за 25 лет в 2 раза, за 100 лет — в 16 раз, за 200 лет — в 256 раз. Рассуждая подобным образом, Мальтус пришел к выводу, что численность населения возрастает намного быстрее, чем средства производства, что перенаселение и голод являются неразлучными спутниками человеческого общества.

Революция и тирания, по мысли Мальтуса, являются естественными следствиями перенаселения и голода: «До сих пор сущность и действие закона народонаселения не были поняты, — писал Мальтус. — Когда политическое неудовольствие присоединяется к воплям, вызванным голодом, когда революция производится народом из-за нужды и недостатка пропитания, то следует ожидать постоянных кровопролитий и насилий, которые могут быть остановлены лишь безусловным деспотизмом» [3].

Идеи Мальтуса были восприняты крупнейшими экономистами «классической школы» (А. Смит, Ж.Б. Сэй, Дж. Милль и др.); Давид Рикардо включил эти положения в разработанную им теорию заработной платы. Первая мировая война, голод и революции 1917—1922 гг. дали идеям Мальтуса новую жизнь. Выдающийся экономист Джон Мэйнард Кейнс, проанализировав данные статистики, показал, что накануне войны в Европе наблюдались признаки перенаселения, что именно перенаселение в конечном счете вызвало Первую мировую войну и революцию в России.

Теоретическое описание процесса роста населения было впервые сделано американским демографом Раймондом Пирлом. Пирл показал, что рост населения (в первом приближении) описывается так называемым логистическим уравнением. Решение этого уравнения называется «логистической кривой». Логистическая кривая сначала возрастает довольно медленно, потом рост ускоряется, но через некоторое время кривая приближается к асимптоте, поворачивает и далее движется вдоль асимптоты. Это означает, что популяция приблизилась к границам экологической ниши, когда повышение смертности как следствие голода скомпенсировало естественную рождаемость. Отношение текущей численности населения к максимально возможной называется *демографическим давлением*. Другими словами, демографическое давление — это степень заполнения экологической ниши. Поскольку продовольственные ресурсы остаются ограниченными, то по мере роста населения соответственно убывает душевое потребление (вторая кривая на рис. 1).

Движение населения по логистической кривой называется *демографическим циклом*. Конечная стадия демографического цикла отличается неустойчивостью: случайные колебания внешних факторов (например, войны или повторяющиеся неурожаи) могут привести к *демографической катастрофе* — гибели значительной части населения, после чего демографическое давление падает и начинается новый демографический цикл.

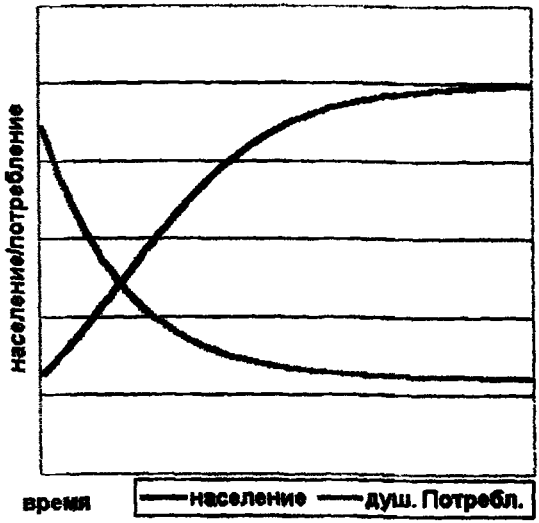


Рис. 1. Логистическая кривая и кривая душевого потребления

Первое описание демографического цикла в истории конкретной страны — в данном случае, Китая — принадлежит русскому востоковеду Е.Е. Яшнову. Голод, эпидемии и войны в конце предыдущего цикла резко сокращают численность населения, писал Е.Е. Яшнов, поэтому в начале нового цикла крестьяне пользуются относительным земельным простором и сравнительным достатком. В благоприятных условиях численность населения начинает быстро расти, и через некоторое время заброшенные ранее поля оказываются распаханными, снова обнаруживается недостаток пахотных земель. Размеры наделов уменьшаются, крестьянское хозяйство теряет устойчивость, в годы голода крестьяне продают землю ростовщикам и помещикам. В деревне растет помещичье землевладение; разоренные крестьяне пытаются прокормиться ремеслом, уходят в города. Города растут, но вместе с тем растет число голодных и нищих. В конце концов, голод приводит к крестьянским восстаниям, попыткам передела земель, внутренним войнам. Разрушение ирригационных систем еще более усиливает голод, начинаются эпидемии, и бедствия сливаются в катастрофу, которая губит большую часть населения. Затем начинается новый демографический цикл, и все повторяется с начала [4].

Опубликованная в 1933 году в Харбине работа Е.Е. Яшнова осталась вне поля зрения европейских историков и была незаслуженно забыта. Исследование демографических циклов проводилось в Европе независимо и основывалось на изучении материалов о хозяйственной жизни европейских стран.

В 1934 году немецкий историк и экономист Вильгельм Абель, проанализировав данные об экономической конъюнктуре в Германии в XII—XIV веках, показал, что рост численности населения в этот период привел к исчерпанию ресурсов пахотных земель; это, в свою очередь, привело к нехватке

продовольствия, росту цен на зерно и голоду. Эпидемия чумы, разразившаяся в условиях, когда миллионы людей были ослаблены постоянным недоеданием, привела к катастрофическим последствиям — погибло около половины населения Европы. Это была «демографическая катастрофа», завершившая демографический цикл, — таким образом, было показано, что описанные Р. Пирлом циклы реально существовали в истории [5].

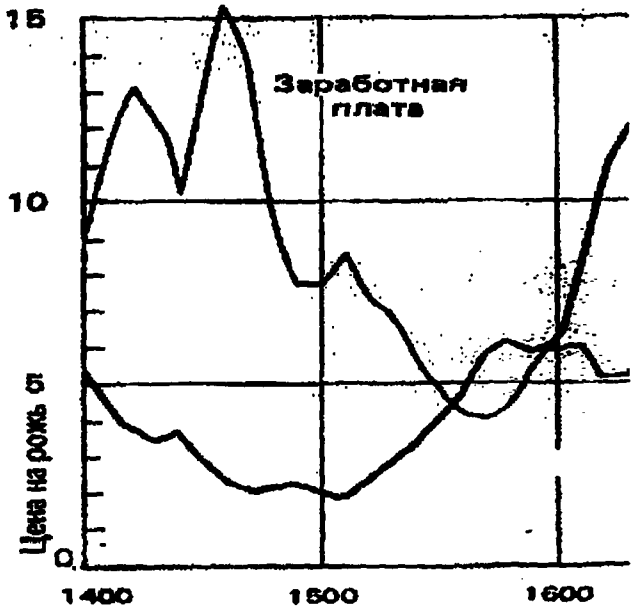


Рис. 2. Заработная плата (кривая душевого потребления) и цена ржи в Германии.
Заработная плата выражена в килограммах ржи; падение потребления отражает рост демографического давления в цикле XV—XVI вв. График, построенный В. Абелем, воспроизведен в книге Ф. Броделя. (Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVII вв. Т. 1. Структуры повседневности. М., 1986. С. 634)

Работы В. Абеля нашли широкий отклик в среде историков разных стран. Лондонский журнал «Ревю экономической истории» ввел рубрику «Ревизия экономической истории», в которой публиковались статьи, посвященные анализу экономических процессов XIII—XV веков. Исследования М. Постана, К. Киполлы, К. Хеллинера, Д. Салмарша, Е. Перри, Ф. Лютге, Э. Кельтера и других историков на материале различных европейских стран показали связь экономики с ростом населения: было показано, что рост населения служил движущей силой роста экономики, что увеличение численности крестьян заставляло их производить распашки и осваивать новые земли; безземельные крес-

тьяне уходили в города, что приводило к росту городов и ремесел. Сокращение численности населения, в свою очередь, вело к запустению деревень и сокращению пахотных земель. Возникло понятие «кризис XIV века», количество работ, посвященных данной тематике, быстро росло. Однако оставалась вопросом, как судить о численности населения в отсутствие надежных статистических данных. В 1950 г. М. Постан показал, что в условиях аграрной экономики о росте или убывании населения можно судить по величине реальной заработной платы сельскохозяйственных рабочих [6]. При возрастании численности населения в деревне появляются безземельные крестьяне и рабочие руки дешевеют; при сокращении численности населения крестьяне обеспечены землей и рабочая сила дорожает. С этого времени для анализа демографической ситуации стали применяться данные о ценах и реальной заработной плате, т. е. о душевом потреблении; построение таких графиков (см., например, рис. 2) стало основным способом подтверждения реальности демографических и экономических циклов.

Итоги первого этапа исследований были подведены в 1955 году на X международном конгрессе историков, где с коллективным докладом выступили М. Молла, М. Постан, П. Иогансен, А. Сапори и Ш. Верлинден [7]. В обширном докладе была сформулирована новая концепция экономической истории, опирающаяся на понятие «вековой тенденции». В XI—XIII веках преобладала повышательная вековая тенденция, когда рост населения сопровождался расширением посевных площадей и экономическим ростом. К концу XIII века были освоены практически все пригодные земли, и продолжающийся демографический рост привел к перенаселению, к измельчению крестьянских наделов, росту числа безземельных крестьян. Возрастание «давления населения на землю» проявилось в росте цен на зерно, падению реальной заработной платы и понижению жизненного уровня широких масс крестьянства. Стали учащаться голодные годы, в 1310-х вся Европа было охвачена страшным голодом, который унес многие тысячи жизней и положил конец повышательной вековой тенденции. Опустошительное действие «Великой Чумы» объяснялось тем, что она обрушилась на население, ослабленное постоянными голодовками. Катастрофа и резкое снижение численности населения означали переход к понижательной вековой тенденции. В этот период цены на зерно падали, а заработная плата росла и, таким образом, катастрофа принесла с собой разрешение от кризиса перенаселения и улучшение положения широких масс. Концепция «вековой тенденции» была развитием схемы В. Абеля и отличалась от нее большей детальностью, она была подкреплена подробным анализом экономической ситуации в различных странах. В то же время, авторы концепции ограничивались рассмотрением периода XI—XV веков и оставляли открытым вопрос о циклической смене понижательных и повышательных вековых тенденций.

В дальнейшем изучение «вековых тенденций» в значительной мере сместилось к анализу экономического развития в последующий период, в период XVI—XVII веков. Начало исследования экономический динамики в этот период было положено Ф. Симианом, который еще в 1932 году показал наличие повышательной вековой тенденции в XVI веке и понижательной в XVII веке [8]. В 1953 г. появилась капитальная работа Р. Мунье «XVI и XVII века. Прогресс европей-

ской цивилизации и упадок Востока (1492—1715)» [9]. Р. Мунье указал на демографическую природу вековых тенденций. В конце XV и в XVI веках отмечался рост населения, сопровождаемый освоением земель, заброшенных в период «Великой Чумы». По мере роста населения и сокращения фонда свободных земель росли цены и падала реальная заработная плата. В конце XVI века вновь появились признаки перенаселения, участились голодовки и эпидемии, рост населения прекратился. В первой половине XVII столетия в некоторых странах отмечалось значительное сокращение численности населения; экономика Европы находилась в состоянии упадка. Во второй половине столетия возобладала понижательная вековая тенденция, цены стали падать, а реальные доходы — расти. Характерной чертой работы Мунье является установление зависимости между экономическими и социальными процессами. Мунье показывает, как падение уровня жизни приводит к восстаниям, внутренним и внешним войнам — к так называемому «кризису XVII века». Главная мысль Мунье заключается в том, что спасителем от всех бед, принесенных кризисом, является абсолютная монархия. Абсолютизм изображается как носитель централизации, национального единства, народности, принципа эгалитарности, как единственный последовательный защитник общегосударственных интересов.

Исследование экономической динамики XVIII века было проведено еще в 30-х годах в ставшей классической работе Э. Лабрусса «Очерк движения цен во Франции в XVIII веке» [10]. Э. Лабрусс доказал наличие повышательной тенденции и выделил 70-летний цикл с 1726 по 1789 год, который он назвал «longue duree» («длительный цикл») и который позже назвали «Циклом Лабрусса». Лабрусс не анализировал причины повышения цен, но сделал кардинальный вывод о том, что Великая Французская революция была следствием предопределенного циклическими изменениями падения уровня жизни. Позднее Лабрусс расширил рамки цикла, сдвинув его начало к середине XVII века.

Исследование демографической и экономической динамики XVI—XVIII веков показало определенную повторяемость по отношению к предшествующему периоду; стало очевидным, что «вековые тенденции» составляют *демографические циклы*. Идея цикличности, высказывавшаяся отдельными историками и ранее, нашла обоснование в работах В. Абеля и Э. Вагемана [11].

В 50-х и 60-х гг. теория вековых демографических циклов нашла подробное отражение в обобщающих трудах Ж. Ле Гоффа, Слихера ван Баса, Р. Романо, А. Тенети, Ж. Дюби и других авторов [12]. Большую роль в разработке этой теории играет французская школа «Анналов». В 1958 г., подводя итог достижениям предшествующего периода, редактор «Анналов» Фернан Бродель заявил о рождении «новой исторической науки». «Новая экономическая и социальная история на первый план в своих исследованиях выдвигает проблему циклического изменения, — писал Ф. Бродель, — она заворожена фантомом, но вместе с тем и реальностью циклического подъема и падения цен» [13]. В 1967 г. выходит первый том фундаментального труда Ф. Броделя «Материальная цивилизация, экономика и капитализм в XV—XVIII веках», строки из которого цитировались выше. В этом же году появляется четвертый том «Кембриджской экономической истории Европы», в котором теория вековых тенден-

ций представлена в разделах, написанных Ф. Броделем, Ф. Спунером и К. Хеллинером [14]. Большое значение имеют работы известного ученого Ле Руа Ладюри, которому принадлежит наиболее полное исследование социально-экономических и демографических процессов во французской деревне [15].

В 70-х гг. теория демографических циклов получает освещение в энциклопедических многотомных изданиях, таких как «Экономическая и социальная история Франции», «История Италии» [16]. В это время выходят в свет обобщающие работы М. Постана «Средневековая экономика и общество», «Очерк средневекового сельского хозяйства и общие проблемы средневековой экономики» [17]. В 1976 г. известный историк и экономист Рондо Камерон в своем обзоре достижений экономической истории пишет о циклах европейской истории как о теории, получившей общее признание [18]. Среди изданий 80-х гг. мы можем отметить книгу Ф. Броделя «Что такое Франция? Люди и вещи» и популярный учебник Р. Камерона «Краткая экономическая история мира» [19]. Помимо трех описанных выше демографических циклов, Ф. Бродель и Р. Камерон рассматривают демографические циклы в античности и раннем средневековье; таким образом, делается попытка представить всю историю Европы в виде чередующихся демографических циклов и объяснить социальные явления, исходя из демографических закономерностей.

Концепция демографических циклов достаточно подробно разработана для истории Европы. Ф. Бродель постулирует наличие демографических циклов также и в истории Востока, однако известный историк и экономист Р. Камерон подвергает критике этот тезис Ф. Броделя, указывая на отсутствие исследований по этой тематике. Отдельные работы по этой теме имеются лишь в китаеведении; они связаны с освоением научного наследия Е.Е. Яшнова, вновь введенного в научный оборот А.С. Мугрузиным [20]. В последнее время проблема влияния демографического фактора на течение исторических процессов активно разрабатывается группой российских историков, возглавляемой Э.С. Кульпиным [21].

В 1974 г. известным французским демографом Альфредом Сови была сформулирована гипотеза о том, что рост демографического давления и перенаселение приводят к социальным конфликтам и установлению авторитарных режимов [22]. Признавая определяющее влияние демографических и экологических факторов на многие стороны общественной жизни — прежде всего на экономику — специалисты, тем не менее, достаточно осторожно подходят к проблеме влияния демографического давления на социальный строй.

«Утверждение, что дефицит пахотных земель в принципе может влиять на социальные процессы, наверное, ни у кого не вызывает сомнения, — отмечает Э.С. Кульпин. — Казалось бы влияние очевидно, но... недоказуемо. Однозначный ответ можно было бы получить, *проведя сравнительный анализ статистических данных, сопоставляемых для разных стран, времен и цивилизаций*. Всем известно, что таких данных у исследователей нет...».

«Однако ситуация не тупиковая, — продолжает Э.С. Кульпин, — *поскольку возможно моделирование процессов*...» [23].

Принимая точку зрения Э.С. Кульпина, мы начали исследование с построения математической модели демографического цикла. Нашей целью было путем

модельных экспериментов выявить характерные особенности цикла с тем, чтобы установить критерии, позволяющие выявлять цикл в реальном течении истории — даже несмотря на отсутствие данных о численности населения. Используя полученные критерии, мы попытались далее дать краткий обзор древней и средневековой истории Востока на предмет выделения демографических циклов (поскольку для Запада эта работа уже проделана в трудах многих исследователей). Наша задача при этом состояла в том, чтобы обосновать сформулированную Ф. Броделем гипотезу о том, что исторический процесс на Востоке (как и на Западе) складывается из демографических циклов. Другой нашей целью было доказательство гипотезы А. Сови о связи между перенаселением и монархическим строем.

Первая часть работы посвящена построению математической модели демографического цикла. Модель учитывает зависимость пахотных площадей от численности населения, зависимости между пахотными площадями, урожаем, запасами и душевым потреблением крестьян, зависимость между потреблением и численностью населения, зависимость процессов купли-продажи земель от душевого потребления, динамика численности арендаторов и ремесленников, динамика потребления этих слоев населения и т. д. Верификация модели производилась на материале истории Китая (эпоха Младшая Хань). Для этого периода в источниках имеются данные о численности населения, посевных площадях; имеется достаточно подробная информация о протекавших в этот период социально-экономических процессах.

Результаты расчетов представлены на рис. 3. Крупные точки на этом рисунке отвечают данным переписей и кадастров; так что, в целом, с учетом естественных погрешностей можно считать, что модель достаточно хорошо описывает реальную действительность.

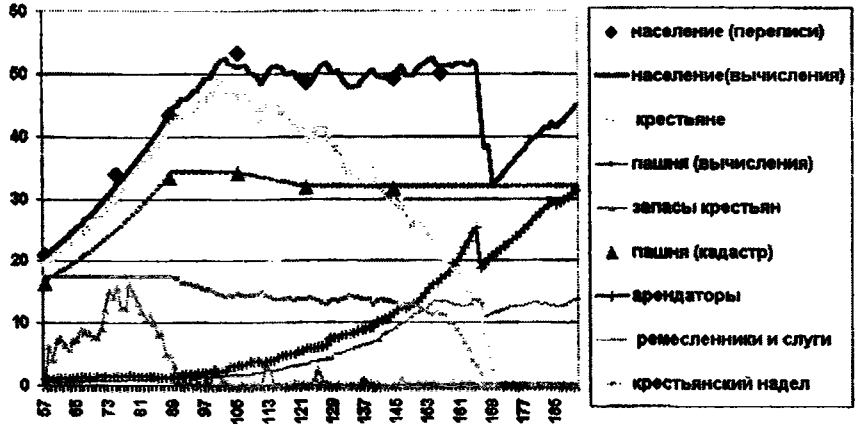


Рис. 3. Расчетная динамика численности населения (млн. чел.), численность крестьян-собственников, арендаторов и ремесленников, размеры пахотных земель (млн га) и средняя обеспеченность крестьян-собственников землей (в му на чел., 1 му = 661 кв. м)

Обращают внимание на себя следующие обстоятельства.

1. Начало демографического цикла характеризуется быстрым ростом населения и пахотных площадей; за полвека численность населения возрастает в 2.5 раза. Однако затем быстрый рост внезапно сменяется кризисом — сначала приостановкой, а затем некоторым уменьшением численности населения. Естественно считать приостановку роста результатом заполнения экологической ниши и исчерпания ресурсов пахотных земель. Крестьянам не хватает зерна до нового урожая, и они начинают продавать землю ростовщикам.

2. После кризиса начался период стагнации. Продажи привели к дефициту пашни, что в свою очередь привело к голоду и новым продажам. Численность крестьян-собственников постоянно уменьшалась за счет голодной смертности и перехода в арендаторы или в ремесленники. К этому времени источники относят бурный рост городов и развитие ремесел.

3. Период стагнации заканчивается *демографической катастрофой* — резким сокращением численности населения в 180-х годах. Это сокращение произошло не только за счет гибели населения от голода, но и в результате восстаний и внутренних войн — и действительно, в это время произошло восстание «желтых повязок», а затем начались долгие междоусобные войны. Расчеты выявляют механизм этой демографической катастрофы. В период стагнации происходил процесс разорения крестьянства, крестьяне жили в условиях постоянного голода, и, чтобы избежать голодной смерти, продавали свои земли. Однако по мере того, как крестьяне продавали землю, росла диспропорция между их численностью и площадью крестьянских земель, уменьшались размеры крестьянских участков — катастрофически нарастало малоземелье. В конце концов земли осталось так мало, что ее продажа не могла спасти крестьян — начался страшный голод, сопровождаемый эпидемиями и приведший к восстаниям и войнам, погубившим большую часть населения.

4. Другое, и пожалуй, наиболее важное обстоятельство, объясняющее периодически повторяющиеся катастрофы — это неустойчивость демографических процессов в период стагнации. В этот период крестьяне практически не имеют зерновых запасов, поэтому, как показывают расчеты, повторение неурожайных лет само по себе может привести к демографической катастрофе — независимо от процесса разорения крестьянства.

Сопоставление данных исторических источников с результатами численного эксперимента позволяет сделать следующие выводы.

Демографический цикл начинается с *периода внутренней колонизации (или периода восстановления)*. Для этого периода характерны: *относительно высокий уровень потребления основной массы населения, то есть низкий уровень демографического давления; рост населения; рост посевных площадей; строительство новых (или восстановление разрушенных ранее) поселений; низкие цены на хлеб; низкие цены на землю; дороговизна рабочей силы; незначительное развитие помещичьего землевладения, аренды и ростовщичества; ограниченное развитие городов и ремесел; внутриполитическая стабильность.*

Период внутренней колонизации может продолжаться 50—100 лет, за это время население может возрасти более чем в два раза.

После периода внутренней колонизации начинается *период Сжатия*. Для этого периода характерны: *низкий уровень потребления основной массы населения, то есть высокий уровень демографического давления; приостановка роста населения; частые сообщения о голоде и стихийных бедствиях; крестьянское малоземелье; разорение крестьян-собственников; рост помещичьего землевладения; рост ростовщичества; распространение долгового рабства; уход разоренных крестьян в города; рост городов; бурное развитие ремесел и торговли; падение уровня реальной заработной платы, дешевизна рабочей силы; высокие цены на хлеб; высокие цены на землю; большое количество безработных и нищих; голодные бунты и восстания; активизация народных движений под лозунгами передела собственности и социальной справедливости; попытки проведения социальных реформ с целью облегчения положения народа; внешние войны с целью приобретения новых земель и понижения демографического давления; строительство ирригационных систем с целью освоения новых земель.*

Период Сжатия может продолжаться от нескольких десятилетий до столетия — в зависимости от того, оказывает ли государство поддержку разоряющемуся крестьянству.

Период Сжатия заканчивается *экосоциальным кризисом*. Для этого времени характерны: *голод; эпидемии; восстания и гражданские войны; внешние войны; гибель больших масс населения, принимающая характер демографической катастрофы; разрушение или запустение многих городов; упадок ремесла и торговли; высокие цены на хлеб; низкие цены на землю; гибель значительного числа крупных собственников и перераспределение собственности; социальные реформы, в некоторых случаях принимающие масштабы революции.*

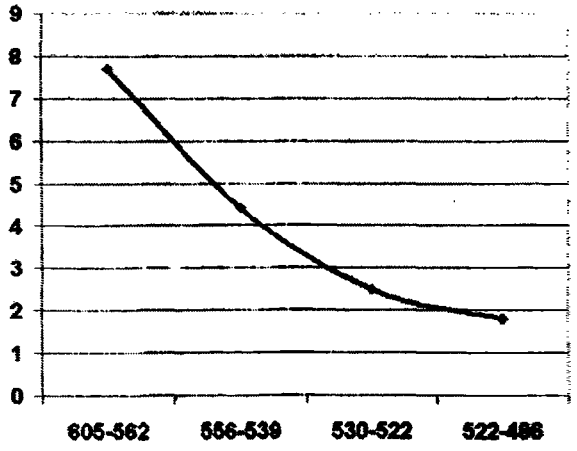


Рис. 4. Кривая потребления в Вавилонии в VI—начале V века до н. э. Цифры показывают количество литров ячменя, которое мог купить неквалифицированный рабочий на дневную зарплату. Падение потребления отражает рост демографического давления

Следует отметить, что демографическая катастрофа не является одномоментным событием — внутренние войны могут длиться десятилетиями.

Отмеченные здесь характерные черты используются далее как *набор эталонных признаков* для выделения демографического цикла в истории различных стран и народов. В дальнейшем этот набор использовался для выделения демографических циклов в истории стран Востока на протяжении древности и раннего средневековья. Всего было выделено 37 демографических циклов; с наибольшей достоверностью выделяются демографические циклы в Вавилонии VI—V вв. до н. э. и в Египте III в. до н. э. — III в. н. э. Для этих циклов, в соответствии с обычной методикой школы «Анналов», удается построить кривые потребления, показывающие снижение потребления на протяжении цикла. На рис 4 показано падение потребления в Вавилонии в цикле VI—V вв. Цикл завершился демографической катастрофой, после которой численность населения уменьшилась и потребление резко возросло.

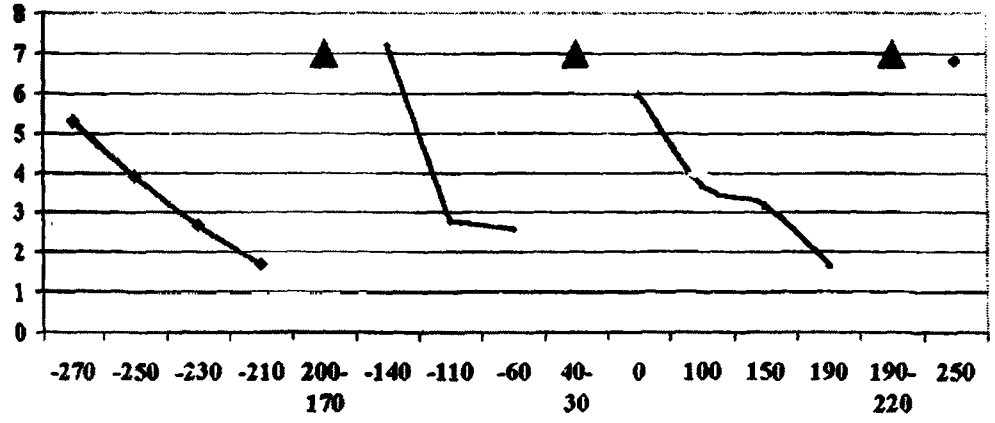


Рис. 5. Кривые душевого потребления в Египте III в. до н. э. — III в. н. э. Цифры показывают количество литров пшеницы, которое мог купить неквалифицированный рабочий на дневную зарплату

На рис. 5 показаны кривые душевого потребления в Египте на протяжении трех египетских циклов. Разрывы на графиках соответствую демографическим катастрофам, после которых численность населения уменьшалась и потребление резко возрастало. Эти графики подобны графику Фернана Броделя (рис. 2).

Хорошо документированы также циклы китайской истории, для которых можно построить кривые численности населения. На рис. 6 показан рост населения в эпоху Тан. Около 760 г. произошла демографическая катастрофа и, судя по поданным переписей, население уменьшилось в четыре раза. На рис. 7 показан рост населения в эпоху Сун (X—XII вв.). В середине XI в. начался аграрный кризис, но правительство провело реформы, предусматривав-

шие активное освоение целинных земель и внедрение технологии заливного риса. В результате произошло значительное расширение экологической ниши и снова начался рост населения. Через сто лет возможности роста были исчерпаны, и численность населения стабилизировалась на новом уровне. Затем снова начался кризис и произошла демографическая катастрофа.

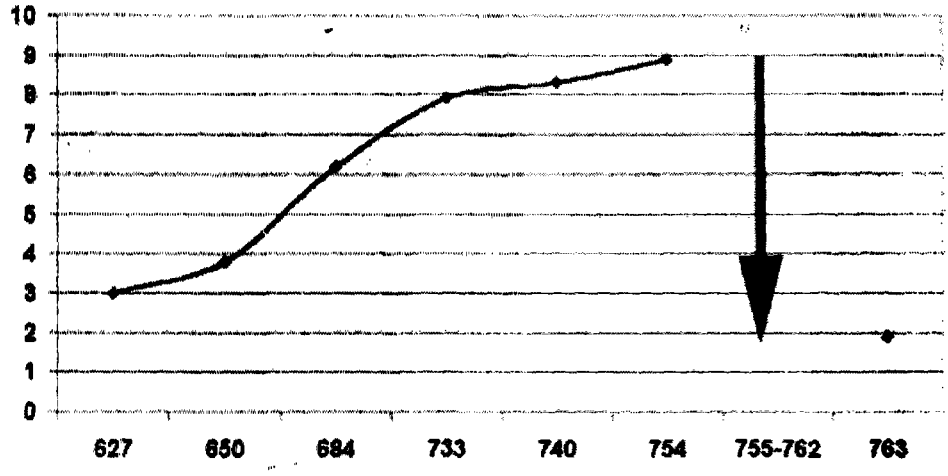


Рис. 6. Численность населения империи Тан (количество дворов в млн). Кривая, близкая к логистической, обрывается демографической катастрофой

Как отмечалось ранее, одной из тем данного исследования является вопрос о происхождении самодержавной монархической власти. В соответствии с гипотезой А. Сови, увеличение плотности населения на протяжении демографического цикла должно приводить к изменениям в социально-политической сфере. Обратимся к данным, полученным при выделении циклов. Исключим из рассмотрения четыре недостаточно документированных цикла. 19 из 33 оставшихся рассмотренных циклов начались в условиях преобладания частнособственнических отношений при господстве олигархии крупных собственников или при слабой монархической власти. В 15 из этих 19 случаев (79%) развитие привело к установлению авторитарной монархии в фазе Сжатия или экосоциального кризиса. Таким образом, в результате Сжатия или демографического кризиса частнособственнические общества обычно трансформируются в авторитарные монархии. Этот вывод можно подкрепить статистическим анализом данных о плотности населения и политическом строе различных государственных образований. Эти данные приводятся в работах Дж. Мердока, С. Вильсон, А. Тюдена и К. Маршалл [24].

При составлении этой таблицы учитывались лишь общества, обладающие политической самостоятельностью, а плотность населения фиксировалась для

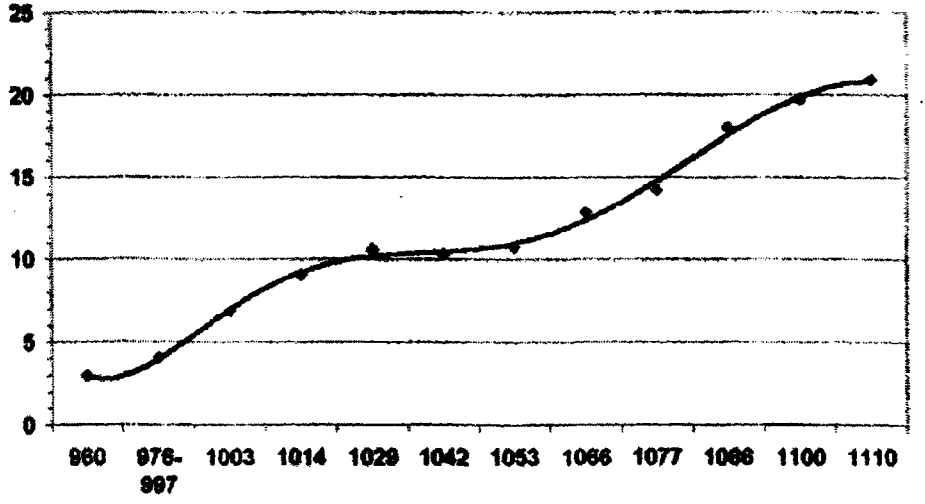


Рис. 7. Численность населения империи Сун (количество дворов в млн.). Расширение экологической ниши в результате освоения целинных земель привело к «склеиванию» двух логистических кривых

Таблица 1

Зависимость формы правления от плотности населения

Плотность населения (чел./ кв. км)	0,4—2	2—40	Более 40	Всего
Демократия	11	10	1	22
Ограниченная монархия	1	8	5	14
Авторитарная монархия	3	17	19	39
Всего	15	35	25	75

центральных районов государства. Так как некоторые теоретические частности получаются слишком малыми, то величина критерия «хи-квадрат» вычислялась для таблицы, полученной объединением первой и второй строк. Эта величина получается равной 12,1, что значительно больше критической (9,21 для уровня значимости 0,01). Таким образом, связь между плотностью населения и формой правления нужно считать существенной.

Таким образом, практическое значение работы состоит в обосновании метода демографических циклов. Показав, что исторический процесс на Востоке, как и на Западе, состоит из демографических циклов, можно установить глобальный характер демографических закономерностей. Становится возможным объяснение динамики исторического процесса путем выделения демографических циклов. Выделив хронологические рамки цикла, историк может объяснить

происходящие в его рамках явления — такие, как рост городов, крестьянское малоземелье и разорение крестьянства, развитие крупного землевладения и ростовщичества, голод, восстания, гражданские войны и установление авторитарного строя — историк может объяснить эти явления как *обычные следствия роста населения, как историческую неизбежность.*

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Здесь и далее курсив автора.

2. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм в XV—XVIII веках. Т.1. Структуры повседневности. М., 1986. С. 42—44.

3. Мальтус Т. Опыт закона о народонаселении. М., 1908. С. 93.

4. Яшнов Е. Е. Особенности истории и хозяйства Китая. Харбин. 1933. С. 41—42.

5. Abel W. Bevolkerungsgang und Landwirtschaft im ausgehenden Mittelalter im Lichte der Preis- und Lohnbewegung // Schmollers Jahrbucher. 1934; Bd. 58; Idem. Agrarkrisen und Agrarkonjunktur in Mitteleuropa vom 13. bis zum 19. Jahrhundert. Berlin, 1935.

6. Postan M. Same economic evidence of declining population in the later middle ages // The Economic History Review. Ser. 2. 1950. Vol. 2. № 3.

7. Mollat M., Postan M., Johansen P., Sapori A., Verlinden Ch. L'Economie Europeenne aux deux derniers siecles du Moyen age // Relazioni del X Congresso internationale di scienza storiche. Vol. III. Storia del Medioevo. 1955.

8. Simiand F. Recherches anciennes et nouvelles sur le mouvement gйnйral des prix au XVIe au XIXe siucles. Paris, 1932.

9. Mousnier R. Les XVI[e] et XVII[e] siecles. Les progres de la civilisation eupopeenne et la diclin de l'Orient (1492-1715). Paris, 1953.

10. Labrousse C.-E. Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIII[e] siecle. Pais, 1933. T. 1, 2.

11. Abel W. Wachstumsschwankungen der mitteleuropäischen Völker seit dem Mittelalter // Jahrbucher fur Nationalokonomie und Statistik. 1955. Bd. 142. № 6; Wagemann E. Economica mudial. Paris, 1952.

12. См., например: Slicher van Bath B. H. The agrarian history of Western Europe A. D. 500—1850. L., 1963.

13. Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность // Философия и методология истории. М., 1977. С. 118.

14. The Cambrige Economic History of Europe. Vol. IV. The economy of expending Europe in the 16th and 17th centuries. Edited by E. E. Rich and E. H. Wilson. London and New York, 1967.

15. Le Roy Ladurie E. Les paysans de Languedoc. P., 1966. T. 1—2.

16. Histoire economique et sociale de la France. Paris, 1970—1976. T. 1—4.

17. Postan M.M. The medieval economy and society: an economic history of Britain, 1100—1500. Berkley, Los Angeles, 1972; Ibid. Essays on medieval agriculture and general problems of medieval economy. Cambridge, 1973.

18. Cameron R. Economic History, Pure and Applied // Jornal of Economic History. 1976. Vol. 36. № 1. P. 32.

19. Braudel F. L'Identite de la France. Les hommes et les choses. P., 1986. Русский перевод: Что такое Франция? Люди и вещи. М., 1995; Cameron R. A concise economic history. From paleolitic times to the present. N. Y., Oxford, 1989.

20. Мугрувин А.С. Роль природных и демографических факторов в динамике аграрного сектора средневекового Китая (к вопросу о цикличности докапиталистического

воспроизводства) // Исторические факторы общественного вопроизводства в странах Востока. М., 1986. С. 11—44.
21. Кулыпин Э.С. Человек и природа в Китае. М., 1990.
22. Сови А. Общая теория населения. Т. 1. М., 1977. С. 6.
23. Кульпин Э. С. Человек и природа в Китае. М., 1990. С. 201.
24. Murdock G. P., Wilson S. F. Settlement Patterns and Community Organization. Cross-Cultural Codes 3 // Ethnology. 1972. Vol. 11. № 3. PP. 254—295; Tuden A., Marshall C. Polical Organization. Cross-Cultural Codes 4 // Ethnology. 1972. Vol. 11. № 4. PP. 436—464.

THE METHOD OF DEMOGRAPHIC CYCLES

This publication is devoted to the theory of demographic cycles advanced in the works of many scientists. F. Braudel named these cycles as secular trends, and R. Cameron used a logistics cycles concept. The author has constructed a mathematical model of a demographic cycle. With the help of this model the author divided a cycle into phases and determined about 40 qualitative attributes of a cycle. These attributes allow finding a demographic cycle in the real course of history in case of absence of the quantitative data about the population. With the help of this method the author has found 37 demographic cycles in the history of various countries of the East. It is shown in particular that the increase of demographic pressure at the end of a cycle results in revolts and social revolutions. These revolutions are usually accompanied by confiscation of large property and establishment of an authoritarian monarchy.

S.A. Nefedov

Е.В. Алексеева

ОБЪЯСНЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ С ПОМОЩЬЮ ТЕОРИИ МОДЕРНИЗАЦИИ: PRO ET CONTRA

Минуло десять лет с того времени, когда под влиянием внутренних разломов и цунами, обрушившихся на СССР с Запада, советский материк повторил судьбу Атлантиды. Захлестнутые девятым валом информации, ошеломленные скоростью и напором перемен, гуманитарии стремительно погружавшейся в историческую пучину социалистической эпохи, казалось, искали подходящее пристанище, где можно было бы собраться с мыслями, упорядочить идеи, осознать происшедшее с миром и вновь обрести себя в нем. Среди множества концепций, созданных в общественных науках, такой твердью обещала стать теория модернизации. Ее основные идеи были сформулированы в конце XIX в. и активно разрабатывались западными обществоведами с 1950-х годов для объяснения социальных перемен, происходивших в том числе в странах Третьего мира. Теория модернизации продолжает собой линию исследовательской мысли, берущей начало от Г. Спенсера, Э. Дюркгейма и М. Вебера, описывавших изменения в обществе преимущественно в терминах эволюционизма.

В своих предельных основаниях теория модернизации примечательно близка марксизму, вытравить который из подсознания тех, кто оканчивал советскую школу и вуз практически невозможно. Действительно, подобно иудео-христианским представлениям о мире, в значительной степени определившим социальные построения К. Маркса, теория модернизации относится к линейным моделям общественных изменений. «Феодализм» и «капитализм» в марксизме, трактующем историю как последовательную смену общественных формаций, аналогичны традиционному и современному обществам в теории модернизации. «Печкой», от которой «танцуют» адепты теории модернизации, является промышленная революция, в центре исследований — смена аграрной колеи на индустриальные рельсы, повлекшая за собой целый комплекс существенных и необратимых изменений во всех областях социальной жизни. Это ли не аллюзия базис-надстроечной дихотомии? Есть в ней и своего рода переход исторических предпосылок в новое качество — трансформация патриархального общества в современное. В модернизационной модели, как и в марксизме, процессы общественных перемен рассматриваются преимущественно как эндогенное развитие, а к функциям внешнего мира относится обеспечение стимулов к адаптации.

Хотя и выпестованные в одной колыбели, теории марксизма и модернизации расходятся в трактовке механизмов общественных перемен. Их основным отличием является то, что марксова социальная теория относится к конфликтным моделям, а теория модернизации — к эволюционным. В отличие от теории модернизации, торившей универсальный большак к идеалу — современному обществу западного типа, марксистская теория допускала различие путей, ведущих к заветной коммунистической цели. Тем не менее, в силу доминирующих моментов сходства, теория модернизации легко была принята отечественными обществоведами, оказавшись удобной обновленной версией объяснения истори-

ческого прошлого. Прошлого, берущего свой отсчет около пяти веков назад и действительно радикально отличающегося от настоящего.

Теория модернизации, безусловно, обладает большим эпистемологическим потенциалом. Изучая различия между традиционным и современным обществами, она имеет своим предметом радикальные и всеобъемлющие трансформации человеческого существования и деятельности, произошедшие за последние пять столетий. В самом деле, метаморфоза свершилась. Менее десяти поколений назад люди безраздельно принадлежали все еще узнаваемому, но уже совершенно чуждому нам миру традиционной, аграрной цивилизации, мы же живем в ситуации принципиально иных качественных и количественных характеристик, определяемых индустрией. Можно признать, что и в России уходящий век ознаменовался пятью революциями, осуществившимися, несмотря на те объективные преграды, которые воздвигал на их пути традиционалистский социум: экономической, урбанизационной, политической, демографической, культурной.

Трудно не согласиться с разработчиками теории, характеризующими модернизацию как комплексный процесс, охватывающий все сферы человеческой мысли и поведения: типы и способы производства, изменения в образе жизни, социальную мобильность, урбанизацию, секуляризацию, распространение информации, грамотности и образования, широкое участие в политической жизни. Совершенно верно и то, что модернизация — это системный процесс, то есть перемены в одной из сфер деятельности неизбежно вызывают изменения в других сферах. А сам он является длительным, протяженным, революционным по масштабам изменений, но преимущественно эволюционным по скорости их осуществления [1].

Достоинства рассматриваемой теории очевидны. Не случайно, свой вклад в изучение различий между традиционным и современным обществами внесли представители самых разных гуманитарных дисциплин. Особенно активно в этой парадигме работали историки, социологи, политологи. Заметный интерес проявляли представители других наук. Географы отмечали перемены в восприятии пространства, пришедшие с эпохой современности, социальные психологи описывали становление «современной» личности, антропологи подчеркивали различия между традиционной и современной системами мышления. Тем не менее, теория модернизации остается лишь одной из концепций, претендующих на универсальность в объяснении общественных перемен, а западные социологи не раз подвергали ее критике. Их сомнения касались, прежде всего, двух принципиальных идей, лежащих в основе модернизационной концепции: триумфализма и телеологии. Разделяя эти сомнения, выскажем еще одно. Использование даже самой великолепной теории имеет свои ограничения, прежде всего, темпоральные. Подобно тому, как навигация с помощью астролябии ушла в прошлое, уступив место новым способам ориентирования, так и модернизационные теории помогают в описании и анализе лишь определенной исторической эпохи, эпохи, которая ныне движется к своему завершению. На наш взгляд, к ограничениям применения обсуждаемой теории относится еще одно весьма веское обстоятельство: рассматриваемая теория была создана для описания процесса «осовременивания» (именно в этом слове заключается истинный смысл английского понятия «modernization») западноевропейского мира. Применение ее к странам иных цивилизационных оснований чревато серьезными недо-

статками. Таковых, по крайней мере, три. Они связаны с направлением, объяснением и механикой социальных перемен.

«Запад — это маяк. Модернизация — это прогресс». Квинтэссенцией анализируемой концепции можно считать утверждение о том, что модернизация есть переход от традиционного общества к современному, от аграрного к индустриальному. Бесспорно, современный мир отличается от мира прошлого, и совокупность изменений, сделавших его таковым, достойна глубокого исследовательского внимания. В прикладном смысле, как рабочий инструмент историка, эта мысль представляется весьма продуктивной. Действительно, дихотомии традиционное—современное, аграрное—индустриальное объемлют широчайший пласт явлений, постоянная трансформация которых во всем богатстве сопутствующих этому связей и взаимозависимостей может служить несущим каркасом для понимания того исторического периода, который связывает истоки и современное состояние общества, к которому мы принадлежим. Однако безоговорочное принятие этого тезиса захлопывает за прозелитами анализируемой теории ловушку исторической ограниченности. В самом деле, привычная нам трехмерная перспектива «прошлого— настоящего—будущего» сужается до прямолинейного отрезка времени «архаика—современность». Современность при этом отождествляется с нынешним Западным миром.

«Модернизация — процесс необратимый», — утверждает теория. «Однажды войдя в контакт с Западом, страны Третьего мира не могут противостоять импульсу к модернизации. Общество, достигшее определенных успехов в осуществлении урбанизации, индустриализации, распространении грамотности на какой-то стадии модернизации, на следующей ее стадии не может опуститься на более низкий уровень развития» [2]. Теоретически — да, но история богаче любой модели. Общество не всегда двигалось в направлении роста централизации, усложнения, специализации и т.д. Зачастую, в том числе и в российской истории, наблюдались реверсивные явления. В истории масса примеров «индустриализации без модернизации» (города и заводы, соседствующие с неграмотностью и сильными общинными связями), «модернизации без «модерниги»» (производство, уживающееся с сильно развитым традиционным сельским хозяйством). В этом смысле показателен пример современной Японии, а ныне все в большей степени и Китая, в которых удивительные экономические достижения сосуществуют с ценностями и структурами, очень далекими от западных. Японцы проскочили фазу современного развития капитализма и, находясь в почти не разрушенном традиционном обществе, сумели стать конкурентоспособными с Западом.

Модернизация характеризуется ее теоретиками как безусловно прогрессивный процесс. Утверждается, что «модернизированные системы обладают гораздо большими возможностями по сравнению с традиционными системами, зло и страдания в ходе модернизации обязательно должны, в конце концов, окупиться, так как материальное и культурное благополучие современного общества неизмеримо выше в сравнении с традиционным обществом» [3].

Тезис о материальном благополучии (которое практически отождествляется с прогрессом), а вернее, о его цене и наличии, равно и убежденность в культурном превосходстве современного общества не так уж безоговорочны, как это может показаться на первый взгляд. Конечно, современный горожанин, несущийся по хорошему шоссе на прекрасной автомашине, снабженный передовыми средства-

ми связи и окруженный в повседневной жизни электронной и электрической техникой, имеет все основания быть в гораздо большей степени довольным своей судьбой, нежели средневековый крестьянин, но какова цена этого? Какой стороной оборачивается это благополучие для народов тех стран, откуда черпаются ресурсы? Хорошо известно, что, например, в США, где живет лишь 4% населения мира, потребление нефти равняется одной четверти ее ежегодного мирового производства [4]. Неравномерность процветания на планете выражается и в другой цифре: после почти пяти десятилетий беспрецедентного глобального экономического роста мир вступает в XXI в. с более чем миллиардом людей, живущих в бедности [5]. Обнищание населения бывшей одной шестой части суши, небогатое существование людей во многих странах Восточной Европы, не говоря уже о подавляющем большинстве стран Африканского континента и многих государств Азии, каждое из которых имело свою историю становления в качестве современного, стали привычной реальностью. Однако и в традиционно считавшимся преуспевающем западном мире сегодня наблюдается возрастание относительной бедности. Правда, необходимо оговориться, что в странах Запада на этот процесс воздействуют уже тенденции скорее постсовременного, постиндустриального общества и связаны они с технологической революцией и сокращением потребности в неадекватной этому рабочей силе. Разумеется, этот уровень бедности находится за пределами проблем выживания, которые решены.

Современная статистика доходов подтверждает тот факт, что с середины 1970-х гг. реальная заработная плата рабочих средней квалификации на Западе фактически не увеличивается, тогда как доходы относительно небольшой части высококвалифицированных работников, получивших хорошее образование, занимающихся интеллектуальной деятельностью, постоянно растут. В мире в целом это различие еще более очевидно. Сегодня разрыв в среднедушевом ВНП между гражданами постиндустриального мира и остальной частью человечества достиг 15,4 тыс. долл., увеличившись с 1960 г. почти втрое. Наиболее состоятельная пятая часть человечества присваивает в 61 раз больше богатств, нежели низшая одна пятая. При этом развитый мир, как и высший класс составляющих его стран, становится все более замкнутым [6].

Что касается культурного развития, то достаточно привести несколько цифр, характеризующих фундамент современной культуры — уровень грамотности. Из 130 стран мира по крайней мере в 35 более половины взрослого населения неграмотно и только 37 стран могут похвастаться высоким — более 90% уровнем грамотности [7]. Бездуховность, упрощенная массовая культура, утрата традиционных морально-этических ориентиров, узость кругозора и интересов значительной части населения также не свидетельствует о радикальных положительных изменениях в ментальности homo modernis.

Было бы неверно отрицать культурное, а тем более научно-техническое развитие как таковое, очевидное, несмотря на свою неравномерность, избирательность и относительность. Не создано и трудно представить, что будет создано бесспорное мерило, единая шкала для измерения ценностей и достижений культуры. Речь о другом: начатый в Европе около 500 лет назад процесс секуляризации привел к ослаблению способности отвергать краткосрочные индивидуальные выгоды ради долгосрочных, родовых. В результате

сегодня и природа, и культура, уставшие от перегрузок модернизации, требуют реабилитации старых, вытесненных и подавленных в прогрессистскую, западническую эпоху форм мироощущения. В повестке дня осознание необходимости экологической аскезы.

Удовлетворение безграничных потребительских желаний, сформированных модерном, противоречит коллективному благополучию человечества. В механике идея вечного двигателя была развенчана 300 лет назад. Но метафизика прогресса до последнего времени полагала, что он способен к чудодейственной бесконечной подзарядке. Однако оказалось, что ни природная, ни социокультурная среда больше не в состоянии выносить возрастающих нагрузок прогресса. На наших глазах идет процесс изменения ценностей, требующих новой институализации. Формируются два новых типа знания, альтернативных завоевательной идеологии прогресса: экологическое знание, предостерегающее относительно экологических издержек прогресса, и историософское знание, предостерегающее от социальных издержек. Эти типы знания озвучивают проблемы до недавнего времени безгласных объектов, разрушаемых в ходе модернизации. Первым таким объектом выступает природная среда, терпящая невосполнимые убытки, вторым — социокультурная среда — маргинальное большинство мира.

Таким образом, перед нами две альтернативных концепции философии истории: согласно одной — модерн — окончательный выбор человечества, которому предстоит продолжить эпопею прогресса, согласно другой, прогрессистская эпоха — это преходящая промежуточная форма между старым традиционным и новым, грядущим типом нестабильности [8].

«Всяк молодец на свой образец» или «Со своим уставом в чужой монастырь не ходят». Концепция модернизации, особенно в своем начальном варианте, рассматривает западноевропейскую и американскую нации как идеальный ориентир по параметрам экономического благосостояния и демократической стабильности для всех тех народов, кто, по мысли адептов теории, далеко отстал на пути модернизации. Это положение теории стало одним из самых спорных. Теорию модернизации не раз критиковали за этноцентризм, за то, что она поднимала западноевропейский и американский опыт развития на уровень вселенской истины, не признавая других культур. Ф. Фукуяма даже назвал обвинения в этноцентризме «похоронным звоном по теории модернизации» [9].

Трудно не согласиться с тем, что модернизация — это стадиальный процесс [10]. Однако стремление подчеркнуть, что существуют единые стадии, уровни или фазы модернизации, через которые должны пройти все общества, что на этой основе общества можно сравнивать между собой и ранжировать в соответствии со степенью их продвижения по пути от «традиционности» к «современности», насильно сводит на одной марафонской дистанции и штангистов, и альпинистов, и создает впечатление гладкой и фактически автоматической последовательности этапов, как если бы общество лишь должно было ступить на эскалатор.

Из идеи ранжирования обществ логически вытекает теория догоняющего развития. Собственно, эта мысль является развитием слов Карла Маркса, который в предисловии к английскому изданию «Капитала» писал, что «более промышленно развитые лишь показывают менее развитым образ их собственного будущего». На наш взгляд, говорить о «догоняющем типе развития» нельзя прин-

принципиально. Как известно, существует инвариантность законов природы по отношению к четырем типам преобразований, в частности, переносу в пространстве и сдвигу во времени. Примитивным упрощением было бы сказать, что ребенок догоняет в своем развитии старика. Каждый из них обладает собственным уникальным опытом жизни. Каждый имеет свой стартовый момент и свой финиш, но жизнь — это достояние, а не гонка.

Россия развивается в соответствии со своими особенностями, к числу которых относится и то, что отсчет происходящих с ней трансформаций расположен со сдвигом на несколько веков по сравнению с Западной Европой, которая неизменно принимается за образец. Если рассуждать в логике «догоняющего развития», то можно договориться до того, что и средневековая Европа «догоняла» античный мир, поскольку варварские племена Северной Европы также вышли на историческую арену позднее по сравнению с ее античным югом. Ведь как считают некоторые философы, «либеральный (модернизаторский) тип трансформации зародился в античном мире...достижения античной протолиберализации были надолго утрачены в результате разрушения античных обществ и Римской империи и утверждения феодализма в теснейшем союзе с церковью» [11].

Следование концепции догоняющего развития сопряжено со скрытым комплексом неполноценности и вины. Эта вина перед собственной традицией, которую хотят дискредитировать, вина, связанная с несовершенством интерпретации чужого опыта. Теория модернизации и ее логическое следствие — концепция догоняющего развития — оскорбляют достоинство незападных народов, ставя их в неравное положение перед лицом Истории. Согласно им, западные народы живут в истории собственной жизнью, а всем остальным предлагается жить чужой историей. Чужая история, в отличие от других форм отчуждения, отчуждает не только нашу социальную, экономическую, политическую и культурную перспективу, но сам наш способ бытия в мире. Незападные народы обрекаются либо на статус маргиналов и париев прогресса, либо на статус западников, с презрением относящихся к «туземной» истории [12].

Все имеет свою цену. Нас включают в общую колонну, но при этом постоянно указывают, что мы плетемся в самом ее конце. Может быть, развиваясь в соответствии с универсальными законами, мы, тем не менее, как писал Г. Торо, «слышим звуки иного марша»? Нужно обязательно учитывать специфику национальной истории и помнить, что Россия движется по бездорожью, а не по европейским парковым аллеям.

Вообще, преимущества такого рода участия в едином мировом процессе сомнительны. Почему, в самом деле, собственный опыт так мало ценится и так мало влияет на исторический процесс по сравнению с порою экстравагантными теориями? Доктринеры различных учений то и дело сетуют на народный менталитет, как на помеху их умопомрачительных идей. На самом деле, народ скорее служит хранителем реального опыта. Вся история великих переворотов и эпохальных сдвигов — это история поражения эмпирического опыта под напором новых форм веры, насаждаемых активным меньшинством. Такая история неизбежно оказывается затратной и волюнтаристичной, ибо следование чужим образцам требует интерпретации, всегда несовершенной и произвольной. Эту интерпретацию осуществляет реформаторские элиты, направляющие процесс модернизации. Такая

история сопровождается метафизическим сомнением, а в случае тяжких жертв — и периодическими протестами. Для ее творцов окружающий мир народов и культур есть не что иное, как объект переплавки в заранее определенную форму, характер которой раскрывает очередное великое учение. Учение, пересматривающее уклад, историческую традицию, менталитет, образ жизни — ценности, которые всякий возмужавший народ ставит выше материальных благ [13].

Воистину, самое страшное оружие массового поражения — не ядерное, а концептуальное и идеологическое. Пропагандисты «открытого общества» продолжают дело британских фритредеров, обосновывавших объективную необходимость и моральную оправданность открытой экономики — свободного рынка без границ и таможенных ограничений, позволявших беспрепятственно проникать на рынки более слабых стран и разорять местную промышленность. Сегодня «теория открытого общества» уже не ограничивается экономикой. Она призывает не—Запад полностью открыться влиянию Запада — идеологическому, культурному, политическому и финансовому. Теория модернизации в ее прескриптивном аспекте служит этой же цели. Разумеется, мы не призываем к автаркии. Важнейшим механизмом современного развития являются разумная открытость в отношении технологий и информационных потоков со всего мира, расширение разнообразных контактов с мировым сообществом. Тем не менее, открытость в экономико-технологическом и других видах сотрудничества не означает прозападной политической, идеологической, культурной ориентации и уничижения собственной истории.

Теория модернизации указывает на тенденцию к гомогенизации. Утверждается, что модернизированные общества, в отличие от традиционных, имеют множество сходных черт, а сам процесс модернизации стимулирует тенденции к конвергенции сообществ. Модернизация влечет за собой движение «в сторону взаимозависимости между политически организованными обществами и по направлению к окончательной интеграции сообществ». «Универсальные императивы современных идей и институтов» могут вести к той стадии, «на которой различные общества будут настолько однородны, что будет возможно формирование единого всемирного государства» [14].

Видимо, в этом и заключается ключевая мысль, главная цель тех, кто разрабатывает теорию модернизации как универсальное орудие о двух концах: один из них служит для описания прошлого, другой — указкой будущего. Думается, что отмеченная тенденция к мировому единству отражает лишь часть реальности. Период национальных государств, единых политических наций уходит в прошлое. «Плавильный котел» затух не только в бывшем Советском Союзе, но остывает и в США.

Возможно, анализируя российскую историю, более продуктивно рассматривать версию «защитной модернизации», предложенную Х.-У. Велером при характеристике реформ в Пруссии и других германских государствах в период 1789 и 1815 г. Аграрные, административные и военные реформы были, по Велеру, ответом на угрозу Французской революции и Наполеона [15]. Аналогично, как ответ на угрозу со стороны Запада, можно рассматривать реформаторское движение младотурок в Оттоманской империи, революцию Мэйдзи в Японии, петровские и сталинские преобразования в России. Весьма плодотворна, на наш взгляд, и идея В.Г. Федотовой, называющей модель неожиданно-

го подъема Японии на основе собственной идентичности в отличие от догоняющей модернизации постмодернизацией [16].

«Модернизация — универсальный путь». Рассматриваемая теория постулирует, что «модернизация — процесс глобальный. Начавшись в Западной Европе 15—16 веков, она стала со временем общемировым явлением», «...все общества когда-то были традиционными, все современные общества — или модернистские, или находятся в процессе становления в качестве модернистских» [17]. Если человек — это преимущественно экономическое животное, движимое желаниями и разумом, тогда диалектический процесс исторической эволюции должен быть относительно схожим в различных обществах и культурах. Таково заключение теории модернизации. Но как все экономические теории истории — теория модернизации ущербна. Она ограничена пониманием человека как существа экономического. Между тем, существуют другие аспекты человеческой мотивации. Сторонники теории отрицают возможность выбора отличной от западной траектории развития для других народов. Распространение идей, сформулированных для объяснения западноевропейской истории на страны со своим самобытным прошлым, обусловленным климато-географическими, геополитическими и социо-культурными факторами, приводит к ситуации, когда применение западного опыта, например, к истории России постоянно вынуждает делать оговорки, идти на натяжки, прилаживать, в данном случае, «мерседесовские колеса к русской телеге».

Исследование вековой истории консервативной модернизации в России, предпринятое А.Г. Вишневским, показывает, что возможности этого типа модернизации к концу столетия оказались исчерпанными, а результаты — половинчатыми. Однако, по мнению автора, проекты поисков «третьего пути», опирающегося, по сути, на все ту же традиционалистскую социальную базу, пытающуюся приспособить ее к внутренним ограничителям, возможности модернизационных преобразований на деле не выходят за рамки того, что уже было испробовано в течение века. Бесспорны огромные изменения, которые произошли в социальных отношениях нашей страны в течение XX века. Однако сам ход консервативной модернизации способствовал тому, что многие традиционалистские идеалы, связи и представления были законсервированы и в основе своей пережили последнее столетие. И сегодня они являют собой достаточно мощный социальный пласт, препятствующий переводу модернизационного процесса с инструментального на более глубокий социальный уровень. Многочисленные социологические исследования показывают, что порядка 30% населения страны сегодня исповедует традиционалистские ценности и настроено против проводимых реформ. Причем их ряды пополняет существенная часть представителей неопределившегося большинства [18].

С этим нельзя не считаться, однако, в отличие от указанного автора, нам думается, что Россия обязательно будет двигаться своим путем, который позволит сочетать достижения модернизационного развития западного типа со специфическими особенностями российского уклада, не ломать устоявшееся веками, а строить дальнейшую жизнь, опираясь на устойчивые традиционалистские элементы социального устройства российского общества. Не случайно неприятие реформ, до сих пор шедших скорее по разрушительному пути, сочетается с часто высказываемыми представлениями о самобытности России, которой не подходят модернизационные механизмы, выработанные в принципиально иных условиях Запада.

Итак, подводя итоги некоторых размышлений о российской истории и применимости к ее интерпретации теории модернизации, присоединимся к мнению растущего числа ученых, полагающих, что система ценностей, сформировавшаяся в Западной Европе в ходе становления цивилизации Нового времени, которая получила в современной науке общее название «модернити», занимает лишь ограниченное место за пределами западноевропейской и североамериканской цивилизации [19]. Из этой позиции логически вытекает отказ от отождествления развития и экономического роста; от абсолютизации вестернизации как социокультурной основы современных преобразований — в пользу признания позитивной роли эндогенного культурного наследия; от линейной парадигмы мирового развития — в пользу признания полиморфности мира и глубокого своеобразия институциональных, символических, идейных интерпретаций, которую разные общества дают процессу модернизации. Не перспективно противопоставлять «самобытный партикуляризм» и «вестернизированный универсализм». Самобытные и заимствованные ценности сложным и уникальным образом сочетаются в истории любого государства.

Мир сопротивляется попыткам унификации. Даже само индустриальное общество существовало в двух разных формах, двух разновидностях: в виде рыночного индустриального развития и распределительного типа индустриального развития, который имел место в СССР и частично в странах Восточной Европы. Сегодня мы скорее является свидетелями культурно-цивилизационного плюрализма. Все более явным становится глубокое различие нормативно-ценностных оснований хозяйственной и предпринимательской деятельности на Западе и Востоке, несмотря на очевидную интернационализацию экономической деятельности и ее внешних, стилевых атрибутов. Переходят ли, например, японцы от традиционного общества к современному или они движутся к другому состоянию, где синтезированы традиционные и современные черты? Скорее, приходится признать второе, даже если это состояние неустойчиво.

Общество может быть «модернизированным» в экономическом, научно-техническом и тому подобных отношениях, но при этом не быть «модерновым», т.е. «западным», вестернизированным по важнейшим характеристикам культуры. Пафос статьи направлен в поддержку теорий самобытности, которые отнюдь не являются идеологиями «антиразвития». Напротив, в них признается необходимость «вхождения в современность» — модернизация, но при этом подчеркивается императив сохранения самобытной культуры и природы. Следует еще раз акцентировать внимание на приоритетности высших духовных ценностей во всех сферах жизни.

В этой парадигме модернизационная модель мирового процесса развития выглядит не однолинейной и моноцентричной, а полиморфной и допускающей значительную вариативность в структуре и темпах динамики. Духовные предпосылки, необходимые для движения общества от традиционности к современности, отнюдь не тождественны западной культуре как некоему идеальному типу и не включают таких ее существенных черт, как индивидуализм или универсализм, что в полной мере проявилось в опыте развития различных стран Востока. «Социальные перемены являются скорее многолинейными, чем однолинейными. К современности ведет много дорог» [20].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Huntington S.P. The Change to Change: Modernization, Development, and Politics // Comparative Modernization: A Reader. Ed. by C.E. Black. N.Y., London, 1976. P. 30—31; Также см.: Алексеев В.В., Побережников И.В. Школа модернизации: эволюция теоретических основ // Уральский исторический вестник. Екатеринбург, 2000. № 5—6: Модернизация: факторы, модели развития, последствия изменений. С. 8—49.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век. М., 1997. С. 49.
5. Там же. С. 67.
6. Трансформации в современной цивилизации: постиндустриальное и постэкономическое общество. (Материалы круглого стола) // Вопросы философии. 2000. № 1. С. 6.
7. Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век... . Приложение. С. 409—414.
8. Философия истории. Под редакцией д.ф.н., профессора А.С. Панарина. М., 1999. С. 84.
9. Fukuyama F. The End of History and the Last Man. Avon Books. New York. 1993. P. 69.
10. Huntington S.P. The Change to Change... P. 30—31.
11. Лапин Н.И. Проблема социокультурной трансформации // Вопросы философии. 2000. № 6. С. 9—12.
12. Философия истории... С. 19.
13. Там же. С.63.
14. Huntington S.P. The Change to Change... P. 30—31.
15. Wehler H.-U. Deutsche Gesellschaftsgechichte. Vol. 1 (1700—1815), Munich, 1987. (Цит. по: Burke P. History and Social Theory. Cornell University Press. 1993. P. 135).
16. Трансформации в современной цивилизации... С. 14.
17. Huntington S.P. The Change to Change... P. 30—31
18. Вишневский А.Г. Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР. М.: ОГИ, 1998; Плискевич Н.М. «Третий путь», которым мы уже прошли (о книге А.Г.Вишневского) // ОНС. 1999. № 6. С. 115.
19. Зарубина Н.Н. Составляющие процесса модернизации: эволюция понятий и основные параметры // Восток. 1998. № 4. С. 26.
20. Burke P. History and Social Theory... P. 141.

INTERPRETING RUSSIA'S HISTORY WITH THE THEORY OF MODERNIZATION: PRO ET CONTRA

The article discusses epistemological potential of the theory of modernization and its application to the studies on Russian history. Along with admitting the importance of the theory, the author defines its faults in terms of the explanation of the direction, interpretation and mechanics of social change.

E.V. Alekseyeva

Е.Т. Артемов

НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Сначала хочу привести два высказывания. Одно из них принадлежит известному футурологу А. Тоффлеру. В своей книге «Футурошок» он утверждает следующее: «Последние 300 лет западное общество находится под огненным шквалом перемен. Этот шквал не только не стихает, но все больше набирает силу. Перемены охватывают высокоразвитые индустриальные страны с неуклонно растущей скоростью. Их влияние на жизнь этих государств не имеет аналогов в истории человечества» [1].

Авторы другого высказывания — выдающийся физико-химик, лауреат Нобелевской премии И. Пригожин и его коллега И. Стенгерс. В своей книге «Порядок из хаоса» они также выделяют последние 300 лет в качестве важнейшего этапа в истории человеческого общества «Поразительный успех современной науки привел к необратимым изменениям наших отношений с природой. В этом смысле термин «научная революция» следует считать вполне уместным и правильно отражающим суть дела. История человечества отмечена и другими поворотными пунктами ..., приводившими к необратимым изменениям... Так называемая неолитическая революция длилась тысячелетие. Несколько упрощая, можно утверждать, что научная революция началась всего лишь триста лет назад» [2].

Если синтезировать оба этих высказывания, то выводы напрашиваются сами собой. Первое. Последние триста лет — время кардинальных перемен во всех сферах жизни, по крайней мере, западного общества. А их важнейшим источником — если не отправной точкой — является научная революция. Второе. Темпы этих перемен демонстрируют явную тенденцию к ускорению. И те страны и народы, которые не выдерживают такой «гонки», неизбежно оказываются на обочине мирового развития со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это заключение имеет принципиальное значение. С одной стороны, оно позволяет обогатить теорию (вернее теории) модернизации, которая, на мой взгляд, наиболее адекватно описывает процессы современного развития в глобальном масштабе [3]. С другой стороны — открывает новые возможности для конкретно-исторического анализа.

Здесь следует сделать одно замечание. Традиционно в отечественной литературе термином «научная революция» обозначают «более или менее точно фиксируемый период быстрого и существенного продвижения в познании объекта в отдельной науке или нескольких связанных друг с другом наук...» [4]. В частности, им характеризуется открытие неевклидовой геометрии, создание дифференциального и интегрального исчисления в математике, квантовая революция в физике и т.п. В нашем же случае под «научной революцией» понимается событие совсем другого масштаба и значения. По сути дела это становление современной науки как целостного образования. Причем ее развитию с самого начала свойственен перманентно революционный характер [5]. В результате происходит стремительное накопление научных знаний и не менее стремительное расширение масштабов их использования (прямого или косвенного) повсюду — от энергетики до политики.

Вместе с тем, не следует отводить науке роль единственного фактора социального прогресса. Даже в технико-технологическом развитии она отнюдь не является таковым. Обстоятельные эмпирические исследования наглядно показывают, что постепенная модификация на основе практического опыта уже существующих технологий и применяемой техники, а также накопление производственных навыков, повышение общеобразовательного и общекультурного уровня персонала и т.п. играют важную роль. Другое дело, что научный прогресс и прогресс технический реализуются хоть и автономно, но во взаимосвязи и в рамках одной системы [6]. Также важно отметить, что помимо эндогенных источников развития техники и технологии (как, впрочем, и науки) огромную роль играют факторы социально-экономического порядка. В первую очередь они определяют масштабы и скорость распространения нововведений, способность экономики и других сфер человеческой деятельности к восприятию научных и технических достижений. В свою очередь, научные открытия и технологические сдвиги ведут к глубоким последствиям социально-экономической природы. Здесь налицо явная взаимозависимость.

Говоря о «науке» и ее роли в общественном прогрессе, я под этим термином подразумевал систему специализированных знаний. Овеществленные в каких-то носителях информации, они поступают в совокупный информационный фонд общества, откуда их «берут» для своих нужд любые сферы социальной деятельности. Отсюда следует, что научное знание обладает самостоятельным социальным существованием. И в этом качестве оно, в принципе, является достоянием всего человечества, не имеет жесткой привязки к каким-либо странам, регионам и т.д.

Однако такой подход абстрагируется от деятельности познающих субъектов, от процесса продуцирования нового научного знания и его практического приложения. В результате весь цикл социального функционирования научного знания — т.е. его производство, хранение, трансляция, потребление — остается как бы «за кадром». Поэтому представления о науке как системе знаний необходимо дополнить представлением о ней как об особой сфере человеческой деятельности. Причем разнообразие «потребительских» свойств научного знания выдвигает перед научной деятельностью задачу не только продуцировать новое знание, но и приспосабливать его к возможностям практического использования. Отсюда, кстати, проистекает известное расчленение исследовательского цикла на фундаментальные и прикладные исследования [7].

Другими словами, научная деятельность всегда связана с научными знаниями в качестве его производителя (и потребителя тоже). Само же произведенное знание функционирует и вне научной деятельности, обеспечивая потребности всех сфер социальной жизни.

Эти, на первый взгляд абстрактные рассуждения, имеют принципиальное значение для реконструкции исторического процесса в XX в. Во-первых, они позволяют выделить ведущие факторы социально-экономического прогресса в мировом масштабе. Важнейшим фактором, удельный вес которого устойчиво повышался, являлась наука, ее развитие и растущее приложение к решению практических задач.

Во-вторых, если научное знание не имеет границ, то очевидно, что отдельные страны, отставшие в своем развитии, могут успешно использовать мировой научно-технический задел в интересах ускорения экономического роста. Однако, это

только потенциальная возможность. Чтобы она стала реальностью, необходимо добиться инновационной восприимчивости общественно-экономической системы.

В-третьих, опора преимущественно на зарубежный научно-технический опыт продуктивна на начальных этапах модернизации, в условиях «догоняющей» модели развития. По мере выдвижения той или иной страны на передовые позиции в экономическом отношении все больше проявляется потребность в интенсификации собственной научной деятельности, в расширении ее масштабов. И это, как свидетельствует мировой опыт, является общей закономерностью. Заимствование новых технологий уже не порождает собственных технологических прорывов. Только наличие мощного научного потенциала, серьезной технической базы может обеспечить переход к постиндустриальному обществу [8].

В-четвертых, революция в науке — это не только экспоненциальное наращивание научных знаний и расширение сферы их практического приложения. Это и революционное преобразование самой научной деятельности и ее социального оформления. В результате возникает особый социальный институт науки, ядром которого является система специализированных научных учреждений, чья деятельность регулируется посредством специальных механизмов: управленческих, коммуникативных, контрольных, этических и т.д. Эффективность функционирования этого института напрямую определяет темпы технико-экономического развития да и социального прогресса конкретной страны в целом.

Названные глобальные закономерности хорошо подтверждают особенности развития России в XX в. Дело в том, что отечественную историю в этот период следует рассматривать как серию масштабных попыток модернизации общества. Они, конечно, отличались по декларируемым целям и задачам, средствам и способам их достижения, полученным результатам. Но было и то, что их объединяло — это общность стратегической установки на форсированное достижение уровня развития самых передовых стран.

Наиболее последовательно такая установка осуществлялась в 30—50-е гг. Достаточно вспомнить известное «руководящее указание» И. Сталина: «Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» [9]. И это была не просто декларация, а руководство к действию, осуществлявшееся последовательно и жестко.

Конечно, установка на «прыжок» в будущее наряду со стремлением достигнуть нереальных социально-политических целей (задаваемых идеологическими императивами) привели к перенапряжению сил общества, неоправданным человеческим жертвам. Однако вряд ли стоит отрицать очевидные успехи. Благодаря экстраординарному, чрезвычайному характеру так называемой политики индустриализации были обеспечены высокие по любым оценкам — официальным и альтернативным — темпы роста промышленного производства [10]. В результате уже к началу 40-х годов по его объему Советский Союз вышел на сопоставимые позиции с Германией и уступал только Соединенным Штатам. Произошло и коренное изменение пропорций в народном хозяйстве. В общем выпуске промышленной продукции на первое место вышло производство средств производства. Значительно возросла норма накопления в национальном доходе, достигнув беспрецедентного по мировым меркам уровня.

Модернизационный «рывок» имел и важные социальные последствия. Он серьезно изменил пропорции общественного разделения труда. Если в 1928 г. в промышленности и строительстве было занято только 8% населения, а в сельском и лесном хозяйстве — 80%, то в 1937 г. на долю промышленности и строительства приходилось 24%, на долю сельского и лесного хозяйства — 56% всего занятого населения [11]. Одновременно происходило качественное улучшение рабочей силы. В ее составе значительно сократилось число неграмотных, все больше становилось работников, получивших профессиональную подготовку того или иного уровня. Особенно быстро росла численность специалистов с высшим и средним специальным образованием. На 1 января 1941 г. их насчитывалось 2,4 млн человек, что было почти в 5 раз больше, чем в 1928 г. [12].

Таким образом, и по своему экономико-технологическому базису, и по своей социальной структуре советское общество к началу 40-х годов стало в основном обществом индустриального типа. Движущими силами, обеспечившими этот переход, являлись не рыночные механизмы и экономическая мотивация, а задаваемые «сверху» директивные команды и планово-распорядительные методы регулирования производственных отношений. Такой экономический механизм являлся частью действовавшей общественно-политической системы. И при всех отрицательных сторонах, эта система оказалась способной решить стоящую перед страной задачу — завершить в основном модернизационный переход к индустриальной стадии развития.

Важнейшая особенность «сталинской» индустриализации заключалась в ее ориентации на всемерное использование мирового научно-технического опыта. Так, в 1932 г. 80% новых машин и оборудования, установленных на промышленных предприятиях, были иностранного производства. А всего в период первой пятилетки на импортную технику пришлось почти 15% капитальных вложений [13]. Во второй половине 30-х гг. роль западной техники, технологий и технического опыта относительно снизилась, но продолжала оставаться весьма существенной.

Очевидно, что реконструкция экономики на основе широкого использования зарубежных научно-технических достижений ставила проблему адаптации последних к конкретным условиям нашей страны. Данную задачу можно было решить лишь имея кадры соответствующей квалификации и специализированные структуры. Россия к этому времени располагала заметным научным потенциалом. В стране имелся ряд научных школ мирового уровня. Однако, более или менее прочные позиции российские ученые занимали в сфере фундаментальных исследований. Прикладные же научно-технические разработки и по уровню, и по масштабам оставляли желать лучшего.

Осознание этой проблемы руководством страны определило приоритеты в развитии научно-технической сферы. С одной стороны, был взят курс на ускоренное наращивание ее потенциала, расширение тематики исследований, а с другой — провозглашалась необходимость переориентации научно-технической деятельности на решение конкретных задач индустриализации.

Как формулировалась эта политика — хорошо прослеживается по целевым установкам директивных органов. Так, в частности, в решениях XVII в. съезда ВКП(б) (январь-февраль 1934 г.) выдвигалось требование «широчайшего развертывания работы научно-технических институтов и в особенности заводских

лабораторий». Подчеркивалось, что главная задача научно-технической сферы — «стать мощным орудием в деле внедрения новой техники, организации новых видов производства, новых методов использования сырья и энергии» [14].

Эти положения были конкретизированы во Втором пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР. Согласно его заданиям, работу научно-исследовательских учреждений следовало направлять на «разработку основных вопросов ...технической реконструкции», на «освоение новейших достижений мировой науки и техники, перенесение этого опыта в народное хозяйство страны и обеспечение полной независимости Советского Союза в технико-экономическом отношении от капиталистического мира» [15].

Практическое осуществление подобных установок обеспечило быстрый рост сети научно-исследовательских учреждений и конструкторских организаций, ускоренное наращивание их кадрового потенциала и материально-технической базы. Наиболее быстрыми темпами развивался так называемый отраслевой сектор науки, ответственный за прикладные разработки. Его отличительной особенностью была организационная связь с производством и подчинение тем же органам, что и промышленные предприятия. Таким образом достигалось надежное научное сопровождение действующего производства, где каждой подотрасли, каждому виду производственной деятельности соответствовало определенное звено отраслевой науки (институт, отдел, лаборатория). Направления их научного поиска, как, впрочем, и академических учреждений и вузов, задавались всеохватывающим планированием и жестко контролировались органами партийно-государственной власти и управления [16].

Подчинение науки задачам «научного обслуживания», приоритетное внимание проблемам адаптации зарубежного опыта дали основание ряду исследователей утверждать об имитационном характере технического прогресса в Советском Союзе [17]. В общем, это соответствует действительности, если говорить о 30-х годах. Да другого вряд ли можно было ожидать от страны «догоняющего» типа развития, тем более, что такая политика себя в целом оправдала. Во-первых, она обеспечила решение главной задачи — создания в кратчайшие сроки мощной передовой по тому времени индустриальной базы. Ход и результаты второй мировой войны — лучшее доказательство ее обоснованности. Во-вторых, накопленный в ходе реализации этой политики потенциал и опыт стали надежной основой для выведения страны в последующие годы в число мировых лидеров в важнейших направлениях научно-технического прогресса.

Следует, однако, отметить, что выход отечественной науки и техники на передовые позиции, осуществленный в первое послевоенное десятилетие, был во многом предопределен произошедшим тогда пересмотром приоритетов как в научно-технической, так и в экономической политике в целом. Этот пересмотр происходил в сложных условиях. Прежде всего нужно было преодолеть последствия войны, восстановить опустошенные в ходе боевых действий районы, провести конверсию промышленности, снизить остроту жилищной проблемы, вдохнуть жизнь в обескровленную деревню, накормить страну. Не случайно названные задачи определились в качестве первоочередных в первом послевоенном пятилетнем плане, принятом в 1946 г.

Вместе с тем, проблемы восстановления экономики увязывались с ее дальнейшим развитием. Однако поначалу приоритет здесь вновь отдавался экстенсивному развитию узкой группы отраслей: тяжелой промышленности и железнодорожному транспорту [18]. В этом же направлении шла и разработка долгосрочных экономических программ. В их основу были положены установки высшего руководства страны о необходимости в течение ближайших 15 лет чуть ли не в три раза увеличить производство чугуна, стали, угля, нефти [19]. Эти установки рассматривались как директивные указания при подготовке Генерального плана развития народного хозяйства страны на двадцатилетний период, который разрабатывался в 1947—1949 гг. [20]. Другими словами, перспективные проектировки конца 40-х гг. строились по предвоенным схемам. В то же время, задачи интенсификации и создания наукоемких отраслей промышленности по существу определялись как второстепенные. По крайней мере, налицо была их явная недооценка. Отсутствовало должное понимание, что самым эффективным фактором развития народного хозяйство становился научно-технический прогресс.

Очень скоро, однако, жизнь внесла определенные коррективы в экономическую политику страны. В первую очередь это было связано с необходимостью поиска адекватного ответа на внешние вызовы, на изменение геополитической ситуации. Дело в том, что Вторая мировая война породила глубокие революционные преобразования в мире. Важнейшим ее итогом было появление на международной арене двух сверхдержав — Соединенных Штатов и Советского Союза. Принципиальные различия их представлений о мировом устройстве создавали реальную основу для конфронтации и прямого противостояния. Причем огромные экономические преимущества здесь были на стороне Соединенных Штатов. И это превосходство можно было компенсировать лишь достижением военно-политического паритета. Отсюда следовал чрезвычайно важный вывод. С учетом тенденций развития средств вооруженной борьбы, единственной гарантией достижения равенства с Соединенными Штатами было для Советского Союза обладание собственным ядерным оружием и средствами его доставки.

Это обстоятельство имело первостепенное значение. Дело в том, что создание ракетно-ядерного оружия было возможно лишь при опоре на фундаментальную науку, всемерном использовании ее результатов в атомной индустрии, ракетостроении, радиоэлектронной промышленности, вычислительной технике. Однако, использование здесь зарубежных разработок, в силу их засекреченности, являлось весьма проблематичным. Поэтому в производстве новейших вооружений был взят курс на создание замкнутого научно-технического цикла: от фундаментальных исследований до серийного производства [21]. Причем организованные тогда исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия до сих пор успешно обеспечивают военно-стратегическую независимость страны.

Курс на создание в основном «самодостаточного» военно-научного комплекса отнюдь не означал отказа от заимствования зарубежных научно-технических достижений. Более того, в первые послевоенные годы их масштаб оставался весьма впечатляющими. Достаточно вспомнить вклад разведданных в создание атомной бомбы, роль немецкого опыта в разработке первых образцов ракетного оружия. Особое значение имели репарационные поставки Германии и ее союз-

ников. Полученная по ним техническая документация способствовала обновлению номенклатуры промышленной продукции, внедрению новых технологий в производственные процессы. В первую очередь это относилось к таким ключевым отраслям, как инвестиционное машиностроение, производство оптики, электротехнических изделий, средств связи, искусственных волокон, пластмасс и т.д. [22].

Однако к середине 50-х гг. «индустриализационная» научно-техническая политика, с ее локализацией внимания к развитию ограниченного числа направлений, преимущественно связанных с укреплением обороноспособности страны, вошла в явное противоречие с требованиями жизни. Она не обеспечивала комплексное решение проблем советского общества, возникших в середине 50-х гг. перед руководством Советского Союза: упрочение национальной безопасности, достижения сбалансированного экономического роста, поступательного саморазвития науки и повышения уровня жизни населения. Более того, успешное решение этих задач становилось залогом устойчивого развития страны в будущем [23].

Ответом на вызов времени стало принятие ряда принципиальных решений. В мае 1955 г. вышло совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении дела изучения и внедрения в народное хозяйство опыта и достижений передовой отечественной и зарубежной науки и техники». Констатировав «застой в области науки и техники» по ряду важнейших направлений, это постановление определило основные принципы формирования и приоритетные направления государственной научно-технической политики, пути и способы ее реализации [24]. Ключевые положения данного документа были одобрены на пленуме ЦК КПСС, состоявшемся в июне того же года. В основном и главном они оставались неизменными вплоть до последних дней существования Советского Союза. В этом отношении показательно, что только во времена М.С. Горбачева (1985 г.) Центральный Комитет партии провел совещание по научно-техническому прогрессу, аналогичное по кругу обсуждавшихся вопросов с июньским 1955 г. пленумом ЦК КПСС.

Ключевые принципы, положенные в основу научно-технической политики «от Хрущева до Горбачева», можно свести к следующим. Во-первых, господствовало инструментальное отношение к науке. Ее развитие подчинялось экономическим нуждам, которые, в свою очередь, задавались военно-стратегическими императивами. Во-вторых, отчетливо проявлялось стремление к развитию исследований по всему «фронту» науки, к своего рода научной автаркии. В-третьих, международное сотрудничество (или «нелегальное» заимствование зарубежных наработок) стимулировалось по тем направлениям, где намечалось отставание. В-четвертых, уровень приоритетности научно-технической тематики определялся ее вкладом в решение военно-технических вопросов. В-пятых, формы и методы разработки и реализации научно-технической политики являлись преимущественно административными с явно выраженной тенденцией к жесткой централизации [25].

Последняя установка на практике оборачивалась частыми, иногда взаимопротиворечащими организационными перестройками. В значительной мере они являлись следствием изменения расстановки сил внутри правящей элиты. Эта же расстановка не позволила добиться ряда широко продекларированных целей, которые в рамках сложившейся системы являлись вполне оправданными.

Так, в частности, обстояло с созданием в научно-технической сфере единого планирующего и координирующего органа. Образованная в соответствии с майским 1955 г. постановлением ЦК КПСС и СМ СССР Гостехника СССР как и ее приемники вплоть до Госкомитета СССР по науке и технике не справились с этой задачей. И дело не только в том, что им не хватило властных полномочий для преодоления «ведомственной разобщенности». Очень быстро в ведении этих комитетов оказалась только «гражданская» наука. Исследования — как фундаментальные, так и прикладные, — связанные преимущественно с оборонными нуждами, были от нее организационно обособлены.

Планирование и координация этих исследований оказались сосредоточены в Комиссии президиума Совета министров СССР по военно-промышленным вопросам, созданной в декабре 1957 г. (в дальнейшем именовавшейся Военно-промышленной комиссией СМ СССР). Сначала она координировала деятельность министерств (тогда они назывались госкомитетами) оборонной промышленности, авиационной промышленности, радиотехнической промышленности, судостроительной промышленности. В дальнейшем в сферу ее компетенции была включена деятельность министерств электронной промышленности, общего машиностроения (космос и баллистические ракеты), среднего машиностроения (атомная промышленность). К концу советского периода она координировала деятельность так называемой «девятки» министров. При Комиссии действовал научно-технический совет. Комиссия отвечала за планирование и организацию научных исследований и разработок по оборонной тематике (и связанных с ней) [26]. Если учесть, что доля последних в общегосударственных расходах на научно-техническую деятельность составляла, по разным оценкам, от 60% до 80% [27], то станут очевидными ограниченные возможности Госкомитета по науке и технике, официально отвечавшего за развитие данной сферы в стране.

Предпринятая хрущевской администрацией попытка активизации научно-технического прогресса в рамках централизованно-планируемой экономической системы, вначале казалось, дала результаты. Освоение космоса, создание эффективных образцов ракетно-ядерного оружия, бесспорные успехи по ряду направлений фундаментальных исследований являлись зримым тому подтверждением. Однако эти очевидные достижения не отменяли главного. Научно-технический прогресс носил по-прежнему преимущественно очаговый характер. На большинство же отраслей экономики он оказывал весьма ограниченное влияние. Это, в частности, являлось одной из причин низкой народнохозяйственной эффективности затрат на науку. Ее оценка, рассчитанная как отношение выпуска наукоемкой продукции к расходам на НИОКР, в период 1971—1985 гг. устойчиво снижалась на 13—15% за пятилетку [28]. Тратя на науку огромные средства (в конце 80-х гг. доля расходов на НИОКР в ВВП была одной из самых высоких в мире), СССР «уверенно» проигрывал технологическую «гонку» передовым странам Запада.

В то же время, Советский Союз располагал крупным научно-техническим заделом. Об этом свидетельствовали результаты масштабной экспертизы российской науки, проведенной в 1991 г. Ее высокий уровень подтверждался прогнозами достаточно большого числа результатов работ, которые за рубежом не велись или только были начаты. Это в первую очередь относилось к отдель-

ным направлениям физики, общей и технической химии, физикохимии и технологии неорганических материалов, энергетики, геологии, физиологических, биохимических и структурных основ жизнедеятельности человека. Даже там, где наблюдалось особенно сильное отставание от мирового уровня (информационно-вычислительные сети, проблемно-ориентированные информационные системы и базы данных, некоторые направления физики твердого тела и др.) имелся шанс, по прогнозам экспертов, достаточно быстрого освоения достижений зарубежной науки [29].

В целом, результаты экспертизы свидетельствовали о больших возможностях отечественной науки. Однако, это были лишь потенциальные возможности. С середины 80-х гг. такую оценку стало разделять и высшее руководство страны. Не случайно к этому времени относится новый всплеск активности в сфере научно-технической политики. Однако, принятые тогда решения (о переходе к новой системе оплаты труда в науке, о переводе научных организаций на полный хозрасчет, об утверждении перечня важнейших направлений развития науки и их приоритетном финансировании) не дали реальных результатов.

По-прежнему остро стояли три проблемы — растущее противоречие между динамизмом внутренней структуры научной деятельности и ее институциональным оформлением; отсутствие должной мотивации к внедрению научно-технических новшеств; принципиальная неспособность системы директивно-административного управления отслеживать все потенциально возможные направления перспективных технологических прорывов и вовремя производить соответствующее перераспределение ресурсов. Попытки решить их путем организационных перестроек, введения так называемого «хозрасчета», создания отраслевых централизованных фондов, разработки межотраслевых, комплексных научно-технических программ и т.д. и т.п. не могли увенчаться успехом.

Дело в том, что отсутствие конкурентной среды в экономике не создавало действенных стимулов для инноваций. Директивное планирование в условиях роста динамизма науки вело к консервации сложившейся структуры исследовательских учреждений и развиваемых ими научных направлений. Внутри экономической системы не существовало объективных (независимых от субъективных оценок и интересов) критериев, позволяющих определить эффективность тех или иных решений. Механизмы «бюрократического рынка» и «экономики согласований» разбалансировались даже в случае скромных технологических нововведений и изменения производственных программ, поэтому всячески сопротивлялись им. Данные «недостатки» нельзя было исправить, не покусившись на основы существующей политико-экономической системы.

К концу 80-х гг. такой взгляд получил широкое распространение. Не случайно в решениях XIX Всесоюзной партийной конференции (1988 г.) прозвучало требование «создать качественно новый научный потенциал». Этот призыв нашел поддержку среди научной общественности, руководителей научно-технического комплекса страны, активно комментировался и пропагандировался в печати. Высказываемые оценки, как правило, были категоричны: «сложившаяся на прежних этапах система научной деятельности исчерпала ресурсы саморазвития и дальнейшему совершенствованию не подлежит» [30]. Подобные взгляды хорошо согла-

совывались с общественными настроениями и сыграли свою роль в подготовке радикальных преобразований в жизни страны, произошедших в 90-е гг.

Однако эти преобразования оказались весьма далекими от связанных с ними ожиданий. Политико-экономическое реформирование социальных институтов российского общества превратилось в самоцель. Оно не оставило ни времени, ни пространства науке и даже высокотехнологичным, потенциально конкурентоспособным сегментам российской промышленности для адаптации к новым условиям.

Ситуацию усугубляло фактическое устранение государства от поддержки научно-технической сферы. В результате уже в 1992 г. удельный вес ассигнований в ВВП сократился менее чем до 1%. Широкое распространение получили взгляды, разделяемые даже лицами и структурами, ответственными за реализацию научно-технической политики, что науки у нас «слишком много». В этом их, кстати, активно поддерживал ряд зарубежных экспертов. Так, к примеру, в 1993 г. главный вывод одного из докладов, подготовленных по заказу ОЕСР (Организация европейского сотрудничества и развития), заключался в том, что Российская Федерация обладает избыточным научным потенциалом, который следует сократить минимум на две трети [31].

В результате такой политики сложилась реальная угроза разрушения самой инфраструктуры научной деятельности, необходимой не только для проведения самостоятельных исследований и опытно-конструкторских разработок, но и для элементарной «ассимиляции» передовых зарубежных технологий. И только в конце 90-х гг. ситуация начала постепенно меняться. Разрушение научно-технического потенциала стало рассматриваться как угроза национальной безопасности, а его сохранение, усиление практической отдачи — как важнейший фактор поступательного развития страны, повышение Россией своего геополитического и геоэкономического статуса. На федеральном уровне эти установки закрепляются в таких документах как Концепция национальной безопасности и Доктрина развития науки в Российской Федерации, в законе «О науке и государственной научно-технической политике». Аналогичные процессы наблюдаются и на региональном уровне. Однако негативные тенденции, согласно прогнозным оценкам, в лучшем случае удастся преодолеть лишь к концу нынешнего десятилетия [32].

Если же говорить о развитии отечественной науки в XX в. в целом, то необходимо отметить следующее. Во-первых, время ее бурного развития совпадает с периодом наиболее высоких темпов экономического роста нашей страны. И это совпадение отнюдь не случайно. Оно свидетельствует об устойчивой положительной связи научно-технического и социально-экономического прогресса.

Во-вторых, опыт развития отечественной науки на практике подтверждает концептуальные положения, согласно которым в современных условиях экономический прогресс перестает быть связанным с эпизодическими достижениями экспериментальной науки и может базироваться лишь на развитии теоретических знаний [33]. Успешное решение последней задачи позволяло нашей стране на протяжении ряда десятилетий быть военно-политической да и экономической сверхдержавой.

В-третьих, застойные явления в научно-технической сфере, особенно остро проявившиеся в последние десятилетия прошедшего столетия, носили преимущественно экзогенный характер. Сначала они были связаны с общим снижением

эффективности советской общественно-политической системы. В условиях наметившегося перехода к постиндустриальному обществу она оказалась неспособной обеспечить необходимые темпы воспроизводства научных знаний и должную инновационную восприимчивость экономики. Однако ее радикальное преобразование, осуществленное в соответствии с либеральными принципами, не дало ожидаемого результата.

В-четвертых, переход к рыночным отношениям автоматически не обеспечивает высокие темпы научно-технического прогресса. Это справедливо и для развития экономики в целом. Детальный анализ длинных рядов статистических данных показывает, что ряд стран с рыночной экономикой в течение длительного периода имел более низкие темпы роста по сравнению со странами с централизовано-планируемой экономикой. И причиной тому был характер проводившейся экономической политики [34]. То же самое можно сказать об определяющей роли государственной научно-технической политики в стимулировании научно-технического прогресса.

Последнее обстоятельство имеет принципиальное значение для определения приоритетов в исследовании отечественной истории XX в. К их числу, несомненно, необходимо отнести изучение научно-технической политики советского государства: ее целей и задач, средств и способов реализации, ожидаемых и реально полученных результатов, эффективности использования научно-технической сферой выделяемых ей ресурсов. Думается, что подобные исследования будут иметь не только познавательное, но и практическое значение. По крайней мере, они способны прояснить причины, позволившие нашей стране в отдельные периоды ее истории находиться на «острие» научной революции.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Тоффлер А. Футурошок. СПб., 1997. С. 10
2. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. М., 1986. С. 45
3. Обстоятельный обзор теорий модернизации см.: Алексеев В.В., Побережников И.В. Школы модернизации: эволюция теоретических основ // Уральский исторический вестник. 2000. № 5—6. С. 8—49
4. Научно-технический прогресс. Словарь. М., 1987. С. 157.
5. См.: Агасси Дж. Революции в науке — отдельные события или перманентные процессы? // Современная философия науки: знания, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада. М., 1996. С. 136—137, 150—152.
6. См.: Сахал Д. Технический прогресс: концепции, модели, оценки. М., 1985. С. 86—87, 340—341
7. См.: Лисс Л.Ф. Становление и структура социального института науки (историко-социологический подход) // Формы организации науки в Сибири. Исторический аспект. Новосибирск, 1988. С. 10—11.
8. См.: Иноземцев В.Л. Неизбежность монополюсной цивилизации // Мегатренды мирового развития. М., 2000. С. 47—54.
9. Сталин И. О задачах хозяйственников. Речь на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 г. // Вопросы ленинизма. 11[е] изд. М., 1953. С. 362.

10. Обстоятельный обзор данных официальной статистики, альтернативных отечественных и зарубежных оценок экономического роста СССР см.: Кудров В.М. Советская экономика в ретроспективе. Опыт переосмысления. М., 1997.

11. Чадаев Я.Е. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). М., 1985. С. 31—32

12. Подколзин А.М., Хавин А.Ф. Индустриализация социалистическая // Экономическая энциклопедия. М., 1975. Т. 2. С. 22

13. Ханин Г.И. Динамика экономического развития СССР. Новосибирск, 1991. С. 156.

14. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1986). Изд. 8-е, доп. и испр. Политиздат. Т. 5. М., 1971. С. 140.

15. Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР (1933—1937 гг.). М., 1934. С. 411.

16. Лахтин Г.А. Организация советской науки: история и современность. М., 1990. С. 10—11.

17. См. например: Кудров В.М. Мировая экономика. М., 1999. С. 349—350.

18. См.: Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 3. М., 1968. С. 250.

19. Боффа Дж. История Советского Союза. Т. 2. М., 1994. С. 266.

20. См.: Белоусов Р.А. Исторический опыт планового управления экономикой СССР. 2-е изд. М., 1987. С. 274—275.

21. См.: Алексеев В.В., Литвинов Б.В. Советский атомный проект как феномен мобилизационной экономики // Вестник Российской Академии наук, 1998. Т. 68. № 1. С. 5—6.

22. Ханин Г.И. Динамика экономического развития СССР ... С. 186—187.

23. Turkevich John. Soviet Science Policy Formation. In Thomas, J.R. and Kruse-Vancienne, U.M., eds. Soviet Science and Technology: Domestic and Foreign Perspectives — Washington, D.C., 1977. P. 15—17.

24. КПСС в резолюциях ... Т. 7. С. 66—70.

25. См.: Артемов Е.Т., Водичев Е.Г. Советская научно-техническая политика в контексте процессов модернизации // Культура и интеллигенция сибирской провинции в XX веке. Новосибирск, 2000. С. 71—78.

26. См.: Строев Н.С. Военная авиация // Военная советская мощь от Сталина до Горбачева. М., 1999. С. 279—280; Nuclear Weapons Databook. Vol. IV. Soviet Nuclear Weapons. By Thomas B. Cochran, William M. Arkin, Robert S. Norris, and Jeffrey I. Sauds. A book by the Natural Resources Defense Council, Inc. — New York. 1984. P. 69—70.

27. Thomas, John R. A Current Assessment of Soviet Science. In Thomas J.R. and Kruse-Vancienne, U.M., eds. Soviet science and Technology... P. 64—65; Варшавский А. Социально-экономические проблемы российской науки: долгосрочные аспекты развития // Вопросы экономики, 1998. № 12. С. 70.

28. Варшавский А. Социально-экономические проблемы российской науки... С. 70.

29. Путь в XXI век (стратегические проблемы и перспективы российской экономики). М., 1999. С. 345—347.

30. См.: Кара-Мурза С.Г. Застой в фундаментальных исследованиях: поиски путей преодоления ошибок // Вестник АН СССР. 1989. № 4. С. 32.

31. См.: Алексеев В.В., Артемов Е.Т., Гмызин В.Д. и др. Научный потенциал Екатеринбурга. Научный доклад. Екатеринбург, 2000. С. 89.

32. См.: Путь в XXI в... С. 352—353.

33. См.: Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М., 1999. С. 25.

34. Илларионов А. Как Россия потеряла XX столетие // Вопросы экономики. 2000. № 1. С. 14—15.

SCIENTIFIC REVOLUTION AND MODERNIZATION OF RUSSIAN SOCIETY

The article analyses the role of science as a factor of social development, as we as the mechanisms for scientific and technological progress, the relation betwee scientific revolution and modernization. The author considers the change of prioritie in the field of soviet scientific and technological policy, reveals the influence c scientific and technological progress on the rates and nature of soviet modernizatior

Ye.T. Artyomov

О.Л. Лейбович

ИСТОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ

В современном отечественном историческом знании концепция модернизации постепенно приобретает статус парадигмы, по меньшей мере, равновеликой иным *большим теориям*. Издаются учебники, защищаются диссертации, авторы которых заявляют о своей приверженности модернизационной методологии исследования. В свою очередь, критики теории модернизации ищут и находят в ней первопричину социальных потрясений и человеческих трагедий: «Итоги исторического развития России не дают оснований говорить об императивном благе, которое несет стране модернизация...» и возлагают на теорию ответственность за «... контрпродуктивность и инклюзивность любых принимаемых решений» [1].

В суждениях такого рода статус концепции модернизации повышается до уровня доминирующей политической доктрины. Ей придаются свойства идеологемы, предписывающей обществу, как следует трактовать социальный порядок и на какие модели поведения равняться.

На самом деле, концепция модернизации, впрочем, как и любая иная, не занимает влиятельных позиций в отечественном обществознании. В нем господствует эмпиризм, чуждающийся любой теоретической внятности. «Все исторические подходы, основанные на исторических фактах, равны. Они лишь отражают различие систем взглядов на историю и современное общество», — утверждается в одном из популярных вузовских учебников [2]. Явление это в истории не новое. В подобном состоянии в течение первого десятилетия, по оценке известного немецкого социолога Р. Кенига, пребывали общественные науки в послевоенной Германии [3].

Беззаботность отечественных обществоведов по части теории далеко не случайна. Она является постоянным спутником научных революций, в процессе которых осуществляется смена исследовательских парадигм и, в конечном счете, обновление мировоззрения научного сообщества. «То, что казалось ученому уткой до революции, после революции оказывалось кроликом», — замечает по этому поводу автор концепции научных революций Т. Кун [4]. Если продолжить метафору, можно обнаружить в истории научной революции временную полосу, в течение которой одни ученые отказываются идентифицировать изучаемую ими сущность, ограничиваясь описанием отдельных признаков, а другие квалифицируют ее как некий симбиоз кролика и утки. Иначе говоря, эмпиризм в такой ситуации всегда соседствует с эклектикой — произвольным склеиванием элементов разнородных теорий, именуемым то *многофакторной моделью исследования*, то *системным подходом*.

По этому поводу вспоминается суждение М.М. Бахтина, не без оснований полагавшего, что «...слияние всех направлений в одно единственное было бы смертельно науке (если бы наука была смертной)» [5].

Научная революция в области обществознания в нашей стране далека от завершения. Ее растянутость во времени объясняется рядом условий.

Переворот в историографии явился следствием политической революции, а не результатом предшествующего естественного развития гуманитарного знания. В советское время функции истории определяла власть, которая назначила ей в обязанность обслуживать пропагандистские институты. Она же и предписывала историкам следование марксистской парадигме. Материалистическое объяснение истории, предложенное К. Марксом, обладало всеми признаками научного достижения, способного увлечь несколько поколений историков, сформулировать проблематику исследований и дать интерпретацию множеству исторических эпох, событий и поступков. Гносеология марксизма, родственная иным большим теориям прошлого столетия, обладала их основными свойствами. Претендуя на универсальность и законченность, а с ними и на соответствие естественно-научным принципам познания, она была относительно индифферентна и к новым фактам, и к новым исследовательским процедурам. Более того, она оставляла собственно историкам лишь право на поиск фактического подтверждения ранее открытых законов.

Известный русский историк М.Н. Покровский (естественно, в меру собственного понимания) некогда разъяснял сущность марксова подхода к истории: «Маркс сделался историком случайно. (...) Цели и задачи, которые ставил себе Маркс, не требовали от него исторического исследования в обычном смысле этого слова. И погружаться в хаос архивного материала ему было незачем. (...) К исторической живописи у него не было ни малейшей склонности. Как истый научный историк он понимал, что дело истории не рассказывать, а показывать, не изображать факты, а объяснять их возникновение и связь» [6].

Вчитаемся в это суждение, принадлежащее человеку, насаждавшему марксизм в качестве единственной научной методологии исторического познания. М.Н. Покровский не пытается отретушировать метод Маркса, придав ему черты профессионализма, не приписывает своему учителю ни глубокого знания источников, ни мастерства исторического портретиста. Он называет вещи своими именами. Марксизм в историографии, если следовать Покровскому, способен объяснить любые исторические события при помощи дедуктивного метода; факты являются лишь иллюстрацией общих закономерностей, открытых не историками, но философами и политическими экономами. В этом смысле марксизм представляет собой систему, закрытую для критики со стороны профессиональных историков. Их аргументы, идущие от источника, принципиально не приемлемы.

В тридцатые годы в советской историографии утвердилось иное — государственное — прочтение марксизма, в сущности, запретившее применение диалектического метода к изучению послереволюционной истории и ограничившее классовый подход к исследованиям государства российского. Можно вспомнить также санкционированные «белые пятна» (сюжеты и персонажи, о которых было приказано забыть, во всяком случае, упоминать о них в открытой печати можно было только с официального разрешения высших партийных инстанций), а также утвержденные властью оценки и характеристики исторических персонажей и событий.

Внутренняя завершенность марксизма, соединенная с силой государственного и идеологического аппаратов власти, препятствовала естественному процессу смены исторических парадигм. Отказ от марксизма был инициирован скорее политичес-

ками, нежели собственно научными резонами. Эта ситуация предопределяет как стремление части историков вернуться к универсальной схеме исторического процесса, в том числе и к «очищенному» марксизму, так и их желание опереться на какую-нибудь государственную идею, вновь придать науке идеологическое значение. Культура, воспитанная партийно-государственной школой, и в настоящее время формирует позицию значительной части профессиональных историков.

Нельзя сбрасывать со счетов и далеко идущую изоляцию отечественной исторической науки от гуманитарной теории. В профессиональной культуре советских историков методологический компонент занимал весьма скромное место. Авторы исторических диссертаций заполняли раздел методологии ритуальной формулой, касательно «теоретических положений, содержащихся в трудах классиков марксизма-ленинизма, документах КПСС». Научное обсуждение положений исторического материализма, дискуссия о методах и процедурах его применимости для анализа конкретно-исторических ситуаций находились за пределами собственно исторической науки. В соответствии с государственной традицией функции развития марксизма приписывались прямо и непосредственно высшему партийному руководству. Это был его домен, покушение на который со стороны профессиональных историков рассматривалось в лучшем случае как идеологическая *незрелость*, в худшем — как *ревизионизм*.

Основные труды историков немарксистского направления были недоступны в течение едва ли не всего XX века. Если же нужды исследования заставляли к ним обращаться, то единственно с целью критики с позиций неотрефлексированного официального марксизма учебников.

В рамках советской исторической науки не сложились правила дискуссии по методологическим вопросам. По этим причинам проблемы исторической теории остались чужими для множества профессиональных историков.

Есть также и иные причины. Либерализация научной жизни проявилась, прежде всего, в том, что для историков открылись ранее закрытые сюжеты, а позднее — и архивные источники. Интерес к ним, естественно, перекрывал интеллектуальную потребность в новых теоретических моделях. Общественное мнение действовало в том же направлении. Интеллигенция, еще не распрощавшаяся со своим социальным статусом, компенсировала материальные тяготы жизни страшными историями о ленинско-сталинском терроре. Позднее ситуация изменилась. Реформы 90-х гг. с высокой интенсивностью уничтожают интеллигенцию как особую социокультурную группу. Интеллигенция утратила свое единство, а с ним и специфический образ жизни, в который входила охота за интересной книжкой и ее обсуждение на кухне или в служебном помещении среди единомышленников. Те из бывших интеллигентов, кто смог эффективно адаптироваться к новым реалиям, занимают свое время совсем иначе. Другие, волею рынка выброшенные на обочину жизни, не имеют средств поддерживать прежние формы общения. Утратили престижность и специфически интеллигентные модели поведения. В результате историки лишились читателей, что, как известно, не благоприятствует развитию науки.

В силу этих причин кризис исторической науки приобрел затяжной характер. В таких условиях методологическое самоопределение историков, не востре-

бованное научной средой, становится затруднительным делом. Без него, однако, выход исторической науки из состояния методологического хаоса невозможен.

Проверка концепции модернизации на историчность является одним из шагов в этом направлении.

Известно, что теория (точнее, теории модернизации) — продукт социологической мысли середины XX столетия. По замыслу ее создателей, в числе которых нельзя не упомянуть Т. Парсонса, новая теория претендовала на объяснение фундаментальных перемен, происходящих в современном мире. Допустимо предположение, что первоначальным импульсом для строительства новой теории явилась рефлексия над трагедией европейской цивилизации, — трагедией, поставившей под сомнение все прожективные выводы больших теорий XIX столетия. Новые виды социальных и политических конфликтов, общественные катаклизмы и катастрофы, перерождение социалистических и демократических институтов в тоталитарные учреждения, сочетание технического прогресса с разрушением гуманистической культуры — все это требовало иного осмысления.

Можно согласиться с мнением Дж. Александера, заметившего, что первоначальный эскиз теории модернизации, предложенный Т. Парсонсом, был, прежде всего, интеллектуальной реакцией на установление нацистского режима в Германии, — стране, образцовой по части цивилизованности и индустриализма [7]. Трагический опыт эпохи Освенцима-Гулага заставил обратиться к критериям развития общества и к методологическим принципам, на основании которых эти критерии устанавливались. С этой целью был пересмотрен и теоретический инструментарий исследователей. Предметом изучения, на основании которого постулировались основные гипотезы новой теории, было западное индустриальное общество.

Европоцентризм концепции модернизации нельзя считать только результатом свободного выбора исследователей. Социологам приходилось опираться только на тот материал, который был в их распоряжении. Так сложилось, однако, что теория модернизации и по этому показателю напоминала прежние концепции. Европейский и североамериканский опыт был использован для построения глобальной теории. Впрочем, с этим выводом не согласны некоторые исследователи концепции модернизации. Немецкий историк Г. Велер, отказывая ей в европейской прописке, квалифицирует теорию модернизации как «... попытку американской научной элиты продумать послевоенную роль США в качестве мировой сверхдержавы» [8].

Напомним, однако, что в своем первоначальном виде концепция модернизации сложилась в рамках социологического знания, точнее, той его части, которая со времен О. Конта носит имя социальной динамики. Обращенная к изучению социальных процессов, концепция модернизации была призвана по-новому интерпретировать происходящие в обществе качественные перемены, уделив особое внимание социальным напряженностям и конфликтам. К середине пятидесятых годов уже сложились исследовательские процедуры, применяемые в обязательном порядке к изучению социальных процессов большого формата. Речь здесь идет об анализе социальных институтов, вовлеченных в процесс изменений, и о выявлении социальных актеров, осуществляющих эти изменения.

Социологи модернизации первого призыва, вынужденные обращаться к большим историческим периодам для проверки основополагающих гипотез, вторгались в сферу, традиционно принадлежавшую историкам. Вели они себя достаточно вольно. Так А. Гершенкрон, объясняя генезис советского строя, спускался в XVIII столетие: «Если бы Екатерина II уничтожила крепостное право, или это произошло бы в результате декабрьского восстания 1825 г., недовольство крестьян как движущей силы и гаранта успеха русской революции никогда бы не приняло таких катастрофических размеров. Замедленная индустриальная революция обусловила политическую революцию, после которой власть попала в руки диктаторского правительства» [9].

Автор процитированной статьи, озаглавленной «Экономическая отсталость в исторической перспективе», далек от исторического анализа. Приведенный выше пассаж — яркий пример своеобразного ретропрогноза. Социологу известен результат; он подверстывает под него исходные величины. Примечательно здесь и сослагательное наклонение («что было бы, если...»), в рамках профессиональной исторической культуры считавшееся недопустимым. Историческая ценность подобных построений не слишком высока.

Важно отметить, однако, иное обстоятельство. Социологи модернизации, может быть, первыми из людей своей профессии отказались от жесткого противопоставления современности и истории, указали на проницаемость и условность границ между ними и признали допустимость исторического анализа в тех областях, где безраздельно господствовал структурно-функциональный подход. Тем самым они наводили мосты между социологией и историей.

Встречное движение начиналось и с другого берега. В начале 60-х гг. британский историк П. Ласлетт в монографии «Мир, который мы потеряли» представил социальную историю Англии по правилам, принятым в социологии [10]. Позднее он так комментировал собственные методы: «... Для них всегда характерно стремление к тому, чтобы охватить целостные национальные общества или культурные регионы, чем изучать какие-либо частные институты. Хотя эти исследования осуществляются в русле установившейся традиции социальной истории, в них руководствуются, насколько это возможно, двумя основными принципами, которые в традиционных работах обычно не выражены. Первый принцип состоит в том, что данные необходимо собирать и анализировать в соответствии с методами и процедурами, общими для всех социальных наук. Второй принцип требует, чтобы выводы представлялись в форме, пригодной для общего социального анализа» [11].

Сближение социальной истории и исторической социологии происходило первоначально в русле концепции модернизации. Этот процесс характеризуется достаточно выраженной асимметрией. В нем явно преобладает социологическая составляющая. Историки обращаются для объяснения ранее известных фактов к концепции модернизации, пользуются ее понятийным аппаратом и разработанными социологической наукой приемами для анализа собственно исторических источников. И если П. Ласлетт и его последователи из иных национальных исторических школ находят в социологизации истории новые возможности для развития своей науки, то для их оппонентов такой подход кажется, во-первых, далеко не новым, а во-вторых, малопродуктивным.

Спор о том, может ли историк пользоваться исследовательскими стратегиями, выработанными в рамках иной научной дисциплины, имеет давнюю традицию. Он восходит к начальному периоду существования истории как науки. История, вопреки общераспространенному предрассудку, — наука относительно молодая. Она приобрела свой академический статус одновременно с иными общественными науками в XIX веке — раньше, чем социология, но позднее национальной экономии и философии. Первая самостоятельная кафедра истории была открыта в Берлинском университете в 1810 г., а в Англии — лишь спустя пятьдесят лет. «Русская старина» и «Русский архив» — первые отечественные исторические журналы — начали выходить в свет в лишь в 1860-е гг., одновременно с французскими и английскими.

Тогда же и сложились две основные школы в исторической теории. Первая, связанная с именами Фюстель де Куланжа и Л. Ранке, концентрировала свое внимание на разработке методов собственно исторического анализа, поиске и верификации фактов для новой науки. Вторая, воспитанная Гегелем, выстраивала связь между философией и историей, создавая переходные формы от сугубо абстрактных моделей человеческого и природного мира к конкретно-историческим фактам.

Заметим, однако, что здесь речь идет об исследовательских стратегиях, не исключающих друг друга. Историк, оперирующий теоретическими моделями, может быть столь же скрупулезным в поиске и верификации фактов, как и его профессиональный собрат, самостоятельно строящий историческую концепцию на основании детального изучения эмпирических источников. Строгость в использовании понятийного аппарата, логичность и непротиворечивость исторических заключений служат индикатором исследовательской культуры любого историка-профессионала. Каждая из школ расставляет собственные акценты в едином процессе исторического познания, — акценты, оказывающие прямое воздействие на положение истории в общей системе гуманитарного знания.

Если в первом случае история претендует на статус самостоятельной гуманитарной науки, то во втором — она есть не что иное, как распространение философии, или, в ином варианте, политической экономии, на человеческое прошлое. Основная проблема, стоящая в таком случае перед профессиональным историком, — соблюсти нужные пропорции между философским знанием и конкретно-историческим анализом. Здесь уместно привести критику Ф. Энгельса по адресу одного усердного марксиста. К. Каутский (речь здесь идет именно о нем) написал брошюрку к столетию Великой французской революции, в которой интерпретировал ее в соответствии с буквой и духом нового учения как переход от феодализма к капитализму: «Ты слишком часто обобщаешь и потому часто абсолютизируешь там, где требуется наибольшая относительность», — поправил своего ученика создатель новой теории. — «Я гораздо меньше говорил бы о новом способе производства. Его всегда отделяет огромное расстояние от фактов, о которых ты говоришь, и представленный таким образом, без опосредования фактами, он выступает как чистая абстракция, которая не разъясняет дела, а скорее затемняет его» [12].

Предостережение Ф. Энгельса кажется вполне актуальным и по отношению к исторической концепции модернизации. По всем своим методологическим свой-

ствам она принадлежит второй — назовем ее *спекулятивной* — теоретической школе. В наиболее абстрактной форме концепция модернизации проектировалась ее создателями в виде «... неполной (открытой) системы законов и предпосылок, в которую каждый раз необходимо вводить содержательную информацию, чтобы с ее помощью можно было определить новые явления» [13]. Впрочем, в этом пассаже речь шла скорее о притязаниях, нежели о действительных результатах. Концепция модернизации обладает в сложившемся виде весьма жесткой конструкцией. Она описывает *универсальный процесс* мирового развития. По своему содержанию этот процесс характеризуется переходом человеческих сообществ от традиционной к индустриальной формам существования. Пространственные границы его в конечном пункте совпадают с территориальным расселением человечества. В концепции модернизации расписаны основные составляющие процесса, его институциональные элементы, критерии завершенности. С эпистемологической точки зрения, концепция модернизации отличается от больших теорий прошлого столетия только временной ограниченностью. Она не претендует на объяснение всей человеческой истории, но только ее последних столетий. Теория модернизации описывает «... тип социальных перемен, уходящих корнями в английскую промышленную революцию 1760—1830-х г.г. и политическую революцию во Франции 1789—1794 г.» [14].

Множественность версий, в которых в настоящее время существует концепция модернизации, не может считаться аргументом в пользу ее открытости. Это скорее доказательство того, что данная концепция приобрела статус парадигмы в современном знании, стала настолько авторитетной, что в состоянии притягивать к себе иные, содержательно отдаленные теоретические модели. Во всяком случае, по количеству интерпретаций марксизм не уступает концепции модернизации. Впрочем, одновременное бытование нескольких научных парадигм, в свою очередь распадающихся на отдельные школы и школки, есть генетическая особенность гуманитарного знания вообще, а не его конкретных воплощений.

Как и в случае с формационной теорией, историческая концепция модернизации также представляет собой теоретическую модель, разработанную за пределами собственно исторического знания. Историк, прибегающий к ней для объяснения и систематизации исторических фактов, совершает те же операции, что и историк-марксист. Все формы заданы — нужно лишь их наполнить конкретно-историческим содержанием. Он пользуется заимствованной из иной науки терминологией, заранее может назвать все звенья, из которых складывается изучаемая цепь событий, а также ее направленность и даже материал.

В статье С. Хантингтона «От изменения к изменению» перечислены девять главных характеристик ***процесса*** модернизации, обнаруженных им в текстах создателей и продолжателей этой концепции исторического знания: революционность, системность, глобальность, протяженность, ступенчатость, гомогенность, необратимость и прогрессивность [15].

Критики исторической концепции модернизации используют это сходства для того, чтобы поставить под сомнение ее самостоятельность. «Формальные структуры мышления марксистских и либеральных модернизаторов почти тождественны», — замечает Л. Ионин [16].

По мере развития гуманитарного знания происходит сближение исследовательских методов его различных отраслей. Если в прошлом веке вольным философским спекуляциям противостояло коллекционирование (в лучшем случае систематизация) фактов, то в настоящее время оба этих занятия, хотя и сохранились в современной культуре, но существуют за пределами социально институализированной науки. Отношение между историей и социологией разнятся от тех, которые в прошлом веке существовали между философией и историей. История могла быть *служанкой философии*, или *падчерицей политэкономии*, но по отношению к социологии она обладала правом первородства. В современной культурной среде статус социологии подобен статусу истории и с точки зрения теоретических ресурсов этих дисциплин.

О близости используемых в истории и социологии исследовательских методов более полувека назад писал исследователь средневековья М. Блок: «Выше мы спросили себя, существует ли между познанием прошлого и настоящего противоположность в технических приемах. На это был дан ответ. Конечно, исследователь современности и исследователь далеких эпох обращаются с орудиями каждый по-своему. И каждый имеет определенные преимущества. Первый соприкасается с жизнью непосредственно, второй в своих изысканиях располагает средствами, иногда недоступными для первого. (...) Но к какому бы веку человечества не обращался исследователь, методы наблюдения, почти всегда имеющие дело со следами, остаются в основном одинаковыми. В этом с ними сходны... и правила критики, которым должно подчиняться наблюдение, чтобы быть плодотворным» [17].

Применительно к концепции модернизации последнее замечание М. Блока имеет особое значение. Социологи, работающие в парадигме модернизации, вынуждены прибегать к использованию собственно исторических методов. В то же время историки, разделяющие настоящую концепцию, пользуются социологическим исследовательским аппаратом.

Интеграция в процесс исторического познания новых для него социологических методов, на наш взгляд, представляет главное методологическое достоинство концепции модернизации.

Методы и процедуры исследования, применяемые в социологии, были разработаны при изучении индустриального общества, которое, во-первых, обладает собственной временной протяженностью и пространственной определенностью, а во-вторых, множественностью социальных форм. Социологи изучают общество, находящееся в становлении и развитии, — общество многоуровневое и дифференцированное. Богатство и разносторонность социологического предмета исследования создают необходимое основание для применения социологических исследовательских техник, в том числе и понятийного аппарата в историческом изучении генезиса современного общества, этапов его формирования, социальных актеров завершившейся или продолжающейся исторической драмы.

В то же время границы индустриального общества (временные, пространственные, социальные) образуют естественные рубежи, за которые непозволительно заходить историку, работающему в русле концепции модернизации. Его исследовательский инструментарий не рассчитан на применение в иных исторических областях.

Именно в связи с этим концепция модернизации не может претендовать на роль объясняющей теории применительно ко всей истории человечества, региона, отдельной страны. Ее историческая область меняет свои очертания в зависимости от того, в какое время та или иная страна, или группа стран начала свое движение от традиционного общества к современному: от четырех веков западноевропейской истории до нескольких десятилетий истории некоторых азиатских и африканских народов.

Здесь представляется уместным поставить вопрос о временных рамках российской истории, внутри которых правомочна концепция модернизации. В литературе по этому поводу представлены разные точки зрения: считать ее исходным пунктом реформы Петра Великого или эпоху Великих реформ Александра II. Сторонники *петровской* модернизации указывают на «нарастающий по интенсивности ритм преобразовательной активности», «предбуржуазность» насаждаемых западных учреждений, рационализацию властных структур [18]. Историки, придерживающиеся второй версии, строят свою аргументацию на том, что только реформы шестидесятых годов упразднили средневековые институты крепостничества и тем самым открыли движение к современному обществу в России [19]. Для завершения этого спора необходимо решить ряд проблем методологического и конкретно-исторического свойства: уточнить параметры ситуации, из которой возможно начало движения по пути модернизации, осуществить структурный анализ общества, готового к *большому скачку*, наконец, под этим углом зрения провести исторический анализ российской действительности в XVIII веке, а не только анализ Петровской политики, в которой уже цитированный выше М.Н. Покровский находил ярко выраженные буржуазные черты [20].

Историк, работающий в русле концепции модернизации, постоянно обращается к понятиям, разработанным современной социологией. Он исследует *общественные институты*, анализирует *социальные процессы*, подвергает функциональному анализу складывающиеся *социальные структуры*, находит рождающиеся в процессе трансформации общества *социальные конфликты*, уделяя особое внимание изучению *повседневности*. Концепция модернизации обращается, по верному замечанию П. Стирна, «к институтам и ценностям простых людей частично потому, что они подвержены давлению со стороны новых экономических и политических центров власти, а частично ввиду их спонтанных реакций [на эти изменения — О.Л.]» [21].

Здесь необходимо перейти от формальной характеристики социологических методов, применяемых в исторической концепции модернизации, к реконструкции их содержательного наполнения. Социология модернизации своим появлением во многом обязана веберианской традиции в истории гуманитарного знания. М. Вебер не был эволюционистом как многие его предшественники и последователи. Он настаивал на том, что общественные изменения протекают в пределах освоенной людьми культурно-исторической модели. Первоочередной задачей социолога поэтому, по мнению М. Вебера, является изучение тех культурных форм, которые придают смысл и определяют взаимодействие и саму жизнедеятельность людей [22]. Т. Парсонс, известный строитель больших теоретических систем и одновре-

менно один из создателей эволюционной концепции модернизации, видел в культуре основополагающий фактор жизнедеятельности общества: «...В самом широком смысле развитие культуры существенно необходимо для эволюционных продвижений социальных систем» [23]. Это утверждение может показаться *общим местом*, банальностью, если бы не уточнение Т. Парсонсом содержания культуры, в которой он видит, прежде всего, набор освоенных разными группами людей или обществом в целом идеальных моделей поведения, наполненных ценностным и нормативным смыслами [24].

Концепция модернизации перемещает фокус исторического исследования к реконструкции повседневной жизни множества людей, как правило, остающихся в тени своих великих современников. **Экономические и политические процессы, происходящие в обществе, в таком случае приобретают человеческое измерение.**

Историк, работающий в русле концепции модернизации, в первую очередь решает задачу восстановления культуры больших и малых социальных групп, действующих в определенном историческом пространстве. Чтобы понять смысл событий, он воссоздает ментальность общества в ее повседневных манифестациях: символических актах и ритуалах, оценочных суждениях, способах рационализации своих и чужих поступков.

«Если мы серьезно стремимся вдохнуть, уловить аромат, колорит века, его дух, мысль, культуру, нам нужно просочиться в тогдашний быт, повседневность канцелярии, усадьбы, избы, гимназии» [25]. С этой точки зрения историческая концепция модернизации выступает законной правопреемницей школы «Анналов». Их сближает принятая стратегия исследования — движение от современности вглубь веков, — стратегия, наиболее выразительно представленная в новой интерпретации источников. Историк школы «Анналов» при изучении дескриптивных памятников исходит из гипотезы, согласно которой лежащий перед ним документ — продукт иного, не совпадающего с современным коллективного сознания. Автор (или авторы) памятника по-другому мыслит, руководствуется собственной логикой и набором ассоциаций, связанных с оригинальной системой образов, принадлежащих ушедшей эпохе. Первостепенная задача историка сводится к тому, чтобы раскодировать зашифрованные в тексте ментальности, выявить «внеличные установки сознания», тем самым, приблизившись к пониманию изучаемой исторической реальности.

«Образ мира, — по верному замечанию А. Гуревича, — заданный языком, традициями, воспитанием, религиозными представлениями, всей общественной практикой людей — устойчивое образование, меняющееся медленно и исподволь, незаметно для тех, кто им обладает» [26].

Историк модернизации руководствуется тем же методологическим принципом. Он исследует большие социальные процессы (урбанизацию, индустриализацию и пр.) через призму деятельности людей, которые в своих поступках ориентируются на освоенные ими прежде культурные модели.

Историческая концепция модернизации приписывает культуре приоритетный статус в структуре социальной реальности. Анализ культуры в ее повседневном воплощении приобретает первостепенное значение в историческом исследовании.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Кириллов А., Леднев В., Кириллов Б. Урал в новой России. Екатеринбург, 1999. С. 71—72.
2. История России: вторая половина XIX—XX вв. Екатеринбург, 1995. С. 5.
3. См.: Fischer-Lexikon zur Soziologie. Fr. A/M., 1958. S. 13.
4. Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. С. 151.
5. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 341.
6. Сборник памяти К. Маркса. Вып. 2. М., 1918. С. 41—42.
7. См.: Alexander G. 12 Lectures. Sociological Theory since World War II. N.Y. 1987. P. 70.
8. Wehler H. Modernisierungstheorie und Geschichte. Goettingen. 1975. S. 11.
9. Gerschenkron A. Wirtschaftliche Ruckstandigkeit in historischen Perspective // Theorien des sozialen Wandels. Koln-Berlin. 1970. S. 78—79.
10. Laslett P. The World we have lost. L. 1971.
11. Ласлетт П. История и общественные науки // Историческое образование: смысл, содержание, новое прочтение. Пермь. 1998. С. 21.
12. Энгельс Ф. — Каутскому К. 20.12.1889 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 37. С. 126—127.
13. Zapf W. Modernisierungstheorien // Prismata. Munchen. 1974. S. 312.
14. Bendix R. Modernisierung in internationalen Perspective // Theorien des sozialen Wandels. Koln. 1970. S. 506.
15. См.: Huntington S. The change to change // Comparative politics in the post-behavioral era. Colorado. 1988. P. 360—363.
16. Ионин Л. Социология культуры. М., 1996. С. 11.
17. Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1973. С. 44—45.
18. См.: Зубков К.И. Петровская модернизация как рецепция рационализма (методологический анализ) // Модернизация в социокультурном контексте: традиции и трансформации. Екатеринбург, 1998. С. 64—76.
19. См.: Красильщиков В. Модернизация в России на пороге XXI века // Вопросы философии. 1993. № 7. С. 40.
20. См.: Покровский М.Н. Избранные произведения. Кн. 1. М., 1966. С. 560—591.
21. Stearn P.N. Modernization in Western Society // Introduction to World History. N.Y. 1998. P. 81.
22. См.: Боронников А.Д., Лейбович О.Л. Методология социального знания Макса Вебера // Вестник педагогического опыта. Историческое образование. 1999. Вып. 6. С. 19—23.
23. Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997. С. 45.
24. См.: Парсонс Т. Указ. Соч., С. 21. Подробный анализ взглядов Т. Парсонса см.: Ковалев А.Д. Становление теории действия Т. Парсонса // Очерки по истории теоретической социологии XX столетия. М., 1994.
25. Эйдельман Н. Твой XIX век. М., 1980. С. 6.
26. Послесловие // Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 356.

HISTORICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS OF THE CONCEPT OF MODERNIZATION

The correlation and interaction of sociological and historiographic modifications of modernization paradigm and the limits of its application are discussed in the article. The author argues that this theory focuses historical research at the reconstruction of everyday life of people in the course of transition from traditional society to the industrial one, thus imparting human measurement to economic and political processes.

O.L. Leibovich

О.С. Поршнева

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕНТАЛИТЕТА

Категория «менталитет» относится к числу наиболее многозначных понятий, получивших в научной литературе десятки дефиниций [1]. Мы подразумеваем под менталитетом совокупность базовых психологических и ценностных установок, стереотипов восприятия действительности и представлений, мыслительных привычек индивидов и групп, определяющих их социальное поведение. История изучения менталитета представлена прежде всего трудами зарубежных ученых (М. Блока, Л. Февра, Жака Ле Гоффа, Ж. Дюби, С. Смита и др.), а в последнее десятилетие — и отечественных авторов. Активизировалось исследование проблем становления и эволюции менталитета социальных и этнических групп населения России, сделаны первые шаги в создании собственно исторических работ по этой тематике [2].

Понятие «менталитет» не совпадает с категорией «общественное сознание», более широким духовным явлением, но имеет с ним плоскость пересечения. В отличие от «общественного сознания», «менталитет» своим основанием уходит в подсознательную (бессознательную) сферу человеческой психики, имеет в ней исходный механизм порождения и поддержания ментальных реакций. Представляя собой прежде всего базовые установки, представления и механизмы стереотипных социально-психологических реакций на типичные ситуации — своеобразную «призму» восприятия или «сетку улавливания» действительности сознанием индивида (выявляемую у целой социальной или этнической группы), менталитет не включает в себя всего содержания общественного сознания рассматриваемой общности в ту или иную эпоху. В то же время реконструкция содержания и структуры массового сознания (понимаемого как наличное, реальное общественное сознание) позволяет выявить его приоритеты и таким образом воссоздать проекцию ментальных установок, определяющих доминирование тех или иных представлений, а также преобладание определенных мыслительных конструкций, обусловленных устойчивыми или вновь формирующимися стереотипами. Менталитет проявляется в поведении, в образах, мнениях, чувствах, эмоциях людей, поэтому его невозможно рассматривать в отрыве от анализа социального поведения тех или иных групп, содержания и структуры массового сознания, с одной стороны, и динамических явлений человеческой психики — с другой. Не только стереотипы представлений, но и общественные настроения, слухи, коллективные психические состояния должны стать предметом рассмотрения как формы реакции на различные события, внешние воздействия, преломленные в сознании в соответствии с социальными нормами и ценностями, присущими данной группе.

Понятие «социальное поведение» имеет целый ряд смысловых отличий от категории «деятельность». Господствовавшее в течение длительного времени в отечественной историографии, сложившееся в марксизме понимание деятельности включало представление об осознанном целеполагании как неотъемлемом ее

компоненте. Анализ поведения (в отличие от деятельности) предполагает рассмотрение как осознанных, так и неосознанных (нерефлексируемых или слабо рефлексируемых) форм человеческой активности, реакций на воздействие социальной среды и приспособления к ней. При этом внимание фокусируется не только на активности, направленной на преобразование социальной среды, но и на выработке форм адаптации к ней и обеспечения преемственности социальной и культурной традиции. Понимание закономерностей таких проявлений человеческого существования предполагает изучение менталитета: базовых установок и ценностей, стереотипов мышления и поведения, «социальных рефлексов», присущих большим группам людей. Важно подчеркнуть, что поведение неразрывно связано со знаково-смысловыми системами (языком, одеждой, ритуалом и т.д.), имеет символическую форму выражения, поэтому не может анализироваться в отрыве от нее.

Последнее десятилетие в нашей стране ознаменовалось поиском новых парадигм гуманитарного мышления. Отказ от абсолютизации марксистской методологии и потребности преодоления отрыва отечественной науки от мировой стимулировали активные поиски российских ученых-гуманитариев в области методологии исторического исследования. Происходило осмысление природы кризиса отечественного обществоведения, путей выхода из него, сложности процесса интеграции в мировое исследовательское пространство [3]. Последнее в немалой степени определяется запаздыванием и трудностями процесса критического переосмысления наличного методологического инструментария отечественной исторической науки. Сложность задачи возрастает в связи с тем, что и сама западная гуманистика переживает в конце XX в. серьезный методологический кризис, обусловленный «кризисом рациональности» (имеющим свои причины), наиболее ярким проявлением которого стал постмодернизм, с одной стороны, и естественным процессом концептуального обновления, с другой. По мнению Л.П. Репиной, «с середины 70-х годов наблюдается общая тенденция движения от объективистской к субъективистской концепции науки, от позитивизма к герменевтике, от количественных методов к качественным» [4]. Начало постмодернизму в истории и его широкому распространению в различных странах положили «дискурсы» М. Фуко и «деконструкции» Ж. Деррида [5]. Крайности абсолютизации постмодернистами субъективного характера процесса познания обусловлены недоверием к непосредственным историческим свидетельствам как «фикциям сознания», пониманием истории как игры в языковые стихии, а герменевтики — как способа участия в этой игре [6]. В то же время постмодернизм указал на реальные трудности познания исторической реальности, которая не может быть непосредственно наблюдаемой и измеряемой, дал мощный импульс творческим поискам историков, обратив внимание на дискурсивность социальной реальности и самого процесса исследования, неотделимых от речевых практик, необходимость изучения языка как выразителя, хранителя и транслятора социальных значений, обращения к методам психологии и психоанализа.

Еще в 30-е гг. XX в. основатели «Школы «Анналов» в борьбе с псевдообъективизмом истории подвергли резкой критике методологию позитивизма, разработав новаторскую и во многом перевернувшую историческое познание кон-

цепцию исследования, положившую начало «новой исторической науке». По оценке ее крупнейшего современного представителя, Жака Ле Гоффа, конец XX в. — время складывания новой методологии истории [7]. Он называет целый ряд причин методологического кризиса: окончательное исчерпание познавательного значения позитивизма, дискредитация и догматизация марксистского учения, обнаружение ограниченности возможностей квантитативной истории, переживание переломного этапа в развитии самой «новой исторической науки», которая «ищет ныне новых междисциплинарных контактов с социальными науками и стремится заложить основы компаративистской, глобальной истории» [8].

Как известно, истории, как гуманитарной отрасли знания, постоянно приходится подтверждать свой научный статус. Одним из путей этого является демонстрация способности к постоянному обновлению и критическому пересмотру методологического инструментария, концептуального багажа. Очевидно, что нынешний методологический кризис исторической науки является кризисом роста [9]. Вместе с тем, его глубину и масштабы нельзя недооценивать. А.Я. Гуревич пишет в связи с этим: «Кризис роста, наблюдаемый ныне, выражается не в простом количественном накоплении, а в существенной ломке привычных стереотипов и устоявшихся схем, в назревании глубокой трансформации исследовательских методов и научных подходов. В центре кризиса стоит сам историк: ему предстоит менять свои методологические и гносеологические принципы и ориентации. Обрести эти новые позиции не так-то просто, но от его выбора зависит, в какой мере наша профессия освободится от груза прошлого и будет отвечать коренным запросам человека конца XX — начала XXI века» [10].

В разработке методологии исследования социальных процессов, менталитета и самого этого понятия неоценим вклад представителей Школы «Анналов». Понятие «менталитет» было известно западной науке еще с XIX в. Однако в исторических исследованиях оно было впервые применено именно представителями французской «новой исторической науки» в 30-е гг. XX в. Французские историки М. Блок и Л. Февр, которым принадлежит приоритет в разработке проблем менталитета, совершили, как неоднократно квалифицировался их вклад, поистине «коперниканский переворот» в процессе исторического познания [11]. Новые подходы к истории и профессии историка, провозглашенные и реализованные основателями школы «Анналов», включали установку на исторический синтез, преодоление разрыва между исследованием социальной, экономической и духовной сфер жизни общества путем изучения фундаментальных структур сознания людей минувших эпох, определявших их картину мира, мировосприятие и социальное поведение [12]. В центр исторического исследования был поставлен человек, его представления, страхи, надежды, стереотипы восприятия и модели поведения.

Другим важнейшим аспектом нового подхода стал отказ от повествовательной истории, призыв к постановке проблем и выработке научных гипотез, коренное изменение отношения к объекту исследования. Изучая людей прошлого, утверждали анналисты, мы вступаем в диалог с ними, вовлекающий в историческое исследование как их ценности и другие аспекты сознания, так и систему ценностей историка [13]. К выводу о диалогичности процесса познания неза-

висимо от анналистов и практически одновременно с ними пришел русский ученый М. Бахтин. Он рассматривал процесс познания как бесконечный и незавершимый диалог культур, развертывающийся в «большом времени» — диалог, в котором ни один смысл не умирает и в то же время не остается неизменным [14]. М. Бахтин обосновывал специфику гуманитарного исследования тем, что оно имеет дело не с объектом, а с субъектом, который «как таковой не может восприниматься и изучаться как вещь, ибо как субъект он не может, оставаясь субъектом, стать безгласным, следовательно познание его может быть только диалогическим» [15].

Е.С. Сенявская обратила внимание на близость основного принципа исторической психологии, выдвинутого французскими историками школы «Анналов», и положений ранней философской герменевтики, в особенности «психологической герменевтики» В. Дильтея. На основе идей о «понимании» как способе познания духовных явлений строится метод психологической реконструкции, то есть интерпретация исторических текстов путем воссоздания внутреннего мира их автора, присущего ему мышления, восприятия действительности и т.д. [16].

Подходы к изучению социальной истории, выработанные мировой наукой в 60—80-е гг., ныне требуют корректировки с учетом того вклада, который внес постструктурализм в развитие исследовательского инструментария. На пороге нового столетия, по оценке Л.П. Репиной, взаимопроницаемость разделов и специализаций историографии подходит к самой высокой отметке, и социальные историки, анализируя сложные переплетения экономических, политических, культурных процессов, все чаще ставят перед собой стратегические задачи всеобщей истории [17]. На смену старой «новой социальной истории» приходит новейшая, ориентированная на комплексный анализ субъективного и объективного, микро- и макроструктур в человеческой истории, превращаясь в своей основе в социокультурную в той мере, в какой реализуется ее синтетический потенциал [18].

Методология исследования менталитета базируется на цивилизационном подходе, социокультурной модели исторического объяснения, отрицающей априорную иерархию материальных и идеальных факторов социальной жизни. Особенностью современного цивилизационного подхода является то, что он базируется одновременно на двух эвристических основаниях: классическом (гносеологическом) и жизненном (культуралистском) [19]. «К первому основанию восходит понимание цивилизации как вполне познаваемой структуры, как определенного субъект-объектного отношения, данного в исторических универсалиях (цивилизация как «вторая природа», как процесс универсализации и генерализации культуры и истории, как большая социокультурная общность, обладающая собственной иерархией ценностей и идеалов, как большая традиция, как особая форма структурирования человеческих обществ и истории на основе модели Осевого Времени и т.д.). Ко второму, культуралистскому основанию тяготеют представления о цивилизациях как о целостных феноменах и эпифеноменах мировой истории, представляющих собой принцип упорядочения, сорасчленения и взаимосоизмерения различных продуктов культуры. Эти принципы трактуются онтологически как жизненный процесс, как личностное само-

выражение человека и культуры, постигаемое в жизненной ситуации понимания и переживания или через непосредственную эвристическую практику» [20].

По мнению некоторых исследователей, цивилизационный подход противоречит социокультурному и неприменим к истории России «как мутагенной зоне, расположенной между различными типами цивилизаций и включающей в водоворот культурогенеза отдельные их элементы» [21]. Однако, если исходить из широкого понимания цивилизаций как социокультурных макросистем, обладающих качественной спецификой, цивилизационный подход и в отношении России не противоречит социокультурному, так как качественная специфика выражается по-разному, и незавершенность процессов культурогенеза (характерная на определенных этапах исторического развития не только для России, но и других стран) не может служить основанием для столь резкого их противопоставления (если, конечно, предметом исследования не выступает все социокультурное пространство Российской империи с входящими в него разнообразными этнокультурными образованиями).

Социокультурный подход предусматривает наличие не заданной априори сложной диалектической взаимосвязи различных объективных и субъективных факторов исторического процесса, определяющих социальную жизнь, условия существования и деятельность человека. Историку необходимо на конкретном исследовательском поле установить характер выявленных связей, конфигурацию переплетения и взаимодействия этих факторов, а также те смыслы, которыми люди наполняли свои действия. Мы исходим из того, что история ментальности — неотъемлемая часть социальной истории, поэтому она должна изучаться в широком историческом контексте, на базе анализа структур, процессов и явлений социальной и культурной жизни, посредством реконструкции социального поведения, массового сознания и психологии исследуемых общественных групп. Цель изучения менталитета и социального поведения — «нахождение диалектических взаимосвязей между объективными условиями жизни и способами их осознания» [22]. Исследователь должен ставить задачу обнаружения и многомерного отображения взаимосвязи и взаимообусловленности менталитета и разнообразных форм человеческой деятельности. Изучение проблем менталитета — одно из направлений новейшей социальной истории, для которой характерны междисциплинарные комплексные подходы к постижению исторического прошлого через анализ сознания и поведения людей как действующих субъектов общественного развития.

Методология исследования социальной жизни получила глубокое теоретическое основание в одном из современных достижений исторической эпистемологии — концепции структурации Э. Гидденса [23]. Последняя наиболее адекватно, на наш взгляд, объясняет соотношение социальных структур, процессов и человеческой деятельности. По Э. Гидденсу, момент производства действия является также моментом воспроизводства контекстов повседневной деятельности в социальной жизни. В воспроизводстве структурных качеств агенты воспроизводят и условия, которые делают такое действие возможным. Поток действий непрерывно производит последствия, которые являются ненамеренными, и эти непредвиденные последствия могут также формировать но-

вые условия действия посредством обратной связи [24]. Центральное понятие теории структурации — практическое сознание, связанное со способностью агентов осуществлять рефлексивный мониторинг в ходе повседневной социальной деятельности. Э. Гидденс отмечает, что люди всегда знают, что они делают, и на уровне дискурсивного сознания, при описании. Однако то, что они делают, может звучать иначе в других описаниях, и они могут не знать о тех разветвленных последствиях действия, в которое они включены [25]. Э. Гидденс выступает против объективистских крайностей структурализма, с одной стороны, и ошибок герменевтических подходов, с другой, как редукционистских систем, не учитывающих дуальность структуры, порождаемой человеческими действиями. По оценке Л.П. Репиной, теория структурации по сути является интегральной моделью объяснения, связывающей воедино анализ всех уровней социальной реальности [26].

Реализация подхода, в котором в центре изучения находится человек, невозможна без междисциплинарного синтеза, использования методов и наработок смежных социальных и гуманитарных наук — социальной и исторической психологии, социологии, культурной антропологии, философии, лингвистики. Эти направления гуманистики исследуют сознание и психологию индивидов и групп, их представления, чувства, эмоции, настроения, во многом определяющие поведение, пронизывающие и наделяющие смыслом каждое социальное действие. Признание «методологической всеядности» истории и ее обоснование — не редкость на страницах трудов по методологии исторического познания. Контакты с социальными и гуманитарными науками не только расширяют его возможности, но и модифицируют сам облик истории, дают ей возможность проникать в закрытые для нее зоны знания, использовать новые методы, отражая основные научные парадигмы эпохи, соответствовать запросам и вызовам своего времени [27].

Одной из наиболее значимых теоретических наработок предшественников М. Блока и Л. Февра, повлиявших на становление новой исторической науки и понятия менталитета, была концепция коллективных представлений французского социолога Э. Дюркгейма. Коллективные представления, по мысли Э. Дюркгейма, порождены действиями и противодействиями между элементарными сознаниями, из которых состоит общество, однако прямо из них не вытекают и, следовательно, выходят за их пределы [28]. Наши суждения искажаются бессознательными представлениями, мы видим лишь то, что наши предрассудки позволяют нам видеть [29]. Идеи Э. Дюркгейма и других представителей его школы о том, что существует коллективное сознание социальной группы, качественно отличающееся от индивидуального сознания, и что коллективные представления: мифы, верования, социально-правовые нормы и т.д., —играют ведущую роль в социальной жизни, дав мощный импульс дальнейшим интеллектуальным поискам гуманитарных наук, не утратили своего теоретического значения в исследовании коллективного (традиционного) сознания.

Другой крупный социолог XX в. Питирим Сорокин разрабатывал проблемы сущности менталитета (не употребляя самого термина), а также трансформации психологии и поведения масс, различных социальных групп в переходные эпохи от одного базисного социокультурного строя к другому. Он выдвинул

идею роста, утолщения, оседания и видоизменения с каждым новым поколением социально-психической среды, все в большей степени определяющей жизнь и деятельность последующих поколений [30]. П. Сорокин обосновывал роль войн и революций XX в. в изменении ценностей и поведенческих реакций масс [31]. По мнению социолога, в результате этих катаклизмов произошла дезинтеграция моральных, правовых и других ценностей, которые изнутри контролировали и управляли поведением индивидов и групп [32]. Объясняя эту трансформацию, он отмечал, что совершаемые нами действия не проходят бесследно для нас самих, наши поступки рикошетом видоизменяют нашу душу и наше поведение. Тем более это относится к актам и поступкам, прививаемым войной и революцией. «И война, и революция представляют могучие факторы изменения поведения... Мирная жизнь тормозит акты насилия, убийства, зверства, лжи, грабежа, обмана, подкупа и разрушения. Война и революция, напротив, требуют их, прививают эти рефлексы, благоприятствуют им всячески... Война и революция требуют беспрекословного повиновения (в противовес творчеству, праву и т.п.), душат личную инициативу, личную свободу, прививают и приучают к чисто разрушительным актам, отрывают и отучают от мирного труда... Война и революция выращивают и культивируют вражду, злобу, ненависть, посягательство на жизнь, свободу и достояние других. Следствием войны и революции является «оголение» человека от всего костюма культурного поведения. С него спадает тонкая пленка подлинно человеческих форм поведения, которые представляют нарост над рефлексами и актами чисто животными» [33].

Изучение менталитета, базирующегося на фундаменте бессознательных элементов психики, невозможно без использования достижений аналитической психологии. Важнейшим «прорывом» в этой сфере было открытие швейцарским ученым К.Г. Юнгом коллективного бессознательного. В отличие от трактовки бессознательного З. Фрейдом, оно, в концепции К.Г. Юнга, имеет своим источником не личный опыт человека и его биологические инстинкты, а коллективный психический опыт человечества, который оно приобрело на заре становления своей культуры [34]. Содержанием коллективного бессознательного, по К.Г. Юнгу, являются архетипы — модели инстинктивного поведения [35]. Юнг обратил внимание на возможность активизации тех или иных архетипов при возникновении соответствующих им жизненных ситуаций, а также на опасность приведения в действие скрытых в архетипах взрывных сил, способных привести к коллективным безумствам и массовым неврозам [36]. Массовое расстройство коллективного бессознательного в результате активизации архетипов первобытности, насилия и жестокости Юнг наблюдал у своих пациентов после окончания Первой мировой войны, что привело его к выводу о мутации поведенческих реакций огромных масс людей под влиянием войны, ставшей социально-психологической предпосылкой нового глобального мирового военного конфликта [37].

Культурная, структурная антропология и этнология добились значительных успехов в изучении законов, специфических свойств и форм первобытного мышления, кодов мировосприятия и поведения, лежащих в основе традиционной культуры [38]. Наиболее значимыми из них являются выводы о принципиальном отличии первобытного мышления от современного, о его пралогическом ха-

рактере, неотделимости от эмоций и волевых актов, подчиненности законам партиципации (сопричастности), синкретизме и ритуальности, господстве дуалистического кода мировосприятия посредством бинарных оппозиций, преобладании аскриптивных, партикуляристских и диффузных моделей мотивации [39]. Стереотипы первобытного мышления во многом определяют специфику мировосприятия и модели поведения традиционалистских масс, прежде всего крестьянства. Отмечая значение крестьянской культуры как одного из базисных факторов российской и советской истории, Л. Холмс писал: «социальные историки, учась у культурных антропологов, учитывают народные обряды, обычаи, привычки и представления о мире как феномены, которые обладают своим достоинством и смыслом для тех, кто создал и придерживался их» [40]. Архаичные представления и привычки сознания не исчезают бесследно, сохраняются и у представителей современной культуры. По мнению Л. Леви-Брюля, у людей всегда останется потребность в непосредственном общении с окружающим миром, которое не заменяется чисто научным познанием. Он отмечает, что «наиболее отчетливо потребность в живом общении проявляется в религии и в области моральных понятий и обычаев, где крепче всего удерживаются именно коллективные представления» [41].

Поскольку социокультурные представления, ценности и нормы закреплены в знаках, изучение менталитета невозможно без привлечения методов анализа символических систем, имеющихся в арсенале семиотики. Знаки выполняют роль символов, в которых кодируется информация о мироустройстве в его человеческом восприятии. Благодаря существованию знаковых систем осуществляется трансляция культурного опыта, социальное и культурное взаимодействие в обществе. Культурные значения могут выражаться как с помощью вербальных символов, так и посредством материальных, поведенческих. При этом символы, как отмечал Ю.М. Лотман, представляют собой один из наиболее устойчивых элементов культурного континуума [42]. Семиотический подход к анализу культуры был предложен американским социальным антропологом К. Гирцем, утверждавшим, что формы культуры должны «исследоваться как тексты, как созданный на основе социального материала продукт воображения», а интерпретация культуры должна связывать «действие с его смыслом, а не поведение с его детерминантом» [43]. Отрицая крайности постмодернистского подхода к трактовке языка как самодостаточной системы, историк может плодотворно использовать достижения семиотики в анализе исторических текстов, творящих социальную реальность и одновременно являющихся ее порождением.

Значительный интерес и ценность, на наш взгляд, представляют методологические подходы к анализу символических систем, разработанные Ю. Лотманом [44]. Он отмечает, что стержневая группа символов любой культуры имеет глубоко архаическую природу и восходит к дописьменной эпохе, когда определенные (и, как правило, элементарные в начертательном отношении) знаки представляли собой свернутые мнемонические программы текстов и сюжетов, хранившихся в устной памяти коллектива [45]. Сохраняя смысловую и структурную самостоятельность, символ пронзает синхронный срез культуры по вертикали, приходя из пошлого и уходя в будущее. Константные наборы символов

выполняют тем самым функцию механизмов единства культуры. В то же время природа символа двойственна: с одной стороны, он инвариантен, с другой — активно коррелирует с культурным контекстом, трансформируется под его влиянием и сам его трансформирует [46]. Именно в тех изменениях, которым подвергается «вечный» смысл символа в данном культурном контексте, этот контекст ярче всего выявляет свою изменчивость [47]. Иными словами, в изменениях ментальных структур в наибольшей степени проявляются и закрепляются изменения, произошедшие в других сферах социальной жизни. Ключевым в семиотическом анализе знаковых систем является представление о несовпадении «плана выражения» и «плана содержания» символа или, по терминологии другого выдающегося семиолога Р. Барта, «означающего» (слово, предмет, изображение и т.д.) и «означаемого», «денотативных знаков» и «коннотативных смыслов» [48]. Смысловое содержание символа всегда богаче и шире его конкретной реализации, которая лишь «намекает» на содержание. Задача историка — выявить актуализированный латентный смысл и значение культурных символов той или иной эпохи, общества или социального слоя путем анализа породившего их социокультурного контекста.

Исследование менталитета людей, включенных в исторически сложившиеся определенные социальные группы, невозможно без учета и использования достижений исторической и социальной психологии — научных дисциплин, возникших во второй половине XIX в., а также появившейся во второй половине XX в. этнопсихологии. Выводы о существовании культурно-исторической, этнической и социальной обусловленности психологии индивидов стали основой разработки проблем психического склада, привычек, традиций, обычаев, самосознания, установок, стереотипов восприятия и других относительно стабильных явлений психологии этнических и социальных общностей. Начиная с основателя «психологии народов» В. Вундта, постулировавшего наличие особого психического склада, общих психических черт индивидов, принадлежащих к определенной этнической общности [49], велись активные теоретические разработки в области пересечения подходов и методов исследования психологии и истории [50]. Изучение относительно стабильных явлений социальной психологии тесно смыкается с исследованием менталитета, так как имеет во многом сходный объект (не существующий вне субъекта): установки и стереотипы восприятия, устойчивые модели поведения, неразрывно связанные с эмоциональной сферой и системой ценностных ориентаций индивидов и групп. Некоторые исследователи вообще не различают менталитет и социальную психологию, с чем, однако, вряд ли можно согласиться. Так, А.П. Бутенко и Ю.В. Колесниченко пишут: «... менталитет в каждый конкретный отрезок истории представляет собой совокупность социально-психологических качеств и черт, сумму детерминируемых ими поведенческих реакций, выступающих как определенная целостность (скажем, менталитет американцев, менталитет китайцев и т.п.), проявляющихся во всех сторонах жизнедеятельности данной человеческой общности и составляющих ее индивидов» [51]. Социально-историческая психология, помимо устойчивых социально-психологических качеств и черт, изучает явления психологической динамики, возникающие вследствие коммуникации людей в

больших группах. Они выражаются в возникновении одновременно переживаемых психических состояний: массовых настроений, мнений, слухов, психозов и т.д. Социальная психология, изучая их, рассматривает механизмы действия толпы, принятия и распространения внушенных стереотипов и образцов поведения. Эти массовидные проявления социально-психологической динамики, в отличие от более стабильных социально-психологических явлений, дальше отстоят от понятия менталитета. В то же время их изучение в конкретном социокультурном контексте на базе материала исторических источников способствует выявлению содержания ментальных комплексов и структур психики. Если социальная и историческая психология исследуют прежде всего процессы, а также механизмы возникновения определенных состояний (имеющие характер универсальных психологических закономерностей), то история ментальностей — содержание представлений и установок, обусловленные ими способы социального поведения и социальные практики.

Значительный интерес для исследователя менталитета и социального поведения народных масс на рубеже XIX—XX вв. представляют труды Г. Ле Бона, который одним из первых обратился к этой проблеме. Он пришел к выводу об определяющем влиянии психического склада народа на характер его общественных и политических учреждений. Последние не могут быть, исходя из этого, произвольно изменены народом. «Все, что он может сделать, — писал Г. Ле Бон, — это изменить названия, дать новые имена старым понятиям, представляющим естественное развитие долгого прошлого» [52]. Г. Ле Бон анализировал особенности социальной психологии рабочего класса (на примере парижского пролетариата), его привычки, идеалы, ценности, верования, предрассудки, специфику восприятия социализма. Так, он отмечал, что парижский рабочий постоянно недоволен своим положением, насмешлив, общителен, консервативен, неспособен к фанатичному исповедованию какой-либо идеи, питает неприязнь к буржуа, в то же время имеет буржуазный идеал в виде домика в деревне; доверчив и великодушен, способен к жертвенности, бессознательно почтителен к религии, но охотно смеется над духовенством (которое считает как бы частью правительства); в спорах (неизменно сводящихся к перебранкам и потасовкам) его убеждают не аргументы, а личный престиж оратора; имеет крайне наивные политические понятия, представляя правительство таинственной неограниченной властью, враждебной рабочим и благоприятствующей хозяевам, всякие свои невзгоды связывая с ошибками правительства; то правительство, по его мнению, хорошо, которое покровительствует рабочим, способствует повышению заработной платы и притесняет хозяев [53]. Социалистические идеи рабочих представляют какую-то неопределенную мечту, похожую на мечты первых христиан [54]. Ле Бон полагал, что убеждения масс всегда стремятся принять религиозную форму (человеку нужно верование для машинального направления своей жизни, во избежание всяких усилий, сопряженных с размышлением), а потому и увлечение социализмом выражает потребность в новой вере, способной в новых условиях возобновить прежние обещания [55].

Г. Ле Бон был также одним из первых, кто обратился к научному анализу психологии толпы. Он утверждал, что толпа в своих действиях подчиняется интересам общественным и бескорыстным, в основе коллективной жестокости

часто лежит вера в идею справедливости и потребность в нравственном удовлетворении, волнения толпы имеют под собой прочный фундамент наследственных инстинктов, совокупность которых составляет душу расы [56].

Значительный вклад в разработку психологии масс внес С. Московичи. В его трудах детально разработана теория социальных представлений (которая отчасти продолжает созданную Э. Дюркгеймом концепцию коллективных представлений) [57]. Методологическую значимость для историка имеют такие черты концепции С. Московичи, как признание особой важности социального происхождения этих представлений, убежденности их носителей в их справедливости и принудительного (для индивида) характера [58]. С. Московичи развил взгляды Ле Бона на психологию толпы, доказав, что это человеческая совокупность, обладающая психической общностью, действующая неосознанно; толпа консервативна, несмотря на революционный образ действий, нуждается в поддержке вождя, пленяющего ее своим гипнотизирующим авторитетом [59].

Важной концептуальной наработкой социальной психологии, позволяющей понять механизм трансформации базовых ценностей больших групп людей, и, соответственно, дающей инструмент ее анализа, является теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Она объясняет, почему изменение поведения (отчасти вынужденное) вызывает изменение установок и ценностных ориентиров [60].

Определенное методологическое значение для историка, исследующего ментальный облик масс, имеют также выводы представителей отечественной психологической школы Л.С. Выготского, создателя культурно-исторической теории развития психики [61]. Наиболее важными среди них являются идеи о знаковой опосредованности культурного поведения, а также рассмотрение психики как результата интериоризации внешних условий в структуру индивидуального действия и сознания.

Использование концептуальных наработок социальных и гуманитарных наук позволяет углубить и расширить представления о социальной реальности, комбинировать, в зависимости от изучаемого аспекта человеческого сознания и поведения, системно-структурные, социологические, антропологические, психологические, лингвистические подходы и методы исследования исторического материала. В то же время изучение истории менталитета, несмотря на междисциплинарный характер проблемы по самой ее сути, должно, на наш взгляд, реализовываться в первую очередь посредством проведения конкретно-исторических исследований, опирающихся на серьезную источниковую базу. Исходя из этого, оно должно основываться прежде всего на выработанных в исторической науке методах исследования, таких как типологический, генетический, сравнительный, системно-структурный. Плюрализм методов и приемов исследования определяется также типом и характером исторических источников. Принцип изоморфности источниковедческой базы предмету исследования и выбору методов работы с источниками признан специалистами в настоящее время чрезвычайно перспективным [62].

Важнейшая роль в комплексе методов изучения проблем менталитета принадлежит системно-структурному подходу. Он предполагает исследование явлений и процессов на уровне взаимосвязей и взаимозависимостей между важнейшими

определяющими их факторами на конкретный момент (структурный подход) и в динамике (системный подход) [63]. Структурообразующими элементами менталитета являются установки, лежащие в основе концепции мироздания, системы фундаментальных ценностей и представлений об истине (аксиомы сознания, мыслительные стереотипы), определяющее отношение к власти, религии, труду, Родине, собственности и т.д. Изменение элементов этой системы, являющихся модификациями базовой структуры, определяется взаимодействием ее компонентов с разнообразными факторами и влияниями социальной среды. Наиболее плодотворным из представленных в литературе вариантов структурирования понятия «менталитет», позволяющих разработать алгоритм исследования этого феномена, является, на наш взгляд, подход, в основе которого лежит выделение картины мира, стиля мышления и кодекса поведения как составляющих его компонентов [64]. В рамках этого подхода определяются функциональное содержание, характер и назначение различных априорных представлений, установок восприятия, мыслительных стереотипов, входящих в состав основных компонентов менталитета, области их взаимных пересечений. Такие теоретические наработки существенно углубляют представления о природе и сущности менталитета.

Изучение общественных явлений, находивших отражение в массовых источниках, предусматривает использование количественных методов, «изоморфных» характеру и самого явления, и источника. Принципиальную возможность количественного измерения качественных признаков исторических явлений и процессов обосновал И.Д. Ковальченко, отмечавший, что «посредством счета могут измеряться любые качественные признаки в каких угодно совокупностях объектов, зафиксированные как в отдельных видах источников, так и в различных их совокупностях» [65]. Он также показал, что при изучении массовых явлений и процессов исторического развития без такого измерения невозможно обойтись, ибо только оно может дать не отдельные примеры, а систему количественных показателей о тех или иных свойствах этих явлений и процессов [66]. Возможность описания закономерностей массового сознания определяется наличием достаточно большого количества серийных источников личного и коллективного происхождения (наказов, приговоров, писем, телеграмм, материалов периодической печати и т.д.). При их исследовании правомерно применение квантитативных методов (контент-анализа, многомерного статистического анализа). Важнейшим компонентом такого исследования должно быть обоснование репрезентативности используемых единиц наблюдения (выборочной совокупности) по отношению к общей (генеральной) совокупности данного вида массовых источников, как адекватному выражению ее свойств.

Значительные перспективы в изучении менталитета отдельных личностей и социальных групп связаны с возможностями измерения качественных признаков при исследовании сложных явлений общественной жизни, зафиксированных в нарративных исторических источниках. Здесь может быть реализован продуктивный синтез количественных и семантико-семиотических подходов. В целом, ценность использования методов количественного исследования массовых и индивидуальных нарративных источников определяется возможностью выявления новой, «скрытой» информации, недоступной при проведении обычного текстуального анализа.

В заключение хотим подчеркнуть, что ключ к изучению менталитета и социокультурной истории в целом, по нашему глубокому мнению, — в комплексном анализе социальных, психологических и лингвистических явлений и процессов. Историческая наука в изучении прошлого должна опираться на реконструкцию социальных и культурных практик, в значительной степени обусловленных ментальностями.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: 50/50: Опыт словаря нового мышления. М., 1989. С. 454—463; Пушкарев Л.Н. Что такое менталитет? Историографические заметки // Отечественная история. 1995. № 3. С. 159—163.

2. См.: Русская история: проблемы менталитета. М., 1994; Лурье С.В. Метаморфозы традиционного сознания. Опыт разработки теоретических основ этнопсихологии и их применения к анализу исторического и этнографического материала. СПб., 1994; Буховец О.Г. Социальные конфликты и крестьянская ментальность в Российской империи начала XX века: новые материалы, методы, результаты. М., 1996; Менталитет и аграрное развитие России (XIX—XX вв.). М., 1996; Менталитет и политическое развитие России. М., 1996; Поршнева О.С. Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат России в период Первой мировой войны (1914 — март 1918 г.). Екатеринбург, 2000; и др.

3. Гуревич А.Я. О кризисе современной исторической науки // Вопросы истории. 1991. № 2—3; Актуальные проблемы теории истории. Материалы «круглого стола» (12 января 1994 г.) // Вопросы истории. 1994. № 6; Герасимов И.В. В поисках новой модели историографии // Историческая наука в меняющемся мире. Вып. 2. Историография отечественной истории. Казань, 1994. С. 28—34; Буховец О.Г. Указ. соч. С. 14—116; Следзевский И.В. Эвристические возможности и пределы цивилизационного подхода // Цивилизации. М., 1997. Вып. 4. С. 7—19; Репина Л.П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы социальной истории (Часть I) // Социальная история. Ежегодник, 1997. М, 1998. С. 11—52; Она же. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы социальной истории (Часть II) // Социальная история. Ежегодник, 1998/99. М, 1999. С. 7—38; Соколов А.К. Социальная история России новейшего времени: проблемы методологии и источниковедения // Там же. С. 39—76; Проблемы исторического познания. М., 1999.

4. Репина Л.П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы социальной истории (Часть I). С. 26.

5. См.: Соколов А.К. Указ. соч. С. 46—49.

6. Там же. С. 47—49.

7. Ле Гофф Ж. С небес на землю. (Перемены в системе ценностных ориентаций на христианском Западе XII—XIII вв.) // Одиссей. Человек в истории. Культурно-антропологическая история сегодня. М., 1991. С. 25.

8. Там же.

9. Актуальные проблемы теории истории. Материалы «круглого стола» (12 января 1994 г.) // Вопросы истории. 1994. № 6. С. 46.

10. Гуревич А.Я. О кризисе современной исторической науки. С. 35.

11. Там же. С. 30.

12. См.: Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 25—27; Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1986. С. 82—88; Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993. С. 15—25.

13. Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». С. 15; О кризисе современной исторической науки. С. 30—31.

14. Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. 2-е изд. М., 1986. С. 392—393.

15. Там же. С. 383.

16. Сенявская Е.С. Психология войны в XX веке: исторический опыт России. М., 1999. С. 24—25.

17. Репина Л.П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы социальной истории (Часть II). С. 38.

18. См.: Там же.

19. Следзевский И.В. Указ. соч. С. 10.

20. Там же.

21. Булдаков В.П. 1917 год: взрыв на стыке цивилизаций // Историческая наука в меняющемся мире. Вып. 2. Историография отечественной истории. Казань, 1994. С. 5.

22. Репина Л.П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы социальной истории (Ч. I). С. 21.

23. См.: Гидденс Э. Элементы теории структурации // Современная социальная теория: Бурдьё, Гидденс, Хабермас. Новосибирск, 1995. С. 40—71.

24. Там же. С. 61—62.

25. Там же. С. 44, 62.

26. Репина Л.П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы социальной истории (Ч. II). С. 26—27.

27. Савельева И.М., Полетаев А.В. Микроистория и опыт социальных наук // Социальная история. Ежегодник, 1998/99. С. 105.

28. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995. С. 233.

29. Там же. С. 229.

30. Сорокин П. Общедоступный учебник по социологии. Статьи разных лет. М., 1994. С. 175.

31. См.: Там же. С. 458—460; Сорокин П. Главные тенденции нашего времени. М., 1993. С. 29—30.

32. Сорокин П. Главные тенденции нашего времени. С. 29—30.

33. Он же. Современное состояние России // Общедоступный учебник по социологии. С. 458—459.

34. См.: Юнг К.Г. Понятие коллективного бессознательного // Сознание и бессознательное: Сб. СПб., 1997. С. 69—79.

35. Там же. С. 70—71.

36. См.: Юнг К.Г. Сознание и бессознательное. Сб. С. 76.

37. Первая мировая война. Пролог XX века. М., 1998. С. 8.

38. См.: Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994; Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1983; Он же. Первобытное мышление. М., 1994; Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983; Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.

39. См.: Леви-Брюль Л. Указ. соч. С. 56—113, 333—347; Человек в контексте культуры. Введение в социокультурную антропологию. Саратов, 1997. С. 50—56; Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 1996. С. 37.

40. Холмс Л. Социальная история России: 1917—1941. Ростов-на-Дону, 1994. С. 23.

41. Цит. по: Человек в контексте культуры. С. 55.

42. Лотман Ю.М. Символ в системе культуры // Символ в системе культуры. Труды по знаковым системам. Тарту, 1987. Вып. XXI. С. 12.

43. Смит С. Постмодернизм и социальная история на Западе: проблемы и перспективы // Вопросы истории. 1997. № 8. С. 155.

44. См.: Лотман Ю.М. Указ. соч.; Лотман Ю.М., Успенский Б.А. О семиотическом механизме культуры // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Таллинн, 1993. Т. III.
45. Лотман Ю.М. Символ в системе культуры // Символ в системе культуры. Труды по знаковым системам. Вып. XXI. С. 11.
46. Там же. С. 12.
47. Там же.
48. См.: Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 16—17, 79.
49. См.: Вундт В. Проблемы психологии народов. М., 1912.
50. См.: Шкуратов В.А. Историческая психология. 2-е, переработ. изд. М., 1997; Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. Изд. 2-е, доп. и испр. М., 1979; История и психология. М., 1971; Сикевич З.В. Национальное самосознание русских (Социологический очерк). М., 1996.
51. Бутенко А.П., Колесниченко Ю.В. Менталитет россиян и евразийство: их сущность и общественно-политический смысл // Социс. 1996. № 5. С.94.
52. Ле Бон Г. Психология социализма. 2-е изд. СПб., 1908. С. 46.
53. Там же. С. 52—56.
54. Там же. С. 55.
55. Там же. С. 86—87.
56. Там же. С. 97—98.
57. См.: Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. М., 1996. С. 7.
58. Там же.
59. Там же. С. 13.
60. См.: Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1997. С. 178—194.
61. См.: Выготский Л.С. Собр. соч. М., 1982—1984. Т. 1—6.
62. Соколов А.К. Указ. соч. С. 76.
63. См.: Массовые исторические источники (определение, классификация, методы исследования). Свердловск, 1991. С. 17—18.
64. Усенко О.Г. К определению понятия «менталитет» // Русская история: проблемы менталитета. М., 1994. С. 3—7.
65. Количественные методы в исторических исследованиях. М., 1984. С. 38.
66. Там же.

ABOUT METHODOLOGY OF HISTORICAL RESEARCH IN MENTALITY

The article discusses methodological possibilities of historical research in mentality in correlation with social conduct. The author's understanding of mentality is offered which is compared to the «public consciousness» category. The author inventories methodological results of analysis of mentalities realized within the framework of different disciplinary and theoretical perspectives, and evaluates a degree of their applicability in historical research. As a perspective direction for enquires into mentality, a complex analysis of social, psychological and linguistic phenomena is considered.

O.S. Porshneva

В.Д. Камынин

ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ В КОНЦЕ 80—90-х гг. XX СТОЛЕТИЯ

В условиях идеологического монополизма в советский период развития исторической науки разработка методологических и теоретических вопросов была привилегией столичных научных и учебных заведений. Лишь немногие провинциальные центры занимались их трактовкой, предпочитая ведение конкретных исторических исследований. К таким центрам относились Томск, Саратов, Калинин, Днепропетровск и некоторые другие города. Для остальной провинциальной историографии было характерно только комментирование тех теоретических положений, которые спускались сверху. Феномен уральских и сибирских историков, входивших в 50—80-е гг. в «новое направление», был скорее исключением, которое подтверждало общее правило.

Положение в области изучения и разработки теоретических и методологических проблем провинциальными историками коренным образом стало меняться во второй половине 80-х гг., когда разразившийся кризис советской исторической науки сделал вопросы методологии и теории отечественной истории чрезвычайно актуальными. На активизацию исследований в данной области повлияло несколько причин. Во-первых, было ослаблено идеологическое руководство исторической наукой и сняты цензурные ограничения, которые регламентировали, кому чем дозволено заниматься. Во-вторых, «сверху» было спущено разрешение всем историкам включиться в перестройку исторической науки, которая понималась в том числе как ликвидация «зон, закрытых для мысли». В третьих, в условиях гласности были реабилитированы имена «инакомыслящих» советских историков и выдвигаемые ими ранее концепции. В-четвертых, достоянием исторической науки в нашей стране стала зарубежная историография, обогатившая отечественную науку новейшими концепциями и методологическими подходами.

За прошедшее десятилетие заметно возрос вклад провинциальных историков в решение важнейших вопросов, стоящих перед исторической наукой, повысилась их активность в постановке принципиальных методологических и теоретических проблем. Особенностью современного этапа развития исторической науки является то, что именно провинциальные историки проделали большую работу по обобщению опыта, накопленного отечественными исследователями в области теории и методологии исторических исследований за последние полтора десятка лет. В данной статье речь пойдет об изучении вопросов методологии истории и использовании новых концептуальных подходов к отечественной истории исследователями Уральского региона и примыкающих к нему территорий.

Перестройка провинциальной исторической науки началась несколько позже, чем в центре, но шла в русле общероссийских процессов. К призывам о необходимости переосмысления отечественной истории, которые раздавались из центра, провинциальные историки стали подключаться на рубеже 80—90-х гг.

Всю литературу, выпущенную провинциальными исследователями за последнее десятилетие XX в. по вопросам методологии и теории исторической науки, можно условно разделить на несколько групп. В иссследованиях Е.Б. Заболотного, В.Д. Камынина, В.С. Прядеина была сделана попытка дать развернутую характеристику современного этапа развития исторической науки в нашей стране и проанализировать пути обновления и распространения в отечественной историографии новых методологических и концептуальных подходов [1]. Ряд специальных работ был посвящен рассмотрению понятия «кризис современной исторической науки» [2]. В работах Т.С. Васильевой и С.А. Гомаюнова были предложены новые представления о функциях исторической науки, ее месте в процессе обновления исторического знания [3]. Большая часть литературы была посвящена разработке новых методов исторического исследования и практическому применению новых концептуальных подходов к региональной истории.

Провинциальные авторы при характеристике современного этапа развития исторической науки исходили из понятия «кризис современной отечественной исторической науки». Они попытались определить его основные черты, его истоки и отличия или сходства его с кризисом западной исторической науки. В развернувшейся дискуссии об истоках кризиса советской исторической науки высказывались различные точки зрения о причинах кризисных явлений.

В.С. Прядеин высказал мнение, что кризис западной науки проходил в условиях методологического плюрализма и был порожден именно существованием в ней множества школ и ответвлений, что и привело к необходимости создания «собственной синтетической теории истории», которая бы «сбалансировала разросшуюся специализацию и широкий аналитический подход». В отличие от зарубежной историографии, кризис отечественной науки был спровоцирован как раз отсутствием условий для методологического плюрализма [4].

Е.Б. Заболотный и Т.Н. Кондратьева, напротив, полагают, что кризисные явления затронули мировую и российскую науку практически одновременно. В советской исторической науке они стали ощущаться еще во времена хрущевской «оттепели» и явились следствием влияния на нее западной историографии. Авторы пишут, что именно в «славное хрущевское десятилетие» в советской исторической науке стало складываться «новое направление», получившее в западной историографии это наименование, выдвинувшее теорию многоукладности, которая «наряду с теорией «азиатского способа производства» поставила под сомнение универсальность формационной концепции исторического процесса» [5]. Автор данной статьи также уже отмечал, что «именно «новая историческая наука» сыграла огромную роль в начавшемся обновлении советской исторической науки во второй половине 80-х — начале 90-х гг.» [6].

Историки выразили различные мнения и о сути переживаемых исторической наукой кризисных явлений. В.Ф. Мамонов считает, что «прежде всего это кризис наиболее общих концепций, объясняющих мир. За последнее десятилетие фактически рухнуло то, казавшееся незыблемым, здание, в возведение и укрепление которого историки, так же как и гуманитарии вообще, внесли немалую лепту. Важнейшей особенностью этого кризиса является, на наш взгляд, то, что это, строго говоря, не крах научного направления, которое опровергнуто какими-

то теоретическими выкладками представителей другого направления и признало научную несостоятельность своих теорий. Дело не в том, что опровергнута научная доктрина, а в том, что общество, написавшее на своих знаменах приверженность к доктрине, развалилось и перестало существовать» [7].

По мнению В.В. Паникаровского, суть сегодняшнего состояния исторической науки заключается, «если выразить это коротко, то — в «неопределенности» как в теории, так и в методологии исследования. Период перестройки поставил перед отечественными историками задачу переосмысления истории. Лейтмотив ее переосмысления заключается в поиске правды в истории, но и здесь ученые сталкивались с проблемой: какой должна быть эта правда, ведь вся наша история переписывалась в угоду той или иной политической ситуации» [8].

На рубеже 80—90-х гг. в провинциальной исторической науке начались поиски новых концепций объяснения отечественной истории. Именно в это время наконец появилась возможность обсудить вопрос о ленинском теоретическом наследии и о его дальнейшем применения для изучения отечественной истории. В 1990 г. в Свердловске на научной конференции прошло обсуждение этой проблемы [9]. С одной стороны, участники обсуждения отмечали, что «стремительная и крутая ломка многих устоявшихся стереотипов закономерно усилила потребность в прочном историческом ориентире, актуализировала лозунг возврата к ленинизму, на новой основе привлекла внимание к богатству и тонкостям ленинского наследия» [10]. В то же время подчеркивалось, что к ленинскому теоретическому наследию нельзя подходить догматически, нужно видеть эволюцию во взглядах В.И. Ленина на отечественную историю и не нужно бояться обнаружения в них противоречий и даже ошибочных воззрений, которые не прошли проверку временем [11].

В исторической и философской литературе того времени развернулась дискуссия о пределах критики марксизма-ленинизма. Ряд уральских авторов продолжал настаивать на том, что марксизм-ленинизм далеко не исчерпал свои возможности объяснения отечественной истории. В работе Ю.Г. Ершова отстаивалась необходимость именно формационного подхода к изучению исторического процесса [12]. По мнению В.И. Копалова, марксистско-ленинский принцип историзма, так же как и сама материалистическая диалектика, должны продолжать оставаться общеметодологическими принципами исторического познания [13].

При обсуждении возможности использования ленинского теоретического наследия при изучении отечественной истории А.В. Бакунин высказал мысль о том, что выход может быть найден в очищении марксизма-ленинизма от наслоений сталинизма. Этот автор в начале 90-х гг. еще не подвергал сомнению верность марксистско-ленинской концепции советского общества и делал упор именно на критику сталинских оценок ее отдельных аспектов [14].

Отголоски этой дискуссии ощущались и в дальнейшем. В самом конце 90-х гг. В.В. Паникаровский пишет, что «на вопрос о том, есть ли будущее у материалистической концепции в истории, однозначного ответа нет, так как теория, написанная в XIX веке, явно требует переосмысления, хотя уже сейчас некоторые ее выводы с оговорками можно с успехом применять к исследованию истории ряда государств. А идея зависимости базиса и надстройки видна на примере истории современной России» [15].

Возвращение к «незамутненным ленинским истокам» в начале 90-х гг. позволило историкам заметить, что историческая наука в нашей стране утратила свою прогностическую функцию и ее требуется восстановить. Историки в то время полагали, что могут помочь стране выбраться из всеобъемлющего системного кризиса путем обращения внимания ее руководителей на исторический опыт решения экономических, социальных и прочих проблем. В трудах некоторых советских историков на рубеже 80—90-х гг. уже обобщался исторический опыт регионального развития на примере решения некоторых народохозяйственных проблем [16]. Однако исследование исторического опыта в то время не выходило за рамки простого обобщения конкретного исторического материала. Дело заключалось в том, что «вопрос об опыте как предмете конкретно-исторического исследования, а, следовательно, как категории исторического познания, был слабо разработан в советской историографии» [17]. Различные авторы вкладывали в понятие «исторический опыт» разное содержание и не могли договориться по важнейшим теоретическим вопросам методологии и методики извлечения исторического опыта.

Большой вклад в разработку содержания этого понятия и методики его применения в историческом исследовании внес В.В. Алексеев [18]. С целью повышения теоретического уровня исследований исторического опыта возглавляемый им Институт истории и археологии УрО АН СССР в октябре 1990 г. провел в Свердловске Всесоюзную научную конференцию «Методология, историография и источники изучения исторического опыта регионального развития». В выступлениях участников конференции настойчиво проводилась мысль, что «именно исторический опыт может стать наиболее адекватным средством всякого серьезного исторического выбора» [19].

Именно над разработкой теоретических аспектов извлечения исторического опыта стали трудиться уральские историки в начале 90-х гг. Академический Институт истории и археологии разработал целевую программу «Исторический опыт регионального развития. Урал и сопредельные территории». Она состояла из пяти основных блоков, посвященных обобщению исторического опыта демографического развития, сферы материального производства, духовного потенциала, социальной сферы и сферы социально-политической регуляции. По утверждению руководителя программы академика РАН В.В. Алексеева, исторический опыт отличается от традиционного исторического знания тем, что, «имея единое объективное основание в историческом процессе, они предполагают различные подходы к его осмыслению. Если последовательно описывать всю совокупность сведений по какой-то эпохе, то получится историческое знание о ней, но из него трудно извлечь практически полезную информацию. Если же попытаться ретроспективно оценить прошлое явление, особенно его альтернативные варианты, соотнести их с последующим развитием и современным состоянием, то проявятся определенные закономерности, которые можно использовать как исторический опыт» [20].

В начале 90-х гг. исследования по извлечению исторического опыта развития Урала и сопредельных территорий были значительно расширены [21].

По мере радикализации политической жизни в стране началось размежевание в среде провинциальных историков. Критика наиболее одиозных положе-

ний марксизма-ленинизма вызывала вопрос о том, чем их заменить. Часть историков считала, что их необходимо заменить теми теориями, которые уже существовали в советской исторической науке, но были осуждены официальной идеологией как антиленинские. В связи с реабилитацией «нового направления» на Урале активно обсуждались вопросы о возможности использования его наследия в переосмыслении отечественной истории. Особое место было уделено анализу творчества В.В. Адамова, который на уральском материале пытался проводить в своих произведениях идеи, противоречащие официальной исторической науке, и поэтому считался инакомыслящим историком [22].

На научных чтениях в Екатеринбурге, посвященных 80-летию со дня рождения известного уральского историка В.В. Адамова, входившего в период «оттепели» в «новое направление», обсуждалась проблема использования наследия историков «нового направления» в современной исторической науке. По данному вопросу на конференции произошла дискуссия. С.Я. Бугаева считала, что идеи историков «нового направления» в 90-е гг. XX в. являются чрезвычайно актуальными. По ее словам, «научные поиски отечественных историков в 60—70-х гг. выводили отечественную гуманитарную науку на европейский уровень, способствовали созданию отечественного варианта теорий модернизации. Будучи пресеченным в самом начале своего развития, «новое направление» тем не менее имеет методологические и конкретно-исторические достижения, которые стали фундаментом для современного переосмысления исторического процесса» [23].

Е.Б. Заболотный и В.Д. Камынин, проследив судьбу историков и идей, которые развивали «новое направление», напротив, высказали мысль об их невостребованности в современный период развития исторической науки. Они писали, что, несмотря на восстановление доброго имени историков «нового направления» в период перестройки, оно произошло лишь внешне. Парадокс ситуации заключался в том, что «в период перестройки произошла переоценка ценностей в нашей истории и те, кто были во времена застоя под ударом, сейчас оказались в числе защитников социализма» [24].

Другая часть историков полагала, что марксизм-ленинизм необходимо заменить западными концепциями. Провинциальные историки немало сделали для популяризации достижений зарубежной историографии. В работах В.В. Алексеева, К.И. Зубкова, К.В. Ломакина, П.Э. Падалко, В.В. Широгорова и др. исследователей именно в это время наметился поворот от огульной критики буржуазной советологии к использованию того рационального, что в ней содержалось, для изучения отечественной истории [25]. В.Э. Лебедев представил системный анализ развития зарубежной и отечественной философско-исторической мысли от истоков ее возникновения вплоть до эпохи постмодерна [26].

Однако сама западная историография была неоднородной в плане освещения советской истории. Часть провинциальных историков отдало свои предпочтения таким теориям, как французская школа «Анналов» или западная школа квантиметрии. Идеи этих теорий проникали в советскую историческую науку и ранее, правда в скрытой форме. В последнее десятилетие XX века влияние этих теорий проявилось прежде всего в усилении в рамках провинциальной истори-

ской науки культурологической направленности. Это сказалось как в культурологическом осмыслении традиционных проблем региональной истории [27], так и в широком обсуждении теоретических аспектов культурологического подхода. Во время «круглого стола» по проблемам истории советской культуры затрагивались теоретические представления о понятии «культура» и его применении к истории России XX в. [28]. Второй выпуск «Уральского исторического вестника», издаваемого Институтом истории и археологии УрО РАН, был полностью посвящен изучению культуры провинциальной России. Стали исследоваться проблемы менталитата различных групп населения Урала [29].

Одновременно историки попытались обновить методический инструментарий исторических исследований. Это привело к широкому введению в научный оборот массовых источников и использованию при их изучении методов количественного анализа. Сложилась группа исследователей, которая под руководством Т.И. Славко подготовила ряд изданий по внедрению количественных методов в исследования по истории Урала [30]. Уральские историки были широко представлены на Всесоюзных и Всероссийских конференциях по использованию новых методов исторических исследований [31]. В.П. Мотревич применил статистический метод при обработке валовых показателей развития сельского хозяйства Урала [32]. Стали раздаваться призывы к развитию междисциплинарных связей и применению в исторических исследованиях методов из арсенала не только других гуманитарных, но и естественных наук. С.А. Нефедов использовал методы демографического анализа к выявлению закономерностей развития исторического процесса [33]. В соавторстве с Б.В. Личманом и В.В. Запарием им была предложена технологическая интерпретация новой истории России [34].

Заметное влияние на историков в то время оказала синергетика — научное направление, изучающее связи между элементами структуры (подсистемами), образующимися в открытых системах. Данное направление широко использовалось в таких естественных науках, как биология, физическая химия и др. Ряд исследователей попытался применить методы синергетики к изучению отдельных вопросов отечественнной истории. По мнению Н.Н. Метельского, «синергетика отрицает ряд ключевых положений марксизма: что революция всегда является орудием прогресса; что формации сменяют друг друга поступательно, как более прогрессивные формы. Меняется само понятие прогресса. К его основным функциям относится внедрение новых технологических процессов, позволяющих за счет увеличения энергетических связей усложнять системы и менять социальную структуру общества» [35]. Он применил этот метод для оценки существования в первые годы советской власти простейшей кооперации. А.А. Гомаюнов, используя синергетическую парадигму, попытался подсказать историкам выход из формационной концепции советского общества, охарактеризовав его как дихотомию система-антисистема [36].

Хорошее знание зарубежной историографии позволило уральским историкам начать серьезную работу по применению сравнительно-исторического (компаративистика) метода изучения промышленного развития региона [37]. В работах В.В. Алексеева, Д.В. Гаврилова, К.И. Зубкова, В.И. Михайленко, В.П. Тимошенко был применен геополитический метод в исследовании отечественной истории [38].

Если ранее геополитические исследования отвергались советскими историками как ненаучные, служащие оправданию внешних захватов, то в 90-е гг., благодаря им, удалось получить более адекватное представление о месте Уральского региона не только в пространственной структуре России, но и в контексте глобальной истории. При этом оказалось, что обсуждение данного вопроса возможно на основе учета не только экономических параметров, но и многих других.

По утверждению К.И. Зубкова, «значение геополитического метода для исторических исследований определяется тем, что предмет геополитики в одном из своих крайних сегментов охватывает совокупность базисных характеристик общества, принимаемых за относительно неизменные природно-географические константы (географическое положение, климат и ландшафт, конфигурация территории, ресурсная база, народонаселение), другим — проникает на уровень субъективной «психоистории», анализирующей мотивационные механизмы выбора пространственных приоритетов и принятия геостратегических решений, влияющих на весь политико-экономический курс государства. Между этими двумя «полюсами» предметного поля, подобно системе сообщающихся сосудов, и должен мыслиться составляющий квинтэссенцию геополитики механизм трансформации географических императивов в политические концепции» [39].

В.И. Михайленко подчеркивает, что как отрасль научного знания геополитика имеет свои особенности методологических подходов и понятийный, и категориальный аппарат. Он пишет: «Как наука, геополитика направляет свое внимание на раскрытие и изучение возможностей активного использования политикой факторов физической среды и воздействия на нее в интересах военной, экономической и экологической безопасности государства. В сферу практической геополитики входит все, что связано с территориальными проблемами государства, его границами, с рациональным использованием и распределением ресурсов, включая людские. Как часть философии истории, геополитика объясняет исторический процесс, полностью исключая из него факторы человеческого духа. А если и касается, то только в качестве объекта, определяемого внешними обстоятельствами, прежде всего географической средой» [40].

Привлекли внимание уральских исследователей распространенные на Западе теории модернизации, которые были применены к изучению различных проблем истории России. Решающий вклад в адаптацию к современным реалиям и в творческое развитие модернизационной парадигмы внес коллектив Института истории и археологии УрО РАН под руководством академика РАН В.В. Алексеева [41]. По мнению сторонников данного подхода, «XVII—XX вв. мировой истории прошли под знаком модернизации, понимаемой нами как всеобъемлющий процесс инновационных мероприятий при переходе от традиционного к современному обществу, который, в свою очередь, может быть представлен как совокупность подпроцессов: индустриализации, урбанизации, демографического роста, эрозии традиций, бюрократизации, профессионализации и т.д.» [42].

Часть провинциальных историков позаимствовала из западной историографии либеральные идеи. Были сделаны попытки рассмотрения истории Урала с точки зрения цивилизационного подхода [43], в т. ч. «евразийской» концепции об «особом пути» развития России [44].

Под влиянием западной историографии провинциальные историки в 90-е гг. стали активно разрабатывать проблемы советского тоталитаризма. Впервые о возможности переосмыслении концепции советской истории с позиций советского тоталитаризма широко говорилось на конференциях в Тюмени [45], на которых уже историки не только ставили проблемы, которые были запретными в рамках советской историографии, но использовали такие новые подходы к изучению истории советского общества. Для обмена мнениями по этим вопросам в различных городах Урала (Перми, Челябинске, Екатеринбурге) были проведены конференции по проблемам тоталитаризма [46]. Обобщающие работы по истории России, написанных с позиций тоталитарной школы, подготовил А.В. Бакунин [47]. Его концепция советского тоталитаризма была такова: «в России основы тоталитаризма, так называемой «советской государственной машины» были заложены в первые годы большевистского правления (до начала восстановительного периода), на базе которых в 20-е гг. шел процесс его становления, 30—40-е гг. характеризуются безраздельным господством сталинского тоталитарного режима, которое в 50-е — 80-е гг. сменяется стагнацией и в начале 90-х гг. его крушением» [48].

В связи с освоением концепции «советского тоталитаризма» провинциальные историки стали активно обсуждать проблему о месте интеллигенции в идейной борьбе в период советского общества. В.Л. Соскин высказал свои соображения о месте культуры в системе тоталитарного государства. Он писал, что «утверждение относительно советского тоталитарного прошлого означает, что культура не могла не быть тоталитарной. Мыслимо представить даже не исключения из правила, а лишь нюансы тоталитарной специфики в отдельных отраслях культуры. В том и заключается принцип тоталитарности, что он почти не знает компромиссов, не допускает отклонений от всемогущих «установок»» [49].

Впоследствии именно теоретические проблемы формирования и судеб интеллигенции в истории XX в. стали одним из магистральных направлений работы уральских историков [50]. Особенно интересовали историков проблемы взаимоотношения интеллигенции и власти, репрессивной политики советского государства по отношению к представителям интеллигенции [51]. А.И. Прищепа выпустил книгу по истории инакомыслия на Урале в послевоенный период советской истории [52]. В работе А.Д. Кириллова, В.П. Леднева, Б.А. Кириллова раскрыто содержание воззрений отечественных мыслителей XX столетия на отечественную историю, которое полностью игнорировалось в период господства марксисткой концепции [53].

Размежевание историков вызвало желание некоторых провинциальных авторов задуматься над проблемами научного плюрализма. В.С. Прядеин проповедует эту идею в области методологических исследований, говоря о необходимости синтеза различных методологических подходов [54]. Б.В. Личман настаивает, чтобы этот принцип был положен в основу школьных и вузовских учебников по отечественной истории [55]. По нашему мнению, во второй половине 1990-х гг. отечественная историография подошла к воплощению в жизнь принципа методологического и научного плюрализма.

Таким образом, в последнее десятилетие XX в. провинциальная историческая наука поднялась на более высокий теоретический и методологический уро-

вень. Заслугой развития исторической науки в регионах является появление большого количества методологической литературы, чего не было ранее в советские времена. Эволюция теоретических и методологических представлений провинциальных историков проходила хотя и с некоторым запозданием, но по тем же законам, что и в исторической науке в нашей стране в целом. Огромное влияние на обновление методического и концептуального арсенала оказала западная историография. Использование различных западных теорий привело к тому, что в провинциальной науке произошло размежевание историков на различные направления, каждое из которых исповедует свои теоретико-методологические и идейно-политические позиции. Отечественные историки привыкают в преддверии третьего тысячелетия жить в условиях научного плюрализма.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: Прядеин В.С. Историческая наука в условиях обновления: философские основы, принципы познания и методы исследования (историографический анализ). Екатеринбург, 1995; Камынин В.Д. Методологические проблемы современной исторической науки // Европа в контексте диалога Запада и Востока в новое и новейшее время. Екатеринбург, 1998; Его же. Историческая наука России в конце XX столетия (методологические и концептуальные поиски) // Рубеж веков: проблемы методологии и историографии исторических исследований. Тюмень, 1999; Заболотный Е.Б., Камынин В.Д. Историческая наука России в преддверии третьего тысячелетия. Тюмень, 1999.

2. См.: Мамонов В.Ф. Кризис и историческая наука (проблемы теории, методологии и методики). Челябинск, 1997; Заболотный Е.Б., Кондратьева Т.Н. К вопросу о предпосылках методологического кризиса исторической науки // Рубеж веков; и др.

3. См.: Васильева Т.С. Сущность и смысл истории. Пермь, 1996; Гомаюнов С.А. Проблемы методологии местной истории. Киров, 1996.

4. Прядеин В.С. Историческая наука в условиях обновления... С. 9

5. Заболотный Е.Б., Кондратьева Т.Н. К вопросу о предпосылках методологического кризиса исторической науки... С. 30

6. Камынин В.Д. Историческая наука в России в конце XX столетия... С. 9.

7. Мамонов В.Ф. Кризис и историческая наука... С. 7—8.

8. Паникаровский В.В. Есть ли будущее у исторического материализма // Рубеж веков. С. 35—36.

9. См.: В.И.Ленин и революционно-преобразующая деятельность большевистских организаций Урала. Свердловск, 1990; В.И. Ленин и социалистическое строительство на Урале. Свердловск, 1990.

10. Туркин Л.П. Об исторической судьбе ленинизма // В.И. Ленин и революционно-преобразующая деятельность большевистских организаций Урала. С. 3—4.

11. См.: Камынин В.Д. К вопросу о ленинской характеристике рабочего класса Урала // Там же. С. 9—12.

12. См.: Ершов Ю.Г. Теория общественно-экономических формаций. Методологические аспекты исследования советского общества. Автореф. д-ра филос. наук. Свердловск, 1990.

13. См.: Копалов В.И. Историзм как принцип социально-философского исследования. Свердловск, 1991.

14. См.: Бакунин А.В. Концепция и основные этапы социалистического строительства // Современные концепции проблем истории советского Урала. Свердловск, 1991. С. 17.

15. Паникаровский В.В. Есть ли будущее у исторического материализма. С. 40.

16. См.: Историография и источники изучения исторического опыта освоения Сибири. Новосибирск, 1988. Вып. 1—2; Исторический опыт социально-демографического развития Сибири. Новосибирск, 1989. Вып. 1—2; Тимошенко В.П. Исторический опыт внешнеэкономических связей Урала (проблемы изучения). Свердловск, 1989; Научно-технический и социальный прогресс: исторический опыт и современность. Свердловск, 1990; и др.

17. Русакова О.Ф. Исторический опыт как предмет научного исследования // Методология, историография и источники изучения исторического опыта регионального развития. Свердловск, 1990. Вып. 1. Методология и историография. С. 6.

18. См.: Индустриальное развитие Сибири: опыт послевоенных пятилеток (1946—1960). Отв. ред. В.В. Алексеев. Новосибирск, 1989; Алексеев В.В. Исторический опыт как фактор общественного прогресса // История и общество в панораме веков. Иркутск, 1990; Его же. Исторический опыт адаптации человека к условиям нового освоения // Социально-экономические и социокультурные детерминанты развития личности в условиях интенсивного развития освоения северных районов. Тюмень, 1990; Его же. Освоение Сибири: Исторический опыт и современность. Конец XVI — 80-е гг. XX в. Свердловск, 1990.

19. Фофанов В.Л. Исторический опыт и исторический выбор советского общества на современном этапе // Методология, историография и источники изучения исторического опыта регионального развития. Вып. 1. С. 3.

20. Алексеев В.В. Становление академической исторической науки на Урале // Институт истории и археологии. Первое десятилетие. Екатеринбург, 1998. С. 12.

21. См.: Алексеев В.В. Программно-целевой подход к изучению исторического опыта индустриального развития // Рабочий класс и общественное обновление: итоги и задачи изучения. Уфа, 1991; Его же. Исторический опыт как предмет изучения. Монреаль-Екатеринбург, 1995.

22.. См.: Гуськова Т.К., Ольховая Л.В. В.В. Адамов как историк Урала периода империализма // Летописцы родного края: очерки об исследователях истории Урала. Свердловск, 1990; Камынин В.Д. Адамов Владимир Васильевич (1914—1985) // Уральский государственный университет в биографиях. Екатеринбург, 1995; Овчинникова Б.Б., Ольховая Л.В. Владимир Васильевич Адамов — ученый-историк и педагог // Проблемы истории России: от традиционного общества к индустриальному. Екатеринбург, 1996; Прищепа А.И. Инакомыслящий историк В.В. Адамов // Каменный пояс на пороге III тысячелетия. Екатеринбург, 1997; Камынин В.Д. Адамов Владимир Васильевич // Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998.

23. Бугаева С.Я. Перечитывая работы В.В. Адамова // Проблемы истории России: от традиционного к индустриальному обществу. С. 41.

24. См.: Заболотный Е.Б., Камынин В.Д. К вопросу о месте «нового направления» в отечественной историографии // Там же. С. 115.

25. См.: Алексеев В.В. Исторический опыт освоения советской Сибири в современной японской советологии // Историография и источники изучения исторического опыта освоения Сибири. Вып. 2. Советский период; Зубков К.И. Современная буржуазная историография индустриального развития Сибири (1950—1980-е гг.). Новосибирск, 1990; Широгоров В.В. Советский опыт управления экономикой региона в немарксистской историографии // Методология, историография и источники изучения исторического опыта регионального развития. Вып. 1; Падалко П.Э. Новые подходы к анализу современной буржуазной советологии // Там же; и др.

26 .См.: Лебедев В.Э. Философия истории и метаистории. Екатеринбург, 1997.

27. См.: Алексеев В.В., Артемов Е.Т., Дубнов А.П. Исторический опыт развития национально-территориальных образований Российской Федерации: культурологический аспект. Свердловск, 1991; Зубков К.И., Тимошенко В.П. Социокультурная ситуация

в Тюменской области: исторический опыт и альтернативы выхода из кризиса // Целевая региональная программа создания научных основ возрождения и развития культурологического потенциала. Свердловск, 1991; Модель в культурологии Сибири и Севера. Сб. науч. тр. Екатеринбург, 1992; Артемов Е.Т., Постников С.П. Екатеринбург в историческом измерении: социокультурные процессы и облик города // Россия и Восток. Ч. 2.

28. См.: Изучение истории советской культуры: новые методологические подходы. Материалы заседания «круглого стола». Екатеринбург, 1992.

29. См.: Гаврилов Д.В. Менталитет екатеринбургской интеллигенции в 60—70-х гг. XIX в. // Екатеринбург в прошлом и настоящем. Екатеринбург, 1993.

30. См.: Методология, историография и источники изучения исторического опыта регионального развития. Вып. 2. Источниковедение; Количественные методы в исследованиях по истории советского рабочего класса и крестьянства. Свердловск, 1991; Комиссаров Ю.П., Славко Т.И. Бюджетные обследования рабочих 20-х гг. как исторический источник. Свердловск, 1991; Славко Т.И. Математические методы в изучении истории советского рабочего класса. М., 1991; и др.

31. См.: Методология современных гуманитарных исследований: человек и компьютер. Донецк, 1991; Комплексные методы в исторических исследованиях. М., 1991.

32. См.: Мотревич В.П. Валовая продукция сельского хозяйства Урала (1941—1960). Свердловск, 1991.

33. См.: Нефедов С.А. Метод демографических циклов в изучении социально-экономической истории допромышленного общества. Автореф. дисс. ... канд-та ист. наук. Екатеринбург, 1999.

34. См.: Запарий В.В., Личман Б.В., Нефедов С.А. О технологической интерпретации новой истории России // Урал индустриальный. Екатеринбург, 1999.

35. Метельский Н.Н.Синергетический метод в историческом познании и проблема оценки простейшей кооперации в первые годы советской власти // Методология, историография и источники изучения исторического опыта регионального развития. Вып. 1. С. 19.

36. Гомаюнов С.А. Антисистема как модель советского социума (синергетический аспект) // История Советской России: новые идеи, суждения. Тюмень, 1991. Ч. II. С. 139.

37. См.: Килин А.П. Зарубежный опыт развития проблемных регионов (на примере Рура) // Методология, историография и источники изучения исторического опыта регионального развития. Вып. 1; Алексеев В.В., Зубков К.И., Килин А.П., Широгоров В.В. Зарубежный опыт антидепрессивной региональной политики. Екатеринбург, 1992; Металлургические заводы и крестьянство: проблемы социальной организации промышленности России и Швеции в раннеиндустриальный период. Сб. науч. тр. Екатеринбург, 1992; Устьянцев С.В. Английский технологический опыт и уральские горные заводы XIX в. Екатеринбург, 1992.

39. Зубков К.И. Россия и Урал на переломе геополитических эпох (1890-е — 1920-е гг.) // Уральский исторический вестник. Екатеринбург, 1994. № 1. С. 77.

40. Михайленко В.И. Россия в новом геополитическом пространстве. Екатеринбург, 1999. С. 42—43.

41. См.: Алексеев В.В., Алексеева Е.В., Денисевич М.Н., Побережников И.В. Региональное развитие в контексте модернизации. Екатеринбург, 1997; Российская модернизация XIX—XX веков: институциональные, социальные, экономические перемены. Уфа, 1997; Модернизация в социокультурном контексте: традиции и трансформации. Екатеринбург, 1998; Опыт российских модернизаций XVIII—XX века. М.: Наука, 2000; Уральский исторический вестник. Екатеринбург, 2000. № 5—6: Модернизация: факторы, модели развития, последствия изменений; Анимица Е.Г., Тертышный А.Т., Кочкина Е.М. Цикличность модернизации российской экономики

Екатеринбург, 1999; Побережников И.В. Модернизационная перспектива: теоретико-методологические и дисциплинарные подходы // Третьи Уральские историко-педагогические чтения. Екатеринбург: УрГПУ, 1999. С. 16—25; Его же. Модернизация: определение понятия, параметры и критерии // Историческая наука и историческое образование на рубеже XX—XXI столетия. Четвертые всероссийские историко-педагогические чтения. Екатеринбург, 2000. С. 105—121; Его же. Образование в контексте модернизации // Наука и образование в стратегии национальной безопасности и регионального развития. Екатеринбург, 1999. С. 67—81; Его же. Дилеммы теории модернизации // Третьи Татищевские чтения. Екатеринбург, 2000. С. 6—15; Его же. Модернизация: теоретико-методологические модели // Дни науки УрГИ. Гуманитарное знание и образование в контексте модернизации России. Материалы научной конференции. Екатеринбург: Уральский гуманитарный институт, 2001. С. 15—30; и др.

42. Алексеев В.В. Россия в контексте теории модернизации // Российская модернизация XIX—XX вв. ... С. 6—7.

43. См.: Алексеев В.В. Россия в истории мировой цивилизации // Вестник Челяб. ун-та. Ист. науки, 1995. № 1; Вьюков М.В. Урал в цивилизационном развитии // Урал индустриальный. Екатеринбург, 1999.

44. См.: Зубков К.И. «Евразийская» концепция русской интеллигенции // Интеллигенция в системе социально-классовой структуры и отношений советского общества. Кемерово, 1991. Вып. 1; Его же. НЭП и проблема «российского пути» в идеологии «евразийства» // Россия нэповская: политика, идеология, культура. Новосибирск, 1991.

45. См.: История Советской России: новые идеи, суждения. Тезисы докладов и сообщений республиканской научной конференции. Тюмень, 1991. В 2-х ч.; Тезисы докладов второй республиканской конференции «История Советской России: новые идеи, суждения». Тюмень, 1993. В 3-х ч.

46. См.: От тоталитаризма к свободе: взгляды историка. Челябинск, 1992. В 2-х вып.; Демократия и тоталитаризм: европейский опыт XX века. Екатеринбург, 1993; Тоталитаризм и сопротивление. Пермь, 1993; Тоталитаризм и личность. Пермь, 1994; Тоталитаризм в России (СССР). 1917—1991 гг.: оппозиция и репрессии. Пермь, 1998; и др.

47. См.: Бакунин А.В. Советский тоталитаризм: генезис, эволюция, крушение. Екатеринбург, 1993; Его же. История советского тоталитаризма. Екатеринбург, 1996. Кн. 1: Генезис; 1997; Кн.2: Апогей.

48. Бакунин А.В. История советского тоталитаризма. Кн. 1. С. 7.

49. Соскин В.Л. Советская тоталитарная культура: у истоков. 1917—1920 гг. Екатеринбург, 1995. С. 5.

50. См.: Российская интеллигенция: XX век. Екатеринбург, 1994; Высшая школа в преддверии XXI века. Екатеринбург, 1995; Интеллигенция и власть на пороге XXI века. Екатеринбург, 1996. В 2-х ч.; Интеллигенция в России в истории XX века: неоконченные споры. К 90-летию сборника «Вехи». Екатеринбург, 1998.

51. См.: История репрессий на Урале в годы советской власти. Екатеринбург, 1994; Тоталитаризм в России (СССР). 1917—1991 гг.: оппозиция и репрессии.

52. См.: Прищепа А.И. Инакомыслие на Урале (сер. 1940-х — сер.1980-х гг.). Сургут, 1998.

53. См.: Кириллов А.Д., Леднев В.П., Кириллов Б.А. Урал в новой России: исследования, гипотезы, литература. Екатеринбург, 1999.

54. См.: Прядеин В.С. Новые подходы к методологии исторического познания. Екатеринбург, 1994. С. 29.

55. См.: Личман Б.В. Учебник истории в XXI веке // Европа на рубеже тысячелетий: исследование и преподавание европейской истории XX века. Екатеринбург, 1999. С. 107—109.

THE EVOLUTION IN METHODOLOGY AND CONCEPTS IN PROVINCIAL HISTORICAL SCIENCE IN THE LATE 1980—1990S

The article is dedicated to the analysis of conditions and dynamics of theoretical and methodological paradigms worked out by the Ural historians in the end of the XXth century. The author assesses epistemological efficiency of different approaches applied in historical science, such as geopolitical, synergetical, modernization theory, comparative, conception of totalitarianism, quantative methods. Formation of various theoretical and methodological schools and branches in historiography is qualified as a proof of affirmation of the principle of scientific pluralizm in the scientists' outlook.

V.D. Kamynin

Д.Е. Хохолев

МЕСТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИИ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в.: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Система местных государственных учреждений, существовавшая в России в последней четверти XVIII в., явилась результатом проведения губернской реформы правительством Екатерины II в 1775—1785 гг. Поэтому основное внимание исследователей было обращено на следующие аспекты проблемы: а) цели проведения губернской реформы; б) в какой мере положения реформы («Учреждение для управления губерний Всероссийской империи» 7 ноября 1775 г.) были воплощены в жизнь; в) причины реформ Павла I, видоизменивших екатерининскую систему местного управления.

Начало изучения истории местных государственных учреждений отечественными учёными приходится на середину XIX в. С этого времени и вплоть до начала следующего столетия эта тема разрабатывалась преимущественно представителями «государственной» («историко-юридической») школы. Наиболее видными ее деятелями были К.Д. Кавелин, С.М. Соловьёв, Б.Н. Чичерин и В.О. Ключевский. Главной проблемой отечественной истории сторонники «государственной школы» считали историю русского государства. Именно государство, по их мнению, являлось исторической основой, определявшей целостность российского общества. В понимании природы государства представители «государственной школы» находили ключ к объяснению всей истории России.

Природно-климатические условия протекания исторического процесса, по мнению сторонников данного направления, стали причиной формирования особой национальной психологии и, в силу этого, особого типа государства в России. Предельно централизованная, жёсткая и милитаризованная управленческая система была призвана консолидировать «растекавшееся» по равнинным пространствам русское население для решения общенациональных задач, в первую очередь, для отражения постоянной внешней угрозы. Русское государство было вынуждено, в отличие от европейских, изначально закрепостить все социальные группы для их же блага, чтобы в ходе дальнейшей эволюции постепенно освобождать их, сближаясь по своему общественному устройству с Западом. Таким образом, весь процесс реформирования государственного аппарата в России понимался историками «государственной школы» как инициируемое и направляемое властью поступательное движение от самодержавно-крепостнической формы правления к конституционной монархии европейского образца. В этом — суть подхода «государственной школы» к истории местных государственных учреждений России в целом и к губернской реформе Екатерины II в частности.

Многие вопросы отечественной истории разрабатывались представителями «государственной школы» в сочетании с изучением истории государственного права. Почти все «государственники» оставили после себя учебники русского государственного права, в которых содержатся их выводы по интересующим нас

вопросам. В силу специфического внимания к праву базовым источником для этих работ являлось Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Все учёные XIX в., говоря об устройстве государственных учреждений, считали своим долгом изложить и прокомментировать положения законодательных актов. Поэтому описание системы местного управления, введённой «Учреждением о губерниях», в их трудах имеет много общего. Мы остановимся лишь на общих для всех «государственников» выводах и особо подчеркнём различия.

Целью губернской реформы Екатерины II сторонники «государственной школы» считали децентрализацию местного управления с передачей новым органам полномочий прежних коллегий. Реформа должна была унифицировать систему органов местного управления (в отношении полицейских органов это было сделано особо), отделить административные учреждения от судебных, привлечь в них сословия, тем самым давая населению стимул к саморазвитию и общественной деятельности. По мнению исследователей, непосредственное управление губернией возлагалось на губернатора, а наместнику, облечённому широкими полномочиями, полагалось осуществлять общий надзор и проводить положения реформы в жизнь. Учреждением должности наместника сенатский надзор как бы переносился из центра империи в провинцию.

В трудах многих «государственников» указывалось на формально-фискальный принцип образования губерний. Говоря о практическом осуществлении реформы, подчёркивалось фактическое единовластие наместника в губернском правлении, несмотря на коллегиальный характер этого органа. Финансовая и кадровая слабость вновь созданных приказов общественного призрения была причиной низкой эффективности их работы. Наряду со слабым законодательным разграничением сфер деятельности наместника и губернатора, полиции и органов городского самоуправления всё это свидетельствовало о том, что концепция реформы была разработана недостаточно. Впрочем, с точки зрения «государственной школы», это не умаляет её достоинств, обусловленных прогрессивностью направления реформирования. Эта прогрессивность и обеспечила большей части екатерининских учреждений длительный срок существования. Показательно, что отмечая неразграниченность компетенций полицейских и городских органов, представители «государственной школы» не пытались утверждать, что это было выгодно правительству, а «прогрессивности» здесь не было никакой.

Екатерининской системе местного управления посвящена отдельная глава в учебнике государственного права И.Е. Андреевского, вышедшем в 1866 г. Немного позднее появился учебник полицейского права, где есть два раздела по интересующей нас теме [1]. Перу И.Е. Андреевского принадлежит также исторический обзор должности губернатора вплоть до реформы 1861 г., в котором рассматриваются «порядок назначения» губернатора, его «функции, компетенция, отношения с другими органами управления, административными и судебными» [2].

В отличие от большинства «государственников», И.Е. Андреевский считал реформу не децентрализацией, а централизацией в миниатюре: «Управление губернское, по мысли императрицы, должно было отражать в себе управление самой верховной власти» [3]. При этом к результатам преобразований он относился довольно скептически: «Формальная сторона ... была достигнута... Привлечение

же выборного элемента со стороны общества было парализовано неточностью определения функции этого выборного элемента, а вместо пользы принесло вред отчасти и по равнодушию» общества [4]. Среди других причин «невыгодных результатов» реформы И.Е. Андреевский отмечал её недостатки в полицейской части — смешение в «Уставе благочиния» полицейской и судебной функций развитие формальной переписки из-за «резкого разграничения кварталов и частей», нагромождение на полицию массы дел без должного обеспечения её подготовленными и образованными кадрами [5]. Приказу общественного призрения была дана всего лишь «короткая инструкция..., помещённая в Учреждении», которая «мало обеспечивала успех. В самом зародыше приказ носил начала формализма и бездействия», — отмечал автор [6]. В остальном И.Е. Андреевский солидаризировался с общими для «государственной школы» выводами.

В 1875 г. появилась монография И.И. Дитятина, которую можно считать самой заметной работой по истории управления русского города в дореволюционной историографии [7]. Периоду екатерининских преобразований в ней посвящены три главы, в том числе одна — полицейским учреждениям. И.И. Дитятин подчёркивал важность отделения в ходе реформы административных органов от судебных. Однако в городе это отделение проводилось непоследовательно. Автор впервые в литературе отметил, что городовые магистраты по «Учреждении о губерниях» должны были стать только судебными органами, но на деле у них остались и некоторые административные функции — «только потому, что преобразовательница ... не успела на смену им создать новые учреждения» [8]. По мнению И.И. Дитятина, это стало причиной смешения в дальнейшем функций полиции, магистратов, городских дум и недостатков в их работе.

Ярким представителем «государственного» направления в отечественной исторической науке являлся А.Д. Градовский. Вопросы истории местных государственных учреждений освещаются им в нескольких крупных работах, в том числе в отдельном томе учебника по государственному праву [9]. В отличие от большинства «государственников», А.Д. Градовский призывал не преувеличивать «стремление» правительства посредством реформы привлечь сословия к государственной деятельности: «Роль дворянства в местном управлении должна быть признана в иных отношениях *подчинённою* (как в отношении уездной полиции или *добавочною* (как депутатов в губернских комиссиях)» [10]. Чуть ниже учёный развивал этот тезис: «Дворянство (в ходе реформы — *Д.Х.*) как корпорация призывается к участию в местном управлении и становится его орудием» [11].

А.Д. Градовский считал, что главным органом, из которого могло бы развиться местное самоуправление, должен был стать нижний земский суд: «Екатерина II желала сделать из земских судов нечто большее «полиции» в узком смысле этого слова. Именно, земский суд был установлением, вообще *управляющим* местными делами» [12]. Однако, признаёт исследователь, на практике это реализовано не было. Позднее эту мысль развивал В.В. Ивановский [13].

Особое внимание в трудах А.Д. Градовского уделяется истории должности генерал-губернатора. Лиц, занимавших эти посты при Екатерине II, он характеризует как «полусуверенов с громадной властью», необходимой для обуздания произвола местной бюрократии [14]. Власть наместников становилась ещё более

безграничной из-за того, что она, как правило, простиралась на несколько наместничеств сразу. Вообще-то, отмечает А.Д. Градовский, согласно «Учреждению о губерниях», генерал-губернатор должен был назначаться в каждое наместничество, но это также не было реализовано, потому что в распоряжении Екатерины II не было достаточного для этого количества способных и вместе с тем доверенных сановников [15]. Данное обстоятельство учитывается учёным при объяснении причин упразднения должности наместника в 1796 г. Во-первых, по мнению А.Д. Градовского, ликвидация института наместников обусловливалась противоположностью политических взглядов Павла I и Екатерины II. Во-вторых, система местного управления, основанная на личных отношениях генерал-губернаторов с Екатериной и её правительством, «*в будущем* (выделено мной — *Д.Х.*) едва ли могла послужить к укреплению государственного единства» [16]. Кроме того, должности наместника суждено было исчезнуть из-за её промежуточного положения между местными и центральными учреждениями [17].

Ближе к концу XIX в. проблемами истории местного управления занимался В.В. Ивановский [18]. В своём учебнике государственного права он отмечал прочность местных екатерининских учреждений, подчёркивал децентрализующее направление губернской реформы. Именно вследствие децентрализации управления местная власть должна была стать «более сильною и авторитетною и ... сообразовываться с требованиями и условиями местной жизни» [19]. В.В. Ивановский считал, что ключевыми фигурами местного управления должны были стать губернатор и наместническое правление, но их роль на практике оказалась приниженной из-за неразграниченности компетенций их и наместника [20]. Недостаточная разработка реформы проявилась и в смешении финансовых, хозяйственных и контрольных функций в лице казённой палаты [21]. Особенное внимание автор уделил факту учреждения совестного суда, оценивая его как безусловно прогрессивное явление. Правда, следов своей деятельности такие суды в последней четверти XVIII в. практически не оставили.

В целом, по мнению В.В. Ивановского, введение екатерининских учреждений ознаменовало собой «значительный прогресс» в развитии русского государства. И не беда, что реализация положений реформы оставляла желать лучшего, ведь результаты преобразований «следует оценивать не столько на основании того, что ... было установлено, сколько на основании того, что из всего этого развилось», а потому «было бы странным упрекать правительство того времени в незаконченности реформы и в тех недостатках местного управления, которые очевидны с современной точки зрения» [22].

Последним из «государственников», выпустивших учебники русского государственного права, стал В.М. Грибовский [23]. В оценке местных государственных учреждений последней четверти XVIII в. он, как правило, солидарен со своими предшественниками. Только говоря о причинах реформ Павла I, он указывает, что одной из них могла быть «сложная, построенная на сословном принципе система судебных установлений» Екатерины II [24].

Из специальных работ XIX в., касающихся нашей темы, следует отметить капитальный труд А.В. Романовича-Славатинского по истории дворянского со-

словия в послепетровский период [25]. В нём содержится интересный тезис о том, что в результате губернской реформы правительство переложило на плечи местного дворянства службу по местному управлению за то, что освободило дворян от обязательной военной службы и максимально расширило крепостное право [26]. Тем не менее, отмечает внимательный автор, «во всё царствование Екатерины II дворянство продолжало брезговать службою гражданскою», так как в ней было мало мест (губернатора, например), на которых можно было чувствовать, «держать себя *барином*» (курсив автора — *Д.Х.*) [27].

Особый взгляд у А.В. Романовича-Славатинского — и на прочность нововведённых учреждений: «Пугачёвщина была последним взрывом крепостных крестьян при Екатерине II. После таких взрывов обыкновенно бывает затишье» [28]. Необходимость привлечения дворян к местному управлению учёный объясняет прежде всего нехваткой бюрократии [29]. В конечном итоге, гражданская служба в губернских учреждениях оказалась для сословий очередным государственным тяглом, и это довольно быстро породило у них стремление избегать её.

Таким образом, представители «государственной школы» прошлого столетия внесли существенный вклад в изучение истории местных государственных учреждений России последней четверти XVIII в. Целью проведения губернской реформы Екатерины II большинство из них считало децентрализацию и унификацию местного управления, что должно было стимулировать к участию в нём сословий и потому явилось очередным шагом государства по пути их «раскрепощения». О степени реализации положений реформы, с точки зрения «государственников», лучше всего говорит длительность существования многих екатерининских учреждений, а слабости в проведении реформы объясняются её недостаточной разработанностью в нормативных актах. Последний вывод, несомненно, был сделан вследствие того преимущественного внимания, которое представители «государственной школы» уделяли анализу законодательства. Дальнейшее реформирование местного управления при Павле I было вызвано расхождениями между «Учреждением о губерниях» и его практическим воплощением.

В период либерализации общественной мысли в России, начавшийся с революцией 1905 г., ведущая роль в изучении проблем истории местного управления переходит к тому направлению в отечественной историографии, которое не так давно было принято называть «кадетским». Такое наименование указывает на общественно-политическую базу, на которой велись исследования Н.И. Лазаревского, В.М. Гессена, С.А. Корфа, Б.Ю. Нольде и других учёных. Развитие земского движения в последней трети XIX в., из которого в дальнейшем выросла партия кадетов, сопровождалось активной работой земцев-краеведов по изучению прошлого своих регионов. Нет ничего удивительного, что в ходе этой работы многие исследователи обратились к истории органов сословного самоуправления — предшественников земских структур. В конечном итоге это привело к появлению в начале XX в. целого ряда крупных научных исследований по истории России, в которых в центре внимания находилось уже не высшее и центральное государственное управление (как это было в «государственной школе»), а местное самоуправление. Авторы таких работ не отрицали громадной роли государства в отечественной истории. Однако, залогом прогресса

в его развитии они считали прежде всего становление самоуправляющихся органов с постепенной передачей им (и не обязательно по доброй воле правительства) полномочий прежних административных учреждений.

Другое принципиальное отличие работ начала XX в. — это переход от господствующей формы всеохватывающего учебника к тщательному анализу отдельных проблем истории государственных учреждений. Возможно, этим переходом обусловлен более высокий, чем раньше, уровень использования архивных источников, хотя к комментированию законодательных актов «кадетские» историки также уделяли много внимания.

Поскольку развитие государства должно идти путём увеличения в нём роли самоуправляющихся органов, губернская реформа, расширившая права сословий в управлении, оценивалась «кадетской» историографией как прогрессивное явление. Другое дело, что её практическое осуществление оказалось далёким от замыслов преобразователей. Большинство авторов особо подчёркивало, что неограниченно широкие полномочия генерал-губернаторов на практике вели к произволу, а не к прогрессу. В конце концов это и вызвало, по мнению представителей «кадетского» направления, упразднение наместничеств. В целом же историки начала XX в. разделяли и развивали созвучные им идеи «государственной школы» — о децентрализации и унификации местных учреждений, финансовой слабости приказов общественного призрения, бездеятельности так удачно придуманных совестных судов.

Один из лидеров либерального направления в отечественной исторической науке — В.М. Гессен — в 1904 г. выпустил сборник статей по актуальным вопросам местного управления с историческими экскурсами [30]. В нём есть отдельная статья о российской бюрократии, в которой автор приходит к выводу: искоренить пороки местного чиновничества можно лишь максимально ограничив его власть самоуправлением. Историк развивает выводы «государственной школы» об отношениях наместника и губернатора — первый, в отличие от второго, не принимает участия в непосредственном управлении, что и позволило Екатерине II «в 1781 г. назначать одного наместника на 2—3 губернии» [31]. Результатом этого стали «огромные и совершенно неопределённые полномочия» наместников, им было предоставлено «право политического руководства» регионами. «В руках подобных лиц, — пишет В.М. Гессен, — надзор, сопровождавшийся правом *исправления* (выделено автором — *Д.Х.*), не мог не обратиться в самовластие, не ограниченное законом. Как могли наместники охранять закон, когда сами они поставлены были выше закона?» [32]. Естественно, что долго это продолжаться не могло, и при Павле I должность наместника исчезает.

Перу А.А. Кизеветтера принадлежит целый ряд работ по истории самоуправления в России, особенно городского [33]. Вот его трактовка цели привлечения сословий к местному управлению в последней четверти XVIII в.: «Наряду с фискальными интересами государства в круг предметов административной деятельности включались теперь и интересы самого местного общества, обслуживание его внутренних потребностей в правильной постановке правосудия, в обеспечении правопорядка и общественного спокойствия, в распространении просвещения, в поднятии материального достатка», а это было возможно только «при условии

совместной деятельности агентов коронной администрации и представителей самого общества» [34]. А.А. Кизеветтер, вслед за В.В. Ивановским, высоко оценивает факт создания совестных судов, которые должны были стать «оплотом против судебного и административного произвола» [35]. Подводя итог анализу текста «Учреждения о губерниях», автор даёт высокую оценку этому документу: «Теперь закон провозглашал..., что администрация должна служить обществу, расчищая почву и облегчая пути к подъёму его культуры» [36].

Однако проведение губернской реформы в жизнь окончилось не столько «ограничением бюрократического режима», сколько «бюрократизацией самого общественного представительства», которое очень скоро стало рассматриваться как очередное государственное тягло [37]. Причины этого А.А. Кизеветтер видит в том, что выборным органам была поручена «черновая текущая работа в уездах под контролем губернских инстанций», а надо было, наоборот, им предоставить смотреть за работой администрации. Кроме того, сыграли свою негативную роль неограниченность власти наместников и несовместимость гуманных учреждений с крепостным правом, неразграниченность компетенции бюрократических и выборных органов [38]. Затем, не были чётко разделены и сферы деятельности самих выборных органов (например, городовых магистратов и дум), что в своё время отмечала, но не хотела объяснять «государственная школа». «Практика показывает, что губернское начальство совершенно не желало различать распорядительных и исполнительных функций применительно к городским учреждениям и постоянно требовало от думских гласных личного отправления различных «служебных посылок» по нарядам губернского правления», — заключает А.А. Кизеветтер [39].

В 1910 г. появился очерк С.А. Корфа по истории надзора и прокуратуры в России [40]. В нём имеются две главы по нашей теме. Говоря о власти екатерининских наместников, исследователь солидаризируется с другими представителями «кадетской» историографии, но в отличие от того же В.М. Гессена, он рассматривает право исправления у наместников как свидетельство участия их в непосредственном управлении [41]. Всесильный надзор наместников в масштабах региона ставил губернскую и уездную прокуратуру в крайне неудобное положение. Её обязанности фактически сводились к тому, чтобы «следить за тем, чтобы каждый административный орган в своей деятельности не нарушал закона» [42]. Исходя из этого, С.А. Корф считает главным недостатком реформы соединение функций управления и надзора в нескольких должностях (наместника, губернатора, даже наместнического правления). Именно такое соединение порождало на местах массу злоупотреблений [43].

В начале XX в. была написана и единственная крупная работа, посвящённая непосредственно губернской реформе [44]. Её автор — В.А. Григорьев — предпринял попытку подробного описания процесса преобразования — от глубинных причин и исторических предпосылок появления «Учреждения о губерниях» вплоть до практического воплощения его положений. Исследователь постоянно подчёркивает адаптированность проекта реформ к русской действительности. Это было вызвано тем, что проведение реформы, как и её разработка, были компромиссным процессом, улавливающим местные жизненные

особенности [45]. Другой чертой эпохи, по мнению Григорьева, было «редкое по своему единодушию сочувствие всего общества новому закону» [46]. Описывая проведение реформы в жизнь, автор широко использовал архивный материал, но очень часто в ущерб аналитическим моментам исследования. «Роль общественных организаций» в новой системе местного управления, по мнению историка, «была чисто пассивная, служебная» [47].

Особняком в дореволюционной историографии стоит историко-юридический очерк «Губернаторы» И. Блинова [48]. Это крупная аналитическая работа широкомыслящего историка-юриста, содержащая тщательный анализ других работ по теме исследования. Многие её положения созвучны основным идеям либеральной историографии. Интересующие нас умозаключения автора о екатерининской системе местного управления находятся в объёмистой главе о губернаторах дореформенного (до 1861 г.) периода. Здесь И. Блинов проявляет себя сторонником гармоничного сочетания администрирования и самоуправления на местах [49]. Он отмечает, что при Екатерине II «на губернию было обращено такое большое внимание, каким она почти никогда не пользовалась ни до, ни после...» [50]. Разделение властей, которое так превозносили и «государственники, и «кадеты», по мнению И. Блинова, не было реально из-за всеохватных полномочий наместника, также как и коллегиальность административных органов [51]. На местах появилось только «разделение труда» чиновников.

Автор подверг критике фискально-статистический принцип формирования губерний [52]. Он указывал также на подчинённое положение «представителей местного общества» в совместной деятельности с коронными чиновниками как на ещё одну возможную причину их разочарования и уклонения от службы по выборам [53]. Общая оценка И. Блиновым результатов преобразований такова: «Учреждение о губерниях» не было коренной реформой губернского управления. То же или почти то же полновластие стоящего во главе губернии коронного чиновника. То же единоличное, а не коллегиальное, управление и то же смешение функций административной и судебной. ...В «Учреждении о губерниях» выразилось прежнее направление правительственной деятельности, всё созидающей и всё разрушающей. По-прежнему правительство продолжало работать за общество, от которого было много выборных, но совсем не было правящих. ...Дальнейшие же условия жизни... были таковы, что очень мало содействовали развитию тех новых плодотворных начал, зачатки которых были таки в Учреждении» [54].

Таким образом, исследования отечественных историков начала XX в. в целом развивали идеи «государственной школы» о губернской реформе. Её целью по-прежнему считались децентрализация и унификация местных учреждений, укрепление системы управления, во многом посредством привлечения к нему представителей сословий. Однако неудачная, по мнению «кадетской» историографии, реализация «Учреждения о губерниях» свела на нет прогрессивность его положений. Многие из них обернулись декларацией благих намерений правительства. В свою очередь, недостатки проведения реформы в жизнь привели к дальнейшим изменениям в системе местных государственных учреждений с приходом к власти Павла I.

После утверждения в отечественной исторической науке марксистско-ленинского подхода основное внимание учёных было сконцентрировано на изучении проблем социально-экономической истории России. Поэтому в советский период было создано значительно меньше капитальных работ по истории органов государственного управления, в том числе и местных.

Характерной чертой этого времени стал отказ исследователей истории государственных учреждений от детального анализа законодательства, что, впрочем, было логично, поскольку возможности развития такого анализа дореволюционными историками были практически исчерпаны. В основу научных работ был положен классовый подход. Это означало, что система государственного управления понималась как аппарат принуждения большинства населения правящим меньшинством (эксплуататорскими классами). В связи с этим один из ведущих специалистов по истории управления в советской историографии Н.П. Ерошкин указывал: «История государственных учреждений рассматривается... как история системы связанных между собой общими классовыми задачами государственных органов и учреждений» [55].

Данный подход к проблеме означал, что любая реформация государственного аппарата в обществе, где есть эксплуататоры и эксплуатируемые, — это попытка первых сохранить свою власть над последними в изменяющихся социально-экономических условиях. Таким образом, историко-материалистический подход изначально придавал специфическую окраску отношению советских историков к губернской реформе: а) целью реформы было — сохранить и укрепить крепостническую монархию после крестьянской войны 1773—1775 гг. Отныне «пугачёвщина» объявлялась главной причиной реформы (дореволюционные историки также считали её причиной, но не главной и далеко не единственной); б) из проекта реформы реализуется только то, что выгодно помещикам и самодержавию, остальное — ширма «просвещённого абсолютизма» Екатерины II; в) дальнейшее реформирование местного государственного аппарата при Павле I было вызвано продолжающимся разложением феодально-крепостнической системы.

Основываясь на этих посылках, советские историки оценивали преобразования Екатерины II следующим образом. Реформа достигла своей цели: государственный аппарат на местах был укреплён, в первую очередь благодаря участию в нём дворян-крепостников. Вследствие этого крестьянские волнения на время сократились. Как бы оправдываясь за столь высокую оценку деятельности эксплуататорского режима, учёные отмечали, что «новые учреждения обходились дорого, действовали крайне медленно, коллегиальный порядок деятельности многолюдных по составу учреждений... порождал невиданную волокиту» [56].

Господство дворян на местах в результате реформы было обеспечено их контролем над собственными и крестьянскими сословными органами суда. Принцип «разделения властей» только провозглашался в «Учреждении о губерниях» — на деле суд оставался в прямой зависимости от администрации. Постоянным объектом критики советской историографии были екатерининские приказы общественного призрения — их деятельность была объявлена примером показной благотворительности самодержавия.

Рассматривая положение органов городского самоуправления, историки обычно приходили к выводу типа: «В некоторых вопросах хозяйственного управления местные власти не могли не считаться с буржуазными элементами города», но «в целом органы городского сословного «самоуправления» играли роль административно-хозяйственного придатка к аппарату администрации и полиции» [57].

Все приведённые выше тезисы — своего рода шаблоны для советских историков — содержатся в работах уже упоминавшегося Н.П. Ерошкина. Главной из них является практически единственное на сегодняшний день учебное пособие по истории отечественных государственных учреждений, выдержавшее последнее издание в 1983 г. [58]. По Н.П. Ерошкину, децентрализация местного управления в ходе губернской реформы стала возможной после создания «твёрдой административной власти» в лице наместника и привлечения дворянства к управлению (причины и следствия преобразований здесь явно смешаны), но децентрализация эта была временной, так как противоречила «централизаторским тенденциям абсолютизма, окончательно возобладавшим в феодальной монархии к концу XVIII в.». К тому же крестьяне снова стали бунтовать, и правительство Павла I пошло «от политики «просвещённого абсолютизма» к установлению военно-полицейской диктатуры» [59]. Советский исследователь уничтожающе отзывается о работе приказов общественного призрения: в этих учреждениях «был установлен полутюремный режим с принудительным трудом и жестокими телесными наказаниями», денежные средства, переданные приказам правительством, вместо благотворительности пускались в оборот — на ссуды помещикам под залог их имений. В результате этого «под видом благотворительности осуществлялась материальная поддержка господствующего класса» [60]. Установленный «Учреждением о губерниях» надзор за управлением Н.П. Ерошкин считает формальностью: «Чины прокуратуры при судах существовали только на бумаге» [61]. В учебном пособии Ю.В. Куликова по истории государственных учреждений XVIII в. из цикла, разработанного для студентов МГИАИ под руководством Н.П. Ерошкина, содержатся сходные оценки системы государственного управления России конца XVIII в. Единственное отличие данного труда от работ Н.П. Ерошкина заключается в следующей фразе: «Большую роль в местном аппарате приобрели органы прокурорского надзора» [62].

В многотомных очерках истории СССР, изданных в 1950-х гг., губерн-ской реформе Екатерины II посвящён раздел, написанный Б.Г. Слицаном [63]. Едва ли не впервые в нём отмечается, что «вся система Учреждения о губерниях построена на представлении о губернии как о законченном целом» [64]. В остальном же автор раздела следует официальному идеологическому руслу, останавливаясь на привлечении к местному управлению сословного элемента: «Выборная служба перешла в руки мелкопоместного дворянства, которое стремилось извлечь из неё возможно больше дохода, не гнушаясь ни взятками, ни казнокрадством» [65].

Перу В.Ф. Желудкова принадлежит работа о проведении губернской реформы в жизнь [66]. Она содержит, в частности, описание порядка открытия на-

местничества и его присутственных мест. В самом начале своего исследования, предвосхищая выводы о цели реформы, В.Ф. Желудков пишет: «Практическое осуществление Учреждений лишний раз подтверждает, что о деятельности правительства Екатерины нужно судить не по его пышной фразеологии, а по его делам» [67]. По мнению автора, боясь новой пугачёвщины, правительство Екатерины II стремилось как можно быстрее ввести новые учреждения, несмотря на незавершённость их разработки [68]. Отметим, что ниже учёный сам же противоречит этому тезису: «Особенностью введения реформы являлось осуществление её, несомненно, по заранее продуманному плану» [69].

Основную часть монографии Б.В. Виленского предваряет очерк судебной системы, созданной губернской реформой [70]. Содержание очерка в точности следует шаблонам советской историографии, а главный вывод его таков: «Вся история дореформенного суда — это история самого беззастенчивого надругательства над личностью» [71]. Схожая по тематике работа М.Г. Коротких вышла из печати недавно, но содержит такой же предварительный очерк и аналогичные выводы [72]. Скорее всего, обе эти монографии исходят из материала середины XIX в., распространяя это впечатление на весь период, начиная с 1775 г.

М.П. Павлова-Сильванская в 1964 г. писала о целях проведения реформы в социальном аспекте: «Даже буржуазная по своему происхождению и существу идея разделения властей была использована таким образом, что послужила укреплению феодального строя» [73].

Советские исследователи уделяли внимание изучению истории управления русским городом. В монографии Ю.Г. Клокмана имеется отдельная глава о том, что изменила в жизни города губернская реформа [74]. В целом, у данного автора заметно смягчение отношения к городским органам, отходит он и от традиционной оценки причин реформы: «Вновь созданные губернии и уезды нередко совпадали с исторически сложившимися хозяйственными округами, которые имели своими центрами города с развитой промышленностью» [75]. Положительным итогом екатерининских преобразований Ю.Г. Клокман считает то, что «реформа 1775—1785 гг. ускоряла развитие городов. Однако господствовавшие в стране социально-политические условия, бюрократические формы проведения самой реформы тормозили этот процесс» [76]. Если научные интересы Ю.Г. Клокмана сосредоточены на истории всех русских городов второй половины XVIII в., то в центре внимания В.В. Рабцевич — сибирский город дореформенного периода (до 1861 г.). Как и Ю.Г. Клокман, она считает, что губернская реформа выделила город в самостоятельную административную единицу [77]. Наряду с классовым, в монографии выделяется «административно-фискальный» аспект целей реформы.

Следует отметить, что работы советских исследователей внесли мало нового в изучение истории местных государственных учреждений России последней четверти XVIII в. В основном, они осуществили переориентировку достижений учёных дореволюционного периода в соответствии с марксистско-ленинскими идеологическими установками. Логичного, казалось бы, перехода от детального анализа екатерининского законодательства к столь же подробному изучению архивного материала не произошло.

Кардинальные изменения социально-экономической и общественно-политической жизни, происшедшие в России за последние 15 лет, не могли не сказаться на развитии отечественной исторической науки. В отношении изучения истории государственных учреждений наблюдается отказ большинства исследователей от классового подхода, смягчаются оценки как деятельности органов управления в целом, так и руководивших ими чиновников. Растёт интерес учёных к индивидуальному облику «человека в штатском», вследствие чего уже появились несколько серьёзных попыток социальной характеристики чиновничества, в том числе и провинциального [78]. С момента крушения тоталитарного режима важнейшей проблемой исторического развития России является построение правового государства. В связи с этим современная наука вновь уделяет много внимания истории развития отечественного права, судебных учреждений, органов самоуправления в России. Налицо стремление учёных к созданию энциклопедических, обзорных трудов в широких хронологических рамках, которые должны подвести итоги всего предыдущего изучения многих крупных проблем, касающихся и истории местного управления. Это можно назвать возвращением на новом, более высоком уровне к основной форме работы историков «государственной школы». Примером такой работы является, в частности, многотомное издание «Развитие русского права» [79]. Один том его хронологически относится ко второй половине XVII—XVIII вв. По содержанию он представляет собой краткое изложение результатов изучения темы всеми предыдущими школами. Помимо этого, авторы исследования высказывают новую точку зрения на привлечение в ходе губернской реформы сословий к местному управлению: «Положительной чертой реформы была первоначальная попытка преодолеть бюрократизацию местного управления» [80], но далее этот тезис не развивается.

В 1995 г. появилась аналогичная по форме, хотя и меньшая по объёму монография о развитии органов самоуправления в мире, в том числе и в России [81]. И здесь мы можем наблюдать обстоятельное изложение результатов работы предшественников. В оценке губернской реформы Екатерины II проглядывает попытка примирить традиции советской историографии и «государственной школы», поэтому ключевыми тезисами в анализе системы управления наместничеств являются децентрализация и дворянская диктатура. Одним из авторов вышеуказанных изданий является Н.Н. Ефремова. В её самостоятельных работах рассматриваются проблемы судоустройства и юстиции в дореволюционной России [82]. Н.Н. Ефремова иногда также пытается примирить историографические традиции: «Организация судебной системы по «Учреждению о губерниях» представляет собой компромисс между стремлением отделить суд от администрации, создать отдельный суд для каждого сословия и сделать из начальника губернии око и ухо государя, надзор и власть которого одинаково распространяется на все стороны местной жизни» [83]. Истории прокуратуры дореволюционного периода посвящена монография С.М. Казанцева [84]. В ней учёный, как правило, солидаризируется с выводами аналогичной работы С.А. Корфа.

В последнее время появилось несколько работ о местном управлении последней четверти XVIII в. на Среднем Урале. Так, под редакцией пермских историков И.К. Кирьянова и В.В. Мухина осуществлено исследование деятельности местных

наместников и губернаторов [85]. История управленческой деятельности здесь излагается через биографии личностей, причём биографии эти довольно лакировочные. Поэтому неудивительно, что работа страдает от избытка фактологии, а её авторы во многом возвращаются к оценкам «государственной школы»: «Относительная долговечность созданной Екатериной II системы... объяснялась и тем, что был учтён предшествовавший опыт, и тем, что сама реформа отвечала национальным интересам, и тем, что подготавливалась она не в одночасье» [86].

Подведём итоги работы отечественных историков по изучению местных государственных учреждений последней четверти XVIII в. Все они, по большому счёту, солидарны в том, что стратегической целью губернской реформы Екатерины II было укрепление аппарата управления на периферии. Средствами достижения этой цели были избраны децентрализация и унификация местных государственных учреждений, привлечение к процессу управления представителей сословий. В отношении последнего тезиса оценки учёных варьировались: для некоторых это был важный шаг в развитии самоуправления в России, другие считали его проявлением политики «просвещённого абсолютизма», ширмой для охранительных устремлений режима. Проведение положений реформы в жизнь оставляло желать лучшего. При этом мнения исследователей о степени воплощения «Учреждения о губерниях» также весьма различные. Не сложилась единая точка зрения и на причины дальнейших преобразований местного управления при Павле I, хотя желание правительства исправить выявившиеся за 20 лет недостатки екатерининской системы никто полностью не отрицает. Всё это говорит о том, что изучение истории местных государственных учреждений России последней четверти XVIII в. далеко не исчерпало своих возможностей.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Андреевский И.Е. Русское государственное право. СПб., М., 1866; Он же. Полицейское право. СПб., 1874.
2. Он же. О наместниках, воеводах и губернаторах. СПб., 1864.
3. Он же. Русское государственное право. Т. 1. С. 376.
4. Он же. Полицейское право. Т. 1. С. 93.
5. Там же. С. 96.
6. Там же. С. 509.
7. Дитятин И.И. Устройство и управление городов России. СПб., 1875—1877. Т. 1—2.
8. Там же. Т. 1. С. 394.
9. Градовский А.Д. Начала русского государственного права. Т. 3: Органы местного управления. СПб., 1883; Он же. Переустройство нашего местного управления // Собрание сочинений. Т. 8. Приложения. СПб., 1903. С. 531—563.
10. Он же. Начала русского государственного права... С. 42.
11. Там же. С. 54.
12. Он же. Переустройство нашего местного управления. С. 559.
13. Ивановский В.В. Русское государственное право. Т. 1: Верховная власть и её органы. Ч. 2: Местные установления. Казань, 1898. С. 42.
14. Градовский А.Д. Начала русского государственного права... С. 207.
15. Там же. С. 202.

16. Он же. Исторический очерк учреждения генерал-губернаторств в России // Политика, история и администрация: Сборник критических и политических статей. СПб.; М., 1871. С. 423.
17. Там же. С. 424.
18. Ивановский В.В. Указ. соч.
19. Там же. С. 43.
20. Там же.
21. Там же. С. 48.
22. Там же. С. 57.
23. Грибовский В.М. Государственное устройство и управление Российской империи (из лекций по русскому государственному и административному праву). Одесса, 1912.
24. Там же. С. 16.
25. Романович-Славатинский А.В. Дворянство в России от начала XVIII в. до отмены крепостного права. Киев, 2-е изд., 1912.
26. Там же. С. 111.
27. Там же. С. 144.
28. Там же. С. 372.
29. Там же. С. 431.
30. Гессен В.М. Вопросы местного управления: Сборник статей. СПб., 1904.
31. Там же. С. 30.
32. Там же. С. 31.
33. Кизеветтер А.А. Местное самоуправление в России IX—XIX вв.: исторический очерк. СПб., 1917; Он же. Из истории законодательства в России XVII—XIX вв. Ростов н/Д, 1904; Он же. Городовое положение Екатерины II 1785 г.: опыт исторического комментария. М., 1909.
34. Он же. Местное самоуправление... С. 94.
35. Там же. С. 98.
36. Там же. С. 99.
37. Там же. С. 100.
38. Кизеветтер А.А. Местное самоуправление... С. 101—102.
39. Кизеветтер А.А.. Городовое положение Екатерины II... С. 408.
40. Корф С.А. Административная юстиция в России. СПб., 1910.
41. Там же. Т. 1. С. 61.
42. Там же. С. 65.
43. Там же. С. 72.
44. Григорьев В.А. Реформа местного управления при Екатерине II («Учреждение о губерниях» 7 ноября 1775 г.). СПб., 1910.
45. Там же. С. 348.
46. Там же. С. 350.
47. Там же. С. 333.
48. Блинов И. Губернаторы: историко-юридический очерк. СПб., 1905.
49. Там же. С. 6.
50. Там же. С. 148.
51. Там же. С. 149.
52. Там же. С. 150.
53. Там же. С. 152.
54. Там же. С. 151—152.
55. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1983. С. 9.
56. Там же. С. 130.

57. Там же. С. 129.
58. Там же.
59. Там же. С. 137.
60. Там же. С. 121.
61. Там же. С. 123.
62. Куликов Ю.В. Государственные учреждения XVIII в. // История государственных учреждений России до Великой Октябрьской социалистической революции (Краткий конспект лекционного курса и методические указания для студентов заочного отделения МГИАИ). М., 1956. Вып. 2. С. 35.
63. Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй половине XVIII в. М., 1956.
64. Там же. С. 294.
65. Очерки истории СССР... С. 298.
66. Желудков В.Ф. Введение губернской реформы 1775 г. // Учёные записки Ленинградского государственного педагогического института. Л., 1962. Т. 229. С. 197—226.
67. Там же. С. 198.
68. Там же. С. 200.
69. Там же. С. 223.
70. Виленский Б.В. Подготовка судебной реформы 20 ноября 1864 г. в России. Саратов, 1963.
71. Там же. С. 34.
72. Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 г. в России. Воронеж, 1989.
73. Павлова-Сильванская М.П. Социальная сущность областной реформы Екатерины II // Абсолютизм в России: Сборник статей. М., 1964. С. 490.
74. Клокман Ю.Г. Социально-экономическая история русского города. Вторая половина XVIII в. М., 1967.
75. Там же. С. 124.
76. Там же. С. 206.
77. Рабцевич В.В. Сибирский город в дореформенной системе управления. Новосибирск, 1984. С. 36.
78. Морякова О.В. Провинциальное чиновничество в России второй четверти XIX в.: социальный портрет, быт и нравы // Вестник МГУ. Сер. 8: История. М., 1993. № 6. С. 11—23; Зубов В.Е. Административный аппарат Западной Сибири конца XVIII — первой половины XIX вв.: диссертация на соискание учён. степ. к. и. н. Новосибирск, 1997; Мерзлякова Л.В. Чиновничество Вятской губернии первой половины XIX в.: диссертация на соискание учён. степ. к. и. н. Ижевск, 1997.
79. Развитие русского права второй половины XVII — XVIII вв. // С.И. Штамм, И.А. Исаев, Н.Н. Ефремова и др. М., 1992.
80. Там же. С. 125.
81. Институты самоуправления: историко-правовое исследование. М., 1995.
82. Ефремова Н.Н. Судоустройство России в XVIII — первой половине XIX вв. (историко-правовое исследование). М., 1993.
83. Там же. С. 116.
84. Казанцев С.М. История царской прокуратуры. СПб., 1993.
85. Пермские губернаторы: традиции и современность / Под общей редакцией И.К. Кирьянова и В.В. Мухина. Пермь, 1997.
86. Пермские губернаторы... С. 8.

LOCAL STATE INSTITUTIONS OF RUSSIA IN THE LAST QUARTER OF THE XVIII CENTURY: HISTORIOGRAPHIC REVIEW

The article analyses the evolution of historiographic assessments of the provincial reform launched by Catherine II and the system of Russian local administration in the last quarter of the XVIII century. The author reveales common and spesific features of the «state», «cadet» and historical-materialisic approaches to the problem, particular character of post-soviet historiography. Issues for further study are defined.

D.E. Khokholev

Е.Ю. Аппкаримова

ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НА УРАЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА В ИСТОРИОГРАФИИ

Интерес исследователей к истории отечественного города обусловлен рядом причин. Многостороннее изучение его истории одновременно позволяет анализировать эволюцию государственности и общественного строя в целом. При этом город предстает перед исследователем как быстро развивающееся историческое явление. Л.В. Данилова отмечает, что в результате возникновения города появляется особый тип соседской общины — городская коммуна. Она отмечает, что, «сохраняя на первых порах единство с общиной сельской и мало от нее отличаясь в качестве составной части общего территориально-административного деления, городская община со временем обретает особый социальный статус, определяемый ролью города как центра властвования и управления, средоточия ремесла и торговли, места широкого общения» [1]. «И если сельская община, обнимавшая основную массу населения, длительно сохраняла традиции, сложившиеся на стадии первобытности, то городская коммуна оказалась гораздо мобильнее, что было связано с концентрацией в ее недрах товарно-денежных отношений и становлением нового типа собственности, а в дальнейшем и завязей нового типа социальной интеграции», — пишет исследовательница, сравнивая сельскую и городскую общины [2].

Города играли важную экономическую, социальную, культурную и политическую роль в дореволюционной России, и эта роль возрастала в процессе урбанизации. В.А. Александрову и Н.Н. Покровскому, авторам монографии «Власть и общество. Сибирь в XVII в.», удалось доказать, что посадская община на востоке страны играла заметную роль в общественно-политической жизни края. В работе подчеркивается, что «хотя государству она нужна была в первую очередь как бесплатный административно-фискальный аппарат, сама эта незаменимость общины приводила в условиях сословно-представительной монархии к тому, что воеводы и столичные власти должны были считаться с голосами выборных демократических органов горожан» [3].

Город рассматривается историками как активный и динамичный фактор развития в процессе перехода от традиционного, аграрного общества к современному, индустриальному, как фактор формирования и развития своеобразной российской цивилизации.

Урбановедение как самостоятельная отрасль исторических исследований, помимо чисто научного, имеет также практическое значение. Последнее обусловлено наличием целого ряда проблем в жизни современного города, уходящих корнями в прошлое. В частности, в условиях современной России весьма актуален исторический опыт реформ местного (в том числе городского) самоуправления [4].

При обращении к любой научно-исследовательской теме обнаруживается потребность разобраться в понятийно-категориальном аппарате. Следует отметить, что по поводу понятия «город» в научной литературе ведутся продолжительные дискуссии. Уже сами попытки обратиться к этимологии этого понятия

порождают массу противоречий, как подчеркивают западные ученые [5]. Важно учитывать историчность этого понятия. В процессе осмысления города как специфического социокультурного явления ученые разных областей знания осознали специфику социокультурной сущности города, выполняющего кумуляцию и интеграцию исторических достижений общества. По этому поводу Э.В. Сайко пишет: «Именно в силу объективного воспроизводства города как организма, кумулирующего и интегрирующего общественные отношения и связи на разных уровнях развития исторически определенной социальности, последовательно реализующей оптимальные формы магистрального прогресса, он выступает необходимым компонентом естественно-исторического процесса и носителем всеобщего культурно-исторического содержания последнего» [6].

С точки зрения цивилизационного подхода, вырабатывается представление о городе как о важнейшем компоненте цивилизации, одной из составляющих цивилизацию структур, а также одном из существеннейших ее признаков. При этом урбанизационные процессы рассматриваются как часть и критерий цивилизации [7]. Другой важный момент — попытка изучения города с точки зрения процесса урбанизации, когда город выступает как «фокус урбанизационного процесса», форма и результат урбанизации, а сама урбанизация как процесс формирования и распространения городской культуры [8].

Несмотря на формирование некоторых общих методологических подходов при изучении города, это понятие не приобрело строгого категориального смысла; существуют противоречивые и даже противоположные точки зрения относительно того, какие признаки городской жизни следует взять за основополагающие, каковы критерии разделения поселений на сельские и городские. Вероятно, невозможно найти общее определение города для всего периода его существования в пределах региона или отдельной страны, т. к. все понятия историчны, в каждую эпоху они имеют свое конкретное содержание. Данной точки зрения придерживается Б.Н. Миронов, который проанализировал определения, высказанные в исторической литературе применительно к русскому феодальному городу.

Многие исследователи эмпирически (а в отдельных работах и теоретически) пришли к представлению о многофункциональности города как социально-экономического явления. Против определения города только как экономической категории выступал известный медиевист, византиновед М.Я. Сюзюмов [9]. Исследователь писал, что всякая дефиниция связана с определением содержания и сущности явления или общественного института. На его взгляд, содержание понятия «город» включает в себя разнообразные функции, «которые город выполняет в развитии общества, социальный состав городского населения в разные эпохи существования самого города, культурный облик последнего и его роль в оформлении общественной идеологии и развитии науки» [10]. В работах историков, разделяющих эти идеи, речь идет о понимании города не только как торгово-ремесленного, но и как военно-политического, административно-хозяйственного и культурно-идеологического центра [11].

Относительно России можно констатировать, что в большинстве случаев приобретение статуса города не являлось результатом торгово-промышленного развития поселения и определялось потребностями государственной власти (за-

дачами оборонно-стратегического характера, административного устройства и пр.) [12]. В.А. Нардова по поводу российского города пишет: «Город играл многофункциональную роль, выступая как административный, военный, культурный, религиозный общественно-политический центр, и как таковой постепенно утрачивал черты, свойственные сельскому поселению» [13].

Безусловно, важным (если не решающим) фактором идентификации города является его официальное признание в качестве такового. Л.И. Рейснер по этому поводу пишет, что особо важно отметить «факт институционально-правового оформления статуса города, его официального признания таковым (хотя бы и вместе с непосредственно прилегающей к нему территорией), его вхождение тем самым в систему (иерархию) сообщающихся между собой «политических» городов, образующих урбанистический каркас провинции, государства, империи» [14]. На этот момент следует обратить внимание, отмечает он, не потому, что он наиболее существенен по сравнению с другими (хозяйственным и социально-экономическим), а потому, что его самостоятельное значение в генезисе и типологическом анализе городов часто недооценивается или просто игнорируется [15]. Разделяя точку зрения о том, что главным фактором для определения города является его официальный статус, следует отметить, что далеко не все исследователи ее придерживаются.

Уже предпринимались попытки изучения официальных городов в конкретно-историческом плане [16]. П.Г. Рындзюнский признает, что изучение населенных пунктов, официально признававшихся городами, имеет свой особый смысл и значение, т. к. в этих поселениях существовали «особые административные порядки, свойственные городам, в них обосновывались свои сословные корпорации, особая организация общественной жизни, имелся специфический городской состав населения». Поэтому, по его мнению, «рассмотрение городов в том их составе, каким он был официально признан, получает свое оправдание и представляется единственно возможным» [17].

Традиционной (но вместе с тем все еще недостаточно исследованной) для урбановедения проблемой является история городского самоуправления. Городское самоуправление во все исторические периоды являлось важным социальным институтом с довольно широкими и разнообразными функциями. Оно было необходимым и закономерным фактором организации, развития и воспроизводства городской субкультуры. Городское самоуправление в России имеет длительную историю, на протяжении которой оно неоднократно реформировалось.

Анализируя цели, характер и последствия этих преобразований, необходимо рассматривать их в связи с общей весьма дискуссионной проблемой: самодержавная власть и реформы в дореволюционной России. Очевидно, что политика самодержавия в сфере городского самоуправления менялась в соответствии с общим курсом преобразований. В период либеральных реформ Александра II была преобразована система местного управления в соответствии с принципами всесословности, разделения властей и самостоятельной деятельности в пределах предоставленной законом сферы компетенции. Целью реформ Александра II было привлечение к государственному управлению общественных элементов. Иные задачи ставила перед собой более консервативная по характеру город-

ская реформа 1892 г., проведенная Александром III, которая должна была сд лать более эффективной работу городского общественного управления. Иссл дование законодательной базы городского самоуправления и результатов е практической реализации (в частности, избирательного права и последств выборов) позволяет также сделать определенные выводы об уровне политич кой культуры городского населения.

Объектом исследования в работах, посвященных истории городского сам управления, являются официально признанные города, т. к. лишь они име право формирования органов городского самоуправления, обладали особой а министративно-управленческой функцией.

Дискуссионным является сам термин «самоуправление». Понятие самоуправление является историческим. В этой связи представляется уместным про анализировать его эволюцию. В «Энциклопедическом словаре» Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрона дано такое определение: «Самоуправление — институт государственного права». В нем указано, что термин «самоуправление» (нем. selbstverwaltung; во франц. нет соответствующего слова) на континенте Европы был довольно новым (в Германии с 1850-х гг., в России с 1860-х гг.) и представлял перевод англ. selfgovernment. Как свидетельствует сама этимология слова, оно обозначает управление каким-либо кругом дел самими заинтересованными гражданами (непосредственно или через посредство избранных ими органов), без участия посторонней власти. Подчеркивалось также, что гораздо употребительнее термин «самоуправление» в более тесном смысле, когда он является синонимом местного самоуправления и обозначает, что «хозяйственными и иными делами какой-либо административной единицы (провинции, уезда, общины и т.д.) заведуют жители этой самой единицы, а не органы центральной власти». Отмечалось, что самоуправление существует там, где «местные дела противополагаются общегосударственным», и предполагает не только самостоятельность «местных дел», но и их независимость; оно признает различие самих источников власти «общегосударственных» и «местных» дел; первые либо властвуют милостью Божией, либо получают власть от всего народа; вторые получают ее от местного общества. Кроме того, правительство есть власть верховная, органы самоуправления — подзаконная [18].

Таким образом, автор энциклопедической статьи придерживался так называемой общественной теории самоуправления, исходным моментом которой является «противоположение «местных» интересов общегосударственным [19]. Согласно этой теории, пишет В.М. Гессен, «самоуправление является такой же самостоятельной, органически-единой формой общежития, как само государство». По его мнению, самоуправление и государство — два замкнутых круга, две самостоятельные сферы общежития, имеющие особое, специфическое содержание, — местные интересы, с одной стороны, и национальные, с другой, — и особую цель — попечение о тех и других» [20]. Подобную концепцию разделял М.Б. Горенберг. Городское управление, отмечал он, закон противопоставляет государственному управлению, называя его «общественным», в результате чего органы городского управления не являются государственными органами [21]. Сторонники общественной теории самоуправления доказывали

необходимость существования автономного, независимого от государственной власти местного общественного управления. В противовес этой концепции, представители государственной теории самоуправления полагали, что органы местного общественного (в том числе и городского) самоуправления являются лишь звеном в системе государственного управленческого аппарата.

Развитие самоуправления предполагает децентрализацию управления. Выясняя связь между понятиями децентрализация и самоуправление, П.П. Гронский устанавливал черты различия между децентрализацией в форме самоуправления и децентрализацией административной (бюрократической). Он доказывал несостоятельность господствовавшей одно время в немецкой доктрине теории свободной общины и общественной теории самоуправления. Исследователь подчеркивал, что органы «местного самоуправления суть в то же время и органы общегосударственной администрации, и что они ведают дела, порученные им государством, которое руководство частью общегосударственных дел передает органам местного самоуправления» [22]. П.П. Гронский местным самоуправлением называл «такую систему местного государственного управления, при господстве которой исполнительные и распорядительные органы местных учреждений избираются местным населением и обладают достаточной степенью независимости в сфере своей компетенции» [23]. Анализируя историю местного самоуправления России и Германии, он делал вывод, что здесь децентрализация в форме самоуправления уступает место децентрализации бюрократической [24].

Представитель государственной школы в историографии, известный идеолог либерализма Б.Н. Чичерин отмечал, что местное самоуправление служит школой для самодеятельности народа, «лучшим практическим приготовлением к представительному порядку» [25]. Основное политическое правило, по его мнению, состоит в том, что местное управление должно согласовываться с центральным государственным управлением, будучи его структурным элементом. Он писал, что самоуправление не может быть исключительным началом местных учреждений, оно должно согласовываться с деятельностью центральных органов и во многих отношениях подчиняться последним, так как части подчиняются целому, что создает гармонию и единство государственной жизни [26].

Раскрывая характер связей в системе государственного управления России в XIX — начале XX вв., определяемый самодержавной природой верховной власти, Е.А. Правилова отмечает: «Использование разнообразных моделей организации местного управления и самоуправления в России предполагало сохранение преобладания управленческих связей, основанных на монополии центра в определении организационной структуры, целей и методов управления, отношениях подчинения и начальственного надзора» [27]. По ее мнению, земская и городская реформы 1864—1870-х гг. являлись единственными реформами децентрализации управления в России XIX — начала XX вв. и впервые поставили перед правительством проблему использования связей нового типа. Определив сферу компетенции органов местного самоуправления, пишет она, правительство наделило их некоторыми правовыми гарантиями самостоятельности в принятии решений по вопросам местного значения и сохранило за собой право осуществления контроля [28]. Точнее, это были первые в России рефор-

мы децентрализации в форме самоуправления, во всех других случаях децентрализация носила бюрократический характер. Если городская реформа 1870 г. провозглашала самостоятельный характер деятельности городского самоуправления, привлекая к участию в нем довольно широкую общественность, то городская реформа 1892 г. вновь внесла элементы бюрократической децентрализации в систему государственного управления.

Исходя из самой общей дефиниции, сегодня под самоуправлением понимается «качественно особый вид самоуправления, при котором функционирование какой-либо социально-политической системы (подсистемы) осуществляется не извне, а автономно, на собственной основе, при широком и активном включении ее структур в решение внутренних проблем» [29].

В конкретно-историческом плане вопрос, «что следует понимать под «классическим самоуправлением» и где проходят границы, отделяющие его, с одной стороны, от «городского общественного управления», а с другой — от самоуправства и анархии» [30], — является крайне сложным (особенно при попытках соотнесения законодательной практики с исторической реальностью). Анализ исторического материала с точки зрения долговременных тенденций развития города и системы его управления позволяет выявить те принципы, которым должно соответствовать городское самоуправление: демократический принцип выборности, разделение властей (не всегда этот принцип реализовывался достаточно четко); самостоятельность деятельности органов городского самоуправления в пределах определенной законом сферы компетенции, контроль со стороны других властных структур только за законностью этой деятельности. При рассмотрении в данном ключе последствий городской реформы 1892 г., в частности, самого Городового положения, которое предусматривало (наряду с выборным началом) право назначения губернатором людей на руководящие посты в органы городского самоуправления, а также контроль губернской администрации не только за законностью, но и за целесообразностью действий городских властей, обнаруживаются определенные несоответствия принципам самоуправления, взятого в его идеальном варианте. Однако, при обращении к реальной исторической практике на примере отдельного региона (например, Среднего Урала) можно видеть, что правом назначения губернатор никогда не злоупотреблял и пользовался им лишь в тех случаях, когда на местах возникали сложности при формировании руководящего состава органов городского самоуправления. Да и отношения городского самоуправления с губернской администрацией после реализации закона 1892 г. в провинциальных городах (например, в тех же уральских) не претерпели существенных изменений [31]. Все это лишний раз доказывает правомерность использования термина «самоуправление» применительно к концу XIX — началу XX в. и подчеркивает необходимость учитывать историчность этого понятия.

Целью данной статьи является анализ работ по истории городского самоуправления в России в конце XIX — начале XX в. в целом и вклад региональной историографии в изучение данной проблемы (на примере ураловедения). Следует отметить, что специалисты уже обращались к данной проблеме. Однако даже в фундаментальных монографических трудах В.А. Нардовой, а также в сравнитель-

недавно опубликованной серьезной монографии Л.Ф. Писарьковой даны профессионально выполненные, но, к сожалению, достаточно сжатые историографические очерки [32]. По справедливому замечанию Л.Ф. Писарьковой, «тема городского самоуправления была слишком актуальна для пореформенной России и слишком политизирована в последующие десятилетия, чтобы стать предметом беспристрастного изучения историков» [33]. Пришла пора более скрупулезно и максимально объективно подойти к данной теме.

Значительную часть дореволюционной литературы представляют работы (как специальные исследования, так и публицистика), в которых дается историко-правовой анализ городских реформ 1870 и 1892 гг. Одной из первых работ, посвященных городской реформе 1870 г., стала книга А.А. Головачева «Десять лет реформ». Автор подробно проанализировал Городовое положение 1870 г. и пришел к выводу об ограниченной самостоятельности органов городского самоуправления. В частности, он отмечал, что Городовое положение 1870 г. «предоставляло возможность для администрации распоряжаться по усмотрению всем городским хозяйством через посредство городского головы». «Мы не хотим этим сказать, что такова была цель Положения, но таковы оказываются последствия, которых, быть может, никто не желал», — добавлял он [34].

История дореформенного городского управления получила освещение и в исследованиях И.И. Дитятина [35]. Историк, в частности, тщательно изучил процесс подготовки Городового положения 1870 г., ознакомившись с деятельностью правительства, местных комиссий; проанализировал проекты этого закона, его основные статьи.

Г.И. Шрейдер исследовал в историко-правовом плане Городовые положения 1870 и 1892 гг., а также социальные последствия городских реформ [36]. Проанализировав состав органов городского общественного управления после реформы 1892 г., Шрейдер отмечал, что наблюдалось повышение общего образовательного уровня членов городских дум и, наоборот, его понижение у членов городских управ. Г.И. Шрейдер указывал на реакционный характер Городового положения 1892 г. О городской реформе 1892 г. он писал, что законом было «создано только подобие самоуправляющегося учреждения; в действительности на месте самоуправления им организовано управление местностью на началах казенной правительственной администрации через состоящих на государственной службе выборных чиновников, т.е. по существу тех же выборных приказных, приставленных к царскому делу» [37]. Он отметил, что Городовое положение резко сокращало контингент избирателей путем повышения избирательного ценза, а также тот факт, что некоторые его принципы совершенно не соответствовали началам самоуправления; в частности, право назначения членов городского общественного управления наряду с сохранением избирательного принципа [38].

Г. Джаншиев охарактеризовал процесс подготовки реформы 1870 г., указал на крупные недостатки Городового положения, в частности, связанные с принципами избирательной системы, благодаря чему «создалось такое положение, что заслуженный профессор, видный ученый или медик должен был фиктивно выправить за два года приказчичье свидетельство или купить какую-нибудь развалину на окраине города, чтобы получить право участия в го-

родских выборах». Одним из крупных недостатков Городового положения 1870 г. исследователь называл «столь вредное и с теоретической, и с практической точек зрения соединение в лице городского головы председательства в городской думе и в городской управе». Г. Джаншиев несколько переоценивал значение закона 1870 г., говоря об «освобождении городского управления от угнетающей, все тормозящей опеки административной власти». В целом ученый утверждал об определенных успехах в работе городского самоуправления после реформы 1870 г., успехах, которые официально были засвидетельствованы даже указом Александра III 11 июня 1894 г. («Городовое положение 1870 г. принесло в течение 20-ти лет своего применения немаловажную пользу»). «Как ни крупны были некоторые недостатки Городового положения, — писал Г. Джаншиев, — проникавший его дух самостоятельного управления городскими делами» был так необходим, а результаты деятельности городского самоуправления плодотворны, в результате чего реформа оставила «отрадный след в истории русской культуры» [39].

Из работ начала XX в. выделяется труд Д.Д. Семенова «Городское самоуправление. Очерки и опыты». Он попытался выявить подлинные формы децентрализации и принципы самоуправления. Исследователь отмечал, что действительная децентрализация может базироваться только на местном самоуправлении, причем органы такого самоуправления должны быть наделены широкими и достаточно самостоятельными полномочиями. Он подчеркивал, что все плодотворные и значительные результаты городских общественных управлений, организованных по положению 1870 г., должны быть приписаны преимущественно той самостоятельности, которая была дарована городам этим положением. Сравнивая Городовые положения 1870 и 1892 гг., Д.Д. Семенов приходил к выводу о преимуществах положения 1870 г., допускавшего большую самостоятельность городских общественных учреждений [40].

Литература по городскому самоуправлению, вышедшая в начале XX в., ставила перед собой задачу доказать несостоятельность городской реформы 1892 г. в целом и в новых условиях, в частности. Во многом это было обусловлено недостаточной эффективностью городского общественного управления, а также связано с разработкой и обсуждением проектов реформирования местного самоуправления в Государственной думе в начале XX в. Критика Городового положения велась в сравнении с Городовым положением 1870 г. Для работ этих лет типична определенная идеализация закона 1870 г. [41]. Так, А.Г. Михайловский писал, что Городовое положение 1870 г. является типичным результатом знаменательной эпохи великих реформ, которое, как и большинство правительственных начинаний 60-х гг., было проникнуто умеренно-либеральным духом. Негативной чертой этой реформы, на его взгляд, являлась лишь трехразрядная избирательная система, скопированная с наименее демократической из западно-европейских избирательных систем — прусской избирательной системы. Эпоху Александра III А.Г. Михайловский оценивал как эпоху реакции, отмечал, что в результате реформы 1892 г. городское управление было превращено в полубюрократическое учреждение, действовавшее по указке администрации [42].

А.А. Кизеветтер в реформах 1860—1870-х гг. видел лучшее проявление содружества царской власти с либералами. Как и другие кадеты, он оценивал эти реформы очень высоко. По поводу Городового положения 1870 г. он писал, что оно представляло собой крупный шаг вперед в деле развития общественного самоуправления по сравнению с дореформенным порядком. Однако одновременно, по его словам, оно отразило некоторые колебания между старыми и новыми началами. Видя в реформах сочетание консервативных и либеральных элементов, Кизеветтер отмечал зависимость городского самоуправления от администрации; неравномерное участие городских слоев в городском управлении; преобладание купечества в городских думах. Что касается городской реформы 1892 г., то А.А. Кизеветтер писал: «Городовое положение 1892 г. ввело некоторые технические улучшения в отдельные стороны устройства городского самоуправления, — упомянем, например, замену системы трехклассных выборов территориальными избирательными округами, — но в общем еще более усилило как односторонность состава городских дум, так и зависимость городского самоуправления от администрации» [43].

С.Ю. Витте охарактеризовал существовавшее городское самоуправление, проанализировав его законодательную базу, остановился на некоторых недостатках городского самоуправления, существовавших на практике. Он рассмотрел также городской бюджет, изучив источники доходов и направления расходов, вопросы, связанные с отчетностью и налоговой политикой городских властей [44]. Большинство исследователей доказывало насущную необходимость городской реформы 1870 г., обусловленную развитием городов в социально-экономическом отношении, прогрессивное значение этого закона [45]. В.И. Пичета пришел к выводу, что, несмотря на существование отдельных недостатков, Городовое положение 1870 г. имело огромное значение для развития российского города. Он писал, что, «несмотря на неравномерное распределение гласных и привилегированное положение капитала, Городовое положение все-таки предоставляло городским учреждениям большую самодеятельность, результаты которой сказались уже к концу 80-х годов XIX века, когда многие из городов совершенно изменили свой внешний облик, улучшили городское хозяйство, существенно развили свою культурно-просветительную деятельность в интересах всего городского общества» [46]. Лучшей стороной реформы К.А. Пажитнов считал предоставление городскому общественному управлению довольно широкой самостоятельности в ведении городского хозяйства и решении местных дел. В целом, он приходил к выводу о том, что, несмотря на все свои недостатки, Городовое положение 1870 г. являлось «крупным шагом вперед как по сравнению с предшествующим периодом, так и с тем положением, в котором находится современное городское самоуправление» (автор имел в виду закон 1892 г.), т. к. оно «проникнуто, хотя и умеренно, но все же либеральным духом, и построено на идее доверия к общественной самодеятельности». Свои выводы о характере и результатах городской реформы 1892 г. К.А. Пажитнов подкреплял статистическими данными, отмечая сокращение численности избирателей в различных городах России. Он констатировал тот факт, что одновременно сократилось и число гласных. К.А. Пажитнов подчеркивал, что по закону

1892 г. усилился контроль администрации над органами городского самоуправления, городские головы и члены управ стали считаться с этого времени людьми, состоящими на государственной службе; фактически городское общественное управление теряло самостоятельность. Основной вывод К.А. Пажитнова заключался в том, что реформа 1892 г. отбросила нас далеко назад по сравнению с порядками, существовавшими в городах Западной Европы [47]. Проблему самостоятельности органов городского общественного управления А.А. Корнилов тесно связывал с правом самообложения и бюджетной политикой города в целом, которая ограничивалась законодательством.

Почти во всех дореволюционных трудах по теме городского самоуправления уделялось внимание избирательному праву. В отличие от европейских стран, в России право голоса для участия в городских выборах как по Городовому положению 1870 г., так и по Городовому положению 1892 г. не получили квартиронаниматели. О необходимости введения образовательного ценза наряду с имущественным писал И.О. Фесенко [48]. Интеллигенция, не обладавшая имущественным цензом, устранялась от участия в городских выборах. В этой связи А.Ф. Кемеровский писал, что в результате такой избирательной системы беднейший мещанин, вносивший десятикопеечный сбор, мог выбирать, мог пройти в гласные, а профессор, судья, литератор, художник не могли этого сделать [49]. Коренное юридическое различие между заграничным и российским городским самоуправлением подчеркивал В.Ф. Тотомианц, что, по мнению исследователя, было обусловлено особенностями российской избирательной системы [50].

Оценка городских реформ давалась в общих работах по истории России. Так, в «Учебнике русской истории» С.Ф. Платонова, изданном впервые в 1900—1910 гг., городская реформа 1870 г. оценивалась позитивно. Историк отмечал ее положительное значение для социально-экономического роста городов. С.Ф. Платонов писал, что в тот период «города ожили и, пользуясь новым самоуправлением, приняли иной вид»; «из административных центров они стали превращаться в центры народно-хозяйственной деятельности» [51].

Специальных работ по истории городского самоуправления на Урале до революции не было, однако в различных сборниках материалов, а также работах, посвященных истории уральских городов, можно обнаружить сюжеты, связанные с историей городского самоуправления. В частности, в сборнике «Столетие Вятской губернии» повествовалось о введении Городового положения 1870 г. в городах Вятской губернии (приведены интересные данные о формировании первых по закону 1870 г. органов городского самоуправления, результатах их деятельности, сведения о городских бюджетах) [52].

Отдельные аспекты темы городского самоуправления на Среднем Урале до революции рассматривались в работах, посвященных истории отдельных городов. Список городских голов Перми и отдельные факты из истории городского самоуправления приводятся в работе А. Дмитриева «Очерки из истории города Перми». Список городских голов с биографическими данными помещен в «Сборнике статей о Пермской губернии» Д. Смышляева. Одним из первых, кто на примере Екатеринбурга обратился к теме городского самоуправления, был известный писатель и знаток края Д.Н. Мамин-Сибиряк. Составив и проана-

анализировав список городских голов Екатеринбурга с 1800 по 1884 гг., он пришел к выводу, что в течение этого периода во главе городского управления находились представители коренных купеческих родов Тарасовых, Рязановых, Казанцевых, Харитоновых, Коробковых и других, внесших «в жизнь Екатеринбурга характерную окраску московской раскольничьей старины, а потом единоверия на особых условиях». В работе «Город Пермь. Сборник очерков по истории, культуре и экономике города», а также в трудах В. Верхоланцева уделяется внимание городскому самоуправлению, рассматривается бюджет Перми, коммунальное хозяйство города (в частности, освещается деятельность пермского городского самоуправления, связанная с благоустройством города, авторы повествуют о строительстве в Перми водопровода и электрической станции и т.д.). П.Н. Столпянский коснулся вопросов работы органов самоуправления Оренбурга; на примере земельных споров автор раскрывал их взаимоотношения с казачеством [53].

Таким образом, основным вкладом дореволюционных исследователей в исследование проблемы являлось изучение истории городских реформ 1870 и 1892 гг. в России (их подготовка, оценка целей, характера и результатов этих преобразований), тщательный историко-правовой анализ законодательной базы городского самоуправления (Городовых положений 1870 и 1892 гг.). Что же касается собственно истории городского самоуправления на Урале, то в трудах дореволюционных историков получили освещение лишь отдельные аспекты проблемы.

Длительное время представители советской историографии в соответствии с установками марксизма-ленинизма в процессе обращения к городской проблематике в большей степени изучали социально-экономическую и политическую историю генезиса и развития буржуазной формации. Тема городского самоуправления почти не изучалась. «Если социально-экономическое развитие городов получило в историографии известное освещение, — справедливо отмечает В.А. Нардова, — то неразрывно связанная с ним проблема управления и самоуправления как в дореволюционной, так и советской исторической науке изучена крайне слабо» [54]. Западное урбановедение пошло по иному пути, занимаясь, главным образом, вопросами типологизации городов, выявлением градообразовательных и функциональных особенностей городов и городских систем, вопросами управления.

Тем не менее, в советской и современной отечественной историографии все же освещались причины, характер и результаты преобразований городского управления 1870 и 1892 гг. Конкретно-исторические работы советских авторов касались, главным образом, самоуправления отдельных городов; многостороннее освещение получила, в частности, история Московского городского самоуправления [55].

Значительный вклад в изучение городского самоуправления внес Л.А. Великов, проанализировавший город и его хозяйство в целом в историческом, экономическом и правовом отношении, а также конкретные отрасли городского хозяйства [56]. В дальнейшем обращение к городским реформам 1870 и 1892 гг. было связано с исследованиями внутренней политики самодержавия. В частности, ведущий специалист в этой области П.А. Зайончковский уделил внимание Городовому положению 1892 г. Он проанализировал основные причины проведения

новой городской реформы, рассмотрев высказывания высших государственных деятелей, предложения губернаторов и градоначальников, последовавшие в правительство в связи с подготовкой реформы. При этом он подробно остановился на отмеченных ими недостатках городского общественного управления, которые и должна была упразднить новая реформа (1892 г.). Сравнив Городовое положение 11 июня 1892 г. с Городовым положением 1870 г., П.А. Зайончковский пришел к выводу о том, что реформа внесла существенные изменения в избирательную систему, значительно ограничив избирательное право и ликвидировав трехразрядную систему выборов посредством введения одного избирательного собрания. Исследователь подчеркнул, что в результате реформы изменился характер взаимоотношений органов городского самоуправления с администрацией, резко усилился контроль губернатора над городскими властями. Регламентация численного состава органов городского самоуправления, их деятельности, как отмечал историк, — другая сторона реформы 1892 г.

В целом П.А. Зайончковский делал вывод о том, что Городовое положение 1892 г. существенно уменьшило самостоятельность органов городского общественного управления, усилив права администрации и превратив членов городских управ (исполнительных органов власти) в лиц, состоящих на государственной службе. Реакционное значение городской реформы 1892 г. он связывал с лишением значительной части мелкобуржуазных слоев городского населения избирательного права, усилением роли дворянства в связи с изменениями в избирательной системе. Положительное значение реформы, по его мнению, заключалось в изменении состава органов городского самоуправления (увеличении числа лиц интеллигентских профессий — людей со средним и высшим образованием) [57].

Начинания П.А. Зайончковского продолжила Л.Г. Захарова, крупный современный специалист по вопросам пореформенной России. Она, в частности, исследовала вопрос о формировании общей концепции реформ, их взаимосвязи, отметив, что «осуществление земской реформы сделало неотвратимым создание городского самоуправления также на началах выборности и всесословности по закону 1870 г.». Влияние личностного фактора на исторический процесс в целом, роль Александра II в проведении великих реформ 60—70-х гг. XIX в. (в том числе и городской) подчеркивается в другой статье Л.Г. Захаровой. «Александр II сознательно шел на введение новых институтов — всесословного местного самоуправления в уездах, губерниях, городах...», — пишет она. Другой аспект проблемы роли личности в истории — оценка личностных качеств деятелей городского самоуправления — также нашел отражение в работах по истории органов городского самоуправления. Так, Л.Ф. Писарькова обратилась к личностным характеристикам городских голов Москвы. Отмечая широкие полномочия городского головы по закону, она отмечает важную роль личных качеств городского головы. Исследователь пишет, что на протяжении 1863—1917 гг. 14 человек, разных по воспитанию, образованию и характеру, сменяли друг друга на должности московского городского головы [58].

В историографии существуют разные точки зрения относительно целей городской реформы 1870 г. В.В. Гармиза полагает, что при проведении реформы преследовалась цель «привлечь к управлению верхушку города — крупную

инансовую и торговую буржуазию». По мнению же В.А. Нардовой, «наибольую заинтересованность правительство проявляло в привлечении к городскому самоуправлению представителей дворянского сословия», которое являлось циальной опорой царизма. Именно поэтому необходимо было проанализировать остав городского самоуправления после реформы. Этот вопрос обсуждался в работах других исследователей, в частности, изучавших социальный состав органов городского самоуправления в губерниях Центрально-черноземного района [59].

В современной историографии было подвергнуто критике определение «контрреформы» применительно к преобразованиям Александра III [60]. Действительно, городскую реформу 1892 г. вряд ли можно назвать контрреформой, т. к. она не предусматривала целостную замену предшествующей системы городского самоуправления какой-либо принципиально новой моделью. Городовое положение 1892 г. предполагало корректировку реформы 1870 г., попытку приспособить городское общественное управление к новому правительственному курсу, новой политической доктрине. Вместе с тем, Городовое положение 1892 г. внесло определенные качественные изменения в систему городского самоуправления (более консервативные по сравнению с законом 1870 г.). В целом эта попытка, как и другие преобразования подобного рода, не удалась в полной мере [61].

Важное место в историографии проблемы заняли труды В.А. Нардовой, которая впервые ввела в научный оборот широкий массив архивных материалов, на общероссийском материале проанализировав причины и предпосылки городских реформ, их ход, характер и результаты. В.А. Нардова подчеркивает, что реформу городского самоуправления 1870 г. следует рассматривать в русле реформ 60-х гг. XIX в., т. к. на изменение программных установок в более прогрессивном направлении оказала влияние предшествующая разработка земского положения. По мнению В.А. Нардовой, городская реформа 1870 г. была приближена к буржуазным правовым нормам (имеется в виду принцип всесословного представительства, разделение распорядительной и исполнительной властей и самостоятельность городского общественного управления). Исследователь ставит принципиально важный вопрос о роли и значении органов городского самоуправления в системе самодержавного государственного строя. На широком общероссийском материале (использованы данные о крупных городах Урала) В.А. Нардова раскрывает характер взаимоотношений органов городского самоуправления с правительственной администрацией, приводит данные о социальном составе городских избирательных собраний для выяснения социальных причин в целом пассивного отношения городских дум к реалиям общественно-политической жизни страны, анализирует социально-имущественный состав гласных и городских голов, рассматривает городской бюджет, отдельные аспекты деятельности городских властей [62].

Следует отметить, что не потеряли своей актуальности и историко-правовые исследования местного самоуправления второй половины XIX в. [63].

Сравнительно недавно стали появляться региональные исторические исследования городского самоуправления [64]. До этого ученые обращались главным образом к изучению истории самоуправления в масштабах отдельных городов или страны в целом.

Большой интерес представляет монография Л.Ф. Писарьковой, в которой проанализирована история городского самоуправления Москвы во второй половине XIX — начале XX в. [65]. При этом не со всеми положениями данной работы можно согласиться. Невозможно признать справедливым тезис о том, что городское самоуправление в России берет начало с «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи» (1785 г.). В действительности институты городского самоуправления появились значительно раньше, и, кроме того, существовала определенная преемственность традиций городского самоуправления [66]. По мнению Л.Ф. Писарьковой, низкая активность избирателей, сословный антагонизм среди избирателей и гласных, образование в их среде «сословных партий, характерные для городского самоуправления Москвы 1870—1880-х гг. и менее заметные в предыдущий период, были последствием избирательной системы» [67]. Как нам кажется, существовали и более глубокие причины данного явления. Предвыборная борьба, противостояние различных группировок в московском городском самоуправлении являлись показателем возрастающей общественной активности различных представителей городского общества, но, чтобы продемонстрировать ее, они облекались в старые одежды «сословного покроя». Вместе с тем, можно полностью согласиться с выводами автора о прогрессивных изменениях в городском самоуправлении по закону 1870 г., связанных с предоставлением ему определенной финансовой самостоятельности (в частности, предоставление городам новых источников доходов). Однако исследователь отмечает, что «широкая самостоятельность, предоставленная органам городского самоуправления, обернулась всесилием управы и злоупотреблениями ее членов». Подобно тому, как в большинстве работ тотально критиковалась городская реформа 1892 г., с точностью до наоборот эта реформа идеализируется Л.Ф. Писарьковой: целесообразными признаются и сокращение численности избирателей путем установления высокого имущественного ценза (как следствие — увеличилось число лиц с высшим образованием в составе гласных Московской городской думы), и усиление государственного контроля над органами городского самоуправления со стороны (в результате чего пресекались злоупотребления органов городского самоуправления) [68]. Безусловно, реформа 1892 г. усовершенствовала избирательную систему, создав единое избирательное собрание с использованием территориального принципа выборов. Между тем, вряд ли можно признать прогрессивным сокращение контингента городских избирателей по законам 1870 г. (единственное, что не соответствовало духу либеральной реформы Александра II) и 1892 г. В других капиталистических государствах в течение всего XIX и в начале XX в. наблюдалась демократизация избирательного права с приближением его к всеобщему, равному, тайному и прямому голосованию, при пропорциональном представительстве [69].

Роль городских реформ 1870 и 1892 гг. в социальной истории России рассмотрел Б.Н. Миронов. Он пришел к выводу, что Городовое положение 1870 г. во многом способствовало девальвации сословной парадигмы. Городовое положение, отмечает он, превратило сословное городское самоуправление во всесословное, в котором дворянство и профессиональная интеллигенция заняли значительное место [70] (следует подчеркнуть, что далеко не во всех городах;

иной была ситуация в малых провинциальных городах — *Е.А.*). Б.Н. Миронов отмечает, что до 1870 г. ни крестьяне-отходники, ни в большинстве случаев крестьяне-горожане не принимали участия в городском самоуправлении. Вместе с тем, во всех городах крестьяне-горожане участвовали в принятии городским обществом решений, которые непосредственно их касались. Он подчеркивает, что по Городовому положению 1870 г. все крестьяне-горожане получали это право, если удовлетворяли цензу [71]. Исследователь полагает, что реформа внесла «коренное изменение в отношения между городским обществом и коронной администрацией и вследствие этого изменила традиционный дуализм городского общества», «новые городские думы больше не считали себя слугами государства, ответственными перед ним за свою деятельность» [72]. Признавая усиление общественного элемента в системе городского самоуправления в последней трети XIX в., вместе с тем, нельзя отрицать факт его инкорпорированности в государственные управленческие структуры (в частности, об этом свидетельствует установление надзора над органами городского самоуправления со стороны правительственной администрации). Городовое положение вновь декларировало этот дуализм. Вряд ли можно говорить о том, что с 1870 г. органы городского самоуправления полностью утратили свой двойственный характер учреждений государственных и общественных. Однако с этого времени они в большей степени стремились отстаивать свои общественные интересы. Деятельность земств и городских дум способствовала дальнейшему распространению и развитию либеральных взглядов и настроений среди общественности [73]. Следует признать справедливым общий вывод Б.Н. Миронова, что «во второй половине XIX в. складывается новый политический менталитет, согласно которому общество имеет право и должно участвовать в государственном управлении наравне с коронной администрацией» [74].

Проблемам российского города в целом и городским реформам 1870 и 1892 гг., в частности, уделяется определенное внимание в работах зарубежных историков Р. Пайпса и Сетон-Уотсона. Р. Пайпс проанализировал социальную структуру российского города, ее эволюцию с течением времени. Сетон-Уотсон подчеркнул значительность преобразований Александра II (в том числе и городской реформы 1870 г.). Однако он обратил внимание и на определенные недостатки реформы — устранение рабочих и интеллигенции от участия в выборах. К положительным результатом реформы он отнес улучшение внешнего благоустройства городов, их внешнего облика. Что касается городской реформы 1892 г., то Сетон-Уотсон подчеркивает, что ее важными чертами было дальнейшее сокращение избирательного права, усиление власти бюрократов, отвергавших местную инициативу, консервативности городских голов, недостаточное благоустройство городов в целом (наблюдались резкие контрасты между центром и окраинами) [75].

Б.Х. Самнер подчеркнул, что в истории России можно наблюдать идеи, принципы и реальное существование выборных институтов, но вместе с тем отметил, что они развивались непосредственно, невзаимосвязанно и почти целиком зависели от центральной власти. В России, пишет он, первичной была история местного самоуправления, а затем история народного представительства на обще-

государственном уровне. Б.Х. Самнер также отметил, что великие реформы Александра II были в основном достижением, результатом реформаторской деятельности прогрессивно мыслящей бюрократии, которую стимулировало давление снизу и которая сотрудничала с различными комитетами, иногда выбираемыми или назначаемыми. В основе реформ лежали идеи разделения власти представительной и исполнительной, идеи децентрализации и самоуправления; этим идеям противостояли консервативные силы, что породило длительную борьбу за их реализацию. Учреждению городских выборных институтов самоуправления, отмечает Самнер, предшествовало создание земств. Принципы проведения этих реформ во многом совпадали. Сходную судьбу земские и муниципальные институты имели и в период царствования Александра III. В результате реформы 1892 г. над городским самоуправлением усилился контроль со стороны центральной власти. В целом, подчеркивая положительные результаты деятельности городского самоуправления, историк пишет, что, несмотря на оппозицию бюрократии, практика местного самоуправления на протяжении почти полувека (до революции 1917 г.) не прошла бесследно. В политическом смысле сами идеи и практика местного самоуправления способствовали развитию либерализма в России в условиях противостояния консервативных и либеральных сил [76].

Н.Б. Вайсман отмечал, что сфера компетенции земств и городского самоуправления была ограничена социально-экономическими (хозяйственными) вопросами. Царская власть, по его мнению, вовсе не собиралась кардинальным образом преобразовывать местное самоуправление, стремясь интегрировать его в существующий порядок. Исследователь рассмотрел существовавшие в историографии концепции местного самоуправления. В частности, Н.Б. Вайсман подчеркнул, что, в отличие от своих предшественников, сторонники государственной теории отрицали какое-либо различие в задачах и функциях государственной власти и местной. Они рассматривали земское и городское самоуправление как интегральную часть государственной структуры, отличающуюся лишь выборным принципом формирования своих представителей [77]. Ричард Роббинс писал по поводу Городового положения 1870 г., что в результате этой реформы городское самоуправление получило функции в социально-экономической сфере, которые до этого осуществлялись губернской администрацией. Он отмечал, что городская реформа была проведена не во всех городах Российской империи. Историк также подчеркнул довольно высокую степень независимости местного самоуправления, полученную им в результате реформ Александра II [78]. В своей монографии Томас Пирсон писал о том, что ведущие концепции законодательства в области городского общественного управления (законы 1870 и 1892 гг.) были заимствованы из земского законодательства 1864 и 1890 гг., соответственно [79].

Проблемы городского самоуправления нашли отражение в ураловедении XX в. В историографической статье Б.А. Сутырина (1967 г.) подчеркивается, что предшественниками было положено начало изучению генезиса капиталистического города на Урале, но судьба городов пореформенного периода еще не получила серьезной историографической разработки [80]. Демографией городов Урала занимался В.П. Пешков [81]. Он исследовал численность и со-

циальный состав постоянного населения городов дореформенной Пермской губернии. Рассмотрев численность горожан Пермской губернии в динамике (в 1786, 1815 и 1858 гг.), он отметил изменения в темпах ее роста: наиболее медленными они были в конце XVIII — начале XIX вв. и, наоборот, быстрыми — в 1815—1858 гг. За 1786—1858 гг., по расчетам автора, более чем в два раза увеличилось население Ирбита (334%), Шадринска (241%), Алапаевска (177%), Осы (151%), Камышлова (126%), Перми (124%), Екатеринбурга (117%), Долматова (112%). Он отмечает также, что наблюдался рост населения Чердыни (61%) и Кунгура (55%).

Специалисты уделяли некоторое внимание проблеме городского самоуправления в обобщающих работах по истории уральских городов и Урала в целом, однако конкретная деятельность органов городского самоуправления не получила в них глубокого освещения [82]. При этом для советской историографии была характерна критическая оценка органов городского самоуправления второй половины XIX — начала XX вв. В новых очерках по истории города Екатеринбурга («Екатеринбург. Исторические очерки (1723—1998)»), не отличающихся новизной в оценке городских реформ 1870 и 1892 гг., отмечаются заметные успехи в работе городских властей, в частности, повествуется о том, что пореформенные органы городского самоуправления сыграли положительную роль в хозяйственном развитии города, его благоустройстве, расцвете местной торговли и промышленности, способствовали совершенствованию народного образования и здравоохранения, улучшению санитарного и противопожарного состояния и т.п. [83].

Специально обращался к проблеме городского самоуправления Екатеринбурга М.А. Горловский [84]. Опираясь на архивные (ЦГИАЛ, теперь РГИА; ГАСО) и опубликованные материалы, историк проанализировал результаты проведения городской реформы 1870 г., функционирование избирательной системы, подробно рассмотрел выборы гласных на второе четырехлетие после реформы, которые проводились в 1876 г. Автор уделил внимание численному и сословно-социальному составу избирателей Екатеринбурга. По мнению М.А. Горловского, подавляющая часть населения города не могла принимать участие в выборах, трехразрядная избирательная система обеспечивала численное преимущество верхушки городского общества (домовладельцев, торгово-промышленной части населения города и чиновничества) в органах городского самоуправления. Рассмотрев сословно-социальный состав органов городского общественного управления, Горловский доказал, что большинство гласных Екатеринбургской городской думы принадлежало к купечеству и чиновничеству города. М.А. Горловский коснулся также вопросов, связанных с проблемой взаимоотношений городского самоуправления с правительственной администрацией. Историк показал, что заседания Екатеринбургской городской думы (распорядительного органа городского самоуправления) в начале 70-х гг. XIX в. проходили нерегулярно. Автор статьи отметил и тот факт, что на заседаниях думы реально принимало участие не более половины всего числа гласных, лишь на отдельных заседаниях их было больше. Он охарактеризовал сферу компетенции городских властей. М.А. Горловский довольно подробно рассмотрел бюджет Екатеринбурга с 1871 по 1875 гг. Относительно быстрый рост доход-

ной части городского бюджета он объяснял тем, что после реформы и особенно с конца 60-х гг. XIX в. оживилась промышленность и торговля города, вследствие чего население Екатеринбурга стало облагаться более крупными налогами и различными сборами. Анализируя расходную часть городского бюджета Екатеринбурга, исследователь доказывал неправомерность точки зрения, согласно которой городской общественное управление в России в результате городской реформы 1870 г. получило самостоятельность. М.А. Горловский отмечал, что Екатеринбургская городская дума большие суммы денежных средств расходовала в качестве обязательных, что ограничивало ее самостоятельность в процессе ведения городского хозяйства.

Аналогичные проблемы на примере губернского города Перми исследовал М.И. Черныш [85]. Его целью было «вскрыть классовую сущность новых органов городского общественного управления и показать ограниченность их прав в вопросах, относящихся к нуждам городского населения». М.И. Черныш проанализировал состав Пермской городской думы и ее бюджет, деятельность кредитных учреждений города, работу городских властей в различных сферах городского хозяйства. Автор разделяет традиционную для историографии точку зрения о прогрессивности нового устройства, введенного городской реформой 1870 г., по сравнению с предшествовавшим порядком. Вместе с тем, автор подчеркивал, что городское общественное управление было ограничено узкими рамками чисто хозяйственных вопросов; выполняя свои обширные и сложные обязанности, оно было ограничено в правах и зависело от центральной и губернской правительственной власти. М.И. Черныш в своей статье доказывал, что городское самоуправление по существу не представляло интересов всего городского общества. Проанализировав состав Пермской городской думы в первые три четырехлетия (1871—1882 гг.), он утверждал: «Органы местного общественного управления (городская дума, городская управа), замышляемые по закону 1870 года как бессословные, в противоположность сословным городским думам дореформенного периода, по существу были отданы в руки крупной и средней промышленной буржуазии и купечества». Рассмотрев деятельность органов городского самоуправления Перми в различных сферах, М.И. Черныш сделал вывод о том, что практические мероприятия городской думы в области благоустройства города, забота о народном образовании, медицине, ветеринарии и санитарии и пр. имели ограниченный характер и во многом классовую направленность.

История городского самоуправления в Вятской губернии исследована в диссертации С.В. Мясникова [86]. Ученый рассмотрел самоуправление уездных городов Вятской губернии периода городской реформы 1870 г. В качестве конкретных объектов исследования им взяты все десять уездных городов этой губернии. Историк дает характеристику городов, отмечает особенности избирательных кампаний, рассматривает сословно-социальный состав городских дум и управ, деятельность органов городского самоуправления в различных сферах общественной жизни. Исследователь на конкретном фактическом материале освещает способы ведения городского хозяйства, анализирует бюджеты вятских городов. Автор показывает роль отдельных личностей в работе городского самоуправления. Исследователь констатирует тот факт, что города Вят-

ской губернии по составу населения являлись мещанскими, однако ведущую роль в их социально-экономической жизни играло местное купечество. Большинство городских голов являлись купцами. Автор подчеркивает, что введение самоуправления в городах Вятской губернии способствовало привлечению купечества, как наиболее могущественной и деятельной части населения, к общественным делам. Несмотря на ограниченность бюджетов, городским властям удалось во многом улучшить муниципальное хозяйство. Со времени введения Городового положения 1870 г. в городах Вятской губернии в лучшую сторону менялся их внешний облик. Заметных успехов они добились в области просвещения и медицины. Однако хронологические рамки исследования С.В. Мясникова охватывают только период городской реформы 1870 г.

Городское общественное управление Южного Урала накануне городской реформы 1870 г. (в 60-е гг. XIX в.) исследовала Г.Э. Эмалетдинова, проанализировавшая серию мероприятий, предпринятых МВД в апреле-июне 1866 г., с целью приведения к возможному единству допущенных ранее в разных городах Оренбургской и Уфимской губерний особых форм городского общественного устройства [87].

В историографии получили разработку вопросы, связанные с участием органов городского самоуправления Екатеринбурга в коронационных торжествах весны-лета 1883 г., в подготовке и проведении сибирско-уральской выставки 1887 г. [88]. Интересны работы, посвященные отдельным личностям, членам городского самоуправления (гласным, городским головам, членам управ), которые вошли в историю того или иного города [89].

В 1998 г. вышла в свет книга Е.Г. Анимицы и А.Т. Тертышного «Местное самоуправление: история и современность» [90]. Авторы обращаются к истории местного самоуправления в дореволюционный и советский периоды, ставя перед собой цель — рассмотреть в общих чертах необходимость воссоздания, реформирования и развития местного самоуправления в условиях становления демократии и развития рыночных отношений в России с учетом отечественного и зарубежного опыта. В книге более подробно исследуются особенности формирования местного управления и самоуправления на Урале. Как определенные этапы в истории городского самоуправления авторы книги рассматривают городские реформы 1870 и 1892 гг. Они подчеркивают, что в России в результате реформ Александра II на местах сформировались две системы управления: 1) государственное управление; 2) земское и городское самоуправление. По мнению авторов этой работы, «земское и городское самоуправление так и не было включено в круг государственных законоположений» [91]. Однако этот тезис, с которым нельзя согласиться, они не подкрепляют конкретным фактическим материалам. Анализируя взаимоотношения органов местного общественного управления с губернской администрацией, авторы, по сути противореча себе, отмечают подотчетность и подконтрольность, тесное взаимодействие земского и городского самоуправления с другими высшими звеньями государственного аппарата управления.

Эволюция городского самоуправления Шадринска (включая период городских реформ 1870 и 1892 гг.) показана в работе Н.А. Миненко, С.В. Федо-

рова [92]. Авторы рассматривают организацию выборов в органы городского самоуправления Шадринска, состав последних, а также рисуют «живую» картину работы городских властей Шадринска.

Работа «Пермские губернаторы: традиции и современность» содержит сведения о взаимоотношениях губернаторов с городскими властями. В исследованиях по социально-экономической истории уральских городов в той или иной степени освещается многосторонняя деятельность органов городского самоуправления [93].

Свидетельством возросшего научного интереса к истории городского самоуправления на Урале стало появление новых диссертаций по данной тематике [94]. Объектом изучения в диссертации Е.Ю. Апкаримовой являются уральские города последней трети XIX — начале XX в. Уровень и темпы развития, модели социальной стратификации, социальный статус и реальное положение представителей отдельных сословий, степень их корпоративности и роль в общественной жизни, доминирующее функциональное назначение существенно варьировались в этих городах. Все эти факторы отразились на истории городского самоуправления, обусловили его специфику в разных городах Среднего Урала. Вместе с тем, в организации городского самоуправления в указанном регионе имелись и общие черты, которые обусловливались особенностями региона. Территориальные рамки исследования в диссертации Е.Ю. Апкаримовой охватывают Средний Урал, административно входивший в изучаемый период в Пермскую губернию. Всего к 1870 г. здесь насчитывалось 15 городов: 12 уездных (в том числе губернский город Пермь) и 3 безуездных. Выбор данных географических границ объяснялся важностью проведения конкретно-исторических региональных исследований проблемы, в том числе на материалах Урала с учетом его специфики. Средний Урал отличался от других областей более высокой концентрацией горнозаводской промышленности. Становление самоуправления в местных городах происходило по-разному: в одних (Чердынь, Соликамск) оно восходило к давним традициям собственно городского самоуправления, в других, образованных из слобод (Шадринск, Камышлов), — долгое время сохраняло облик сельского самоуправления, в некоторых — развивалось под более жестким и многосторонним контролем горнозаводской администрации (например, Екатеринбург, который продолжительное время имел даже особый статус горного города). В XVIII—XIX вв. на Урале параллельно с общероссийской губернской управленческой системой существовала особая система горного управления, которая не только регламентировала развитие и размещение горнозаводской администрации, но и осуществляла административно-хозяйственные, финансовые и судебные функции. Это отразилось и на истории городов (в частности, на городском самоуправлении Екатеринбурга). В работе была проанализирована история городского самоуправления в период функционирования Городовых положений 1870 и 1892 гг. (дан сравнительный анализ этих законов, результатов их реализации в городах Среднего Урала). Автор подтвердил на уральском материале тезис об исторической обусловленности, необходимости и своевременности реформирования городского самоуправления в последней трети XIX в. В диссертации охарактеризованы организация

и результаты выборов в органы городского самоуправления. Автор установил, что по закону 1870 г. в большинстве городов Среднего Урала (за исключением крупных) выборы проводились не по трем, а по двум разрядам. Выявлено, что в целом в организации и проведении выборов в органы городского самоуправления на Урале не было принципиальных отличий от городов центра страны. Статистически доказано, что явка избирателей на выборах была низкой. Однако при этом установлено, что тезис о преобладающей активности на выборах представителей торгово-промышленного класса не являлся общим для всех городов России (в Соликамске, Красноуфимске, Верхотурье, Алапаевске и Далматове была выше степень активности избирателей по оценочному сбору с недвижимости). Большое внимание в работе уделено составу городских голов и старост, городских дум и управ (численный, сословно-социальный, возрастной, образовательный, конфессиональный и т.д.); сделан вывод о достаточной стабильности состава органов городского самоуправления в последней трети XIX — начале XX в., что во многом объясняется несменяемостью городских голов, членов городских дум и управ на протяжении долгого времени (в городском самоуправлении на протяжении всего рассматриваемого периода были сильны позиции купечества, в малых городах — купечества и мещанства, только в Екатеринбурге по численности и влиянию более заметным было представительство инженерно-технической элиты; большинство городских голов, думцев и членов городских управ исповедовали православие). В диссертации реконструированы бюджеты городов Среднего Урала в последней трети XIX — начале XX в. В ней выявлены направления и практические результаты деятельности органов городского общественного управления; в частности, впервые на материалах Среднего Урала исследован вопрос о взаимоотношениях православной церкви и городского самоуправления.

Отдельно следует остановится на оценке городской реформы 1892 г. (по терминологии диссертации). Отдельные исследователи продолжают рассматривать преобразование 1892 г. как контрреформу. Другие специалисты полагают, что необходимо отказаться от этого термина. Действительно, Городовое положение 1892 г. не предполагало замену предшествующей системы городского самоуправления принципиально новой моделью, а было направлено на корректировку этой системы. В этой связи следует отметить, что позитивное значение имело упразднение трехразрядной избирательной системы. Однако для повышения эффективности городского самоуправления были выбраны консервативные методы. Так, нельзя признать прогрессивным повышение избирательного ценза и сокращение числа избирателей — крайне недемократический избирательный закон (достаточно определенная оценка). Однако попытка изменить состав органов городского самоуправления посредством изменения избирательной системы не привела к ожидаемым результатам. Несмотря на изменение избирательной системы, в социальном составе органов городского самоуправления в большинстве городов Среднего Урала не произошло существенных перемен (за исключением Екатеринбурга). Можно утвердительно ответить на вопрос об определенной ограниченности возможностей самодержавной власти в плане пересмотра наследия Великих реформ (это, кстати, еще один аргумент

в пользу тезиса о том, что по своим реальным последствиям Городовое положение 1892 г. не стало контрреформой). При этом в усилении контроля со стороны государственной администрации над самоуправлением нельзя видеть только негативные стороны (например, подавление общественной инициативы), поскольку во многом он способствовал более плодотворной работе городских властей и был направлен на пресечение злоупотреблений.

В итоге проведенного диссертационного исследования на материалах городов Среднего Урала удалось доказать, что городское самоуправление являлось важным социальным институтом с довольно широкими и разнообразными функциями. В целом система городского самоуправления в рассматриваемый период была достаточно эффективной. Исследование различных частных аспектов данной проблемы подтверждает сделанный вывод [95].

Сравнительно недавно вышли в свет коллективные очерки по истории сельского и городского самоуправления на Урале [96]. В разделе, посвященном городскому самоуправлению на Урале после реформы 1870 г., рассматриваются последствия реализации на Урале Городовых положений 1870 и 1892 гг., в сравнительном ключе проанализированы результаты выборов в органы городского самоуправления, их состав, бюджет и основные направления деятельности. Главный вывод сформулирован следующим образом: «Есть все основания утверждать, что реформа 1870 г. (несколько скорректированная в 1892 г.) сыграла прогрессивную роль; она отвечала потребностям поступательного развития российских городов и, в частности, городов уральского региона» [97].

В кандидатской диссертации А.М. Шилкина исследовано функционирование городских дум на Южном Урале в 1917—1918 гг. Автор проанализировал эволюцию избирательной системы, состав и деятельность городских дум, взаимоотношения городских дум и управ с общественными организациями и революционными органами власти, процесс постепенного понижения роли городских дум и управ в общественно-политической жизни городов и в конечном итоге ликвидацию дум советами.

Характеризуя преобразование Александра III, А.М. Шилкин использует весьма дискуссионный сегодня термин «контрреформа». Как уже подчеркивалось, неправомерность этой оценки обусловлена тем фактом, что Городовое положение 1892 г. сохраняло основы предыдущего закона. Да и сам автор отмечает, что к 1917 году городские думы представляли собой результат двух последовательных преобразований [98]. Доказанным, устоявшимся в историографии является тезис о консервативном характере реформы 1892 г. (об этом, в частности, свидетельствует и недемократичный избирательный закон). Вместе с тем, А.М. Шилкин осторожно подходит к оценке усиления контроля над городскими думами со стороны государственной администрации, справедливо отмечая его позитивные стороны.

Диссертант подробно рассмотрел состав управленцев по партийной принадлежности. Однако назрела необходимость более скрупулезного исследования динамики состава органов городского самоуправления в 1917—1918 гг. по ряду других критериев: вероисповедание, социальная принадлежность, образование, имущественная состоятельность, возраст. Все это позволило бы увидеть долю

правленцев новой волны в составе городских дум и управ, результаты «демократизации» городских дум. Наряду с характеристикой имущественной состоятельности гласных, интересно также выяснить, воспользовались ли думы Южного Урала правом (по Постановлению 9 июня 1917 г.) выплачивать гласным из городских средств денежное вознаграждение за каждое заседание. Важно проанализировать вероисповедный состав, тем более, что автор отмечает факт выдвижения кандидатов в гласные от мусульман во всех городах Уфимской губернии [99]. Все эти вопросы ждут своего решения.

В дальнейшем также предстоит более тщательно сопоставить на материалах Урала два этапа в истории городского самоуправления (дореволюционный и период революционных преобразований) с точки зрения соотношений традиций и новаций. В данной связи, например, следует уточнить замечание А.М. Шилкина об абсентеизме электората. Дело в том, что в рассматриваемое время, по сравнению с предыдущим периодом, все же наблюдалось существенное увеличение активности избирателей, о чем свидетельствует более высокая явка избирателей на выборы в 1917 г. [100].

Чрезвычайно интересна глава диссертации А.М. Шилкина, в которой рассматривается отношение городских дум Южного Урала к Октябрьскому перевороту (оказалось, что оно было различным), анализируются их взаимоотношения с органами Советской власти, процесс ликвидации городских дум на Южном Урале в январе-марте 1918 года.

Проведенный нами историографический обзор свидетельствует о том, что как в дореволюционной, так и послереволюционной отечественной и зарубежной историографии городскому самоуправлению уделялось определенное внимание. Главным образом специалисты рассматривали вопросы, связанные с разработкой реформ, анализом самих Городовых положений 1870 и 1892 гг. Ими проводились исследования на основе общероссийских материалов, рассматривалась история самоуправления отдельных городов. До середины 80-х гг. XX в. оценки городских реформ 1870 и 1892 гг., данные исследователями, во многом шли в русле дореволюционной либеральной традиции. Вместе с тем, эти специалисты внесли значительный вклад в историографию проблемы, рассмотрев городские реформы в контексте всей внутренней политики, проанализировав реализацию этих преобразований. В последующих трудах происходила частичная переоценка характера и значений городских реформ 1870 и 1892 гг. (в частности, отмечались определенные позитивные последствия реформы 1892 г.). Менее исследованным оказался период с 1905 по 1917 гг., по справедливому замечанию Л.Ф. Писарьковой, «важный не только для понимания общественного управления, но и русской истории XX в. в целом» [101]. Писарькова же отмечает, что «давно назрела необходимость и в работах общего характера, позволяющих проследить развитие городского самоуправления за весь период его существования». Однако создание подобных трудов возможно лишь на базе предварительных серьезных региональных исследований. Между тем, история городского самоуправления в отдельных районах России изучена еще крайне слабо. К сожалению, недостаточно исследована проблема взаимоотношений земских и муниципальных учреждений.

История городского общественного управления на Урале в последней трети XIX — начале XX в. изучалась фрагментарно: на примере отдельных городов рассматривались последствия городских реформ (как правило городское самоуправление анализировалось за короткий промежуток времени), чаще исследователи изучали лишь отдельные аспекты проблемы или освещали более яркие страницы в судьбе городского самоуправления, обращались к отдельным историческим персонажам. Исключением являются диссертационные труды, в которых многосторонне исследована история городского самоуправления уральских губерний на разных исторических этапах. Однако и они не закрывают многочисленные лакуны. Необходимо исследовать историю городского самоуправления в Вятской губернии после реформы 1892 г., включая период с 1905 по 1918 гг. История городского самоуправления на Среднем Урале в годы революционных потрясений также может стать предметом специального исследования. Наименее исследованным является история городского самоуправления на Южном Урале в период функционирования Городовых положений 1870 и 1892 гг.

Тем не менее, следует признать, что в ураловедении заложен фундамент для последующих работ по истории городского самоуправления. Специалистами выявлены основные тенденции и закономерности в эволюции этого института. По мере обращения к истории городского самоуправления на Урале удалось установить целый ряд локальных особенностей, обусловленных не только различным административным статусом уральских городов (губернских, уездных и заштатных), но и спецификой их социально-экономического и демографического облика, что отразилось на составе органов городского самоуправления, их деятельности. Новейшие исследования по истории городского самоуправления на Урале в дореволюционный период показали, что городское самоуправление представляло собой эффективный институт; оно распоряжалось значительными финансами. В отношениях с губернской и центральной властью городские органы действовали чаще на основе консенсуса, хотя факты противостояния также имели место. Менее работоспособными оказались органы городского самоуправления в 1917—1918 гг. Историкам еще предстоит определить их реальную роль в период российской революции начала XX в. Ощущается потребность и в обобщающих исследованиях по истории городского общественного управления на Урале в последней трети XIX — начале XX в.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Данилова Л.В. Сельская община в средневековой Руси. М., 1994. С. 57.
2. Там же. С. 5.
3. Александров В.А., Покровский Н.Н. Власть и общество. Сибирь в XVII в. Новосибирск, 1991. С. 74.
4. См.: Белораменский В.В. Городское самоуправление в России (конституционно-правовые вопросы). Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1995. С. 3.
5. Боже-Гарнье Ж., Шабо Ж. Очерки по географии городов. М., 1967. С. 33.
6. Сайко Э.В. Город как особый организм и фактор социокультурного развития // Город как социокультурное явление исторического процесса. М., 1995. С. 9.

7. Сванидзе А.А. Город в цивилизации: к вопросу определения // Город как социокультурное явление ... С. 29.
8. Ахиезер А.С. Город — фокус урбанизационного процесса // Город как социокультурное явление ... С. 23—28.
9. Поляковская М.А. Исследовательские принципы в творчестве М.Я. Сюзюмова // Историография общественной мысли дореволюционного Урала: Сб. науч. тр. Свердловск, 1988. С. 105.
10. Сюзюмов М.Я. Проблема возникновения средневекового города в Западной Европе // Средние века. М., 1968. Т. 31. С. 78.
11. Миронов Б.Н. Русский город в 1740—1860-е годы. Л., 1990. С. 15.
12. Нардова В.А. Правительство и проблема городского самоуправления в России середины XIX в. // Санкт-Петербургское научное общество историков и архивистов. Ежегодник. СПб., 1996. С. 195.
13. Там же. С. 196.
14. Рейснер Л.И. Введение в историко-теоретическое исследование городов и городских систем Востока и Запада // Города на Востоке. Хранители традиций и катализаторы перемен. М., 1990. С. 9.
15. Там же.
16. Алферова Е.Ю. Социально-экономическое развитие городов Урала в 60—90-е годы XIX в. Автореф. дисс. ...канд. ист. наук. Екатеринбург, 1992. С. 4; Миронов Б.Н. Русский город ... С. 196; Алферова Е.Ю. Социально-экономическое развитие городов Урала в 60—90-е годы XIX в. Свердловск, 1991.
17. Рындзюнский П.Г. Крестьяне и город в капиталистической России второй половины XIX века. М., 1983. С. 126—127.
18. Самоуправление // Энциклопедический словарь. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Спб., 1899. Т. 28. С. 239—240.
19. Гессен В.М. Вопросы местного управления. СПб., 1904. С. 121.
20. Там же.
21. Горенберг М.Б. Очерки русского городового права. Птг., 1916.
22. Гронский П.П. Децентрализация и самоуправление. СПб., 1913. С. 4—5.
23. Там же. С. 8.
24. Там же. С. 20.
25. Чичерин Б.Н. О народном представительстве. М., 1899. С. 750.
26. Там же. С. 759—760.
27. Правилова Е.А. Местное и центральное управление в России: проблема правового регулирования отношений // Имперский строй России в региональном измерении (XIX — начало XX века). Сб. науч. ст. М., 1997. С. 37.
28. Там же. С. 37—38.
29. Самоуправление // Тадевосян Э.В. Словарь-справочник по социологии и политологии. М., 1996. С. 206—207.
30. Писарькова Л.Ф. Московская городская дума: 1863—1917 гг. М., 1998. С. 310.
31. Апкаримова Е.Ю. Городское самоуправление на Среднем Урале в последней трети XIX — начале XX в. Диссер. ...канд. ист. наук. Екатеринбург, 1999. С.137, 138, 316.
32. Нардова В.А. Городское самоуправление в России в 60-х — начале 90-х годов XIX в. Л., 1984. С. 5—9; Она же. Самодержавие и городские думы в России в конце XIX — начале XX века. СПб., 1994. С. 3—6; Писарькова Л.Ф. Московская городская дума: 1863—1917 гг. М., 1998. С. 306—315.
33. Писарькова Л.Ф. Московская городская дума... С. 306.
34. Головачев А.А. Десять лет реформ. 1861—1871. СПб., 1872. С. 257.

35. Дитятин И.И. Городское самоуправление в России. Ярославль, 1877; Он же. Статьи по истории русского права. СПб., 1895.

36. Шрейдер Г.И. Город и Городовое положение 1870 г. // История России в XIX веке. СПб., 1908. Т. 4. С. 1—29; Он же. Городская котрреформа 11 июня 1892 г. // История Там же. 1909. Т. 5; Он же. Наше городское общественное управление. Этюды, очерки и заметки. Т. I. СПб., 1902.

37. Шрейдер Г.И. Городская котрреформа 11 июня 1892 г. ... С. 199.

38. Там же. С. 200.

39. Джаншиев Г. Эпоха великих реформ. СПб., 1907. С. 551, 555, 567—568.

40. Семенов Д.Д. Городское самоуправление. Очерки и опыты. СПб., 1901. С. 213, 217, 219.

41. Нардова В.А. Городское самоуправление в России ... С. 8.

42. Михайловский А.Г. Реформа городского самоуправления в России. М., 1908. С. 9—10, 15.

43. Кизеветтер А.А. Местное самоуправление в России. IX—XIX ст. Исторический очерк. М., 1910. С. 152—153.

44. Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных Его Императорскому Высочеству Великому князю Михаилу Александровичу в 1900—1902 гг. СПб., 1912. С. 24—26, 561—566.

45. Пичета В.И. Городская реформа 1870 г. // Три века. М., 1913. Т. 6. С. 173; Пажитнов К.А. Городское и земское самоуправление. СПб., 1913; Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. М., 1993. С. 294.

46. Пичета В.И. Указ. соч. С, 179.

47. Пажитнов К.А. Указ. соч. С. 33, 40, 42.

48. Фесенко И.О. Важный вопрос городского хозяйства. Участие квартирохозяев в городском управлении. СПб., 1900. С. 3—4.

49. Кемеровский А.Ф. Реформа городского самоуправления. СПб., 1911. С. 137—138.

50. Тотомианц В.Ф. Самоуправление городов. М., 1917.

51. Платонов С.Ф. Учебник русской истории. СПб., 1993. С. 370—371.

52. Столетие Вятской губернии. 1780—1880. Сборник материалов к истории Вятского края. Вятка, 1881.

53. Дмитриев А. Очерки из истории губернского города Перми. Пермь, 1889. С. 196—311; Смышляев Д. Сборник статей о Пермской губернии. Пермь, 1891. С. 31—32; Мамин-Сибиряк Д.Н. Автобиографические произведения. Публицистика // Мамин-Сибиряк Д.Н. Собрание сочинений. В 12 тт. Свердловск, 1951. Т. 12. С. 281; Город Пермь. Сборник очерков по истории, культуре и экономике города. Пермь, Б.г.; Верхоланцев В. Город Пермь, его прошлое и настоящее. Пермь, 1913; Он же. Летопись г. Перми с 1890 по 1912 гг. Пермь, 1913; Столпянский П.Н. Город Оренбург. Оренбург, 1908.

54. Нардова В.А. Городское самоуправление в России в 60-х — начале 90-х годов XIX в. Правительственная политика. Автореф. ... докт. ист. наук. Л., 1985. С. 3—4.

55. Она же. Городское самоуправление в России в 60-х — начале 90-х годов XIX в. Л., 1984. С. 8; Писарькова Л.Ф. Московское городское общественное управление с середины 1880-х годов до первой русской революции. Автореф. дис. ...канд. ист. наук. М., 1980; Озолинь Д.К. Рижское городское самоуправление и его коммунальная политика в конце XIX — начале XX века. Автореф. дис. ...канд. ист. наук. Рига, 1969.

56. Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. В 2 чч. М., 1928.

57. Зайончковский П.А. Городовое положение 11 июня 1892 г. // Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 1970. С. 428.

58. Захарова Л.Г. Самодержавие и реформы в России. 1861—1874 (к вопросу о выборе пути развития) // Великие реформы в России. 1856—1874: Сборник / Под ред. Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Бушнелла. М., 1992. С. 24—38; Она же. О личном факторе в истории: роль императора Александра II в проведении Великих реформ 60—70-х годов XIX века в России // Уральский исторический вестник. Екатеринбург, 1994. № 1. С.53—63; Писарькова Л.Ф. Городские головы Москвы (1863—1917) // Отечественная история. 1997. № 2. С. 3.

59. Советская историческая энциклопедия. М., 1963. Т. 4. С. 589; Нардова В.А. Городское самоуправление в России в 60-х — начале 90-х годов XIX в. С. 58; Писарькова Л.Ф. Городовое положение 1870 года и социальный состав городского общественного управления в губерниях центрально-черноземного района // Буржуазные реформы в России второй половины XIX века. Межвузовский сборник трудов. Воронеж, 1988.

60. Правил — как завещал отец? («Круглый стол» об эпохе Александра III) // Родина. 1994. № 11. С. 40—46.

61. Власть и реформы. От самодержавной к советской России. СПб., 1996. С. 393.

62. Нардова В.А. Городское самоуправление в журналистике 70—80-х гг. XIX в. // Общественная мысль в России XIX в. Л., 1986; Она же. Городское самоуправление в России после реформы 1870 г. // Великие реформы в России. 1856—1874 гг. М., 1992; Она же. Органы городского самоуправления в системе самодержавного аппарата власти в конце XIX — начале XX вв. // Реформы или революция? Россия 1861—1917. Материалы международного коллоквиума историков. СПб., 1992; Она же. Правительство и проблема городского самоуправления в России ...; Она же. Городское самоуправление в России в 60-х — начале 90-х годов XIX в. Л., 1984; Она же. Самодержавие и городские думы в России в конце XIX — начале XX века. СПб., 1994; Она же. Городское самоуправление в России в 60-х — начале 90-х годов XIX в. Правительственная политика. Автореф. дис. ... докт. ист. наук. Л., 1985.

63. Чичерова И.А. Земское и городское самоуправление в России второй половины XIX в. (историко-правовой анализ). Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. М, 1995.

64. Бурдина Г.Ю. Городские органы самоуправления в Среднем Поволжье в пореформенный период. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Самара, 1993.

65. Писарькова Л.Ф. Московская городская дума: 1863—1917 гг. М., 1998.

66. См., например: Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. СПб., 1999. Т. 2. С. 487—502.

67. Писарькова Л.Ф. Указ. соч. С. 263.

68. Там же. С. 264—266.

69. Велихов Л.А. Указ. соч. С. 250.

70. Миронов Б.Н. Социальная история России ... Т. 1. С. 113.

71. Там же. С. 325.

72. Там же. С. 500, 502.

73. Миронов Б.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 151.

74. Там же. С. 179.

75. Пайпс Р. Россия при старом режиме. Кембридж, 1980; Seton-Watson H. The russian empire: 1801—1917. Oxford, 1967. P. 385, 469—471.

76. Sumner B.H. Survey of Russian History. London, 1966. P. 64—69.

77. Weissman N.B. Reform in tsarist Russia / The state bureaucracy and local government, 1900—1914. New Brunswick, New Jersey, 1981. P. 15—16.

78. Robbins R.G. The Tsar's Viceroys. Russian Provincial Governors in the last years of the Empire. Ithaca and London, 1987. P. 16—17.

79. Pearson T.S. Russian Officialdom in Crisis Autocracy and Local Self-Government 1861—1900. Cambridge, 1989. P. 17.

80. Сутырин Б.А. История городов Урала периода XVIII—XIX вв. в советской исторической литературе // Историческая наука на Урале за 50 лет. 1917—1967. Материалы 3-й научной сессии вузов Уральского экономического района (исторические науки). Вып. 1. История СССР. Свердловск, 1967. С. 55—58.

81. Пешков В.Н. Население городов дореформенной Пермской губернии // На край. Материалы V Свердловск. обл. краевед. конфер. Свердловск, 1971. С. 35—40.

82. Очерки истории Свердловска. Свердловск, 1958; Очерки истории Свердловска, 1723—1973. Свердловск, 1973; Степанов М.Н., Рябухин В.И. Город Молотов. Краеведческий очерк. Молотов, 1955; Пермь. Пермь, 1957; Мокеев В.М. Шадринск. Челябинск, 1975; Николаев С.Ф. Кунгур. Пермь, 1958; История Урала в период капитализма. М., 1990. Белавин А.М., Нечаев М.Г. Губернская Пермь. Пермь, 1996.

83. Екатеринбург. Исторические очерки (1723—1998). Екатеринбург, 1998. С. 87, 102, 103.

84. Горловский М.А. Из истории городского управления Екатеринбурга начала 70-х гг. XIX века // Вопросы истории Урала. Свердловск, 1958. С. 75—80.

85. Черныш М.И. Проведение городской реформы 1870 г. в Перми. Классовая сущность новых органов городского управления (К истории г. Перми 1870—1881 гг.) // Ученые записки. Пермь, 1961. Т. 17, Вып. 4. С. 172, 174, 188.

86. Мясников С.В. Самоуправление уездных городов Вятской губернии в 70-х — начале 90-х годов XIX в. Автореф. дис. ...канд. ист. наук. Казань, 1997.

87. Эмалетдинова Г.Э. Городское общественное управление Южного Урала в 60-е гг. XIX в. // Урал в прошлом и настоящем. Материалы научной конференции. Екатеринбург, 1998. Ч. 1. С. 372—374.

88. Корепанова С.А. Подарки екатеринбуржцев к коронационным торжествам 1883 г. // Россия в царствование императора Александра III. Екатеринбург, 1995; Она же. Органы городского и земского самоуправления в подготовке и проведении Сибирско-Уральской выставки 1887 года // Екатеринбург — вчера, сегодня, завтра. Тез. докл. и сообщ. науч.-практ. конферен. Екатеринбург, 1998. С. 75—77.

89. Микитюк В.П. Давнишний общественный работник // Город Екатеринбург. Очерки истории Урала. Екатеринбург, 1997. Вып. 4. С. 76—98; Он же. Деятели местного самоуправления на Урале начала XX в. П.В. Иванов // Уральский исторический вестник. (Региональное развитие России). Екатеринбург, 1996. № 3. С.134—144; Шилов А.В. Из истории предпринимательства на Урале в XIX веке: деятельность купцов и промышленников Ушковых // Исследования по археологии и истории Урала. Межвуз. сб. науч. тр. Пермь, 1998. С. 273—290; Парфенова С.А. Шадринские городские головы // Шадринская старина. 1998. Краеведческий альманах / Сост. и отв. ред. С.Б. Борисов. Шадринск, 1998. С. 33—41.

90. Анимица Е.Г., Тертышный А.Т. Местное самоуправление: история и современность. Екатеринбург, 1998. С. 4, 95.

91. Там же. С. 110.

92. Миненко Н.А., Федоров С.В. Город на Исети: страницы шадринской летописи. Шадринск, 1997. С. 86—138.

93. Пермские губернаторы: традиции и современность / Под ред. И.К. Кирьянова, В.В. Мухина. Пермь, 1997. С. 116, 150; Попов Н.Н. Из истории социально-экономического развития г. Екатеринбурга в конце XIX — начале XX вв. // Вторые Татищевские чтения. Тез. докл. и сообщ. Екатеринбург, 1999. С. 130—132; Шилов А.В. Чердынь в конце XVIII — начале XIX в. // Чердынь и Урал в историческом и культурном наследии России / Чердынский музей. Пермь, 1999. С. 111—118; Бер

ович А.В. Из истории городского самоуправления на Урале (на примере борьбы вокруг юджета Екатеринбурга в первой половине XIX в.) // Чердынь и Урал в историческом культурном наследии России. С. 123—129.

94. Апкаримова Е.Ю. Городское самоуправление на Среднем Урале в последней трети XIX — начале XX в. Дис. ...канд. ист. наук. Екатеринбург, 1999; Она же. Городское самоуправление на Среднем Урале в последней трети XIX — начале XX в. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 1999; Шилкин А.М. Городские думы на Южном Урале в 1917—1918 годах. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Челябинск, 2000.

95. Апкаримова Е.Ю. Православная церковь и городское самоуправление: к вопросу о взаимодействии (по материалам Урала второй половины XIX — начала XX в.) // История церкви: изучение и преподавание. Материалы науч. конф., посвящ. 2000-летию христианства. 22—25 ноября 1999. Екатеринбург, 1999. С. 236—240; Она же. Об изменениях городского быта на Урале в последней трети XIX — начале XX в. // Этнокультурная история Урала, XVI—XX вв.: Материалы междунар. науч. конф., г. Екатеринбург, 29 нояб. — 2 дек. 1999 г. Екатеринбург, 1999. С. 176—180; Она же. Городское общественное управление в годы Первой мировой войны // Вторые уральские военно-исторические чтения: материалы регион. науч. Екатеринбург, 2000. С. 7—9.

96. История местного самоуправления на Урале в XVIII — начале XX в.: город, село, деревня. Екатеринбург. 1999.

97. Там же. С. 51—69.

98. Шилкин А.М. Городские думы на Южном Урале ... С. 12.

99. Там же. С. 16.

100. См. подробнее: Апкаримова Е.Ю. Городское самоуправление на Южном Урале в последней трети XIX — начале XX в. // Третьи Татищевские чтения: тезисы докладов и сообщений, Екатеринбург, 19—20 апреля 2000 г. Екатеринбург, 2000. С. 93—97; История местного самоуправления на Урале в XVIII — начале XX в.: город, село, деревня. Екатеринбург, 1999. С. 56—57.

101. Писарькова Л.Ф. Московская городская дума: 1863—1917 гг. М., 1998. С. 310.

MUNICIPAL SELF-GOVERNMENT IN THE LATE XIX — EARLY XX CENTURY'S URALS IN HISTORIOGRAPHY

The article is devoted to historiography of municipal self-government in the last third of the XIX — beginning of the XX c. The author investigates pre-revolutionary, soviet and modern historiography (theoretical works, monographs and articles of historical-judicial character about municipal reforms of 1870 and 1892 and historical works about municipal self-government in Russia as a whole and self-government of some urban settlements). The evolution of views, approaches and estimates, main tendencies and discussions in Russian and foreign historiography is traced. As a result of research the contribution of the Ural historiography is evaluated.

E.Yu. Apkarimova

С.В. Голикова

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ СЕМЬИ

Современная историография признает важность проблемы типологии семьи не только для фамилистики (как проблемы типологии вообще), но и для любого системного описания общества. Лидер «Кэмбриджской группы» — авторитетного направления в изучении истории семьи — П. Ласлет в основу подобных описаний предлагал положить именно семью: «социальноструктурный историк должен начать свое описание с того же, с чего его начинает антрополог или же социолог, а именно с размеров, структуры и функций семьи в анализируемом обществе. Затем должна быть рассмотрена система родства, далее географические, экономические, религиозные и интеллектуальные отношения, образующие в совокупности социальную общность. (...) Только после этого — и в этом состоит основное отличие практики социально-структурного историка от историка традиционного — он займется политическими институтами и самим государством» [1].

Анализ изменения семейных форм в разных социально-экономических, политических и идеологических условиях и при различных социокультурных традициях раскрывает многие другие стороны жизни общества и превращается в важный исследовательский метод. Такой подход В.А. Александров использовал при изучении русской общины, полагая, что множество явлений деревенского быта и общинно-правовых норм, его регулировавших, а также весь комплекс вопросов, так или иначе связанных с сельской производственной деятельностью и феодальными повинностями, невозможно исчерпывающе объяснить без конкретного представления о типологии крестьянской семьи [2].

Востребованность исследований по типологии семьи в различных сферах современного гуманитарного знания приводит к расширению и углублению наших представлений и переосмыслению имеющихся взглядов. В конце 1980-х гг. Ю.Л. Бессмертный определял «современное состояние» проблемы в западной историографии как «поиски типологии семейных и домохозяйственных структур» [3]. «Опыт обобщающей характеристики» типологии крестьянской семьи по российским данным был предпринят В.А. Александровым в начале тех же 1980-х гг. [4], но многие принципиальные вопросы этой темы в отечественной исторической науке до сих пор остаются дискуссионными. В данной статье предпринята попытка сопоставить типологию и эволюцию семьи с акцентом на терминологическом аспекте данной проблемы.

Историографическая традиция основными типологическими показателями семейного строя называет численный и структурно-поколенный состав семей. Изменения в структуре и численности семьи влияют на ее форму и отношения ее членов, поэтому предпосылкой любого конкретно-исторического исследования семьи является ее типологизация [5]. Чаще всего этот этап исследования представляется в работах эксплицитно. Авторы либо не считают нужным «теоретизировать» при изучении конкретного вопроса, либо объясняют используемые ими понятия не в полном объеме. В результате читатель сталкивается с большим разнообразием терминов, обозначающих структурные образования

емьи: малая, большая, неразделенная, нуклеарная, полная, неполная, сложная, простая, индивидуальная, моногамная, стеблевая, разветвленная, расширенная и тому подобное. Типичным примером «выдергивания» терминов из типологий семей, основанных на разных принципах, может служить работа А.А. Люцидарской. При описании семейного строя старожилов Сибири XVII — начала XVIII в., не давая определений, она использует следующие названия: малая, сложная, большая неразделенная, братская, отцовская, нуклеарная семья [6].

Одной из причин существования подобного терминологического разнообразия является, по-видимому, изучение семьи специалистами разных наук. Анализируя объект с определенных точек зрения, они в различных терминах фиксируют информацию о нем. Так, семья является традиционным объектом изучения этнографов, которые в первую очередь уделяли внимание архаическим формам семьи и соответственно этому, разрабатывали ее терминологию [7]. Приступив к изучению семьи, историки использовали опыт, накопленный смежной наукой [8]. Параллельно возникала типология семей применительно к целям исторического исследования. В качестве примера можно сослаться на обоснование терминов «неразделенная» и «большая» семья в работах В.А. Александрова и М.Б. Свердлова [9]. Нельзя также не учитывать опыт демографов, которые разрабатывают классификацию семей с точки зрения воспроизводства населения [10].

Сложность самой семьи как объекта изучения также порождает большое количество терминов. Общеизвестное, традиционное для этнографии деление семей на большие и малые недостаточно для отражения всего многообразия типов семьи при анализе конкретного материала. Осознавая это, некоторые авторы (например, Л.С. Ефремова) продолжают пользоваться наиболее распространенными терминами, хотя оговаривают, что считают их не совсем точными [11]. Другие пытаются вводить новые термины. Так, А.А. Столяров предложил считать, что неразделенная семья включает в себя три типа: общепринятые — отцовскую и братскую и еще сложную, состоящую из дядей и женатых племянников [12]. Некоторые историки вообще стараются, не употребляя эти термины, перечислять состав семей по структурным элементам. В этом отношении показательна статья В.В. Соловьева. Он пишет, что в реальной жизни существовало много комбинаций семейных структур, для классификации которых В.А. Александровым была предложена схема-таблица, на основе которой Е.Н. Баклановой (Швейковской) была разработана еще более подробная схема [13]. Этот прием оказался эффективным, и таблицы структуры семей имеются почти в каждой работе, посвященной данной тематике.

Накопленный при решении данной проблемы опыт свидетельствует, что наиболее распространенные типологии семьи (как и многих других объектов) построены по структурным признакам. Структура — способ организации связей между элементами и характер их взаимоотношений — относится к понятиям системного подхода. По наблюдениям О.А. Ганцкой, термин «система» в исследованиях, посвященных семье, «упоминается редко, но почти всегда рассматриваются ее структура, типы», что делает возможным применение к ней общей теории систем и системного анализа [14]. В обыденном употреблении слово «семья» подразумевает какую-то конкретную реально существующую группу,

которую можно изучать как «совокупность тесно взаимосвязанных систем о ношений разного порядка», прежде всего родственных: «рассматривая родст как универсальный феномен, присущий всем обществам, исследователи сем выделяют элементы этого понятия», в том числе «тип конкретных семейн единиц, характерных для данного общества и данной эпохи» [15].

Используя понятия «тип» («подтип»), «форма», «вид», «стадия» семьи, а торы конкретно-исторических работ, как правило, не раскрывают их содерж ния. Типами обычно называют все группы семей, выделенных из их множест по разным признакам [16]. Следовательно, типы семьи могут быть разны а деление на типы зависит от целей конкретного исследования. Так этногра распределяют семьи по брачным парам на простые и сложные, по отношен ям между родственниками — на авторитарные и эгалитарные [17]. Принци типологии семей в демографии — формы брака, число поколений и супружеск пар [18]. Определения формы, вида, стадии семьи в литературе отсутствую

Таксонометрические понятия для создания типологии семей каждый авт выбирает сам. Некоторые обходятся термином «форма» семьи [19]. Друг используют два термина: «форма» и «тип». Ряд авторов ставит на первое мес типы семей, которые затем подразделяют на формы [20]. Иные считают б лее общим понятием форму семьи, а более частным — ее тип [21]. Иерарх типов и форм семьи может дополняться «переходными» элементами. Так, тр диционное разделение семей на большие и малые представляется В.В. Соло еву недостаточным: «в реальной жизни существовало множество типов той другой формы, наряду с переходными типами от малой к большой семье» [2 Каждый тип семьи, по мнению С.Н. Абашина, включает в себя множест форм семьи, «достаточно принципиально отличающихся друг от друга харак ром внутрисемейных отношений», а наряду с ними существует «значитель число «промежуточных» форм, которые нельзя отнести однозначно ни к одно типу» [23]. Намного реже употребляются вместе термины «форма» и «вид «тип» и «стадия». Так, в автореферате В.В. Соловьева приведено следую соотношение понятий «форма» и «вид»: «... существует две формы индивид альной моногамной семьи, в каждой из которых два ее вида». Этими же п нятиями пользовался В.А. Александров [24]. Я.Н. Щапов считал, что мал и большая семья являются типами, у которых есть переходные стадии [2 Выражение «стадии в смене форм семьи» используется И.В. Власовой [2 Изучая «движение» основных типов и форм семьи, С.С. Крюкова в «конкр ной классификационной схеме» «в соответствии со структурно-поколенны особенностями» внутри типа «неразделенная» семья выделила четыре подти отцовскую, братскую, «дядья-племянники», смешанную [27].

Типологии могут быть основаны на разных принципах, поэтому вопрос отнесении тех или иных семей к какому-либо типу решается неоднозначно. содержание, которое один автор вкладывает в понятие «малой» семьи, мож не совпадать с содержанием этого же понятия у другого автора. В подобной туации для сопоставления результатов необходим тщательный анализ термин (как это, к примеру, пришлось делать В.А. Александрову с материала А.И. Копанева по семье Русского Севера [28].)

Терминологический обзор целесообразно начать с работ, посвященных Древней Руси. Именно для изучения того времени историки начинают употреблять общепризнанные понятия для обозначения структуры семьи.

Большинство из них, оперируя терминами «большая» и «малая» семья, признают тем самым сосуществование, наряду с малой семьей, на протяжении всего периода (или на определенном его этапе) «большой» семьи, «большой патриархальной» семьи, «большой семейной общины». Исключение составляет Ю.М. Рапов, который считал, что семья того времени была только малой [29]. Столь же категорична В.И. Горемыкина, признававшая разнообразие семейных форм от домашней общины до малой семьи с Древней Руси до начала XX века [30].

Различие во взглядах в большей мере наблюдается по вопросу о соотношении большой и малой семьи. А.А. Зимин, М.О. Косвен, И.Я. Фроянов считали основой общества и наиболее распространенным явлением большую семью [31]. С.В. Юшков, Б.Д. Греков, В.В. Мавродин, М.Б. Свердлов признавали основной формой, наоборот, малую, а наряду с ней как пережиток или в полуразложившемся виде вплоть до XIX в. — большую [32].

Второй вопрос по которому существует расхождение мнений, — содержание понятия «большая» семья. Многие авторы считают, что большая семья, из которой в свое время появилась малая, и большая семья более позднего периода, существовавшая наряду с малой до XIX в., — это одно и то же явление. На принципиальной разнице между ними настаивает М.Б. Свердлов. Для обозначения более позднего образования он ввел термин «неразделенная» семья [33]. По его мнению, большая патриархальная и неразделенная — это стадиально и типологически различные семьи. Патриархальная семья была этапом перехода к формирующейся малой семье. Неразделенная семья существовала в период господства малой семьи и регенерировалась на ее основе. Патриархальная семья — институт распадающегося родоплеменного строя и следствие неразвитости производительных сил, неразделенная семья — атрибут феодального общества, и создается она в целях стабильности совместного владения. Аналогичных взглядов придерживаются В.А. Александров, А.А. Столяров, И.В. Власова [34]. И.Я. Фроянов видит в неразделенной семье только переходную форму большой семьи, которая, по его мнению, также существовала в этот период. Дифференцировано подходя к структуре большой семьи и выделяя из ее состава семьи, состоящие из родителей с женатыми сыновьями и внуками, он называет их «неразделенными» [35].

Как считает Н.Л. Пушкарева, при «сосуществовании разных типов семейной организации» необходима большая осторожность «в выводах о преобладании того или иного из них». По ее наблюдениям, «развитие семейно-брачных отношений от большой семьи VI—VII вв. к экономически и юридически самостоятельным малым семьям XI—XII вв. не вызывает сомнение у большинства исследователей» [36].

Таким образом, уже в Древней Руси одновременно существовали семьи с разной структурой. Чаще всего исследователи акцентируют внимание на следующих из них: супруги с неженатыми детьми, родители (вдовые) с женатыми и неженатыми детьми и внуками, семьи с боковым родством, состоящие из же-

натых братьев или дядей с женатыми племянниками и более сложные семейные коллективы. Подобное деление остается актуальным для работ по истории семьи XV — начала XX вв. В результате сопоставления шести основных структур семьи с терминами, употребляемыми различными авторами (см. таблицу 1), выявилось пять разных позиций, зависящих от содержания терминов «малая», «неразделенная» и «большая» семья.

Таблица 1

Соотношение терминов и структур семьи

Супруги с неженатыми детьми	Вдова или вдовец с женатым сыном и внуками	Родители, их женатые и неженатые дети и внуки	Несколько женатых братьев	Дяди и женатые племянники	Семьи с более сложной структурой
Малая семья	Большая или сложная или неразделенная семья				
Малая семья			Большая или неразделенная семья		
Малая семья	Неразделенная семья		Большая семья		
Малая семья	Неразделенная семья			Большая семья	
Малая семья	Неразделенная семья				Большая семья

Ряд авторов понимает под малой (или простой) семьей супругов или одного из них с неженатыми детьми. Другие расширяют это понятие, включая в состав малой семьи вдову или вдовца с женатым сыном и внуками, а также родителей с женатыми и неженатыми сыновьями и внуками. Соответственно этому сужается понятие «большая» (сложная) семья. При столь «широком» толковании малой (простой) семьи не совсем понятен принцип ее выделения из их совокупности. Если же считать, что малая (простая) семья включает только одну супружескую пару, а к большой (сложной) относить семьи, где более одной супружеской пары, то подобное разделение будет вполне объективным. Правда, этот критерий носит в значительной степени демографический характер и, возможно, поэтому учитывается не всеми историками.

Сложные по структуре семьи принято делить на отцовские (родители с их женатыми и неженатыми детьми и внуками), братские (несколько женатых братьев) и более сложные образования (дяди с женатыми племянниками и семьи с более сложной структурой), которые получают иногда названия «сложные неразделенные семьи», «осложненные боковым родством семьи». Самые сложные по структуре и к тому же многочисленные семьи называют «гигантами», «печищем», «большими», «следами большесемейных общин».

Как показывают данные таблицы, содержание термина «неразделенная» семья в литературе сильно варьируется. Им обозначают только отцовские семьи, отцовские и братские; отцовские, братские, сложные (дяди с женатыми племянниками); наконец, этим термином может обозначаться вся совокупность семей со сложной структурой, иногда исключая только «гиганты» или «печища». От того, что включать в понятие «неразделенная» семья, зависит содержание тер-

кина «большая» семья. Последняя может вобрать в себя все сложные семьи (тогда название «неразделенная» семья не употребляется); расширение понятия «неразделенная» семья сужает рамки понятия «большой» семьи — и наоборот.

Если попытаться определить место «неразделенной» семьи в общепринятой разбивке семей на малые (простые) и большие (сложные), то оказывается, что этот термин или занимает промежуточное положение между ними, или вытесняет название «большая» семья и употребляется вместе с ним как синоним. В зависимости от этого одни авторы делят всю совокупность семей на две части (малые и большие), а другие — на три (малые, неразделенные, большие). При двучастном делении разные авторы делят семьи на малые и большие неодинаково — встречаются два варианта, разница между которыми зависит от неустойчивости границы термина «малая» семья. При трехчастном делении содержание терминов также не однозначно. В большинстве случаев варьируются границы между неразделенной и большой семьей.

Названия, которым авторы отдают предпочтение при обозначении семьи, тесным образом связаны с их представлениями об ее эволюции. Терминологический анализ в частности, показывает, что на протяжении длительного времени одни семейные структуры не исчезали и не заменялись другими, а постоянно присутствовали в общей совокупности семей. Некоторые авторы акцентируют внимание на этом вопросе. Так, Л.Б. Заседателева пишет, что сложное соединение различных форм семьи сохранялось до начала XX в. [37]. Малая и большая семья в XVIII — первой половине XIX вв. сосуществовали и по мнению М.В. Гришкиной [38]. К.В. Чистов считает, что в XIX в. иначе и быть не могло [39]. Таким образом, развитие семьи происходило не по взаимоисключающему принципу «или—или», а с редким исключением по правилу «и—и». В связи с этим при изучении эволюции семьи большое значение приобретает вопрос взаимосвязи различных семейных структур (каково было их соотношение, как они взаимодействовали друг с другом).

Эволюция семьи, по мнению авторов, придерживающихся широкого толкования понятия «малая» семья, носила линейный однонаправленный характер. Как пишет Л.С. Ефремова, по мере развития общества происходит переход от множества форм к их единообразию — к малой семье [40]. На первом этапе этого перехода большая семья, являясь «пережитком», тем не менее, превалирует над малой. Второй этап начинается чаще всего в конце XIX в., в отдельных районах и раньше — на Урале на рубеже XVIII—XIX вв., на Русском Севере в XVII в. [41]. С этого времени малая семья «превалирует», «преобладает» над большой семьей, продолжающей существовать в виде «пережитка» и «разлагаться». Происходит «консервация большесемейных отношений», которая считается характерной особенности развития семейного строя [42]. Возникновение малой семьи рассматривалось учеными, разделяющими подобные представления, только как результат процесса «разложения» большой.

В основном данной точки зрения придерживаются этнографы. Уделяя главное внимание большой семье, они рассматривают развитие семей с точки зрения изменений, происходящих внутри нее. Так, по мнению С.А. Токарева, в историческом развитии семьи преобладал процесс парцелляции семейно-родствен-

ных коллективов, дробление их на все более мелкие группы [43]. Формирование концепции о преобладании в русской дореформенной деревне большесемейной организации С.С. Крюкова связывает с дискуссией о путях развития русской общины. В основе предложенной для обсуждения «трудовой теории» лежала большая семья «в качестве некой статичной формы, носившей характер универсальной константы». Следующим шагом стали споры вокруг семейных разделов в 70-х—90-х гг. XIX в. Небывалые размеры этого явления послужили поводом для интерпретации развития крестьянской семьи как эволюции от большой патриархальной семьи к малой: «Согласно взглядам большинства исследователей, в пореформенный период происходил необратимый процесс перехода от сложной формы семьи к простой» [44]. В рамках такого подхода к типологии семьи и предпринимались попытки классифицировать ее формы.

Большинство авторов, считающих, что малая семья включает в себя только супружескую пару с неженатыми детьми, признает ее основой семейного строя. В отличие от первой точки зрения, господство малой семьи датируется ими более ранним временем — XV, XVII вв., а для русского города, по мнению М.Г. Рабиновича, — древнерусским периодом [45].

Эволюция семейного строя, с точки зрения развития малой семьи, предстает далеко неоднозначной. С мнением К.В. Чистова о «ясной общей линии развития от больших семей к малым семьям» полемизирует М.В. Гришкина, считая, что эволюцию семьи нельзя свести к четко очерченной прямой, ведущей от архаической большесемейной общины к малой индивидуальной семье [46]. В русских городах малая семья стала преобладать в очень раннее время, но, как подчеркивает М.Г. Рабинович, процесс этот не был необратимым — в течении столетий неразделенная семья то исчезала, то возрождалась [47].

Сторонников данной позиции отличает также повышенное внимание к развитию семьи в различных регионах страны. Выявление региональных особенностей на протяжении длительного хронологического периода — так сформулировал В.А. Александров основной подход к созданию типологии семьи. Как считает М.В. Гришкина, соблюдение этого условия также позволит не принимать особенности за явления общего порядка [48]. По сведениям М.С. Кашубы, в начале XIX в. на Кубани преобладали малые семьи, а в конце того же века — неразделенные [49]. По мнению составителей «Очерков общей этнографии» европейской части России, увеличение удельного веса малой семьи происходило с середины XIX в. и совпало с процессом дробления сложных семейных структур [50]. На Русском Севере малая семья стала господствовать довольно рано. Однако, как указывает К.В. Чистов, в середине XIX в. большие семьи занимали там еще значительное место [51]. По данным М.В. Гришкиной, в Удмуртии XVIII в. существовала тенденция к увеличению удельного веса малой семьи, а в первой половине XIX в., наоборот, — к его постепенному снижению [52]. По наблюдениям В.В. Соловьева, соотношение малой и неразделенной семьи у коми также варьировалось. Во второй половине XVI в. там преобладала малая семья, в XVII—XVIII вв. существовало стабильное соотношение этих семейных структур, а в середине XIX в. преобладать стала неразделенная семья [53]. В Среднем Поволжье с XVI в. «не прослеживается какой-либо четкой закономерности численного преобладания неразделенной семьи

над малой или, наоборот, малой над неразделенной», только во второй четверти XIX в. преобладание малой семьи стало определяющим [54]. У жителей северного Урала при господстве с XVIII в. малой семьи в отдельных районах также преобладали сложные семьи [55]. При «доминирующей тенденции к выделению малых семей» типы семей у старожильческого населения Сибири XVII — начала XVIII вв., по замечанию А.А. Люцидарской, также не укладывались в жесткие рамки [56]. Так, В.А. Александров отмечает, что заселение Сибири начиналось малыми семьями, а затем возросло количество неразделенных семей [57]. У крестьян Западной Сибири в XVIII — первой половине XIX вв. господствовала малая двухпоколенная семья, но на юге края в определенный этап заселения возросло количество больших семей, а во второй половине XIX в. в регионе начались процессы унификации семей и повышение их людности [58]. В связи с этим И.В. Власова полагает, что ситуация в Сибири отличалась от положения в Европейской России. Если в центре семья уже к XVII в. сформировалась преимущественно как малая, то в Сибири сначала образовались малые семьи, которые постепенно разрастались и превращались в неразделенные, а затем вновь снова распространились малые семьи. По мнению данного автора, это свидетельствует о гораздо более сложном процессе — малая и неразделенная семья развивались и как бы противостояли друг другу [59].

В последнем обобщающем труде по этнографии русских, признавая разнообразие семейных структур и относя к основным типам русской семьи «в обозримых исторических периодах» малую (простую), сложную (патриархальную, большую, неразделенную) и складническую (договорную) семьи, И.В. Власова отмечает, что «для традиционной русской семьи было характерным развитие простых ее форм, преимущественно двухпоколенной семьи». История русской семьи в подобной интерпретации предстает в следующем виде: «По самым ранним описаниям Древнерусского государства, семьи славян были различными. «Русская правда», «Повесть временных лет», актовый материал XI—XIII вв. представляют малую семью как основную форму семейной организации, а архаическую большую — как пережиточную форму. Последняя в тот период восстанавливалась на основе господствовавшей малой.

Обьединения сельских жителей в Древней Руси X—XI вв. — общины — состояли в основном из малых семей. В XI—XIII вв. (...) у сельского населения (земледельцев и холопов) отмечались исключительно малые двухпоколенные семьи (родители-дети). Наряду с такой семьей существовали большесемейные коллективы, представлявшие собой объединения 3—5 поколений родственников по прямой и боковой линиям. (...) Малая двухпоколенная семья, состоящая из родителей и детей, (...) преобладала в среде сельского населения в XV—XVII вв. (...).

Семьи более сложного состава в 3—4 поколения с родством прямым и боковым, а также свойством создавались при разрастании малых семей и исчезали при разделах на те же малые. В этих неразделенных семьях проживали либо братья с их семьями (братские семьи), либо родители-дети-внуки (правнуки) (отцовские семьи), а также семьи дядьев и племянников». В XVIII—XIX вв. у русских также «наличествовали семьи разных типов». При

всем разнообразии неразделенных семей их структура сводилась к типам отцовских, братских или семей «дядья-племянники».

Считая большую семью исторически универсальным явлением у народов, прошедших родовую стадию общественного развития (и, следовательно, присущую всем восточным славянам, а позже — русскому народу), И.В. Власова оспаривает «долгое время господствовавшее в науке неверное представление о происхождении большой семьи в результате разветвления изначально малой семьи и слияния малой семьи» и предлагает собственную схему: «Вместе с тем и патриархальная большая семья не была первоначальной стадией в истории развития общества. Она, как правило, следовала за архаической материнской семьей и предшествовала малой». Неразделенные, складнические, договорные семьи, которые встречались у русского населения, осваивавшего Урал, Поволжье в XVI—XVII вв., Сибирь с конца XVI—XVIII вв. и даже в XIX и в начале XX вв., были, по ее мнению, вторичными образованиями (а также формами) большой семьи. Повторяемость этих стадий в различные эпохи «не обязательно свидетельствует об устойчивости традиций (в наличии той или иной формы семьи), а скорее о их вторичности, так как вторичные формы любого явления возникают в условиях, не сходных с теми, в которых сложились первоначальные архаические формы» [60].

С накоплением эмпирического материала стали выявляться определенные закономерности в преобладании различных типов семьи. В обобщающих работах по этнографии отмечалось разрастание с течением времени малых семей до больших [61]. Этот же процесс был выявлен на окраинах России в период их освоения. В Сибири, на Тереке и Кубани заселение начиналось малыми семьями, которые впоследствии разрастались [62]. К аналогичным выводам пришли исследователи семьи в Среднем Поволжье [63]. Видимо, эта модель развития семьи в необжитых районах была выработана еще в европейской части страны.

В 1981 г. В.А. Александров попытался объяснить эти факты, поставив вопрос о генетической связи между малой и неразделенной (или большой) семьей: «Если рассматривать неразделенную семью архаическим, то есть постоянно существовавшим пережитком первобытного строя, то придется признать параллельное и самостоятельное существование как малой, так и неразделенной семей вне их генетической связи. Такое явление в сельской среде, так сказать, на одной деревенской улице было бы странным и невероятным. Повсеместное длительное и преобладающее бытование малой семьи не вызывает сомнения, поэтому ее существование не могло быть результатом распада большесемейных форм в рассматриваемое время. Представляется очевидным иной процесс — создание неразделенных семей на основе малых и затем их раздел на те же малые» [64]. С момента раздела больших (сложных) семей описанный процесс хорошо прослеживается на материалах колонизации Урала. По данным В.А. Оборина, три четверти местных починков в Приуралье XVI в. имели по одному двору; в остальных, где уже произошел раздел патриархальной семейной кооперации, насчитывалось по два-четыре двора, принадлежавших, как правило, ближайшим родственникам. В XVII—XVIII вв. подобная картина наблюдалась в местах расселения русских в Прикамье. К началу XVIII в. семья находилась

стадии «дробления». У старожилов преобладали малые двухпоколенные семьи, состоявшие из родителей и детей [65].

В историографии описанное В.А. Александровым явление получило название «пульсация семей». О характере такой пульсации существуют разные мнения. В.А. Александров с самого начала подчеркивал систематическую регенерацию неразделенной семьи на базе малой. По его мнению, история неразделенных семей как вторичных образований свидетельствует об их подчиненности малой семье. Тем более, что существуют они относительно короткое время, затем распадаются. Такой же точки зрения придерживаются В.В. Соловьев, А.А. Столяров [66]. Совершенно противоположных воззрений по данному вопросу придерживается демограф А.Г. Вишневский. Он считает, что базой для изменений, наоборот, являлась неразделенная семья [67].

Обращает на себя внимание тот факт, что рассуждения о типологии и эволюции семьи, как правило, вращаются по «замкнутом кругу» противопоставления пары понятий «малая» (простая) и «большая» (сложная, неразделенная) семья (не исключение даже теория «пульсации» семей, подразумевающая чередование большой и малой). Некоторые исследователи даже историографию данного вопроса представляют как смену предпочтений одного типа семьи в ущерб другому. По этому поводу А.Г. Вишневский приводит красноречивое высказывание американского исследователя Э. Шартера: «Социологи, которые первыми стали заниматься историей семьи, взяли дурную привычку раз и навсегда исходить из гипотезы, согласно которой до промышленной революции семьи были организованы как настоящие кланы или, по крайней мере, всегда были значительно «расширенными». Так как одной капли исторических знаний было достаточно, чтобы убедиться в ошибочности этой гипотезы применительно к европейскому обществу, начиная с 1960-х годов (...) под громкие возгласы восхищения стали открывать нуклеарную семью на каждом повороте истории (...). Авторы впали в противоположенную крайность, (...) они стали утверждать, что повсеместно и во все времена практически преобладала супружеская семья. Таким образом, они пришли к тому, что создали свою собственную фантастическую гипотезу: нуклеарная семья как историческая константа» [68].

Для борьбы с подобными «крайностями» С.Н. Абашин предлагает поставить вопрос «о доверии к самой процедуре типологизации семейных структур», а именно к «традиционной схеме анализа», под которой он понимает «оппозицию «большой/малой» семьи». В его рассуждениях также прослеживается взаимосвязь между типологией семьи и ее эволюцией. Имеющийся в распоряжении исследователей фактический материал о жизни семьи, по мнению данного автора, невозможно «жестко привязать» только к двум ее типам и «втиснуть» в рамки подобных типологий. «При такой интерпретации природы семейных отношений, — рассуждает С.Н. Абашин, — сама постановка вопроса о том, увеличивается ли доля «больших» или «малых» семей или уменьшается, является по меньшей мере спорной. Историю развития семей можно рисовать тогда не только в рамках оппозиции «большая/малая» семьи, но и в рамках других оппозиций — например, просто «малая» семья и «малая» семья с «другими родственниками» («псевдо-большая» семья). Оппозиция «большая/малая» се-

мья, как и любая другая такого рода оппозиция (...) не является принципиальной» [69]. Предложенный подход — расширение набора оппозиций — не снимает проблемы «оппозиционности» мышления при решении вопроса об эволюции семьи, а, скорее, его усиливает.

Между тем, существует действительно альтернативный, жестко иерархичный, основанный на оппозиции традиционным построениям подход к созданию типологии семьи. Речь идет о концепции жизненного цикла семьи, которая исходит из признания того, что любая семья может постоянно менять свою структуру. Демографический энциклопедический словарь определяет жизненный цикл семьи или семейный цикл как последовательность существенных в социальном и демографическом отношении состояний, в которых находится семья с момента ее образования до того, как она прекратит свое существование [70]. Различные структуры семьи, которые называют типами (подтипами), формами, видами, и есть эти «существенные состояния». Разбивка всей совокупности семей на ряд групп (обычная процедура установления типологии семьи) при этом дополняется распределением этих же групп как бы «по вертикали», давая срез изменений структуры семьи. Поэтому различные типы семьи — это этапы, фазы, стадии ее жизненного цикла. (Описанная В.А. Александровым «пульсация семей», не что иное, как частный вариант ее жизненного цикла).

При данном подходе в основу типологии семьи положены явно не иерархический и не оппозиционный принципы. Создав ее для летско-лузских коми в первой половине XIX в., В.В. Соловьев отметил следующее: «Все типы в таблице расположены в порядке усложнения и обнаруживают преемственность друг с другом. Как правило, в течении одного поколения происходила эволюция семьи из одного типа в другой: после появления новорожденных, женитьбы взрослых сыновей или смерти представителя старшего поколения. Малая семья, разрастаясь, превращалась в большую отцовскую семью (...). Типы этой подгруппы после смерти лиц старшего поколения превращались в семьи бокового родства, чаще всего в тип «женатые братья с холостыми (или женатыми) детьми», так называемые братские семьи». Общее развитие семьи, по мнению данного автора, шло в направлении усложнения структурного состава от семей прямого родства к семьям бокового родства, хотя, по его же замечанию, «все крестьянские семьи так или иначе развивались: одни семьи разрастались, другие семьи по ряду причин могли сокращаться в своих размерах, третьи — разделялись» [71].

Когда в отечественной историографии было признано, что семейные структуры чрезвычайно подвижны и обладают исключительной способностью к переходу от одной формы к другой даже в пределах одного поколения [72], встал вопрос о причинах таких изменений. Длительность пребывания семьи в том или ином состоянии зависит от демографических факторов (рождение, смерть, брак) и этнических традиций (например, условия проведения разделов), а в конечном итоге — от социально-экономических условий. На примере удмуртской семьи конца XVII — первой половины XIX вв. М.В. Гришкина показала, что в зависимости от изменения этих условий более заметными становились процессы распада сложных структур семьи (и больше появлялось малых семей), либо процессы их регенерации [73].

Впервые и наиболее полно этот механизм функционирования русской семьи торой половины XIX — начала XX вв. описал А.В. Чаянов. Благодаря ра-отам Н.Н. Черненкова, П.А. Вихляева, А.И. Хрящевой и Г.А. Кущенко он мел возможность исследовать вопрос не только путем априорных построений, ю и путем апостериорного анализа эмпирического материала, который под-азумевал выявление судьбы каждого хозяйства за 10, а иногда и 30 лет. Подобный подход был с его точки зрения крайне важен, ибо «только беря емью во всем объеме ее развития, начиная с зарождения и кончая смертью, ы можем понять основные законы ее сложения». Выяснив факт постоянных зменений структуры семьи, А.В. Чаянов связал его с наблюдаемым разнооб-азием типов семьи в русском обществе. «Вникая в причины такого разнооб-азия, — писал он, — мы должны объяснить его главным образом фактом иологического развития семьи, разбивающего всю совокупность семей на ряд рупп, различных по своему возрасту, а следовательно, и по размеру, и по ставу». «Говоря иначе, — рассуждал он, — перед нами все фазы развития, оторые переживает семья». «Из отдельных хозяйств, находящихся в разных озрастах своего семейного развития», по его мнению, «слагается социальный ассив крестьянских хозяйств». Чаще всего этот массив составляли «два мощ-ых потока, из которых один, в котором главным образом участвуют неделив-шиеся молодые малосеющие хозяйства, — поток восходящий, расширяющий под авлением роста семей объем входящих в его состав хозяйств, и другой — ток, ниспадающий в значительной своей части в силу семейных разделов ожных старых семей». «Если оба потока взаимно уравновешены, — писал .В. Чаянов, — то, несмотря на то, что отдельные хозяйства в большом ко-ичестве будут переходить из группы в группу, численное соотношение групп удет оставаться неизменным и при огульном сопоставлении только итогов двух азделенных между собою большим промежутком времени переписей мы полу-им картину полного статистического покоя. Несмотря на то, что в состав групп удут входить совершенно иные хозяйства, группы как таковые останутся та-ими же». Поэтому, заключал он, «процесс демографической дифференциации, ависящий от биологического роста семей, по сути дела не нов и, в сущности оворя, статичен» (демографический режим и этнические традиции чрезвычайно стойчивы), пока на него не действуют социально-экономические условия. «Од-ако чаще, — отмечал А.В. Чаянов, — общая хозяйственная конъюнктура рай-она, уровни цен, земельное утеснение и прочее выводят изучаемые нами оциальные потоки из состояния взаимного равновесия, и тогда один из них на-инает временно преобладать над другими, и через несколько лет в соотношении рупп происходит заметное изменение. Подчас сопоставление двух регистраций скрывает нам более сложный круг явлений, чем простое преобладание одно-о социального потока над другим» [74].

Историографический обзор показал, что суждения о типологии и эволюции емьи с древнерусского периода до начала XX в. представляют по сути раз-ичные толкования связей между шестью представленными в таблице структу-ам семьи, которые можно объединить понятием типичный жизненный цикл усской (российской) семьи. Согласуясь с природой семьи, концепция «жиз-

ненного цикла семьи» — готовый ключ к любой ее типологии, поэтому он снимает сам вопрос о «типологизации семейных структур» и четко ставит про блему эволюции «семейного строя». При чтении текстов по истории семьи н всегда ясно, идет ли речь о процессе развития (функционирования), на кото рый способна любая семья, или о процессе эволюции семьи. Между тем, «биологической» точки зрения вопрос является решенным. Отдельная особ эволюционировать не может, но своим развитием может внести вклад в общу эволюцию, благодаря связям процессов онтогенеза и филогенеза. В фамилис тике об эволюции семьи с подобной точки зрения написано очень мало. Он не сводится к модернисткой, прогрессисткой схеме перехода от большой семь к малой, от сложной к простой, от патриархальной к индивидуальной нуклеар ной. Но что принять за «точку отсчета» — отслеживать изменения жизненног цикла семьи, пресловутого «семейного строя» (определение которого пока нике не предложено; между тем, потребность в подобном определении у авторов «чувствующих» разницу между развитием отдельной семьи и совокупност семей, велика) или чего-то еще?

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ласлет П. История и общественные науки // Философия и методология исто рии. М., 1977. С. 212—213.

2. Александров В.А. Обычное право крепостной деревни России XVIII — начал XIX в. М., 1984. С. 42.

3. Бессмертный Ю.Л. Актуальные задачи исторической демографии западноевропей ского средневековья и начала нового времени // Историческая демография докапита листических обществ Западной Европы: проблемы и исследования. М., 1988. С. 15

4. Александров В.А. Типология русской крестьянской семьи в эпоху феодализма / История СССР. 1981, № 3.

5. Крюкова С.С. Русская крестьянская семья во второй половине XIX в. М., 199 С. 36, 38—39.

6. Люцидарская А.А. Старожилы Сибири. Историко-этнографические очерки. XV — начало XVIII в. Новосибирск, 1992. С. 90—97.

7. Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. М., 1987. С. 36

8. Бакланова Е.Н. Крестьянский двор и община на Русском Севере. Конец XV — начало XVIII в. М., 1976. С. 28.

9. Александров В.А. Обычное право... С. 61; Свердлов М.Б. Семья и община Древней Руси // История СССР. 1981. № 3. С. 105.

10. Волков А.Г. Семья — объект демографии. М., 1986. С. 35.

11. Ефремова Л.С. Латышская крестьянская семья в Латгалле. 1860—1939. Ри 1982. С. 53.

12. Столяров А.А. К вопросу изучения структуры русских сельских семей Средне Поволжья в XVI — начале XX вв. // Вопросы этнографии Среднего Поволжь Казань, 1987. С. 112.

13. Соловьев В.В. Структура и численность крестьянской семьи летско-лузских ко в первой половине XIX в. (по материалам ревизских сказок) // Вопросы социальн экономической истории Коми края. Эпоха феодализма и капитализма. Труды институ языка, литературы и истории. 1980. Вып. 23. С. 37.

14. Ганцкая О.А. Семья: структура, функции, типы // Советская этнография. 1984. № 6. С. 17.

15. Пушкарева Н.Л. Русская семья X—XVII вв. в «новой» и «традиционной» демографической истории // Советская этнография. 1996. № 3. С. 64.

16. Ганцкая О.А. Семья: структура, функции, типы... С. 19.

17. Этносоциальные аспекты изучения семьи у народов зарубежной Европы. М., 1987. С. 7.

18. Волков А.Г. Семья — обьект демографии. С. 35.

19. Горелов В.А. Структура и численный состав семьи по материалам Братского и Нижне-Илимского районов Иркутской области и Кежемского района Красноярского края // Быт и искусство русского населения Восточной Сибири. Ч. 1: Приангарье. Новосибирск, 1971. С. 96; Рабинович М.Г. Очерки этнографии русского феодального города. (Горожане, их общественный и домашний быт). М., 1978. С. 171; Ефремова Л.С. Латышская крестьянская семья... С. 6; Биленко М.В. О мордовской семье XVII века // Советская этнография. 1979. № 1. С. 93.

20. Фроянов И.Я. Семья и вервь в Киевской Руси (по поводу статьи Ю.М. Рапова) // Советская этнография. 1972. № 3. С. 94; Чистов К.В. Севернорусские причитания как источник для изучения крестьянской семьи XIX в. // Фольклор и этнография. Связи фольклора с древними представлениями и обрядами. Л., 1977. С. 137.

21. Власова И.В. Структура и численность семей русских крестьян Сибири в XVII — первой половине XIX в. // Советская этнография. 1980. № 3. С. 50; Свердлов М.Б. Семья и община... С. 105.

22. Соловьев В.В. Структура и численность крестьянской семьи... С. 37.

23. Абашин С.Н. Статистика как инструмент этнографического исследования // Этнографическое обозрение. 1999. № 1. С. 14.

24. Соловьев В.В. Коми крестьянская семья XVIII — начала XX века. Автореф. дис. ... к-та истор. наук. М., 1987. С. 6—7; Александров В.А. Типология русской крестьянской семьи... С. 88, 90.

25. Щапов Я.Н. Брак и семья в Древней Руси // Вопросы истории. 1970. № 10. С. 216.

26. Власова И.В. Брак и семья у русских (XII — начала XX вв.) // Русские. М., 1997. С. 418—419.

27. Крюкова С.С. Русская крестьянская семья... С. 40.

28. Александров В.А. Обычное право крепостной деревни... С. 58.

29. Рапов Ю.М. Была ли вервь «Русской правды» патронимией? // Советская этнография. 1969. № 3. С. 109.

30. Горемыкина В.И. Об общине и индивидуальном хозяйстве Древней Руси // История СССР. 1973. № 5. С. 138.

31. Зимин А.А. Феодальная государственность и Русская правда // Памятники русского права. М., 1952. Вып. 1. С. 86; Косвен М.О. Семейная община и патронимия. М., 1963. С. 7; Фроянов И.Я. Семья и вервь... С. 95.

32. Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. М., 1949. С. 87; Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII в. М., 1952. Кн. 1. С. 64; Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства и формирование древнерусской народности. М., 1971. С. 27—28; Свердлов М.Б. Семья и община... С. 108.

33. Свердлов М.Б. Семья и община... С. 105.

34. Александров В.А. Обычное право... С. 61; Столяров А.А. К вопросу изучения структуры... С. 118; Этнография восточных славян... С. 361.

35. Фроянов И.Я. Семья и вервь... С. 94.

36. Пушкарева Н.Л. Русская семья X—XVII вв. ... С. 75.
37. Заседателева Л.Б. Терские казаки. М., 1974. С. 297.
38. Гришкина М.В. Удмуртская семья в XVIII — первой половине XIX в. // Семейный и общественный быт удмуртов в XVIII—XX вв. Устинов, 1985. С. 3—4.
39. Чистов К.В. Севернорусские причитания как источник... С. 131.
40. Ефремова Л.С. Латышская крестьянская семья... С. 6.
41. Крупянская В.Ю., Полищук Н.С. Культура и быт рабочих горнозаводского Урала. Конец XIX — начало XX в. М., 1971. С. 45; Копанев А.И. Крестьянство Русского Севера в XVII в. М., 1978. С. 197.
42. Народы Европейской части СССР. М., 1964. Т. 1. С. 462; Косвен М.О. Семейная община и патронимия... С. 44.
43. Токарев С.А. Обычаи и обряды как объекты этнографического исследования // Советская этнография. 1980. № 3. С. 32.
44. Крюкова С.С. Русская крестьянская семья... С. 9—10.
45. Рабинович М.Г. К структуре большой семьи у русских горожан в начале XVIII в. (по материалам г. Устюжны Железнопольской) // Русские: семейный и общественный быт. М., 1989. С. 89.
46. Чистов К.В. Севернорусские причитания как источник... С. 131; Гришкина М.В. Удмуртская семья в XVIII — первой половине XIX в. С. 15.
47. Рабинович М.Г. К структуре большой семьи... С. 89.
48. Гришкина М.В. Удмуртская семья в XVIII — первой половине XIX в. ... С. 3
49. Кубанские станицы. Культурно-бытовые и этнические процессы на Кубани. М., 1967. С. 189.
50. Очерки общей этнографии. Европейская часть СССР. М., 1968. С. 125.
51. Бакланова Е.Н. Крестьянский двор и община... С. 39; Чистов К.В. Севернорусские причитания как источник... С. 140.
52. Гришкина М.В. Удмуртская семья в XVIII — первой половине XIX в. ... С. 9—10.
53. Соловьев В.В. Коми крестьянская семья... С. 7—9.
54. Столяров А.А. К вопросу изучения структуры... С. 113, 116.
55. На путях из земли Пермской в Сибирь. Очерки этнографии северноуральского крестьянства XVII—XX в. М., 1989. С. 177—197.
56. Люцидарская А.А. Старожилы Сибири... С. 90—94.
57. Александров В.А. Обычное право крепостной деревни... С. 48.
58. Миненко Н.А. Русская крестьянская семья в Западной Сибири (XVIII — первой половине XIX в.). Новосибирск, 1979. С. 76; Она же. Крестьянская семья в Западной Сибири в первой половине XIX в. (численность и структура) // Из истории семьи и быта сибирского крестьянства XVIII — начала XX в. Новосибирск, 1975. С. 12, 16—19, 25.
59. Власова И.В. Структура и численность семей... С. 50.
60. Власова И.В. Брак и семья у руских. С. 416—419, 432.
61. Народы Европейской части... С. 463; Очерки общей этнографии... С. 125.
62. Александров В.А. Русское население Сибири XVII — начала XVIII в. (Енисейский край). М., 1964. С. 133; Этнография русского крестьянства Сибири XVII — середина XIX в. М., 1981. С. 26; Кубанские станицы... С. 191; Заседателева Л.Б. Терские казаки... С. 304.
63. Бусыгин Е.П., Зорин Н.В., Михайличенко Н.В. Общественный и семейный быт русского сельского населения Среднего Поволжья. Историко-этнографическое исследование (середина XIX — начало XX в.). Казань, 1973. С. 92.
64. Александров В.А. Обычное право крепостной деревни... С. 90.

65. Традиционная культура русского крестьянства Урала XVIII—XIX вв. Екатеринбург, 1996. С. 120.
66. Швейковская Е.Н. Крестьянские семьи и община как категории социальной структуры феодальной России (конец XV—XVII вв.) // Социально-демографические процессы в российской деревне (XVI — начало XX в.). Материалы XX сессии Всесоюзного симпозиума по изучению проблем аграрной истории. Вып. 1. Таллин. 1986. С. 7; Столяров А.А. К вопросу изучения структуры... С. 117; Соловьев В.В. Структура и численность крестьянской семьи... С. 38.
67. Вишневский А.Г. Роль исторического знания в объяснении современных демографических тенденций (на примере метаморфозы семьи) // Проблемы исторической демографии СССР. Киев, 1988. С. 30.
68. Там же. С. 29.
69. Абашин С.Н. Статистика как инструмент... С. 14.
70. Демографический энциклопедический словарь. М., 1985. С. 32.
71. Соловьев В.В. Структура и численность крестьянской семьи... С. 37—40.
72. Бардина П.Е., Бояршинова З.Я., Львова Э.Л., Ратушняк В.Н. Рецензия на: Этнография русского крестьянства Сибири // История СССР. 1984. № 4. С. 179.
73. Гришкина М.В. Типология удмуртской крестьянской семьи конца XVII — первой половины XIX в. // Социально-демографические процессы в российской деревне... С. 151—152.
74. Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство: Избранные труды. М., 1989. С. 217—218, 415, 418, 422—423, 429.

PROBLEMS OF HISTORICAL TYPOLOGY OF FAMILY

The author attempts to compare available typological schemes of family with the process of its evolution. Structural approach to the creation of typology of family, a concept of a family life cycle and also alternative approaches to the analysis of structural typological problems of family are considered.

S.V. Golikova

Л.А. Дашкевич

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА УРАЛЕ В КРЕПОСТНОЙ ПЕРИОД: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ

Радикальные изменения в экономической, политической, социальной жизни России в конце XX в., резкое ухудшение условий жизни подавляющего большинства ее населения вызвали взрыв интереса к феномену благотворительности, проблемам социальной поддержки и защиты. В истории и традициях нашей страны, опыте развития цивилизованных правовых государств публицисты и ученые разных направлений социальных и гуманитарных наук попытались найти определенный щит, противодействие жестокому наступлению частного капитала.

Впервые, после десятилетий забвения, вопрос о благотворительности и меценатстве как социальном явлении в жизни дореволюционной России стал предметом исследования историков, искусствоведов, культурологов в конце 80-х – начале 90-х гг. XX в. Сюжеты, связанные с благотворительностью русского купечества, появились на страницах конкретно-исторических исследований, посвященных жизни и деятельности известных русских купцов и предпринимателей XIX — начала XX вв. (С.И. Мамонтова, П.М. Третьякова, С.Т. Морозова, С.Т. Бахрушина и др.) [1]. Появление исторических работ, связанных с традициями предпринимательской среды российского общества, объясняется не только социальной злободневностью проблемы, но и ее научной актуальностью. Сохранившийся богатый архивный материал, мемуары, данные дореволюционных исследований российской благотворительности (а их библиография насчитывает около 10 тысяч названий) позволяют исследовать социальную психологию и ментальные установки благотворителей из делового мира, что является относительно новым направлением в нашей исторической науке. Анализ социокультурного смысла благотворительности и милосердия разных слоев населения России лег в основу работ С.В. Климовой, А.А. Вилкова, В.Н. Ярской, И.С. Ждановой, Р.Е. Мироновой, Е.Р. Смирновой, А.Л. Свердловой и др. [2].

Наиболее серьезным и тщательно документированным исследованием в этом направлении является работа Г.Н. Ульяновой «Благотворительность московских предпринимателей: 1860—1914 гг. «(М., 1999). Для теоретического и статистического осмысления процесса благотворительности автор применил новую методику, создав на основе конструирования однотипных источников информационный массив — просопографический свод московских купцов. Сведения о жизни и деятельности отдельных представителей московского делового мира, извлеченные из архивных и опубликованных материалов, исследователь сгруппировал в анкету, соответственно разработанному им формуляру. Анкеты, обобщенные в «Словарь московских благотворителей», включили просопографические сведения о 225 персонах, что дало достаточно объемную и представительную базу для необходимого анализа.

Говоря о ментальных установках купцов-благотворителей, исследователи отмечают их эволюцию: от чисто религиозных, вызванных моральными нормами хри-

ианства, до гражданских, основанных на понимании социальной ответственности. Изменения эти, однако, как отмечено в исторических работах, происходили очень медленно. В предпринимательской среде православной России очень долго сохранялся традиционный для средневековья «конфликт сознания», вызванный осуждением церковью идеала богатства и преуспевания. Благотворительные поступки и пожертвования купцов часто имели своим психологическим мотивом потребность в моральной компенсации, стремление искупить греховность нажитого богатства [3].

Благотворительная деятельность уральского купечества не стала пока предметом специального исследования историков. В литературе мы встречаем лишь отдельные упоминания о купцах-филантропах, чаще всего эти сведения относятся к периоду расцвета российской благотворительности (2-я половина XIX — начало XX вв.) [4]. Предшествующий период исследован очень слабо: не выявлена общая численность благотворительных заведений на Урале в XVIII — первой половине XIX вв., вклад купцов в их развитие, нет статистики пожертвований купцов и предпринимателей в социальную сферу Урала и анализа их психологических, поведенческих стереотипов в этом отношении. Немногочисленны даже описательные, фактологические исследования, их страницы воспроизводят лишь отдельные, фрагментарные сведения о благотворительных поступках представителей нескольких крупных уральских купеческих фамилий дореформенного периода (Рязановых, Казанцевых, Нуровых, Походяшиных), а также об истории благотворительных учреждений, состоявших под попечением купечества [5].

Понятие «благотворительность» включает в себя сейчас, как правило, сферу социальной практики негосударственной помощи нуждающимся, доминанту этой практики составляет элемент инициативы и общественной активности. В этом смысле благотворительность является необходимой частью развитого гражданского общества. В эпоху крепостного права, однако, благотворительными назывались не только частные, но и государственные институты социальной помощи. Финансирование их осуществлялось не только за счет добровольных пожертвований, но и из государственного и муниципального бюджетов.

Государственные формы социальной поддержки и защиты, существовавшие на Урале в дореформенный период, освещены в литературе крайне недостаточно. Социальная политика царского правительства крепостного периода вообще пока мало привлекает к себе внимание историков, в публицистике продолжают бытовать мифы советской историографии о бесчеловечной эксплуатации и беззащитности крепостного населения. Первыми попытались отойти от сложившихся стереотипов представители новой для нашей страны научной дисциплины — социальной работы. Складывание социальной работы как научной и учебной дисциплины в Российской федерации началась в 1991 г., после того, как в стране появилась новая профессия — социальный работник, и началась подготовка специалистов этого направления в вузах. В процессе развития институтов социальной помощи и благотворительности историки социальной работы увидели собственные критерии и закономерности, позволяющие выделить эту сферу деятельности общества в предмет самостоятельного исторического познания [6].

Анализируя процесс развития благотворительности и милосердия в нашей стране, историки социальной работы предложили несколько вариантов его пе-

риодизации. При некоторых отличиях в хронологических рамках, авторы всех этих работ согласны с тем, что XVIII — первая половина XIX вв. — это время утверждения и развития преимущественно государственного призрения [7]. Выводы историков социальной работы базируются, как правило, на данных дореволюционной библиографии. Надо заметить, однако, что статистические и эмпирические факты, выявленные современными историками, не совсем укладываются в предложенную схему. Исследователи XIX — начала XX вв., как правило, ограничивались описательными фактологическими зарисовками отдельных благотворительных учреждений и поступков филантропов. На основе этих данных невозможно решить вопрос о соотношении финансирования институтов социальной помощи государством, сословными обществами и частными лицами, выяснить структуру, механизм и мотивы благотворительности. Все эти вопросы нуждаются еще в накоплении статистических и фактических данных, выявить которые проще всего в пределах определенных регионов.

Данные «Краткого отчета Пермского приказа общественного призрения о состоянии богоугодных заведений» за 1847 г., например, свидетельствуют о том, что государственное финансирование системы социальной защиты в губернии было минимальным. В течение года из сумм приказа содержалось лишь 6 благотворительных заведений (губернская больница, дом умалишенных, богадельня и училище детей канцелярских служителей в Перми, а также «градские» больницы в Осе и Оханске). Лечение и помощь в них получили 721 чел., из них бесплатно — 396. Общий объем финансирования учреждений Пермского приказа общественного призрения составил 12 976 руб. 84 коп. Из доходов городских обществ в это же время финансировались 9 больниц (в Кунгуре, Соликамске, Красноуфимске, Екатеринбурге, Чердыни, Камышлове, Верхотурье, Шадринске, Ирбите) и 2 богадельни (в Кунгуре и Чердыни). Содержалось в них в течение года 1034 чел., из них бесплатно — 41. Объем финансирования благотворительных заведений из доходов городских «обществ» составил 6093 руб. 51,5 коп. [8]. Бесплатное лечение и помощь в городских благотворительных заведениях и учреждениях приказа общественного призрения получали лишь самые бедные и обездоленные жители городских сословий, а также лица, в силу каких-либо причин оказавшиеся вне рамок своего «общества» (нищие, бродяги, арестанты, безродные калеки и пр.). Все остальные либо самостоятельно компенсировали средства на свое «призрение» в заведениях приказа (богатые горожане, дворяне, чиновники), либо содержались за счет помещика, мирского общества или ведомства, к которому они были приписаны (государственные крестьяне, военные чины, мастеровые уральских заводов, полицейские, почтовые служащие и пр.).

Основными формами помощи нуждающимся на Урале в XVIII — первой половине XIX вв., как свидетельствуют данные историков, для подавляющего большинства уральского населения оставались формы традиционные — патерналистское попечение помещиков и заводовладельцев, забота семьи и общины, сословно-корпоративные и внутриведомственные системы социальной защиты [9]. Не случайно в последнее время историками при характеристике сущности социальных отношений в самодержавной России имперского периода все чаще употребляется понятие «патернализм». Б.Н. Миронов прямо на-

вал российскую государственность конца XVIII века «сословной патерналистской монархией», а патернализм признал общей парадигмой социальных отношений в российском обществе в XVIII веке и парадигмой для отношений между низшими и высшими классами в нем в первой половине XIX века [10].

Патернализм как модель, основа социальных отношений между низшими и высшими слоями был традиционен и жизнеспособен в России. Воспитание у дворянства патерналистского отношения к своим подданным имело в России место вплоть до конца крепостной эпохи. Официальный историограф императорского двора Н.М. Карамзин и другие современники императорской власти писали о том, что все императоры вплоть до Николая II воспитывались в духе патерналистской идеологии, им с детства внушалось, что «русские цари, как защитники и носители национального духа страны, должны являться для народа последним оплотом отеческой доброты и бесконечной справедливости» [11]. Начав промышленное освоение Урала, российское правительство во многом проецировало патерналистские отношения в промышленность, создав здесь в качестве основной производственной единицы округ — аналог сельскохозяйственной вотчины. В этом отношении вполне можно согласиться с мнением В.Г. Железкина в его споре с Е.Г. Неклюдовым о том, что патернализм как архаичная личностная модель отношений между заводовладельцем и горнозаводским населением появился на Урале в XVIII в. вместе с промышленностью, а не был принесен сюда в период реформ начала XIX в. [12].

Новым моментом в социальных отношениях России XVIII — первой половины XIX в. стал не сам патернализм, а возведение обычая отеческого попечения о подданных в закон. Указы Петра I о запрещении нищенства возложили ответственность за благосостояние жителей на их помещиков и хозяев. За допущение нищих к бродяжничеству виновные могли быть подвергнуты штрафу. Указ от 20 июня 1718 г. предписывал отсылать задержанных бродяг на места их жительства, «а на помещиках и на хозяевах, также на старостах и прикащиках брать штрафа за каждого человека за неусмотрение по пяти рублей» [13]. Указ Екатерины II от 27 февраля 1772 г. подтвердил это предписание [14]. При Николае I в XIX в. размеры штрафа были увеличены несколько раз. «Правила для руководства Комитета о разборе и призрении нищих в Санкт-Петербурге» 1835 г., присланные для руководства в Уральское горное правление, указывали: «Общества или помещики, отпустившие по паспортам, свидетельствам или другим каким-либо актам для прокормления себя работою таких людей обоего пола, кои по старости, дряхлости, болезни или калечеству не в силах исправлять работ и снискивать себе пропитание трудами, по задержании их полициею за прошение милостины подвергаются штрафу в пользу Комитета о нищих в первый раз по 25 рублей ассигнациями за каждого человека или женщину. Когда после возвращения помещикам или обществам [...] люди сии вторично взяты будут полициею за бродяжничество и прошение милостыни, то в сем разе с помянутых помещиков и обществ взыскивать означенный штраф вдвое; в случае задержания тех же людей в третий раз втрое и так далее» [15]. Если вспомнить среднегодовой размер оплаты труда и пенсий рабочих того периода, станет ясно, что владельцам горных за-

водов было гораздо выгоднее содержать собственную систему социального призрения, чем подвергаться столь большим штрафам.

«Отеческое попечение» заводовладельцев и горного ведомства о рабочих вызывалось, конечно, не только страхом перед возможным наказанием. Анализируя развитие системы социального призрения и здравоохранения на Урале, историки отмечают существенное расширение материальной базы и сети этих учреждений в первой половине XIX в. [16]. Связано это было не только развитием законодательства (Горный устав во многом конкретизировал социальные обязательства заводовладельцев), но и с осознанием необходимости специальной поддержки социальной сферы жизнеобеспечения горнозаводского населения. Индустриализация, даже в ее начальной стадии, многократно увеличила число людей, нуждающихся в помощи. Травматизм, преждевременная потеря сил и здоровья стали неизбежными спутниками начавшегося в первой половине XIX в. в России промышленного переворота. Решить проблемы социальной поддержки огромного числа людей с помощью традиционных форм социальной защиты стало невозможно. Управляющий Пермским имением Лазаревых Г.А. Надуткин писал по этому поводу своему хозяину в 1855 г.: «Преждевременное занятие молодых людей в тяжелые заводские работы и неизбежные ушибы и увечья мастеровых в фабриках суть причины того, что в Чермозском заводе считается не более 20% сильных и здоровых работников из всего заводского народа, между тем, как в сельских имениях число их всегда восходит выше 40%» [17]. Управляющие частных горнозаводских округов и горные начальники как непосредственные руководители промышленности более всех были заинтересованы в сохранении объемов производства и социальной стабильности на подведомственных им предприятиях. Именно их мнение часто определяло направление социальной политики горного ведомства и трансформацию институтов социальной защиты в промышленности [18].

В наиболее льготных условиях в первой половине XIX в. оказались рабочие казенных заводов, в ипостаси владельцев которых выступала сама казна. Проект горного положения 1806 г. и последующие горные уставы узаконили на казенных заводах вполне развитую систему социальной защиты. Рабочие и члены их семей — *сироты, вдовы обеспечивались бесплатной медицинской помощью, провиантским* «богаделенным пособием», а иногда и денежной пенсией в случае старости и инвалидности. Право социальной защиты и социального обеспечения горнозаводского населения было признано не только официальным государственным законодательством (в первой половине XIX в. это право распространялось только на рабочих казенных заводов), но и вотчинным правом. В феврале 1837 г., например, появилось подробное Положение об управлении Пермского нераздельного имения Строгановых. Положение содержало особые главы «О сохранении здоровья», «Об опеке», «О призрении сирот и нищих», «О богадельнях». Врачебную помощь и советы всем людям строгановского имения доктору предписывалось подавать безденежно, «а в тяжких случаях посещать их в домах и посылать к ним своих учеников с лекарствами и наставлениями». Малолетним сиротам Положение гарантировало опеку и сохранение имущества вплоть до совершеннолетия. Правила этой опеки строго регламентировались. Заводские и промысловые сироты, не име

ие средств к существованию, помещались в особые сиротские дома, «дряхлые вечные люди» — в богадельни [19]. Особое «Учреждение сиротских попечительств» имелось в Пермском имении Лазаревых [20].

Пенсионное обеспечение рабочих и служащих частных заводов в первой половине XIX в. стало регулироваться вотчинным правом и инструкциями заводовладельцев. Как правило, денежные пенсии здесь выдавались лишь служащим, престарелые рабочие получали провиантное «богаделенное пособие». В журнале заседаний комитета управляющих пермским имением Строгановых от 1841 г., например, записано, что общая сумма пенсионов служащих в этом году должна была составить 5100 рублей, мастеровых же — 1500 руб. [21]. Как указывалось в Проекте правил Чермозского главного правления Лазаревых о положении пенсий служащим и мастеровым с их семействами 1851 г., право на это пособие они приобретали «по благотворительности их превосходительств господ владельцев» за сорочною, долговременною, верною службою. Никаких гарантий осуществления этого права рабочие и служащие не имели. Заводовладелец мог в любой момент лишить пенсионера пособия, как пишется в том же Проекте, «по злоупотреблениям или по каким-либо проступкам в явной неблагодарности». Права на пенсию лишались и вольноотпущенные [22]. Не распространялись пенсионные выдачи на крестьян, занятых в заводском производстве, так как они, как указано в пенсионных правилах Пермского имения княгини Бутеро-Родали 1860 г., постоянною службою и работою не заняты и имеют полную возможность сами себя прокормить [23]. Сроки выслуги денежной пенсии и богаделенных пособий по старости в разных округах были разными, все зависело исключительно от воли заводовладельцев и их финансового состояния.

Система благотворительности, существовавшая на горных заводах Урала в допостной период, обеспечивала социальной помощью весьма значительную часть нуждающегося в ней горнозаводского населения. «Попечительная» политика заводовладельцев и горного ведомства сформировала весьма своеобразный тип уральского рабочего, социально-психологические отличия которого от рабочего европейского отчетливо осознавались либеральной общественной мыслью во второй половине XIX в. Почти все публицисты и исследователи писали после реформы 1861 г. о том, что горнозаводское население отвыкло от необходимости заботиться о пропитании себя и своих семейств, от инициативы и самодеятельности.

Модель социальной защиты, сложившуюся в первой половине XIX в. на уральских заводах, вполне можно назвать моделью патерналистской. В качестве основных черт этой модели историки экономики называют: финансирование бюджетов социального страхования и обеспечения в основном на нестраховых принципах, когда расходы по ним возмещались из текущих доходов предприятий; добросовестное выполнение производственных обязанностей и лояльность по отношению к работодателю как основное условие получения пенсий и благотворительных пособий; ограниченность охвата населения системами социального страхования и обеспечения. Патерналистская доктрина социальной защиты в XIX веке господствовала в политике всех европейских государств. Исторический шаг в сторону «государства всеобщего благоденствия» впервые сделало имперское германское правительство Бисмарка лишь в конце XIX в., введя систему обяза-

тельного социального страхования для всех работающих в промышленности [24]. Характерной особенностью социально-правовых форм материального обеспечения престарелых и нетрудоспособных в доиндустриальный и раннеиндустриальный период, согласно мнения правоведов, была структурная необособленность распределительных отношений от отношений собственности [25]. Система социального обеспечения и социальной защиты уральского населения XVIII — первой половины XIX в. в этом отношении в целом была вполне традиционна.

Складывание социального права и применение его в вотчинных и посессионных горнозаводских имениях Урала в первой половине XIX в. свидетельствует, однако, и о развитии в России модернизационных тенденций: в духе модной в то время либеральной доктрины государственного управления, которой увлекалась некоторая часть образованного общества, за человеком признавались определенные права и свободы, хотя, конечно же, речь не шла о даровании народу гражданских прав и привлечении его к участию во власти. В первой половине XIX в. образованные дворяне-заводовладельцы сознательно стали внедрять на своих заводах не только традиционные, основанные на патернализме или принципах мирской взаимовыручки учреждения социальной защиты, но и новые для того времени институты страхования. Страховое дело, привлекавшее для страхования личного риска индивидуальные взносы клиентов, во многом противоречило традиционному мировоззрению русского народа.

В фонде Строгановых РГАДА сохранилось несколько дел, рассказывающих о создании в Пермском имении особого капитала для страхования от пожара деревянных строений. Как свидетельствуют данные этих дел, страховая деятельность встретила сначала яростное сопротивление мирских обществ. Идея страхования домов от пожаров возникла на Урале еще до официального открытия в 1827 г. в Санкт-Петербурге акционерного страхового Российского от огня общества. 14 ноября 1821 г. один из управляющих главной конторой строгановскими имениями Лев Ослоповский обратился к владелице уральских горных заводов графине Строгановой с предложением создать в Пермском имении особый капитал для «возведения новых обывательских домов и строения вместо истребляемых пожарами». Собрать необходимый для этого капитал, по мысли автора проекта, можно было за счет индивидуальных взносов крестьян, желающих застраховать свои дома. Подсчитав примерное количество домов в имении (около 13 тысяч) и оценив каждый из них в среднем в 200 рублей, Ослоповский предложил взимать в страховую сумму ежегодно по одному проценту от стоимости дома. 26 тысяч рублей, полученных в результате этого сбора, можно было либо отдать под рост процентами в казенные учреждения, либо принять в собственную кассу владелицы с платежом в страховую сумму по 6—7%, что будет, как писал Ослоповский, «новою милостию и благотворением Вашего Сиятельства к подвластным Вам людям» [26].

Строганова положительно оценила мнение своего советника и уже 24 января 1822 г. отправила предписание в село Ильинское управляющему имением Якову Григорьевичу Волегову. Для создания страхового капитала графиня приказала организовать специальную страховую комиссию из главноуправляющего имением и трех присутствующих третейского суда, а в каждом земском

ведомстве, помимо этого, для предотвращения злоупотреблений при страховой оценке домов — частные отделения страховой комиссии, куда мирское общество должно было избрать человек [27].

Волегов, хорошо знакомый с мировоззрением управляемого им населения, с большой осторожностью воспринял идею индивидуального добровольного взноса крестьян в страховой капитал. В своем донесении Строгановой от 22 февраля 1822 г. он утверждал, что значительно проще было бы составить страховую пожарную сумму посредством небольшого обязательного взноса, собираемого с крестьян вместе с другими податями. Тем не менее, несмотря на затруднительность поручения, он обещал приложить все усилия к «сильному внушению крестьянам о той пользе, какую страховая пожарная сумма приносить им может» [28].

24 февраля 1822 г. при участии Волегова главная страховая комиссия в селе Ильинском была открыта, 25 февраля начало действовать Ильинское земское частное отделение [29]. Страховая деятельность приказчика в других селениях оказалась, однако, далеко не столь успешной. В 1822 г., судя по данным дневника Волегова, он посетил почти все селения имения с целью убеждения крестьян и мастеровых в пользе для них страхового дела [30]. Почти все мирские общества решительно отвергли новое для себя учреждение. 1 марта Я.Г. Волегов явился в Добрянский завод, где его встретило большое число местных жителей. Заводские приказчики объяснили Волегову, что жители собраны здесь для избрания депутатов в частное страховое отделение, однако никто из них на это избрание не согласен и дома свои страховать не хочет. Управляющий прочел жителям Добрянки обращение заводовладелицы и положение страхового общества, объяснил выгоду и полезность для крестьян участия в этом обществе. После долгой речи управляющего заводские приказчики согласились застраховать свои дома, а «крестьяне с большим шумством от того отреклись». Убеждать мастеровых пришлось до 12 часов ночи, но никакого эффекта эти действия управляющего не имели. На следующий день Волегов предписал призывать к нему мастеровых на беседу по одному и вновь убеждал их в пользе нового учреждения. Результатом стало согласие двадцати мастеровых застраховать свои дома — частное отделение в Добрянке было открыто.

4 марта Волегов отправился на соляные промыслы. Промысловые работники от выбора депутатов и представления своих домов к застрахованию «отозвались», и чем больше делано было им убеждений, «тем вяще оказывали они упорство». Наконец, после долгих уговоров, четверо работников, представленных ранее приказчиками в Москве графине Строгановой, согласились на страхование своих домов и выбрали депутата, за что, как пишет Волегов, «потерпели они от прочих людей обидные упреки». Уговоры и увещевания соляных работников продолжались до 7 марта, застраховать удалось, однако, дома лишь нескольких человек. 13 марта Волегов отправился в остальные села имения в сопровождении члена Ильинского третейского суда Григория Кайгородцева, рассчитывая на его авторитет у крестьян.

В Юсвенской земской конторе, однако, посланников администрации вновь встретило упорное сопротивление. Крестьяне от страхования домов решительно отказались, заявив, что «если кто из них потерпит от пожара, то они вспоможение сделают сами между собой, а пособий требовать ни от кого не будут».

После долгих убеждений в пользе и необходимости страхования некоторы члены общины стали склоняться к тому, чтобы застраховать свои строения, н «угрозы и запрещения других от того их останавляли, ибо большая часть люде с дерзостию кричали, что все должны быть единодушными, от общего мнени не отставать и ни на какие убеждения отнюдь не соглашаться». На следующи день в земскую контору был вызван один лишь староста. После долгих угово ров он согласился внести свой взнос в страховой капитал, попросив защитит его, однако, если будут притеснения со стороны мирского общества. Удалос убедить в необходимости страхования своих домов еще двух жителей сел Юсвенское и открыть здешнюю страховую контору.

В Архангельском приказчиков ждала та же история — решительное сопроти ление введению нового учреждения, на уговоры поддались лишь два человека. Е Егвенском, следовавшем после Архангельского, был престольный праздник, поэтом в контору староста собрал лишь «лучших» людей. Выслушав убеждения приказ чиков, они согласились застраховать свои дома. Из разговоров в Егвенском Волего узнал, что после получения предписания из Ильинской страховой комиссии о открытии земских страховых контор крестьяне Инвенских селений собрались н тайном совещании и договорились не соглашаться ни на какие убеждения, не вы бирать депутатов в новые страховые учреждения и не страховать свои дома.

18 марта Волегов с Кайгородовым явились в село Отевское. Здесь их жда ло то же «сильное шумство и смятение». Крестьяне местной общины не толь отказывались страховать свои дома, но даже, заметив, что один из них гото согласиться на уговоры приказчиков, «вызвали его из земской избы и, усил ным образом усадя в сани, увезли в деревню». Дом застраховал после долги уговоров один лишь староста.

18 марта вечером приказчики отправились в село Кудымкарское. В 11 час ночи их встретил местный приказчик и объявил, что местное мирское общест готово принять участие в работе страховой комиссии, депутаты, избранные н находятся в земской избе. Несмотря на позднее время, Волегов поспешил встре титься с депутатами. Дневник сохранил весьма любопытную оценку образова ным приказчиком Волеговым менталитета местных крестьян. «Я знал, что умее могу в деле, мне порученном, тогда, когда находится их меньше, нежели большом собрании, при котором бывают они смелее, упрямее и дерзновенне и потому тот же час пошел в земскую избу». После беседы с выбранны обществом депутатами частное отделение в Кудымкаре было открыто и оф циально зарегистрировано, собственные дома застраховало 10 человек. Собы тия следующего утра продемонстрировали мудрость приказчика. Мирско кудымкарское общество, собравшись в земской конторе, стало обвинять старост в том, что он согласился застраховать свой дом без согласия общины. Мног крестьяне кричали, что никаких новых учреждений им не надобно. Пришлос вновь объяснять крестьянам, что страхование — дело добровольное и индиви дуальное, для крестьян оно очень выгодно и полезно.

Упорное сопротивление крестьян внедрению нового для них страхового де объясняется прежде всего недоверием сельских и заводских мирских обществ администрации, непониманием того, что страховая ответственность индивидуаль

и не ляжет дополнительным бременем на общину. Многие крестьяне не желали брать на себя дополнительных финансовых затрат по страхованию риска, надеясь на традиции взаимопомощи общины и патерналистскую заботу о пострадавших помещицы. Администрация, однако, не оставляла своей работы по разъяснению истинного смысла нового учреждения, никакого принуждения по отношению к крестьянским мирам при этом не применялось. Я полагаю, писал Волегов, «что когда неосновательные мысли их истребятся и когда впоследствии времени познают они от благотворного учреждения страховой пожарной суммы пользу свою, то положат домы и строения свои в другую цену» [31]. Усилия строгановских приказчиков не оказались напрасными. В 1822 г. им удалось застраховать от пожаров всего 5742 дома и 587 гумен, через десять лет число застрахованных домов увеличилось до 14 465, гумен — до 5732 [32].

Изменению традиционной ментальности и разрушению традиционного для России сословного и корпоративного эгоизма способствовали и складывавшиеся здесь с начала XIX в. всесословные благотворительные и просветительные организации. Инициатива в развитии этих организаций в первой половине XIX в. принадлежала элитному слою общества и осуществлялась под покровительством самой царской власти. На Урале первое из всесословных благотворительных обществ возникло в 1821 г. в Уфе. Это был Уфимский Попечительный комитет о бедных ведомства Императорского Человеколюбивого общества. В конце 40-х — начале 50-х гг. XIX в. на Урале начали работу губернские попечительства детских приютов, привлекавшие средства всех слоев населения.

Начало трансформации институтов социальной защиты населения в первой половине XIX в. свидетельствует о модернизационных тенденциях в этой сфере жизнедеятельности уральского населения: на смену традиционным институтам патерналистского попечения и мирской взаимовыручки шли новые этические принципы и культурные навыки, положившие начало Великим реформам 60-х — 70-х гг. XIX в.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См., например: Боханов А.Н. Коллекционеры и меценаты в России. М., 1989; Он же. Крупная буржуазия России. Конец XIX в. — 1914 г. М., 1992; Бурышкин П.А. Москва купеческая. М., 1991; Думова Н.Г. Московские меценаты. М., 1992; Петров Ю.А. Братья Рябушинские: групповой портрет русской финансовой олигархии // Встречи с историей / Вып.3. М., 1990. С. 29—45; М.Н. Барышников. Деловой мир России. Историко-биографический справочник. СПб., 1998 и др.

2. Климова С.В. Христианский смысл милосердия // Благотворительность и милосердие: Сб. науч. трудов / Под общей ред. В.Н. Ярской. Саратов, 1997. С. 80—90; Вилков А.А. Мирская благотворительность как фактор менталитета российского крестьянства // Там же. С. 138—151; Ярская В.Н. Благотворительность и милосердие как социокультурные общечеловеческие ценности // Там же. С. 36—53; Миронова Р.Е., Иванова И.Н. Благотворительность как показатель нравственной культуры общества // Там же. С. 71—79; Смирнова Е.Р. Социокультурный смысл милосердия // Там же. С. 4—35; Жданова И.С. Меценатство как социальный феномен и проблема его развития в современной России. — Автореферат дисс. ... канд. ист. наук. М., 1997; Свердлова А.Л. Меценатство в России как социальное явление // СОЦИС. 1999. № 7. С. 134—137.

3. О социокультурном контексте благотворительности в европейских странах см.: Ястребицкая А.Л. Бедность, бедняки и маргиналы в европейском городе XII—XVII вв. (Социокультурная реконструкция) // Культура и общество в Средние века — раннее новое время. Методика и методология современных историко-антропологических и социокультурных исследований. Сб. аналитических и реферативных обзоров. М., 1998; От аграрного общества к государству всеобщего благоденствия. Модернизация Западной Европы с XV века до 1980-х гг. М., 1998.

4. См., например: Баяндина Н. Пермь купеческая. Пермь, 1997; Благотворительность: история и возрождение: Мат-лы науч.-практ. конференции. Пермь, 1998; Коллекционеры и меценаты дореволюционного Урала. Екатеринбург, 1999 (Сер. «Очерки истории Урала». Вып.8); Сутырин Б.А. Из истории благотворительства на Урале в конце XIX — начале XX века // Каменный пояс на пороге III тысячелетия: Мат-лы регион. науч.-практ. конференции. Екатеринбург, 1997.

5. Агеев С.С., Микитюк В.П. Рязановы — купцы екатеринбургские. Екатеринбург, 1998. С. 88, 92, 96, 97, 111, 114; Байдин В.И. Эволюция социально-культурного и бытового облика верхушки уральской буржуазии в конце XVIII — начале XIX вв. (на примере семьи екатеринбургских купцов Казанцевых) // Уральский сборник. История. Культура. Религия. Екатеринбург, 1997. С. 22; Копцева Т.В. Духовная культура купечества Зауралья (вторая половина XVIII — середина XIX вв.) Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 1998; Она же. Купцы-меценаты урало-сибирского региона // Россия. Романовы. Урал. Вып. III. Екатеринбург, 1997. С. 67—70. Дашкевич Л.А. Воспитательные дома и приюты на Урале в XVIII — первой половине XIX вв. (К вопросу о развитии благотворительности в крепостной России) // Уральский сборник. История. Культура. Религия. Вып. III. Екатеринбург, 1999. С. 103—124.

6. См.: Фирсов М.В. История социальной работы в России: Учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений. М., 1999; Основы социальной работы: Учебник / Отв. редактор П.Д. Павленок. М., 1999; Справочное пособие по социальной работе. М., 1997; Социальная работа / Под общей ред. проф. В.И. Курбатова. Ростов на-Дону, 1999 и др.

7. Справочное пособие по социальной работе М., 1997. С. 25; Нувахов Б.Ш. Лаврова И.Г. Этапы развития милосердия и благотворительности в России в XVIII—XX вв. // Проблемы социальной гигиены и история медицины. 1995. № 4. С. 52; Фирсов М.В. История социальной работы... С. 11.

8. ГАПО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 104. Л. 313—316.

9. Дашкевич Л.А. Социальная политика горного ведомства на Урале в первой половине XIX века // Уральский исторический вестник. 1999. № 5; Она же. Воспитательные дома и приюты... С. 103—125; Неклюдов Е.Г. Идеи патернализма в социальной политике уральских заводчиков Демидовых в первой половине XIX века // Тульский металл: четыре столетия истории. Тезисы II Всероссийской научной конференции «Тульский металл в истории промышленности и предпринимательства». М.; Тула, 1995; Железкин В.Г. Государственный социальный патернализм в уральской промышленности XIX века // Модернизация в социокультурном контексте: традиции и трансформации. Сб. науч. статей. Екатеринбург, 1998; Голикова С.В. Попечение владельцев о горнозаводских рабочих Урала в сфере здравоохранения (1800—1861 гг.) // Предприниматели и рабочие: их взаимоотношения: Вторая половина XIX — начало XX в. («Вторые Морозовские чтения»): Материалы науч.-практ. конф. Ногинск-Богородск, 1996. С. 30—36; Она же. Горнозаводская медицина Урала в первой половине — середине XIX в. // Россия. Романовы. Урал. Вып. 3. Мат-лы III научных чтений, посвященных памяти Великого Князя Николая Михайловича. Екатеринбург, 1997. С. 94—98; История местного самоуправления на Урале в XVIII — начале XX в.: город, село, деревня / Е.Ю. Апкаримова, С.В. Голикова, Н.А. Миненко и др. Екатеринбург, 1999; А.В. Мангилева. Духовное сословие на Урале в первой половине XIX в. (на примере Пермской епархии). Екатеринбург, 1998.

10. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. Т. 2. СПб., 1999. С. 132.
11. Там же.
12. Железкин В.Г. Государственный социальный патернализм ... С. 87.
13. Стог. О общественном призрении в России. Ч. 1. СПб., 1818. С. 43.
14. Там же. С. 94.
15. ГАСО. Ф. 24. Оп. 32. Д. 3345. Л. 5 об.
16. Железкин В.Г. Государственный социальный патернализм ... ; Неклюдов Е.Г. Идеи патернализма ... ; Дашкевич Л.А. Социальная политика горного ведомства... ; Голикова С.В. Горнозаводская медицина Урала ... С. 94—98.
17. РГАДА. Ф. 1252. Оп. 1. Д. 1882. Л. 200 об.
18. Подробнее см.: Дашкевич Л.А. Социальная политика горного ведомства ...
19. РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 4420.
20. ГАПО. Ф. 280. Оп. 1. Д. 976.
21. РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 1422. Л. 6 об.
22. ГАПО. Ф. 280. Оп. 1. Д. 1081. Л. 1 об., 12 об., 15.
23. Пермские губ. ведомости. 1860. 16 сентября.
24. Роик В.Д. Социальная защита: управление условиями и охраной труда (Опыт зарубежных стран). М., 1992. С. 117.
25. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1999. С. 65.
26. РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 1387. Л. 3 об.
27. Там же. Л. 4.
28. Там же. Л. 21 об.
29. Там же. Л. 28.
30. Там же. Л. 34—41.
31. Там же. Л. 32 об.
32. РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 1391. Л. 149.

DEVELOPMENT OF INSTITUTIONS OF SOCIAL HELP IN THE URALS IN THE PERIOD OF SERFDOM: HISTORIOGRAPHIC AND METHODOLOGICAL ASPECTS

An original system of charity formed in the Urals in the XVIII — first half of the XIX centuries is the subject of the article. The system provided social help to significant part of the Ural population. The author defines the model of social help emerged in the first half of the XIX century at the Ural factories, as paternalistic. The basic features of this model were: financing of social insurance and security budgets basically not according to the insurance principle but when the expenditures were reimbursed from the current incomes of enterprises; diligent execution of responsibilities and loyalty to the employer as main conditions for pension payment and charity allowances; limited character of the population inclusion in the systems of social insurance and security.

L.A. Dashkevich

О.Н. Яхно

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОЖАН РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв.: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНКРЕТНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В силу различных обстоятельств в российской исторической науке до по леднего времени отсутствовало должное внимание к изучению повседневно жизни людей. Экономические, демографические, социальные или политическ процессы были изучены гораздо лучше, чем социально-психологические осн вы поведения людей, особенности их быта.

Постановка новых проблем исторического исследования не только откры вает новые возможности для описания культуры других эпох, но и позволяе вводить в научный оборот новые источники. Начиная с XIX в., российск культурная традиция беспрекословно отдавала приоритет слову. Считалось, ч идейное содержание произведения выше его формы. Отсюда, изучению да материального воплощения идей в реальных вещах уделялось недостаточ внимания. Тот факт, что русский человек в силу образования и воспитан относился зачастую «пренебрежительно» к вещному миру, делает эти сам вещи очень привлекательным материалом для исследования определенной эпох

Как правило, человек не анализирует свои вкусы, не задумывается над смы лами и знаками отдельных деталей костюма или интерьера — поэтому под пр стальным взглядом исследователя они становятся носителем ценной информац и «открытой книгой». Люди при всей своей высокой духовности вынужден поддерживать свое физическое существование. Различные способы, которыми э обеспечивается, уже несут на себе печать культуры определенного периода. Н традиционные (неписьменные) источники предоставляют наибольшую возможнос для реконструкции некоторых особенностей повседневной жизни.

Язык вещей, также как язык жестов, опирается на оптический код. Тел сность человека выступает первичной символической системой этого язык Западный человек опирается на предметно-вещный принцип трактовки окруж ющего мира и своего тела. Через вещи человек заявляет о себе окружающем миру. Европейский человек непрерывно занят борьбой с природой, и вся кул тура строится на противопоставлении: лесу — дом, дому — тело и т.д. Ро сия в силу своего исторического развития разделяет этот западный телесны канон, «в котором тело выступает «говорящей» телесностью с характерной тя к исповедальности» [1]. Исходя из этой традиции, мы можем рассматрива предметно-вещную среду как исторический источник для фиксации изменени происходящих в сфере повседневной жизни.

Используя своеобразный язык через цвет, силуэт, пропорции, фактуру ве может рассказать не только, что она собой представляет, для чего изготовл на, но и для кого создана, какой человек ею пользуется. Форма, не изображ человека, создает его образ — человек определенной эпохи, национальной пр надлежности, социального положения и душевного склада. Анализ костюма, частности, может выявить некоторые эстетические доминанты эпохи. Характ

материалов, силуэт, степень удобства одежды могут рассказать об уровне технологии, образе пространства, скорости передвижения его носителя. Индивидуальные мотивации выбора комплекса вещей отражают степень реализации творческих возможностей каждого отдельного человека в повседневной жизни. Поэтому анализ материально-вещной среды является важным источником для понимания не только настоящего, но и прошлого. Подобный подход особенно продуктивен при исследовании исторических периодов, отличающихся серьезными социально-экономическими сдвигами. Новые источники могут помочь по косвенным данным более полно оценить глубину происходящих изменений в обществе. Тем более что вербальные исторические источники в большей мере идеологизированы, заведомо подчинены какой-то идее, подвергнуты цензуре. Материальное окружение «простого» человека в подавляющем большинстве случаев не обременено подобным грузом.

Интересно восстанавливать образ человека эпохи перемен, когда в комплекс вещей входят предметы, сигнализирующие о ценностях старого и нового периодов. Ж. Бодрийяр подчеркивал, что в нашем бытовом окружении уживается множество функционально разобщенных вещей и лишь человек, исходя из своих потребностей, заставляет их сосуществовать вместе [2]. Такое разнообразное множество вещей интересующего нас периода получило отражение в фотографиях, рекламных объявлениях в газетах и журналах, музейных коллекциях.

Характерной чертой начала XX в. в этом отношении была попытка соединить индивидуальное и уникальное с массовым стандартным производством. Такое явление было частью более общих перемен в российском обществе, начавшихся во второй половине XIX в. В период модернизационных преобразований в связи с изменениями характера общественного производства, общественного потребления и общественных отношений произошло усложнение всех сторон повседневной жизни, причем не только в столицах, но и в российской провинции. Отчетливо эти изменения можно проследить на примере Уральского региона. Отмена крепостного права, развивающаяся фабричная промышленность способствовали росту городского населения. В последней трети XIX в. города притягивали к себе наиболее мобильное население окружающих территорий, уравнивая социально-экономическое положение, права и интересы мужчин и женщин, представителей различных сословий и национальностей.

Численность городского населения и темпы его роста достаточно полно отражают общие социально-экономические закономерности развития города и региона. В целом города Урала были мельче российских. Тем не менее, с 1863 по 1897 г. число крупных городов на Урале с населением более 10 тыс. увеличилось с 7 до 19. В восьми городах региона в 1897 г. (к моменту первой всероссийской переписи населения) численность жителей превышала 20 тыс. чел. Кроме губернских центров, в это число входил ряд уездных городов, в частности и Екатеринбург. Именно такие города становились основными центрами притяжения торговых и промышленных капиталов, рабочей силы, здесь концентрировалась культурная и административная жизнь региона.

Реальными носителями новых идей, сторонниками современного на тот период образа жизни были представители различных городских слоев. В указан-

ный период состав жителей как по сословиям, так и сферам занятий претерпе существенные изменения. В последней четверти XIX в. росла численност дворян и почетных граждан в городах, хотя их доля почти не изменилась составляла около 9%. Купеческое сословие в городах сократилось не только от носительно, но и абсолютно. Для того, чтобы заниматься торговлей, не обяза тельно было переходить в купеческое сословие. Самым многочисленным и городских сословий были мещане. Их доля среди населения городов составля более 43%. Примерно столько же в численности городского населения состав ляла доля крестьян. Это были в основном не так давно прибывшие из сель ской местности жители, по существу потерявшие свою связь с прошлым быто и сферой деятельности, ставшие промышленными рабочими, предпринимателями ремесленниками, торговцами, т. е. полноправными городскими жителями [3].

В начале XX в. на первый план все отчетливее выступала необходимост деления общества по занятиям и способам получения доходов. Растет доля со циально и хозяйственно активной части населения Пермской губернии. В 1887 в Екатеринбурге 45,8% жителей имели свои заработки и доходы, в 1897 г. — уже 53,0% [4]. Все меньше членов городских семей занималось только домаш ним трудом, все больше женщин и детей было вынуждено искать себе соб ственный заработок.

Структура занятий жителей городов Урала была аналогична общероссийски показателям. Города края развивались как торгово-промышленные центры. Срав нение профессионального состава населения Екатеринбурга за 1873 и 1897 г показывает, что постепенно он из административного и посреднического центр превращался в центр торговли и промышленности. При этом в Пермской губер нии были и такие города, которые по своей экономической структуре больш напоминали сельские поселения. В Соликамске, Камышлове, Верхотурье, оказав шихся в стороне от буржуазного развития, лица, занимавшиеся сельским хозяй ством, составляли до 60% всего «производительного населения».

Города Урала, как и всей России, развивались неравномерно. Они разли чались по своей истории, степени сосредоточения торговых и промышленных з ведений, близости транспортных магистралей и торговых центров, п специализации окружающих их районов. Но среди них выделилось несколь городов, которые стали лидерами процесса урбанизации, — в частности, Перм как губернский центр, и Екатеринбург, как центр горнозаводского регион Формирование в городах новых моделей поведения оказывало ощутимое во действие на образ жизни населения других территориальных общностей. Ина говоря, города становились подлинными катализаторами перемен в регионе.

В экономической, социальной и политической областях жизни это выраз лось в росте специализации и рационализации различных институтов. В бытов сфере ярко стала проявляться дробная спецификация разных функций вещ В городах (а урбанизация также являлась составляющей модернизации кон XIX — начала XX вв.) этот процесс шел более последовательно и прослеж вается достаточно отчетливо.

Ведущая роль обычая как механизма социальной регуляции к началу XX оказалась подорванной. Его начинает теснить феномен моды. Усиление со

льной мобильности, расширение контактов между различными культурами, технологические новшества, развитие и распространение научных знаний привели к необходимости изменения межличностных отношений, выработки новых норм и стандартов поведения. В моде институциональные аспекты были подчинены стихийно формирующимся тенденциям социокультурной инновации и массового отбора соперничающих культурных образцов. Внимательный наблюдатель, зная значение различных символов, может по господствующей «моде» определить явные и латентные ценности, господствующие в обществе [5].

В повседневной жизни людей это выражалось в возрастании рационального отношения к пище, одежде, бытовой технике, тратам времени и денег и пр. Достижения науки и просвещения к началу XX в. привели к тому, что гигиена стала более широко проникать в городские слои населения Урала. «Гигиена коснулась всех условий нашей жизни, личной и общественной, заглянула в нашу обыденную, домашнюю обстановку, в школу, в мастерские, во все места, где люди вместе сходятся и вместе работают, освещая неприглядные, нездоровые условия человеческого существования» [6]. Распространенным явлением становится реклама различных дезинфицирующих средств. «Здоровый и красивый человек нашего времени обязан этим важным в жизни качествам, прежде всего, правильному уходу за телом. Опрятность играет при этом первостепенную роль. Лучшую меру предосторожности от заразы если для мытья и купанья, особенно для дезинфекции рук перед каждой едой употребляется карболовое мыло» [7].

Свидетельством нарастания модернизационных процессов в обществе является распространение рационального взгляда на здоровье. Оно становится необходимостью, от него зависели работоспособность и профессиональный успех. Рынок товаров и услуг моментально отреагировал на эти требования времени. Увеличивается количество практикующих врачей. Их услуги становятся все более доступными. Растет число лекарственных средств, которые продавались без рецепта. В местных аптеках кроме различных зубных порошков и эликсиров для полоскания можно было купить карандаш от насморка, пластырь от мозолей и бородавок, мыло, которое «уничтожает веснушки, загар, желтые пятна, прыщи и угри и действует против излишней потливости» [8].

Открыто в местной и центральной печати стали обсуждать темы, всегда считавшиеся наиболее интимными: венерические болезни и гигиенические, и лекарственные средства для их предотвращения или лечения, половые расстройства, проблемы беременности пр. Это также является признаком перехода от традиционной культуры, основанной на тайне, к рациональной, в большей мере опирающейся на объективные научные знания, открыто обсуждающей любые проблемы.

Последние достижения в производстве косметики и парфюмерии позволяли корректировать внешний вид как женщин, так и мужчин и дольше сохранять молодость. Местные уральские газеты обращались с предложениями ко всем: «Хорошие волосы — достояние немногих счастливцев. Блестящие результаты дает новое мыло «Ханолиновое». Оно совершенно устраняет перхоть и необычайно содействует росту волос». Там же предлагались различные импортные средства: «Японский крем «Банзай» от веснушек, желтых пятен, морщин и угрей», «Яволь» сохраняет ваши волосы» и пр. Знакомая нам реклама брит-

вы еще в начале XX века убеждала жителей Урала, что лучше ее для муж чины нет: «Безопасная бритва «Кадет» с настоящими лезвиями «Жилет» Единственная бритва по качеству и дешевизне» [9].

Явно изменились представления о красоте, способах ее поддержания и наи более предпочтительном возрасте. «В настоящее время женщина, благодар утонченному кокетству и строгой гигиене, остается молодой без всяких искус ственных прикрас до пятидесяти лет; теперь нет «пожилых» женщин, тепер есть только молодые и стáрые» [10].

Возникает своеобразная «идеология молодости» как знак иного строени общества, потребности постоянной адаптации к изменениям. Важным показа телем является меняющееся отношение к детскому здоровью, воспитанию, об разованию, организации детского досуга. Высокой ценностью в глазах общест ранние возрасты стали наделяться лишь в новое время. Для традиционног общества возраст — основа социальной организации. Именно поэтому ранни возрасты там обладали меньшими правами при распределении основных роле и ключевых позиций.

Конец XIX в. ознаменовался появлением специальной детской одежды Детей стали одевать в соответствии с их пропорциями и родом занятий, а н как маленьких взрослых. Самым популярным и известным с того времени счи тается моряцкий костюм. Его носили дети в мещанских и дворянских семья Матросский воротник мог быть выполнен из темного бархата или шелка выложен шелковой белой плетеной тесьмой. Сзади воротник был украше вышитыми якорями. Якорь часто был и на белой грудке, закрывавшей выре воротника. Спереди, под воротником, часто носили черный галстук. Манжет соответствовали цветом (не только синий, но красный) и отделкой воротник Все это делало костюм яркой и нарядной стилизацией под матросскую форм По кадрам кинохроники и фотографиям известно, что и дети императора Ни колая II также носили такой фасон.

Требования рациональности (т.е. простоты и удобства) стали предъявлят в первую очередь к одежде взрослых. Повседневная женская одежда претер пела значительные изменения. Женщина освобождается от многих условносте предписанных многовековой традицией; горизонты возможностей значительн расширились, роль женщины в социуме начинает переосмысливаться. Новы занятия (профессиональные или в свободное время) привели к упрощени одежды и ее кроя. Важной чертой времени стало создание современного горо ского костюма. Для женщин он состоял из юбки и блузки, для мужчин — и пиджака и брюк. Такой комплект был первой универсальной одеждой, котору носило городское большинство. Она встречалась в гардеробе представите всех городских сословий и слоев: чиновников, различных служащих, учите врачей, вплоть до крестьян.

Общей причиной роста количества вещей, их универсализации и быстр смены модных стандартов пресса начала XX в. называла их машинное про водство и изменения в социальной сфере. «В настоящее время новости мо с быстротой молнии распространяются по всему цивилизованному миру, нахо себе поклонников среди представителей всех сословий» [11].

Таким образом, машинное производство внесло первое и значительное изменение: убрало «субъективный элемент» и на рынке появился «шаблонный товар для того, кто подходит под данный размер. Массовый товар имеет и массового покупателя. Фабрика готового платья обслуживает средний и малообеспеченный класс» [12]. Более богатая клиентура имела возможность оплатить индивидуальные заказы.

Среди причин, менявших формы костюма, указываются физические условия жизни человека (климат, деятельность и пр.), социальные, а также психические побуждения. «Подражательность присуща всякому обществу. В большинстве случаев стремятся подражать тем, кто в глазах общества является выдающимся в его среде (снобиз); эти-то избранные и дают то всем остальным» [13].

Образцом перехода от сложного к простому в одежде начала XX в. была имитация сложного кроя. Вместо реальных отрезных деталей использовались накладные или отстроченные. В обиход постепенно входила более дешевая пластмасса вместо дорогостоящего китового уса. Новые анилиновые красители делали шерстяные ткани более яркими. Российские хлопчатобумажные ткани заменили шелк и позволили шить недорогую и красочную одежду. Журнал «Парижские моды», который встречался и в Екатеринбурге, предлагал фасоны дорогих пальто и платьев. Но в то же время отмечалось, что «фасон этот можно скопировать из сукна или шерстяной материи по вкусу (вместо атласа), заменить соболь более дешевым мехом». Музейные коллекции Екатеринбурга, Перми, Ирбита представлены именно такими экспонатами, некогда принадлежавшими мещанкам, купчихам или работницам фабрик и заводов.

Стоящие на более низкой социальной ступени слои городского населения имитировали одежду тех, кто занимал более высокое место. Можно предположить, что для слоев мещан и городских служащих образ аристократической дамы модерна был идеалом-целью. Думается, что на городских улицах Екатеринбурга или Перми в реальности встречался более рациональный вид одежды, в котором типичный для модерна силуэт был едва намечен, а плавная линия соответствовала естественным контурам фигуры. Такая тенденция запечатлена на студийных и любительских фотографиях, а также на отдельных зарисовках [14].

Выходцы из крестьян также пытались одеваться как представители средних городских слоев. Иногда их покрой блузы содержал детали, свойственные и городской, и деревенской одежде. В частности, это могли быть ромбовидные вставки в рукавах на крестьянский манер вместо вытачек, используемых городскими портнихами. Кроме того, в начале XX в. в крестьянской одежде чаще стало встречаться украшение из готового фабричного кружева. Существовало и различие в более предпочтительных цветах. Если коренные горожанки в основном выбирали, даже для праздничной одежды, цвета спокойные, приглушенные, например, бежевый, песочный, голубой или черный, то крестьянская одежда отличалась яркостью. Представители крестьянского сословия одевались в красный, зеленый, сиреневый цвет. Очень часто их одежда была перегружена отделкой. Если использовались украшения вышивкой, то цвета и мотивы тоже были традиционными для крестьянской среды. Выходцев из крестьян можно было безошибочно узнать среди прислуги, гувернанток не только по манере

одеваться, но и по прическам на прямой пробор. Встречаются фотографии, на которых бывает запечатлена молодая женщина в скромном городском платье с бусами в несколько рядов по деревенской традиции.

Роскошь, как социальный знак, в описываемый период демонстрировалась в основном мещанками и купчихами. Выражалось это преимущественно в обилии декора и яркости цвета, в стремлении дешевыми средствами имитировать буржуазную роскошь, иногда в неумелом сочетании цветов, материй и фактуры. Это было отмечено и современниками: «В настоящее время цены на все товары, благодаря механической машинной фабрикации, очень понизились, и те предметы, которые раньше были предметом роскоши, стали самой обыкновенной принадлежностью туалета или обстановки» [15].

Массовый потребитель получил возможность овладеть высшими достижениями искусства. Общедоступность красоты стала лозунгом времени. Возникает «красота для бедных». «Страсть к подражанию, стремление низших сословий тянуться вслед за высшими во всем, что касается внешнего строя жизни, никогда не имело столь широкого распространения. Понижение цены на различные товары делает доступным для масс множество таких вещей, которые в прежнее время составляли привилегию только богатых и знатных» [16]. Городские жители раньше деревенских получили возможность из готовых вещей составлять свой гардероб и интерьер дома, который отвечал не только духу времени, но и индивидуальным эстетическим, психологическим и материальным запросам.

Главным условием формирования стиля вещественной среды является господствующее мировоззрение, т. к. оно влияет на нормы поведения, жизненные устремления, интересы, труд и быт людей. Наиболее быстро откликаются на происходящие в обществе изменения «маленькие» вещи: разнообразная домашняя утварь. Растет само количество кухонной и столовой посуды в домах средних городских обывателей. Сорт и количество кухонных принадлежностей в основном зависели от размера самого домашнего хозяйства и средств хозяев. В среднем различными женскими печатными изданиями было рекомендовано использовать около 100 наименований различных предметов только для кухни. Кухонная посуда все больше производилась на фабриках; меняется материал, принцип ее формообразования, она становится все более специализированной. В частности, новым было использование алюминия для предметов в кухне, туалетах, посуды для путешествий.

Техника проникает в наиболее консервативную часть человеческой жизни — в сферу приготовления пищи. Кухни постепенно начинают наполняться приспособлениями и механизмами: мясорубками, пароварками, соковыжималками, теркам

Для домашней стирки в городских условиях различные печатные издания стали советовать применять стиральные машины различных конструкций. Утюги большей частью употреблялись железные, разного размера. Но современными на тот момент считались утюги, нагревающиеся изнутри углями, электрические, газовые, спиртовые.

Комнаты также заполняются разнообразными вещами. Сотни вещей — мебель, цветы, украшения и безделушки — просто загромождали комнаты. Для каждой комнаты магазинами и мастерскими предлагались отдельные наборы

Иллюстрированные приложения к модным журналам печатали разнообразные исунки для вышивки, выжигания, выпиливания. Читателям советовали сделать ногочисленные интерьерные вещи: различные полочки, подставки, этажерки, утляры, чехлы, абажуры и экраны для свечей и пр. Не стоит даже говорить предметах женских рукоделий. Вышитые салфетки, подушки, картины, изде-ия из бисера были весьма распространены во всех домах. Альбомы для стихов, рисунков, приспособления для хранения журналов или нот, рамки для фото-афий и картин также были зачастую вышитыми.

С одной стороны, это могло свидетельствовать о попытке организации дельного пространства дома для различных занятий и проведения досуга, с ругой стороны — о строгой функциональной специализации вещей. Одним из авных критериев меняющегося сознания становится понятие комфорта (соче-ание рационального и удобного).

Помимо этого начинает отходить в прошлое отношение к повседневным ве-ам как к своего рода капиталу (заготовка одежды или домашней утвари рок), что препятствовало их обновлению. Большое значение для начального апа формирования феномена массового потребления вещей получил фактор их орального старения. Стремление быстро менять вещи, по замечанию авторов ачала XX в., являлось характерной особенностью современного культурного еловека. «Во всех более или менее зажиточных домах принято теперь обнов-ять обстановку чуть ли не через каждые 8—10 лет» [17].

Массовым становится не только потребление вещей, но и проведение сво-одного времени. В газетных и журнальных статьях корреспонденты все больше астаивали на том, что досуг должен был стать своего рода полезной деятель-остью или использоваться для приобретения знаний. Особое внимание уделя-ось занятиям с детьми. Большое распространение получают «игральные» омнаты в состоятельных семьях. Это царство игрушек с раскрашенными книж-ами, куклами, наборами игрушечной мебели, оловянными солдатиками, волч-ами» [18]. Для «неутомительного» семейного или детского чтения в первое есятилетие XX в. издаются специализированные журналы. Достаточно лишь еречислить названия некоторых из них: «Детское чтение», «Для малюток», Дошкольное воспитание», «Друг детей» и т.д.

Когда семья собиралась «у самовара», ей тоже было что почитать. Разно-бразными были издания для приятного и полезного отдыха: «Семьянин», «Фо-ографические новости», «Досуг и дело», «Царь-колокол», «Всемирная ллюстрация», «Общество любителей комнатных растений и аквариумов» и пр. Хотя в большинстве своем эти журналы издавались в Москве и Санкт-Петер-урге, но были весьма распространены и в Перми, и Екатеринбурге.

На рубеже веков все более увлекательными детскими занятиями становятся расочные и познавательные настольные игры, собирающие за одним столом етей и взрослых. Предлагались для проведения семейных вечеров «Домашний ипподром. Иллюзия настоящих скачек. Футбол на столе. Рысистые дерби с отализатором. Московские трамваи (План Москвы, 10 вагонов, билеты — ко-ия настоящих)» [19]. Эпоха промышленной революции внесла в детские игры вои коррективы. Рядом с конями-качалками достойное место занимают вело-

сипеды и коньки. Армии оловянных солдатиков соседствуют с жестяными па ровозами, паррходами «Уличная продажа автоматических оловянных игруше перед рождественскими праздниками». Вместе стоят карусели, японец, жонг лер, автомобиль [20]. Явно прослеживается тенденция вытеснения народно кустарной игрушки с рынка более дешевой фабричной продукцией, что посте пенно вело к исчезновению первой.

Перед Рождеством газеты пестрели объявлениями о продаже елочных игру шек, особенно в начале XX в., когда елку к праздникам стали ставить почти каждой семье. Но еще долгое время наряд для елки готовился загодя дома детьм и взрослыми. В последнюю неделю перед праздниками это становилось главны занятием в долгие зимние вечера. Самоделки были из бумаги, папье-маше и про волоки. Украшением служили орехи, пряники, фрукты, конфеты и другие слад сти. Они же одновременно были и подарками. Именно с этого периода взрослы стали устраивать для детей специальные детские утренники, которые и до сих по носят название «елка». Появление специального зимнего детского праздник свидетельствовало о признании самоценности детства. Его перестали считат эскизом, началом, предысторией взрослого человека.

Для взрослых также устраивались различные балы-маскарады. К таки карнавалам готовили специальные костюмы. С фотографий начала прошлог века, хранящихся в архивных и музейных собраниях, на нас смотрят барыш и дамы в национальных русских, украинских и др. костюмах [21].

Костюмы были обязательны при посещении праздничных вечеров, прово димых в зале общественного собрания Екатеринбурга или в заводских клуба Упоминались маски клоунов, «Петрушки», «Незабудки», «Лета», «Рыбачки и некоторые другие [22].

Анализ таких существенных сторон повседневной жизни как жилище, пред меты повседневного и праздничного обихода, проведение досуга свидетельству об общей нивелировке быта различных городских слоев. Явно прослеживае ся единая тенденция увеличения количества вещей в помещениях городско дома. Наряду с массовым фабричным производством вещей, идет развитие пр мышленного дизайна. Он все больше начинает определять формы бытов вещей, фасоны одежды, их цветовую гамму.

Рационализация повседневной жизни, свойственная периоду преобразов ний в конце XIX — начале XX в., способствовала вытеснению игровых о нов традиционной культуры. В частности, меняется функциональная приро костюма. Исчезли в связи с социальными изменениями половозрастная и с словная функции. Происходит трансформация магической функции костюма домашней утвари. Не ощущая особой роли деталей и скрытого языка стил горожане получили возможность надевать опознавательные знаки различны социальных групп. В период становления рыночных отношений происход выдвижение личности как активного начала в ходе исторического процесса.

События начала XX в. создали для людей специфическую среду. Мен ющиеся условия давали возможность примерить «чужое» платье, заставляли о части прожить «другую» жизнь, словно на сцене. Жизнь приобрела всеобщ театральный оттенок. Прослеживаются две противоположные тенденции одн

временно: желание выделиться и побуждение соответствовать определенным стандартам. «В изменяющемся обществе субъективная жизнь постоянно утрачивает равновесие. Мода предоставляет возможность для выражения вкусов, определения и, следовательно, фиксации и упрочения» [23]. Правда, во внешнем облике тиражировался скорее аристократический идеал богатства и респектабельности, нежели мещанская скромность и простота расчетливости. И тем не менее, иное оформление жизненного пространства не только являлось свидетельством новой системы ценностей, новоявленных культурных представлений, но и заставляло горожан менять свое поведение, стратегию принятия решений не только в сфере общественного производства, но и в быту, в кругу семейного общения.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Круткин В.Л. Онтология человеческой телесности. Дисс. ... докт филос. наук. Екатеринбург, 1994. С. 99.
2. Бодрийар Ж. Система вещей. М., 1995. С. 7.
3. Алферова Е.Ю. Профессионально-классовый состав городского населения Урала в пореформенный период // Промышленность и рабочие Урала в период капитализма (1861—1917). Сб. научн. статей. Свердловск, 1991. С. 78.
4. Однодневная перепись г. Екатеринбурга 26 марта 1887 г. и ее результаты // Город Екатеринбург. 1889. С. 84—85; Первая всеобщая перепись населения. 1897 г. Т. XXXI. С. 176—183.
5. Гофман А.Б. Мода и люди. М.: Наука, 1994, С. 34.
6. Хозяйство и гигиена // Хозяйка. 1902. № 55. Ст. 1577.
7. Уральская жизнь. 1914. 15 мая.
8. Екатеринбургская неделя. 1894. № 39.
9. Уральская жизнь. 14 июня 1909; 4 июля 1910; 22 мая 1909; 1 авг., 1910.
10. Уменье одеваться // Дамский мир. 1912. № 6. С. 27.
11. Хозяйство и мода // Хозяйка. 1902. № 45. Ст. 1264.
12. Гулишамбаров С.И. Предметы одеяния в главнейших странах. Известия императорского РГО. Т.39. 1903. СПб., 1905. С. 549.
13. Ренье Ф. Одежда, ее происхождение, законы, обуславливающие формы костюма и научная критика // Хозяйка. 1901. № 4. Ст. 60.
14. Тихачек М.И. Екатеринбург в лицах: из альбома М. Тихачек. Свердловск, Средне-Уральское изд-во, 1983.
15. Хозяйство и мода // Хозяйка. 1902. № 46. Ст. 1288.
16. Там же. Ст. 1291.
17. Там же. № 44. Ст. 1234.
18. Васютинская Е. Два века русского детства // Юный художник. 1994. № 5—6. С. 10.
19. Рампа и жизнь. 1913. № 43.
20. Петербургская жизнь. 1903. № 744. С. 5307.
21. Музей истории Екатеринбурга. Фонд Терехова. № 256; ГАПО (Государственный архив Пермской области). Фр-1331. Оп. 1. Д. 257. Фотоальбом семьи Бажановых.
22. Екатеринбургская неделя. 1896. № 4; Уральский край. 1908. 23 янв.
23. Блумер Г. Коллективное поведение // Американская социологическая мысль: тексты. Под ред. В.И. Добренкова. М.: МГУ, 1994. С. 211.

EVERYDAY LIFE OF THE TOWNSMEN IN RUSSIAN PROVINCE IN THE LATE XIX — EARLY XX CENTURIES: ISSUES OF METHODOLOGY AND HISTORY

The article discusses various methodological approaches to the research into everyday life of townsmen. The author characterises an informational potential of material world of things, the possibilities to use a thing as a source for study and methods of the information deriving from it for the reconstruction of the townsmen everyday life. Using concrete historical material, the author defines tendences of change in the everyday life in the context of modernization transformations.

O.N. Yakhno

В.П. Тимошенко

СОВЕТСКИЙ ОПЫТ ОСВОЕНИЯ АЗИАТСКОЙ РОССИИ: ВЗГЛЯД С ЗАПАДА

Не вызывает сомнений, что эффективность общественного производства во многом зависит от размещения производительных сил на территории страны. Для Советского Союза с его громадной территорией, разнообразными природными, горно-геологическими, климатическими условиями территориальные аспекты промышленного производства играли важную роль и оказывали существенное влияние на результаты экономического развития страны. Представляет интерес изучение данной проблемы зарубежными учеными. В определенной степени западные оценки процессов освоения Урала, Сибири, Дальнего Востока и их влияния на торгово-экономические связи подвергались анализу в работах В.В. Алексеева, К.И. Зубкова, К.В. Ломакина, В.В. Широгорова, В.П. Тимошенко [1]. Необходимость рационального размещения производительных сил для советской ситуации фиксировали все специалисты. Исследователями крайне тщательно изучалась советская политика промышленного освоения восточных районов страны. Они отмечали, что в «желании Советов заполнить свои азиатские владения людьми, экономическим потенциалом и военно-политической властью отчетливо прослеживается преемственность с предшествующими эпохами продвижения России на Восток» [2].

Зарубежные исследователи подчеркивали ведущую роль государства в освоении Востока России как до революции, так и в советское время. Г.-Г. Хёман писал, что отставание в развитии этого региона «преодолевалось с помощью инструментов административного управления экономикой». Экономгеограф Г.-Ю. Вагенер из мюнхенского института Восточноевропейских исследований отмечал, что «план освоения и заселения Сибири появился еще в досоветское время. Он был взят советским правительством и достаточно сильно форсирован». Вместе с тем, ученые подчеркивали, что до революции «основной капитал Сибири был очень мал», «лишь Транссиб являлся важнейшим вкладом в образование инфраструктурного капитала» [3]. Подчеркивалось то обстоятельство, что удельный вес Сибири в общероссийском промышленном производстве до 1917 г. был ничтожным и никогда не превышал 1,5%, в советскую же эпоху Сибирь играла важную роль в экономике страны. Здесь производилось более 11 процентов валового общественного продукта страны, около 12 процентов национального дохода. Эти факты иллюстрировали тенденцию ускоренного наращивания экономического потенциала восточных районов России.

В связи с этим возникал вопрос о периодизации процесса промышленного освоения природных богатств восточных районов страны. Следует отметить, что существовали различные подходы к периодизации у авторов публицистических работ, расчитанных на массовую аудиторию, и у серьезных исследователей. Журналисты, как правило, утверждали, что начало индустриального освоения региона относилось к середине пятидесятых годов. В частности, Гуго Портиш писал, что, «собственно говоря, новое открытие Сибири началось только между

1950 и 1955 годами» [4]. Редактор западногерманского еженедельника «Шп гель» Вернер Мейер-Ларсен датировал начало политики освоения новых те риторий 1960 годом. В этих оценках не учитывался тридцатилетний перио интенсивного развития этого региона, а Сибирь конца двадцатых — нача пятидесятых годов оценивалась лишь как место ссылки «армии заключенных с помощью которых государство пыталось «начать индустриализацию Сибир но потерпело крах своих замыслов».

Исследователи, профессионально занимающиеся изучением проблем развит Азиатской России, отмечали, что «индустриализация восточных областей энергич началась с принятия первых пятилетних планов», а именно — с сооружения Урал Кузнецкого комбината — «ключевого проекта первого пятилетнего плана» [5 Данный подход совпадает с оценками, выработанными отечественными экономи тами и историками. Исследователи рассматривали процесс развития восточны районов как процесс смены нескольких моделей освоения. По их мнению, Урал Кузнецкий комбинат являлся воплощением в жизнь модели «регионального комби ната», ориентированной на добычу сырья. Остановимся на этом вопросе бол подробно. А. Каргер и К. Либманн считали строительство Урало-Кузнецкого ко бината «импровизацией гигантского масштаба». Подобную оценку они мотивир вали ссылкой на постановление ЦК ВКП(б) о работе Уралмета, в котор подчеркивалось, что «индустриализация страны не может опираться на одну южну угольно-металлургическую базу»: «Жизненно необходимым условием быстрой и дустриализации страны является создание на Востоке второго основного угольн металлургического центра СССР путем использования богатейших угольных рудных месторождений Урала и Сибири». Дело в том, что это постановление бы принято лишь в мае 1930 г., когда строительство шло уже полным ходом.

Вместе с тем, западные исследователи считали, что характерной особенност модели «регионального комбината», как и для развития Советского Союза целом в период с тридцатых до середины пятидесятых годов, являлось применен принудительной рабочей силы [6]. Сложность данной проблематики состоит том, что она до сих пор не поддается сбалансированному рассмотрению, во-пе вых, из-за отсутствия или недостаточного количества данных. Во-вторых, в си того, что в СССР в угоду политической конъюнктуре отрицался тоталитарн характер политической и экономической системы в стране. Поэтому чем насто чивее советские авторы в своих работах подвергали критике выводы западных ф ветологов о том, что «применение принудительного труда было одним из сам мрачных проявлений сталинизма», тем жестче и однозначнее становились оцен оппонентов. Поэтому большинство авторов считало, что успешное экономичес развитие восточных районов России в тридцатые —пятидесятые годы стало во можным в преобладающей степени из-за использования принудительного тру

Применение модели «регионального комбината» для освоения Азиатск России было прервано второй мировой войной. Война дала серезный импул дальнейшей индустриализации этого обширного региона посредством перевода эвакуации промышленных предприятий из западных областей страны на Вост изменила промышленную структуру, особенно в связи с передислокацией маш ностроительных предприятий на Урал и в Западную Сибирь. Такую точку зрен

разделяли практически все исследователи. В то же время они подчеркивали непродолжительный и противоречивый характер этого импульса. Перемещение части производственного аппарата промышленности и строительства, транспорта из европейских районов в азиатские привело к увеличению в них этого аппарата, а это обусловило повышение удельного веса Азиатской России в промышленном производстве страны. В целом в течение военных лет на долю восточных районов приходилось более половины всех капиталовложений, направленных в народное хозяйство СССР. На Урале и в Сибири значительно усилилась производственная база промышленности, в первую очередь машиностроения. Сложился ряд крупных центров машиностроения и металлообработки (Челябинск, Свердловск, Новосибирск, Омск), возникла никелевая и алюминиевая промышленность. Однако во время войны значительно уменьшился общий объем продукции гражданских отраслей промышленности этого региона. В частности, на 43,4% сократилось производство строительных материалов, почти на одну треть уменьшилась продукция деревообрабатывающей и пищевой промышленности, а продукция лесной — на 56%. Война отрицательно повлияла на развитие местной промышленности, на состояние всех видов транспорта.

После войны, отмечал Г.-О. Граматцки, в экономическом развитии восточных районов России наступил период «относительной стагнации», связанный с первоочередным восстановлением разрушенных войной западных районов страны [7]. Это и привело к падению промышленного производства в данном регионе.

Переход к новой модели освоения восточных районов России зарубежные исследователи относили к середине 50-х гг. По их мнению, в ее основу были положены принципы добровольности при формировании рабочих коллективов, широкое использование материальных и моральных стимулов для привлечения молодежи в районы нового промышленного освоения. Символом этой модели стало строительство Братской ГЭС. А. Каргер отмечал, что «возможность собирать большое количество рабочей силы, технические и финансовые средства относительно быстро в одном месте является свойством авторитарной системы», но применять его было сложнее, чем в тридцатые годы [8].

Логическим продолжением идеи «регионального комбината» стала концепция формирования территориально-промышленных комплексов в районах нового промышленного освоения. Зарубежные эксперты находили, что проекты создания многочисленных ТПК в восточных районах имели тесные связи с моделями, разрабатывавшимися советскими экономистами в двадцатых и тридцатых годах. Они исходили из взглядов Н. Колосовского: «Необходимо переходить от локальных комбинатов на комбинирование технологических процессов в масштабе целых районов. Этот переход предполагает более равномерное, но не произвольное распределение производств по территории. Это такая внутренне связанная система, которая дает наибольший эффект при использовании сырья, энергии, транспорта во всех его видах, трудовых ресурсов и оборудования»[9].

Н. Вайн в связи с этим замечал, что «концепция ТПК была разработана главным образом для индустриализации азиатской части страны, показала практическую применимость». В работе «Актуальная стратегия освоения Сибири» он рассматривал концепцию ТПК как предусматривающую строительство новых

индустриальных комплексов лишь в тех областях, которые по множеству кр
риев (ресурсы, энергетический потенциал, пути сообщения, продовольственная
и т.д.) признаны наиболее благоприятными для освоения. Исследователь вы
лял приоритетность положения территориально-промышленных комплексов в
лучении капиталовложений. Планы создания многочисленных ТПК в восточ
районах РСФСР свидетельствовали о том, что эта огромная территория за
мала первое место среди развивающихся регионов Советского Союза [10].

Высоко оценивая идеи комплексного освоения восточных районов России,
рубежные исследователи обращали внимание на трудности практического осуще
ления этих идей. Прежде всего, территориально-промышленные комплексы т
не получили четкого юридического и экономического статуса, проблемы усугуб
лись в тех случаях, когда ТПК располагались на территории нескольких обла
(например, Западносибирский нефтегазовый комплекс). Они не в состоянии б
противостоять диктату ведомств. Г. Клемент отмечал: «Хотя долгое время стре
лись к комплексному освоению Сибири, фактически осуществляли стратегию р
вития, концентрирующуюся, за исключением Юга Западной Сибири, на нескольк
видах сырья» [11]. Такая тенденция сложилась потому, что министерства и ведо
ства избегали затрат по созданию производственной и социальной инфраструк
ры, по привлечению и закреплению рабочей силы. Огромные народнохозяйствен
издержки, возникавшие при передаче на многие тысячи километров топлив
сырья, перекладывались на плечи всего народного хозяйства.

Большое внимание зарубежные авторы уделяли проблемам гидроэнерге
ческого строительства на Ангаре и Енисее. Объяснялся этот интерес тем, ч
«Братск и зона его функционального влияния считаются моделью современно
освоения Сибири, без которой невозможно понять будущего экономическо
развития всего региона» [12]. Г.-О. Граматцки отмечал: «Частично эти эле
тростанции представляют собой ядро вновь создаваемых комплексов, как
Братске, частично — базу образования комплекса в относительно хорошо
военных районах, с развитой (для Восточной Сибири) инфраструктурой и уда
ным расположением природных ресурсов, как в Саяногорске». И дале
«Осуществление Ангаро-Енисейского проекта дало особенно сильный толч
для развития Красноярского края и Иркутской области» [13].

Очень тщательно исследователи изучали издержки, возникшие при форм
ровании Братско-Усть-Илимского ТПК: не удалось создать целостный ком
лекс взаимосвязанных производств, преодолеть ведомственную разобщенност
отставание в развитии строительной индустрии, «остаточный принцип» форм
рования социальной инфраструктуры и т. д. И эти «ошибки Братска», к
подчеркивали авторы, тиражировались по существу на каждой стройке в ра
онах нового промышленного освоения. Такая ситуация, по мнению У. Шиллер
связана с особенностями реальной политики освоения восточных районов Ро
сии, содержанием которой было усиленное внимание производственному сектор
и недооценка влияния социальных аспектов региональной политики [14].

Исследователи часто сравнивали советскую политику освоения Востока Ро
сии и решение подобных проблем на Севере Канады. Подобный анализ прово
дил, например, В. Гумпель, рассматривая два альтернативных варианта: либ

омплексное освоение и заселение новых территорий, либо моноиндустриальное своение, развитие исключительно добывающих отраслей при привлечении мини-ального количества рабочей силы. Автор определял Советский Союз как образец ервого варианта решения данной проблемы, а Канаду — второго. Решающая оль в развитии районов с экстремальным климатом и в той, и в другой стра-е принадлежала государству; частные кампании Канады не в состоянии были ре-шать проблемы такого масштаба. Анализируя политику освоения, автор верно одметил ее слабые стороны: технологическое отставание (не в последнюю оче-едь из-за изоляции от мирового рынка, недостаток техники «в северном испол-ении», тенденции к автаркии у каждого отдельного района освоения, слабое азвитие социальной инфраструктуры. Самой сильной стороной канадских методов своения, по мнению В. Гумпеля, являлось наличие «большого количества куль-урных, церковных и спортивных сооружений, которые дают разрядку северным абочим». Оценивая в целом советскую стратегию освоения, он пришел к следу-ющему выводу: «Чем раньше экономический разум одержит верх над политичес-кими доктринами, тем быстрее и в СССР «комплексное освоение» будет аменяться моноиндустриальным» [15]. Опираясь на этот вывод, многие иссле-ователи увидели в широком применении с середины семидесятых годов вахто-о-экспедиционного метода организации работ отказ от существенных элементов онцепции комплексного освоения восточных районов страны.

Необходимость дифференцированного подхода к различным регионамАзи-тской России, особенно к северной ее части, обозначилась уже к концу 70-х годов. Север осваивался прежде всего для получения ресурсов, которые евозможно было добыть в других районах. Но условия жизни на Севере чрез-ычайно сложны, поэтому необходимы были меры по ограничению численно-ти привлекаемой рабочей силы. Зарубежные исследователи видели в спользовании вахтового метода стремление к экономии капиталовложений и меньшению текучести кадров, повышению производительности труда рабочих 16]. К сожалению, опыт применения вахтового метода в условиях Западноси-ирского нефтегазового комплекса, где по этому методу работало около ста ятидесяти тысяч буровиков, эксплуатационников, строителей, свидетельству-т о неумелом его использовании. При освоении Тюменского Севера упор был делан на развитие межрегионального вахтово-эксплуатационного метода. По-тоянная адаптация и реадаптация приводили к быстрому изнашиванию орга-изма и потере здоровья. Эти потери уменьшал внутрирегиональный ахтово-экспедиционный метод за счет организации переездов вдоль мериди-на и доставки вахтовиков поездами с постепенной акклиматизацией людей в уги. Однако внутрирегиональный метод не получил широкого применения.

Практики отмечали, что производительность труда у вахтовиков в среднем аметно ниже, чем у стационарных рабочих, они не имели постоянного рабочего еста, «своего» оборудования. Двенадцатичасовой труд без выходных способствовал овышенной утомляемости рабочих, а это приводило к браку, авариям, производ-твенным травмам. Переезд на Тюменский Север части управленцев и членов их емей поставил под сомнение главные преимущества метода: мобильность и мини-альные затраты на социальную сферу. Все эти провалы не означают порочнос-

ти самого вахтово-экспедиционного метода. Причина подобной ситуации — в т
нократизме, невнимании к человеку, отсутствии оптимальных режимов работы
отдыха вахтовых коллективов. По оценке Норберта Вайна, «несмотря на трудно
вахтовый метод остается важнейшей стратегией освоения Севера» [17].

Зарубежные исследователи позитивно оценивали идею дифференцирова
ного подхода к вопросам промышленного развития восточных районов. Й. Ш
дельбауэр, например, видел в нем основу современной модели развит
обширного региона, исходящей из идеи зонального размещения отраслей
ступенчатой интенсивностью освоения. Он считал необходимым отказаться
идеи возможно более широкого освоения территории. В последние два сов
ских десятилетия происходил процесс разделения производственных функц
внутри региона. Создавались «тыловые базы» в областях, близких к район
нового промышленного освоения. Ими становились крупные города с их мо
ным промышленным потенциалом [18]. Одним из побудительных мотивов ра
ней модели освоения восточных районов России было желание равномерно
размещения промышленности по территории страны. Акцент делался на вов
чение местных ресурсов в хозяйственный оборот, на стремление продублирова
в каждом экономическом районе возможно более широкий набор отраслей,
обезопасить тем самым государство в случае войны. Проблемы экономическ
эффективности отодвигались на задний план. Курс на углубленную специал
зацию районов нового промышленного освоения, взятый в середине пятидес
тых годов, логично привел к идее зонального районирования.

В работах, опубликованных в последние годы, подчеркивается, что пос
1985 г. в Советском Союзе происходил серьезный пересмотр региональной п
литики, изменение приоритетности отдельных районов. Отмечается, что в у
ловиях перестройки осуществлялся отказ от многих крупномасштабных проект
осуществление которых было запланировано в Сибири и на Дальнем Восто
По мнению Норберта Вайна, трудности и расходы по развитию региона ок
зались не по силам государству, поэтому восточные районы России долж
были уступить приоритет в региональном развитии европейской части стран
А имеющийся здесь научный потенциал следует направить на разработку стр
тегии крупномасштабного освоения Ближнего и Крайнего Севера, «имеюще
наибольшие перспективы для человечества».

Западные специалисты подчеркивали закрытый, автаркичный характер эк
номики восточных районов России. Как отмечал Курт Шписс, наиболее типич
в этом плане советский Дальний Восток. На примере этого региона (1897-
1970) он доказывал, что, «несмотря на географическую ориентацию в бассе
Тихого океана, экономика Дальнего Востока всегда отличалась направленно
тью на удовлетворение потребностей русского центра». Причину подобной с
туации К. Шписс видел во внешнеполитической обстановке. Дальний Вост
всегда был в фокусе межгосударственных противоречий, поэтому «всегда, ког
возникало внешнее напряжение, возрастал интерес центра в экономическ
развитии и усилении периферии» [19]. Однако это приводило к усилению об
ронного сектора промышленности и ослаблению внимания к социальной сфе
Изменить сложившуюся ориентацию можно лишь путем нормализации полит

рских отношений со странами азиатско-тихоокеанского региона, прежде всего Японией. Этот шаг отвечает прежде всего интересам комплексного и сбалансированного развития советского Дальнего Востока.

Анализ работ зарубежных исследователей свидетельствует об их пристальном внимании к вопросам индустриального развития Востока России. Тщательно изучался исторический опыт освоения этого региона, в том числе и концептуальные основы осуществления ряда крупных народнохозяйственных программ на Востоке нашей страны, их конкретное воплощение в жизнь. В работах, как правило, высоко оценивались теоретические и методические разработки советских ученых, легшие в основу политики ускоренного освоения, в особенности концепции создания региональных комбинатов и территориально-производственных комплексов.

Отсутствие юридического и экономического механизма реализации этих идей, технократический подход к осуществлению большинства проектов приводили к появлению отрицательных последствий в социальной сфере, а также ставили под сомнение всю политику комплексного развития восточных районов РСФСР. Бросалось в глаза сильное воздействие внешних политических факторов на выбор приоритетов в осуществлении целевых программ, стремление к гигантомании, оказавшееся не по силам государству.

Однако масштабные сибирские проекты приковывали пристальное внимание деловых кругов и общественности зарубежных стран в части возможного непосредственного участия в их реализации.

Нарастание темпов освоения богатейших ресурсов Азиатской России и подкрепленная решимость советского руководства использовать в этом возможности торгово-экономического сотрудничества с зарубежными фирмами получили широкий отклик на Западе. Конечно, причиной выдвижения крупных программ освоения восточных районов были потребности динамичного развития советской экономики. Преимущества участия в международном разделении труда в реализации планов были очевидны. И стратегия освоения региона в известной степени опиралась на извлечение выгод от расширения взаимодействия с мировым рынком.

Обсуждение советских предложений, в которое включились политики и бизнесмены, средства массовой информации и солидные исследовательские учреждения, касалось всего спектра проблем возможного сотрудничества. С самого начала сугубо хозяйственные вопросы взаимодействия в разработке сибирских месторождений рассматривались через призму концепции соревнования двух общественно-политических систем. Политические и стратегические следствия предоставления кредитов под освоение Востока России интересовали на Западе многих. Советские предложения как бы взвешивались на весах сложившейся системы политических и экономических отношений, так как они затрагивали глобальные проблемы конфронтации. Не следует забывать, что первые шаги к сотрудничеству были сделаны в разгар «холодной войны». Интерес же деловых кругов к программам разработок сибирских ресурсов был достаточно высоким.

После посещения в 1959 г. Японии советской хозяйственной делегацией и обсуждения условий торговли и кредитования сибирских проектов газета «Хоккайдо симбцы», отражая мнение деловых кругов, писала: «Если Япония, учи-

тывая колоссальные планы Советского Союза по развитию Сибири, суме резко увеличить торговлю с СССР, то она сможет сломать стену, препятств ющую увеличению японского экспорта и ликвидировать зависимость от одн сторонней торговли с США» [20]. Но облечь в конкретные договоренно заинтересованность в сотрудничестве оказалось непросто.

Осторожность в оценке выгодности участия в сибирских проектах вызы лась рядом причин. Во-первых, особенности советской модели освоения, выте ющие из накопленного в предшествующие годы опыта, требовали значительн затрат финансовых и материальных ресурсов, тогда как предлагались простейш формы сотрудничества, ограничивающие эффект иностранного участия. Во-в рых, у возможных партнеров не было полной ясности целей освоения огром го региона, а в условиях политической конфронтации они склонялись к выделен приоритета их стратегических аспектов. В-третьих, масштабность и беспрецеде тность замыслов индустриального развития при относительной ограниченности м териальной базы в сочетании с обещаниями скорого эффекта рождали сомнен в реальности планов. В деловых кругах Запада складывалось убеждение в бе выходности положения советского руководства, взявшегося за решение малообо нованной задачи: без западного капитала с планами освоения не справиться, н не справиться и с сохранение темпов развития советского хозяйства. Внутренн трудности рассматривались в качестве основных мотивов изменения полити внешнеэкономического взаимодействия.

Х. Маховски, рассматривая эту ситуацию заинтересованного выжидания, с тает, что под давлением экономических трудностей в 60—70-е гг. СССР «окс чательно отказывается от принципа автаркии и начинает осуществлять стратеги экономического роста, ориентированную на экспорт» [21]. От внимания зарубе ных предпринимателей не ускользнуло изменение внешнеэкономической полити советского государства. Характерной чертой этой политики был учет произво ством специфических потребностей мирового рынка, стремление добиваться в мерного повышения рентабельности экспорта и тем самым в максимальной степ содействовать экономическому росту. В новых условиях импорт рассматрива как инструмент реализации экономической стратегии, заложенной в государств ном плане, в то время как раньше он использовался прежде всего для ликвида дефицита продукции, возникавшего при невыполнении плановых заданий. З обнадеживало возможных партнеров, как бы гарантировало от политически тивированного одностороннего ограничения сотрудничества. В советской исто примеров непоследовательного поведения советской стороны с зарубежны фирмами не так уж мало, и потому осторожность предпринимателей в обсужде предложений по сотрудничеству продиктована опытом истории.

Не в полной мере западных предпринимателей устраивали принципы ор низации сотрудничества в освоении Азиатской России. Стремление взаимод ствовать непосредственно с производителями наталкивалось на внешнеторго монополию. Министр по делам торговли Великобритании господин Ф.Дж. рол в конце 1959 г. так обозначил сдерживающий эффект этого фактора: «в вопросах торговли слова и дела правительств значат гораздо меньше, чем сл и дела коммерсантов... Правительственные переговоры могут иметь своим

льтатом торговые соглашения, но именно коммерсанты решают вопрос, быть торговле... Добросовестные и постоянные усилия, прилагаемые коммерсанми с обеих сторон к лучшему ознакомлению с рынками друг друга всегда дут иметь самое первостепенное значение» [22]. Сохранение жесткого ценрализованного управления внешней торговлей, несмотря на изменение отношея к ней, вызывало опасения, что на первом плане у советского руководства прежнему находятся внешнеполитические цели.

Все указанные соображения оказывали влияние на формирование позиций анесменов. Значительное число отзывов, появившихся в изданиях деловых кругв Запада, содержали в себе элемент прогнозирования провалов затеянных в ССР программ освоения, но и в то же время проскальзывала заинтересовансть в участии. В известных изданиях, отражающих настроения в деловых кругх, появились противоречивые оценки — с одной стороны, планы освоения нереальны», «обречены на провал», «сомнительные», с другой — они представют собой «сибирское чудо», «грандиозные проекты советских плановиков».

Довольно рельефно стремление зарубежных партнеров взвесить возможные годы и издержки участия в сибирских проектах проявилось во время поездки онских предпринимателей по Сибири и Дальнему Востоку в августе 1962 г. Им ла предоставлена самая широкая возможность ознакомиться с объектами осения с последующим обсуждением вариантов взаимодействия в Хабаровске, ркутске, Новосибирске. Результаты оказалось более скромными, чем ожидалось. о итогам поездки глава делегации Иосикари Каваи сказал: «В Сибири мы знакомились с грандиозными стройками, увидели ее огромные богатства, шиту научно-исследовательских работ и самое главное — очень хороший трудобивый народ. Известно высказывание: «пришел, увидел, победил». Говоря о ибири, мне хотелось бы его несколько видоизменить: «увидел, понял, покажи делу свое отношение к тому, что увидел» [23]. Действительно, масштабы мыслов, после близкого знакомства с регионом, для многих принявших преджение зарубежных предпринимателей были ошеломляющи.

Столь же осторожными на первых порах были экспертные оценки специстов, отрицавших осуществимость проектов освоения в предложенных советой стороной вариантах. Большинство западных экспертов было убеждено в опагандистском характере приглашений к сотрудничеству. Политолог Д. ишер, рассматривая проекты освоения, ставит вопрос: имеются ли достаточные вестиции и нужное количество рабочей силы, чтобы справиться с планами воения? И приходит к выводу, что совокупность проектов — строительство фте- и газопроводов, железных дорог, создание новых производств — осуествима лишь с применением современного высокопроизводительного оборувания. Реалистично оценивая ситуацию 60-х гг., Д. Фишер утверждает: Проекты дальнейшей индустриализации, заселения Сибири и Советского альнего Востока являются задачами, где решение во многом зависит от инициативы русских, от их готовности применить для этого собственные силы» 4]. Эксперты указывали на необходимость крупных затрат на социальные ужды и неготовность советского руководства их осуществить в Сибири. Проема рабочей силы, ее трудноразрешимость ставили под сомнение, в глазах

западных специалистов, выгодность зарубежного участия. Провалившиеся пл
ны, полагали они, обернутся для западных кредиторов большими издержкам

Действительно, программы освоения Азиатской России не могли оказа
иного воздействия: ведь предстояло втянуть в ритм современных экономиче
ких отношений огромный регион, практически не обжитый, не имеющий до
таточной социальной и производственной инфраструктуры. «Из «мертвого дом
писал свои записки Достоевский, — замечал, оценивая планы освоения А. Ва
нгертнер, — теперь же Сибирь должна превратиться в процветающий инд
стриальный край» [25]. Труднодоступность природных богатств регио
считалась решающим фактором обращения советской стороны к западной п
мощи после десятилетий абсолютной «закрытости» Сибири для иностранно
капитала. После свертывания концессионной политики 20-х гг. в освоен
региона делался упор на собственные возможности. И теперь предложения
сотрудничеству западными наблюдателями воспринимались как вынужденны
недолгосрочные. А. Вайнгертнер намерения использовать зарубежную финанс
вую и материальную поддержку квалифицировал как сомнительные: «Сове
привлекают Запад дополнительными рабочими местами через участие в сиби
ской авантюре и утверждают, что большая часть «сибирского долга» буд
покрыта поставками сырья, а позднее продукцией индустрии».

В деловых кругах Запада складывалось достаточно сдержанное отношен
к предполагаемому сотрудничеству. Даже потребность в сырье и энергонос
телях, поддерживающая интерес предпринимателей к освоению Азиатск
России, не могла, в силу многих обстоятельств, перевесить сомнения. Лиш
единичных случаях убеждение в выгодности партнерства в предложенном в
рианте: предоставление кредитов и в их счет необходимого оборудования
материалов, — вызывало ответные движения. В. Конолли недвусмыслен
отмечала, что в освоении Сибири и Дальнего Востока могут произойти кард
нальные сдвиги при крупной финансовой и технической поддержке Запада [2
Такая оценка свидетельствует о понимании значения сотрудничества и серь
ности намерений советского руководства считаться с интересами партнеров.

Заинтересованность в иностранных инвестициях проявилась в двух сре
освоения: 1) создании экспортных производств в отраслях добывающей и обра
тывающей промышленности; 2) транспортном обеспечении программ освоен
Приоритеты этих позиций связывались с предпочтительностью использования
временной зарубежной технологии в процессе создания индустриальных компл
сов и с возможностью быстрых расчетов на принципах компенсации с кредитора
Минеральные богатства выступали в качестве гарантии платежеспособности. «Д
ставление в Японию и другие страны с бедными ресурсами земных ископае
Сибири, — писал М. Кларк, — помогут Москве заработать иностранную вал
которая необходима для оплаты технологического развития» [27].

В течение 60-х гг. шел процесс медленного втягивания западных фир
сотрудничество по разработке месторождений сырья и энергоносителей, а та
освоению лесных ресурсов. Это сотрудничество, хотя и в малых объемах, о
тывало решение проблем транспортировки экспортных грузов до потребите
Интересы партнеров фокусировались на программах освоения месторожде

ефти и строительства нефте- и газопроводов. С меньшей заинтересованностью ринимались предложения по участию в создании современных производств в брабатывающей промышленности. Позднее Ф. Хэнсон будет утверждать, что ападные монополии не отдавали себе отчет, насколько выгодно вести совместную переработку сибирского сырья. Он приводит в доказательство несколько аргументов: 1) гарантированный сбыт продукции (в 1955 г. советский импорт машин оставлял 2% от капиталовложений в машиностроение, в 1975 г. — 5%, а могло ыть значительно больше); 2) в 1960—1974 гг. производительность техники, мпортированной с Запада, в 8—14 раз превышала производительность советского оборудования, а, значит, складывались условия для сбыта устаревающей ехники, неконкурентоспособной на мировом рынке; 3) импортная технология в 0—70-е гг. концентрировалась в отраслях, ведущих в сибирской индустрии — имии, лесной и целлюлозо-бумажной промышленности, нефтепереработке, что на ительную перспективу открывало Западу российский рынок [28]. Нельзя не гласиться с этими замечаниями. Техническая отсталость отечественного машиностроения приводила к импорту далеко не лучших образцов техники, но и они ыгодно отличались от отечественной продукции. По данным Н.П. Шмелева мпортное комплектное оборудование в 70-х гг. использовалось при сооружении олее 3 тыс. крупных промышленных объектов (в химической, целлюлозо-бумажной промышленности, на транспорте, в металлургии). В 1968—1972 гг. Советский Союз для сибирских проектов закупил на 6,7 млрд долларов машин, борудования, «ноу-хау», в 1979 г. — уже на 12,3 млрд долларов.

Факты крупномасштабных закупок машин и оборудования вызвали действие ще одного фактора, обусловившего настороженное отношение к сотрудничеству р- на Западе усматривали в этом одностороннее извлечение выгод советской ороной. Считалось, что таким образом Советский Союз получает возможность сваивать необжитый регион с минимальными издержками, закупая в порядке омпенсации передовую технику и технологию. Это стремление М. Голдмэн, апример, выводит из исторической традиции технологической отсталости Роси. Он писал: «...Русские традиционно до революции обращались к Западу а помощью. Петр Великий был одним из первых, Иван Грозный до некоторой епени делал то же самое; и, конечно, Сталин был самым последним примером еномена такого рода». Подобная ситуация, по мнению М. Голдмэна, сложилась и к началу 70-х гг. Будущее освоение Азиатской России многие на Западе оценивали в связи с возможностями доступа СССР к зарубежной ехнологии. Р. Кэмпбелл считал, что при освоении восточных районов Советский Союз сталкивается с совершенно новыми «технологическими вызовами», что необходимость «совладания с новыми окружающими средами и в использовании новых видов ресурсов заставляет в еще больших масштабах прибегать импорту западного оборудования» [29]. Дальнейший экономический рост, по нению западных наблюдателей, уже с середины 60-х гг. напрямую зависел от вышения технологического уровня всей экономики. Добиться этого, как считал М. Миллер, страна могла, «либо проведя организационные преобразования, правленные на улучшение дел в сфере разработки и внедрения новшеств, либо утем закупки западной передовой технологии» [30]. Выбор состоялся — на

ресурсы Сибири обменять современную технологию. И с конца 60-х гг. эт путь стал едва ли не единственной возможностью укрепления экономики, да ценой возрастающей технологической зависимости.

В 50—60-е гг. угледобыча, черная металлургия, электроэнергетика, нефтедобы и переработка — наименее наукоемкие отрасли — не зависели от западного обор дования. Постоянно от импорта зависели деревообрабатывающая и целлюлозо-бума ная промышленность, менялась степень зависимости в химической промышленнос машиностроении и металлообработке. За годы девятой пятилетки резко вырос имп технологий для создаваемых на Востоке России предприятий горнодобывающе нефтегазовой и металлообрабатывающей промышленности, а также химической нефтехимической. В десятой пятилетке к этому списку прибавилась металлургия ал миния. По утверждению А. Уайтинга, советская способность расширять эксплуат цию ресурсов «потребует продолжительного доступа к иностранной технологии Реальность была такова, что требования форсированного развития экспорта при ли к складыванию технологической зависимости как в приоритетных отраслях хозя ства, так и в добывающей промышленности.

Наиболее значительные и неоправданные потери страны в этой практи проявились вместе с расширением использования западной техники и технолог в разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений и транспортиров продукции. Кстати, учитывая возрастающее значение советского экспорта н фти и газа, противники сотрудничества стремились не допустить увеличения п ступления нефтедолларов, «проводить трезвую политику в области экспор технологии для добычи нефти и газа» [31]. То обстоятельство, что не слож лось долгосрочное сотрудничество с западными фирмами, сильно снизило эф фект от закупленной техники. Отсутствие ремонтной базы при односторонн ориентации на зарубежную технику привело к огромным дополнительным ра ходам валюты, не вполне оправданным экономически. По мнению Б. Кнаб советское руководство рассчитывало в короткий срок обеспечить создание нов крупных предприятий на базе современного оборудования. Относительно бы страя во времени реализация экспортной продукции давала надежду в коро кое время приобрести необходимые для внутрихозяйственных нужд товары первую очередь строительную технику, комплексное оборудование, потребите ские товары. Но переход Японии и других промышленных стран на рубе 70—80-х гг. на сырье- и трудосберегающие технологии резко снизил заин ресованность в участии в дорогостоящих сибирских проектах» [32].

Словом, в деловых кругах Запада очень быстро утвердились взгляды о «м сианской» роли зарубежных инвестиций в освоении природных богатств Азиа ской России, а также существенной ограниченности возможностей государства о ществить планы собственными силами без усиления «колониальной» эксплуатац громадного региона страны. Ограниченность в средствах, по мнению западн экспертов, неизбежно заставит государство осваивать регион без учета и в ущ региональным интересам. К. Стал писала, что восточные регионы СССР «раз ваются как сырьевые придатки для снабжения «исторического ядра» страны». рост затрат на разработку ресурсов собственными силами никоим образом не с мулирует динамичное и сбалансированное региональное развитие.

В 60—70-е гг. концепция «колониального развития» Сибири имела на Западе широкое распространение. Как правило, возможности развития ограничивались размерами обеспечения сырьем и энергией более развитых западных районов. Дж. Хузон, например, доказывал, что в очагах освоения Сибири «все ориентировано на быстрейшее исчерпание ресурсов». Джон К. Дьгодни, анализируя практику освоения, пришел к выводу, что «индустрия в основных частях Сибири не разовьется за пределы добывающей стадии» и «разделение будет сохраняться на ойкумену, содержащую основную часть населения, и на неэйкумену, поставляющую сырьевые материалы в населенную зону» [33]. В. Моут замечал, что, путешествуя по восточным районам России, трудно освободиться от мысли о неразвитости региона, «60 лет Советской власти в этом районе мало повлияли на ландшафты и ресурсы» [34]. Явное отставание в развитии региона, даже в сравнении с европейскими районами страны, вызывало недоумение за рубежом. Председатель Ассоциации японо-советской торговли Тэдуо Сато, хорошо знакомый с проблемами регионального развития, так оценивал роль Сибири и Дальнего Востока: «Это своего рода сырьевой придаток советской экономики, поставляющий золото и алмазы, нефть и газ, древесину и уголь. Что же получают взамен Сибирь и Дальний Восток? С точки зрения социально-экономических благ практически ничего. Я считаю, что это просто неразумная политика. Доходы от использования региональных ресурсов должны идти на развитие исключительно местной инфраструктуры, улучшение условий труда и отдыха людей, создание на востоке страны современных производств и предприятий» [35].

Стремление сэкономить финансовые и материальные ресурсы в процессе освоения Азиатской России на Западе объясняли отставанием в социальном развитии и действием принципа, получившего в советской литературе название «остаточного», в решении социально-бытовых проблем. По мнению Б. Кнабе, Д. Фишер, Т. Шабада и других экспертов, чтобы не идти на расходы по социальным нуждам, правительство использовало в восточных районах различные варианты организованного перемещения рабочей силы и практику комсомольско-молодежных призывов на «великие сибирские стройки». Этому в значительной степени способствовали и традиции советской истории. Разница со сталинскими методами многими западными авторами видилась в том, что труд заключенных обходился минимальными экономическими затратами, стоимость транспорта и охраны исчерпывала издержки, тогда как участники освоения пользовались, наоборот, льготами и могли приобретать закупленные под кредиты на Западе товары потребления. Как в том, так и в другом случае не ставился вопрос о создании благоприятных социальных условий для привлечения и закрепления рабочей силы надолго [36]. Д. Худзон подкреплял эту позицию положением об ориентации освоения на ликвидацию постоянных поселений после выработки соответствующих месторождений сырья.

Отставание социальных аспектов программ освоения региона связано было со стремлением государства извлечь максимум выгод из введения ресурсов в хозяйственный оборот для решения проблем и нарастающих трудностей в функционировании административной экономики.

В известной степени трудности в привлечении к сибирским проектам зарубежных фирм были связаны с отсутствием полной ясности по целям освоения и

мотивам ускоренного решения проблем. Острые дискуссии в западном мире по этому вопросу разгорелись в начале 70-х гг., после замены долго обсуждавшегося с зарубежными партнерами проекта строительства нефтепровода из Тюмени в Находку на проект создания новой широтной железнодорожной магистрали. Из традиционно выделяемых трех групп мотивов освоения — народнохозяйственных, внешнеторговых и стратегических — разные группы предпринимателей выделяли разные приоритеты. А в зарубежной историографии даже сложились системы аргументации в выделении приоритетных целей освоения с выходом на варианты политического реагирования на меры советского руководства.

Г. фон Раух, К. Либманн, А. Уайтинг на первый план выдвигали военно-политические или стратегические мотивы. Соответственно, освоение региона виделось ими как движение к достижению Советским Союзом «стратегических преимуществ в бассейне Тихого океана и в Восточной Азии». Сдвиг производительных сил на восток страны А. Уайтинг воспринимал как «перенесение силового форпоста для распространения влияния в Азии». Г. Бернхайт и Р. Фуртмайер видели в этом решение проблемы безопасности в противостоянии с Китаем. Упрочению этих взглядов способствовали зафиксированные в материалах XXI—XXIV съездов КПСС задачи улучшения перспектив развития торговых и политических отношений с социалистическими странами Азии «с учетом складывающегося международного социалистического разделения труда». Советское руководство видело в расширении контактов фактор экономической и политической независимости этих стран. Ну а в западном мире — стремление Советского Союза упрочить свои позиции в этой части мира. В отчетном докладе ЦК КПСС XXIII съезду КПСС по этому поводу содержалась четкая установка: «...Основные потребности социалистических стран во многих видах оборудования и машин, в твердом и жидком топливе, металлургическом сырье и металлах, лесных и целлюлозобумажных и некоторых других товарах будут обеспечены поставками из Советского Союза»[37]. Эта установка и использовалась в качестве основного аргумента в доказательстве стремлений СССР консолидировать силы в Азии на основе создаваемого мощного индустриального пояса в Азиатской части страны.

Т. Шабад, В. Моут, Н. Кухнина, В. Конолли, А. Вайнгартнер главным в мотивации освоения выделяли улучшение возможностей экспорта сырья. Называя топливно-энергетические причины основными, они их рассматривали как желание найти дополнительные и надежные каналы получения современной технологии в обмен на сырье и энергоносители. Тем более, что «конъюнктура мирового рынка позволила опереться на благоприятные экспортные возможности и большую готовность к кооперированию бедных сырьем, но финансово сильных государств». По мнению Б. Кнабе, с этим обстоятельством связаны многочисленные предложения иностранным фирмам принять участие в освоении сибирских полезных ископаемых. И это же обстоятельство «вынуждает с определенной осторожностью встречать многочисленные радостные заявления об открытии новых месторождений сырьевых ресурсов»[38].

Возможности увеличения экспорта и более тесного участия восточных районов России в международном разделении труда чаще стали рассматриваться в качестве

ведущей мотивации освоения после того, как в мире разразился энергетический кризис (1973 г.) и экспортные поставки сибирской нефти выросли в три раза, а цены на нее в 10 раз. Изменившаяся конъюнктура цен даже стимулировала сокращение экспорта готовой продукции и полуфабрикатов в пользу растущего вывоза сырой нефти. Смена стратегических ориентиров продемонстрировала западному миру зависимость советской экономики от импорта продукции по широкой товарной номенклатуре, требующей все больше валютных накоплений.

Народнохозяйственные или производственные потребности в качестве главной причины формирования темпов освоения региона называли многие. Д. Ласцельс, например, исходит из сокращения притока сырья в промышленные центры европейской части страны, вынудившее обратиться к освоению новых месторождений на востоке [39]. При этом он замечает экономически малообеспеченное сохранение основных принципов территориального размещения промышленности. Вместо того, чтобы приближать производство к источникам сырья, ведомства старались разместить его в обжитых районах, чтобы не нести затраты на создание социальной и производственной инфраструктуры.

Выяснение мотивов освоения регионов преследовало одну цель: ответить на вопрос, к каким последствиям может привести содействие западных фирм реализации сибирских программ. Ведь практически в течение всего периода на Западе не прекращались споры: в каких пределах возможны поставки современной технологии в СССР и насколько эти поставки подрывают безопасность западного мира?

Пристальное внимание зарубежных наблюдателей приковывала к себе и практика освоения, воздействие гигантского государственного строительства на окружающую среду. В современном мире природоохранительные мероприятия становятся спутниками промышленного развития, особенно в странах, где интенсивно разрабатываются месторождения минерально-сырьевых ресурсов.

В отношении программ освоения восточных районов чаще всего имеет место констатация отсутствия системы мер экологической защиты. В. Моут писал, что это направление началось и кончилось в период между осенью 1917 г. и весной 1919 г., когда были проведены законы против злоупотреблений в отношении использования земли, природы и сохранения лесов. В течение «последующих 35 лет практически не действовали ограничения, а законов, направленных на охрану среды, было принято меньше, чем в первые два года Советской власти» [40]. По мнению зарубежных исследователей, сталинский Великий план преобразования природы и хрущевский «рывок к коммунизму» были равнозначны объявлению войны окружающей среде.

«Вряд ли возможно перевести на язык цифр экологические последствия от неуемного вывоза природных ресурсов, — писал советский публицист В. Натасонов, — На одном Ямале, где ведется разработка газовых месторождений экспортного назначения, на сегодняшний день уничтожено шесть миллионов гектаров оленьих пастбищ. По подсчетам специалистов величина ущерба природе составляет 60 млрд рублей (что примерно равняется стоимости всего советского экспорта за год)» [41]. Не менее удручающее положение сложилось в сфере экспортных лесопоставок, угледобычи, нефте- и коксохимии, целлюлозо-бумажной промышленности.

В. Моут, анализируя последствия вмешательств в природу в процессе ос воения региона, приходит к выводу, что это было «логичное отношение лиде ров развивающейся страны, стремящихся обеспечить эксплуатацию ресурсов наибыстрейшей, насколько возможно, манере». Все капиталовложения шли производственный сектор, а решение проблем сознательного обеспечения защиты окружающей среды игнорировались в погоне за достижением сиюми нутного эффекта. Впрочем, развивающиеся страны значительно больше внима ния уделяют проблеме экологической безопасности. Кстати, символически природоохранительные издержки в Сибири в отдельных случаях были решаю щим толчком к участию западных фирм в проектах освоения, что вкупе с де шевым сырьем значительно увеличивало выгоды инвестиций. Достаточн проследить за процессом смещения химических производств, сокращающихся н Западе под давлением общественности. В России же в течение 70-80-х г создавались гиганты на компенсационной основе, и экспорт химических полу фабрикатов в западные страны неуклонно возрастал и возрастает ныне п широкому спектру товарных позиций: полипропилен, полиэтилен, метанол и др В погоне за валютной выручкой ведомства обсуждают возможность захоронени на востоке страны остатков ядерного топлива с атомных электростанций Запад ной Европы. Проблемы сохранения окружающей среды в Азиатской Росси выдвигаются в ряд первоочередных, требующих незамедлительного решения.

Зарубежные эксперты в рассмотрении перспектив освоения Азиатской Росси часто прибегают к сравнениям с опытом развивающихся стран, вывоз сырья из ко торых не решил экономических проблем, но привел к росту финансовой и технол гической зависимости. Долг стран третьего мира достиг суммы в 1,3 трлн доллар

Политику ограничений в сфере экономических отношений Восток—Запад поэтому поддерживают в современных условиях не только в консервативны кругах Запада. В апреле 1999 г. был обнародован доклад трехсторонней комис сии бывшего японского премьер-министра Я. Накасонэ, бывшего президент Франции В.Ж. д'Эстена и бывшего госсекретаря США.Г. Киссинджера, котором говорится: «Развитые страны должны действовать осмотрительно, ибо западная система обычно нескоординированных кредитов имеет с собой рис породить условия для еще одного долгового кризиса в Восточной Европе».

Итак, западные оценки внешнеэкономической составляющей освоения Аз атской России дают весьма нелицеприятную критику практики вовлечения в х зяйственный оборот сырьевых ресурсов региона. Принцип добывания валют «любой ценой» имел своим результатом очень серьезные структурные деформац регионального хозяйства, политические, нравственные и экологические негативн следствия. Для продолжающихся процессов освоения сегодня актуально испол зование мирового опыта, настоятельно рекомендующего остановить и сдела экономически обоснованным вывоз природных ресурсов в необработанном вид особенно относящихся к числу невозобновляемых. Растущее народнохозяйственн значение региона требует более высокой степени координации между различны отраслями промышленности, решения организационных проблем повышения ро и заинтересованности региональных управленческих структур. Без перенесени центра координации в органы местной власти, видимо, невозможно добить разумной эксплуатации природных богатств.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: Алексеев В.В. Проблемы индустриального освоения Севера Сибири и Дальнего Востока в современной буржуазной историографии // Опыт некапиталистического пути развития малых народов Дальнего Востока СССР. Владивосток, 1981. С. 62—71; Алексеев В.В., Зубков К.И. Критика современной буржуазной историографии индустриального освоения Сибири. Новосибирск, 1985; Они же. Современная буржуазная историография индустриального освоения Сибири // Изв. СО АН СССР. 1980. № 11. Сер. общ. наук. Вып. 3. С. 8—13; Они же. Проблемы индустриального освоения Сибири в современной буржуазной историографии // История СССР. 1984. № 2. С. 186—198; Зубков К.И. К методологии изучения индустриального освоения Сибири в советскую эпоху (Критика немарксистских концепций) // Методологические проблемы изучения истории Сибири. Новосибирск, 1988. С. 3—14; Он же. Современная буржуазная историография индустриального развития Сибири. 1950—1980 гг. Новосибирск, 1990; Тимошенко В.П. БАМ и проблемы хозяйственного освоения прилегающей зоны // Исторический опыт освоения Сибири. Новосибирск, 1986. С. 135—140; Он же. Сибирь и мировой рынок (резонанс освоения). Екатеринбург, 1996.

2. См.: Gramatzki H. Raumliche Aspekte der sowyetichen Wirtschaftsplannung. Berlin, 1974. S. 122.

3. New Zuricher Zeitung. 1966. № 43; Hohman H.-H. Von Breschnew zu Andropow. Bilanz und Perspektiven der sowyetischen Wirtschaftspolitik. Koln, 1983. S. 2; Wagener H. Wirtschaftswachstum in unterentwickelten Gebieten. Berlin, 1972. S. 145; Gramatzki H. Industrialisirung und Kapitalbildung im sibirischen Entwicklungprozess // Sibirien: Ein russisches und sowyetisches Entwicklungsproblem. Berlin, 1986. S. 160.

4. Portisch H. So sah ich Sibirien. Wien, 1967. S. 21.

5. Gramatzki H Raumliche Aspekte.. S. 48; Karger A. Liebman C. Sibirien: Strukturen und Funktionen ressourcenorientierten Industrieentwicklung. Koln, 1986. S. 13.

6. Meyer F. dSSR. Geschichte einer Weltmacht. Hamburg, 1986. S. 121.

7. Gramatzki H. Raumliche Aspekte.. S. 48.

8. Karger A. Bratsk als Modelle fur die moderne Erschlissung Sibiriens // Geographische Rundschau. 1966. № 8. S. 289.

9. Колосовский Н. Будущее Урало-Кузнецкого комбината. М.; Л., 1932. С. 34.

10. Wain N. Die Sowyetunion. Munchen, 1983. S. 225.

11. Clement H. Sibirien Reserve oder Burde? // Sowyetunion 1984/85. Ereignisse Probleme Perspektiven. Munchen—Wien, 1985. S. 194.

12. Karger A. Bratsk als Modelle... S. 290.

13. Gramatzki H. Raumliche Aspekte... S. 383; Gramatzki H. Industrialisierung... S. 155.

14. Schiller U. Zwieschen Moskau und Yakutsk. Die Sowyetunion im Wettlauf gegen Zeit. Hamburg, 1970. S. 32.

15. Gumpel W. Energiepolitik in der Sowyetunion. Koln, 1972. S. 243—251.

16. Bethkenhagen I. Clement H. Die Sowyetische Energie- und Rohstoffwirtschaft in den 80-er yahren. Munchen—Wien, 1985. S. 41.

17. Wain N. Die aktuellen Strategien der Sibirien-Erschliessung // Die Erde. 1988. № 3. S. 161.

18. Geograpfische Rundschau. 1988. № 9. S. 6.

19. Spiess K. Peripheri Sowjetwirtschaft. Das Beispiel Russisch Fernost Zurich-Freiburg, 1980. S. 158.

20. Цит. по: Внешняя торговля. 1961. № 3. С. 4.

21. Bethkenhagen Y., Machowski H. Die Rolle Asiens in dersowjetischen Aussenwirtschaftspolitik // Berichte des Bundesinstituts fur ostwissenschaftliche und internationale Studien. Koln, 1986. № 48. S. 25—31.

22. Цит. по: Внешняя торговля. 1960. № 1. С. 22.
23. Цит. по: Там же. 1962. № 10. Приложение. С. 7.
24. Osteuropa-Wirtschafts. 1966. № 4. S. 298; 1967. № 1. S. 71.
25. Weltwoche. 1978. № 34. S. 11.
26. Conolly V. Siberia today and tomorrow. A study of ekonomic problems a achievments. New York, 1975. P. 55—56.
27. Times. 1978. V. 3. № 12. P. 14.
28. Hanson Ph. Technology transfer to the Soviet Union // Survey. 1977—1978. V 23. P. 84, 87.
29. Цит. по: Алексеев В.В., Зубков К.И. Критика современной буржуазной ист риографии... С. 56.
30. Miller M. The role of Western technology in Sovjet strategy. Philadelphia, 1978. V 22. № 3. P. 542.
31. Whiting A.S. Siberian Development and East Asia Therest or Promise? Stanfo 1981. P. 87.
32. Knabe B. Artivitat im Gebiet der Baikalsee-Amur-Eissenbahn // Berichte... 197 № 17—19. S. 12.
33. Цит. по: Алексеев В.В., Зубков К.И. Указ. соч. С. 47—48.
34. Mote V. Pacifik-Siberian Growth Centers. A New Soviet Commitment // Sov Union. 1977. V. 4. Part 2. P. 256, 270.
35. За рубежом. 1989. № 41. С. 9.
36. Spiegel. 1981. № 46. S. 180.
37. XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографическ отчет. М., 1966. Т. 2. С. 58.
38. Knabe B. Op. cit. S. 2, 14.
39. Lascelles D Siberia: Its wealth and world impact // Asian Affairs. 1975. V. 4. P 2. P. 190—195.
40. Mote V. Environmental Constraints to the Economic Development of Siberia Soviet Natural resources in the world Economy. Chicago-London, 1983. P. 52.
41. Наш современник. 1989. № 11. С. 3—4.

SOVIET EXPERIENCE OF THE ASIAN RUSSIA DEVELOPMENT VIEWED FROM THE WEST

Foreign studies into the issues of the eastern regions of Russia development the Soviet period are reviewed in the article. Historiographic assessment of stag character, rates, models and motivation of development are discussed.

V.P. Timoshenko

А.В. Трофимов

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РОЛИ ЛИЧНОСТНОГО ФАКТОРА В ПОСЛЕВОЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ (1945—1964 гг.)

Признание в значительной мере определяющей роли исторических личностей в выборе траектории, скорости исторического движения в российской истории является в настоящее время общим местом в историографии. Однако конкретно-историческое наполнение данной проблематики применительно к интересующему нас периоду советской истории происходило непросто.

В советской историографии вплоть до конца 80-х гг. вопроса о роли личности применительно к советскому периоду истории, а тем более проблемы борьбы за власть при социализме по сути не существовало. Для марксистской историографии проблема роли личности в истории имела подчиненный характер по отношению к объективным, прежде всего, социально-экономическим факторам развития. Несмотря на кажущуюся сегодня очевидность огромной роли личностей руководителей Российского и Советского государства на всех этапах его истории, для советских историков эта была закрытая тема. В то же время в публиковавшихся исторических трудах назывались фамилии лидеров партии и государства, которые по существу представлялись в виде «жрецов» коммунистической идеи, успешно воплощающих ее в жизнь. Фигуры И.В. Сталина, Н.С. Хрущева, часто и в комплиментарном плане встречавшиеся на страницах изданий в периоды их руководства страной, в последующем упоминалась достаточно редко и в иной тональности. Что касается других политических деятелей послевоенного двадцатилетия, то их вхождение в историю было либо однозначным: «палач Берия», «члены антипартийной группы», либо не предусматривалось вообще. В то время как советские исследователи не имели возможностей обратиться к изучению роли личностного фактора, в эмигрантской литературе и советологии данная проблематика, напротив, рассматривалась достаточно широко. Эти полярные подходы по-существу имели общую основу, поскольку базировались на односторонних, в значительной степени конъюнктурных источниках и оценках.

Источниковая основа исследований, написанных до конца 80-х годов, была достаточно скромной. Ее основу составляли официальные трактовки, содержавшиеся в партийно-государственных документах, а также отдельные свидетельства участников событий (например, мемуары Н.С. Хрущева, опубликованные за рубежом), явно субъективные и тенденциозные. Такая источниковая среда позволяла исследователям лишь скользить по поверхности, не давала возможности вскрыть истинные причины и механизмы поведения, мотивацию поведения ведущих игроков советской политической истории. Вместе с тем, созданные на достаточно односторонней и зыбкой источниковой базе концепции явились впоследствии достаточно укорененными в общественном сознании (в частности, интерпретация политической истории СССР с позиций «битвы бульдогов под ковром»; односторонняя трактовка «дела Берии» как борьбы с самым страшным представителем и апологетом сохранения сталинского режима; сведение по-

литического процесса послесталинского десятилетия к борьбе за власть сторонников и противников продолжения сталинской политики и т.д.).

С конца 80-х гг., в силу прежде всего политико-идеологических факторов, данная проблематика становится востребованной и популярной. Такой поворот, однако, объяснялся не только сменой политической конъюнктуры, но и включением в научный оборот целого комплекса исторических источников, характеризующих эту сторону политического процесса, а также открывшимися возможностями взаимодействия между представителями различных историографических потоков.

В начавшемся на волне гласности открытии неизвестных страниц истории и «белых пятен» целый шквал публикаций был посвящен фигуре И.В. Сталина. По существу это было признанием рукотворного характера советской политической истории. Акцент был сделан на негативных качествах характера «вождя», усилившейся после войны подозрительности, маниакального стремления сеять раздоры в своем окружении, сталкивать соратников. Политические репрессии послевоенного периода рассматривались через призму борьбы за сохранение неограниченной власти и устранение возможных демократических альтернатив развития (А.А. Кузнецов, Н.А. Вознесенский). В русле традиционной концепции, сформировавшейся еще в годы правления Н.С. Хрущева, особо зловещая роль приписывалась Л.П. Берии и Г.М. Маленкову.

Выход исследований на новый уровень был связан с происходившей интеграцией результатов российской и зарубежной исторической науки. Причем происходила, что называется, «игра в одни ворота». Использование западногенных концепций столкновения интересов, борьбы властных элит позволило по-новому осветить ставшие уже традиционными темы и сюжеты. В борьбе сталинских соратников стали видеть столкновение элит или аппаратов (партийного, военного, хозяйственного и др.). Усиление после войны в политической сфере роли правительства и отход на второй план партии объяснялись теперь прагматическими задачами послевоенного восстановления и укрепления позиций в мире.

В то же время в условиях существования тоталитарного режима, имевшего тенденцию к усилению после войны, о чем пишут многие авторы, трудно вычленить действительные, а не мнимые интересы и противоречия между элитами, поскольку эти элиты, так или иначе, замыкались на вождя. Введение в научный оборот ряда новых источников, таких как журналы (тетради) записи лиц, принятых И.В. Сталиным в 1924—1953 гг., позволило исследователям придти к выводу о снижении политической активности И.В. Сталина в послевоенные годы. При этом приводятся данные о том, что если в 1940 г. он принял 2 тыс. посетителей, то в 1950 г. их было 700, а в 1952 г. — менее 500. Почти по полгода в 1950 и в 1952 гг. он вообще никого не принимал. Следует однако учитывать, что существовала еще практика неофициальных встреч на даче И.В. Сталина с его ближайшими соратниками; кроме того, снижение официальной активности может объясняться высоким уровнем четкости в работе соответствующих структур партийного и государственного аппарата. Заслуживает внимания высказанная в мемуарной литературе (Н.К. Байбаков, В.Н. Новиков) мысль о высокой степени отлаженности системы, которая могла несколько лет функционировать в заданном режиме без дополнительных импульсов. Вместе

тем многочисленные свидетельства участников тех событий (Н.С. Хрущев, Л.М. Каганович, В.М. Молотов и др.) позволяют констатировать, что И.В. Сталин держал руку на пульсе страны вплоть до своей смерти.

Формирование многоконцептуального исследовательского пространства способствовало более глубокому и разностороннему проникновению историков в ткань послевоенной политической истории. Происходит поиск баланса объективных и субъективных факторов развития, в рамках сложившихся либеральных, модернизационных, неомарксистских подходов. Фигура И.В. Сталина, несмотря на некий инфернальный облик, начинает помещаться в исторический контекст. На смену сакрализации вождя в советской историографии и его решительной десакрализации в годы перестройки пришло время исторических оценок и выводов. После времени увлечения субъективными факторами, а также вследствие наступления новой геополитической реальности для России на рубеже тысячелетий многие авторы признали, что в послевоенный период логика правящей элиты вписывалась в сложившийся тогда геополитический контекст, требовавший усиления государственно-патриотической линии. Тем самым вектор политического развития, избранный в послевоенные годы, требовал внесения корректив с точки зрения укрепления и корректировки кадрового потенциала, что достигалось различными методами, прежде всего силовыми.

В последнее десятилетие усилия Ю.С. Аксенова, Ю.В. Аксютина, Н.А. Барсукова, Ю.Н. Жукова, М.Р. Зезиной, Е.Ю. Зубковой, О.Л. Лейбовича, В.П. Наумова, Р.Г. Пихоя, А.В. Пыжикова и др. способствовали введению в научный оборот новых фактов и деталей, раскрывающих мотивацию поведения представителей политической элиты, механизмы организации послевоенных репрессивных кампаний. Историки обратились к содержанию советской и шире российской политической традиции и культуры, приступили к изучению ментальности советских политических лидеров.

Исследователи немало потрудились, доказывая тоталитарный характер послевоенной советской политической системы, привели убедительные аргументы, свидетельствующие как о недемократичности политического режима, так и об определенной прагматической составляющей деятельности его лидеров, стремившихся сохранить свою власть, вести борьбу с соперниками и обеспечивать внутреннюю стабильность в стране. В этом ряду безусловно выделяется монографическое исследование Р.Г. Пихои «Советский Союз: История власти. 1945—1991» (М., 1998). Обширный источниковый материал выстроен в русле либеральной концепции, доказывающей, что в Советском Союзе происходила постепенная и неуклонная деградация власти, приведшая к краху всей общественно-экономической системы. Истоки этой деградации видятся автором в созданной И.В. Сталиным системе.

Придание личности И.В. Сталина образа этакого былинного героя, ведущего борьбу с «агрессивным империализмом», с «безродными космополитами», либо плетущего нити зловещего заговора по смене всей правящей элиты — все это звенья одной цепи, ведущей к превращению отечественной истории в один из вариантов популярных сегодня компьютерных игр, когда игрок выбирает тип игры, оружие и в свое удовольствие существует в виртуальном пространстве.

Наряду с этой тенденцией в современной историографии отчетливо проявляетс стремление исследователей определить вектор послевоенного развития СССР и вычленить причастность к его выбору и реализации правящей элиты, включа фигуру И.В. Сталина, рассматривать политическую ситуацию в более широко контексте столкновения интересов у формирующихся элит и взаимного осозна ния необходимости соблюдения баланса сил.

В конце 80-х — начале 90-х гг. внимание историков обращается к «зак лисным» сторонам политической жизни, идет исследование «анатомии» сталин ского и послесталинского режима. Распространенным становится суждени высказанное А.Г. Авторхановым о том, что расстановка сил в правящей эли те при жизни И.В. Сталина определялась в первую очередь мнением само «вождя», умением его приближенных учитывать многочисленные нюансы в «л биринтах Кремля» [1].

Историческая практика и логика функционирования сталинского режим привели исследователей к мысли о существования у вождя замысла новых кад ровых перемен. Г.А. Арбатов, Ф.М. Бурлацкий, А. Буллок, Р.Г. Пихоя пола гают, что И.В. Сталин готовил устранение своих ближайших соратнико Реконструируя послевоенную советскую политическую историю, Р.Г. Пихо пришел к выводу о том, что в последние годы жизни И.В. Сталин вынашива планы радикальных изменений в высших звеньях управления. Он пишет создании И.В. Сталиным сразу после XIX съезда партии «своего рода «кома ды дублеров», готовую в любой момент сменить старое руководство» [2].

Противники этой версии Ю.С. Аксенов, Н.А. Барсуков увидели здравы смысл в обновлении состава Президиума. И.В. Сталин, по их мнению, пони мал и говорил об этом, что властвовать ему осталось не так долго и вряд л имело смысл затевать столь серьезную операцию, альтернативой своей влас он считал только коллективное руководство, пытаясь предупредить узурпато ские попытки кого-либо из соратников [3]. Слабым местом данных позиций я ляется аргументация при помощи таких эфемерных понятий, как о чем дум и что понимал И.В. Сталин. По мнению же Ф.Д. Бобкова, долгие годы про работавшего в органах госбезопасности, в том числе и в 50-е гг., XIX съе партии открывал перед страной совсем иные перспективы. Решения съезда кадровым вопросам предполагали коренным образом изменить функциональну роль партии в государстве: партия начинала постепенно отходить от хозяйстве ных дел. С приходом к власти Н.С. Хрущева все вернулось на круги своя [4

«Дело врачей», по мнению большинства историков, имело целью подготови общественно-политическую атмосферу в стране для развертывания новой репр сивной волны, которая ударила бы по существовавшей политической элите. И токи данной трактовки событий содержались в оценках эмигрантско историографии. Еще в 1954 г. Б.И. Николаевский констатировал, что «дел врачей Сталин открывал новую «ежовщину», т.е. большую чистку генерально характера» [5]. В годы перестройки «делу врачей» был посвящен целый шк публикаций. Их основу составили мемуары современников, людей, проходивш по этому делу, их знакомых и близких. Д. Гай, В. Малкин, Я.Л. Рапопорт, Этингер и др. отмечали абсурдность обвинений, антисемитскую направленно

жестокость следствия. Вывод, к которому приходили авторы: «дело врачей» являлось либо прихотью параноидального сознания вождя, либо частью плана по созданию атмосферы массовой истерии в стране и подготовке нового мощного репрессивного витка, предстоящего военного столкновения с США.

Появившиеся в середине — второй половине 90-х гг. публикации рассматривают «дело врачей» в зависимости от отношения к проблеме антисемитизма. Опубликованные письма Л. Тимашук и др. тенденциозно подобранные материалы являются основой для утверждений О.А. Платонова о существовании «жидомасонского заговора» и о борьбе против него И.В. Сталина. Для С.Н. Семанова, В.И. Кардашова характерно частичное оправдание «дела врачей», при осуждении таких «липовых» дел как «ленинградское» и «мингрельское». Г. Костырченко, посвятивший исследование государственному антисемитизму и политическому механизму, его порождавшему в последнее сталинское десятилетие, убежден в том, что создание образа врачей-убийц являлось следствием как «паталогической параноидальной юдофобии» И.В. Сталина, так и проявлением «маккиавелевского прагматизма». Однако, как справедливо отметил В.А. Козлов, в данном серьезном труде не рассматривается взаимосвязь антисемитизма бытового и государственного, проблемы группирования партийных, научных, художественных элит по этническому принципу и способы презентации их интересов, политический смысл и причины антисемитской «мелодии» в хоре советской «большой политики», «ситуативность» государственного антисемитизма.

Исследователи обратили внимание на еще одно важное обстоятельство: послевоенные репрессии все более становились аппаратными, даже если они шли под флагом борьбы с врачами-евреями или космополитами. По мнению Г.Х. Попова, других методов чистки аппарата и освобождения постов для роста кадров режим И.В. Сталина не знал. Архивные документы свидетельствуют, в частности, о том, что, Свердловский обком КПСС в ходе кампании по разоблачении «врачей-убийц» принял постановление, в котором намечалось «ужесточить контроль за работой лиц еврейской национальности, занимающих ответственные посты, не давать им распускаться и ухудшать работу» [6]. Тем самым создавалась благодатная почва для возможных кадровых перемещений.

Существовавшая традиция ореола тайны вокруг смерти вождя в официальной советской историографии привела к появлению различных версий этого события в эмигрантской и советологической литературе. Своего рода «заговоромания» характерна для части западных и отечественных исследователей, когда речь заходит о новейшей российской истории. Эту тему они разрабатывают применительно не только к И.В. Сталину, но и к Л.И. Брежневу, Ю.В. Андропову, К.У. Черненко, касаясь причин их ухода из жизни [7]. Учитывая традиционный покров тайны и загадочности вокруг событий, происходивших в Кремле, такие версии имели основания для возникновения. Привлекая внимание широкой публики, концепция перманентных заговоров работала на создание образа недемократического политического режима в СССР. Одними из первых Б.И. Николаевский, А.Г. Авторханов объясняли смерть И.В. Сталина результатом заговора высших членов партийного руководства во главе с Л.П. Берия [8]. В конце 80-х — начале 90-х гг. данная версия получила

подтверждение в мемуарах участников событий [9]. Косвенно подтверждают точку зрения А.Г. Авторханова авторы исследования «XX съезд КПСС и его исторические реальности» (М., 1991). О вероятности такого развития событий пишут В. Денисов, М.С. Докучаев, Н.А. Зенькович, С. Кахан, О.А. Платонов, Э.С. Радзинский, А. Чичкин и др. [10]. Мотивы предлагаются разные: от «борьбы пауков в банке» до «жидо-масонского заговора». Организаторов «заговора» видят в Л.П. Берии, Л.М. Кагановиче, Н.С. Хрущеве. В обосновании такого развития событий приводятся достаточно убедительные данные о «тучах», сгущавшихся вокруг окружавших «хозяина» соратников, о жестоких нравах политической элиты.

Не менее убедительными являются аргументы противников этой версии: преклонный возраст «вождя», то есть естественное развитие ситуации, личная преданность ближайшего сталинского окружения, страх, который останавливал потенциальных организаторов заговора. Л.М. Каганович, на высказывания которого ссылаются сторонники версии заговора, в мемуарах сдержанно отметил неожиданность смерти И.В. Сталина, ни слова не говоря о возможности заговора против него. Категоричен в своих оценках на сей счет П.А. Судоплатов, более 25 лет проработавший в органах НКВД-МГБ, знавший многие «кремлевские тайны». Аналогичной точки зрения придерживаются О.В. Волобуев, С.В. Кулешов, полагающие, что мнение А.Г. Авторханова остается неподтвержденным. Р.А. Медведев назвал чистыми домыслами предположения, что при жизни И.В. Сталина ему осмеливался возражать Г.М. Маленков либо кто-то другой [11]. Обратим внимание в данном контексте еще на одно обстоятельство. В ходе «дела Л.П. Берии» обвинение в заговоре против И.В. Сталина могло стать сильным «козырем» в руках его противников. Однако он не был использован. Важным представляется не то, каким образом «вождь» покинул этот мир, а те возможности в изменении политической системы, которые предоставила эта смерть его соратникам.

В зависимости от приверженности к той или иной интерпретации истории исследователи оценивали влияние персональных перемен на вершине советского политического «Олимпа». В отечественной историографии сложились четыре основные точки зрения по вопросу о том, насколько влиял уход из жизни «вождя» на дальнейшее развитие страны. Первая, существовавшая в советской историографии, — смерть И.В. Сталина не повлияла и не могла повлиять на направление движения страны к коммунизму. Вторая — это рубеж, за которым начинается либерализация режима, возвращение к ленинскому пониманию социализма, движение, которое носило непоследовательный, противоречивый характер и не было завершено. При этом отмечалась как определенная преемственность, так и прерывность (дискретность) в этом движении. Третья — сталинизм без И.В. Сталина остался, тоталитарный режим сохранил свою антидемократическую сущность. Четвертая — после И.В. Сталина его «соратники» предали его дело и способствовали началу разрушения великой страны, которое завершилось в начале 90-х гг. Таким образом, большинство исследователей согласны, что смерть И.В. Сталина явилась важным рубежом в развитии созданной им политической системы. Расхождения возникают, когда речь за

одит о направленности, глубине необходимых изменений, способности послеталинского руководства к их осуществлению.

В поисках возможных альтернатив политического лидерства отечественные сторики обращались к советологической и эмигрантской литературе, разрабатывающей эту тему. Одними из первых, пишущих на русском языке, эту проему рассмотрели Р.А. Медведев, М.Я. Геллер, А.М. Некрич.

Стремясь определить круг основных действующих лиц послесталинской олитической истории, Р.А. Медведев предложил схему трех триумвиратов, сменившихся единоличной властью Н.С. Хрущева. Дж. Боффа, Н. Верт также тмечали наличие сменяющих властных триад. Данный подход свидетельствовал признании в качестве определяющего фактора развития политической ситуции личностного соперничества соратников И.В. Сталина.

Исследователи попытались выделить основные рубежи в становлении новой расстановки политических сил в послесталинском руководстве. При этом доминирующее воздействие оказывала последующая лидирующая роль Н.С. Хрущева. Процесс преодоления кризиса власти, вызванного смертью И.В. Сталина, и выдвижения Н.С. Хрущева в качестве единоличного лидера, по мнению Е.Ю. Зубковой, прошел в своем развитии четыре этапа: 1) период триумвирата — Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущев (март — июнь 1953 г.); 2) период формального лидерства Г.М. Маленкова (июнь 1953 — январь 1955 г.); 3) период борьбы Н.С. Хрущева за единоличную власть (февраль 1955 — июнь 1957 г.); 4) период единоличного лидерства Н.С. Хрущева и формирования оппозиции «молодого» аппарата (июнь 1957 — октябрь 1964 г.) [12]. Иную периодизацию представил Р.Г. Пихоя: 1) март — август 1953 г. «Смутное время» послесталинского Советского Союза; 2) сентябрь 1953 — февраль 1958 гг. Столкновение партийного и государственного аппаратов за лидирующее место в системе управления [13]. Н.В. Стариков выделяет такие периоды в развитии идейно-политического процесса: 1) 1953—1955 гг.; 2) 1956—1961 гг.; 3) 1961—1964 гг. [14].

С точки зрения не только «подковерной борьбы», а выработки определенной политической линии и ее реализации, важными рубежами являются сентябрь 1953 г., февраль 1956 г., июнь 1957 г., принятие программы КПСС. Эти ключевые точки послесталинского развития определили персоналии политического лидерства и основные вехи внутриполитического и экономического развития. В то же время, очевидно, что в «стыках» между этими событиями происходили не менее важные процессы. Однако до последнего времени историки следуют в традиционном русле перечня ключевых «вех» политической истории послесталинского десятилетия, выстроенных еще в советской историографии. Такая ситуация может объясняться как приверженностью к добротной, подтвержденной источниковой базой схеме, так и нехваткой конкретно-исторического материала, кардинально меняющего представления о переломных моментах в политической истории. Вместе с тем, заслуживают внимания предпринятые исследователями и мемуаристами попытки показать важную роль таких событий как апрельский 1953 г. Пленум ЦК КПСС (П.А. Судоплатов), заседание Президиума ЦК в апреле 1960 г. (О.А. Гриневский), несостоявшаяся отставка Н.С. Хрущева в марте

1963 г. (Г.В. Вернадский, П.К. Пономаренко). Представляется, что перечень с бытий, пока еще не достаточно оцененных в отечественной историографии с точ зрения серьезного влияния на политический климат и вектор политического ра вития, можно продолжить. Перспективными являются исследования комплек проблем выработки и осуществления внутри- и внешнеполитического курса, рамках системного подхода, синхронизации процессов в этих областях, что безу ловно позволит более объемно и верно увидеть мотивацию многих действий решений послесталинского руководства.

Современные исследователи показали наличие предпосылок для перемен всех сферах жизни страны к моменту смерти И.В. Сталина: экономической, п литической, социальной, духовной, внешнеполитической. Доказывается, что да среди окружения И.В. Сталина зрело понимание необходимости изменени Руководящая партийно-государственная элита не была напрочь отгорожена реальной действительности, от положения и настроений народа. Это убедитель продемонстрировали в своих работах Ю.В. Аксютин, М.Р. Зезина, Е.Ю. Зу кова, Г.Х. Попов и др. [15]. Начало 50-х гг. современные исследователи, т готеющие к либеральным и модернизационным подходам, связывают с апоге сталинизма. Назревание кризиса политического руководства обществом, вс командно-бюрократической системы к концу правления И.В. Сталина отмети Ю.С. Аксенов, Д.А. Волкогонов, Е.Ю. Зубкова, О.Л. Лейбович, Л.А. Опе кин, А.Г. Осипов, Л.И. Семенникова и др. [16].

После отказа от единомыслия и монополизма в трактовке истории ста создаваться схемы и концепции, в основе которых находилось деление постс линских политиков на сталинистов и антисталинистов, консерваторов и прогре систов. По мнению А.П. Бутенко, действовали три группировки, т направления борющихся за власть политических сил. Первая возглавлялась Н.С Хрущевым и пользовалась поддержкой партийного аппарата и армии. Втор — Г.М. Маленковым; она опиралась на государственный аппарат. Во гла третьей стоял Л.П. Берия. Столкновение сил становилось неизбежным [17] А.Г. Маленков в книге «О моем отце Георгии Маленкове» (М., 1992) по черкивает, что личная власть И.В. Сталина строилась на балансе и столкнов ниях трех сил: партократии (А.А. Жданов, Н.С. Хрущев), репрессивно машины (Л.П. Берия) и технократии (Г.М. Маленков). О наличии триумви рата в виде партаппарата, хозаппарата и аппарата насилия пишет А.Н. Яко лев [18]. Триумвират вынудил к отказу от политики перманентных репресси грозивших исчезновением самого правящего класса. Руководство носило внеш коллективный характер, но постепенно доминирующие позиции отходили, соответствии с идеологической доктриной, к партаппарату. Две линии выдели в послесталинском руководстве М. Рейман. Одна, представленная Г.М. Мале ковым и Л.П. Берией, другая — Н.С. Хрущевым. В основе различения эти двух линий лежит оценка глубины кризисных явлений в СССР. Г.М. Маленк предлагал радикальные изменения хозяйственных, а, следовательно, и полити ческих приоритетов. Н.С. Хрущев уходил от такой оценки кризисных явлени и подчеркивал как основу политики «успехи», что особо проявилось на XX съезде [19].

Н.В. Стариков предложил рассматривать имевшее место в послесталинское десятилетие противоборство между «традиционалистами», стремившимися сохранить в неизменном виде основные установки курса И.В. Сталина при корректировке отдельных, наиболее одиозных черт режима, и «реформаторами», стремившимися к трансформации, модернизации общественно-экономических отношений при сохранении лишь фундаментальных основ прежней политики, возрождении «ленинских традиций».

Сложилось также убеждение о тесной связи, взаимопереплетении, влиянии межличностных и групповых отношений и интересов в советской политической элите. Р.Г. Пихоя констатировал, что отстаивание групповых интересов внутри партийно-государственной элиты, возникавшие противоречия нередко приобретали межличностный характер, что делало невозможным их разрешение путем соглашений, имеющих институциональный характер.

Конфликты неизбежно сопутствуют развитию любого общества. Не исключением было и советское. Политические столкновения, конфликты внутри правящей элиты являлись следствием столкновений различных группировок с разными интересами, а также отражали необходимость перемен в сложившейся к началу 50-х гг. политической системе. В 90-х гг. появилось множество публикаций, посвященных проблемам борьбы за власть в послесталинском руководстве. Разработкой этой темы занимались Е.Ю. Зубкова, М.Р. Зезина, В.П. Наумов, О.Л. Лейбович, Ю.Н. Жуков, Р.Г. Пихоя, М.Я. Геллер, А.М. Некрич и др. исследователи [20]. Их усилиями удалось реконструировать ход и основные коллизии внутриполитической борьбы между преемниками вождя.

Общепризнанным стало утверждение, что отсутствие надежного, легитимного механизма передачи власти вызвало ее длительный кризис, острую борьбу. Одной из первых написала об этом Е.Ю. Зубкова [21]. Кризис власти 1953 г. оказался затяжным. Выход из него, как справедливо отметила Е.Ю. Зубкова, затруднялся из-за отсутствия механизма передачи власти. М.Р. Зезина, Е.Ю. Зубкова обратили внимание на то, что И.В. Сталин не оставил преемника. Это означало для властных структур изменения в общем балансе сил и необходимость перестройки всей системы отношений в руководстве страной и партией [22]. Иную трактовку предложил А. Зиновьев, утверждавший, что изменения в стране были независимы от И.В. Сталина и его смерти. Формальные преобразования высших органов власти еще при жизни И.В. Сталина нисколько не меняли существа власти. После его смерти они были ликвидированы, была восстановлена прежняя структура высших органов власти, что тоже не изменило ничего по существу [23].

Исследователи отметили, что в результате достигнутого компромисса на первые роли вышли Г.М. Маленков и Л.П. Берия. М.Я. Геллер и А.М. Некрич вслед за Л. Шапиро полагали, что Г.М. Маленков после смерти И.В. Сталина казался его естественным преемником. Отечественными историки увидели в нем более образованного, выдержанного политика, способного при иных стечениях обстоятельств провести серьезные реформы, позволившие бы избежать несуразностей и ошибок «хрущевских реорганизаций». Отход в середине 50-х гг. от прогрессивных тенденций внутренней и внешней политики

КПСС, наметившихся в первые месяцы после смерти И.В. Сталина, объясняя тем, что с осени 1954 г. Г.М. Маленков стал утрачивать политическое лидерство. Наметился и критический подход к оценке его качеств как потенциального лидера. Для Р.А. Медведева, Г.М. Маленков казался «человеком без биографии, деятелем особых отделов и тайных кабинетов. Он не имел ни своего лица, ни собственного стиля». С этим солидарен Д.А. Волкогонов, считавший, что такой человек, как Г.М. Маленков, не мог удержаться на самой вершине пирамиды власти; И.В. Сталин сформировал его как лидера второго плана [24]. Е.Ю. Зубкова полагает, что с точки зрения оценки потенциала лидерства Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущева, первого вообще вряд ли можно рассматривать как самодостаточного лидера. В то же время она связала с его именем определенный тип политического лидера с присущим ему образом мыслей и действий [25]. Недостаточно убедительным представляется утверждение Ю.В. Аксютина о том, что «на политический Олимп Маленков был вознесен случайно» [26]. Ведь этот же автор убедительно показал ступени восхождения Г.М. Маленкова по партийно-государственной лестнице, его умение плести интриги, хорошо ориентироваться в кремлевских лабиринтах власти. Необходимо учитывать, что сталинская политическая элита, оставшись без «хозяина», вряд ли допустила бы к первым ролям человека, не обладавшего признаваемыми в этом кругу правами на занятие соответствующего поста. Г.М. Маленков в той конкретно-исторической ситуации оказался наиболее легитимной фигурой. В то же время сразу же был провозглашен принцип коллективного руководства, в соблюдении которого были заинтересованы, по разным основаниям, а главным образом в силу инстинкта самосохранения, все члены высшего политического руководства. Архивные документы, в частности заметки П.Н. Поспелова с заседания Президиума ЦК 10 марта 1953 г., где из уст Г.М. Маленкова прозвучало требование «прекратить политику культа личности» [27], и воспоминания современников (К.М. Симонов) свидетельствуют о том, что провозглашение принципа коллективности руководства было подкреплено конкретными шагами. Принцип коллективного руководства и отказ от «политики культа личности» были, как полагает М.Р. Зезина, вынужденным компромиссом, а не идеологической установкой. Просталинские выступления любого из членов посталинского триумвирата могли рассматриваться как подрыв коллективного руководства и претензия на место единовластного лидера.

Затем в рамках критического отношения ко всему советскому опыту возобладал подход, фактически уравнивающий Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущева с точки зрения невозможности предлагаемых ими путей реформирования или псевдореформирования социализма. На наш взгляд, следует видеть реальные различия в подходе этих двух персонажей к методам и путям решения, стоящих тогда перед страной вызовов времени. С точки зрения подходов, методологии решения проблем эти политики весьма схожи. Речь может идти о различных технологиях, и историческая драма заключается в неспособности соединения этих подходов в реальной политике. Борьба за победу означала одновременно и устранение (политическое) соперников, в данном случае Г.М. Маленкова, и вместе с ним и отказ от разумных предложений по реальному изменению по-

тико-экономического курса. Едва ли правомерно представлять Г.М. Маленва в образе «овцы в стаде волков». Достаточно вспомнить подтвержденное кументами его поведение в ходе «ленинградского дела». Хорошо ориентируясь той политической системе, которой он преданно служил, Г.М. Маленков екрасно понимал все опасности в случае падения с политического Олимпа. Не учайно в 1957 г., как установили В.И. Демидов и В.А. Кутузов, он изъял из йфа, а потом уничтожил как «личные» документы десятки материалов из пки, на которой было написано «Ленинградское дело».

Исследователи обратили внимание на наметившуюся тенденцию сосредотения реальной власти в правительстве. Л.А. Опенкин, анализируя факт, что числа членов нового состава Президиума ЦК КПСС ровно половина вхола в состав Президиума Совмина СССР и лишь один Н.С. Хрущев предавлял Секретариат ЦК КПСС, пришел к выводу, что в замыслы тех, кто ршил политику, явно не входило усиление партийного начала в руководстве изнью общества [28].

На вторых ролях оказались В.М. Молотов и Н.С. Хрущев. Однако у Н.С. рущева имелись благоприятные возможности использовать аппарат ЦК ПСС и партийную номенклатуру, чем он не преминул воспользоваться. ыдвижение Н.С. Хрущева на пост первого секретаря ЦК КПСС Н.А. Барков объяснял достигнутым компромиссом в руководстве. Г.А. Арбатов, знаомый с тайными пружинами кремлевской жизни, отметил, что В.М. Молотов, М. Маленков, Л.П. Берия, согласившись сделать Первым секретарем ЦК С. Хрущева, не видели в нем сильную политическую фигуру. О неожиданости выдвижения Н.С. Хрущева на первую роль в партии пишет в мемуарах К. Байбаков. Ю.В. Аксютин, О.В. Волобуев полагали: новая генерация руководителей согласилась на выдвижение Н.С. Хрущева не потому, что он «не тождествлялся в полной мере с ближайшим окружением Сталина», а скорее тому, что его рекомендовал Президиум ЦК [29]. Важное обстоятельство тметил Р.Г. Пихоя. Соратники Н.С. Хрущева считали, что главным источником власти стали государственные институты и в политическом наследстве И.В. талина его пост Председателя Совмина СССР ценнее должности секретаря К КПСС. Он также пишет о том, что «перестановки в высшем партийном уководстве обладали своеобразной последовательностью: с одной стороны, они **крепляли** позиции сталинского партийного руководства послевоенной поры, с ругой — **сохраняли** все старые противоречия, которые были между «закляыми друзьями» в сталинском окружении» [30].

Исследователи обратили внимание на обстоятельства, которые упрочили лирующее положение Н.С. Хрущева, способствовали его победе в борьбе за олитическое лидерство над Г.М. Маленковым. Для одних (П.А. Судоплатов) ким событием явился апрельский 1953 г. пленум ЦК, для других (Л.А. Опен-ин, Д.А. Волкогонов), «дело Л.П. Берия», для третьих (Н. Верт) — успех в своении целинных земель. Определенная слабость подобных подходов состоит поиске определенной, решающей точки, тогда как следует видеть ситуацию в инамике, осознавать, что происходило постепенное усиление лидирующих позий Н.С. Хрущева в результате взаимодействия целого ряда факторов.

Способствовали победе Н.С. Хрущева и его личные качества. В современной историографии Н.С. Хрущев предстает неординарной, противоречивой личностью. Н.А. Барсуков, А.А. Искендеров, А. Зиновьев, А. Стреляный, А.Н. Яковлев, Н.Н. Маслов и др., акцентируя внимание на различных аспектах его деятельности, признают порожденные эпохой черты и особенности личности Н.С. Хрущева, выделяют его стремление к изменению ситуации в стране и мире, рассматривают успехи и неудачи на этом пути. Отмечается уход из политики вместе с Н.С. Хрущевым целого поколения руководителей — «романтиков», «солдат партии» [31]. Г.В. Злобин, В.В. Румынина назвали Н.С. Хрущева убежденным сталинистом, который стремился придать созданной И.В. Сталиным системе большую устойчивость, несколько модифицируя ее [32].

В зависимости от позиции и задачи исследователя на первый план выходят его либо позитивные (Ф.М. Бурлацкий, Р.А. Медведев, О.В. Волобуев, С.В. Кулешов, Я.К. Голованов) [33] либо отрицательные (А.Н. Пономарев, А.Г. Соловьев, М. Любимов, А.Т. Рыбин, Г.Х. Попов) [34] черты и качества. Е.Ю. Зубкова обратила внимание на одно немаловажное обстоятельство: наиболее конструктивные решения — от развенчания И.В. Сталина до выработки новых подходов в аграрной политике — приходятся на тот момент, когда Н.С. Хрущев еще не сформировался как единоличный лидер и вынужден был либо делить власть с другими бывшими сталинскими соратниками, либо считаться с наличием оппозиции внутри Президиума ЦК.

В жанре исторического портрета о Н.С. Хрущеве написали книги Р.А. Медведев, Ф.М. Бурлацкий, Д.А. Волкогонов [35], в которых обратили внимание и на реформаторский потенциал советского лидера. Первая из этих работ была написана в 1980—1985 гг. на основе советских официальных, западных источников, а также мемуаров Н.С. Хрущева. Ф.М. Бурлацкий опирался в первую очередь на свою память, интерпретируя события, участником которых он являлся. Д.А. Волкогонов имел возможность работать с закрытыми архивными материалами. Для Р.А. Медведева Н.С. Хрущев был незаурядным государственным и политическим деятелем, который не ставил своей задачей разрушить созданную до него политическую систему, а постарался использовать авторитарность для проведения экономических и политических реформ, отвечавшим назревшим потребностям советского общества. Ф.М. Бурлацкий показывает четыре ипостаси, в которых наиболее ярко проявилась личность Н.С. Хрущева: сталинист, тиранобоец, народник, миролюб. Д.А. Волкогонов констатировал, что Н.С. Хрущев пережил свое время, совершил моральный подвиг, сделав попытку освободить общество не просто от «культа личности», а от монополии диктатуры.

Суждения очевидцев и участников событий, в центре которых находился Н.С. Хрущев, также противоречивы. В воспоминаниях Д.Т. Шепилова, А.С. Феклисова он характеризуется как упрямый, капризный, болтливый, вспыльчивый, властолюбивый человек. А.А. Никонов, Р.Г. Яновский обращают внимание на умение Н.С. Хрущева прислушиваться к чужому мнению, присущий ему государственный ум, широту мышления. Очевидно, такое различие оценок зависело как от ситуаций, в которых мемуаристам приходилось видеть Н.С. Хрущева, так и от оказанного им влияния на их собственную судьбу и карьеру.

В современной историографии сложилось убеждение, что приход к власти С. Хрущева был достаточно закономерен, поскольку он единственный в постсталинском руководстве обладал качествами лидера, необходимыми в новой политической ситуации, требующей отказа от крайностей сталинского режима. Лидерство Н.С. Хрущева в определенном смысле означало кризис существующей системы, так как эта фигура не соответствовала по масштабам И.В. Сталину, поэтому партийно-государственная номенклатура усиливает свои позиции. Следует учитывать, что без самого вождя созданная им система уже не могла функционировать в том же режиме, т.е. перемены были неизбежны. Что же касается их направленности, глубины, то и здесь вряд ли было большое пространство для маневра. Началось движение по пути здравого смысла, а это значило отказ от самых больших несуразностей сталинского режима и решение наиболее назревших и болезненных проблем.

Следует признать справедливость утверждения Е.Ю. Зубковой о том, что, если подходить к проблеме лидерства в период «оттепели» действительно исторически, то вопрос должен быть поставлен не в плоскости поиска альтернативы Хрущеву, а в более общем плане: в какой степени борьба за лидерство и расстановка сил в верхнем эшелоне власти определяли содержание и развитие конкретной политики» [36]. Она же обратила внимание на общность во взглядах всех постсталинских лидеров, основу которой составлял государственно-социалистический принцип организации мышления и практической политики.

Исследователям еще предстоит изучить персональный вклад представителей номенклатуры в разработку и реализацию внутренней и внешней политики советского государства. По подсчетам Р.Г. Пихои, число главных действующих лиц советской послевоенной истории вряд ли превышало 3 тыс. человек [37]. В то же время в нынешней отечественной историографии рассматривается деятельность в лучшем случае нескольких десятков, а в большинстве публикаций авторы замыкаются на фигурах нескольких лидеров партии и государства, оставляя за пределами исследований менее видные, но не менее значимые на различных ступенях советской политической иерархии деятелей. Если проанализировать откровения людей, так или иначе соприкасавшихся с партийно-государственными деятелями послесталинской эпохи, а также ряд исторических работ, то складывается представление о том, что страной управляли люди в лучшем случае невежественные (Н.С. Хрущев), бездарные, не умеющие брать на себя ответственность (Н.А. Булганин, К.Е. Ворошилов), тугодумы и махровые консерваторы-сталинисты (В.М. Молотов, Л.М. Каганович), карьеристы, циники, беспринципные политиканы (Г.М. Маленков, Л.П. Берия) [38]. Пожалуй, единственными из «обоймы» политических и государственных деятелей того времени, заслужившими более позитивные, нежели негативные оценки, являются Г.К. Жуков и А.Н. Косыгин [39]. В современной российской историографии практически отсутствуют полутона, когда речь заходит о персонажах недавней истории. Понятен накаленный эмоциональный фон последних лет российской действительности, генетически заложенная еще в советской историографии черно-белое мышление по принципу «свой-чужой». В то же время очевидна необходимость неоднозначного, многомерного рассмотрения деятельности ключевых фигур советской политической истории. Появились публикации о Л.И.

Брежневе и его роли в отстранении Н.С. Хрущева от власти [40]. Представл
интерес предпринятая В. Шелудько попытка воссоздать портрет Л.И. Брежне
использовав для этого воспоминания, суждения, свидетельства, размышления о н
активных участников политических событий 50—80-х гг. Заинтересовала иссле
вателей и судьба Д.Т. Шепилова [41].

Многие исследователи согласны, что с конца 1957 г. до начала 60-х
лидерство Н.С. Хрущева не подвергалось сомнению и серьезным испытаниям.
течение этого времени Н.С. Хрущев усилил свои властные функции, сосредоточ
в одних руках высшую партийную и исполнительную власть. Исследовательски
поиск привел к выделению новых критических точек политической истори
О. Гриневский высказал гипотезу о коренном изменении ситуации в политическ
верхах весной 1960 г., в результате давления консервативных сил на Н.С. Хр
щева, приведшей к ослаблению позиций первого секретаря и к повороту во вну
ренней и внешней политике. [42] Слабым местом данной точки зрения являет
аргументация автора без ссылки на реальные исторические источники. По вид
мому, их отсутствие объясняет уход большинства современных исследователей
анализа внутриполитических коллизий конца 50-х — начала 60-х гг. Даже
фундаментальном исследовании Р.Г. Пихои «СССР: История власти. 1945–
1991» после внимательного анализа внутриполитической ситуации 1953—1957 г
автор переходит к 1964 г. и к причинам отставки Н.С. Хрущева. Тем самым д
отечественных исследователей остается открытым вопрос о происходивших в эт
время событиях и их влиянии на внутриполитическую ситуацию.

На тенденцию разделения в мемуарах и исторических работах правления Н.С
Хрущева «до» и «после» XXII съезда партии обратила внимание Е.Ю. Зубкова
Согласившись с наличием такой тенденции, отражающей эволюцию политики Н.С
Хрущева, Е.Ю. Зубкова вместе с тем отметила элемент упрощенчества в попытке
связать так называемый «последний период» в деятельности Н.С. Хрущева с яв
лениями чисто личного свойства, определявшими особенности его поведения. З
феноменом «последних лет» И.В. Сталина, Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева авто
увидела объективные процессы, обусловленные исчерпанием возможностей конкрет
ного этапа в жизни страны с присущими каждому их них типом управления, си
стемой мышления и образом политического действия. Суждения об усталост
общества, об исторической ограниченности лидеров 50-х — начала 60-х, обозна
чившейся к середине 60-х гг., высказали Н.Н. Виноградов, О.А. Федоров в ра
ботах, посвященных судьбам реформ и реформаторов в российской истории [43]
Причины неудач реформаторства они видели в том, что новые, перспективны
повороты в общественном развитии пытались осуществить люди прошлого.

Отношение к октябрьскому 1964 г. пленуму ЦК в отечественной истори
ографии до конца 80-х гг. было однозначным. Его решения представлялись ка
положившие конец волюнтаризму и субъективизму, обозначившие перелом
жизни партии и страны в пользу ленинских принципов партийного руководства
научных методов хозяйствования.

В годы перестройки события октября 1964 г. стали рассматриваться пре
имущественно как «заговор», «верхушечный переворот», жертвой которого ста
Н.С. Хрущев, а вместе с ним и демократическая «оттепель». Одним из пер

вых Г.Л. Смирнов предложил новый взгляд на октябрьский 1964 г. Пленум ЦК КПСС, согласно которому он прервал линию на демократизацию партийно-государственного аппарата, активно проводившуюся Н.С. Хрущевым [44]. Данный подход, отрицавший традиционные обвинения в волюнтаризме и субъективизме, по существу означал постановку новых вопросов перед исследователями. Однако общая тональность высказываний партийных лидеров и их приближенных свидетельствовала о традиционном ожидании от ученых оперативного подтверждения очередных конъюнктурных политических новаций. Не случайно в большинстве публикаций перестроечного времени акцентировалось внимание на заговоре номенклатуры против реформатора Н.С. Хрущева.

На современном этапе историографии мнения историков разделились. Г.А. Арбатов, А.П. Бутенко, Л.И. Семенникова и др. полагали, что смещение Н.С. Хрущева явилось результатом заговора партийно-государственной номенклатуры. В силу отсутствия «механизма критики руководства» и тем более механизма смены власти, борьба за лидерство проявлялась в форме «кремлевских заговоров» [45]. А. Зиновьев не согласился с тем, что снятие Н.С. Хрущева являлось реакцией консерваторов на его попытку реформировать советское общество в прозападном духе. В действительности, утверждает автор, всемогущий «аппарат» помешал Н.С. Хрущеву в его сталинистских амбициях и рецидивах. Это был верхушечный переворот. Поэтому «брежневский период» является продолжением «хрущевского», но без крайностей переходного характера [46].

В закономерности освобождения Н.С. Хрущева убеждены А.М. Александров-Агентов, Н.А. Барсуков, О.В. Волобуев, В.П. Дмитренко, Е.Ю. Зубкова, О.А. Трояновский и др. [47] Они обосновывали это тем, что к середине 60-х гг. был достигнут предел перемен, которого можно было добиться на пути частичных изменений и усовершенствований. На очередь дня встала задача обеспечения кардинального поворота в организации экономической, политической и духовной жизни страны, которая определялась доминантой общественного развития в тот период. У Н.С. Хрущева был шанс перестроить свою политику, сделать ее более стабильной и целенаправленной. Этот шанс остался нереализованным.

Разошлись мнения исследователей и по вопросу об организаторах, инициаторах смещения Н.С. Хрущева. По мнению М.Е. Геллера, А.М. Некрича, Р.А. Медведева, Д.А. Ермакова, ведущую роль играл «серый кардинал» — М.А. Суслов, который, собственно, и выступал с речью, обличающей Н.С. Хрущева на октябрьском Пленуме [48].

Другая позиция, сторонником которой является Ф.М. Бурлацкий, заключается в признании ведущей роли А.Н. Шелепина, В.Е. Семичастного в организации смещения Н.С. Хрущева. Р.Г. Пихоя также называет А.Н. Шелепина организатором акции по снятию Н.С. Хрущева. Он пишет: «Недавний руководитель КГБ, он только укрепил свои позиции в руководстве, став председателем Комитета партийно-государственного контроля и подчинив фактически себе и КГБ, и армию, и партийно-государственный аппарат... В 1964 г. именно Шелепин имел возможность стать истинным координатором заговора и... стал его центральной фигурой. А рассказы об особой злодейской роли Брежнева скорее всего способ отвести от себя возможные обвинения в будущем» [49].

Большая часть современных историков полагает, что ведущую роль в под готовке отстранения Н.С. Хрущева от власти играли Л.И. Брежнев и Н.В Подгорный. Авторы книги «Власть и оппозиция» мотивируют данную позицию ссылкой на организационную работу, которую они вели по оформлению недо вольства аппарата в отношении главы партии и правительства.

На наш взгляд, все эти позиции являются совместимыми, т.к. каждая и них содержит часть истины. Действительно, выход на первый план Л.И. Брежнева может объясняться не только его ведущей ролью в заговоре, либо компромиссностью его фигуры для политической элиты, но и тем, что, являясь с июля 1964 г. «вторым секретарем ЦК», он становился наиболее легитимной фигурой при передаче власти. Активная деятельность А.Н. Шелепина, В.Е. Семичастного, Д.С. Полянского проявилась в значительной организаторской работе (вербовка сторонников, подготовка «жесткого» варианта доклада к пленуму ЦК). Опубликованные источники и исследования дают убедитель ный материал на сей счет. Однако по-прежнему в тени остается вопрос о том на каких условиях (если таковые имелись) удалось сплотиться потенциальным соперникам в борьбе за лидерство, каковыми являлись, по мнению историков Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин, Н.В. Подгорный. Какие еще факторы, кроме очевидной большей политической легитимности Л.И. Брежнева, сыграли роль в его победе.

Участники и непосредственные свидетели происходивших тогда событий в конце 80-х — начале 90-х гг. оставили значительную мемуарную литературу. Об обстоятельствах, сопутствовавших отставке Н.С. Хрущева, писали А.И. Аджубей, Ф.М. Бурлацкий, Г.И. Воронов, Н.Г. Егорычев, В.Н. Загладин, В.Н. Новиков, В.Е. Семичастный, О.А. Трояновский, С.Н. Хрущев и др.

В то же время участники событий оценивали их по-разному. Н.Г. Егорычев и В.Е. Семичастный считают принятое решение логичным и обоснованным. П.Е. Шелест и Г.И. Воронов полагают, что объективной необходимости в смене руководства тогда не было. По воспоминаниям сына, Н.С. Хрущев собирался до работать до очередного съезда партии и уйти в отставку. Явственно проступали нервозность, торопливость, метания в поисках решений. Все это предопредели ло, как считали авторы книги «XX съезд и его исторические реальности», «по существу, полудобровольный уход Н.С. Хрущева с политической арены».

Многие отечественные исследователи, говоря о причинах отставки Н.С. Хрущева, развивали аргументы, высказанные в западной историографии. Совре менники описываемых событий из числа западных журналистов и дипломатов оставили свидетельства, в которых прослеживается сожаление по поводу снятия Н.С. Хрущева и даются в целом позитивные оценки его личности и деятельности [50]. Д. Боффа отметил, что в последний год правления Н.С. Хрущева формаль но его власть оставалась такой же полной, но совершенно неэффективной. Все действия Н.С. Хрущева стали молча, но упорно саботировать в центре и на периферии. Раздвоение партии было главной причиной, вызвавшей тайную оппо зицию в руководящих кругах страны. Его предложения стали угрожать глубинным структурам советского государства, и партийная иерархия избавилась от этой опасности, убрав Н.С. Хрущева с политической арены.

Более широкую оппозицию Н.С. Хрущеву среди значительной части крестьянства, интеллигенции, государственного аппарата, партийной номенклатуры, в армии видит А.М. Александров-Агентов. Главное же, по мнению автора, заключается в том, что Н.С. Хрущев оказался в состоянии перманентного, хотя и скрытого конфликта с подавляющим большинством коллег по руководству, что и явилось решающим фактором в его отстранении от власти. В авторитарной системе механизма критики руководства заложено не было, иначе это вело бы к краху самой системы, трансформации ее в сторону большого либерализма и демократии, — убеждены авторы «Политической истории России — СССР — Российской Федерации».

Современные исследователи не склонны представлять Н.С. Хрущева в виде «жертвы номенклатуры». Он сам создал условия для созыва пленума, полагают А.Н. Пономарев, Г.В. Злобин, В.В. Румынина. Причины отставки Н.С. Хрущева они видят в кризисе его собственной политики. И если к отстранению Г.М. Маленкова и особенно Г.К. Жукова многие отнеслись отрицательно, то уход с политической арены Н.С. Хрущева одобрило абсолютное большинство населения [51]. Основываясь на солидной источниковой базе, Р.Г. Пихоя выделил два уровня факторов, приведших к отстранению Н.С. Хрущева от власти. К первому он относит объективные процессы, происходившие в стране, подрывавшие влияние Н.С. Хрущева как главы партии и государства. Ко второму — личные отношения, складывавшиеся между Н.С. Хрущевым и представителями тогдашних правящих элит — партийной, военной, промышленной. Тем самым в современной отечественной историографии сложилось представление о неизбежности данного развития событий, их обусловленности особенностями проводимой Н.С. Хрущевым внутренней и внешней политики.

С докладом на октябрьском 1964 г. пленуме ЦК КПСС выступил М.А. Суслов. Представляет интерес и трактовка содержания доклада, прозвучавшего на пленуме, которую давали его участники, выступая с информацией на местах [52]. Как отмечал Р.А. Медведев, это был крайне поверхностный доклад, в котором все сводилось главным образом к перечислению личных недостатков или «грехов» Н.С. Хрущева. Однако его «поверхностность» была далеко не случайной. Ставшие известными записи В. Малина на заседании президиума ЦК 13—14 октября 1964 г. и подготовленный вариант доклада на пленуме Д.С. Полянского позволили углубить и расширить представления о происходивших тогда событиях. Как небезосновательно полагает Р.Г. Пихоя, «Брежнева и его будущих соратников по партийному руководству — Суслова, Косыгина, Подгорного — встревожила радикальность «доклада Полянского» и той группы, которая стояла за ним, в осуждении курса, которым страна шла под руководством Хрущева» [53]. Поэтому в выступлении М.А. Суслова были сведены к минимуму данные о кризисных явлениях в стране в конце 50-х — начале 60-х гг., а внимание акцентировалось на личных обвинениях против Н.С. Хрущева.

Следует также иметь в виду, что менталитет тогдашнего партийно-государственного руководства сочетал в себе внешнюю покорность и внутреннее нежелание мириться с ситуацией, когда номенклатуре угрожали непредсказуемые изменения в ближайшем будущем. Поэтому не удивительно, что практически все

сохранившие свои посты партийно-государственные «вельможи» сразу после о
ставки Н.С. Хрущева изменили свое отношение к нему и проводимому им кур

На современном этапе историографии появляются новые (старые) стере
типы и клише, уводящие от понимания истинной сути происходивших событ
Широко растиражированным является утверждение о том, что реформатор Н.
Хрущев пал жертвой партийной бюрократии. Вслед за этим делается закл
чение, согласно которому «партийный аппарат в борьбе за монополию на вла
не приемлет никаких перемен и готов пойти на все, чтобы ее удержать» [5
На наш взгляд, при таком подходе не учитываются следующие обстоятельст
1) Н.С. Хрущев не был однозначно реформатором, точно также как дру
представители верховной власти не являлись однозначно консерваторам
2) Смещение Н.С. Хрущева объективно открывало путь более мягкому,
резких и необдуманных поворотов, реформированию советского общест
3) Противопоставление Н.С. Хрущева партийному аппарату представляется
совсем оправданным. Есть документальные свидетельства, в частности вос
минания В. Семичастного о том, что накануне Октябрьского 1964 г. Плену
когда происходило заседание президиума ЦК, к нему обращались как сторо
ники, так и противники Н.С. Хрущева среди членов ЦК КПСС.

Анализ историографических источников позволяет констатировать, что сп
тение целого ряда обстоятельств способствовало отстранению Н.С. Хрущева
власти: 1) в той реально существующей политической системе отсутствова
другие действенные, легитимные механизмы смены политических лидеров, к
ме реализованного на практике. Традиции ухода в отставку с высших партий
постов не были приняты в советской политической системе; 2) находившаяс
власти партийно-государственная номенклатура, которая усилилась после сме
И.В. Сталина, начинала испытывать определенные неудобства от различных
организаций, особенно в последние годы правления Н.С. Хрущева. Не случ
но объединение «антихрущевских» сил происходило под лозунгом необходимо
стабильности, предсказуемости лидера; 3) отсутствие «команды» в руководс
страной, разобщенность руководителей, обиды, недовольство Н.С. Хрущев
копившееся годами; 4) постепенная потеря поддержки проводимого Н.С. Хру
вым курса в армии, партийном аппарате, силовых структурах, игравших важн
роль в политической системе; 5) отсутствие «синдрома страха» за возможн
провал акции, что было связано с результатами непоследовательной, но ощу
мой в верхах (по отношению к методам решения политических разногласий)
сталинизации; 6) среди причин свержения Н.С. Хрущева не след
недооценивать роль и значение внешнеполитических факторов. Для российско
советской правящей элиты традиционно большое значение имел международн
престиж страны. Этим можно было оправдать любые затраты на военно-проми
ленный комплекс и жертвы, обеспечить стабильность за счет высокого патр
тизма и наличия внешнего врага, если учитывать, что в ВПК работ
значительная и лучшая часть научно-производственного потенциала страны —
была их морально-психологическая стимуляция. Негативную реакцию в правящ
элите вызвал ряд международных выступлений и шагов Н.С. Хрущева. Глуб
ные интересы и инстинкты правящего номенклатурного слоя требовали сохране

упрочения международного престижа страны, тем более, что «хрущевские реорганизации» рано или поздно могли затронуть и внешнеполитическую сферу.

Изучение «личностного фактора» в значительной степени имеет в отечественной историографии либо «оправдательный», либо «снисходительный», либо «обличительный» характер. Такой подход характерен как для советской, так и для постсоветской историографии. Пытаясь через познание субъективного фактора расчленить объективную сторону исторического процесса, исследователи обратились к проблемам мотивации, наличия концептуальных установок, степени зависимости лидеров от идеологических пристрастий и т.д. В зависимости от концептуальной приверженности авторов различаются их трактовки роли личностного фактора. Над исследователями довлеют стереотипы восприятия советских исторических деятелей, сложившиеся в условиях крушения СССР, и того политического строя, который они олицетворяли. Имеет место неизжитый «провинциализм», когда исторических деятелей рассматривают и судят не в соответствии с историческими параметрами, которые определяли их деятельность, а исходя из политических пристрастий, либо абстрактных представлений о политических деятелях. Современным историкам предстоит не только продолжить работу по исследовательским направлениям, сложившимся в последнее десятилетие, но и обратиться к личностному фактору в более широком горизонтальном и вертикальном аспектах: рассматривать деятельность не только верхушки власти, но и ее среднего, низшего звена. Недостаточно исследованными на сегодняшний день являются события на политическом «Олимпе» конца 40-х годов, 1958—1964 гг. Исследователи ограничены в своих работах одними и теми же фактами, источниками, событийным рядом. Практически не изучена эволюция региональной партийно-политической, хозяйственной элиты с ее интересами, потребностями, проблемами.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Авторханов А.Г. Технология власти // Вопросы истории. 1993. № 2. С. 92.
2. Пихоя Р.Г. СССР: История власти. 1945—1991. М., 1998. С. 96.
3. XX съезд и его исторические реальности. С. 9; Аксенов Ю.С. Апогей сталинизма: послевоенная пирамида власти // Вопросы истории КПСС. 1990. № 11. С. 104.
4. Бобков Ф.Д. КГБ и власть. М., 1995. С. 151—152.
5. Вопросы истории. 1998. № 10. С. 113, 114.
6. ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 52. Д. 127. Л. 124—126.
7. Прибытков В. Аппарат. СПб., 1995; Зенькович Н.А. Вожди на мушке: Теракты и инсценировки. Минск, 1996; Он же. Покушения и инсценировки: От Ленина до Ельцина. М., 1998.
8. Авторханов А.Г. Технология власти. Франкфурт-на-Майне., 1977; Он же. Загадка смерти Сталина // Новый мир. 1991. № 5; Он же. Еще раз о «Загадке смерти Сталина» // Новый мир. 1991. № 12; Вопросы истории. 1998. № 10. С. 114.
9. Аллилуева С.И. Двадцать писем к другу. М., 1990. С. 9—10; Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия. М., 1990. Т. 1. С. 562; Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым. М., 1991. С. 324—328, 476—477; Он же. Так говорил Каганович. М., 1992. С. 152; Хрущев Н.С. Воспоминания. М., 1997. С. 262—268 и др.
10. Гидони А. Гороскоп Берии // Родина. 1991. № 9—10. С. 43—45; Денисов В. Одиночная камера на ближней даче // Наш современник. 1999. № 7; Кахан С. Крем-

левский волк. М., 1991; Он же. Лекарство для вождя // За рубежом. 1993. № 9
Медведев Ф. Пришел бы Микоян к Белому дому? // Родина. 1992. № 4. С. 2
Хрущев С.Н. Никита Хрущев: кризисы и ракеты. М., 1994. Т. 1. С. 27; Ковалев В.А
Распятие духа. М., 1997. С. 284—285; Зенькович Н.А. Тайны кремлевских смерте
М., 1995; Он же. Покушения и инсценировки: От Ленина до Ельцина. М., 199
Платонов О.А. Тайная история России. XX век. М., 1997; Радзинский Э.С. Стали
М., 1997; Чичкин А. О чем мечтали космополиты-интернационалисты // Молод
гвардия. 1994. № 2; Байбаков Н.К. От Сталина до Ельцина. М., 1998. С. 10
Докучаев М.С. История помнит. М., 1998 и др.

11. Волобуев О.В., Кулешов С.В. Очищение. История и перестройка. М., 198
С. 188; Медведев Р.А. Они окружали Сталина. М., 1990. С. 296; Судоплатов П.А
Последние годы правления Сталина // Огонек. 1994. № 19. С. 28.

12. Зубкова Е.Ю. Маленков и Хрущев: личный фактор в политике послесталин
ского руководства // Отечественная история. 1995. № 4. С. 103.

13. Пихоя Р.Г. О внутриполитической борьбе в советском руководстве // Нова
и новейшая история. 1995. № 6. С. 7, 9.

14. Политические партии России в контексте ее истории. Ростов на Дону. 1998. С. 28

15. Попов Г.Х. Блеск и нищета административной системы. М., 1990; Аксют
Ю.В., Волобуев О.В. XX съезд КПСС: новации и догмы. М., 1991; Сивохина Т.А
Зезина М.Р. Апогей режима личной власти. «Оттепель». Поворот к неосталинизму. М
1993; Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945—1964. М., 1993.

16. Аксенов Ю.С. Апогей сталинизма: послевоенная пирамида власти // Вопр
сы истории КПСС. 1990. № 11; Осипов А.Г. Крах административно-командной с
стемы. М., 1990. Сер. История и политика КПСС. № 10; Опенкин Л.А. Оттепел
как это было. М., 1991. Сер. Политическая история XX века. № 4; Волкогонов Д.А
Сталин. Политический портрет. М., 1992; Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945
1964. М., 1993; Лейбович О.Л. Реформа и модернизация в 1953—1964 гг. Перм
1993; Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. М., 1994 и д

17. Бутенко А.П. Откуда и куда идем. Л., 1990. С. 240.

18. Яковлев А.Н. Горькая чаша. Ярославль, 1994. С. 221—222.

19. Вопросы истории. 1997. №. 12. С. 166.

20. Зубкова Е.Ю. Маленков, Хрущев и «оттепель» // Коммунист. 1990. № 1
Она же. Маленков и Хрущев: личный фактор в политике послесталинского руководст
// Отечественная история. 1995. № 4; Наумов В.П. Борьба Н.С.Хрущева за едино
личную власть // Новая и новейшая история. 1996. № 2; Он же. Н.С.Хрущев,
реабилитация жертв массовых политических репрессий // Вопросы истории. 1997. №
4; Рейнман М. Н.С.Хрущев и поворот 1953 г. // Вопросы истории. 1997. № 1
Пихоя Р.Г. Тернистый путь к оттепели // Аргументы и факты. 1995. № 46; Он ж
О внутриполитической борьбе в советском руководстве. 1945—1958 гг. // Новая
новейшая история. 1995; № 6; Он же. СССР: История власти. 1945—1991. М., 199
Жуков Ю.Н. Борьба за власть в руководстве СССР в 1945—1952 гг. // Вопрос
истории. 1995. № 1; Он же. Борьба за власть в партийно-государственных верх
СССР весной 1953 г. // Вопросы истории. 1996. № 5/6; Он же. Кремлевские тайн
О борьбе за власть в 1951—1957 гг. // Независимая газета. 1994. 21 декабря; З
зина М.Р. Шоковая терапия: от 1953 к 1956 г. // Отечественная история. 1995. №
2.; Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. Т. 2. М., 1995.

21. Зубкова Е.Ю. Маленков, Хрущев и «оттепель». С. 87.

22. Зезина М.Р. Шоковая терапия: от 1953-го к 1956 году // Отечественная и
тория. 1995. № 2. С. 122; Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945—1964. С. 10

23. Зиновьев А. Русский эксперимент. М., 1995. С. 146.

24. Медведев Р.А. Они окружали Сталина. М., 1990. С. 277; Волкогонов Д.А. Семь вождей. М., 1995. Кн. 1. С. 344.

25. Зубкова Е.Ю. Маленков, Хрущев и «оттепель». С. 88, 91—92; Она же. Маленков и Хрущев: личный фактор в политике послесталинского руководства. С. 108.

26. Аксютин Ю.В. Пятый премьер, или почему Маленков не удержал бремя власти // Родина. 1994. № 5. С. 88.

27. РЦХИДНИ. Ф. 629. Оп. 1. Д. 54. Л. 68, 69; Симонов К.М. Глазами человека моего поколения. М., 1988. С. 275.

28. Опенкин Л.А. Оттепель: как это было (1953—1955 гг.). М., Сер. «Политическая история XX века». 1991. № 4. С. 48.

29. Аксютин Ю.В., Волобуев О.В. XX съезд КПСС: новации и догмы. М., 1991. С. 55.

30. Пихоя Р.Г. СССР: История власти. 1945—1991. М., 1998. С. 101.

31. Стреляный А. Последний романтик // Дружба народов. 1988. № 11; Маслов Н.Н. Историко-партийная наука: современные проблемы, решения. М., 1989. Сер. «История и политика КПСС». № 2. С. 51; Барсуков Н.А. Хрущев — основные вехи эскалации власти. С. 163; Яковлев А.Н. Указ. соч. С. 228; Искендеров А.А. Мемуары Н.С.Хрущева как исторический источник // Вопросы истории. 1995. № 5—6. С. 97;

32. Злобин Г.В., Румынина В.В. Традиции и новаторство в политике Н.С.Хрущева // Преподавание истории в школе. 1998. № 3.

33. Волобуев О.В., Кулешов С.В. Очищение. История и перестройка. М., 1989. С. 197—198; Медведев Р.А. Н.С. Хрущев. Политическая биография. М., 1990; Голованов Я. Век и миг Н.Хрущева // Комсомольская правда. 1994. 16 апреля; Бурлацкий Ф.М. Вожди и советники. С. 84.

34. Рыбин А.Т. Соратники Сталина // Социологические исследования. 1989. № 5; Попов Г.Х. Блеск и нищета административной системы. М., 1990. С. 236; Пономарев А. Что было до «оттепели» и кукурузы // Родина. 1994. № 10. С. 85; Соловьев А.Г. Тетради красного профессора. 1912—1941 гг. // Неизвестная Россия. XX век. Кн. 4. М., 1993. С. 170, 204; Любимов М. Великий государственник. Вместо предисловия // Сталин: в воспоминаниях современников и документах эпохи. М., 1995. С. 722-724.

35. Медведев Р.А. Н.С.Хрущев. Политическая биография. М., 1990; Бурлацкий Ф.М. Вожди и советники. М., 1990; Он же. Русские государи. Эпоха реформации. М., 1996; Волкогонов Д.А. Семь вождей. Кн. 1. М., 1995.

36. Зубкова Е.Ю. Маленков и Хрущев: личный фактор в политике послесталинского руководства. С. 103.

37. Пихоя Р.Г. СССР: История власти. 1945—1991. М., 1998. С. 10.

38. Медведев Р.А. Они окружали Сталина. М., 1990; Антонов-Овсеенко. Карьера палача. Омск, 1991; Медведев Р.А., Хмелинский П. Красный маршал Ворошилов: Человек и легенда // Подъем. 1992. № 11/12; Медведев Р.А., Парфенов С.А., Хмелинский П.В. Железный ястреб. Политический портрет Л.М.Кагановича. Екатеринбург, 1992; Табачник Г.Д. Последние хозяева Кремля. М., 1994; Волкогонов Д.А. Исторический портрет К.Е.Ворошилова // Октябрь. 1996. № 4; История России в портретах. Т. 2. Брянск, 1996 и др.

39. Маршал Жуков: полководец и человек. В 2-х т. М., 1988; Маршал Жуков. Каким мы его помним. М., 1988; Болдырев А.С. Работая с Косыгиным // Новая и новейшая история. 1991. № 2; Медведев Р.А. Алексей Косыгин: Среди троглодитов // Связь времен: Исторические очерки. Ставрополь, 1992; Макаревский В.И. О премьере Н.С.Хрущеве, маршале Г.К.Жукове и генерале И.А.Плиеве // Мировая экономика и международные отношения. 1994. № 8/9; Премьер известный и неизвестный: Воспоминания о А.Н.Косыгине. М., 1997; и др.

40. Медведев Р.А. Л.И.Брежнев. Политический портрет; Вокруг Кремля. М., 1990; Л.И.Брежнев: Материалы к биографии. М., 1991; История России в портретах.

Т. 2. Брянск, 1996; Леонид Брежнев в воспоминаниях, размышлениях, суждени Ростов на Дону., 1998.

41. Карпов В.В. Маршал Жуков. Опала. М., 1994.; «И примкнувший к н Шепилов». Правда о человеке, ученом, воине, политике. М., 1998.

42. Гриневский О.А. Тысяча и один день Никиты Сергеевича. М., 1998.

43. Судьбы реформ и реформаторов в России. М., 1996. Ч. 2; Федоров О. История реформ в России (с середины XVI по конец XX в.) Орел., 1997.

44. Правда. 13 марта 1987 г.

45. Бутенко А.П. Указ. соч. С. 258, 259; Арбатов Г.А. Указ. соч. С. 108, 1 Семенникова Л.И. Указ. соч. С. 346—347; Власть и оппозиция. С. 233.

46. Зиновьев А. Русский эксперимент. М., 1995. С. 162—163.

47. Барсуков Н.А. Как был «низложен» Н.Хрущев // Общественные науки. 1989. 6; Зубкова Е.Ю. Октябрь 1964 г. Поворот или переворот ? // Коммунист. 1989. № Наше Отечество. Т. 2. С. 477; XX съезд и его исторические реальности. С. 413; Алекс дров-Агентов А.М. От Коллонтай до Горбачева. М., 1994. С. 126; Трояновский О.А. рез годы и расстояния. М., 1997. С. 264; Дмитренко В.П., Есаков В.Д., Шестаков В. История Отечества. С. 488; История России. XX век. М., 1996. С. 575; Барсуков Н. Хрущев — основные вехи эскалации власти // Россия XXI. 1995. № 1—2. С. 160, 1

48. Медведев Р.А., Ермаков Д.А. «Серый кардинал». М.А.Суслов: политическ портрет. М., 1992; Геллер М., Некрич А. Утопия у власти.

49. Пихоя Р.Г. СССР: история власти. 1945—1991. М., 1998. С. 257—258.

50. Ярринг Г. До гласности и перестройки. М., 1992; Солсбери Г. Сквозь бу нашего времени. М., 1993.

51. Злобин Г.В., Румынина В.В. Традиции и новаторство в политике Н.С.Хруще // Преподавание истории в школе. 1998. № 3; Пономарев А. Что было до «оттепел и кукурузы // Родина. 1994. № 10. С. 82—88.

52. После пленума. Смещение Н.С.Хрущева: версия для партактива // Коммуни 1991. № 4. С. 107—116.

53. Пихоя Р.Г. СССР: история власти. С. 270—271.

54. Передерий С.В. К новому пониманию западной советологии. Пятигорск, 199 С. 27—28.

THE PROBLEM OF RESEARCH IN PERSONAL FACTOR'S ROLE IN A POST-WAR DOMESTIC HISTORY (1945—1964)

Interpretations of a personal factor's role in the USSR in the mid 1940 — m 1960s attempted by home and foreign historians of different theoretic methodological, political and ideological directions are analyzed in the artic Discrepancies in degrees of historical treatment of reflection, ideology, a dependence on historical context in the actions of Soviet political leaders are detecte The author marks that researches are focused on the highest level of Soviet politic elite and defines an investigation of its middle and upper levels as well as the region party, political and economical elites as a perspective direction for future study.

A.V. Trofimov

Г.Н. Чагин

НАРОДЫ СРЕДНЕГО УРАЛА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭТНОГРАФИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.

Впервые систематизированный этнографический материал о народах Среднего Урала был приведен в книге И.Г. Георги «Описание всех в Российском государстве обитающих народов» (СПб., 1776. Ч. I.) и в рукописном «Топографическом описании Пермского наместничества 1786 г.» Позднее, в 1804 г., этнографический материал получил обобщение в двухтомном издании «Хозяйственное описание Пермской губернии». В целом на рубеже XIX—XX вв. отечественная наука располагала весьма ограниченным материалом о народах Среднего Урала и менее всего — о русском населении, который уже с XVII в. являлся старожильческим и самым многочисленным уральским этносом.

С середины XIX в. среднеуральским народам значительное внимание уделяли путешественники и публицисты. Но ни один из авторов не исследовал обстоятельно какие-нибудь проявления народной жизни и тем более не подготовил хотя бы скромный обобщающий этнографический труд, хотя стимулы для этого имелись весьма солидные. Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете и Уральское общество любителей естествознания поощряли этнографические изыскания в связи с подготовкой солидных выставок. Первое общество открыло в Москве в 1867 г. Всероссийскую этнографическую выставку, второе — в Екатеринбурге Сибирско-Уральскую научно-промышленную выставку, на которых этнография народов Урала была представлена достаточно обстоятельно. Обобщающим, но не столь полным, как по другим регионам России, явился изданный в 1905 г. иллюстрированный том «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества» (под редакцией П.П. Семенова-Тянь-Шанского).

Многие публикации прошлого имеют как историографический, так и источниковедческий интерес. Они ценны для реконструкции региональных особенностей культуры и быта народов и для установления типов и ареалов их бытования.

Важный этап в развитии этнографии уральских народов начинается во второй половине 1940-х гг. Он был вызван не каким-либо общественным движением, а исключительно поступательным развитием этнографической науки, стремлением ученых успеть зафиксировать в науке хозяйственно-культурные, общественные, семейные явления, которые быстро уходили в прошлое. Кроме того, научный поиск ученых двигало осознание неизученности и возможности написать достаточно обстоятельные труды по истории и традиционной культуре народов с использованием этнографического материала.

На фоне разнообразной литературы об этногенезе и этнокультурном развитии народов Среднего Урала наиболее выделяются труды этнографов и антропологов академических учреждений, которые обогатили отечественную этнографию обширным запасом сведений, полученных в ходе полевой работы и в результате изучения музейных, архивных и опубликованных источников.

Цель нашей статьи — показать наиболее значимые узловые проблемы и
учной разработанности этнографии Среднего Урала и обратить внимание на
вопросы, которые еще необходимо изучить.

О том, что отечественная наука нуждалась в обобщающем научном ист
рико-этнографическом труде о коренном этносе Приуралья коми-пермяках, осо
навали многие ученые, но взяться за его подготовку длительное время никто
решался. Местных научных кадров для этого не имелось, а в центральных ак
демических учреждениях на протяжении многих лет приоритетными оставали
проблемы этнографии более архаических народов.

Лишь в 1944 г. началось этнографическое изучение коми-пермяков ком
лексной научной экспедицией, организованной Институтом географии Академ
наук. Но поскольку исследование выстраивалось в этно-географическом напра
лении, то наиболее интересные научные результаты были получены по вопрос
расселения, хозяйственного освоения и современного быта коми-пермяков.

Однако предпринятая попытка изложения в трудах экспедиции этнокульту
ной специфики народа и ее эволюции в первой половине XX в. так и не бы
завершена, поскольку авторы не располагали для этого конкретным материал
и не владели историческими методами системного научного анализа. В итоге
специальные две главы в академической монографии «Коми-Пермяцкий наци
нальный округ» (1948), ни отдельно вышедшая книга Н.И. Шишкина «Ком
пермяки (этно-географический очерк)» (1947) [1] не стали значимым явлени
в этнографической науке. Проблемы этногенеза и взаимодействия коми-пермяк
с другими этносами авторы решали, опираясь на труды своих предшественнико
для которых были характерны недостаточно аргументированные, противоречив
и устаревшие суждения. Поэтому ничего нового по важнейшей историческ
проблеме авторы вышедших публикаций в 1940-е гг. не смогли сказать.

Так, Н.И. Шишкин попытался объяснить происхождение коми-пермяков
истоки их культуры на основании разных данных — топонимии, палеолингви
стики, антропологии и археологии, но при этом пришел к выводу, которы
вскоре был опровергнут исследователями, обратившимися к новому археолог
ческому, фольклорному и этнографическому материалу. Н.И. Шишкин счита
что коми-пермяки образовались не только из аборигенных племен верховь
Камы, но и из мигрировавших южных племен, прежде всего из скифов. По
этому вполне понятно утверждение Н.И. Шишкина, что в языке, мифологии
эпосе и изобразительном творчестве коми-пермяков так ярко проявились «от
ложения скифской культуры» [2]. Во многом компилятивная, основанная
методологических позициях господствовавшего в то время антинаучного учени
академика Н.Я. Марра о языке книга Н.И. Шишкина вскоре стала иметь лиш
историографический интерес, но никак не научно-практический.

Со времени выхода книги Н.И. Шишкина потребовалось еще десятилети
настоящего этнографического поиска, завершившегося выходом подлинно науч
ного исследования о коми-пермяках. Продолжила традицию коми-пермяцкой эт
нографии и поставила ее на солидную научную базу видный этнограф
российских финно-угорских народов, сотрудник Института этнографии Акаде
мии наук В.Н. Белицер.

Большое значение В.Н. Белицер придавала полевым исследованиям с уклоном в изучение этнокультурного развития коми-пермяков в органической связи с особенностями формирования и размещения населения, природно-географическими условиями, хозяйственной деятельностью, влиянием новых социальных отношений и контактов с соседними этносами. Старшее поколение коми-пермяков, с которым работала В.Н. Белицер в 1945—1947 гг., имело богатый жизненный опыт и в своей памяти хранило необычайно много фактических сведений из прошлого быта. Благодаря этому, а также привлечению музейных, опубликованных и частично архивных источников, В.Н. Белицер смогла в своих трудах представить широкую картину этнографии коми-пермяков.

Полевым обследованием В.Н. Белицер охватила не только основную часть этноса, проживавшую на территории округа, но и обособленные этнографические группы — коми-зюздинцев в Кировской области и коми-язьвинцев на северо-востоке Пермской области, которых прежде никто из профессиональных этнографов не изучал. Основное внимание В.Н. Белицер сосредоточила на сельских коми-пермяках, поскольку они олицетворяли этнос. Городское население в прошлом у коми-пермяков отсутствовало, начало ему было положено в 1930-е гг. в связи с получением с. Кудымкара статуса сначала поселка городского типа (1933), а затем города (1938).

В 1958 г. в серии трудов Института этнографии Академии наук В.Н. Белицер опубликовала фундаментальную монографию «Очерки по этнографии народов коми: XIX — начало XX в.». Кроме того, материал по самой широкой тематике она ввела в академические серийные издания о народах мира [3]. Научная значимость исследований В.Н. Белицер выглядит намного солиднее в связи с тем, что она рассмотрела коми-пермяков вместе с родственным по происхождению и близким по языку и образу жизни коми-зырянским этносом. Глубинное родство и общность развития народов всегда представляли интерес для науки. И в трудах В.Н. Белицер мы впервые получили пример удачного воплощения научного подхода.

Основную часть исследования В.Н. Белицер построила на материалах второй половины XIX — первой четверти XX в., но по каждой теме она совершила экскурс в более ранние эпохи, а в заключении не только подвела итоги исследования, но и отметила современное состояние хозяйства и культуры. Пользуясь таким методом подачи материала, автор успешно справился с поставленной целью — показать сложение и развитие конкретных явлений хозяйственно-культурной деятельности коми-пермяков и определить факторы, воздействовавшие на их состояние.

Естественно, при охвате многих тем исследования В.Н. Белицер не претендуют на всеобъемлющую полноту. Автором наиболее полно проведен анализ материальной культуры коми-пермяков — способов хозяйствования и орудий труда, путей сообщения и средств передвижения, поселений и усадеб, пищи и утвари, одежды и орнамента. Изучением семейного быта, народных верований, изобразительного и устного народного творчества автор занимался в меньшей степени. Поэтому, как отмечает В.Н. Белицер в предисловии к монографии (кстати, об этом же она неоднократно говорила нам при встречах), главы, в

которых затрагиваются эти темы, не претендуют на исчерпывающую полноту, хотя, на наш взгляд, автору все же удалось познакомить читателя с тем, как коми-пермяки создавали семьи, проводили праздники и будни, какие сложились самобытные произведения народного творчества. С полной уверенностью можно заключить, что труды В.Н. Белицер подвели итог в изучении этнографии коми-пермяков и сыграли положительную роль для дальнейших исследований, широко развернувшихся в последующее время.

Не прошло и десятилетия после издания монографии В.Н. Белицер, как стали появляться новые публикации по традиционной культуре коми-пермяков, причем авторами являлись ученые, вышедшие из самого народа. К числу наиболее значимых следует отнести статьи Л.С. Грибовой, посвященные древним культам и исторической традиции в современном прикладном искусстве коми-пермяков [4]. Своими первыми небольшими публикациями Л.С. Грибова заявила о том, что предметом ее исследования избраны традиции архаического прикладного искусства и современного изобразительного творчества коми-пермяков. В ходе работы автор нашла немало аспектов, достойных научного внимания. Более двух десятилетий она собирала материал в музейных собраниях и в экспедициях по местам расселения коми-пермяков.

Уникальному искусству древних финно-угорских народов, давно вызывавшему интерес археологов и этнографов, Л.С. Грибова посвятила монографию «Пермский звериный стиль» (1975). Произведения этого искусства — медно-бронзовые бляхи, пластины, пронизки, подвески — связаны с религиозными представлениями населения, проживавшего в Приуралье в середине и второй половине I тыс. н.э. Об этом искусстве написано немало работ, но у Л.С. Грибовой было очень важное преимущество перед всеми предшествовавшими ей авторами — она хорошо владела исторической лексикой родного языка, досконально знала устную культуру народа и в ходе полевой работы привлекла новый, никем ранее не использованный фольклорный и изобразительный материал.

Л.С. Грибова поставила задачу раскрыть семантику образов звериного стиля, поскольку по этому вопросу авторы высказывали фрагментарные и противоречивые выводы. Она дала подробную сводку материала по изобразительным сюжетам и с большой тщательностью обосновала ее этнографическим и фольклорным материалом.

По заключению Л.С. Грибовой, бляхи со сложной композицией отразили представление предков о трех мирах Вселенной — нижнем, среднем и верхнем, а мелкие зооантропоморфные бляхи — принадлежность к конкретному роду, фратрии и племени. Причем часть блях со сложными композициями, по мнению автора, явилась изобразительной формой родовых и племенных преданий, фрагменты которых записали исследователи прошлого, но самому автору удалось их еще немало услышать от сельских коми-пермяков и использовать для реконструкции мировоззренческих представлений предков.

В монографии Л.С. Грибовой затронут один из сложных вопросов о прауральской чуди. Используя разнообразные народные предания о чуди, автор пришел к выводу, что этим названием обозначались предки финно-угорских народов, в том числе и коми-пермяков, от которых до нас дошли предметы ме-

таллического художественного литья. Поэтому справедливо считать коми-пермяков создателями уникального искусства, которое признано сокровищем древнего культурного наследия.

Л.С. Грибова во многом удачно раскрыла одно из сложных явлений духовной культуры предков, но ее научные реконструкции не лишены слабых мест. Так, гипотеза об отражении в образах пермского звериного стиля сложной структуры первобытного общества и тем более тотемистических представлений не была безусловно признана научным сообществом. Очевидно, потребуется еще немало усилий ученых, чтобы разобраться в символике образов. Но, тем не менее, Л.С. Грибова ввела в публикации так много нового фольклорного и этнографического материала, что он уже сам по себе выступает источником изучения самобытного явления в древнем искусстве коми-пермяков и соседних народов. Вряд ли кто-нибудь из исследователей будет располагать подобным сопоставительным материалом, так как современные коми-пермяки уже плохо знают поздние варианты этногенетических преданий.

Другое научное направление Л.С. Грибова также успешно завершила монографией «Декоративно-прикладное искусство народов коми» (1980). Специальных обобщающих работ по избранной теме до Л.С. Грибовой не имелось, хотя утверждать, что она совсем не попадала в поле зрения ученых, тоже нельзя. В монографии автор успешно справился с поставленными задачами, которые имеют не только практический, но и теоретический интерес. Основываясь на ранних письменных и археологических материалах, атрибутике святилищ и фольклорных произведениях, Грибова показала истоки основных изобразительных мотивов, рожденные в собственной культурной среде народа под воздействием местных природных и религиозных факторов.

Наиболее полно Л.С. Грибовой удалось раскрыть особенности художественной обработки дерева, бересты, меха, развитие геометрического орнамента и, что несомненно очень ценно, добиться реконструкции первоосновы наиболее употребляемых орнаментальных структур в резьбе, плетении и вязании. Заслуживает внимания мнение автора, что первоначальные мотивы орнамента восходят к родовым пасам-тамгам, которые с перерастанием в орнамент теряли первоначальное смысловое значение [5]. Разрыв этот — дело длительного времени, и он связан со сменой поколений и мировоззренческих представлений. Но в силу традиций, считает автор, трансформация пасов-тамг и их забвение порождали образование традиционных локальных вариантов орнаментации, которые, судя по представленному материалу, автору и известны. Замечательно, что Л.С. Грибова снабдила монографию таблицей, отражающей географическое распространение орнаментальных мотивов коми, которую, естественно, хотелось бы видеть еще более детализированной как по набору мотивов, так и по их локализации.

В трудах Л.С. Грибовой нашло освещение орнамента мягких изделий коми-пермяков, но значительно успешнее было осуществлено его изучение Г.Н. Климовой. Она опубликовала ряд статей, научно-популярную книгу «Узорное вязание коми» (1978), а впоследствии изложила обобщающие результаты многолетних исследований в монографии «Текстильный орнамент коми» (1984, 1995; первое издание вышло в Сыктывкаре, второе — в Кудымкаре). В ос-

нову изучения она положила полевой материал, собранный среди всех этногр фических групп коми-пермяков и коми-зырян, а также у соседнего русско населения по Печоре, верхней Мезени и Колве.

Для достижения поставленной цели — рассмотрения во всем многообр зии состава орнамента и определения его места среди орнаментальных моти других финно-угорских народов — Г.Н. Климова опиралась на удачно избр ные методы исследования. Причем она применила не только апробированны науке методы изучения орнамента, но и те, которые диктовались предметом исследования — текстильными изделиями. Так, к исследованию привлекали не только форма, размер, расцветка узоров, но и техника изготовления орн ментированных изделий наравне с композиционными особенностями узор которые автор рассматривал с двух сторон: с точки зрения повторяемости м тивов и симметрии.

Так как у коми-пермяков самыми многочисленными и разнообразными бы диагонально-геометрические узоры, Г.Н. Климова посвятила им особую главу монографии, материал которой имеет прежде всего теоретическое значение. Х рактеризуя эти узоры, она не обошла вниманием соотношение узора, фона и те ники исполнения. В литературе еще не высказано единого мнения по повод происхождения диагонально-геометрического орнамента. Л.С. Грибова, например считала, что у коми-пермяков он развился из знаков собственности [6]. Г.Н Климова не сомневается в древности орнамента и находит генетическую связь е с орнаментом керамики андроновской культуры, распространенной в эпоху брон зового века на территории Южного Урала, Казахстана и Западной Сибири [7] При этом справедливо ее заключение, что в связи с эволюцией древнего орн мента в каждом районе сложилась своя орнаментальная специфика. В частности в искусстве коми-пермяков шире отразились мотивы основного орнаментального фонда с многочисленными вариациями при незначительности его древних черт

Труды Л.С. Грибовой и Г.Н. Климовой богато иллюстрированы и рассчи таны не только на ученых, но и на широкий круг людей. Они способствую сохранению традиций коми-пермяцкого народного творчества.

Помимо традиционной культуры в исследованиях получили освещение не которые стороны национально-государственного строительства и этнокультурн ного развития коми-пермяков в XX в., хотя работ, в которых было бы предложено решение этих проблем со значительной не идеологизированно разработкой, пока еще не появилось. Но начало этому процессу уже положе но. В 1989—1994 гг. впервые проводились этносоциологические исследования сотрудниками Института языка, литературы и истории Коми научного центр УрО РАН и его отдела общественных наук в г. Кудымкаре Ю.П. Шабаевы и В.С. Дерябиным. В этой работе участвовал известный исследователь Инсти тута России и Восточной Европы Финляндии Сеппо Лаллукка. Результаты исследования докладывались на конференциях и получили освещение в ряд публикаций [8]. Обобщением материалов явилась монография Сеппо Лаллукка, изданная на финском языке в 1995 г. в Хельсинки [9].

Основное внимание авторы уделили современной этнокультурной ситуации коми-пермяков. Ее объективную картину они получили путем анкетного опрос

как сельского, так и городского населения. Их вывод о глубоком кризисе, охватившем воспроизводство, язык, этнические ценности и даже самосознание этноса, что в первую очередь стало возможным в связи с резким ухудшением экономики округа и с несостоятельностью ряда положений прежней идеологии национальных движений, остается сегодня актуальным для разработки программ стабилизации и развития этноса. Но с категоричным заключением о резком разрушении этнических показателей и в целом о слабости их интегрирующего значения вряд ли можно согласиться.

У коми-пермяков, как видится не только нам, но и самим авторам этносоциологического исследования, имеется немалый потенциал для полноценного развития. В населении автономного округа коми-пермяки составляют более 60%. Такой показатель остается самым высоким среди всех национально-государственных образований российских финно-угорских народов. К тому же, что очень существенно для сохранения этнической самобытности, доля сельского населения в округе составляет свыше 70%. Не такими уж плохими остаются показатели состояния этноязыковых процессов. Коми-пермяки являются полными билингвами и это состояние предстает достаточно прогрессивным явлением. Результаты опроса населения 1990-х гг. показали, что коми-пермяцкий язык свободно употребляли в городе 62,9% коми-пермяков, а в сельской местности — 95% [10]. Респонденты считали, что коми-пермяцкий язык является для них родным потому, что это язык их народа и на нем они начали говорить.

Проблемы этнокультурного развития коми-пермяков и состояния языка, литературы впервые были всесторонне рассмотрены в 1995 г. на международной научно-практической конференции в г. Кудымкаре. Было заслушано более 100 докладов и сообщений российских и зарубежных ученых из Финляндии, Венгрии, Эстонии, Германии, Канады. К началу работы конференции были изданы тезисы, а впоследствии материалы конференции опубликовали в одноименном сборнике в полном виде (25,5 печ. л.) [11]. Сам факт проведения конференции в г. Кудымкаре стал важным по целому ряду причин как для ученых-финно-угроведов, так и для развития науки в округе. С 1988 г. в г. Кудымкаре работает Коми-Пермяцкий отдел общественных наук Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН, сотрудники которого демонстрируют высокий уровень научной работы. Есть основания, что в дальнейшем они еще глубже раскроют в своих трудах историю, культуру, пути развития коми-пермяцкого народа.

В то время, когда в области этнографического изучения города и рабочего класса предпринимались первые шаги, Институт этнографии Академии наук в 1951 г. в качестве объекта для стационарного изучения рабочего класса избрал г. Нижний Тагил. Полевые работы велись под руководством В.Ю. Крупянской в 1951, 1956—1962, 1965—1968 гг. В задачи исследования входило выявление путей развития культуры и быта рабочих в связи с особенностями формирования рабочих кадров г. Нижнего Тагила и общим ходом общественно-экономического и культурного процесса.

Наравне с получением фактического материала, необходимого для раскрытия темы, в ходе полевых работ в г. Нижнем Тагиле была апробирована только что

разработанная методика изучения рабочих. Исследователи убедились, что про блему роли этнических традиций (в частности, взаимодействия этнических куль тур) можно решить лишь в том случае, если будет тщательно выявлена истори формирования городского населения, его этнический состав и социальные истоки Отработанная методика в г. Нижнем Тагиле впоследствии успешно использо валась в изучении городского населения разных регионов России.

Многолетняя полевая работа в г. Нижнем Тагиле, включая изучение архив ных и опубликованных источников, велась одновременно по двум тесно связан ным проблемам — история рабочего быта Урала и современная этнографи рабочих. Она завершилась выходом двух коллективных монография, что яви лось большим событием в отечественной этнографии [12]. Авторы (В.Ю Крупянская, Н.С. Полищук, О.Р. Будина, Н.В. Юхнева) пришли к выводу что в основе своеобразия уклада жизни рабочих лежали сохраняющиеся от кре постной эпохи связи рабочих с заводовладельцами не только работой, но и осед лостью (собственным хозяйством, усадьбой), что замедляло преодолени типично крестьянских черт в быту. Но при этом немаловажную роль играло наличие большого числа старообрядцев.

К сожалению, впоследствии население городов и заводских центров Ура ла не становилось объектом этнографических исследований, хотя достижени отечественных исследователей в этой научной области по другим российским ре гионам были существенны.

Этнографические исследования среди русского населения Среднего Урал были начаты по инициативе Института этнографии Академии наук в 1954 г. связи с подготовкой историко-этнографического атласа. Полевую работу Северо восточного (Приуральского) отряда русской экспедиции возглавили опытны этнографы Г.С. Маслова и Т.В. Станюкович. Участники экспедиции за 2, месяца обследовали сельские, заводские и городские поселения Камского бас сейна от Елабужского района Татарстана на юге до Чердынского района Пер мской области на севере. В результате полевой работы на большой территори был собран материал, позволивший решить две важные проблемы: этническ связи русского населения Приуралья с населением других русских регионов особенности быта заводского населения.

На основе материалов экспедиции (поселения, жилище, одежда, пища, хо зяйственная утварь) авторы полевых работ обнаружили сходство материальной культуры русского населения Приуралья с культурой русских Европейского Се вера. Причем наибольшая близость проявилась между культурами русских Пер ского Севера и Северо-Двинского бассейна. Причину этого явления автор справедливо увидели в особенностях формирования русского населения Приурал — северные районы Приуралья осваивались преимущественно выходцами из-по Великого Устюга, Сольвычегодска, Яренска, Тотьмы, Вологды, Каргополья. то же время авторы не могли не заметить заимствования русскими опыта хозяй ствования и культуры коренного населения исследуемой территории — ком пермяков, удмуртов. Очень существенен вывод о том, что русская материальна культура приобрела в Приуралье определенную специфику, поскольку она ра вивалась в иноэтническом окружении и кое-где в особой природной среде.

К культуре заводского населения авторы подошли дифференцированно и справедливо заметили, что в небольших заводских поселениях быт населения оставался однородным и имел сходство с крестьянским бытом, а в крупных городах и заводских центрах складывались общие черты быта при нивелировании той этнической специфики, с которой население входило в городскую и заводскую среду. Эти выводы позднее подтвердились в работах, основанных не только на полевых, но и на архивных и музейных материалах.

При изучении культурных традиций русских Приуралья авторы сделали вывод о некоторых заимствованиях от русских Сибири, причем не только Западной, но и Восточной. Они объясняли это явление исключительно близостью сибирского региона. Но с этим заключением вряд ли стоит согласиться. Заимствований, о которых говорят авторы, не могло быть, а сходство в культуре двух соседних регионов возникло в связи с практикой перенесения традиций на сибирские просторы в ходе миграций русского населения из Приуралья на восток.

Весь обширный полевой материал Г.С. Маслова и Т.В. Станюкович опубликовали в виде солидного раздела коллективной монографии в серии трудов Института этнографии Академии наук [13], а впоследствии большая часть его вошла в фундаментальные издания: «Русские: Историко-этнографический атлас» (1967, 1971), «Этнография восточных славян: Очерки традиционной культуры» (1987).

Этнографическое изучение русского населения Приуралья было продолжено сотрудниками Института этнографии Академии наук в 1978—1984 гг. под руководством И.В. Власовой. Этнографами И.А. Кремлевой, Т.А. Листовой, Т.С. Макашиной был получен уникальный материал по семейным обрядам и устному творчеству, а И.В. Власовой — по заселению, хозяйству, семье. Материальную культуру — поселения, жилище, одежду — исследовал Г.Н. Чагин. Полевую работу, проводимую на территории Пермской области и Припечорья, этнографы успешно сочетали с поиском письменных и опубликованных источников в местных и центральных архивных, музейных и книжных собраниях, так как было стремление не только раскрыть поздние варианты культуры и быта русского населения, но и выявить их признаки с XVII в., когда шло массовое переселение русских из районов Европейского Севера на Урал и в Сибирь.

Новые исследования этнографов в Приуралье являлись частью проблематики распространения и утверждения русской народной культуры в ходе миграции русских из Европейской России в Сибирь, поскольку потребность в обобщающих трудах по Уралу, являвшемуся перевалочным регионом в русском колонизационном процессе из Европы в Азию, все настойчивее требовал достигнутый к этому времени уровень этнографической изученности европейских мест выхода и сибирских мест расселения русских. Именно исходя из данного теоретического обоснования и накопленного научного опыта, этнографы создавали новые труды, которым вскоре после выхода пришлось занять видное место в историографии названной проблематики.

Общерусские и местные черты, проявившиеся у русского населения Приуралья, этнографы всесторонне показали не только во многих статьях [14], но и в коллективной монографии «На путях из земли Пермской в Сибирь: Очерки этнографии северноуральского крестьянства XVII—XX вв.» (1989). И.В. Власова

посвятила им книгу «Заселение и хозяйственное освоение русскими Северно го Приуралья (XVII—XX вв.)» (1991). Издания хорошо иллюстрированы рассчитаны не только на специалистов, но и на широкий круг читателей. Со бранные фактические и иллюстративные материалы вошли в обобщающу монографию «Русские» (1997), ставшую первой книгой в новой серии трудо Института этнологии и антропологии Академии наук «Народы и культуры».

Существенный вклад в изучение традиционных культур народов Средне го Урала внесла Камская этнографическая экспедиция Пермского университета созданная в 1975 г. Экспедицией, которой руководит Г.Н. Чагин, обследова но более 300 поселений в Пермской, Свердловской областях, а также в рес публиках Коми, Удмуртия, Башкортостан [15]. Направление полевой работ определялось задачами реконструкции материальной культуры, обрядов и ми ровоззренческих представлений русского старожильческого населения, оказав шегося на Урале в иноэтническом и иноконфессиональном окружении. Посл проведения нескольких полевых сезонов на севере Пермской области внимани этнографов было обращено к этнокультурному взаимодействию всех живущи на Урале народов. Наиболее значительно были расширены представления традициях коми-пермяков, коми-язьвинцев, марийцев, удмуртов и слабее — манси, башкирах и татарах.

Результаты скрупулезной полевой работы не замедлили сказаться на по требности обращения к письменным источникам конца XVI — начал XVIII вв. с целью более глубокого рассмотрения состояния традиций народно культуры в рамках большого хронологического диапазона. В истории этнографи Среднего Урала еще не разрабатывался в качестве исходного рубежа изучени конец XVI в., когда началось массовое заселение русскими земель и заклады вались основы его культурно-бытового своеобразия.

Научная новизна комплексного исследования народов Среднего Урала заклю чалась прежде всего в постановке таких вопросов: особенности культуры и бы русского и других народов Среднего Урала и проявления в них взаимоотношени этносов, взаимосвязи культурных традиций с природными условиями, направлениям и темпами миграций и расселения, нормами землепользования, демографическим и конфессиональными факторами. На большом материале удалось уловить харак терные черты организации жизнедеятельности этносов и показать более существен ное — в каких целях, при каких обстоятельствах, в какой исторический период с какими усовершенствованиями развивались элементы культуры этносов. Сравни тельный этнорегиональный анализ источников впервые позволил проследить не только этапы заселения Среднего Урала, но и выделить в нем районы, которые из начально осваивались не аборигенным населением, а прежде всего русскими. Бла годаря этому стало возможно проследить типичные черты и оттенки культуры быта, поскольку в рассматриваемых районах с однородным этническим составом на селения русские традиции сохранялись в чистом виде длительное время. В связи с этим массовый этнографический материал таких мест позволил определить этно культурную принадлежность первопоселенцев.

Конкретные результаты исследования пермских этнографов вошли во многи публикации. Они признаны в науке и их активно используют этнографы, исто

рики, преподаватели. Наиболее цельно концепцию этнокультурной истории Среднего Урала изложил Г.Н. Чагин в монографии «Этнокультурная история Среднего Урала в конце XVI — первой половине XIX в.» (1995). В ней он ответил на комплекс существенных вопросов этнической истории русского народа и других этносов, которые контактировали на протяжении многовековых миграций. Немалый теоретический интерес для современной этнографии представляют вскрытые механизмы заимствований в сфере культуры и быта различных этносов. Ключевым для авторской концепции явилось заключение о том, что русское старожильческое население Среднего Урала и его потомки составляли органическую часть севернорусской этнографической общности, а не локальную группу этноса, хотя в культуре русского населения Среднего Урала и имелись специфические черты по сравнению с культурой тех мест, откуда переселялись их предки.

На протяжении ряда лет пермский этнограф А.В. Черных ведет исключительно плодотворное этнографическое изучение очень сложного по составу населения и слабо изученного Южного Прикамья [16]. Регион изучения издавна находился на перекрестке путей башкир, татар, удмуртов, марийцев и русских. Исследуемая территория располагается в Пермской области, но сходный по историческим судьбам район с идентичным составом населения находится на приграничном севере республики Башкортостан.

Полиэтничность Южного Прикамья на стыке трех историко-культурных зон — Северного Прикамья, Волго-Камья, Северной Башкирии, с которыми население сохраняло многовековые этногенетические связи, определила направление и проблематику исследования А.В. Черных. Солидную основу он заложил разработкой формирования состава населения и особенностей расселения, используя для этого археологический, фольклорный и письменный материал. Им установлено, что раньше всех здесь сложилась диаспора башкирского этноса, затем — татарского. Впоследствии в их состав вошли финно-угорские группы населения — марийцы, удмурты, частично мордва и угры. В ходе активного взаимодействия этносов, как заключает А.В. Черных, башкиры и татары явились полиэтничными образованиями, причем их этническая идентичность еще и в наши дни не достигла завершающей фазы. Процесс сложения русского населения в Южном Прикамье растянулся на длительное время — с конца XVI по начало XX в. В нем участвовали мигранты из районов Европейского Севера, Верхнего Прикамья, Нижней Камы, Вятки и Среднего Поволжья. Русские занимали как свободные земли, так и на арендных условиях селились на землях, освоенных другими народами, прежде всего башкирами и татарами. В связи с этим в Южном Прикамье сложилось несколько этнотерриториальных групп русских, которые в исследованиях А.В. Черных получили объективную и полную характеристику.

Наиболее ценный вклад в этнографию народов Среднего Урала А.В. Черных внес разработкой традиционной календарной обрядности русских, башкир, татар, удмуртов, марийцев. Он детально исследовал сложившиеся системы времяисчисления, наполняемость годового круга праздниками и обрядами, как и факторы, которые их регулировали. Особенности календаря позволили автору с полной уверенностью говорить не только об этнокультурном развитии народов, но и о их межэтническом взаимоотношении. В заключении автор пришел к

выводу, который, на наш взгляд, имеет основополагающее значение для дальнейших этнографических исследований. Он считает, что этнокультурное развитие народов Южного Прикамья находится на стыке русских северноприкамских и тюркских севернобашкирских комплексов. По поводу места Южного Прикамья на этнической карте Урала автора ожидает еще немало открытий.

Заслуживает внимания обследование населения Пермской области группой ученых Института этнологии и антропологии Академии наук в 1993—1994 гг. по программе, охватывающей широкий спектр проблем от экологии и демографии до современных межэтнических культурных ориентиров. Проведение исследований проходило при активной поддержке Администрации Пермской области и ее Координационного совета по национальным вопросам в Бардымском, Октябрьском и Кизеловском районах.

По теме «Характеристика этносоциальных процессов в Пермской области в условиях перехода к рынку» были обобщены сведения о различиях в демографическом, социально-экономическом и миграционном поведении разных этносов и дана оценка в свете этих фактов межнациональных отношений и перспектив их дальнейшего развития. Данное исследование завершилось конкретными научно обоснованными рекомендациями по регулированию межнациональных отношений и преодолению этноконфликтных ситуаций, которые авторы (Н.А. Дубова, О.Д. Комарова, Н.А. Лопуленко, А.Н. Ямсков) изложили сначала в бюллетене Института «Исследования по прикладной и неотложной этнологии» (1995), а затем в сборнике материалов «Этнические проблемы регионов России: Пермская область», изданного при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (1999). Авторы работ признают, что полученные материалы в Пермской области позволили им в значительной степени уточнить методику исследования процессов жизнеобеспечения этнических формирований, разработку которой они начинали в Закавказье [17].

В целом представленная картина этнографических исследований на Среднем Урале показывает, что изучение народов было разнообразным и плодотворным. Публикации ценны как обобщениями большого фактического материала так и выводами. Благодаря этнографам у исследователей разных специальностей и широкого круга читателей, в том числе и зарубежных, появилась возможность углубить и расширить знания о истории и культуре народов Урала.

Однако, с другой стороны, можно выразить некоторое неудовлетворение по поводу того, что сделано в области этнографического изучения Среднего Урала. Отсутствие общей координации работ и недостаточность подготовленных специалистов на местах сказались на тематической разрозненности, нечеткости разработки некоторых проблем, а порой и на отступлении от методов и подходов этнографического анализа. В настоящее время интерес к традициям народов Среднего Урала значительно повысился, и в литературе уже не раз указывались актуальные задачи их изучения [18]. Но все же обратим внимание на те, которые, на наш взгляд, требуют решения в ближайшее время.

Существенное место в проблематике этнографической науки заняло изучение межэтнических взаимодействий, которые играли в прошлом и продолжают играть в наши дни значительную роль в жизнедеятельности этносов. К сожале

чию, в работах очень часто эта проблема освещается достаточно упрощенно. В наше время полезно подходить к ее решению шире — не ограничиваясь выявлением того, что воспринималось из ценностей одного этноса другим, но также обращая внимание и на то, какие свойства собственных представлений служили для оценки и восприятия культурно-бытовых достижений соседнего населения. При этом не следует оставлять без внимания вопрос о психологии межэтнических контактов. Решение проблемы требует и реконструкции дальнейшего развития иноэтнических заимствований.

Для каждого этноса Среднего Урала характерно наличие больших и малых внутренних подразделений, некоторые из которых обособились так ярко, что предстают этнотерриториальными группами. Картина жизни уральских этносов будет полной и объективной лишь в том случае, если мы подойдем к локальным группам дифференцированно и выявим, какую они имеют собственную этническую специфику на фоне как всего этноса, так и иноэтнического окружения. К сожалению, о многих подразделениях этносов каких-либо конкретных сведений в литературе до сих пор не имеется, хотя о их существовании известно.

Особенно важным является изучение конкретных явлений материальной и духовной культуры народов Среднего Урала XVI—XVIII вв., поскольку в литературе получил освещение только поздний этап традиционного этнокультурного развития — XIX—XX вв. Исключение составляет лишь русское население, ситуация в изучении которого изменилась в связи с опубликованием наших работ. Примеры раннего этнокультурного развития народов можно получить не столько в вещественных музейных и полевых собраниях, сколько в документальных письменных материалах, выявление которых, естественно, является делом трудоемким, но зато результативным для создания подлинно исторической базы изучения. Хронологическое расширение тематики позволит перейти к более широким обобщениям этнокультурной истории Среднего Урала.

Известно, что в составе населения Среднего Урала имеются диаспорные группы фино-угорских и тюркских народов, сформировавшиеся в основном из мигрантов Южного Урала и Волго-Камья. Этнографы, занимавшиеся их изучением, рассматривали тулвинских башкир и татар, сылвенско-иренских татар, красноуфимских и сылвенских марийцев, буйских удмуртов более всего в рамках тех территорий, которые они осваивали и на которых они живут в наше время. Однако от такого узко террирориального и тематического подхода следует отказаться и перейти к обобщениям этнокультурных традиций диаспорных групп в связи с разработкой этнической истории всего этноса.

Этническая специфика Среднего Урала больше показана на примерах сельского населения и менее всего — городского и заводского населения. В виду этого мы считаем необходимым поставить вопрос о целесообразности создания работ по проблематике вариантов культуры, функционировавшей в городе и заводской среде [19]. Но в ходе их подготовки необходимо учитывать одну очень важную особенность предмета изучения — мозаичность этнической ситуации в городе и заводском поселении в отличие от села, поскольку население обладало сложным этническим, социально-профессиональным и конфессиональным составом. Раскрытие сложения и функционирования традиций городского и

заводского населения обогатит уральскую этнографию и убедит нас в том, ч оно играло свою роль в создании этнических особенностей Среднего Урала

Восстановить во всей полноте этнокультурную историю невозможно б рассмотрения конфессионального фактора. В прежние времена, когда существ вал запрет на религию, было не принято изучать традиции народа под уклон влияния мировых религий. Допускалось лишь обращение к архаической языче кой обрядности, а не к православной и мусульманской действительности. П обращении к данной теме этнограф должен принять во внимание, что целью и следования должно стать не создание полной картины религиозности этноса этом случае может получится богословское сочинение), а выяснение проявл ний религиозных чувств в поведении людей, конкретного коллектива или во го этноса. Например, при обращении к такой характерной традиции русско народа, как паломничество к православным святыням, необходимо прежде все выяснять не каноническую сторону обряда, а народное представление о знач мости хождения на богомолье, подготовку, бытовую атрибутику (костюм, п тание, набор личных вещей), поведенческие нормы участников. К сожалени работ, написанных по данной теме в предлагаемом варианте, по Среднему Ура пока еще не существует, хотя по другим регионам они стали появляться.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Коми-Пермяцкий национальный округ. М.; Л., 1948; Шишкин Н.И. Коми-пе мяки (этно-географический очерк). Молотов, 1947.

2. Шишкин Н.И. Коми-пермяки... С. 47.

3. Народы Европейской части СССР. М., 1964. Т. I. (сер. «Народы мира»: Э нографические очерки).

4. Грибова Л.С. Культ «древних» коми-пермяков // VII Международный конгре антропологических и этнографических наук. М., 1964; Она же. Историческая традиц в современном прикладном искусстве коми-пермяков // VII Уральское археологич кое совещание. Сыктывкар, 1967.

5. Она же. Декоративно-прикладное искусство народов коми. М., 1980. С. 168 169.

6. Там же. С. 155—165.

7. Климова Г.Н. Текстильный орнамент коми. Кудымкар, 1995. С. 58—66.

8. Шабаев Ю.П. О национально-государственном развитии коми-пермяков Отечественная история. 1995. № 1; Он же. Этническое самосознание коми-пермя и статус национального языка // Финно-угроведение. 1996. № 1; Он же. Современ этническая ситуация в Коми-Пермяцком автономном округе // Урал в прошлом настоящем. Материалы конференции. Екатеринбург, 1998. Ч. I; Дерябин В.С. Ко пермяки сегодня: особенности этнокультурного развития. М., 1997.

9. Seppo Lallukka. Komipervjakit — peramaan kansa. Helsinki, 1995.

10. Дерябин В.С. Указ. раб. С. 8.

11. Коми-пермяки и финноугорский мир. Материалы I международной научно-пр тической конференции. Кудымкар, 1997.

12. Крупянская В.Ю., Полищук Н.С. Культура и быт рабочих горнозаводск Урала (конец XIX — начало XX в.). М., 1971; Крупянска В.Ю., Полищук Н. Будина О.Р., Юхнева Н.В. Культура и быт горняков и металлургов Нижнего Та ла (1917—1970). М., 1974.

13. Маслова Г.С., Станюкович Т.В. Материальная культура русского сельского и заводского населения Приуралья (XIX — начало XX в.) // Материалы и исследования по этнографии русского населения Европейской части СССР. М., 1960. С. 72—171.

14. Полевые исследования Института этнографии. 1987. М., 1980; Власова И.В. Община и обычное право у русских крестьян Северного Приуралья (XVII—XIX вв.) // Русские: Семейный и общественный быт. М., 1989. С. 24—44; Она же. К изучению этнографических русских (юрлинцев) // Полевые исследования Института этнографии. 1980—1981. М., 1984. С. 3—11.

15. Чагин Г.Н. Этнографические исследования и полевая археография // Традиционная народная культура населения Урала. Пермь, 1997. С. 18—24; Он же. Культура малочисленных народов Прикамья и пути ее сохранения // Каменный век на пороге III тысячелетия. Екатеринбург, 1997. С. 158—160.

16. Черных А.В. Буйские удмурты. Пермь, 1996; Он же. Межэтнические контакты в Южном Прикамье // Вятский родник. Киров, 1997. Вып. 4. С. 19—22; Он же. Этнические особенности русских башкирского пограничья // Пермский край: Прошлое и настоящее (к 200-летию образования Пермской губернии). Пермь, 1997. С. 22—23.

17. Этнические проблемы регионов России: Пермская область. М., 1998. С. 217—361.

18. Миненко Н.А. Новейшая историография аграрной истории Урала XVI — начала XX в. // Летопись уральских деревень. Екатеринбург, 1995. С. 7—9; Чагин Г.Н. Духовная культура уральских крестьян и актуальные задачи ее изучения // Там же. С. 10—13; Димухаметова С.А., Кутьев О.Л., Чагин Г.Н. Новые исследования традиционной культуры // Традиционная народная культура населения Урала. Пермь, 1997. С. 3—10.

19. Об этом подробнее см.: Артемов Е.Т., Постников С.П. Города Урала в исторической динамике: Итоги и задачи изучения // Культурное наследие российской провинции: История и современность. К 400-летию г. Верхотурья. Екатеринбург, 1998. С. 5—8; Чагин Г.Н. Проблемы этнографии уральского города // Там же. С. 16—21.

THE PEOPLES OF THE MIDDLE URALS IN THE HOME ETHNOGRAPHY OF THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY

The article summarizes results and points new perspectives in historiographic and ethnographic research on the Middle Urals. The author defines such trends in the Ural peoples studies as the problem of ethnocultural contacts, differentiated analysis of subethnic groups, study into subculture of town and factories settlements population, the role of confessional factor in ethnocultural processes as those of priority.

G.N. Chagin

С.В. Токмянина

ПРОБЛЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА В СССР В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Изучение феномена советского тоталитаризма имеет огромное значение дл дальнейшего развития нашей страны. В последнее десятилетие многие исследо ватели обратились к изучению различных аспектов этой проблемы. Одной и важнейших сторон сталинской тоталитарной системы была репрессивная поли тика, а основным содержанием репрессивной политики был принудительны труд заключенных в многочисленных лагерях.

На вопрос о роли принудительного труда в сталинской тоталитарной сис теме нельзя ответить однозначно. Необходимо рассмотреть и политический экономический аспекты этой проблемы. Первоначально, в период становлени карательной политики, главной ее целью было формирование легко управляе мого общества, расправа с инакомыслящими и «социально чуждыми» элемен тами. Перед властью стояла двуединая задача: с одной стороны, путе физических расправ и изоляции от общества подавлять сопротивление «клас сового врага», с другой стороны, нагнетая атмосферу подозрительности и все общего страха, оказывать воздействие на неустойчивые элементы из средн трудящихся. Задача исправления и перевоспитания инакомыслящих была воз ложена на систему мест изоляции. Принудительный труд был объявлен основ ным средством перевоспитания осужденных, способом их приобщения общественно-полезной деятельности. При этом решение крупных народнохозяй ственных задач не входило в число приоритетов системы мест изоляции.

Созданный как место изоляции контрреволюционных и уголовных элемен тов, ГУЛАГ, благодаря принципу исправления «принудительным трудом» быстро превратился в самостоятельную отрасль экономики, обеспеченную де шевой рабочей силой в лице заключенных. В 30-е гг. труд осужденных ста широко применяться для решения важных народнохозяйственных задач. Уси лиями заключенных строились целые города, каналы, заводы, железные дороги Они были заняты на тяжелых физических работах, таких как лесоповал, стро ительство, работа в шахтах и рудниках. Труд заключенных был бесплатным, и их проживание затрачивался минимум средств.

Существование «архипелага ГУЛАГ» незримо довлело над всем населени страны. Лагерь был своеобразной альтернативой жизненного пути, напомин нием о необходимости выказывать лояльность тоталитарной системе. При ма лейших признаках неповиновения лагерная жизнь могла оказаться суровой реальностью для любого человека независимо от его положения в обществе.

За последнее десятилетие активизировалась работа по изучению принуд тельного труда как элемента советского политического режима. В 1989 г. журнале «Нева» была опубликована работа Р. Конквеста «Большой террор» [1]. В 90-х гг. вышли статьи В. Земскова, дающие общее представление о по литических и экономических функциях лагерной системы, составе и категори ях заключенных [2]. В 1994 г. появилась работа Л. Гвоздковой «Сталински

агеря на территории Кузбасса» [3]. В 1997 г. вышла монография А. Смыкалина «Колонии и тюрьмы в Советской России», раскрывающая сущность советской пенитенциарной системы [4]. Вопрос о месте принудительного труда в политической системе страны затрагивали не только историки, но и исследователи, работающие на стыке исторических и политологических дисциплин. Необходимо выделить книгу А. Безансона «Советское настоящее и русское прошлое», характеризующую основные компоненты советского тоталитарного режима [5]. В работе С. Поповой «Роль насилия во властном преобразовании системы социальных коммуникаций» также дается общая характеристика советского режима и принудительного труда как одного из его элементов [6].

«1918—1920 годы — время, когда происходит сращивание аппарата РКП(б) с государственными советскими органами, — пишет А. Смыкалин, — Коммунистическая партия превращается в государственную структуру, которая использует все звенья управления для решения политических задач. В этих условиях пенитенциарная система советской России становится органическим придатком коммунистической партии. Без системы ГУЛАГа партия не смогла бы выполнить свою политическую задачу по установлению диктатуры пролетариата и авторитарного режима управления» [7]. По мнению А. Смыкалина, пенитенциарная система страны являлась не столько средством перевоспитания преступников, сколько местом содержания политических противников социализма.

Большое значение в изучении проблемы принудительного труда имеют работы А. Гвоздковой [8]. Согласно её точке зрения, возникновение системы принудительного труда было закономерностью в развитии сталинского тоталитарного режима. Новый режим был режимом господства меньшинства и чтобы удержать власть, ему приходилось бороться с большинством. Неудивительно, что вскоре в политическом арсенале советского руководства среди прочих методов управления обществом появился террор и применение суровых методов принуждения.

По мнению В. Земскова, руководство партии и государства рассматривало репрессии как непременное условие нормального функционирования и укрепления режима, как закономерность социалистического строительства. ГУЛАГ был создан «для изоляции классово чуждых, социально опасных, подрывных, подозрительных и прочих неблагонадежных элементов» [9].

Р. Конквест рассматривает сталинский террор как следствие стремления Сталина к безграничной власти. В этом случае политическое обоснование террора представляется как необходимость приведения к повиновению и подчинению всего общества. Именно в качестве примера для остальных арестовывалась и расстреливалась определенная часть населения. При этом, как отмечает Р. Конквест, не придавалось значения виновности или невиновности жертв репрессий [10].

А. Безансон попытался идентифицировать сущность советского режима, сравнивая его с различными формами государственного правления, существовавшими на протяжении всей человеческой истории. Он уделил большое внимание рассмотрению репрессивной политики как важного элемента управления обществом. Согласно его теории, советский режим монополизировал средства насильственного воздействия и средства убеждения с целью всемерного распространения и внедрения в массы официальной социалистической идеологии. Таким образом, по Бе-

зансону идеология составляла саму суть советского тоталитарного режима, поэт любые отступления от существующей системы ценностей рассматривались покушение на существование самой системы. Карательные структуры были зданы в первую очередь для ликвидации политической оппозиции.

Безансон также уделил внимание целям советского режима. По его мнен развитие советского общества, направленное на построение социализма, не танавливалось перед применением любых средств, так как официальная ид логия гласила, что идеальное общество может быть построено только пу насилия и физического истребления противников. Исходя из этого, репрес не воспринимались советским обществом как нечто противозаконное, уничто ние «врагов народа» только поддерживалось широкими массами [11].

По мнению С. Поповой, стремление советского режима к абсолютному и алу означало применение абсолютного насилия, так как не все слои общест выражали лояльность политическому режиму и официальной идеологии. Т рор являлся единственным средством воздействия на общество в целях сов щения существующей реальности с идеологией [12].

За последние годы активизировалась работа и по изучению роли принуд тельного труда в экономическом развитии советского государства. Появили статьи О. Хлевнюка, раскрывающие формы использования труда заключен для решения народнохозяйственных задач [13]. В 90-е гг. вышли статьи Земскова, характеризующие причины использования принудительного труда широких масштабах [14]. В 1990 г. вышла в свет статья М. Горинова «Со ская страна в конце 20 — начале 30-х гг.», посвященная периоду становлен системы принудительного труда в советском государстве [15]. В 1991 г. в «В енно-историческом журнале» появилась статья «ГУЛАГ в годы Великой Оте ственной войны», представляющая собой обобщение материалов круглого ст с участием Л. Ивашова и А. Емелина [16]. Важные данные по экономи ГУЛАГа содержит монография Л. Гвоздковой «Сталинские лагеря на терри рии Кузбасса» [17], а также монография А. Смыкалина «Колонии и тюрьмы советской России» [18]. В 1994 г. появилась статья С. Эбеджанса и М. Ва нова «Производственный феномен ГУЛАГа» [19]. В 1996 г. в сборнике «Во росы истории экономических и политических отношений в России в XX в.» бы опубликована статья Г. Ивановой «Лагерная экономика» послевоенного периода посвященная изучению особенностей использования принудительного труда послевоенные годы [20]. В том же 1996 г. появилась монография В. Кирилл ва «История репрессий в Нижнетагильском регионе Урала» [21]. В 1997 г. бы опубликована монография А. Бакунина «История советского тоталитаризма», которой имеется глава, посвященная принудительному труду [22]. В 1994 вышел в свет документальный сборник «Принудительный труд» [23], а в 1998 появился документальный сборник «Экономика ГУЛАГа и её роль в развити страны. 1930-е гг.» с предисловием М. Хлусова [24].

Все исследователи подчеркивают, что лагерная экономика относится к сущ ностным характеристикам советского тоталитарного режима. ГУЛАГ служил [illegible] но также был крупны производственно-хозяйственным комплексом. Использование заключенных дл

ешения народнохозяйственных задач было вполне органично для советской экономической системы, нацеленной на экстенсивное развитие производства, на выполнение в первую очередь количественных показателей в ущерб качественным. Сектор «свободной» экономики, испытывавший нехватку кадров, страдавший от низкой производительности и качества труда, высоко ценил возможность беспрепятственной эксплуатации заключенных в любых условиях, так как это способствовало выполнению государственных планов в полном объёме. Эксплуатация труда заключенных позволила советской экономике в течение нескольких десятилетий развиваться быстрыми темпами при высокой расточительности и низкой эффективности. Иными словами принудительный труд был одним из важных условий жизнеспособности советской системы.

В. Земсков подчеркивает, что одной из важнейших причин постоянства репрессивной политики была заинтересованность государства в неослабных темпах получения дешевой рабочей силы, принудительно используемой по преимуществу в экстремальных условиях Востока и Севера. По его мнению, в период индустриализации решение многих задач было бы невозможным без использования труда заключенных [25].

Такой же точки зрения придерживаются Л. Ивашов и А. Емелин, отмечая, что без подневольного труда государство просто не могло обойтись [26].

По мнению Г. Ивановой, возрастание роли лагерной экономики в жизни советского государства объяснялось ограниченностью материальных ресурсов и масштабностью задач, стоявших перед страной. Таким образом, именно объективные условия способствовали широкому применению принудительных мер и волюнтаристских методов в экономической жизни. Исследователь отмечает, что лагерная экономика как целостный хозяйственный организм могла существовать только в условиях командно-административной системы, когда правительственный указ и партийная директива заменяли естественные хозяйственные связи и законы развития производства [27].

Л. Гвоздкова подчеркивает, что принудительный труд был необходимым элементом в политическом арсенале советского руководства. «Не нужно было ни о чем думать, ломать голову, выискивать дополнительные средства в скудном государственном бюджете. Достаточно лишь на полную мощь запустить репрессивную машину и тем самым продемонстрировать решимость государства защитить идеалы социализма, а заодно и выполнить народнохозяйственные задачи» [28]. Продукция, поступавшая из лагерей, заполняла бреши неудач «свободного» сектора экономики. При всех экономических неудачах создавалась видимость благополучия именно благодаря использованию принудительного труда.

М. Хлусов также признает закономерность использования принудительного труда. «Процесс становления и развития ГУЛАГа происходил в годы, когда осуществлялась индустриализация страны. Это было время борьбы за высокие темпы, повышение производительности труда, за преодоление отсталости страны от развитых государств Европы и Америки. Требовалась мобилизация всех ресурсов, разбросанных по огромной территории. Ввиду отсутствия достаточных средств и материальных ресурсов страна лишена была возможности поставить на службу индустриализации несметные богатства Севера, Северо-Востока, Си-

бири. Появление ГУЛАГа стало в этих условиях палочкой-выручалочкой, торая могла спасти положение» [29].

По мнению А. Бакунина, принудительный труд, широко использовавш во всех отраслях народного хозяйства, являлся составной частью наемного тр Без принудительного труда не мог функционировать созданный большеви государственный способ производства. «Решающую роль в использовании невольного труда занимал ГУЛАГ, являвшийся крупнейшим хозяйствен комплексом в советской экономике, который использовал труд заключенны том числе спецпереселенцев, депортированных народов и военнопленных. Г слеживается закономерность — чем сложнее становились задачи строитель социализма, тем мощнее становилась система ГУЛАГа» [30].

Ряд исследователей (О. Хлевнюк, Г. Иванова, Г. Маламуд) отмечают, широкомасштабное использование принудительного труда относится к тому риоду, когда количество заключенных в лагерях стало значительным. Сов кое государство, развиваясь ускоренными темпами, не могло оставить внимания такой важный ресурс, как принудительный труд, тем более, что раты на содержание заключенных с каждым годом становились все обрем тельнее для государственного бюджета. Г. Маламуд отмечает, что пл индустриализации страны поставили в повестку дня вопрос о перестройке стемы мест заключения с тем, чтобы она стала не только самоокупаемой, сыграла существенную роль в выполнении пятилетних планов [31].

Был ли принудительный труд эффективным? На этот вопрос отвечает ложительно большинство исследователей. «Выгодность лагерного труда бесс на, — пишет Л. Гвоздкова, исследователь Сиблага, — Расходы на содерж одного заключенного составляли 1,3 ежегодной зарплаты в СССР. Но эт единственный источник экономии. Предусматривались минимальные затрат жилище, мебель, фабричные строения, станки. Помимо этого из лагерей из кали выгоду от установления там строгой дисциплины» [32].

Изучив данные по деятельности Тагиллага, В. Кириллов сделал вывод, содержание заключенных обходилось государству значительно дешевле, чем оп труда вольнонаемных работников, а прибыль существенно превышала расходы

«Что же касается хозяйственной выгоды, то она казалась очевидной, подчеркивает О. Хлевнюк, — В силу незначительных расходом на содер ние и высокой нормы эксплуатации «контингенты» НКВД обходились деш вольнонаемных рабочих» [34].

Отмечая достаточно высокую эффективность принудительного труда, исследователи признают, что высокие показатели достигались за счет жесто эксплуатации миллионов заключенных. Так, Л. Гвоздкова указывает, что С лаг испытывал огромные трудности в выполнении поставленных перед ним за Как и для других лагерей, для Сиблага были характерны высокая смертность, зическая истощенность контингента, слабая обеспеченность техникой. Прео дал физически тяжелый ручной труд. Выполнение производственных за достигалось за счет поступления «свежих этапов», ужесточения наказаний

В. Кириллов также отмечает, что в связи с ужасающими условиями тр и быта производительность труда заключенных, несмотря на значительные

стижения, отставала от плановой. Из больных, истощенных людей многого выжать не удавалось. Однако при дефиците рабочей силы лагерное начальство старалось добиться максимальной отдачи от подневольных рабочих, устанавливая завышенные нормы выработки и подгоняя людей на их выполнение голодной пайкой [36].

О. Хлевнюк предположил, что под напором скачкообразного увеличения контингентов произошел обычный для системы срыв. «Массовый приток заключенных в 1937—1938 гг. не способствовал росту экономики НКВД. В этот период она словно споткнулась» [37]. Признавая, что содержание заключенных очень дешево обходилось государству, исследователь заостряет внимание на довольно высоких накладных расходах (карательная система, охрана). Также не брались в расчет преждевременная гибель миллионов заключенных, расточительство в каторжном труде сил и талантов, которые могли бы принести несравнимо большую пользу в нормальных условиях. Все хозяйственные проблемы лагерное руководство решало путем усиления эксплуатации, не считаясь с огромными непроизводительными расходами.

Проблему жестокой эксплуатации заключенных и спецпоселенцев также затрагивает А. Смыкалин. «Высокие производственные показатели обеспечивались самой жесткой эксплуатацией труда. Но поскольку не была создана самая примитивная инфраструктура для обеспечения жизнедеятельности, тысячи людей оказались обречены на голод, болезни и смерть» [38].

Несмотря на значительный вклад ГУЛАГа в экономику страны, существование лагерей негативно сказалось на развитии тех регионов, в которых они располагались. Л. Гвоздкова отмечает, что наличие дешевой силы осужденных не стимулировало к развитию социальной сферы производства. Подневольный труд не способствовал увеличению производительности труда. Не нужно было заботиться о строительстве школ, больниц, учреждений культуры, не требовалось строить жилье для рабочих. С созданием мощной системы лагерей и колоний формировались опасные, неблагоприятные в криминальном отношении «зоны» страны, охватившие крупные промышленные регионы [39].

О негативном воздействии ГУЛАГа на «свободный» сектор экономики пишет также О. Хлевнюк. «НКВД с его «дешевой» рабочей силой оказывал разлагающее воздействие и на «свободные» экономические ведомства. И без того не заинтересованные в организационном и техническом прогрессе, они предпочитали решать многие проблемы за счет «нарядов» на «контингенты» НКВД» [40]. Существование столь мощного сектора принудительной экономики сдерживало эволюцию и какие-либо экономические преобразования.

Несмотря на то, что лагерная экономика и принудительный труд в настоящее время активно изучаются, многие вопросы до сих пор остаются без ответа. К недостаточно изученным проблемам относится выявление данных о вкладе ГУЛАГа в экономическое развитие страны. Почти неизученным остается послевоенный период сталинского правления. Неизвестен вклад отдельных лагерных регионов в развитие тех областей, где они дислоцировались, и в развитие страны в целом. Поэтому на данном этапе стоит задача изучения системы принудительного труда на региональном уровне.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Конквест Р. Большой террор // Нева. 1989. № 9.
2. Земсков В.Н. ГУЛАГ (историко-социологический аспект) // СОЦИС. 1991. № 6, 7.
3. Гвоздкова Л.И. Сталинские лагеря на территории Кузбасса. Кемерово, 1994.
4. Смыкалин А.С. Колонии и тюрьмы в советской России. Екатеринбург, 1997.
5. Безансон А. Советское настоящее и русское прошлое. М., 1998.
6. Попова С.М. Роль насилия во властном преобразовании системы социальных коммуникаций. Екатеринбург, 1992.
7. Смыкалин А.С. Указ. соч. С. 221.
8. Гвоздкова Л.И. Указ. соч. С. 28.
9. Земсков В.Н. ГУЛАГ (историко-социологический аспект) // СОЦИС. 1991. № 6. С. 21.
10. Конквест Р. Указ. соч. С. 125—127.
11. Безансон А. Указ. соч. С. 84—94.
12. Попова С.М. Указ. соч. С. 15.
13. Хлевнюк О. Принудительный труд в экономике СССР (1929—1941) // Свободная мысль. 1992. № 13.
14. Земсков В.Н. Указ. соч.
15. Горинов М.М. Советская страна в конце 20 — начале 30-х гг. // Вопросы истории. 1990. № 11.
16. ГУЛАГ в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал. 1991. № 1.
17. Гвоздкова Л.И. Указ. соч.
18. Смыкалин А.С. Указ. соч.
19. Эбеджанс С.Г., Важнов М.Я. Производственный феномен ГУЛАГа // Вопросы истории. 1994. № 6.
20. Иванова Г.М. «Лагерная экономика» послевоенного периода // Вопросы истории экономических и политических отношений в России в XX в. М., 1996.
21. Кириллов В.М. История репрессий в Нижнетагильском регионе Урала. Нижний Тагил, 1996.
22. Бакунин А.В. История советского тоталитаризма. Екатеринбург, 1997.
23. Принудительный труд. Т. 1. Кемерово, 1994.
24. Экономика ГУЛАГа и ее роль в развитии страны. 1930-е гг. М., 1998.
25. Земсков В.Н. Указ. соч. С. 21.
26. ГУЛАГ в годы ... С. 14.
27. Иванова Г.М. Указ. соч. С. 30.
28. Гвоздкова Л.И. Указ. соч. С. 30—31.
29. Экономика ГУЛАГа ... С. 10.
30. Бакунин А.В. Указ. соч. С. 197.
31. История репрессий на Урале: идеология, политика, практика (1917—1980-е гг.). Заметки с научной конференции // Отечественная история. 1998. № 4.
32. Гвоздкова Л.И. Указ. соч. С. 91.
33. Кириллов В.М. Указ. соч. С. 45.
34. Хлевнюк О. Указ. соч. С. 82.
35. Гвоздкова Л.И. Указ. соч. С. 103.
36. Кириллов В.М. Указ. соч. С. 40.
37. Хлевнюк О. Указ. соч. С. 79.
38. Смыкалин А.С. Указ. соч. С. 133.

39. Гвоздкова Л.И. Указ. соч. С. 110.
40. Хлевнюк О. Указ. соч. С. 84.

THE PROBLEM OF THE FORCED LABOUR IN THE USSR IN RUSSIAN HISTORIOGRAPHY

Historiography of the forced labor in the USSR is analyzed in the article. Based on the analysis of research conducted by Russian scientists in 1990s the author defines political and economic prerequisites of the system of forced labor origin. She also discusses the question of efficiency of work of convicts and its costs, the influence of camp economics on a «free» sector of work.

S.V. Tokmyanina

М.А. Фельдман

РАБОЧИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УРАЛА МЕЖДУ ПЕРЕПИСЯМИ 1897 и 1926 гг.: ВОПРОСЫ ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВА

В исторической литературе советского периода немало работ было посвя щено доказательству качественных отличий рабочего класса страны Советов се редины 20-х годов от дореволюционного пролетариата [1]. Действительно тридцатилетие (1897—1926 гг.) вместило две революции и три войны. Десят лет Россия не знала мира, и изменения в социальной структуре общества но сили глобальный характер.

Вместе с тем, тридцать лет для истории — сравнительно небольшой про межуток времени. Для оценки подлинных перемен в составе российского обще ства, в данном случае промышленных рабочих Урала, следует обратиться сравнению результатов двух таких фундаментальных источников, как Всерос сийская перепись 1897 года и Всесоюзная перепись 1926 года.

Результаты переписи 1897 года по Уралу были исследованы в обстоятель ной монографии Д.В. Гаврилова «Рабочие Урала в период домонополистическог капитализма. 1861—1900 гг.» (М., 1985), уточнившего численность рабочи Урала в конце XIX в., выяснившего целый ряд характеристик пролетариат края по социальному, отраслевому, профессиональному и ряду других признако что в большинстве случаев избавляет нас от необходимости обращаться к са мим материалам Всероссийской переписи 1897 года. Сведения Д.В. Гаврило ва представляют ценность еще и потому, что сами материалы переписи 1897 не разделяют «рабочих» и «прислугу».

Что же касается материалов Всесоюзной переписи 1926 года — одного и самых обширных опубликованных источников советского времени (56 томов) то историки рабочего класса Урала либо обходили их стороной, либо приводил отдельные цифровые показатели. Впервые выполненное нами исследование ха рактеристик рабочего социума Урала по результатам переписи 1926 года дае возможность обратиться к сравнению с аналогичными характеристиками по пе реписи 1897 г.

Для начала уточним параметры Уральского экономического региона. Ка известно, производственно-территориальная структура Урала, сложившаяся феодальную эпоху, мало изменилась в период капитализма и включала четы ре губернии — Пермскую, Вятскую, Оренбургскую, и Уфимскую. Традици онное выделение границ уральского края стало основой для формирования советское время Уральского экономического региона. План ГОЭЛРО стал пер вым правовым актом Советского государства, закрепившим выделение Урала самостоятельный экономический район. Однако лидеры большевизма руковод ствовались отнюдь не только резонами экономического и правового характер Хотя образованная в 1923 году Уральская область включила в свой соста основные промышленные предприятия края, вне объединения были оставлен

Башкирия, Удмуртия и Оренбургская губерния. Возникшие Башкирская АССР, Удмуртская (Вотская) область должны были способствовать быстрому росту национальных отрядов рабочего класса. Оренбургская губерния сначала рассматривалась как опорное звено Советской России в Казахстане, а затем (с 1925 по 1934 гг.) входила в состав Средне-Волжского края. Такой ход районирования не способствовал становлению единого уральского хозяйственного и социально-культурного комплекса.

Обратим внимание на следующее обстоятельство: удельный вес Урала в выпуске промышленного производства России (с 1922 года — СССР) не претерпел существенных изменений и составлял около 5% как в 1897 г. [2], так и в 1908 [3], 1914 [4] и в 1926 г. [5], повышаясь в период войны и понижаясь в мирное время.

В 20-е годы статистика (и обоснованно, на наш взгляд) не учитывала рабочих лесозаготовок в составе рабочих промышленности. Поэтому с целью достижения сопоставимости необходимо сравнивать численности рабочих цензовой промышленности Урала в 1897 г. и 1926 г. без учета тружеников лесозаготовительного цикла.

По материалам Всесоюзной переписи 1926 г. численность рабочих цензовой промышленности составляла 150.021 человек в Уральской области, 13.486 в Башкирии, 11.546 — в Воткинской области (Удмуртия) и 3.075 в Оренбургской губернии. Всего же в Уральском экономическом регионе насчитывалось 178.128 рабочих цензовой промышленности [6], что составляло 88,2% от аналогичного показателя в конце XIX века (201,9 тыс. человек) и 58,8% от уровня 1914 г. [7]. Приведенные цифры опровергают имеющийся в литературе вывод о «завершении собирания сил рабочего класса к 1926 г.» [8] и свидетельствуют о глубине социальных потрясений, в том числе в рабочей среде, за 1914—1922 гг.

Удельный вес рабочих цензовой промышленности Урала среди всех рабочих России и СССР составил 9,9% в конце XIX века [9] и 7,8% в декабре 1926 г. [10]. Сопоставив удельный вес рабочих и удельный вес выпуска промышленной продукции Урала, можно сделать вывод: производительность труда рабочих региона в 2 раза в конце XIX века и в 1,5 раза в 1926 г. уступала общероссийским показателям: такова была плата за отставание края в технической области.

Прерывность и даже откат назад в начале 20-х годов процессов индустриализации и урбанизации привели к ряду неоднозначных перемен в положении промышленных рабочих Урала в обществе и внутри самого социума рабочих.

Перепись населения 1926 г. содержала материалы, позволяющие характеризовать место и роль рабочих в общей массе населения. Удельный вес всех рабочих в самодеятельном населении составлял в Уральской области — 8,7%, в Вотской области — 8,1%, Оренбургской губернии — 6,2%, в Башкирии — 4,3%, а в целом по Уралу — 7,1%. По нашим подсчетам, удельный вес рабочих в самодеятельном населении незначительно изменился в сравнении с показателями 1897 г. [11]. Это объяснялось не только последствиями эпохи революции и войн, не только несовпадением процессов демилитаризации и конверсии в экономике (явление, знакомое россиянам 90-х гг. XX в.), но и

переменой самой парадигмы развития промышленности Урала: в годы НЭП военные заводы края перестали задавать направление и формы модернизаци народного хозяйства.

Что касается удельного веса фабрично-заводских рабочих в общей мас рабочих, то здесь на первом месте стояла Вотская область (63,5%), затем ш Уральская область (43,5%), Башкирия (19,5%), Оренбургская губерни (11,6%) [12]. Столь широкий диапазон говорил о существенном различии уровне индустриального развития внутри региона. В целом же общеуральски показатель (38,5%) был близок к общесоюзному (40,9%), но уступал Лени градско-Карельскому району (55,7%) [13]. Заметим, что в конце XIX ве этот показатель, по данным Д.В. Гаврилова, равнялся 36% [14], что еще р подтверждает возвращение структурных характеристик к критериям дореволю ционного времени. Материалы переписи 1926 г. показывают, что и в промы ленно развитой Уральской области (84% рабочих цензовых предприяти «Большого Урала») в конце 1926 г. более ? рабочих были сконцентрирова в 4 из 15 округов [15]. Таким образом, логичен будет вывод о сохранени очагового характера индустриализации для региона в целом. Это подтвержд ет и тот факт, что рабочие цензовой промышленности Урала составляли 2,7 от всего самодеятельного населения региона [16].

В декабре 1926 г. в городах и поселках городского типа было сконцентри ровано 87,2% рабочих цензовой промышленности Уральской области, 86,1 — в Башкирии, 98,6% — в Удмуртии, 90,9% — в Оренбургской губерни [17]. По переписи 1897 года, по данным Д.В. Гаврилова, в городах и посе ках городского типа с числом жителей не менее 3 тыс. человек было сконце трировано 28,7% рабочих цензовой промышленности [18]. Заметим, ч «успехи урбанизации» носили отчасти искусственный характер, так как в отл чие от дореволюционного времени по переписи 1926 г. круг городских поселени был значительно расширен. Выскажем мнение, что снижение в 20-е годы п толка численности поселений городского типа до 500 человек имело, преж всего, политическую цель: «орабочить» городское население. Аналогичную це имело и присоединение к городам ряда близлежащих заводских поселков (Ве Исетского — к Свердловску; Мотовилихинскому — к Перми и т.д.). Фо мально власть добилась поставленной цели, поскольку в 1926 г. 45,9% горож по статистике являлись рабочими и членами их семей [19]. В действитель сти, с учетом гибели, эмиграции, деклассирования представителей бывших с словий, произошло упрощение социальной структуры уральского горо снижение его интеллектуального потенциала.

Снижение, — но не уничтожение! Перепись 1926 г. показала следующ закономерность: удельный вес квалифицированных рабочих среди всего фабри заводского пролетариата возрастал по мере роста численности населения уральск городов, а значит росло воздействие городской культурной среды. Характерно, рост удельного веса квалифицированных рабочих относительно всех рабочих м изменялся в городских поселениях от 500 до 20 тыс. человек (рост на 5,5%). В населенных пунктах от 20 до 50 тыс. этот показатель возрос на 11%, а в горо с населением более 100 тыс. человек — на 24% [20].

Перепись 1926 г. дает разнообразную дополнительную информацию о составе рабочих Урала. Так, во всем уральском регионе 50,6% рабочих цензовой промышленности назвали себя местными уроженцами, что превышало общесоюзный показатель (40,9%). Вместе с тем, пятая часть из неместных (19,5%) проживала в данных поселениях с довоенного времени, то есть 12 и более лет [21]. Срок — достаточный для того, чтобы перестать самим себя считать пришлыми, но зачастую недостаточный для того, чтобы стать, как и местные рабочие, владельцами земельных участков. Относительно небольшое число рабочих из состава «неместных», прибывших в районы поселения в годы Первой мировой и Гражданской войн (соответственно 5,5% и 7,6%) [22], свидетельствовало о преимущественно временном характере миграций 1914—1920 гг.

Более значительным был масштаб миграций рабочих в 1921—1923 гг. (17,5%) от числа «неместных» [23]. Помимо перемещения рабочих из городских поселений в сельскую местность, выделим еще одну причину — возвращение демобилизованных рабочих-красноармейцев. В пользу этого утверждения свидетельствует не только сопоставление числа демобилизованных рабочих-красноармейцев (500 тыс.) и численности фабрично-заводского пролетариата (1,5 млн) в 1923 году [24], но и приоритетность трудоустройства данной социальной группы.

Самая крупная миграция (31,7%) [25] была связана с возвращением рабочих из сельских районов в города и с переходом рабочих городских поселений к промышленному труду как главному занятию в период 1924—1926 гг.

И в конце XIX в., и в 1926 г. значительная часть рабочих, отмеченная в категории пришлых, была представлена жителями Урала. Тем не менее, удвоение величины удельного веса пришлых в составе промышленных рабочих Урала (с 22,1% в 1897 г. [26] до 49,4% в 1926 г.) свидетельствует не только о формировании рынка труда, современного эпохе индустриализации, но и о деструктивном воздействии событий 1914—1922 гг.

Заметим, что в Вотской области и в Оренбургской губернии масштаб перемещения рабочих в 1917—1920 гг. почти вдвое превышал общеуральский показатель, что объясняется более глубоким социально-классовым противоборством в данных районах.

По материалам переписи 1926 г. на Урале насчитывалось 44,3% квалифицированных рабочих цензовой промышленности, в том числе в Уральской области — 43,7%, в Башкирии — 45,3%, в Удмуртии — 51,6% и Оренбургской губернии — 50,6% [27]. Более высокий процент квалифицированных рабочих в Башкирии, Удмуртии объясняется сравнительно небольшим количеством промышленных рабочих, оставшихся на предприятиях, и преобладанием среди них кадровых пролетариев.

Сопоставление уровня квалификации рабочих по материалам переписей 1897 г. и 1926 г. затруднено тем, что в 1897 г. при проведении статистического обследования степень квалификации не учитывалась. По мнению Д.В. Гаврилова, в конце XIX века 50—70% рабочих-металлистов относилось к категории квалифицированных тружеников [28]. В 1926 г. по результатам переписи 67,6% рабочих-металлистов являлись квалифицированными рабочими [29]. Таким образом, в ведущей отрасли горнозаводской промышленности

сохранялась стабильная квалификационная структура рабочих коллектив
Характерно, что показатель степени квалификации рабочих Урала в 1926
уступал общесоюзному по цензовой промышленности (соответственно 44,3%
51,9%) [30].

Если степень квалификации рабочих определялась, прежде всего, проце
сом индустриализации, то уровень грамотности — более широким кругом и
торических процессов. Этим можно объяснить значительный сдвиг в уров
грамотности рабочих цензовой промышленности Урала за 1897—1926 гг.
41,6% в 1897 г. до 79,8% в Уральской области (73,8% в Башкирии
1926 г.) [31]. В СССР уровень грамотности рабочих составил 84% [3
Таким образом, коэффициент отставания уровня грамотности рабочих Ура
от общесоюзного показателя был близок к аналогичному соотношению в о
ласти квалификации.

Заметим, что в конце 1926 г., за исключением рабочих силовых установок
занятых в деревообработке, показатели грамотности среди всех рабочих и квалиф
цированных рабочих были достаточно близки (например, у металлистов 88%
90,5%) [33]. Это свидетельствовало о том, что технический уровень промышл
ности Урала еще позволял достигать категории квалифицированных рабочих
столько за счет образования, сколько за счет опыта и производственного стаж

При разработке материалов переписи 1926 г. за основу брался чисто проф
сиональный (а не производственный признак). При очевидной разнице меж
группировкой по занятиям и группировкой по отраслям результаты перепи
свидетельствовали о численности рабочих по занятиям (т.е по профессионально
признаку; поэтому для выявления численности отраслевых рабочих необходи
привлекать иные источники). Отсюда, если в 1926 г. на всем Урале насчиты
лось 60714 металлистов по роду занятий (40,5% фабрично-заводских рабоч
края) [34], то отраслевой разрез являл иную картину. Только в Уральской о
ласти в 1926—1927 гг. насчитывалось 81224 металлиста (или 54,2% фабри
но-заводских рабочих). В Башкирии этот показатель составлял 38% [35].
данном случае можно говорить о повышении удельного веса рабочих-металл
тов в сравнении с 1897 г. (43,2% от числа индустриальных рабочих) [36]. Э
можно объяснить, во-первых, приоритетным развитием металлопромышленнос
в годы Первой Мировой и Гражданской войны, во-вторых, тем, что завод
отрасли выполняли, как правило, на Урале градообразующую роль.

В свою очередь, среди рабочих-металлистов преобладали металлурги. З
нятые в черной и цветной металлургии рабочие составляли в 1926—1927
71,6% рабочих металлопромышленности [37]. Заметим, что преобладание м
таллистов в отраслевой структуре рабочих, а внутри отраслевого отряда мета
листов — рабочих-металлургов, сближало результаты переписи 1926 г.
аналогичными показателями 1914 г. и 1897 г. Как и в довоенное время, тр
диционно небольшим на Урале являлась отраслевая группа рабочих машиностр
ения и металлообработки. Знаменательно, что в 1926 г. в данной отрасли,
многом определяющей технический прогресс, было занято 23079 рабочих, то
как в 1914 году — 32318 [38]. Это объяснялось не только традиционно сл
бым развитием машиностроения на Урале, но и тем, что в первой полови

20-х гг. военные заводы в регионе были далеки от той роли, какую они играли в первые два десятилетия XX в.

Традиционно значительным в социуме уральских рабочих был удельный вес занятых в горнодобывающей отрасли. Численность тружеников этой категории по профессиональному признаку на Урале по переписи 1926 года составляла 15935 [39]. Однако перепись учитывала не всех рабочих горнодобывающей промышленности, а только горнорудной. Отсюда более полные сведения дают данные о рабочих горнодобывающей индустрии по отраслевому признаку. В этом случае, численность рабочих составляла 21% от всех рабочих цензовой промышленности (данные по Уральской области), тогда как в 1914 г. это показатель равнялся 43%, если считать с персоналом законсервированных рудников (и 32% без них) [40]. В 1897 г. этот показатель равнялся 38,4% [41]. С учетом сохранения прежнего уровня механизации это говорило о нарастании диспропорции в развитии основных и вспомогательных отраслей экономики края.

Несмотря на благополучные, казалось бы, условия НЭПа, традиционно малым в 1926 г. оставался удельный вес рабочих легкой и пищевой индустрии (12,4%) от всех рабочих цензовых предприятий в Уральской области (и 21,3% в Башкирии). Тем не менее, это был единственный случай, когда численность отраслевого отряда рабочих в 1926 г. не уступала уровню 1914 г. [42]. Вместе с тем налицо, сокращение удельного веса рабочих легкой и пищевой промышленности в сравнении с 1897 г., когда данный отраслевой отряд составлял 38,4% от числа индустриальных рабочих [43].

Статистика 20-х гг. не относила к разряду «фабрично-заводских» рабочих лесного хозяйства. Сказывались низкий уровень механизации, преобладание сезонного характера работ. Вместе с тем, по материалам 1926 г. 20141 уральцев назвали лесные работы в качестве главного занятия, причем 83% из них проживали в сельской местности [44]. Эту профессиональную группу в середине 20-х годов можно отнести к разряду формирующихся промышленных рабочих.

Для 29611 человек труд на рабочих местах в лесном хозяйстве Урала выступал в качестве побочного занятия [45]. В данном случае почти все лесные рабочие были жителями сельской местности, крестьянами по основному занятию.

Таким образом, перепись 1926 года высветила, по крайней мере, два явления в лесном хозяйстве. Во-первых, медленный процесс формирования постоянных кадров лесных рабочих. Во-вторых, общая численность рабочих на лесозаготовках в 1926 г. была более чем вдвое ниже, чем в 1913, и в 3 раза ниже, чем 1897 г. Так же как и в последние предвоенные годы, в середине 20-х годов имела место острая конкуренция между трестами в области найма на работу заготовителей древесного топлива для металлургических заводов Урала. Таким образом, ситуация в лесной и горнодобывающей отраслях с каждым годом превращалась во все более серьезную проблему для развития региона.

Рабочий социум к 1926 г. заметно помолодел. Крупнейшей возрастной категорией среди рабочих цензовой промышленности являлись молодые люди от 20 до 29 лет (38,5%). Следующими возрастными категориями были рабочие 30—39 лет (22,5%) и 15—19 лет (17,3%) [46]. Сравнение с результатами переписи 1897 г. говорит как о сокращении доли детского (до 15 лет) труда с

2,2% в горнозаводской и 5% в фабрично-заводской промышленности до 0,4% в цензовой промышленности в 1926 г., так и удельного веса рабочих старше 40 лет: 26% по всем рабочим 1897 г. до 22,4% в 1926 г. [47]. Такова была цена потрясений 1914—1920 гг., и ничто не могло компенсировать потерю жизненного опыта людей из поколения, пришедшего в трудовые коллективы в последние десятилетия XIX в.

Заметим, что если в 1897 г. удельный вес рабочих старше 40 лет на Урале был выше, чем по России (соответственно 26% и 19,5%), то в 1926 г. ситуация складывалась иначе: 22,4% — на Урале и 23% — по СССР [48]. Это говорило о более тяжелых испытаниях, выпавших на долю рабочих Урала.

В рассматриваемый период достаточно заметными стали изменения в возрастнополовой структуре рабочих.

В 1897 г. мужчины-рабочие старше 19 лет составляли 86,5% от всех рабочих в горнозаводской и горной, 80,3% в фабрично-заводской и 85,4% по всей цензовой промышленности [49]. В 1926 г. аналогичный показатель по цензовой индустрии Уральской области и Башкирии составлял 71,6% [50].

В 20-е гг. в статистике изменились критерии категории «подростки»: верхней границей вместо 19 лет стал 18-летний рубеж. Отсюда, не представляется возможным проследить интересующую нас динамику на протяжении 1897—1926 гг. О распределении рабочих Урала в 1920—1926 гг. по полу и возрасту можно мудить по таблице 1 [51].

Таблица 1

Половозрастная структура рабочих Урала в 1920—1926 гг.

Категория рабочих	1920 г.	1922 г.	1923 г.	1924 г.	1925 г.	1926 г.
Взрослые мужчины	71,5%	76,8%	76,5%	78,7%	79,6%	80,5%
Взрослые женщины	14,5%	15,1%	17,1%	15,7%	15,1%	13,5%
Подростки обоего пола (до 18 лет)	10,8%	8,1%	6,6%	5,6%	5,3%	6%

Таким образом, рост удельного веса взрослых рабочих мужчин указывает на тенденцию возвращения к традиционной для Урала возрастнополовой структуре рабочего класса. Новым явлением в сравнении с 1897 г. можно считать удвоение удельного веса женщин-работниц во всей цензовой промышленности.

Традиционным для Урала было подавляющее преобладание русских в рабочей среде. По переписи 1926 г. удельный вес русских среди фабрично-заводских рабочих составлял 80,7% в Оренбургской губернии, 82,6% — в Башкирии, 91,2% — в Вотской и 93,7% — в Уральской области, а в целом по Уралу — 92,4%. Помимо русских, в составе фабрично-заводских рабочих наиболее заметными были: этнические группы татар (4,6%) и башкир (0,5%) [52].

Сравнение с материалами переписи 1897 г. позволяет сделать вывод о сохранении удельного веса русских и роста удельного веса татар; сокращении удельного веса башкир, занятых в основном в каменноугольной отрасли и на лесозаготовках.

Процесс деклассирования, вызванный периодом войн, революций, послевоенной разрухи, обусловил и такое явление как понижение доли пополнения пролетариата Урала выходцами из семей самих рабочих. Среди рабочих, поступивших на работу до 1905 г., выходцы из рабочих семей составляли в металлургической промышленности 83,5%, в каменноугольной — 52,4%. В 1926 г. эти показатели соответственно составляли 47,6% и 31,7%. Удельный вес выходцев из крестьянских семей среди металлургов до 1905 г. равнялся 4,2%, в каменноугольной — 49,1%. В 1926 г. эти показатели выросли до 42,4,% и 64,1% [53]. Таким образом, во-первых, при сокращении на 43% удельного веса рабочих среди пополнений тружеников-металлургов, выходцы из рабочих семей по-прежнему являлись ведущим источником пополнения трудовых коллективов металлургии. Во-вторых, крестьяне превращаются в ведущий источник пополнения рабочих кадров для промышленности в целом. В-третьих, на всем протяжении периода 1897—1926 гг. доля пополнений из кустарей и служащих остается незначительной.

Результаты переписи 1926 г. позволяют выявить удельный вес выходцев из деревни не только за конкретные годы, но и за все время. В декабре 1926 г. среди рабочих фабрично-заводских предприятий Вотской области в сельской местности родилось 35,2%, в Башкирии — 44,8%, в Уральской области — 39,2%, в Оренбургской губернии — 28,2%, а по всему Уралу — 39,3% [54]. Таким образом, более трех пятых рабочих Урала родились в городских поселениях, в основном, в фабрично-заводских поселках. Практически весь массив родившихся в городах и поселках городского типа (96,9%) проживал там же. Это свидетельствовало о завершении в основном процесса возвращения фабрично-заводских рабочих на предприятия цензовой промышленности. Заметим, что и в 1926 г. почти половина рабочих цензовой промышленности проживала в городских поселениях с численностью населения до 10 тыс. человек, т.е. фактически в тех же фабрично-заводских поселках.

В середине 20-х гг. заметна тенденция к постоянному росту удельного веса выходцев из села в составе новых пополнений рабочих коллективов. Так, вновь прибывшие из сельской местности в период с 1 июня по 1 июля 1926 г. составили 49,2% среди пополнений фабрично-заводских рабочих Уральской области [55]. Но обратим внимание на то, что величина массива прибывших в указанный период была близка к числу прибывших на временную работу. Так из 159.166 отходников в Уральской области в 1926—1927 гг. были направлены в отрасли с преобладанием сезонного труда: 57% на лесозаготовки, 10,3% — в чернорабочие, 7,2% — на строительные работы. Профессиональную группу металлистов пополнили немногим более тысячи отходников [56]. Приведенные факты говорят о сохранении еще одной традиционной черты истории горнозаводского населения Урала: разделения труда между потомственными мастеровыми и сезонниками. И это разделение носило не только профессионально-отраслевой характер, но определяло и специфику приобщения к индустриальной цивилизации.

В исторической литературе традиционная связь уральских рабочих с землей ряд десятилетий рассматривалась как помеха на пути к достижению горнозаводским населением стадии «чистого пролетариата». К последнему относились рабочие, не имевшие собственного хозяйства [57]. Что касается рабочих, вла-

деющих земельным участками, то здесь вступали в силу такие характеристики как «рабочая аристократия», «отсталый тип рабочего», «мелкобуржуазные эле менты» и т. д. [58]. Между тем, в исторической литературе советского период содержался солидный материал для обобщений, не подтверждающих идеологи чески верные постулаты.

Начнем с постановки вопроса о том, кто же относился к «чистым проле тариям»? На Урале к этой категории относились рабочие, не имевшие земли В основном это были лица, прибывшие в край, точнее в конкретное место ре гиона, после 1893 г., года издания закона о землеустройства горнозаводског населения [59]. Как известно, в среде уральских рабочих протекало два про тивоположных процесса: с одной стороны, увеличение земельных участков те рабочих, которые к 1893 г. являлись «местными». Душевой надел рабочи казенных заводов Урала увеличился в 2,25 раза, посессионных — более че в два раза, частновладельческих — более чем в 5 раз и составлял соответствен но 4,5; 4 и 2,3 десятины земли [60]. С другой стороны, около четверти урал ских рабочих, не получивших земельных наделов или имеющих мене полдесятины земли, оказалось на положении париев, маргиналов, живших заведомо худших условиях, чем местные рабочие [61].

Мешало ли владение землей повышению профессиональных рабочих качеств До 1917 г. крупнейшими земельными наделами среди уральского рабочего социум владели труженики казенных заводов. Между тем, именно эта категория явл лась наиболее квалифицированным отрядом рабочего класса региона [62].

Аналогичную тенденцию зафиксировали и результаты переписи весны 1929 Процент уральских рабочих, имеющих земельные наделы, повышался по мер роста квалификации, а именно: среди неквалифицированных рабочих металлург он составлял 24,7%; у полуквалифицированных — земельными наделами владел 31,3%; у квалифицированных — 37,6%; у высококвалифицированных — 38,8% Близки к этому были показатели у рабочих каменноугольной области [63].

Характерным было и то, что 80,7% рабочих-металлургов, имевших земел ные участки, являлись потомственными рабочими [64]. Среди рабочих мета лургов, не владевших землей, удельный вес потомственных рабочих был ни и составлял 64,2% [65]. Таким образом, владение землей в тех размера какими располагали рабочие Урала, не препятствовало росту профессиональн мастерства. Более того, личное хозяйство рабочих в определенной степени ко пенсировало недостаточный уровень развития социальной инфрастуктуры, п могало приспособиться к трудным природным условиям.

Что же из себя представляли личные хозяйства уральских рабочих? В и торико-экономической литературе 20-х гг. было высказано мнение о том, у уровень землепользования горнозаводских рабочих в 1926 г. был близок к ан логичным характеристикам конца XIX в. [66]. Конечно, можно найти р различий между рабочими в конце XIX в. и в 1926 г.: средний раздел душ вого земельного надела сократился у горнозаводских рабочих за 1897—1926 с 2 дес. до 0,79 десятин. Размеры пашни уменьшились с 0,3 дес. на од надел до 0,13 десятин и т.п. [67]. Однако, сохранился комплекс совпадающ характеристик и это было закономерно: при сохранении в неизменности тех

ческой базы большей части промышленных предприятий оставался в сохранности и традиционный образ жизни уральских рабочих.

Прежде всего, в 1926 г., как и в конце XIX в., большинство рабочих Урала (от 75% до 90%) [68] в той или иной степени были связаны с землей, т. е. владели весьма различными по видам и величине земельными участками.

Незначительно изменился удельный вес рабочих, владеющих пашенными участками (35,8% в 1897 г. и 32,8% в 1926 г.) [69], и место пашни во всем землепользовании (17% в 1897 г. и 9,9% в 1926 г.) [70]. В центре земледельческого хозяйства горнозаводских рабочих находилось огородничество и скотоводство, причем площадь под покосами увеличилась с 54% от всех надельных земель в 1897 г. до 82,5% в 1926 г. [71]. Таким образом, земледельческое хозяйство обслуживало, прежде всего, производство кормов для скота, и за тридцатилетие эта тенденция усилилась. Домашний скот присутствовал в 1926 г. в 87,3% хозяйств и, составляя половину основного капитала личных хозяйств рабочих, давал более 50% стоимости сельскохозяйственной продукции [72].

Наиболее сложным и запутанным является вопрос о роли личного хозяйства в бюджетах горнозаводского населения. Рассмотрение этого вопроса требует специального исследования, поэтому ограничимся указанием на следующее обстоятельство. В 20-е годы поменялась методология подсчета удельного веса личного хозяйства в бюджетах рабочих. Так, в 1923 г. известный экономист Г. Полляк относил к данной категории не только стоимость сельхозпродукции личного хозяйства, но и стоимость поступлений из «продовольственных запасов рабочих» [73]. Аргументированность такого утверждения была очевидна: «продовольственные запасы» были ни чем иным, как хранимой продукцией с огорода и поля, подворья. Личное хозяйство рабочих в 1920—1921 гг., т. е. в период обесценивания денег, давало 80% дохода [74]. В первой половине 20-х годов статистика указывала на такие градации дохода рабочих, связанные с личным хозяйством, как: «доходы от собственного хозяйства», «продажа имущества и продовольствия», «взято из запасов и сбережений». В 1923 г., например, эти показатели соответственно равнялись 7,7%, 3,5% и 23,7% [75]. Сумма этих величин с известной долей допущения может быть принята за размеры вклада личного хозяйства в приходную часть бюджета горнозаводских рабочих. В ноябре-декабре 1924 г. этот показатель составил 17,9% бюджетов рабочих Урала и 11% — рабочих СССР [76].

В дальнейшем в специальной литературе и публицистике всячески подчеркивалось уменьшение значимости роли личного хозяйства в бюджетах рабочих Урала. Для аргументации такого вывода доходы от личного хозяйства показывались только за вычетом издержек на производство, т. е. в форме чистого дохода. Доходы от продажи продовольствия и от собственных запасов показывались фрагментарно, что снижало научность исследования. В период 1923—1926 гг. статистика чаще всего показывала стоимость продукции личного хозяйства и запасов продовольствия как различные величины, а с 1927 г. последняя категория растворяется в разделе «прочие доходы». Идеологическая подоплека такой акции понятна: согласно марксистской теории, рабочий класс по мере социалистического строительства должен был прощаться с собственностью на средство производства.

Так, в интересной и содержательной статье В. Львова доходы от личного хозяйства в 1926—1927 гг. у всех рабочих характеризуются показателем в 8,6% [77], однако несложные арифметические подсчеты по данным приведенной таблицы говорят об ином показателе — 13%. Ошибка в работе связана, на наш взгляд, скорее с причинами идеологического, а не математического характера. Характерно, что в этой же статье В. Львов, говоря о реальной значимости личного хозяйства, дававшего 53,5% производственного потребления рабочих, в том числе более 2/3 овощей и 80—90% молока, яиц, мяса птицы, подчеркивал: «...сочетание собственного хозяйства и продажи своей рабочей силы как основного занятия обеспечивают наиболее высокий уровень жизни» [78].

Традиции изучения личного хозяйства уральских рабочих не только с экономических позиций прослеживались с дореволюционного времени. Важные замечания на этот счет содержаться в работе П. Степанова «Наделение землей горнозаводского населения Урала», опубликованный в 1914 г. Молодой исследователь, впоследствии маститый ученый, обратил внимание на то, что сельскохозяйственное занятие является для уральских рабочих не только вынужденной необходимостью. Смена трудовой деятельности, физическая работа на природе может выступать своего рода отдыхом, «психической дезинфекцией от заводской огневой работы» [79]. Анализ архивной, мемуарной фольклорной литературы подтверждает это высказывание в большей степени касательно «дезинфекции» и в меньшей степени — «отдыха».

Заметим, что личное хозяйство рабочих Урала позволяло не только выжить в условиях сурового климата, политических и социальных потрясений, но и выступало в качестве объекта культуры, так как передавало традиции отношения к земле и природе, к смыслу жизни. Скажем так: если продукты личного хозяйства позволяли находить силы для повышения профессионального уровня, то работа в поле и на огороде давала уральскому рабочему возможность осознать свое место на земле в прямом и переносном смысле. Сказанное позволяет сделать вывод: в исторической литературе недавнего прошлого за «чистых пролетариев» признавался массив рабочих, менее других приспособленный к жизни уральского городского поселения и завода.

Разработка данных Всесоюзной переписи 1926 г. по возрасту и социальному положению родителей подтвердила сохранение того уклада в рабочих семьях, который существовал и в конце XIX в. Речь идет, во-первых, от того, что замужняя женщина в рабочих семьях, как правило, не работала. В 1926 г. доля неработающих среди женщин составила в рабочих семьях Урала 69,3% (в крестьянских семьях этот показатель был равен 9,8%) [80], и только отсутствие или развод вынуждали женщин приступать к работе на заводах и рудниках. Это не означало иждивенчества женщин в рабочих семьях: на плечи женщин возлагались заботы о детях и домашнем хозяйстве семьи, включая ежедневную обработку приусадебного участка. В силу инерции демографических процессов как в 1897 г., так и в 1926 г. материалы переписи отмечали такое явление как многодетность рабочих семей на Урале [81].

Сравнительный анализ материалов переписей 1897 и 1926 гг. показывает сохранение целого ряда существенных характерных черт рабочего социума Урала

в 1926 г. Объясняется это, прежде всего, глубиной социальных потрясений в российском обществе в период 1914—1922 гг. Учитывая длительность рассматриваемого этапа (1897—1926 гг.) справедливо сделать вывод об общем цивилизационном откате назад, характерном для рабочего класса Урала.

В статье уже обращалось внимание и на ряд отличий, зафиксированных переписью 1926 г.; вместе с тем, существовали и различия «скрытого» плана. До Октябрьской революции 1917 г. государство проводило селективную патерналистскую политику, поощряя, прежде всего, рабочих казенных горнозаводских округов. Такая политика позволяла сохранять на протяжении XVIII — начале XX вв. потомственные рабочие кадры на предприятиях военного назначения.

Советская власть в годы НЭПа пыталась проводить политику равных возможностей для всех трудовых коллективов. Проблема заключалась, однако, в том, что предприятия Урала были созданы в различные индустриальные эпохи, привыкли действовать по рыночным законам — или вне их. В индустриальном комплексе Урала существовала обширная зона применения ручного труда — лесозаготовки для металлургии, — требующая особой трудовой и финансовой политики. С учетом низкой рентабельности государственных предприятий Урала, на которых было занято 94,8% рабочих цензовой индустрии [82], это порождало высокую текучесть в трудовых коллективах.

Существовали два возможных пути решения проблемы рабочих кадров на Урале. Первый — углубление рыночных механизмов нэповской экономики и на этой основе повышение рентабельности предприятий. При невысоких налогах на прибыль создавалась возможность экономическими мерами стабилизировать и укрепить трудовые коллективы. Второй путь — возрождение селективной патерналистской политики в рамках милитаризированной экономики.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См., например: История советского рабочего класса в 6-ти томах. Т. 2. М., 1984. С. 105—106.

2. Подсчитано по: Россия: Энциклопедический словарь. Л., 1991. С. 283. При подсчете мы исходили из того, что Пермская губерния производила 3/5 промышленной продукции Урала.

3. Россия. 1913 г.: Статистико-докуметальный справочник. СПб., 1995. С. 49.

4. Немчинов В.С. Народное хозяйство Урала в 1923 г. Екатеринбург, 1923. С. 3.

5. Пятилетний план народно-хозяйственного строительства СССР. Т. 3. М., 1930. С. 37.

6. Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. 20. М., 1929. С. 224—225; Т. 21. М., 1929. С. 29, 120, 436.

7. Подсчитано по: Там же; Гаврилов Д.В. Рабочий класс Урала в период домонополистического капитализма (1861—1900). М., 1985. С. 44—45; Фельдман М.А. К вопросу о численности рабочих Урала после гражданской войны // Этнокультурная история Урала XVI—XX вв. Екатеринбург, 1999. С. 95.

8. См., например: Зуйков В.Н. Создание тяжелой индустрии на Урале (1926—1932 гг.). М., 1971. С. 66.

9. Подсчитано по: Гаврилов Д.В. Рабочий класс Урала... С. 45—46. Для сопоставимости показателей численности рабочих в 1897 и 1926 г. — без учета вспомогательных рабочих.

10. Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения... Т. 20. С. 224—225; Т. 21 М., 1929. С. 29, 120, 436; Т. 34. М., 1930. С. 2—3.

11. Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения... Т. 20. М., 1929. С. 224—225 Т. 21. М., 1929. С. 29, 120, 436; Гаврилов Д.В. Рабочий класс Урала... С. 45—46.

12. Там же.

13. См.: Васькина Л.И. Рабочий класс СССР накануне социалистической индуст риализации. М., 1981. С. 21.

14. Гаврилов Д.В. Рабочий класс Урала... С. 45—46, 62.

15. Подсчитано по: Хозяйство Урала. 1926. № 18. С. 140.

16. Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения... Т. 20. М., 1929. С. 224— 225; Т. 21. М., 1929. С. 29, 120, 436.

17. Там же.

18. Гаврилов Д.В. Рабочий класс Урала... С. 62.

19. Подсчитано по: Население и жилищные условия городов Урала. Свердловск 1930. С. 7.

20. Подсчитано по: Там же. С. 14.

21. Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения... Т. 38. С. 41, 118, 261; Т. 43 С. 128—129.

22. Там же.

23. Там же.

24. См.: Матюгин А.А. Рабочий класс СССР в годы восстановления народного хозяйства (1921—1925). М., 1962. С. 208, 216. Число фабрично-заводских рабочих среди красноармейцев было меньше 500 тыс. — Там же.

25. Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения... Т. 38. С. 41, 118, 261; Т. 43 С. 128—129.

26. Распределение рабочих и прислуги по группам и месту рождения на основ данных Первой Всероссийской переписи населения 1897 г. СПб., 1905. С. 2—3.

27. Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения... Т. 20. С. 255—256; Т. 21 С. 29—30, 131—144 , 451—452.

28. См.: Гаврилов Д.В. Рабочий класс Урала... С. 120.

29. Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения... Т. 21. С. 131.

30. См.: Васькина Л.И. Рабочий класс СССР... С. 93, 95.

31. Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения... Т. 21. С. 130, 440; Гаврилов Д.В. Указ. соч. С. 134.

32. См.: Матюгин А.А. Рабочий класс СССР... С. 240—241.

33. Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения... Т. 21. С. 130—145.

34. Васькина Л.А. Указ. соч. С. 29; Всесоюзная перепись населения... Т. 20. С 314; Т. 21. С. 29—30, 226—227, 451.

35. Подсчитано по: Уральское хозяйство в цифрах. 1930 г. Вып. 2. С. 92—93 Стат. справочник СССР. 1927 г. М., 1927. С. 187.

36. Гаврилов Д.В. Указ. соч. С. 42—43.

37. Подсчитано по: Уральское хозяйство в цифрах... С. 92—93; Стат. справочник СССР. 1927 г. М., 1927. С. 187.

38. Там же; ГАСО. Ф. 24. Оп. 19. Д. 1608. Л. 73 об.; Всесоюзная перепись на селения... Т. 20. С. 314; Т. 21. С. 29, 227, 451.

39. Там же.

40. Там же.

41. Гаврилов Д.В. Указ. соч. С. 45.

42. Подсчитано по: Уральское хозяйство в цифрах. 1930 г. Вып. 2. С. 98—99 Пятнадцать лет Советской Башкирии. Уфа, 1934. С. 106.

43. См.: Гаврилов Д.В. Указ. соч. С. 42—43, 45.

44. Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения... Т. 20. С. 314; Т. 21. С. 29, 26, 451.
45. Там же.
46. Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения... Т. 38. С. 100—101, 261.
47. Там же; Гаврилов Д.В. Указ. соч. С. 96—97.
48. Гаврилов Д.В. Указ. соч. С. 97; Васькина Л.И. Рабочий класс СССР... С. 97.
49. Гаврилов Д.В. Указ. соч. С. 45, 95, 97.
50. Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения... Т. 38. С. 118, 261.
51. Подсчитано по: Положение труда на Урале в 1923 г. Екатеринбург, 1923. Табл. С. 14; Труд на Урале в 1924 г. Свердловск, 1924. Табл. С. 22; Труд на Урале в 1924/25 и 1925/26. Свердловск, 1926. Табл. С. 10. Данные по Уральской области. В 1922—1926 гг. — на 1 января.
52. Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения... Т. 20. С. 314; Т. 21. С. 4—5, 120, 121, 436—437.
53. Рашин А.Г. Состав фабрично-заводского пролетариата СССР. М., 1930. С. 21—22.
54. Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения... Т. 38. С. 20, 100—101, 250.
55. Труд на Урале в 1924—1925 гг. и 1925—1926 гг. С. 30.
56. Труд на Урале в 1926—1927 гг. Свердловск, 1928. С. 41—42.
57. См. например: Львов В. Бюджеты населения горнозаводского Урала // Хозяйство Урала. 1929. № 7. С. 41, 43; Зуйков В.Н. Создание тяжелой индустрии... С. 68, 75.
58. Там же.
59. См. подробнее: Алеврас Н.Н. Аграрная политика правительства на горнозаводском Урале в начале XX в. Челябинск, 1996. С. 191—198.
60. См.: Горовой Ф.С. Влияние реформы 1861 г. на формирование рабочего класса Урала // Из истории рабочего класса Урала. Сб. статей. Пермь, 1961. С. 162—164.
61. Сигов С.П. Некоторые данные для характеристики земледельческого хозяйства горнозаводского населения Урала // Наемный труд в сельском хозяйстве Урала. Свердловск, 1926. С. 176.
62. См.: Шацилло. Государство и монополии в военной промышленности России (Конец XIX — начало XX века). М., 1992. С. 49.
63. Рашин А.Г. Состав фабрично-заводского пролетариата... С. 37.
64. Там же. С. 35.
65. Там же.
66. Львов В. Бюджеты населения горнозаводского Урала... С. 30.
67. Там же. С. 29; Сигов С.П. Некоторые данные для характеристики земледельческого хозяйства... С. 175, 184.
68. Там же. С.176.
69. Там же. Подсчитано нами.
70. Там же. С. 175; Львов В. Бюджеты населения горнозаводского Урала... С. 31.
71. Там же.
72. Львов В. Бюджеты населения горнозаводского Урала... С. 35—36.
73. Полляк Г. Бюджет рабочего к началу 1923 г. // Вопросы труда и заработной платы в промышленности. 1913—1922 гг. Сб статей. М., 1923. С. 105.
74. Швецов А.В. Проблемы развития личных хозяйств уральских рабочих (1917—1927 гг.) // Современные концепции проблем истории советского Урала. Сб. статей. Свердловск, 1991. С. 35.
75. Труд на Урале в 1924 г. Екатеринбург, 1925. С. 53.
76. Стат. справочник СССР. 1927 г. М., С. 296.
77. Львов В. Бюджеты населения горнозаводского Урала... С. 51.

78. Там же. С. 41, 50.
79. Степанов П. Наделение землей горнозаводского населения Урала. СПб., 191
С. 64.
80. Мокеров И.П., Кузьмин А.И. Экономико-демографическое развитие семьи. М
1990. С. 16—17.
81. Там же.
82. Бакунин А.В., Бедель А.Э. Уральский промышленный комплекс. Екатеринбу
1994. С. 35.

INDUSTRIAL WORKERS OF THE URALS BETWEEN THE CENSUSES OF 1897 AND 1926: QUESTIONS OF NUMBER AND STRUCTURE

The author examines the working strata of the Urals, revealing the character changes in the structure of Russian society in the period embracing two revolutio and three wars. The article deals with the questions of branch, professional, quali structure of the workers. They are also characterized in terms of nationality a territory. Educational and property indexes, migrations are also analyzed.

M.A. Feldman

А.В. Ермаков

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БАЗЫ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА

Начало электрификации на Урале приходится на 80—90-е гг. XIX века, когда в регионе появляются первые электрические станции. Сначала это были домовые установки, предназначенные для освещения отдельных домов и городских объектов и мало чем от них отличающиеся электроустановки на отдельных заводах (Воткинском, Мотовилихинском). Характерным примером такого первенца уральской электрификации была динамо-машина постоянного тока системы «Шуккерт», установленная в 1884 году на Ивановской паровой мельнице Екатеринбургского городского головы Ильи Ивановича Симанова. Свет от нее получали мельница, зерновой амбар, двор и квартира управляющего [1].

Постепенно масштабы уральской электрификации возрастают. В 1890 году по инициативе выдающегося уральского ученого и инженера Н.Г. Славянова на Пермском пушечном заводе в Мотовилихе была построена первая в России заводская электростанция постоянного тока мощностью 70 кВт, которая в последующем несколько раз расширялась. Именно там было «введено электрическое уплотнение металлов при отливке орудийных болванок и других предметов по способу Славянова», т. е. была изобретена электросварка [2]. В 1890—1891 гг. Н.Г. Славянов получил патенты на свое изобретение в России, Франции, Великобритании, Германии, Австро-Венгрии и Бельгии, а также сделал заявки в США, Швеции и Италии [3].

За последнее десятилетие XIX и первые полтора десятилетия XX века электрическая энергия стала применяться на подавляющем большинстве крупных уральских промышленных предприятий, на транспорте и для освещения части городов региона. Мощность электростанций Урала непрерывно росла. Если в 1885 году она равнялась всего 80 кВт, в 1900 г. — 1121 кВт, 1906 г. — 4141 кВт, 1913 — 33653 кВт и в 1917 — 71630 кВт [4].

В пределах большей части современного уральского региона (без Оренбуржья, Башкирии и западной части Удмуртии) к 1917 году насчитывается около 100 крупных промышленных электростанций, а общее количество электроустановок на всем Урале уже в 1913 г. составило 476. Мощность 24 промышленных станций превысила 1 тыс. кВт, в том числе (данные 1920 г.): Надеждинского завода — 8300 кВт, Ново-Лялинской бумажной фабрики и лесоразделочного завода — 5140 кВт, Златоустовского завода — 5250 кВт, Мотовилихинского завода — 5060 кВт и Лысьвенского завода — 4420 кВт. Крупнейшими городскими электростанциями были Пермская — 1600 кВт, Екатеринбургская — 1175 кВт, Шадринская — 304 кВт, Челябинская — 500 кВт и Сарапульская — 300 кВт [5].

В годы первой мировой войны в электрификации Урала намечается новая тенденция — создание электростанций, обслуживающих группы предприятий, или даже целые горнозаводские округа. Фактически это были приближающиеся по своему значению к районным установки. Сооружение таких станций проис-

ходило (или намечалось) в Гороблагодатском (Кушвинская), Богословск (Каквинская), Верх-Исетском, Чусовском (гидроэлектростанция на реке Ви ва), Златоустовском и других округах [6].

Революция 1917 года застала уральское электрохозяйство на подъеме. П данным комиссии ГОЭЛРО в 1920 г. только на 23 крупнейших промышле ных электростанциях Урала мощность подготовленных к установке, но еще смонтированных генераторов составила 26120 кВт [7]. Эти запасы позволя на Урале вплоть до середины 20-х гг. вводить электромощности почти на пр бегая к завозу в регион энергетического оборудования.

Интегрирующим показателем хода электротехнической революции в пр мышленности Урала является коэффициент электрификации. Общая мощно механических двигателей промышленности региона по переписи 1920 г. сос вила 308825 л.с. (или 227140,8 кВт), а мощность генераторов и динамо-м шин — 89036 кВт. Следовательно, коэффициент электрификации уральск промышленности равнялся 39,2% (по РСФСР — 35,8%) [8].

Общие итоги развития электроэнергетики Урала к 1917 году (без Башкир и Оренбуржья, в которых развитие электростанций было незначительным) и люстрирует таблица 1. Как видно из этих данных, в основе которых лежат с дения, собранные Областной секцией по районированию Урала, работавшей начале 20-х гг., мощность всех уральских электростанций выросла за 1908- 1913 годы в 5,1 раза, а за 1914—1917 годы еще в 2,1 раза. Если в 1913 г доля Урала в мощностях электростанций России составляла 3,1%, то в 1916 она возросла до 4,9%.

Таблица

***Рост мощности и изменение структуры электростанций Урала в 1908—1917 гг.(кВт)* [9]**

Виды электростанций	1908	1913	1917
Всего электростанций	6562	33653	71632
в том числе:			
Коммунальные	1894	3927	4796
%	30,2	11,7	6,7
Промышленные	4668	29726	64159
%	69,8	88,3	93,3

Революция и гражданская война нанесли определенный ущерб уральск электростанциям, однако его масштабы были не очень значительны. Основн часть оборудования осталась на месте, количество уничтоженных или вывез ных агрегатов было небольшим. Гораздо более серьезную проблему представл отрыв уральской электроэнергетики от заграничных поставок и сильная изн шенность оборудования.

В то же время, с весны 1918 г. начинается интенсивная работа по подгото ке планов экономического развития районов России, включая Урал. Первоначал

экономические органы Советской власти исходили из чисто прожектерских раз боток, весьма далеких от реальной жизни. Отдел электротехнических сооружен в докладной записке в Комитет государственных сооружений (Комгосоор) от июля 1918 г. в качестве первоочередных задач по электрификации Урала планиц вал... проектирование гидроэлектростанций на Камско-Тобольском и Камско-Печ ском водных путях [10]. После вторичного прихода красных в регион 2 декаб 1919 года было образовано бюро по электрификации Урала при Центральном эле тротехническом совете в составе М.А. Шателена, Р.А. Фермана и Н.Н. Вашк ва [11]. Именно оно и возглавило работу по составлению плана электрификац региона в рамках начавшейся с февраля 1920 г. разработки плана ГОЭЛРО. Пр работе над планом бюро привлекало широкий круг специалистов, включая крупнь уральских инженеров. Среди них Л.В. Дрейер, Р.Я. Гартван, К.В. Булгаков, Н.І Виноградский и другие [12].

В окончательном варианте плана ГОЭЛРО отмечалось, что «интересы всег народного хозяйства, регулируемого по определенному государственному плану выдвигают Урал на первый план, так как положение Урала на границе Европей ской России и Сибири с ее необъятными перспективами развития повелительнс диктует возможно полное использование его богатств» [13]. «Электроснабжение Уральского района, — констатировала комиссия ГОЭЛРО, — будет носить смешанный характер: наряду с крупными центральными станциями на кизеловских, челябинских углях, на алапаевском торфе будет ряд более мелких установок, работающих на белом угле и доменных газах и даже, может быть, на привозном топливе. При таких условиях должна получить большее развитие сеть электропередач среднего и низкого напряжения, обеспечивая интенсивное обслуживание района электричеством» [14]. Однако, определяя потребности хозяйства Урала в энергомощностях в 604,5 тыс. кВт через десятилетие, комиссия ГОЭЛРО предусматривала строительство на Урале 4-х районных электростанций (Кизеловской, Егоршинской, Челябинской и Чусовской) и реконструкцию уже существующих общей мощностью 255—275 тыс. кВт (всего 45,5% потребностей).

В 20-е гг. в регионе были введены в действие Кизеловская (Губахинская) районная (1924), Егоршинская (1923) и Свердловская городская (1927) электростанции, а также ряд более мелких.

К концу 1926 года народное хозяйство Урала превзошло уровень 1913 года. В электроэнергетике региона успехи были еще более значительными. Если в 1913 г. на Урале в современных границах было произведено 162,3 млн кВтч электроэнергии, то в 1925/1926 гг. — уже 224,2 млн кВт.ч [15]. Однако удельный вес Урала в производстве электроэнергии всей страны (в границах до 1939 г.) снизился с 8,0 до 6,9%. Энергетика Урала по-прежнему базировалась главным образом на мелких, разобщенных, морально-устаревших электростанциях, построенных для нужд отдельных потребителей энергии, тогда как в стране уже начался переход к централизованному электроснабжению от крупных районных электростанций.

Особенно заметно отставание Урала в централизации энергоснабжения при сравнении его с другими регионами и страной в целом. В том же 1925/1926 гг. в СССР в целом на долю районных станций приходилось 27% мощности электростанций и 34% выработки электроэнергии, РСФСР — соответственно

30 и 37%. На Урале же мощность единственной районной станции (Губахинской) составляла всего 6% от мощности уральских электростанций, а выработки — только 4,5% от всей электроэнергии, произведенной в регионе [16].

Отставание уральской энергетики негативно сказывалось и на уровне энерговооруженности уральской промышленности. По подсчетам Госплана СССР к 1927 г. энергетическая вооруженность уральского промышленного рабочего составляла 0,91 кВт, против 1,17 кВт на Украине и в Ленинградской области и против 3,30 кВт в промышленности США [17].

Во второй половине 20-х гг. в ходе проработок первого пятилетнего плана и работ по Урало-Кузнецкой проблеме вопросы электрификации выдвигаются на первый план. Для изучения вопросов, связанных с электрификацией Урала, были привлечены видные ученые — академики И.Г. Александров и Г.М. Кржижановский, профессора М.А. Шателен, Н.Н. Колосовский и другие.

В постановлении Президиума Госплана СССР от 19 января 1929 года «Урал как промышленный комбинат» подчеркивалось: «Считать одним из наиболее тяжелых узких мест плана крайнюю задержку и запоздалость строительства уральских районных электростанций; признать необходимым жесткое точное осуществление в срок, под ответственность оперативных органов, Челябинской станции, в начале 1930 г. на мощность 44 тыс. кВт с последующим увеличением в 1932/33 гг. до 66 тыс. кВт и Губахинской станции в 1930 г. на 28 тыс. кВт и в 1932/33 гг. на 44 тыс. кВт, вместе с намеченными планом линиями передачи» [18].

Кроме сооружения районных централей в Уральской области, в Нижегородском крае (в составе которого находилась с 1929 по 1934 гг. Удмуртская АО) ставился вопрос о сооружении Вотской ГРЭС, оставшийся нереализованным [19]. По другим районам Большого Урала (Оренбуржью, Башкирии) сооружение районных станций в первой пятилетке не планировалось.

Необходимо отметить, что хотя (в отличие от восстановительного периода) электроэнергетика Урала в первой пятилетке развивалась более быстрыми темпами, тем не менее неоправданное форсирование развития отдельных отраслей Уральской промышленности, постоянный рост заданий первого пятилетнего плана не прошли бесследно. Как и в целом по народному хозяйству Урала, план развития уральской энергетики выполнен не был. Проанализируем это явление на примере Уральской области (табл. 2).

Из таблицы видно, что при выполнении плана по мощности электростанций он был существенно недовыполнен по производству электроэнергии. Одной из наиболее существенных причин такого положения является, по нашему мнению, противоречие между курсом на строительство более экономичных и эффективных районных централей и сооружением значительно менее эффективных фабрично-заводских станций. Форсированное, без учета реальной ситуации, строительство крупных предприятий металлургической, химической, машиностроительной отраслей промышленности, в условиях запаздывания сооружения районных станций, заставляло искать выход в строительстве гораздо менее экономичных, но зато «своих» станций. А это, в свою очередь, как справедливо отмечалось в одном из документов Госплана, вырывало почву из-под нецентрализованного снабжения [20].

Таблица 2

Первый пятилетний план развития электроэнергетики Уральской области и его выполнение

Категории электростанций	Мощность электростанций в тыс. кВт					Производство электроэнергии в млн кВт.ч				
	По вариантам плана за 1932/33гг.		Фактически за 1932 год	Фактически в % к вариантам плана		По вариантам плана за 1932/33 гг.		Фактически за 1932 год	Фактически в % к вариантам плана	
	отправной	оптимальный		отправной	оптимальный	отправной	оптимальный		отправной	оптимальный
Районные	160	198	154,5	96,6	78,0	650	800	516,7	79,5	64,6
Фабрично-заводские	205	215	285,4	139,2	132,7	580	600	598,8	103,2	99,8
Коммунальные	27	28,5	6,3	23,3	22,1	82	87	17,0	20,7	19,5
Прочие	4,5	5,0	7,8	173,3	156,0	1,1	1,2	13,5	1227,3	1125,0
Всего	396,5	446,5	454,0	114,5	101,7	1313,1	1488,2	1146,0	87,3	77,0

· Рассчитано и составлено по данным: Пятилетний план хозяйства Урала 1928/29—1932/33 (краткое изложение). Свердловск, 1929. С. 74; Энергетика районов СССР. 1928—1932 гг. Экономико-статистический справочник. М.-Л., 1935. С. 59.

О значительно более низких показателях использования оборудования фаб
рично-заводских станций, в отличие от районных, свидетельствует интеграль
ный показатель числа часов использования энергомощностей. По Уральско
области в 1932 г. этот показатель для районных станций составлял 3344, а п
фабрично-заводским — 2098 (то есть на 37% ниже). К тому же, следуе
учитывать, что в ходе реализации первого пятилетнего плана задания в обла
сти электрификации возросли и в окончательном варианте были определены дл
Уральской области в следующих размерах: мощность электростанций — 50
тыс. кВт и производство электроэнергии — 2,0 млрд кВт.ч Таким образом
последнее по времени плановое задание по электрификации Уральской облас
ти в первой пятилетке было выполнено по мощности электростанций всего н
90,1%, а по выработке электроэнергии — на 57,3% [21].

Тем не менее, несмотря на невыполнение плановых заданий, сдвиги в энер
гетике Урала были весьма значительны. Вошли в строй районные Челябинска
(90 тыс. кВт), Егоршинская (10,5 кВт) и Кизеловская (рост с 6 до 26 тыс
кВт) электростанции. Начали работать и мощные промышленные станции, сре
ди которых выделялись Березниковская (83,2 тыс. кВт) и Магнитогорска
(48,8 тыс. кВт) [22].

Начало работы над вторым пятилетним планом совпало с разработкой ге
нерального плана электрификации СССР на 1933—1942 гг. Потребности хо
зяйства Урала в конце периода определялись в нем в 6020 тыс. кВт.ч, приче
предусматривался еще резерв энергомощностей в 850 тыс. кВт.ч. В 1942 г. н
Урале должно было функционировать 43 крупных электростанции каждая мощ
ностью от 50 тыс. кВт и выше [23].

Второй пятилетний план разрабатывался в начале 30-х гг. и исходил из су
ществующего административно-территориального деления региона. В 1934 г
Уральская область была разделена на 3 области, которые также впоследстви
делились и меняли свои границы. Сопоставление плановых и фактических по
казателей (табл. 3) свидетельствует о том, что и во втором пятилетии план ра
вития уральской электроэнергетики был существенно недовыполнен
Аналогичным образом обстояло дело и в третьем, предвоенном пятилети
Несмотря на гигантский по сравнению с дореволюционным уровнем рост эне
гетических мощностей и производства электроэнергии экономика Урала на все
протяжении трех первых пятилеток испытывала дефицит электроэнергии,
накануне Великой Отечественной войны находилась на голодном пайке.

Рассмотрим основные итоги развития электроэнергетики Большого Ура
(табл. 5). Приводимые в таблице данные позволяют уточнить и дополнить по
водимые ранее в работах уральских историков данные о мощности электроста
ций и производстве электроэнергии [24]. Из таблицы следует, что основна
часть энергомощностей Урала на всем протяжении конца 20-х — нача
40-х гг. располагалась в пределах трех важнейших областей региона — Че
бинской, Свердловской и Пермской. Если в 1928 г. на их долю приходило
84,9% мощностей электростанций Урала, то в 1940 г. — 83,9%. В то
время, внутри «большой тройки» соотношение потенциалов изменилось. Лид
ство Среднего Урала в развитии электроэнергетики было утрачено: хотя

Таблица 3

Второй пятилетний план развития электроэнергетики Уральской области и его выполнение

Показатель	1937		% выполнения
	По плану II пятилетки	Фактически	
Мощность электростанций (тыс. кВт)*	1271	911,3	71,7
Выработка электроэнергии (млн. кВт.ч	5500	4097,6	74,5

· Подсчитано по данным: Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР (1933—1937 гг.). М., 1934. Т. 2. С. 274—277; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 53. Д. 1355. Л. 39.

· Фактические сведения даны в границах современных Свердловской, Пермской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей.

Таблица 4

Среднегодовые темпы прироста производства электроэнергии (%)

Пятилетки	СССР	РСФСР	Урал	Темпы Урала, % к темпам	
				СССР	РСФСР
I пятилетка	28,2	29,9	38,1	135	127
II пятилетка	21,7	20,7	28,9	133	140
III пятилетка*	10,1	9,3	11,6	115	125
В среднем за 1928-1940 гг.	20,8	20,7	27,2	131	131

· Подсчитано по данным таблицы 3.

· Данные за 1938—1940 гг.

мощности электростанций Свердловская область и в 1940 г. по прежнему обгоняла всех, по производству электроэнергии ее опередила Челябинская область. Причины такого положения заключались в более экономичной работе электростанций Южного Урала вследствие наличия там самой мощной в регионе Челябинской ГРЭС. Пущенная на полную мощность еще в 1935 г., она в конце 30-х гг. полностью отладила производство. Если в целом по Уральскому региону число часов использования энергетических мощностей равнялось в 1940 г. 4697 (по СССР — 4316), то по электростанциям Уралэнерго — 6431, в том числе по Челябинской ГРЭС — 7229 [25].

Еще более разительными были внутрирегиональные различия по выработке электроэнергии. При росте производства электроэнергии в целом по региону за 1928—1940 гг. в 16 раз, в Башкирии рост составил всего 6,4 раза, Удмуртии — 8,4 раза. Удельный вес наиболее развитых в промышленном отношении Свердловской, Пермской и Челябинской областей в выработке электроэнергии на Урале вырос за указанный период с 81 до 90%.

Если сравнить средние темпы развития электроэнергетики Урала с общесоюзными и общероссийскими (табл. 4), становится очевидным, что регион раз-

Таблица 5

Мощности электростанций и выработка электроэнергии на Урале в 1928—1940 гг. (мощность — на конец года в тыс. кВт, выработка — за год в млн кВт)

Районы	1928		1932		1937		1940	
	Мощность	Выработка	Мощность	Выработка	Мощность	Выработка	Мощность	Выработка
СССР	1905,4	5007,5	4677,3	13540,2	8249,3	36161,0	11193,0	48309,0
РСФСР	1262,3	3232,4	2939,8	9214,7	5445,7	23627,1	6934,8	30848,4
Уральский регион	147,5	344,7	495,4	1255,1	1019,6	4464,7	1320,9	6204,1
в том числе: Свердловская область	63,0	134,1	119,7	364,4	324,1	1281,1	426,4	1963,4
Пермская область	33,2	74,3	137,3	283,6	262,3	1063,2	283,8	1379,7
Челябинская область	29,1	72,6	194,0	480,4	318,7	1733,0	397,7	2241,8
Оренбургская область	3,4	7,1	8,9	16,3	31,4	72,4	87,9	207,3
Башкирская АССР	8,9	32,3	20,5	66,2	41,9	156,0	66,1	207,7
Удмуртская АССР	9,9	24,3	15,0	44,2	41,2	159,0	59,0	204,2

· Составлено по данным: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 53. Д. 1355. Л. 38, 39; Оп. 312. Д. 719[6]. Л. 26.
· Области Урала даны в административно-территориальных границах на 31.12.1940 г.

вивался опережающими темпами. Однако это была классическая затухающая кривая: в I и II пятилетках уральская электроэнергетика опережала общесоюзную на треть, а в третьей — всего на 15%.

За предвоенные годы существенно выросла роль Урала в государственном энергетическом балансе. Если в 1928 г. удельный вес Урала в выработке электроэнергии составлял не более 6,9% общесоюзного, то в 1940 г. он возрос до 12,8%, то есть удвоился.

Соотношение между различными видами электростанций Урала за годы предвоенных пятилеток существенно изменилось. Главное внимание в 1928—1940 годах уделялось сооружению районных электростанций. Однако темп их строительства на Урале, хотя и превосходил общесоюзный, все же оказался недостаточным, чтобы полностью преодолеть имевшийся к 1928 году разрыв. При этом следует иметь в виду, что в годы второй и третьей пятилеток целый ряд промышленных и коммунальных электростанций Урала был преобразован в разряд районных и передан Наркомату электростанций (Свердловская ЦЭС в 1930 г., Пермская городская электростанция в 1932 г., Кушвинская ЦЭС в 1935 г., Закамская ТЭЦ в 1936 г., Орская ТЭЦ в 1938 г., Красногорская ТЭЦ в 1939 г., ТЭЦ Уфимского крекингового завода и Уфимская городская электростанция в 1940 г.). Тем не менее структура мощностей и выработки электроэнергии по категориям электростанций оставалась на Урале менее благоприятной, чем по стране в целом.

Если по стране в целом районные электростанции в 1940 г. давали около 70% электроэнергии, то на Урале — только 58% (в 1928 г. соответственно 40,0 и 5,1%). По признанию наркома электростанций Д.Г. Жимерина: «Нам не хватило на Урале примерно 2-х лет для завершения начатого строительства многих тепловых электростанций, которые могли обеспечить полную потребность в электроэнергии» [26].

В 1930 г. было образовано районное энергетическое управление Уралэнерго, объединившее существующие и вводившиеся в строй районные электростанции и основную часть электросетевого хозяйства Уральской области (позднее — Свердловской, Пермской и Челябинской областей). В 1938 г. в Чкаловской (Оренбургской) области был создан Орский, а в 1940 г. в Башкирской АССР — Уфимский энергокомбинаты. Общая мощность электростанций, входивших в эти объединения в конце 1940 г., составляла 596,5 тыс. кВт, в том числе 531,5 тыс. кВт приходилось на долю Уралэнерго [27].

Характерной чертой предвоенных пятилеток стал резкий скачок в переводе народного хозяйства на электроэнергетичекую основу. Электрическая энергия почти полностью заменила механическую в промышленности, увеличилось, хотя и не столь значительно, потребление электрической энергии и в других отраслях народного хозяйства. Структура потребления электрической энергии отражена в таблице 6.

Ее анализ свидетельствует, что потребление электроэнергии на Урале росло быстрее, чем по стране в целом (за I и II пятилетки среднегодовой темп прироста по стране в целом — 15,29%, а по Уралу — 20,57%). Удельное потребление электрической энергии промышленностью и строительством было в регионе на 7—13% выше общегосударственного уровня и практически совпадало с уровнем

Таблица 6

Категория электростанций Урала в 1925—1940 гг. (мощность — тыс. кВт, выработка — млн кВт.ч). Структура потребления электрической энергии на Урале (млн кВт.ч)

Регион	Годы	Всего потреблено электроэнергии	В том числе:					
			Промышленностью и строительством	Транспортом	Коммунальное и бытовое потребление	Сельским хозяйством	Потери в сетях	Собственное потребление электростанций
СССР	1928	5 007,6	3 427,0	100,3	958,5	35,5	351,0	135,3
	1930	8 368,2	5 959,2	131,2	1 367,0	48,3	531,0	331,5
	1932	13 540,2	9 296,2	259,7	2 200,0	86,2	962,5	735,6
	1934	21 016,2	14 558,7	434,4	3 142,7	157,3	1 537,3	1 185,8
	1937	36 400,0	25 112,0	1 227,0	4 928,0	335,0	2 640,0	2 140,0
Урал	1928	327,7	266,4	5,6	42,9	3,2	5,8	3,8
	1930	560,9	460,3	8,1	68,7	4,2	10,4	9,2
	1932	1 212,1	980,6	14,4	111,1	10,1	43,0	53,0
	1934	2 225,4	1 726,3	37,0	195,7	15,0	108,8	142,6
	1936	4 007,9	3 033,1	111,3	334,4	24,4	209,8	294,9
СССР, %%	1928	100,00	68,44	2,00	19,14	0,71	7,01	2,70
	1930	100,00	71,21	1,57	16,34	0,58	6,35	3,96
	1932	100,00	68,66	1,92	16,25	0,64	7,11	5,43
	1934	100,00	69,27	2,07	14,95	0,75	7,31	5,64
	1937	100,00	68,99	3,37	13,54	0,92	7,25	5,88
Урал, %%	1928	100,00	81,30	1,71	13,08	0,99	1,77	1,17
	1930	100,00	82,06	1,45	12,25	0,74	1,85	1,64
	1932	100,00	80,90	1,19	9,17	0,84	3,55	4,37
	1934	100,00	77,57	1,66	8,79	0,67	4,89	6,41
	1936	100,00	75,68	2,78	8,34	0,61	5,23	7,36

· РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 54. Д. 1110. Л. 14, 19; Ф. 4372. Оп. 38. Д. 567. Л. 124, 124 об., 125; Социалистическое строительство СССР. Стат. ежегодник. М.: ЦУНХУ Госплана СССР, 1936. С. 87, 89.

· Данные по Уралу: за 1928—1932 гг. — Уральская область и Башкирская АССР, за 1934 г. — по Свердловской, Челябинской и Оренбургской областям и Башкирской АССР, за 1936 гг. — по Свердловской, Челябинской, Оренбургской областям, Башкирской и Удмуртской АССР в границах соответствующих лет.

Украины. За 1926/1927—1935 гг. потребление электроэнергии уральской промышленностью выросло в 10,1 раза; в том числе тяжелой — в 11 раз и легкой — в 3,8 раза. При этом расход электроэнергии на двигательную силу в тяжелой промышленности возрос за указанный период в 8,3 раза, а в легкой — только в 3,4 раза. Если в уральском производстве средств производства к середине 30-х гг. заканчивалась электрификация силовых процессов, то в производстве предметов потребления этот процесс находился еще в самом начале.

Значительно расширилось потребление электроэнергии на технологические нужды. В 1926/1927 гг. на это расходовалось только 4,0% потребленной всей промышленностью Урала электрической энергии, а в 1935 г. — уже 26,9%. Наиболее электроемкой отраслью уральской промышленности была черная металлургия (36,4% всего промышленного потребления), на втором месте — машиностроение (18,5%), на третьем — химическая промышленность (9,5%) [28]. В промышленности региона развивались такие прогрессивные технологии, как электроплавка (в черной металлургии и машиностроении), электросварка (практически во всех отраслях), электролиз (в химической промышленности). В результате электрификации изменился характер труда рабочих промышленности. Он стал механизированным, требующим меньших физических усилий. Произошли положительные сдвиги в гигиенических условиях труда.

Особого внимания заслуживает показатель коммунального и бытового потребления. И по СССР в целом, и по Уралу удельный вес этой группы потребителей снижался, при этом регион стабильно отставал от уровня страны на 5—6 процентных пунктов. Однако, если в 1928 г. в расчете на каждого среднестатистического жителя СССР коммунальное и бытовое потребление составило 6,4 кВт.ч, то на Урале — 4,4 кВт.ч (68,8%). В 1937 г. соответствующие показатели равнялись 30,4 кВт.ч и 35,4 кВт.ч (116,4%) [29]. Впрочем, сравнение развитого индустриального и урбанизированного региона со среднесоюзным уровнем не вполне корректно. Учитывая, что электропотребление сельского населения на коммунальные и бытовые нужды было незначительным (и включалось довоенной статистикой 20—30-х гг. в раздел сельскохозяйственного потребления), сравним потребление на указанные цели в 1935 г. в расчете на среднестатистического горожанина Урала, Украины и Центрально-Промышленного района. Потребление на коммунально-бытовые нужды в целом составило по Уралу — 80,66 кВт.ч, по Украине — 115,87 кВт.ч, по Центрально-Промышленному району — 81,86 кВт.ч; но при этом потребление трамваями составляло соответственно 4,42; 28,85 и 13,99 кВт.ч; а водопроводами — 4,94; 8,64 и 8,20 кВт.ч [30]. Более высокий вес промышленного потребления, при значительно меньшей доле коммунально-бытового потребления, свидетельствовал о более значительных трудовых затратах тружеников Урала при значительно меньшей социальной благоустроенности.

Тем не менее, сдвиги в условиях жизни городского населения обозначились в 30-е гг. вполне отчетливо. Уже по данным переписи 1923 г. из 247213 квартир в городах и рабочих поселках Уральской области 87677 (35,5%) были электрифицированы [31]. По неполным данным на начало 1940 г. уровень электрификации обобществленного жилого фонда в крупнейших городах Урала (с численностью населения свыше 20 тыс. чел.) составлял 85,7% [32]. Кроме

освещения электрическая энергия использовалась для бытовых электроприборов, в физиокабинетах при больницах и поликлиниках, на радиотрансляционных станциях. В 1929 г. в Свердловске и Перми появились первые трамваи, в 1932 г. к ним добавился Челябинск, в 1934 г. — Златоуст, 1935 г. — Ижевск и Магнитогорск, в 1937 г. — Уфа и Нижний Тагил. Если в 1932 г. длина эксплуатационного трамвайного пути в городах Урала составляла 78,4 км, то в 1937 г. — уже 195,6 км. Электрификация позволила значительно расширить сеть водопроводов в городах. До 1917 г. водопроводы, обслуживающие лишь незначительную часть квартир, имелись в 12 городах региона, а в 1937 г. — уже в 27. Появились и первые города, имевшие канализацию [33].

Урал стал третьим регионом (после Закавказья и Центрального района), где развернулись работы по электрификации железнодорожного транспорта. В 1933 г. была электрифицирована линия Кизел—Чусовая, в 1935 — линия Свердловск—Гороблагодатская. В 1937 г., после электрификации участка Гороблагодатская—Чусовая, возникла единая электрифицированная линия Свердловск—Кизел [34]. По протяженности электрифицированного пути (492 км, что составило 3,1% от общесоюзной) Урал вышел в 1937 г. на первое место среди регионов страны, а по потреблению электроэнергии на электротягу (86 млн кВт.ч) — на второе, уступая лишь Центральному району [35].

Место Уральского региона среди других районов страны по производству электроэнергии на душу населения демонстрирует таблица 7.

Ее анализ свидетельствует, что если в конце 20-х гг. по душевому производству электроэнергии Уральский регион находился на среднесоюзном и среднероссийском уровне и значительно уступал Северо-Западу, Центрально-Промышленному району, Закавказью и Украине, то уже в первой пятилетке вплотную приблизился к национальным районам-лидерам, а к 1937 г. переместился на второе место после Северо-Западного района. Интересно и место Урала в мировой системе. Если в 1928 г. производство электроэнергии на душу населения в регионе составляло 6,5% от аналогичного показателя Германии и 13,8% — Японии, то в 1937 г. — уже 49,1% и 85,8% [36]. На каждого рабочего машиностроительных заводов Урала в 1937 г. пришлось 4226 кВт.ч потребленной электроэнергии (по СССР в целом — 2753, РСФСР — 2759, Украине — 2663, Центрально-Промышленному району — 2350, Волго-Вятскому району — 3356). По этому показателю регион занимал первое место среди регионов страны. Это было вполне сопоставимо и даже превосходило уровень электровооруженности машиностроителей ведущих мировых держав. Например, в металлообрабатывающей промышленности США (включая машиностроение) в 1929 г. аналогичный показатель составлял 3360 кВт.ч, Англии в 1935 г. — 1689 кВт.ч [37]. Таким образом Урал постепенно подтягивался к уровню мировых держав.

Вместе с тем к началу Великой Отечественной войны электроэнергетика Урала имела немало и слабых мест. Форсированная индустриализация региона, гигантизм и слабая проработанность пятилетних планов, массовые репрессии (дважды, в 1933—1934 и в 1937—1938 гг. кадры энергетиков Урала подвергались настоящему избиению — от руководства Уралэнерго и до рядовых инженеров и техников [38]) привели к наличию в электроэнергетике регио

Таблиц

Место Урала среди других районов СССР по производству электроэнергии на душу населения

Район	1928		Район	1932	
	Электроэнергия, кВт.ч	Урал = 100%		Электроэнергия, кВт.ч	Урал = 100%
СССР	33,0	104,1	СССР	83,7	77,4
РСФСР	32,8	103,5	РСФСР	89,1	82,3
Северо-Запад	131,3	414,2	Северо-Запад	288,4	266,5
Закавказье	71,4	225,2	Центр	150,5	139,1
Центр	69,8	220,2	Закавказье	115,4	106,7
Украина	43,2	136,3	Украина	110,4	102,0
Урал	31,7	100,0	Урал	108,2	100,0

Район	1937		Район	1940	
	Электроэнергия, кВт.ч	Урал = 100%		Электроэнергия, кВт.ч	Урал = 100%
СССР	223,2	61,8	СССР	248,9	55,1
РСФСР	218,8	60,5	РСФСР	280,0	62,0
Северо-Запад	486,0	134,5	Северо-Запад	542,8	120,2
Урал	361,4	100,0	Урал	451,4	100,0
Центр	343,3	95,0	Центр	396,8	87,9
Украина	326,4	90,3	Закавказье	361,1	80,0
Закавказье	281,1	77,8	Украина	300,2	66,5

Рассчитано по данным: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 53. Д. 1355. Л. 37—43; Всесоюзная перепись населения 1937 года. Краткие итоги. М.: Институт истории СССР АН СССР, 1991. С. 54—61; Промышленность СССР: Статистический сборник. М.: Госстатиздат, 1957. С. 55—83, 174; Народное хозяйство РСФСР в 1970 г.: Стат. ежегодник. М.: Статистика, 1970. С. 72; Народное хозяйство СССР за 70 лет: Юбилейный стат. ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1987. С. 377.

множества узких мест. Созданная в 30-е гг. единая Уральская энергосистема, протянувшаяся на тысячу километров с севера от Соликамска на юг до Челябинска и Магнитогорска, имела очень слабые электрические связи (через линии передач напряжением всего 110 кВ). Часть электростанций (особенно Егоршинская и Кизеловская) имели устаревшее и изношенное оборудование, что резко увеличивало нагрузку на районные Челябинскую и Среднеуральскую и блок-станции Магнитогорскую и Нижнетагильскую ТЭЦ.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Город Екатеринбург. Сборник историко-статистических и справочных сведений по городу, с адресным указателем и с присоединением некоторых сведений по Екатеринбургскому уезду. Екатеринбург, 1889. С. 750.

2. Козлов А.Г. Творцы науки и техники на Урале. XVII — начало XX века. Свердловск, 1981. С. 130; Соловьева А.М. Промышленная революция в России XIX в. М., 1990. С. 222.

3. Козлов А.Г. Указ. соч. С. 130. Подробнее о жизни и деятельности Н.Г. Славянова см.: Огиевецкий А.С., Радунский Л.Д. Николай Гаврилович Славянов. М.; Л., 1952; Чеканов А.А. Николай Гаврилович Славянов. М., 1977; Шарц А.К. Николай Гаврилович Славянов. Пермь, 1965 и др.

4. ГАСО. Ф. 2702. Оп. 1. Д. 4. Л. 263 об, 264.

5. РГАЭ. Ф. 5208. Оп. 1. Д. 21. Л. 48; Урал. Технико-экономический сборник. Екатеринбург, 1923. С. 87—88, 197.

6. Сигов С.П. Очерки по истории горнозаводской промышленности Урала. Свердловск, 1936. С. 186, 239, 241, 251, 252, 257.

7. Энергетика Урала за 40 лет. С. 5; РГАЭ. Ф. 5208. Оп. 1. Д. 21. Л. 48 (по другим данным мощность электростанций Урала в 1917 году составила 71,6 тыс. кВт).

8. Рассчитано по данным: Труды ЦСУ. Т. 3. Вып. 8. (Сводный выпуск). Всероссийская перепись промышленных заведений 1920 г. М., 1926. С. 376—379, 384—387.

9. Рассчитано по данным: ГАСО. Ф. 2702 р. Оп. 1. Д. 4. Л. 264; Динамика российской и советской промышленности в связи с развитием народного хозяйства за сорок лет (1887—1926 гг.). Т. 1. Ч. 2. Промышленность 1908 г. М; Л. С. 294; Урал. Технико-экономический сборник. Екатеринбург, 1923. С. 39, 87—88, 110, 139, 196—197, 221, 248, 329, 350, 370, 392, 415, 454, 455, 474 (Урал в границах Уральской области (1923—1934 гг.).

10. К истории плана электрификации Советской страны. Сборник документов и материалов 1918—1920 гг. М., 1952. С. 40.

11. Там же. С. 108.

12. РГАЭ. Ф. 5208. Оп. 1. Д. 21 (о новизне для многих уральских инженеров этой работы говорит то обстоятельство, что Р.Я. Гартван предваряет одну из своих записок оговоркой, что он «неспециалист в области электрификации». Л. 18).

13. План электрификации РСФСР. М.: Госполитиздат, 1955. С. 518.

14. Там же. С. 537.

15. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 1. Д. 282. Л. 20; Ознобин Н.М. Электроэнергетика СССР и ее размещение. М., 1961. С. 148; Курганская область за 50 лет Советской власти: Стат. сборник. Челябинск, 1967. С. 27.

16. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 26. Д. 282. Л. 8, 9, 20, 22.

17. Там же. Д. 663. Л. 26.

18. Там же. Оп. 27. Д. 178. Л. 78.

19. История индустриализации Нижегородско-Горьковского края (1926—1941 гг.). Горький, 1968. С. 117, 118.

20. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 26. Д. 278. Л. 77.

21. См.: Данилин Л.В. Электрификация как база социалистической индустриализации (на материалах Урала): Автореф. дисс. канд. экон. наук. Свердловск, 1966. С. 14.

22. РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 8. Д. 888. Л. 28; Оп. 312. Д. 719а. Л. 3.

23. Генеральный план электрификации СССР. М.; Л., 1932. Т. 8. С. 15—16, 65—66, 388—394.

24. Так, данные за вторую пятилетку, приводимые обычно, не включают в общеуральские показатели сведения по Оренбургской области и Удмуртии. Ср.: Бакунин А.В. Борьба большевиков за индустриализацию Урала во второй пятилетке (1933—1937 гг.). Свердловск, 1968. С. 378; История народного хозяйства Урала (1917—1945). Ч. 1. Свердловск, 1988. С. 141 (мощность электростанций Урала в тыс. кВт в 1928 г. — 125,3; в 1932 г. — 451,0; в 1936 г. — 814,6; выработка электроэнергии в млн кВт.ч в 1928 г. — 281,0; в 1932 г. — 1128,4; в 1936 г. — 3703,9).

25. Подсчитано по данным таблицы 3; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 312. Д. 719а. Л. 10, 16.

26. Жимерин Д.Г. Созданное нами врагу не достанется // Энергетики в Велик Отечественной войне. Воспоминания старейших энергетиков. М.: Энергоиздат, 1985. С. 1

27. РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 312. Д. 719а. Л. 16.

28. ГАСО. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1062; Ф. 1813. Оп. 1. Д. 40, 44; ГАЧО. Ф. 48. Оп. 5. Д. 70.

29. РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 54. Д. 1110. Л. 14, 19; Ф. 4372. Оп. 38. Д. 567. Л. 12- 124 об., 125; Статистический справочник СССР за 1928 г. М.: Стат. изд-во ЦС СССР, 1929. С. 20, 23; Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги. М 1991. С. 54—55, 57.

30. Подсчитано по данным: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 54. Д. 1108а. Л. 24—26, 31, 33 35, 38—40, 45; Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги. М., 1991. С 48—51, 54—56.

31. Подсчитано по данным: Уральский статистический ежегодник. 1923—1924 г. Свердловск: Изд-ние Уральского Областного Исполнительного Комитета, 1925. С. 198—203.

32. РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 4. Д. 34. Л. 4 об.—36 об.

33. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 35. Д. 167в. Л. 20—22 (Первые системы канализации появились в Перми в 1915 и в Оренбурге в 1918 гг. До конца второй пятилетки к ним добавились Свердловск, Молотово, Челябинск, Ижевск и Златоуст).

34. История народного хозяйства Урала. Свердловск, 1988. Ч. 1. С. 146; 60 лет ленинского плана ГОЭЛРО. М., 1980. С. 188.

35. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 38. Д. 567. Л. 95.

36. Рассчитано по данным: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 54. Д. 1147. Л. 1; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 53. Д. 1355. Л. 37—43; Всесоюзная перепись населения 1937 года. Краткие итоги. М.: Институт истории СССР АН СССР, 1991. С. 54—61.

37. Подсчитано по данным: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 53. Д. 1331. Л. 50, 52, 55—57, 60; Оп. 54. Д. 1147. Л. 9.

38. См. об этом подробнее: Терехов В.С. Политические репрессии инженерно-технической интеллигенции Урала в 1930-е гг. // История репрессий на Урале: идеология, политика, практика (1917—1980-е годы). Нижний Тагил, 1997. С. 173—175; Ермаков А.В. Государство, управленцы и работники в начале 30-х гг. (на примере Уралэнерго) // Власть и общество (проблемы всеобщей и отечественной истории). Нижний Тагил, 1996. С. 85—94.

DEVELOPMENT OF ELECTRIC POWER BASE OF THE URAL REGION IN 1900—1930S

The article analyses dynamics, rates and main trends in the electrotechnical revolution in the Urals in the first thirty years of the XX century. The author also writes about the structure of production and consumption of electrical power in the region.

A.V. Ermakov

А.В. Сперанский

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ ТЫЛА В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ (1941—1945 гг.)

Период Великой Отечественной войны стал одной из самых ярких и противоречивых страниц Отечественной истории. Нашей стране потребовалось колоссальное напряжение сил, чтобы одержать трудную победу в смертельной схватке с грозным и опасным противником. Решающую роль «опорного края державы» в годину суровых испытаний сыграл Урал, ставший мощным промышленным и культурным центром борющегося с внешней агрессией государства. Однако экстремальные условия военного лихолетья внесли существенные коррективы в его социокультурное развитие, обозначив как положительные, так и отрицательные последствия.

Значительное влияние на изменение социокультурной ситуации в регионе оказала эвакуация. К осени 1942 г. на территории Урала были размещены оборудование и рабочая сила более 830 предприятий. Важнейшей составляющей передислокации средств производства на Восток являлось решение социальных задач: прием, размещение и трудоустройство эвакуированного населения. За период с июля 1941 г. по декабрь 1942 г. уральский регион принял 2 млн 127 тыс. человек, что составило более четверти от всех эвакуированных в Российской Федерации [1]. К концу 1942 г. их удельный вес среди населения края достиг 9,7%. Местная политика размещения переселенцев была достаточно дифференцирована: женщины, дети, престарелые располагались в сельской местности, квалифицированные рабочие, служащие и члены их семей — в городах. Процентное соотношение расселения приезжих различалось в зависимости от степени промышленного развития областей и республик. Так, если в индустриально развитой Свердловской области 77,7% эвакуированных были оставлены в городах, то в аграрных Оренбуржье и Башкирии — соответственно 51,6% и 58,4% были направлены в деревню. В целом к концу 1942 г. из переехавших на Урал людей 51,7% разместились в городе, 48,3% — в сельской местности [2]. Масса людей, прибывшая в уральские города, значительно усилила плотность проживания в них. Так, численность жителей Свердловска за годы войны выросло с 423 тыс. человек до 620 тыс.; Уфы — с 258,0 до 380,0; Ижевска — со 184 до 205,9; Нижнего Тагила — со 160,0 до 239,0; Орска — с 66,0 до 99,0; Сарапула — с 41,2 до 55,0; Воткинска — с 40,5 до 52,8. Этот процесс имел очень противоречивые последствия. С одной стороны, повысился удельный вес интеллигенции и квалифицированных рабочих, что положительным образом отразилось на экономическом и культурном развитии региона. С другой стороны, попытка властей решить объективно возникшую жилищную проблему за счет уплотнения и строительства временного упрощенного жилья приводило к чрезмерной скученности, антисанитарным условиям проживания, способствовало возникновению бытовых конфликтов и социальных неурядиц. Бараки, полуподвальные помещения, землянки стали обыч

ным явлением в жизни горожан. К примеру, в Челябинской области за 1941—1943 гг. было вырыто 184,3 тыс. кв. м земляных помещений. В районе железнодорожного вокзала г. Воткинска был возведен поселок, где в десяти мало приспособленных к нормальной жизни бараках ютились 2,5 тыс. человек. Фактически размеры жилой площади на одного человека сократились в городах Урала до 2,0—2,5 кв. м, а в Нижнем Тагиле — до 1,8 кв. м. В сельской местности жилищная норма достигала 0,8 кв. м. Напряженность в обеспечении трудящихся жильем стала ослабевать лишь по мере освобождения оккупированных территорий и связанной с этим процессом реэвакуации. К концу войны в западные и центральные районы с Урала возвратились более 80% эвакуированных и их численность в регионе составила всего 361 тыс. чел. [3].

Урал был тыловым регионом, где наиболее интенсивно шло наращивание оборонного потенциала, требующего использования значительного количества трудовых ресурсов. Нехватка кадров, вызванная мобилизацией трудящихся на фронт, была ликвидирована за счет эвакуации. Из всех трудоспособных людей, прибывших в регион, 55% активно включились в работу на промышленных предприятиях. В среднем доля эвакуированных работников в индустриальном производстве Урала к концу 1942 г. составила 31% [4]. Одной из мер по восполнению трудовых ресурсов было привлечение на производство пенсионеров. Однако военный режим индустриального труда был под силу далеко не всем пожилым людям. Поэтому доля вернувшихся на промышленные предприятия рабочих в возрасте 55 лет и старше была невелика и составляла 4,3%. Более массовым было участие пожилых людей в сельскохозяйственных работах — 14,8%. Значительно вырос количественный показатель детского и женского труда. В составе уральских рабочих подростковая группа в возрасте от 14 до 16 лет увеличилась по сравнению с 1940 г. более чем вдвое, в сельскохозяйственном производстве — на 15—20%. В результате кампании, целенаправленно проведенной властями под лозунгом «Заменим уходящих на фронт мужчин!», к производственной деятельности были привлечены сотни тысяч женщин. Их доля в промышленности Урала к концу войны составляла 47,7%, а в сельском хозяйстве — 74,6%. Проблема трудовых ресурсов решалась и за счет подготовки новых квалифицированных кадров в системе трудовых резервов. За 1941—1945 гг. в ремесленных и железнодорожных училищах, школах ФЗО на Урале было подготовлено по различным рабочим специальностям 444,7 тыс. чел. К сожалению, выпускники трудовых резервов не всегда находили должное применение полученным знаниям и навыкам. Только 25% молодых рабочих получали работу по специальности, а остальные вынуждены были переквалифицироваться или выполнять подсобную низкооплачиваемую работу [5]. Значительное место в решении проблемы кадров занимали индивидуальное и бригадное ученичество непосредственно на производстве, работа курсов техминимума, стахановских и технологических школ, обучение вторым и смежным профессиям.

Разрыв между потребностями уральской промышленности и ее обеспеченностью рабочей силой в значительной мере преодолевался методами милитаризации и внеэкономического принуждения. Введение трудовой повинности, охватившей в первую очередь жителей сельской местности и эвакуированных,

способствовало формированию сезонной рабочей силы, которая активно исполь-зовалась на лесозаготовках, железнодорожном и жилищном строительстве торфодобыче и т.п. Имело место создание трудовой армии, включавшей в себя стройбатальоны и рабочие колонны. В эти подразделения направлялись люди признанные негодными к строевой службе в армии или считавшиеся неблаго-надежными по социальному и национальному признаку. Трудармейцы прико-мандировывались к предприятиям авиационной, металлургической, химической топливной промышленности, оборонного машиностроения и выполняли в основ-ном подсобные работы. К январю 1942 г. на Урале насчитывалось около 290 тыс. бойцов трудовой армии, среди которых 96 тыс. чел. составляли мобили-зованные в Средней Азии и Казахстане [6].

Для обеспечения производственных мощностей региона достаточным коли-чеством рабочих рук применялся труд и других групп «спецконтингента»: зак-люченных, военнопленных, спецпереселенцев. Они использовались в традиционно трудоемких процессах: в добывающей промышленности, на лесо-повале и т.п. К примеру, только в Кизеловском угольном бассейне 40% под-земных рабочих составлял «спецконтингент». Суммарная выработка норм в системе уральского ГУЛАГа увеличилась в 2 раза, а условия содержания на-много ухудшились. Следствием этого явился повышенный рост смертности от общего числа заключенных, достигавший в годы войны 18,5% [7]. Однако «спецконтингент» не имел серьезной тенденции к уменьшению, ибо постоянно пополнялся за счет военнопленных и интернированных иностранных граждан а также депортированных представителей национальностей СССР, обвиненных в пособничестве немецким оккупантам. К 1945 г. численность пленных в ре-гионе достигла максимальной цифры в 250 тыс. чел. Лагеря для военноплен-ных и интернированных размещались в основном в индустриальных центрах Урала, где наблюдалась наибольшая потребность в рабочей силе [8].

Милитаризованный труд, основанный на внеэкономическом принуждении составлял заметную долю в производственном процессе Урала в годы войны однако использовался он главным образом во вспомогательных сферах произ-водства и отличался низкой производительностью. Решающая же роль в основ-ных отраслях уральской экономики, вне всякого сомнения, принадлежала местным и эвакуированным специалистам, самоотверженно выполнявшим свой патриотический долг.

В целом, оценивая политику властей в решении кадровых проблем, отме-тим, что в первую очередь она была направлена на максимальное расширение трудового потенциала в промышленности. Уральское индустриальное производ-ство в результате комплексных мер, осуществленных государственными струк-турами, не испытывало в годы войны хронического дефицита рабочей силы, за исключением высококвалифицированных кадров.

В то же время убыль трудоспособного населения деревни практически не восполнялась. Массовые мобилизации на фронт, административно-командное перераспределение сельских жителей между промышленностью, транспортом и строительством привели к большому оттоку населения из сельской местности. Резкое сокращение рождаемости и миграционные процессы, связанные с эва-

куацией и реэвакуацией также крайне негативно отразились на демографическая ситуации в уральской деревне. В результате численность сельского населения Урала за годы войны сократилась на 25,3%. Особенно эта негативная тенденция проявилась среди трудоспособного мужского населения, уменьшившегося на 65,3% [9]. В результате возникла острая нехватка не только квалифицированных кадров, но и просто рабочих рук. Эта проблема породила резкое обострение социальной ситуации в аграрном секторе. Поиск путей эффективного функционирования сельского хозяйства в экстремальных условиях заставлял власти усилить административно-правовые меры воздействия, предусматривавшие жесткое планирование, грубое вмешательство в производственный процесс, прямые репрессии против невыполняющих производственные задания.

В годы войны вся производственная сельскохозяйственная деятельность оценивалась в трудоднях в зависимости от квалификации работника и сложности выполняемой им работы. Каждый трудоспособный житель сельской местности в течение года обязывался выработать определенный минимум трудодней: 100—120 — для взрослых; 50 — для подростков. Чтобы компенсировать нехватку рабочей силы и техники, особенно в период посевной и уборочной кампаний, власти энергично использовали массовые мобилизации горожан на сельхозработы, целенаправленно эксплуатировали небывалый патриотический подъем тружеников села. Ведущую роль в сельхозпроизводстве, в силу сложившихся обстоятельств, играли женщины. Они самоотверженно трудились во всех отраслях сельского хозяйства, часто выполняя традиционно мужские обязанности. К концу войны их доля среди трудоспособного населения аграрного сектора Урала увеличилась по сравнению с довоенным периодом на 20,8% [10]. Колоссальное перенапряжение сил самым пагубным образом отражалось на состоянии здоровья жительниц уральской деревни, особенно женщин-механизаторов. За свою самоотверженность они платили очень дорогую цену, многие из них не смогли иметь детей, получили хронические заболевания.

Вовлечение в аграрное производство нетрудоспособных селян, сезонные мобилизации горожан, частичное трудоустройство в колхозах и совхозах эвакуированных не снимали острой нехватки работников. В результате, при общем сокращении населения Урала за военный период более чем на 1 млн чел. (на 7,7%), удельный вес горожан, учитывая эвакуацию в регион главным образом промышленно-оборонных предприятий, увеличился с 37,5% до 49,4%, а сельское население сократилось с 62,5% до 50,6% [11]. Это выравнивание долей жителей города и деревни, произошедшее к концу войны впервые в истории региона, имело крайне противоречивые экономические последствия. Промышленность сделала колоссальный шаг вперед, а сельское хозяйство оказалось не в состоянии сохранить производство даже в довоенных размерах.

Максимально эксплуатируя народный энтузиазм, используя административно-репрессивные меры ужесточения производственной дисциплины, сталинское государство при этом осуществляло целенаправленную политику на значительное удешевление стоимости рабочей силы. В течение войны заработная плата номинально росла. К 1944 г. среднемесячный оклад рабочих в промышленности вырос по сравнению с 1940 г. с 375 до 573 руб., то есть на 53%. На Урале, где со-

средоточился значительный контингент квалифицированной, высокооплачиваем рабочей силы, прирост был еще больше и составлял 65% [12]. Однако пар лельно с повышением заработной платы, государство многократно увелич налоги и другие отчисления с граждан. В результате к 1944 г. объем налогов поступлений от населения Урала вырос по сравнению с довоенным периодом 3,7 раза. Если прибавить к этому обязательные безвозвратные изъятия в в госзаймов и денежно-вещевых лотерей, а также взлет рыночных цен, то получ ся, что реальная заработная плата в уральской промышленности к концу вой не выросла, а наоборот сократилась почти на 60% [13]. Значительное сниже денежного обеспечения произошло в аграрном секторе. И без того мизерная с имость довоенного трудодня уменьшилась вдвое В среднем по Уралу она сост ляла ничтожную сумму не превышавшую двух рублей.

Чрезвычайный характер приобрела в военный период продовольствен проблема. Производство и потребление продуктов питания в уральских об стях и республиках за годы войны, по сравнению с 1940 г., уменьшилось поч в 2 раза. Для удовлетворения жизненных потребностей людей, занятых в п мышленности, была введена карточная система. Норма рабочих I категор трудившихся на оборонных заводах, составляла 2 кг мяса, 600 г жиров, 1,5 крупы или макаронных изделий в месяц и 700 г хлеба в сутки. Работники в остальных промышленных предприятий, отнесенные ко II категории, получ 1,8 кг мяса, 400 г жиров, 1,2 кг крупы или макаронных изделий в меся 600 г хлеба в сутки. Суточная хлебная карточка для детей и иждивенцев ставляла 400 г. Нормированное распределение продуктов питания осуществ лось через государственную торговлю, однако из-за нехватки продовольст карточки почти постоянно не отоваривались полностью. Кроме того, на бо шинство видов продовольствия фонды ежегодно снижались. Уже к ко 1941 г. из системы государственной торговли полностью исчезли овощи, к тофель, фрукты, ягоды, молочные продукты.

Чтобы как-то улучшить ситуацию с продовольствием, на предприятиях здавались отделы рабочего снабжения, при которых организовывались подсоб хозяйства, магазины и столовые. К концу войны практически все уральские пр приятия и многие организации имели свои ОРСы, превратившиеся по сути д в крупные заводские цеха по производству продуктов питания. Наиболее ве мым был удельный вес ОРСов в поставках рабочим и служащим картофел овощей. Через отделы рабочего снабжения шло распределение и централизов ных фондов. По уральскому региону через систему ОРСов прошло 45% всех варных ресурсов, в то время как по СССР этот показатель не превышал 2

Деятельность ОРСов, как формы закрытого ведомственного снабже имела и ряд негативных моментов. Очень часто они становились инструмен незаконного перераспределения потребительских товаров. Практика недосн жения рабочих и переснабжения «командиров производства» хоть и осужда партийно-государственными органами в различных постановлениях, но имела мое широкое распространение во всех областях и республиках Урала.

Недостаток продовольствия в какой-то мере можно было компенсиров через коммерческую и рыночную торговлю. Сеть коммерческих магазинов и

сторанов, созданная в 1944—1945 гг. в крупных городах Урала, легализовала нерегламентированный потребительский стандарт, отвлекала часть платежеспособного спроса из сферы нормированного снабжения, но была не доступна основной массе трудящихся, имевших низкие доходы. Рыночная торговля развивалась с использованием разных экономических рычагов. Колхозная торговля оставалась способом административно-командной перекачки сельхозпродукции, альтернативу государственному распределению обеспечивал «черный» рынок. Цены на нем по сравнению с довоенными к 1943 г. в среднем выросли в 13 раз. При среднемесячной зарплате квалифицированного рабочего оборонного предприятия в 573 руб. на уральских рынках 1 кг масла в среднем стоил 793 руб., 1 кг говядины — 314 руб., булка пшеничного хлеба (0,7 кг) — 400 руб., десяток яиц — 198 руб., 1 кг ржаной муки — 158 руб., 1 л молока — 87 руб., 1 кг картофеля — 45 руб., 1 кг капусты — 43 руб. Самый высокий взлет цен в годы войны отмечался на базарах Свердловска, где стоимость ржаной муки по сравнению с июнем 1941 г. увеличилась в 125 раз, пшеничной — в 29, картофеля — в 71, говядины — в 18, сливочного масла — в 29, молока — в 40, яиц — в 25 раз. Дороговизна заставляла большую часть населения попросту отказываться от многих продуктов. К примеру, покупка овощей, фруктов, ягод, молока, масла, мяса, сала сократилась по сравнению с 1940 г. в 15—20 раз. В основном на рынке приобретались дополнительно к карточным пайкам, отоваренным по твердым государственным ценам, хлеб, масло, сахар, что «съедало» до 85% бюджета семьи.

В годы войны на Урале активно развивались источники децентрализованного снабжения: подсобное хозяйство и индивидуальное огородничество. Более 50% горожан вынуждены были заниматься выращиванием сельскохозяйственной продукции. За военный период посевные площади личных хозяйств населения региона увеличились на 44,8% (с 301,2 тыс. до 436,4 тыс. га). Индивидуальное выращивание картофеля и овощей для многих семей часто было единственным способом выживания [14].

Несмотря на то, что структура питания населения Урала значительно ухудшилась, общее количество потребляемых продуктов все же позволяло минимально удовлетворить жизненные потребности людей и исключало возможность массового голода в регионе. Однако его локальные очаги повсеместно наблюдались в северных районах края с традиционно сложными географо-климатическими условиями, отдаленных от промышленных центров, чье развитие во многом зависело от централизованного продовольственного снабжения. Замкнутость, нарушение транспортных коммуникаций, высокие сельскохозяйственные налоги привели к вспышкам голода в Буткинском, Манчажском, Алапаевском районах Свердловской области и ряде территорий Башкирии и Удмуртии. Голод коснулся прежде всего наиболее незащищенных и уязвимых социальных слоев общества: детей, престарелых, рабочих, прибывших по оргнабору из Средней Азии и Казахстана [15].

В тяжелые дни войны в уральском регионе имело место заметное сокращение производства промышленных товаров и предметов культурного назначения. Следствием этого было то, что многократно уменьшилось и приобретение уральцами непродовольственных товаров. За годы войны, в сравнении с довоенным периодом,

покупка тканей снизилась в 10—12 раз; обуви — в 3—4 раза; керосина — в 40—120 раз; дров, хозяйственного мыла — в 2—3 раза. Даже на самых важных военных заводах работники не были в достатке обеспечены предметами повседневного обихода. До жителей сельской местности промтовары практически не доходили. Особенно наглядно проявлялась нехватка обуви. Это приводило к тому, что на ряде предприятий создавались мастерские по производству лаптей. К примеру, на Ижевском машиностроительном заводе ежемесячно выпускалось до 10 тыс. пар этой необычной продукции. В то же время те социальные слои, которые реально контролировали товарные ресурсы (партийно-государственная номенклатура и небольшой круг деятелей культуры, ее обслуживающих) могли в полной мере удовлетворить свои потребности через систему закрытых магазинов, столовых и спецраспределителей. На фоне общих лишений и тотального дефицита их высокий жизненный уровень выглядел аномалией.

Резкое понижение уровня материально-бытового обеспечения населения Урала сочеталось в годы войны с увеличением трудовой нагрузки, регулируемой целым рядом чрезвычайных законов. На их основе вводились обязательные сверхурочные работы от 1 до 3 часов, отменялись очередные отпуска. Рабочие оборонных предприятий переводились на положение мобилизованных. Самовольный уход с работы или опоздание более чем на 20 минут рассматривались как дезертирство и решением военных трибуналов карались тюремным заключением в соответствии с Указом от 26 декабря 1941 г. За годы войны на Урале в «указники» попали несколько тысяч человек, в том числе большое количество подростков 14—16 лет. Различного рода административные и общественные взыскания предусматривались также за мелкие нарушения производственной дисциплины, невыполнение плановых заданий, срыв графика работ и т.п.

Значительная интенсификация трудовых затрат в условиях массового обнищания и государственного прессинга крайне неблагоприятно воздействовала на психику тружеников тыла, порой порождала факты социального пессимизма, попытки уклониться от обязанностей, стремление пьянством ослабить негативное воздействие реальной действительности, обусловливала антиобщественное поведение, осложняла криминогенную ситуацию. Однако отрицательные явления общественной жизни, объективно порожденные условиями войны, не становились необратимой тенденцией. Подавляющее большинство уральцев, выполняя свой долг перед Родиной, проявляли терпение и самоотверженность, отдавали все силы без остатка для достижения общей победы. Основой такого поведения, до сих пор вызывающего чувство удивления и восхищения, был мощный духовный фундамент уральского региона, оказывавший прямое воздействие как на уральцев, так и на всех жителей страны.

Отметим, что количественные показатели культурного развития по России в годы войны в целом имели объективную тенденцию к снижению. Однако на Урале наблюдался парадоксальный, на фоне военных невзгод, духовный подъем. Всплеск в развитии культуры края объясняется наличием здесь созданного в довоенный период солидного научно-образовательного и художественно-образного потенциала, полной его мобилизацией на нужды обороны, а также эвакуацией сюда большого количества учреждений науки, образования, культуры из западных районов.

В годину тяжелых испытаний Урал стал признанным центром науки. В Свердловске длительное время размещался Президиум Академии наук СССР, продолжал работать ее Уральский филиал, была сформирована и энергично трудилась Комиссия по мобилизации ресурсов Урала и Сибири на нужды обороны страны. В Уфе наладилась деятельность эвакуированной Академии наук Украины. Основными чертами развития научной мысли на Урале стали: расширение масштабов исследовательской работы, усиление ее связи с производством, сосредоточение на решении оборонных задач.

Примером эффективного воплощения научных разработок на практике была деятельность Комиссии по мобилизации ресурсов Урала и Сибири на нужды обороны страны, возглавляемая академиком В. Комаровым. При активном участии 60 научных учреждений, более 800 специалистов науки и техники, среди которых были выдающиеся ученые И. Бардин, Э. Бриске, А. Байков, В. Образцов, Л. Шевяков и др., было изучено состояние важнейших отраслей народного хозяйства Урала, разработан план мобилизации оборудования, сырьевых и людских ресурсов на нужды обороны, выявлены новые стратегические источники сырья (нефти, угля, марганца, железа, цветных металлов), усовершенствована эксплуатация железнодорожного транспорта. В частности, по рекомендациям Комиссии удалось освоить добычу угля открытым способом в Челябинском и Богословском бассейнах, обнаружить в Башкирии самые крупные месторождения нефти (Кинзебулатовское, Туймазинское) с момента создания восточной нефтяной базы. В разгар военных действий эти открытия имели огромное стратегическое значение.

Изыскания, направленные на совершенствование и развитие военного производства, вели практически все НИИ Уральского филиала АН СССР, АН Украины, местные и эвакуированные отраслевые научные учреждения. С помощью ученых совершенствовались конструкции, внедрялась и осваивалась новая передовая техника, снижалась трудоемкость изготовления продукции, приводились в движение внутренние резервы промышленных предприятий. Научные сотрудники Свердловского Института металлов Я.С. Шур и С.В. Вонсовский разработали и внедрили магнитный метод контроля корпусов артиллерийских снарядов. Группа ученых, работавших на Уфимском нефтяном заводе, возглавляемая Н.М. Караваевым, разработала технологию, снижающую содержание сернистых соединений в башкирской нефти с 3 до 0,3%, что позволило изготовлять из нее высококачественное авиационное топливо. На Уралвагонзаводе было успешно внедрено в производство изобретение Е.О. Патона: автоматическая сварка под флюсом в несколько раз увеличила производительность труда сварщиков в танковой промышленности. Крупные научные открытия и замечательные изобретения, имевшие важное оборонное значение, сделали на Урале в годы войны известные и молодые ученые В.И. Архаров, А.А. Блохин, А.А. Богданов, П.К. Кикоин, В.Н. Козлов, В.В. Михайлов, М.Н. Михайлов, И.Я. Постовский, С.И. Ремпель, В.Е. Руженцов, Н.С. Сунов, Г.И. Чуфаров, Л.Д. Шевяков, Р.И. Янус и другие [16].

Как производительная сила проявила себя и вузовская наука. В годы войны центр научно-исследовательской работы ученых высших учебных заведений был перенесен на промышленные предприятия. Это привело к возникновению но-

вых форм интеграции науки с производством, выразившихся в достаточно четких и определенных формулах: институт — завод, кафедра — цех. Огромный вклад в развитие военно-промышленного комплекса страны внес крупнейший вуз региона — Уральский индустриальный институт. Работавшие в нем специалисты оказали за годы войны техническую и консультативную помощь 400 уральским заводам и стройкам. Они плодотворно сотрудничали с трудовыми коллективами Уральского алюминиевого завода, Ново-Тагильского и Лысьвенского металлургических заводов, Уралмаша и др. Всего за годы Великой Отечественной войны ученые Уральского индустриального института выполнили около 700 научно-исследовательских работ.

Научно-техническим центром являлся Магнитогорский горно-металлургический институт. Здесь за годы войны было выполнено 204 научно-исследовательские работы, внедренные на местном металлургическом комбинате. Среди научных достижений магнитогорцев: создание новых технологий массового производства броневой стали; повышение стойкости мартеновских печей; разработка новых марок сталей и профилей проката для танков «КВ» и «Т-34». Своими научными исследованиями всемерно способствовали совершенствованию отечественного танкостроения и высшие учебные заведения Челябинска. Постоянную помощь конструкторному бюро Кировского завода оказывали ученые механико-машиностроительного института и института механизации и электрификации сельского хозяйства.

Активную помощь развитию промышленности, сельского хозяйства, медицины оказывали уральские университеты и педагогические институты, 1/3 всех научно-исследовательских работ которых субсидировалась военными организациями. Нередко поиск ученых приводил к оригинальным и очень полезным результатам. Так в Уральском университете доктор физико-математических наук профессор А.А. Яговкин сконструировал несколько приборов по аэронавигации и самолетовождению, применение которых значительно улучшило ориентировку летчиков при ведении воздушного боя. Практическое применение имели открытия его коллег: профессора С.В. Карпачева, предложившего новый экономичный способ получения алюминия, профессора С.П. Мокрушина, создавшего специальную смазку против запотевания очков противогазов и др. Значительную научно-исследовательскую работу, направленную на нужды обороны страны провели сельскохозяйственные вузы Урала: Башкирский, Молотовский, Свердловский и Чкаловский. Неоценимый вклад в дело организации здравоохранения региона, а также в процесс восстановления здоровья раненых бойцов Красной армии внесли действовавшие на Урале 4 местных (Свердловский, Молотовский, Башкирский, Ижевский) и 2 эвакуированных (Киевский, Харьковский) медицинских вуза [17].

Значительные изменения произошли в годы Великой Отечественной войны в работе региональной системы народного образования. Начало военных действий обусловило объективный процесс ее свертывания. В 1943 году контингент студентов вузов Урала составляли 91%, учащихся ссузов — 79,9%, школьников — 69,2% от уровня 1940 года. Серьезному сокращению подвергся профессорско-преподавательский корпус, намного уменьшилась материальная

техническая база учебных заведений. Однако по ходу развертывания событий эта негативная тенденция была остановлена и к концу войны образовательный потенциал края был почти восстановлен. Более того, по целому ряду показателей имело место превышение довоенных цифр.

За счет эвакуированных учебных заведений усилилась региональная вузовская система. На Урале побывали 46 вузов, включая многие флагманы высшего образования СССР. В Свердловске размещались Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского, Киевская консерватория; в Ижевске — Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана; в Уфе — 1-й Московский медицинский институт; в Челябинске — Сталинградский механический институт; в Перми — Ленинградский военно-механический институт и др. Между местными и прибывшими вузами устанавливались отношения делового сотрудничества, что способствовало совершенствованию научно-педагогической деятельности и учебно-воспитательного процесса.

Большинство приезжих институтов и университетов, реэвакуируясь на места прежней дислокации, оставляли часть учебного оборудования, преподавательских кадров и студентов. Это привело к расширению вузовской сети уральского региона с 48 до 60 учебных заведений. Перед уральскими студентами впервые распахнули двери новые институты в Свердловске, Челябинске, Уфе, Чкалове, Кургане, Нижнем Тагиле и Шадринске. Среди них: 5 промышленных, 2 медицинских, сельскохозяйственный, педагогический, юридический и театральный. Постепенно была стабилизирована сеть средних специальных учебных заведений и общеобразовательных школ. Их контингенты учащихся в 1945 году составляли соответственно 108% и 71,6% от довоенного уровня [18]. В целом, система образования Урала, несмотря на трудности военного времени, доказала свою жизнеспособность и заняла солидное место в общероссийском образовательном потенциале. К концу войны в регионе насчитывалось 14,3% высших учебных заведений и 16,1% средних специальных заведений, совместно подготовивших 10% всех российских выпускников. В областях и республиках Урала работало 14,9% общеобразовательных школ [19].

Преодолевая трудности военного времени, целенаправленно развивалась культурная жизнь Урала. После некоторого спада, связанного с уходом на фронт большой группы уральских писателей и поэтов, вновь интенсивно стала развиваться литературная жизнь. Под руководством П. Бажова и А. Караваевой был создан и стал активно действовать литературный центр в Свердловске. В Башкирии и Удмуртии, в Прикамье и Зауралье, на Южном и Среднем Урале плодотворно заработали писательские организации, укрепившие свои ряды за счет прибывших в эвакуацию из крупнейших культурных центров страны литераторов. Творческое содружество корифеев пера (А. Фатьянова, А. Первенцева, Н. Асанова, Ю. Тынянова, В. Каверина, М. Шагинян, А. Барто, Е. Пермяка, А. Коца, Л. Кассиля, П. Тычины, А. Корнейчука и др.) с местными талантами (Б. Рябининым, К. Мурзиди, В. Каменским, Л. Татьяничевой, В. Пистоленко, М. Каримом, Б. Бикбаем, П. Чайниковым, Ф. Кедровым и др.) дало незамедлительный эффект. Из-под пера литераторов

стали выходить произведения публицистики, художественной прозы, поэзии драматургии, несущие огромный мобилизационно-организаторский и идейно воспитательный заряд. Большое значение имела агитационно-пропагандистская работа деятелей литературы: выступления по радио, встречи с читателями, участие в агитбригадах. Литературные произведения, написанные на злобу дня, отражавшие актуальные проблемы, без промедления принимались издательствами и публиковались массовыми тиражами. Так за период войны издательствами базирующимися только на территории Свердловской области, было выпущено 14 млн 853 тыс. экземпляров различных изданий. Более 4 млн экземпляров опубликовало Башкирское книжное издательство, 3,4 млн экземпляров — издательства Оренбуржья [20].

Одну из главных ролей в идейно-воспитательной работе среди тружеников тыла и фронтовиков играли уральские театры. Преодолев временные трудности начального периода войны, выразившиеся в сокращении государственных дотаций, в количественном уменьшении состава актерских трупп, в передаче театральных зданий под военные цели, они полностью выполнили поставленные перед ними задачи. К концу войны в регионе работало 60 театральных коллективов, что составляло 15,6% от их общего количества в России. Все уральские театры укрепили кадровый состав, стабилизировали материальную базу, обновили репертуар лучшими произведениями современной и классической драматургии. Это способствовало повышению качества постановки спектаклей, усилению роли театров региона в агитационно-массовой работе с трудящимися, в военно-шефской работе с красноармейцами. За военные годы в театрах Урала было поставлено 3,1 тыс. пьес, проведено 65,6 тыс. спектаклей с охватом 28,5 млн зрителей.

Огромный позитивный эффект имела временная эвакуация на Урал 25 ведущих артистических коллективов страны, среди которых были Московский художественный академический театр, Центральный театр Красной армии, Московский театр сатиры, Московский академический Малый театр, Ленинградский театр оперы и балета им. С.М. Кирова, Ленинградский Малый театр оперы и балета и др. Значительная концентрация на Урале лучших театральных сил страны, несмотря на проблемы материального и организационного плана, в конечном итоге способствовала совершенствованию уральской школы актерского и режиссерского мастерства, повышению зрительского интереса. Высокий уровень театрального искусства Урала военной поры был подтвержден Государственной Сталинской премией, присужденной спектаклям Свердловского театра музыкальной комедии («Табачный капитан», 1944 год, режиссер Г. Кугушев, артисты М. Викс, С. Дыбчо, П. Емельянова) и Свердловского театра оперы и балета («Отелло», 1945 год, режиссер Е. Брилль, дирижер А. Маргулян, артисты Н. Киселевская, А. Азрикан) [21].

Значительный вклад в общую победу над немецким фашизмом внесли уральские художники, проделавшие большую работу по перестройке своей деятельности с целью активизации изоискусства как одного из самых доходчивых и массовых средств агитации и пропаганды. Уделив много внимания выпуску агитационно-пропагандистских произведений, оформлению ими мест наибольшего стечения народных масс, они добились того, что наглядная агитация в годы

войны стала конкретней, убедительней, приобрела наступательный характер. В военный период из под кисти свердловчан Г. Ляхина, А. Вязникова, Г. Меленьева, П. Васильева; прикамцев В. Чегодара, Н. Серебренникова; южноуральцев И. Вандышева, М. Помянского; оренбуржцев Н. Кудашева, М. Петунина; зауральцев А. Злодеева, М. Успенской; башкирских и удмуртских мастеров Р. Ишбулатова, М. Арсланова, Д. Ходырева, Н. Косолапова и многих других вышел целый ряд художественных произведений, отличавшихся высоким исполнительским мастерством, наполненных идеей беззаветного служения Отечеству. Демонстрация этих произведений на многочисленных выставках стала одной из самых действенных форм патриотического воспитания народа. Все вернисажи, проводимые на Урале в годы войны, вызывали повышенный интерес у специалистов и зрителей, однако самыми примечательными стали: «За Родину» (Уфа, 1942 г.), «Ленинград в дни блокады» (Пермь, 1943 г.), «Урал — кузница оружия» (Свердловск, 1944 г.) и ряд других [22].

Особую значимость в общественном развитии Урала в годы Великой Отечественной войны приобрело кино. Учитывая его огромные возможности в процессе воспитательной работы с массами, работники региональной системы кинофикации, преодолев издержки начального периода войны, успешно решали задачи по расширению материальной базы киносети и приобщению к этому виду искусства новых масс зрителей. Причем восстановление киносети Урала шло значительно быстрее, чем на других российских территориях. К концу войны доля Урала в РСФСР по этому показателю увеличилась с 22,9 до 27,3% в сравнении с 1941 г.

Разнообразные формы агитационно-пропагандистской работы в сочетании с демонстрацией кинофильмов обеспечили широкомасштабный охват населения За годы войны только по 5 областям региона к просмотру художественных и документальных фильмов был привлечено 181 млн чел. Наряду с массовым потреблением кинопродукции, Урал чрезвычайно деятельно участвовал и в ее создании. В крае активно работала Свердловская студия кинохроники, выпустившая 242 киножурнала, а в феврале 1943 года была образована Свердловская студия художественных фильмов, отснявшая в 1944 году первую игровую картину «Сильва» [23].

В годы войны в значительной мере увеличилась насыщенность музыкальной жизни уральского региона. Край радушно принял и создал все условия для творчества выдающимся композиторам: Т. Хренникову, А. Хачатуряну, В. Шебалину, Р. Глиэру, Д. Кабалевскому, В. Соловьеву-Седому, И. Дзержинскому, М. Чулаки, Д. Френкелю, В. Волошинову. Вместе с ними активно трудились уральцы: В. Трамбицкий, М. Розенпуд, М. Фролов, Н. Хлопков, М. Черняк, Р. Муртазин, Х. Ахметов, Х. Исмагилов, Н. Греховодов и другие. Столицей музыкального Урала без всякого преувеличения был Свердловск, где в годы войны жили и плодотворно работали 40 членов Союза композиторов. Творческое содружество музыкантов давало замечательные плоды. На Урале было написано и впервые исполнено большое количество симфонических произведений, опер, балетов и т.п. Замечательный всплеск имело песенное искусство. Здесь появились многие песни, отразившие всю глубину патриотических чувств

народа и ставшие чрезвычайно популярными по всей стране: «Уральцы бьютс здорово» Т. Хренникова, «Ой туманы мои, растуманы» В. Захарова, «Поход ная песня» Х. Исмагилова, «Песня мщения» В. Соловьего-Седого, «Песня Двадцати восьми» В. Волошинова и другие.

Заметное место в музыкальной жизни Урала занимала народная музыка. Дл ее пропаганды в регионе проходили гастроли хора имени Пятницкого, художе ственно-музыкальных коллективов под управлением Л. Оборина и Е. Свешников На Среднем Урале были организованы Уральский народный хор, хор Област ного радиокомитета и оркестр народных инструментов. В Челябинске приступи к работе народный хор Южного Урала. Активно популяризировались и шедев ры русской и зарубежной классики. В этих целях в Свердловске был созда симфонический оркестр и хоровая капелла. В концертах классической музык участвовали не только уральские музыканты, но и многие выдающиеся исполни тели страны. Так, за годы войны в Свердловске гастролировали Д. Ойстра Э. Гилельс, Л. Оборин; в Уфе радовали зрителей Д. Шостакович, Г. Гинзбур в Ижевске — Я. Зак, Г. Нейгауз, И. Михновский, В. Макарова-Шевченк Известные музыканты выступали также в концертных залах Челябинска, Пер ми, Нижнего Тагила, Воткинска и других уральских городов. В целом, концерт классической, народной, эстрадной музыки играли большую роль в процес приобщения к музыкальной культуре огромных масс населения. За годы войн только на Среднем Урале их посетили более 6 млн чел., что является уникал ным достижением даже для мирного времени [24].

Отметим, что все произведения литературы и искусства военной поры, с зданные на Урале, являлись порождением тоталитарной культуры, существова шей в атмосфере политической цензуры и идеологического давления. В услови мирного времени это несло в себе отрицательный заряд, направленный на по ное подчинение личности государственным структурам. Однако на крутом пов роте истории, когда власть на первый план выдвинула концепцию защит целостности, независимости и суверенитета Родины, концентрация всего духо ного потенциала литературы и искусства в оборонно-патриотическом направлени при всех политических и идеологических издержках, безусловно, обеспечивала п ложительный эффект в смертельной схватке с грозным противником.

В годы Великой Отечественной войны заметно поднялся нравственно-р лигиозный уровень населения Урала. После долгих лет целенаправленного уни тожения церковных институтов, последовательных гонений на верующих с цел тотального подавления оппозиционного инакомыслия и полного утверждени сознании людей большевистской идеологии, органы управления уральскими о ластями и автономными республиками значительно ослабили государственн прессинг, предоставив религии возможность легального развития. В регионе н чался процесс открытия молитвенных зданий, прекратились расправы над с щеннослужителями, произошла амнистия ранее репрессированных, ослаби контроль за хождением религиозной литературы.

К марту 1944 г. под эгидой Московской Патриархии с согласия СН СССР на Урале вновь начинается официальное функционирование четырех еп хий, границы которых практически совпадали с гражданским административ

территориальным делением региона. В Молотовской области стала действовать Молотовская епархия, куда на пост Епархиального Архиерея был назначен епископ Александр (Толстопятов) с присвоением ему титула Молотовский и Соликамский. Была восстановлена деятельность Удмуртской епархии во главе с архиепископом Сарапульским Иоанном (Братолюбовым), продолжила работу Башкирская епархия, руководимая архиепископом Уфимским Стефаном (Проценко). Свердловская епархия первоначально охватила две уральские области — Свердловскую и Челябинскую. Архиерейскую кафедру здесь возглавил епископ Варлаам (Пикалов), получивший титул Свердловский, по городу, где находилась его резиденция и кафедральный собор. Только после войны официально была зарегистрирована Чкаловская епархия, хотя ее руководитель — епископ Чкаловский и Бузулукский Мануил (Лемешевский) именно в военные годы проделал огромную работу по возобновлению религиозной пропаганды в Чкаловской области, способствовал возрождению культовых учреждений, полностью закрытых в довоенный период. Все вышеназванные уральские архиереи приступили к своим обязанностям после заключения в сталинских лагерях, попав под амнистию, связанную с изменением религиозной политики государства [25]. Веротерпимость властных структур проявилась и по отношению к неправославным конфессиям, также получившим право и возможность влияния на общество.

Отметим, что практически все церковные институты, сохранившиеся на Урале к началу войны, сразу же осудили фашистское вторжение, призвав паству встать в ряды защитников Отечества. С конца 1943 года патриотическая работа культовых учреждений приобрела еще более внушительный размах, чему во многом способствовала «новая религиозная политика» государства. Во всех действующих церквах и молитвенных зданиях уральского региона священнослужители произносили проповеди, разоблачающие фашистскую идеологию, накладывали проклятие на зарвавшегося агрессора, клеймили позором совершаемые им злодеяния. Духовные пастыри служили молебны о даровании Победы Красной Армии в кровавой битве с грозным врагом, направляли пастве церковные послания с призывами превозмочь все невзгоды военного времени, забыть имеющиеся разногласия и сплотиться в единое целое для священной борьбы с захватчиками. Немаловажное значение имела и реабилитационная работа церкви с пострадавшими в горниле военных испытаний. Душевная теплота и участие по отношению к нуждающимся, моральная поддержка обездоленных, ослабляли жестокие страдания людей, вызванные потерей близких и материальными лишениями.

Наряду с агитационно-пропагандистской деятельностью, мобилизующей массы на отпор неприятелю, поддерживающей моральный дух и уверенность населения в окончательный успех, религиозные учреждения и организации Урала осуществляли огромную практическую работу, имевшую серьезную материальную основу. Скромные взносы прихожан в фонд будущей Победы в совокупности составляли порой миллионные суммы. Так, верующие, посещавшие церковь Всех Святых в г. Молотове, за годы войны собрали под руководством своего настоятеля И. Караваева 1 млн 625 тыс. руб. Более миллиона рублей внесла приходская община Успенской церкви г. Ижевска, возглавляемая свя-

щенником Г. Грачевым. Решающую роль сыграл Урал и в создании знаменито танковой колонны имени Дмитрия Донского. По призыву митрополита Серги (Страгородского), она организовывалась на средства духовенства и верующи Все уральские епархии внесли значительные денежные средства, но вклад свя щеннослужителей и прихожан Пермской области в размере 6 млн руб. вызы вает особое уважение, так как он стал одной из самых крупных сумм пожертвованных на вооружение Красной Армии по всей стране. Отметим и т что все сорок средних танков Т-34, составивших боевой костяк колонны имен Дмитрия Донского, были сделаны на заводах уральского г. Челябинска.

В целом на нужды защиты страны православные уральского региона собра ли около 14 млн руб., из них 12 млн руб. были направлены в фонд обороны более 800 тыс. руб. потрачены на подарки бойцам и командирам Красной Ар мии, раненым и больным фронтовикам, находящимся на излечении в госпита лях. Более 1 млн руб. пошло на помощь семьям фронтовиков, детям-сирота и на прочие патриотические цели [26].

Органы управления областей и автономных республик Урала, проводя в год войны либеральную политику по отношению к деятельности религиозных инсти тутов, естественно, опирались на решения высшей власти, которая пошла на ком промисс с церковью в силу целого ряда причин. Главными из них были: н допустить использование неприятелем церкви в качестве «пятой колонны» дл подрывной деятельности в советском тылу, поставить религиозно-патриотически и нравственный потенциал церкви на службу интересам защиты Отечества, обес печив при этом морально-политическое единство борющегося народа и усилени международного авторитета русского православия. Важное значение при это уделялось установлению полного контроля за работой церковных институтов.

Государство, убедившись в жизнестойкости религиозных представлений в мас совом сознании, следуя разумной логике, отказалось от утопического курса н полное их искоренение и попыталось осуществить четко спланированный полити ческий маневр, направленный на подчинение церкви и использование ее растуще популярности в своей внутренней и внешней политике. Поэтому церковное руко водство, несмотря на объявленную либерализацию, не имело самостоятельности даж в решении вопросов внутреннего развития конфессий и ставилось в зависимость о специально созданной для этого государственной системы управления. Тольк Советы по делам Русской Православной Церкви и по делам религиозных культо работавшие при Правительстве, а также институт их уполномоченных на места получили в свои руки весь набор рычагов, позволяющий при необходимости уск ливать или сдерживать религиозную активность в стране.

Вполне естественно, что уральские органы управления, занимавшиеся про блемами развития религиозных культов, следуя директивам центральных орга нов, вели в этом направлении очень умеренную политику, искусственно тормоз количественный рост церквей, молитвенных зданий, священнослужителей. З период с 1944 по 1945 гг. в пяти областях и двух автономных республик Урал были отклонено 90,3% заявлений верующих с просьбами об открытии церквей Из 2448 православных храмов, закрытых большевиками на Урале в довоенны период, в годы войны возобновили свою деятельность только 88, что составил

всего 3,6%. 2304 церкви (94,1%) по-прежнему несли на себе печать осквернения, были заняты под хозяйственные нужды или находились в заброшенном состоянии, подвергаясь сильнейшему разрушению. Отметим, что политика «сдерживания религиозных чувств» была характерна для органов власти и по отношению к другим конфессиям. Из 17 возобновивших религиозную деятельность культовых учреждений различных верований, составивших всего 0,96% от количества закрытых в довоенные годы, было 7 мечетей (0,44% от количества ранее закрытых), 9 молитвенных домов сектантов (5,2% от количества ранее закрытых) и одна синагога (7,1% от ранее закрытых). 1747 культовых учреждений, то есть 99,0% от ликвидированных большевиками, в годы войны не изменили своего статуса, продолжали оставаться занятыми под клубы, школы, библиотеки, склады, производственные и военные объекты [27].

«Новая политика», основанная на принципе государственного регулирования и сдерживания религиозного развития, конечно не могла в полной мере удовлетворить церковное руководство и рядовых священнослужителей, однако, большинство из них солидаризировалось с ней, так как она давала легальные возможности внести свою лепту в патриотическое движение, направленное на разгром врага, снимала боязнь перед новыми репрессиями, порождала надежду на сохранение имеющихся, а в перспективе, пусть на медленное и частичное, но все же восстановление ранее ликвидированных культовых учреждений.

Таким образом, религиозно-нравственный потенциал уральского региона целиком и полностью использовался в годы войны для организации обороны страны. Приняв традиционные для военной поры формы, он, в первую очередь, решал патриотические задачи. Представители духовенства всеми доступными средствами старались воздействовать на верующих с целью формирования у них определенной картины восприятия действительности, способной служить патриотическому воспитанию, побуждать готовность к самопожертвованию на фронте и в тылу.

Конечно, духовный потенциал советской державы нес в себе элементы идейно-конъюнктурной ограниченности и использовался властными структурами для обслуживания и оправдания тоталитарного режима. Но это отнюдь не означало, что ученые, работники высшей школы, учителя, писатели, поэты, художники, музыканты, артисты и другие представители творческой интеллигенции превратились в его безропотных слуг, а народ напрочь отказался от Бога. Напротив, несмотря на идеологический прессинг со стороны господствовавшего режима, заставлявшего следовать политической конъюнктуре, российская интеллигенция сохранила чувства патриотизма, гражданственности, гуманизма, а большая часть населения — светлую религиозную веру.

В конечном итоге, грандиозная битва с грозным противником, выигранная на пределе возможностей, убедительно показала, что моральный дух народа, защищавшего Отечество, в первую очередь базировался на высоком образовательном, художественно-образном и нравственно-религиозном уровне развития общества. Именно духовный потенциал русского народа, а не господствующий над ним политический режим, стал определяющим фактором социальной стабильности, имевшей место во всех регионах воюющей страны и обеспечившей в конечном итоге единство фронта и тыла как решающий фактор победы над врагом.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Урал в панораме XX века. Екатеринбург, 2000. С. 267, 268.
2. Палецких Н.П. Социальная политика на Урале в период Великой Отечественной войны. Челябинск, 1995. С. 135.
3. Урал в панораме XX века ... С. 268, 269; Козлов Н.Д. Общественное сознание и настроения населения Урала в годы Великой Отечественной войны // Урал в стратегии Второй мировой войны. Екатеринбург, 2000. С. 16.
4. Сафронов А.А. Перераспределение трудовых ресурсов между западными регионами страны и Уралом в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) // Урал в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, 1995. С. 166.
5. Урал в панораме XX века ... С. 269, 270.
6. Палецких Н.П. Социальная политика на Урале в период Великой Отечественной войны ... С. 16.
7. Палецких Н.П. Социальная политика на Урале в период Великой Отечественной войны ... С. 25; Смыкалин А.С. Пенитенциарная система страны в годы Великой Отечественной войны // Урал в Великой Отечественной войне ... С. 117.
8. Мотревич В.П. Иностранные граждане на Урале в 40-е годы // Урал в Великой Отечественной войне ... С. 98, 99.
9. Урал в панораме XX века ... С. 275.
10. Урал в панораме XX века ... С. 275, 276.
11. Корнилов Г.Е. Уральское село и война. Екатеринбург, 1993. С. 23.
12. Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 1947. С. 117, 118.
13. Малафеев А.Н. История ценообразования в СССР. 1917—1963. М., 1964. С. 235.
14. Урал в панораме XX века ... С. 277, 278; Горелов И.П. Урал — «опорный край державы» (Вклад Урала в Великую победу) // Урал в стратегии Второй мировой войны ... С. 13.
15. Денисевич М.Н. Индивидуальные хозяйства на Урале. Екатеринбург, 1991. С. 87—89; Он же. Война и голод // Урал в Великой Отечественной войне ... С. 91, 92.
16. Сперанский А.В., Корнилов Г.Е. Великая Отечественная война // Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 108; Ахмадиев Т.Х. Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны. 1941—1945 гг. Уфа, 1984. С. 141; История Урала. XX век. Кн. 2. Екатеринбург, 1998. С. 177.
17. Сперанский А.В. Ученые — фронту: вузовская наука Урала в годы Великой Отечественной войны // Наука и образование в стратегии национальной безопасности и регионального развития. Екатеринбург, 1999. С. 210—215.
18. Сперанский А.В. В горниле испытаний. Культура Урала в годы Великой Отечественной войны (1941—1945). Екатеринбург, 1996. С. 38, 40, 92, 108.
19. Сперанский А.В. Культура Урала в годы Великой Отечественной войны: Дис. ... д-ра ист. наук. Екатеринбург, 1997. С. 9.
20. Сперанский А.В. В горниле испытаний ... С. 159, 165, 167.
21. Свердловская область за 50 лет. Цифры и факты. Свердловск, 1984. С. 233, 234; Сперанский А.В., Корнилов Г.Е. Великая Отечественная война ... С. 108; Сперанский А.В. В горниле испытаний ...С. 188, 189, 201, 202, 203.
22. Сперанский А.В. В горниле испытаний ... С. 232, 233, 234.
23. Сперанский А.В. В горниле испытаний ... С. 237, 238, 247; Сперанский А.В. Культура Урала в годы Великой Отечественной войны ... С. 277.
24. Сперанский А.В. В горниле испытаний ...С. 248-251; Сперанский А.В. Работник и воин // Екатеринбург. Исторические очерки (1723—1998). Екатеринбург, 1998. С. 172.

25. Сперанский А.В. В горниле испытаний ...С. 263, 264.
26. ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 13. Л. 161; Д. 15. Л. 25; Д. 17. Л. 93, 94; Урал ковал победу. Челябинск, 1993. С. 288; Сперанский А.В. В горниле испытаний ... С. 292, 293.
27. Сперанский А.В. В горниле испытаний ... С. 282, 283, 299.

SOCIAL AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE URAL REGION AS THE FACTOR OF THE COUNTRY'S REAR STABILITY IN WARTIME CONDITIONS (1941—1945).

The paper deals with cardinal social and cultural changes in the Urals conditioned by the wartime, which effected the shaping of stable social, economic, political and ideological situation in the rear territories both in regional and national scale. Showing direct effect of evacuation processes, the militarized mechanisms of a labor force and logistics operation, development of educational, artistic, moral and religious potential, the author proves, that the key factor of viability of the combating Soviet state was a high moral level of its people.

A.V. Speransky

А.С. Смыкалин

НЕМЕЦКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ НА УРАЛЕ

Уже более полувека отделяет нас от великой Победы. Борьба с фашистской Германией — это не только историческая веха в жизни государства, но и целый психоэмоциональный пласт в жизни людей старшего поколения, наложивший отпечаток на дальнейший образ жизни и поведения. Воспитанные в непримиримости к фашизму и фашисткой идеологии, мы порой забывали выслушать другую сторону. В результате годами складывался стереотип «немец — нацист, фашист». Но и они — наши потенциальные противники — были разные, свидетельством этого является различная юридическая квалификация деятельности бывших немецких военнопленных.

На Урале, по официальным данным, их находилось с мая 1942 г. по февраль 1956 г. около 100 тысяч человек, которые располагались в 14 лагерях и лаготделениях не территории Свердловской области.

Сроки заключения были в основном стереотипными — 25 лет лишения свободы, т. е. должны были заканчиваться в 70-е годы. Но политическое решение возобладало над юридическим. Состоявшиеся осенью 1955 г. секретные переговоры между Н.С. Хрущевым и канцлером ФРГ Конрадом Адэнауром привели к тому, что последние немецкие военные преступники в конце 1957 года покинули территорию СССР. Долгие годы материалы о немецких военнопленных носили секретный характер и хранились в Особом архиве КГБ СССР, а также в ряде архивов государственной безопасности различных регионов страны.

Значительная часть архивных уголовных дел связана с понятием «военный преступник». Эти фигуранты запятнали себя злодеяниями и зверствами на территории СССР в годы войны и с точки зрения международного права никогда не подлежат реабилитации, как совершившие преступления против человечества.

Вторая группа — это немецкие военнопленные, вина которых незначительна или малозначительна. Лично они не принимали участие в карательных операциях против мирных советских граждан. Вина их заключалась в том, что они служили в эсэсовских или иных карательных частях, например, коновозчиками, санитарами, писарями и т.п. Необходимо напомнить, что «Вермахт» — регулярные части немецкой армии, были распущены после подписания договора о капитуляции Германии. Наказание в плену отбывали только карательные части. К ним относились части «СС», «СД», а также спецслужбы гестапо, абвер и т.п. Список этих частей был утвержден Чрезвычайной Государственной Комиссией (ЧГК СССР).

В начале 90-х гг. прокуратурой Свердловской области было реабилитировано свыше 200 чел., и их уголовные дела были переданы из архива Управления ФСБ РФ по Свердловской области в Архив Административных органов Свердловской области.

Третья группа — это интернированные граждане из Германии и Австрии в основном специалисты и ученые. Некоторые из них внесли определенный

вклад в развитие науки и совершенствование промышленного производства на Урале. К примеру, на мехзаводе треста «Союзасбест» внедрили штамповочный пресс для производства гаек, предложенный военным инженером В. Хайне. Конструкцию цепи трансформатора разработал военнопленный Ф. Лич. Профессор А. Хабюель написал монографию на тему «Расчет прочности железобетонных и сталебетонных конструкций на нагрузку, растяжение и сгибание» [1]. И таких примеров было немало.

В последние годы, в связи с развитием российско-германских отношений, проблема военнопленных получила новое освещение. Причем проблему активно разрабатывают как историки, так и юристы. Профессор В.Б. Конасов из Вологды посвятил немецким военнопленным несколько крупных работ.

Так, в статье «К вопросу о численности немецких военнопленных в СССР» автор пытается на основе рассекреченных документов установить хотя бы приблизительную цифру пленных немцев, побывавших в лагерях и тюрьмах Советского союза в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы [2]. В другой статье «К истории советских и немецких военнопленных» В.Б. Конасов и А.В. Терещук анализируют правовую базу создания лагерей, содержание пленных в тюрьмах и колониях [3]. Особого внимания заслуживает и фундаментальная монография профессора В.Б. Конасова «Судьбы немецких военнопленных в СССР», включающая в себя разного рода документы, записи, телеграммы, что позволяет более полно осветить эту проблему [4].

К государственной политике по отношению к военнопленным, к вопросу организации армейских приемных пунктов, режиму в лагерях в 1941—1945 гг. неоднократно обращался в своих работах доктор юридических наук, военный историк В.П. Галицкий [5]. Ему удалось показать также социальные и психологические проблемы солдат неприятельских армий в условиях военного плена.

Однако, изучение судеб военнопленных, условий их жизни в СССР в те годы невозможно понять без анализа системы исправительно-трудовых учреждений.

Эти вопросы пытался осветить автор данной статьи [6]. Анализ ряда рассекреченных нормативных актов, приказов и других материалов в совокупности с уникальными фотографиями лагерей и спецпоселений 40-х—50-х гг. дает глубокое представление о формировании пенитенциарной системы советского государства и, в частности, о системе лагерей для военнопленных и интернированных.

Поскольку лагеря и спецпоселения создавались в основном в тылу страны, нет ничего удивительного в том, что на территории Урала была расположена целая сеть таких лагерей. С помощью бесплатной рабочей силы пленных на Урале осуществлялось строительство заводов, объектов социально-культурного назначения, жилых зданий. Только в г. Свердловске и Свердловской области целые районы были построены руками военнопленных. Об этом красноречиво свидетельствует сохранившиеся кинохроника и уникальные фотографии.

Хотя на Урале и располагалось множество лагерных пунктов, учет военнопленных, их захоронения не производились должным образом. Большая исследовательская работа, проводимая профессором УрГУ В.П. Мотревичем, позволила восстановить сотни забытых имен иностранных солдат и офицеров и определить место их захоронения на территории Урала.

Но особый интерес представляют мемуары бывших немецких военноплен ных, которые позволяют проследить эволюцию мировоззрения немецких солдат оказавшихся в советском плену [7]. Именно взгляд изнутри дает возможност больше узнать о формах и методах антифашистской пропаганды, быте и образ жизни в лагерях, отношениях к русским вообще.

Германские историки придерживаются того мнения, что в плену оказалос свыше 3 млн человек солдат и офицеров вермахта, из которых приблизитель но 1,15 млн человек погибли в лагерях Советского Союза [8]. Известный рос сийский исследователь профессор В.П. Галицкий, используя справку архивног отдела Главного управления мест заключения (ГУМЗ) МВД СССР, приве следующие цифры: в Советском Союзе находилось 2 389 560 германских во еннопленных, из которых 350 678 умерло [9]. Однако и эта цифра, по нашем мнению, не является окончательной. Дело в том, что главное управление п делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ) МВД СССР не могл вести строгий учет всех военнопленных армий противника. На армейских пун ктах и во фронтовых лагерях текущий учет был поставлен плохо, а персональ ного учета не существовало вообще. Кроме того, перемещение из лагеря лагерь, фильтрация, тоже затрудняли правильное ведение статистического учета

Тем не менее, за каждой сухой цифрой скрывалась судьба живого человека

Курт Вернер Андрес попал в плен уже после окончания войны. Сначал он находился в американской оккупационной зоне, а затем вместе с другим немцами был передан советской стороне. Долгий путь по России закончилс тем, что в середине июня 1945 г. их посадили в товарные вагоны по 40 челове (в составе всего было 18 вагонов) и отправили на Урал. «Почти 5 недель про должалось наше путешествие по России, — пишет Курт Андрес, — пока м не достигли восточного края Среднего Урала, Кушвы, 200 км севернее Свер дловска. В дороге нам давали редкий суп, сушеный хлеб «сухари» и солену сушеную рыбу, а пить очень мало и не всегда. На станциях люди пытали попасть камнями в люки вагонов, все время слышалось «Гитлер капут!». Мно гие пленные в Кушве уже не могли стоять на ногах и их на грузовиках отвезл в лагерь.

По прибытии в лагерь нас первым делом повели в баню, волосы на голов и теле нам сбрили, одежду обеззараживали. Потом все было сумбурно, так ка все искали свою одежду, и многим пленным одежду пришлось заменить или до полнить. С обработкой против вшей был связан и новый обыск, и последни ценные предметы: часы, кольца, зажигалки, фотографии, кошельки — был отобраны».

Одному капитану воздушных войск, женатому на шведке, удалось сохр нить фотографии своей Лейсы до Кушвы, и когда он попросил разрешения св заться со шведским посольством, в нем заподозрили шпиона. «Я был перевед в другой лагерь, — пишет далее Андрес, — и потерял его из вида. Мыта ства плена, особенно долгий переезд, стоивший многим большой потери ве заболевания желудка и кишечника и необходимость приспособиться к контине тальному климату с его жаркими летними месяцами были причинами для тр недельного карантина.

Комендатура лагеря была особенно заинтересована в скорейшем физическом восстановлении пленных, так как в Кушве велась добыча железной руды в карьерах — тяжелейшая физическая работа. Гора носила название «Благодать», так же называлась и бригада. Порода взрывалась, грузилась на тележки или вагонетки и перевозилась по образовавшимся на горе террасам к месту разгрузки. Процент железа в породе составлял почти 50%, поэтому работа вручную требовала огромных физических затрат.

Хотя я как офицер еще не был задействован в работе в августе 1945, я добровольно вызвался на разработки и лично получил представление о тяжести такой работы. «Горняком» я проработал всего 2 недели, потому что потом 30 офицеров, и я в том числе, были переведены в лагерь «Верхотурье».

У истока реки Тура, на окраине города Верхотурье с числом жителей примерно 15 000 человек, располагался лагерь 7.376/3, в котором я провел почти 3 года, с августа 1945 до закрытия лагеря в мае 1948 г.».

Здесь необходимо прервать рассказ для того, чтобы внести небольшую историческую справку. В конце 1942 г. Государственный комитет обороны принимает решение о срочном строительстве в Свердловской области нескольких ГЭС, в том числе и Верхотурской. Объем изыскательских и проектных работ по ней был уже достаточно велик. Стройка требовала значительного привлечения людских ресурсов. С начала 1945 г. поползли слухи о скором прибытии заключенных. Лагерь для «спецконтингента» был давно готов, оставалось только оградить его забором. С начала ожидали наших, «советских» зэков, потом заговорили о полицаях и «изменщицах Родины» (женщинах, сожительствовавших с немецкими офицерами), и наконец было объявлено: прибудут немецкие военнопленные.

Действительно, эшелон с ними пришел в Верхотурье. Лагерь военнопленных, окруженный колючей проволокой, смотровыми вышками и «полосами смерти», постоянно охраняемый красноармейцами, был «особенным миром». Отрезанные от родины, не имея никакой временной перспективы и все же надеясь на «скоро домой», пленные создали свою «лагерную культуру» с новыми ценностями, способами общения и жизненными целями. Кроме того, развивались различные «пути выживания». За три года «Верхотуры» и полтора года жизни в Свердловске произошло столько всего, что это должно быть рассказано не в хронологическом порядке, а выделено в отдельную тему.

Лагерная жизнь

В лагере «Верхотура» содержалось от 700 до 800 заключенных. Штабные офицеры и генералы большей частью размещались в лагерях только для офицеров. Во главе лагеря стоял «начальник». Наряду с советским лагерным управлением было и немецкое, возглавляемое старшим по лагерю. «Верхотура» была не основным лагерем; основной лагерь с «управлением» находился в Красноуральске. На Среднем Урале лагеря размещались также в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Асбесте и Карпинске. Здесь следует отметить, что мало кто из пленных содержался в Сибири, т. е. восточнее Урала.

Пленные боялись попасть в лагерь Карпинск; он прослыл как режимный лагерь с тяжелыми условиями работы и худшим содержанием. В основном туда отправлялись те пленные, которые, как выяснялось, состояли ранее в отрядах СС, полевых и местных комендатурах, полицейских отрядах или специальных отрядах, а также если участвовали в охране русских военнопленных или в партизанской войне. К этим группам приравнивались определенные войсковые части, в районе действия которых совершались преступления.

Лагерь Асбест также не считался предпочтительным в связи с тем, что там добывался вредный для здоровья волокнистый минерал.

Заключенные сначала были объединены в команды, во главе которых были поставлены бывшие офицеры. Но уже скоро военный распорядок потерял всякий смысл. На его место пришли рабочие бригады во главе с бригадирами, которые размещались по отдельности в бараки. Что осталось, так это старшие по бараку, следившие за порядком и чистотой в помещениях.

«Начальником», комендантом лагеря, до конца 1946 г. был майор Тимофеев, невысокий, всегда элегантно одетый русский, от которого пахло типично русским, довольно резким одеколоном. Уважение К.В. Андреса он потерял, так как самозабвенно хвастался тем, что был не на фронте, а занимался пропагандой. Вторым человеком в иерархической структуре лагеря был старший лейтенант Букаренков, ответственный за занятость пленных в работах. Этот офицер, как отмечал К.В. Андрес, очень серьезно относился к своим обязанностям и не шел ни на какие, даже маленькие поблажки.

Корсаков, старший лейтенант танковой части со шрамами от ожогов на лице, получал явное удовольствие, когда мог приказать пленным пройти в ворота лагеря парадным шагом, лучше под звуки марша, издаваемые лагерным оркестром. Простым и добрым офицером был старший лейтенант Шакланов (имени его военнопленный не мог вспомнить). Он плохо ходил из-за своего ранения. Он не задавался целью впечатлить пленных, и вечерние «проверки» проходили у него без задержек, тогда как другие дежурные офицеры тратили на это очень много времени и зачастую заставляли пленных стоять больше часа.

Лагерным врачом был старший лейтенант Лапидус, офицер на военной службе, еврей, который почти боялся заключенных и которого одолевали предрассудки. По его еврейской теории выходило, что во время войны немцы даже «пожирали» маленьких детей. К.В. Андрес отвечал на это, что мы оставляли только волосы и ногти — Лапидус плевался в ответ и называл Андреса «прокаженным чертом». Прошло много времени, прежде чем Лапидус понял, что был под влиянием советской пропаганды.

Оперофицера НКВД, старшего лейтенанта Адольфа Вирта, волжского немца, как отмечал К.В. Андрес, боялись не только пленные, но и русские офицеры лагеря. Политкомиссары носили синюю ленточку на фуражке и синие погоны. На лагерном жаргоне они назывались «голубыми». Адольф Вирт был грубым человеком с горбатым носом и выражением лица, не обещавшим ничего хорошего. Его немецкий походил на язык выселившихся из юго-западной Германии волжских немцев.

Старшим по лагерю среди заключенных был до весны 1946 года венгерский еврей по имени Штерн, самоуверенный, недальновидный и как все венгры исключительно хорошо приспосабливающийся под требования русского лагерного руководства. Его заместителем был «Ервин» — бывший унтер-офицер, который в основном отвечал за «грязную работу» в лагере. Например, он должен был принимать в отношении заключенных дисциплинарные меры в случае нарушения лагерного порядка, воровства, уклонения от работ и попыток к бегству. Кухня, раздача хлеба, прачечная, парикмахерская и баня, а также персонал лазарета были почти полностью заняты венгерскими, румынскими и австрийскими пленными, которые гораздо охотнее немцев, по мнению К.В. Андреса, пресмыкались перед русскими в выполнении их желаний.

В жизни человека не было и нет психологической ситуации, размышляет К.В. Андрес, которая хотя бы отдаленно напоминала то страшное падение с высоты убеждения о «исполненном патриотическом долге» в безысходность, безнадежность и животный страх перед советским пленом. До последнего мы верили в счастливый исход войны и жили в надежде каким-нибудь образом избежать русского плена. Особенно в первые недели плена, под влиянием пропаганды, мы жили в постоянном страхе перед нашей дальнейшей судьбой. Воцарились угнетенность и пессимизм, грозившие перерасти в апатию, которая не позволила бы выжить в таких условиях.

Особенно тяжело пришлось офицерам, которые не могли смириться с потерей своего статуса. Чем больше разрушался прежний порядок, тем сильнее воспринимали они потерю военной значимости как личную катастрофу. Лично К.В. Андрес в этом отношении не особо страдал. В танке не было различий по рангам, поэтому ему легко удалось отказаться от различий в званиях и от обращения «господин лейтенант». В рабочих бригадах пленные общались на «ты», так как, несмотря на уровень образованности и военные ранги, формировался новый социальный слой и порядок.

Интеллектуальный труд уступил в востребованности труду «специалиста», пользовавшегося среди русских большим уважением. В лагерной иерархии специалисты были руководителями рабочих бригад. Внутри лагеря ремесленники также слыли образованными людьми, так что возникла дифференцированная социальная система с лагерной «элитой», к которой в особенности относились кухонный персонал, санитары, парикмахеры, сапожники, портные и прочие специалисты, выполнявшие всевозможные работы для советского персонала.

Среди «лагерной элиты» были люди, бесстыдно использовавшие свое положение для унижения пленных, и которые использовали пленных как своих личных слуг, «оплачивая» куском хлеба такую работу, как, например, дежурство по комнате.

Среди пленных в лагере было много венгров, которые были гораздо сплоченнее немцев. Один русский офицер, вспоминал К.В. Андрес, даже спрашивал военнопленных, не сражались ли они с солдатами лишь из числа «сочувствующих» народов. Причиной вопроса было то, что при регистрации и на допросах многие пленные называли не германское гражданство, а Байерна, Саксонии, Тюрингии, Пфальца и т. д. Имело смысл назвать своей родиной Эльзас или Лотарингию, чтобы с тобой обращались, как с французом.

Сильна была солидарность среди австрийцев. Они требовали, чтобы их непременно поселили в одном бараке, что им удалось; над своим жилищем они вывесили транспарант: «Красный — белый — красный до самой смерти» (по-немецки рифмуется). Вольно или невольно, русские вели себя по принципу римского империализма: «Divide et impera» («Разделяй и властвуй»). Из этого Андрес сделал вывод, что прежние социальные принципы распорядка, поставленные в лагере с ног на голову, запустили в действие процесс обучения, который положительно сказался на его оценке людей и его организаторских способностях. К.В. Андрес даже предполагает, что русский плен стал для него «школой жизни».

Пропитание

Никакая тема жизни в плену так хорошо не освещена, как тема пропитания и голода в лагерях. Многочисленные научные публикации оценивают физические и психические последствия недостаточного питания и самой серьезной болезнью пленных называют дистрофию. «Первое, к чему мы должны были приспособиться в плену, была непривычная система питания. Русские питались в основном хлебом, «капустным супом», картошкой, пшенной кашей и рыбой, тогда как потребление мяса было незначительным. Давали 600—800 грамм сырого хлеба, содержавшего до 60% воды. Русский «хлеб», если бы его бросить об стену, прилип бы к этой стене.

Тем не менее, это был один из основных продуктов питания, и его ежедневное распределение было «священнодействием». На завтрак и на ужин давали большей частью суп из капусты, рыбы или перловки, на обед «каша», как правило, пшенка, с 15 граммами жира, масла или свиного сала. К чаю, не поддающемуся определению напитку, зачастую это был хвойный настой, давали ежедневно 15 грамм сахара. Для некурящих существовала возможность обменять дневную порцию табака на 5 грамм хлеба, что я и делал. Мы, офицеры, были удивлены тем, что нам — аналогично нормам Красной армии — были удвоены нормы потребления жира, сахара и табака. И это — в социалистической армии, под лозунгом «Равенство и братство». Нормами хлеба можно было легко манипулировать как русскому, так и немецкому руководству лагеря, ведь можно было увеличить процент воды и тем самым увеличить вес хлеба».

Судьбы бывших немецких военнопленных складывались по-разному. Многие навсегда остались лежать в земле России, многие умерли уже на родине в Германии, Австрии. Но сохранилась еще незначительная часть людей, которым тогда было 18—25 лет. Их воспоминания представляют ценный исторический источник.

Девятнадцатилетним юношей попал в плен бывший радист одной из частей «Люфтваффе» (военно-воздушные силы Германии) — Герхард Шлипхаке.

В плену он оказался на Урале, в Пермской области — в г. Соликамске, а позднее и в самой Перми, на телефонном заводе. Годы, проведенные в плену, не только не озлобили душу молодого немца, но и явились для него «школой жизни», о чем он говорил в небольшом репортаже на Свердловском телевидении в июле 1999 г. Десятки раз потом приезжая на Урал (в 70-е годы он работал сотрудником по экономическим вопросам посольства ФРГ), Герхард

сохранил дружеские отношения со многими русскими людьми. Эти контакты продолжаются и по сей день.

Другой бывший немецкий военнопленный Кархайнц Гаст ныне проживает в г. Берлине; его воспоминания о пребывании в г. Свердловске в послевоенные годы тоже представляют значительный интерес для истории военного плена.

Бернхард Моершбахер также молодым человеком очутился в плену на Урале, в г. Каменске-Уральском. Номер своего лагеря — 314/8 — он запомнил на всю жизнь. Позднее Бернхард был переведен в г. Москву.

По его рассказам, на Урале они занимались в основном строительством объектов социально-культурного назначения и жилых домов. Такая строительная направленность жизни в плену сказалась и на его дальнейшей профессии. После плена в Германии Бернхард приобрел специальность инженера-строителя, по которой работал долгие годы, до выхода на пенсию. Ныне Бернхард Моершбахер проживает в небольшом городке Аахене, на границе с Францией. В 1999 г. он вместе с женой Алисой, через 54 года, вновь побывал на Урале в г. Каменске-Уральском и Екатеринбурге (Свердловске), где прошли его годы юности. Значительная часть немецких военнопленных была репатриирована в Германию в первые пять лет после войны. В архивах не сохранились даже учетно-регистрационные карточки этих людей. Определенный процент был реабилитирован уже в 90-е годы. Розыск некоторых из бывших военнопленных ведется по линии Красного Креста. Таким образом, исследование имеет не только теоретическое, прикладное значение, но и практическое, когда речь идет об установлении судьбы конкретного человека.

Вместе с тем, необходимо отметить, что нельзя все идеализировать и представлять в розовом цвете. Великая Отечественная война была войной не столько техники, сколько войной непримиримых, антагонистических идеологий. На Западе и сейчас живет достаточное количество людей, в том числе и бывших военнопленных, которые относились негативно ко всему, что было связано с Россией и русскими. Многие сохранили свои убеждения и по сегодняшний день, оставаясь приверженцами нацизма. В этом, по нашему мнению, и причина того, что не удается создать такой общественной организации в Германии, как «Союз бывших военнопленных».

Автору этих строк доводилось в разговоре с немецкими друзьями прислушиваться к рекомендации не встречаться с тем или иным бывшим военнопленным, который до сих пор считает себя нацистом.

Любопытный факт — десятки архивных уголовных дел, переданных из Управления ФСБ РФ по Свердловской области в Архив Административных органов Свердловской области, имеют справку о реабилитации того или иного фигуранта. Но ни один из них никогда не обращался за подобным документом. Не свидетельствует ли это о том, что они не считают себя побежденными и виноватыми? А раз так, им не нужен никакой юридический документ страны-победительницы.

Много вопросов — и пока еще не очень много ответов. Изучение истории военного плена второй мировой войны — сравнительно новая сфера исторической и историко-правовой науки. Она ведет свой временной отсчет в нашей стране с начала 90-х годов, когда исследователи получили доступ в ведомствен-

ные архивы. При этом использование воспоминаний живых очевидцев и участников тех далеких событий представляется весьма перспективным, ибо дает возможность посмотреть на реалии лагерной жизни еще с одной стороны.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Смыкалин А.С. Строители из дивизии СС // Уральский рабочий. 17 января 1995 г.
2. Конасов В.Б. К вопросу о численности немецких военнопленных в СССР // Вопросы истории. 1994. № 11.
3. Конасов В.Б., Терещук А.В. К истории советских и немецких военнопленных (1941—1943 гг.) // Новая и новейшая история. 1996. № 5.
4. Конасов В.Б. Судьбы немецких военнопленных в СССР. Вологда, 1996.
5. Галицкий В.П. Социально-психологические аспекты межгрупповых отношений в условиях военного плена // Социологические исследования. 1991. № 10. Он же. Проблема военнопленных и отношение к ней Советского государства // Советское государство и право. 1990. № 4; Он же. Вражеские военнопленные в СССР // Военно-исторический журнал // 1990. № 9.
6. Смыкалин А.С. Колонии и тюрьмы в Советской России. Екатеринбург, 1997.
7. Kurt Werner Andres. Vergangenheit — Bewaltigung oder Verdrangung? Briete 1940 bis 1949 im Ruckblick. — edition Fischer. Frankfurt (Main). 1995; Stefan Karner. Im Arehipel CUPVI. Kriegsgetangensehaft und Internierung in der Sowjetunion 1941—1956. R. Oldenbourg Verlag Wien Munchen. 1995; Karner S. Der Arbeitseinsatz der deutshen Kriegsgetangenen in der Sowjetunion und ihre Repatrierung. 1995.
8. Международная научно-практическая конференция «Проблемы военного плена: история и современность». Вологда, 1996.
9. Конасов В.Б. К вопросу о численности немецких военнопленных... С. 187.

SOVIET IMPRISONMENT IN THE URALS VIEWED BY GERMAN POWs'

Based on the reminiscences of former German prisoners of war, Russian and German memoirs, sociological research, the article respectively tells us about everyday life of POW concentration camps on the territory of the Sverdlovsk Oblast from 1942 till 1956. It narrates about the Soviet State policy in regard to POWs, regime and medical care in the camps. The Article takes advantage of the reminiscences of participants of those faraway events who state that their stay in the USSR concentration camps had a far-reaching effect on their further outlook.

A.S. Smykalin

ПУБЛИКАЦИИ

Е.Ю. Рукосуев, Е.С. Тулисов

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА О СОСТАВЕ ГОРНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ» В 1806—1861 гг. И РЕФОРМА ГОРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В НАЧАЛЕ 60-х гг. XIX в.

Очевидно, что история организации административных систем регионально-отраслевого управления вызывает особый интерес и имеет огромное практическое значение. Несмотря на бесспорность этого факта, на лицо явный дефицит исследований, посвященных органам управления горнозаводской промышленностью. Одной из причин, вызвавших подобную ситуацию, является недостаток опубликованных документальных материалов, посвященных данной проблематике. Большинство имеющихся работ основано на документах, опубликованных в Полном собрании законов Российской империи. В то же время огромный пласт архивных документов, как невидимая часть айсберга, еще ждет своего открытия.

В этой связи чрезвычайный интерес представляют документы, отложившиеся в ходе деятельности уральской горной администрации, которые хранятся в Государственном архиве Свердловской области. В частности, 43 фонд, 1 опись, дело № 399 содержит ряд документов, посвященных истории уральского горного управления. Это письмо председателя Комиссии по пересмотру Горного устава в адрес Главного начальника уральских горных заводов, к которому прилагается историческая записка о составе горной администрации. Записка была составлена в качестве вспомогательного материала, необходимого для проведения работы по изменению горного законодательства. В записке кратко излагается история органов управления горнозаводской промышленностью с 1806 по 1861 гг. В деле также содержится ответ Главного начальника с уточнениями и замечаниями. Весь комплекс документов заслуживает пристального внимания, так как в нем содержится не только информация об основных вехах в истории горной администрации, но он еще отражает процесс коллективного творчества по ее написанию.

Перед тем, как представить вниманию исследователей тексты документов, представляется необходимым дать некоторые пояснения, касающиеся необходимости изменения в начале 60-х гг. XIX в. горного законодательства, а также учреждения и деятельности Комиссии по пересмотру Горного устава. Исследователи истории российской горнозаводской промышленности широко используют в качестве источника Горный устав, представляющий собой кодифицированное собрание всех законов, касающихся горнозаводской промышленности. Систематизированное законодательство; образующее Горный устав, вошло в VII том Свода законов Российской империи, изданного в 1857 г. Примечательно, что основой Горного устава стал Проект Горного положения, утвержденный еще 13 июля 1806 г. [1]. Этот проект принимался как временное руководство сроком на пять лет. Фактически, этот нормативный акт действовал около 50 лет, т.е. до

издания Горного устава. Изменения и дополнения горного законодательства в последующий период отражалось в регулярно издававшихся Продолжениях Свода законов. Однако, уже спустя несколько лет на повестку дня встал вопрос о кардинальном пересмотре российского горного законодательства. Дело в том, что Проект горного положения 1806 г. при организации управленческих структур культивировал так называемую «систему прибылей». Ее суть заключалась в следующем. Для каждого вида заводской продукции определялась фиксированная цена. Исходя из реальной себестоимости, оценивалась деятельность горнозаводской администрации. Прибыль распределялась между государством и чиновниками, входящими в состав администрации, а убытки покрывались за счет казны. В данной ситуации возникала возможность фальсификации заводской отчетности. При этом вышестоящие учреждения оказывались в двусмысленном положении. То есть, руководство могло либо доверять получаемым сведениям, либо подвергать подведомственные структуры тотальному контролю. И то, и другой не способствовало рационализации административной системы. С другой стороны, довольно рельефно обозначился еще один фактор, который делал невозможным существование «системы прибылей». С момента принятия Проекта горного положения реальные цены на заводскую продукцию существенно возросли, поэтому растаяла сама возможность получения прибыли. Кроме того, за время повышения уровня цен индексация жалования людей, занятых на горнозаводском производстве, не проводилась многие десятки лет [2].

Таким образом, Горный устав в начале 60-х годов XIX в. требовал «согласования между собою разных законов и особенно очистки от таких узаконений, которые устарели и... мешают развитию горного промысла; но для этой последней цели нужнее всего энергическая инициатива в таких делах, которые в России еще не начаты или трудно принимаются и беспрестанное издание частных правил и временных узаконений, примененных к распространению промышленности в каждом месте отдельно, если почему либо для многих мест не могут быть годны одни и те же правила» [3]. Такое же положение сложилось в отношении к золотым промыслам и к предприятиям каменноугольной промышленности. В то же время в отношении железоделательных и медеплавильных предприятий продолжали действовать правовые нормы, заложенные еще в Проекте горного положения. Таким образом, законодательство не менялось в течении полувека, в то время как в передовых странах предприятия этого профиля развивались ускоренными темпами, благодаря законодательных инновациям. Помимо указанных недостатков, было необходимо внести некоторые коррективы в сфере законодательства, касающегося горного образования. Потребности всей русской промышленности в квалифицированных горных специалистах значительно возросли. Причем назрела необходимость в том, чтобы доступ в образовательные учреждения горного ведомства имели все, независимо от их принадлежности к определенной социальной группе. Изменения и дополнения требовали законы, касающиеся социального обеспечения рабочих горнозаводских предприятий. Особого внимания заслуживало сложившееся «неразрывное и неприкосновенное отношение между рудниками, заводами, землями и лесами...», которое регулировалось специальными горными законами.

В передовых странах Западной Европы деятельность предприятий регламентировалась общим фабричным законодательством, «точно также как и земли с лесами подчинены общим законам о землях и лесах» [4].

Важнейшим фактором, подтолкнувшим к немедленному изменению Горного устава, явилась реформа, последовавшая за Манифестом 19 февраля 1861 г. В условиях перехода от использования труда крепостных крестьян к вольному найму требовалось приведение в соответствие всего горного законодательства с положениями Манифеста 19 февраля 1861 г. Манифест 19 февраля 1861 г. регламентировал положение крестьян, вышедших из крепостной зависимости. В том числе он касался и положения приписных к частным горным заводам крестьян. 8 марта 1861 г. были утверждены положения и для людей, приписанных к казенным горным заводам и соляным промыслам. Все принадлежащее к этим заводам население, состоящее из мастеровых, рабочих, непременных работников и приписных крестьян, в соответствии с утвержденными положениями делилось на два сословия: 1) мастеровых и 2) сельских работников.

Вот что писали в 1861 г. на страницах Горного журнала: «Горный промысел, как и земледельческая промышленность, слепо и беспечно дошел до своего кризиса; но как кризис этот совершится, к чему приведет и кого оставит на ногах, здоровым и богатым? ...Положение об освобождении обязательного труда есть то Слово Божие, которое даровало зрение слепцу. Прозревший горный промысел хочет теперь составить понятие о правилах своей жизни; но для этого ему необходимо прежде жить новою жизнью, преодолевать новые затруднения, вырабатывать свою энергию и выводить правила из опытности» [5].

Одним словом, в начале 60-х годов XIX в. российское горное законодательство требовало некоторой переработки, систематизации, унификации и введения ряда правовых инноваций. Учитывая изложенные обстоятельства, новый Горный устав должен был способствовать решению целого комплекса проблем. В первую очередь, трансформировались функции горной администрации. В ходе реформы назрела необходимость в специализации горного управления и выделении из юрисдикции горной администрации функций общего административного характера. К ним можно отнести управление полицией, суд, курирование ведомственных образовательных, медицинских и религиозных учреждений. То есть, «...соединение самых разнородных обязанностей в одном ведомстве не могло более сохраняться, а это не могло не иметь большого влияния и на самый состав как высшей, так и местной горной администрации» [6].

С другой стороны, все предприятия отрасли должны были руководствоваться однотипными и унифицированными правилами, касающимися: 1) порядка найма и увольнения рабочих; 2) классификации работ; 3) регулирования методов оплаты труда; 4) организации технологических процессов; 5) гарантий социального обеспечения. Кроме того, требовалось разработать правовые механизмы обеспечения оседлости рабочих методами, отличными от ранее практиковавшихся [7]. То есть, освобождение рабочих от обязательного труда и создание правового поля, регулирующего их будущее положение, требовало от горной администрации напряженной и кропотливой работы. Это было связано с беспрецедентным количеством рабочих, прикрепленных к горным заводам и со специфическими условиям, в

которых находилась горнозаводская промышленность. Учитывая эти обстоятельства, сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать следующими словами: «...едва ли какая либо другая промышленность нуждалась в особой осторожности при введении новых порядков, как горная» [8].

В такой ситуации назрела острая необходимость создания специального учреждения, призванного решить проблемы, связанные с приведением горного законодательства в соответствие с существующими реалиями. Таким учреждением стала Комиссия по пересмотру Горного устава под председательством Василия Евграфовича Самарского-Быховца [9]. К сожалению, в анналах Полного собрания законов Российской империи не сохранилось документа, касающегося учреждения и штатного комплектования комиссии. Однако, учитывая то, что ряд функций Комиссии по пересмотру Горного устава касался кодификации ведомственного законодательства, можно с определенной долей уверенности соотнести ее штатное построение с комиссиями, которые учреждались для решения аналогичных задач. Одним из таких институтов была Военно-Кодификационная комиссия, учрежденная 5 апреля 1859 г. при Военном Министерстве. В соответствии с именным указом, в состав комиссии вошли председатель, семь членов, а также правитель дел, четыре старших и три младших чиновника и десять писарей. Переписка Комиссии осуществлялась через Председателя, которому предоставлялись права Директора Департаментов Министерства. 14 июня 1859 г. был утвержден примерный штат Канцелярии Военно-Кодификационной Комиссии. В соответствии с ним, в Канцелярию определялось 22 человека. Годовой объем финансирования определялся в размере 11589 руб. 55 коп. По своему статусу чиновники Канцелярии сравнивались: Правитель дел с Вице-Директором, старшие чиновники — с Начальниками Отделений и Младшие чиновники — со Старшими столоначальниками Департаментов Военного Министерства [10].

Для характеристики порядка деятельности учреждения, занимающегося кодификацией ведомственного законодательства, можно использовать положения указа, касающегося создания Военно-Кодификационной комиссии. Работа заключалась в том, чтобы «...а) пересмотреть в подробности Свод... Постановлений и отделить в нем основные законоположения... от постановлений и административных распоряжений, определяющих частное применение законов и вообще исполнение... обязанностей, б) исключить статьи Свода, невозможность исполнения которых доказана долголетним опытом, но за оставление коих без действия служащие, в случае суда или следствия, могут подвергаться таким же взысканиям, как и за преднамеренные преступления, в) исправить и пополнить все статьи Свода, выражающие неопределительно какое-либо постановление, что в особенности относится до администрации..., а также пояснить, дополнить, заменить, исключить и вообще исправить существующие узаконения... и наконец составить новые проекты отделов Свода..., на основании тех начал и преобразований..., какие будут удостоены Высочайшего утверждения...» [11].

Результатом деятельности Комиссии по пересмотру Горного устава явилась разработка и публикация новых законодательных актов, направленных на реформирование горнозаводской промышленности. Реформа коснулась и уральской горной администрации: 1) горный город Екатеринбург был подчинен общему

губернскому управлению; 2) военные суды при Уральском Горном Правлении ликвидировались; 3) должность прокурора при Горном Правлении упразднялась; 4) Судный Департамент Горного Правления ликвидировался; 5) уральский горнозаводской батальон упразднялся. Кроме того, церкви, полиция, почтовые конторы и станции были переданы под управление соответствующих ведомств [12].

Помимо законотворческой деятельности Комиссия занималась изданием брошюр о действии горных заводов. Так, в 1864 г. была выпущена книга о действии заводов за 1860 и 1861 гг. Эти брошюры содержали важные статистические материалы. Они издавались на основании представленных заводскими управлениями ведомостей о производительности горных заводов и промыслов за соответствующие годы. Осуществлялась подготовка к изданию брошюры и за 1863 г., «...который есть первый год действия заводов на совершенно вольном труде» [13].

После необходимых пояснений перейдем к рассмотрению материалов. Текст документов публикуется впервые. Археографическая обработка и публикация документов подготовлена в соответствии с «Правилами издания исторических документов в СССР» (М., 1990). Пропущенные фрагменты текста выделены отточием. В случае невозможности восстановления и передачи исходного фрагмента текста отмечены отточием в квадратных скобках.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ПСЗ. Т. XXIX. № 22208. С. 437.
2. Горный журнал. 1861. Ч. III. № 8. С. 237.
3. Полетика И. О новом проекте горных законоположений для Прусского королевства и сравнение его с основаниями русского горного устава // Горный журнал. 1862. № 12. С. 486.
4. Там же. С. 491.
5. Горный Журнал. 1861. № 3. С. 536.
6. Исторический очерк учреждений по горной части. СПб, 1910. С. 30.
7. Горный Журнал. 1861. № 3. С. 548.
8. Лоранский А.М. Краткий исторический очерк административных учреждений горного ведомства России, 1700—1900 гг. СПб., 1900. С. 83.
9. В.Е. Самарский-Быховец в 1845 г., будучи в звании полковника, был назначен начальником штаба Корпуса горных инженеров. До своего назначения он прошел довольно стандартный путь для горного инженера. После окончания Горного кадетского корпуса некоторое время служил на Колывано-Воскресенских заводах. После этого был переведен в Санкт-Петербург, где последовательно занимал должности помощника столоначальника в Кабинете Е.И.В., столоначальника Горного департамента, старшего адъютанта и дежурного штаб-офицера штаба Корпуса горных инженеров. В 1855 г. он был назначен председателем Горного аудиториата. При этом он одновременно оставался начальником штаба. В 1861 г. В.Е. Самарский-Быховец был назначен председателем совета Корпуса горных инженеров. В 1870 г. председатель Горного совета и Комиссии по пересмотру горного устава В.Е. Самарский-Быховец скончался (Лоранский А.М. Указ. соч. С. 80, 86, 96).
10. ПСЗ II. Т. XXXIV. Отд. 3. № 34609. С. 290.
11. Там же. Отд. 1. № 34329. С. 270.
12. Исторический очерк... С. 43.
13. Горный Журнал. 1864. Ч. III. № 9. С. 10.

№ 1. Письмо председателя Комиссии по пересмотру Горного устава В.Е. Самарского-Быховца главному начальнику Уральских горных заводов Ф.И. Фелькнеру

1 июля 1861 г.
Милостивый государь,
Федор Иванович!

Господин Министр Финансов, по случаю пересмотра Горного Устава, пригласил всех, через публичные ведомости, сообщить письменно мысли свои как о затруднениях встречаемых ныне Горным Промыслом, так и об основаниях, которые могли бы дать ему более свободное и согласное с современными условиями развитие.

На вызов сей с Уральских заводов поступила одно только записка, а между тем постоянно и повсюду говорят о стеснительных постановлениях действующего Горного Устава.

Нет сомнения, что эти стеснительные постановления и меры к устранению их, ближе всего известны лицам, практически занимающихся Горными делами. По сему указания и мнения таких лиц были бы драгоценными материалами и руководителями при составлении проекта нового Горного Устава.

Руководствуясь этим сознанием, я, как Председатель комиссии для пересмотра Горного Устава, с сим вместе обратился с просьбою к Господам Горным Начальникам и некоторым другим горным инженерам о доставлении к Сентябрю, со всею откровенностью, их мнений — как о тех причинах, которые препятствуют правильному и успешному развитию казенного и частного горного промысла, так и о тех мерах, которыми можно устранить недостатки нынешнего Горного Управления.

Считая долгом уведомить о сем Ваше Превосходительство, вместе с тем поставляю себе в непременную обязанность покорнейше просить Вас, Милостивый Государь, не оставить Комиссию своими советами и мнениями, по вышеозначенному предмету.

Для пояснения взгляда Комиссии на порученный ей труд, препровождается при сем журнал ее от 18 апреля за № 77, новый же проект, когда он составится, — непременно будет доставлен Вашему Превосходительству на предварительное заключение.

Независимо от сего, приемлю смелость препроводить к Вашему Превосходительству историческую записку о составе Горной администрации с проекта горного Положения и по настоящее время, на тот конец — не найдете ли в ней упущенным какое-либо учреждение, имевшее в свое время особое значение.

В. Самарский-Быховец

(ГАСО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 399. Л. 1-2 об. Подлинник)

№ 2. Историческая записка о составе горной администрации

14 июня 1861 г.
Санкт-Петербург.

Местное управление по Проекту Горного Положения (1806 г.).

Местное Управление горными заводами Хребта Уральского, по Проек Горного Положения Высочайше утвержденному в 13 день июля 1806 г. пр надлежало: 1) Пермскому и Вятскому Генерал-Губернатору, 2) Берг-Инспек тору, 3) Горному Правлению, 4) Горным начальникам заводов, 5 Помощникам их и 6) Управителям заводов.

Власть и обязанности Генерал-Губернатора.

Генерал-Губернатор подчинялся по делам заводской полиции — Министру Внутренних дел, по делам судебным — Министру Юстиции и по делам горным вообще — Министру Финансов. Не имея права вмешиваться ни в хозяйственное, ни в искусственное управление заводами, Генерал-Губернатор имел власть разрешающую и покровительственную, — в случае представления местных властей и обязан был наблюдать за безостановочным действием заводов, за нарушенным порядком и благочинием; для чего он, в объезде по губерниям, осматривал заводы и имел постоянный надзор за делами Горного Правления, в котором по усмотрению своему мог представительствовать.

Власть и обязанности Берг-Инспектора.

Помощником ему [1] по горной части был Берг-Инспектор, которому принадлежал надзор за искусственною и хозяйственною частями заводов. Он, с согласия Генерал-Губернатора, объезжал заводы, не иначе впрочем как в сопровождении Горного Начальника. Вникая во все части заводского действия и управления, он сообщал Горному Начальнику свои замечания, которые однако приводились в исполнение только тогда, когда с замечаниями соглашался Горный Начальник; в противном случае они рассматривались в Горном Правлении; если и затем Горный Начальник не принимал к исполнению постановления Горного Правления, то оно представлялось Министру Финансов.

Горное Правление.

Горное Правление находилось в городе Перми и состояло из двух Департаментов: Административно-хозяйственного и Судного. В обоих председательствовал Берг-Инспектор, в первом, на правах Гражданского губернатора, а во втором, — председателя Палаты Гражданского суда. В первом Департаменте присутствовали 4 советника, а во втором — 2.

Власть и обязанности Горного Начальника.

Для непосредственного управления искусственною и хозяйственною частями казенных заводов, по количеству, по местному положению и удобству управления ими назначались Горные Начальники. Как помощники их и исполнители их приказаний, состояли при них Горные помощники и заводоуправители. Горный Начальник был полный хозяин своего округа.

Власть его вышеозначенным Проектом Положения определялась так: «Горный начальник, по всем частям и во всех отношениях, есть хозяин заводов, которому поручаются заводы в полное управление и распоряжение по части хозяйственной, по части искусственной и ученой, по части гражданского благоустройства и по части судной».

Можно сказать, что власть Горного Начальника ограничивалась только тем, что он был обязан исполнять казенные наряды по постоянным ценам, назначавшимся Министерством Финансов каждые 5 лет; все же обороты и всякая законная власть для выгоды, по вышеозначенным частям его управления, позволялись Горному Начальнику с тем, чтобы он не выходил из суммы, в его распоряжение определенной.

Горный Начальник обязан был объезжать заводы и по делам службы мог отправляться в Санкт-Петербург и другие города, уведомив о том предварительно Горное Правление и Генерал-Губернатора.

Смотря по местному положению и удобности отправления дел, он мог учреждать, где находил нужным Главную Контору, в которой председательствовал, когда бывал при заводах, а после него заседали его Помощник и Управитель завода, при котором она учреждена, или Горный чиновник.

Всякий казенный завод имел Заводскую контору и заводского Управителя, который управлял всем принадлежавшим к заводу и действием заводским, подведением и распоряжением Горного Начальника, а в его отсутствии, его Помощника.

Горный Начальник обязан был по крайней мере раз в год созывать Горный Совет, составляя его из подведомственных ему чиновников для совещаний о действиях заводских прошедших и будущих; о чем составлялось постановление и Горный Начальник без крайней необходимости от оного не отступал.

Заводские исправники.

Для присмотра за частными заводами определялись Заводские исправники.

Управление полицейское и судебное в казенных заводах.

Всякий завод имел свою округу, ограничивающуюся отводом лесов и земель ему принадлежащих.

Селения при заводах, рудниках и пристанях казенных людей подчинялись Горной Полиции [2], состоявшей из Полицмейстера, для внутреннего в заводе управления и Горного Исправника — для управления в окрестности.

Земский суд действовал на округу через Заводских и Горных исправников [3]. Дела гражданские решались в Уездных судах, Магистратах или Ратушах, если таковые находились в горных городах; в противном случае споры между горнозаводскими людьми ведал Горный Начальник, его Помощник и Управитель завода [4].

Всех классов люди, в действительной горной службе состоявшие при заводах казенных, в делах уголовных судились Военным судом.

В Уездные суды, Магистратуры и Ратуши, где производились дела горные, относящиеся до заводских людей, до заводов и их принадлежностей, определялись к заседанию горные члены.

Утверждение в должностях.

Из вышеозначенных чинов Берг-Инспектор и Горный Начальник утверждались в должности Высочайшей властью. Помощник Горного Начальника и Управители заводов и другие чины определялись Горными начальниками, по мере надобности. Но при определении на должности интересные [5] Горный Начальник назначал лицо не по выбору классных чинов, в противном случае он один ответствовал за последствия. Земские Исправники по казенным и частным заводам определялись: первые — Горным Начальником, а вторые — Горным Правлением, с утверждением Генерал-Губернатора [6].

Содержание чиновников.

Содержание Берг-Инспектора определялось штатом, а Горного Начальника зависимостью от Высочайшего усмотрения; прочим же чинам, служившим на заводах, Горный Начальник производил жалованье по своему усмотрению между определенным minimum и maximum, или определял их на задельную плату. Сверх того, ежели старанием Горного Начальника и сослужащих с ним приобреталась прибыль, против определенных выделанных в разных сортах металлам и изделиям цен, то из оной получали — Горный Начальник 1/4 часть и такая же часть, по числу жалованья, разделялась на служащих с ним чиновников, а другая половина прибыли поступала в казну. Но при этом жалованье Горного Начальника вычиталось из получаемой им прибыли, так, что, если сии прибыли равнялись или превосходили получаемое им жалованье, то он лишался его и удовольствовался одной прибылью.

Учреждение должности Главного Начальника Уральского.

На изложенных основаниях существовала Горная администрация до 1826 года. Между тем условия, при которых она образовалась, изменились; с возвышением цен на металлы, выдача прибыли прекратилась; заводы в разных отношениях и особливо в строительной части пришли в упадок, оборотные капиталы истощились и вместо оных ассигновались суммы по особым сметам, а Генерал-Губернатора, в котором, хотя в известных отношениях, сосредотачивались горные дела, с выбытием сенатора Модераха, назначено не было.

Таковое положение заводов при совершенной независимости Горных Начальников от Горного Правления заставило почувствовать, в особенности с открытием золотых промыслов, недостаток в местном Главном и общем хозяине. В сих видах Министр Финансов полагал назначить из военных генералов особого Главного Командира над заводами Хребта Уральского с особою инструкциею, который бы не был развлекаем другими, особенно гражданскими делами и находясь почасту лично на самих заводах, мог привести их в лучшее устройство. К сему побуждало еще и то, что занятия по горной части столь сложны и по существу своему столь затруднительны, что нельзя думать оные соединить с обширным производством гражданских дел. К приведению сего в исполнение, по мнению Министра Финансов, предстояли три способа: 1) Определить Пермского и Вятского генерал-губернатора на прежнем основании, но этому препятствует то, что по силе Проекта Горного положения, власть его недостаточна и от развлечения его гражданскими делами, заводские как было в то время, когда зависели от Казенных палат; при чем сии хозяйственные дела совсем несвойственны тем отношениям, в коих состоят генерал-губернаторы к центральному управлению, ибо они суть более наблюдатели нежели исполнители; 2) Устроить особую область или генерал-губернаторство, сходно с предложением разделения России на таковые. Здесь сверх упомянутых неудобств открывается еще то, что Оренбургская губерния имеет Военного Генерал-Губернатора, коему военные и пограничные дела не позволяют заниматься горной частью, что было бы и неприлично; 3) Назначить особого Главного Начальника горных заводов Уральского хребта.

Отдавая предпочтение сей последней мысли и не находя другого способа удерживать будущее благосостояние заводов, Министр Финансов с особого Высочайшего Его Императорского соизволения, представив Комитету Господ Министров о назначении на сей раз такового начальника в виде временной меры до дальнейшего рассмотрения, с приложением проекта подробной инструкции о его обязанности, власти, содержании, канцелярии его, обратил внимание: на *первое*, что род и важность занятий Главного Начальника, яко общего хозяина заводов, никак не позволяют ему заниматься еще другими делами; от него же будут зависеть и Горные батальоны; и на *второе*, что в сем наставлении, которое также полагается временным, впредь до общего преобразования сей части, были приняты основанием существующие горные узаконения, но имеются в виду два главные исправления: а) дать горному хозяйству необходимые средоточие и надзор на месте и б) чтобы вместо прежней вышеупомянутой систему коммерческого управления заводами, по совершенному упразднению, установить на время систему годовых планов действиям и годовых смет, как ныне уже существует, но без надлежащей определительности.

Настоящее представление Министра Финансов, вместе с инструкцией Главному Начальнику, которая вошла целиком в 7 том Свода законов 1832 года, удостоились Высочайшего утверждения 22 ноября 1826 года.

Издание штатов для Уральских заводов.

Единовременно с утверждением должности Главного Начальника, преступлено было к изданию штатов для Уральских горных заводов. Главнейшею тому

причиною, как объяснено в записке Министра Финансов, от 18 августа 1826 года, в Комитет Министров, были неудобность следить за отчетностью действий означенных заводов. На основании Проект Горного Положения оценкою действий заводов служили исключительно получавшиеся от них прибыль или убыток, из коих первая разделялась между заводскими чинами и казною, а последний весь относился на счет казны. При всей кажущейся простоте этой системы, она в исполнении представляла важные неудобства, а особливо по отчетам, где под разными оборотами скрывались иногда запутанности, для раскрытия которых требовалось столько же местных познаний, сколько и для самого управления заводами. Вследствие чего высшее начальство должно было или верить безусловно, или оставаться в беспрерывном сомнении, столько же для него бесполезном, сколько вредном для местного управления; одним словом, не находилось верного способа для учета. Составленный при Департаменте Горных и Соляных Дел для преобразования управления казенными горными заводами особенный Комитет убедился, что самый верный способ для учета действия заводов состоит в поверке оного с положениями, выведенными из опытов, которые должны обнимать следующие предметы: 1) обширность действия каждого завода по мере его устройства и естественных пособий; 2) число рабочих людей и определенный урок для каждой работы; 3) задельную плату, которая доставляла бы рабочему необходимое содержание и производилась не за время, проводимое им на работе, но именно за каждое изделие; и 4) количество и ценность материалов, потребляемых при выплавке металлов и обработке изделий.

Для точного определения сих предметов Комитет почел необходимым ко всем имевшимся уже сведениям о горных заводах вытребовать от местных начальств полные описания оных в топографическом и техническом отношениях. Затем, на основании сих данных, Комитет составил штаты отдельно для каждого завода, из коих удостоились Высочайшего утверждения Пермские в 1827 году, Воткинский — в 1828 году, а остальные в 1829 году. Штатами сими между прочим определены правительственные места и назначено число классных чинов, с присвоением им постоянного содержания; кроме того, установлена в определении и увольнении чиновников необходимая для подчиненности постепенность, и именно Горные Начальники определяются и увольняются по определению Министра Финансов с Высочайшего утверждения; Помощники их, члены Главной конторы и Председатели [7] Военных судов по представлению Главного Горного Начальника с утверждения Министра Финансов, заводские Управители и Берг-Мейстеры рудников по представлению Горных начальников с утверждения Главного Горного Начальства, прочие с утверждения Горного Начальника.

Штаты эти хотя были временные (на три года), но по важности и обширности труда, требовавшегося для пересмотра их, они не только вышли в своде 1832 году, но повторились в своде 1842 года и только в 1847 году явились в новом виде [8]. Причиною к изменению вышеозначенных штатов было то, что подробных положению Штатов о денежных и припасных расходах и рабочих-урочниках, при постепенном усовершенствовании технических производств и при изменении самих нарядов в заводских изделиях сделалось несоразмерным ни с видом, ни со средствами заводской производительности, и затем не только не

могли служить прежним основанием его учета, но напротив, вовлекли местное и высшее горное начальство в обширную и бесполезную переписку о штатах передержанных и недодержанных в разные годы на несколько миллионов рублей.

По сему положено было, сообразуясь с видом настоящего действия Уральских заводов, с опытом последнего времени и с возможным предусмотрением будущих потребностей, определить приблизительно в круглых числах, количество и род металлов и главных металлических изделий, долженствующих выделываться ежегодно на заводах.

На основании сих нормальных количеств и соображаясь со штатами других мест казенного исправления, изданы в 1847 году для различных частей заводского управления штаты личные, с объяснением числа и содержания всех чинов, а равно всех расходов общих или накладных, как-то: для главных и заводских контор, Военных судов, чертежных лабораторий, полиций, управлений местною частью госпиталей, аптек, хранилищ, церквей, богаделен, содержание зданий и главных механических устройств, содержание главных военных команд и податных статей, не входящих в состав расходов собственно технических или цеховых, но коим искусство, бережливость и старание рабочих и их руководителей могли бы иметь ближайшее влияние на цену произведений.

Равным образом, руководствуясь примерами последних лет и сметами производственными по различным отраслям заводского хозяйства составляемым, для всех главных заводских производств основные положения рабочие, т.е. технические или цеховые, коими определено в окончательном выводе и с возможным устранением дробностей, количества рабочего времени, угаров, припасов и денежных расходов, имеющих наибольшее влияние на цену приготовляемых металлов и на самое благосостояние рабочих людей.

За сим выяснена по каждому главному производству цена приготовляемых в нем металлов и изделий, с тем, чтобы цена их служила впоследствии основанием для учета местного заводоуправления в успехе заводского хозяйства.

Определены также высший и меньший пределы запасов по главным заводским потребностям, например, — провианту, дровам, углю, рудам, флюсу и проч., долженствующим иметься в наличии к установленным срокам, с тем, чтобы местные начальники отнюдь не выходили из сих пределов.

На сих главных основаниях составлены были особою при Главном Управлении Горном Комиссиею новые для Уральских заводов штаты, рассмотренные в Государственном Совете и удостоенные Высочайшего утверждения в 11 день мая 1847 года. Для казенных же заводов, вне области Уральской находящихся, изданы были только личные штаты, определяющие число высших и низших чинов управления, их содержание и издержки управления, а именно для Олонецких заводов 24 ноября 1839 года, для Суоярвского завода — 22 июня 1856 года, для Луганского — сначала в 1828, а потом в мае 1853 года, для Алагирского завода 27 февраля 1850 года и для Николаевского — 29 декабря 1853 года.

Изложив таким образом существенные преобразования местной администрации Уральских горных заводов, начиная с Проекта Горного Положения (1806 г.) по настоящее время, необходимо, для полноты статьи, указать те

органы, посредством коих действовала Горная администрация с издания первых штатов. При этом, принимая в соображение, что существенная разница между штатами 1827—1829 годов и 1847 года заключается: относительно личного состава, в сокращении чиновников или соединении некоторых должностей, а в отношении заводского действия, в более общих положениях, все здесь сказанное будет относится к обоим периодам времени.

Итак, с изданием штатов в 1827 года, Управление казенными горными заводами составляли и составляют:

А) ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

1. Главный Начальник горных заводов Уральского хребта.
2. Горное Правление.

Круг действий и обязанности Главного Начальника определены вышеупомянутою инструкцией 1826 года, на основании коей, он непосредственно подчиняется Министру Финансов и затем не входит непосредственно в переписку с другими Министрами, а в случае надобности к сему, представляет по начальству. Главный Начальник есть Директор Горного Правления. По сему ему принадлежит наблюдение за успешным течением дел в Горном Правлении, сохранение строгого хозяйства и искусственного производства по казенным заводам, соблюдение как по казенным, так и по частным заводам должной подчиненности и благонравия; попечение о срочном поступлении горных податей, составление потребных на действие заводов смет и представление оных, по рассмотрении в Горном Правлении, Министру Финансов, надзор за выгодностью казенных заготовлений и продаж, а также главный надзор за всеми действиями Горных начальников и разрешение их представлений.

Помощник Главного начальника есть Берг-Инспектор. В первом департаменте председательствует Главный Начальник, а во втором Берг-Инспектор. Главный Начальник производит временные обозрения заводов лично или через Берг-Инспектора или через других чинов, лишь бы только сии последние не были ниже чином Горного Начальника, действия коего ревизуют. При объезде по ревизии заводов, Горный Начальник имеет право своею властью делать изменения в заводском действии. Берг-Инспектор же не иначе как с согласия Горного Начальника или с разрешения Горного Правления. Для производства дел Главного Начальника состоит особая канцелярия.

Обязанности и состав Горного Правления после издания штатов 1847 года.

Главное Правление, как и Главный Начальник, находится в Екатеринбурге. Оно разделяется на два Департамента, в первом присутствуют 5 советников, во втором — 3 советника. Кроме того, в Горном Правлении заседают Горные начальники, по приглашению Главного Начальника. По делам особой важности соединяются два Департамента. При втором Департаменте состоит Прокурор. Для производства дел определяется штатом Канцелярия.

Не зависимо от сего, при Горном Департаменте находятся: Чертежная Горного правления, Комиссия Военного суда [9], Главный лесничий Уральских заводов, Главный механик, Инженер госпиталей частных заводов, Казначейство и архив.

Первый Департамент Горного Правления, состоящий из четырех отделений и отделения Счетного и Контрольного, ведает дела исполнительные, как то:

1) Ведомство всех чинов и людей, находящихся на горных заводах, и производство в горные чины по установленным для сего правилам.

2) Сбор податей, приведение в известность рудников и заводов, дозволение на устроение заводов, Горная полиция и все прочие распорядительные дела по заводам казенным и частным.

3) Рассмотрение годовой сметы о суммах, заводам потребных, соображение всяких новых предположений к исправлению или улучшению горного и заводского производств и ревизия отчетов Горных начальников.

4) Отвод земель и лесов к новым и старым заводам, по решениям утвержденным высшим начальством или прежними постановлениями и по грамотам.

5) Отводы рудников и приисков, освидетельствования отведенных в остановку заводов и рудников, частных людей и всякие следствия по делам горным и заводским.

6) Отвращение неправильного присвоения заводов, рудных приисков, рудников, самих руд и весов.

7) Отвращение всякого вообще преступления против узаконений и учреждений заводских и всякого вреда Горному и заводскому управлению.

8) Просьбы по делам горным и заводским на людей всякого звания и жалобы на них и на местное горное начальство от людей, состоящих и не состоящих в Горном ведомстве.

9) Все вообще дела Горного и заводского ведомства по коим не может быть спора и противоречия.

К предметам занятия второго Департамента относится:

1) Все споры между казною и частными людьми по предметам горным, или в каких-либо требованиях частных людей на казну по ведомству горному, где нужно разбирательство и суд.

2) Все спорные дела частных людей между собою относящихся до горного и заводского производства.

3) Все спорные дела между частными заводами, исковые просьбы на людей ведения горного, требующие судопроизводства.

4) Споры между промышленниками, касательно предметов, посредственно или непосредственно относящихся до рудников.

5) Споры между промышленниками и заводчиками и таковые же споры между казною и рудопромышленниками.

6) Всякий иск и жалоба, требующие судопроизводства, от мастеровых и работных людей и непременных работников на заводчиков, на их приказчиков и на их конторы.

7) Всякий иск и жалобы, требующие разбирательства и суда, мастеровых и работных людей и непременных работников на местное горное начальство, когда они не будут удовлетворены от Горного Начальства.

8) Иски требующие судопроизводства по собственности между всеми люд ми горного ведения и просьбы на сих людей, производимые [...] суда по так же собственности.

9) Споры по лесам и землям, отведенным к заводам, со смежными каз ными заводами, владельцами заводов и местным ведомством.

10) Споры по рудникам, приискам и отводам оных.

Дела Горного Правления, относительно порядка решения их, разделяются: дела разрешаемые в отделениях, властью одного советника; на дела разрешаем властью советника с утверждением Берг-Инспектора и на дела разрешаемые общем присутствии. Дела в общем присутствии вносятся с разрешения Бе Инспектора, где решаются большинством голосов. Журналы общего присутст по первому Департаменту приводятся в исполнение после утверждения их Г ным Начальником, который имеет право утверждать и меньшинство голосов

Протоколы второго Департамента пропускаются Прокурором, а Главн Начальник имеет одну власть как Губернатор над Палатами. По делам, п вышающим власть Горного Правления, испрашивается разрешение Минис Финансов.

Подобный порядок производства дел установлен в 1833 году распрост нением на Горное Правление инструкции о производстве дел в Казенных латах. До сего же времени все дела Горного Правления производил порядком коллегиальным, что весьма затрудняло их движение.

Горное Правление подчиняется Министру Финансов и Департаменту ных и Соляных Дел по управлению горного и заводского производства; нистру Внутренних Дел по делам полиции, народной промышленности и во гражданского благоустройства; Министру Юстиции по делам судебным.

Земские Суды, по округам тех губерний, в которых состоят подведо Горному Правлению заводы и непременные работники, так же Уездные с Расправы и Магистраты, в которые определены горные члены, подчиня указам Горного Правления, по делам до его обязанностей относящимся и в чае надобности оно поступает к ним по первому Департаменту, как Губе кое Правление, а по второму, как палаты Гражданского и Уголовного С

Обязанности Горного Начальника и других лиц с издания штатов.

Б) МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Для управления всеми делами внутри заводов и их округов, казне пр лежащих, определяются Горные Начальники.

Ему принадлежат части: а) *хозяйственная* — назначение должностей и решение по местам зависящим определением от него чиновников; назначение мастеровым; заведение мастерств; правильная разработка рудников; заготов провианта и других припасов; в выделке металлов и изделий и ведении сче отчетов; б) *искусственная* — усовершенствование мытарства и искусств; ретение машин; рассмотрение таковых изобретений; управление горных ш заводам; в) *судебная* — учреждение временных судов из Помощника Г

го Начальника и двух горных чиновников для разбирательства спорных дел между заводскими людьми или по жалобам на них в городах, в которых нет общих присутственных мест; учреждение военных судов, если обвиняемые есть нижние чины и мастеровые; надзор за производством судебных дел; Горному Начальнику принадлежит полиция во всем пространстве её значения.

Горный Начальник, в делах превышающих его власть, представляет Главному Начальнику. Для вспомоществования Горному Начальнику назначается штатом Помощник. Независимо от сего в каждый горный округ Уральских горных заводов назначается Главная Контора, а при каждом заводе учреждается Заводская контора и назначается заводской Управитель с Помощником.

Число должностных лиц для каждой округи и следующее им содержание определяется штатами.

В горных городах, смотря по народонаселению, горным Уставом разрешается иметь присутственные места, как то: Магистраты или Ратуши, Думы и Уездные Суды, Словесные Суды и Ремесленные Управы. В горных городах и главных заводских селениях полиция управляется полицмейстером или заводским Управителем или полицейским приставом. Окружная полиция в прочих заводских селениях поручена Горному Начальнику, который заседает в Земском Суде, и сей последний не может распоряжаться в горном округе как только через Горного Исправника — разве бы к противному был уполномочен Горным Начальником.

Местное управление частными заводами, оставаясь в полном распоряжении относительно горных и заводских производств владельцев оных или поверенных их, для присмотра по сбору податей, для надзора за казенными людьми и для ведомства внутренней полицией в селениях, определяются заводские исправники, которые тоже заседают в Земском Суде и только через них распоряжается сей последний. Впрочем, по незначительности заводов полиция заводская может быть поручена Главным Начальником и Горным Правлением Земскому Исправнику. Заводский исправник и Управляющий заводом составляют заводскую полицию.

Центральное Управление по Горному Ведомству.

В заключении не бесполезно упомянуть вкратце и о преобразовании центрального Управления по горной части.

По Проекту Горного Положения, Управление Горною частью сосредотачивалось в Министерстве Финансов по Департаменту Горному, который то время разделялся на Горную Экспедицию и Горный Совет. Экспедициею, ведавшею дела исполнительные и хозяйственные заведовал Управляющий Департаментом, с двумя начальниками отделений. Горный же Совет составляли Управляющий Департаментом и два особенные Советника и сверх того по временам присутствовали два Начальника отделений Департамента, Командир и Инспектор горного корпуса. Горному Совету подлежали все вообще дела, требовавшие обсуждения; всякие изменения в законоположения или принимавшиеся меры к улучшению Горной части, обсуждались в Горном Совете и без

его мнения Министр ничего не решал и не представлял на Высочайшее усмотрение по горной части. Мнения Совета приводились в исполнение Экспедициею Горного Департамента. В 1811 году с изданием общих учреждений министерств, Горный Департамент состоял уже из 7 отделений (монетного, казенных заводов, добывания солей и минералов, продовольствие государства солью, судного и счетного), Чертежной и лаборатории. При горном Департаменте было еще присутствие оного, состоящее из Начальников Отделений и других чинов по приглашению председателя Директора Департамента, присутствие это по-прежнему называлось Горным Советом. До 1834 года Департаменту принадлежала как хозяйственная искусственная и счетная часть по управлению горными заводами, так и заведывание личным составом горных чинов; в этом году с образованием Корпуса Горных Инженеров отошли от него в учреждаемый Штаб части: инспекторская, искусственная и, на последок, судебная по преступлениям лиц состоящих на службе по горной части.

К сожалению, не имеется положительных сведений о побуждениях к сему нововведению, но принимая в соображение ниже прилагаемый ход настоящего дела, со всею положительностью можно заключить, что мысль об учреждении Корпуса Горных Инженеров и главнейшее руководство к приведению оной в исполнение принадлежала в бозе почившему Государю Императору Николаю Павловичу.

Как кажется Государь Император возымел намерение приступить к сему преобразованию, после того как по приказанию Его Величества осмотрел на месте наш горный промысел Свиты Его Величества генерал-майор Сент-Альдегонд и представил о путешествии своем по горным заводам всеподданнейший отчет, с объяснением тех начал, на которых учреждено управление Горною частию во Франции.

Началом производства дела по настоящему предмету в Горном Департаменте послужили: требование Статс-Секретаря Танеева от 7 ноября 1833 года о доставлении перечневой ведомости о том, сколько каких чинов состоит по штатам собственно по горной части и переданная графом Канкриным, 10 ноября, записка, полученная Его Сиятельством лично от Государя Императора для доклада, в которой изъяснялось предположение о преобразовании и учреждении Корпуса Горных Инженеров и Горного Института, по примеру Института Корпуса Путей Сообщения. За сим имеется в делах Горного Департамента всеподданнейшая записка Статс-Секретаря Танеева, при коей представлялось на Высочайшее усмотрение вышеозначенная из Горного Департамента перечневая ведомость о числе штатных горных чинов. На записке это имеется собственной руки Его Величества следующее замечание: «Велеть отметить сколько и каких чинов заняты одною канцелярскою частью и казначейскою, и сколько одною искусственною или горною».

После того Государь Император соблаговолил передать Министру Финансов, 24 ноября, собственною рукою Его Величества начертанное расписание чинов Горного Корпуса с определением числа офицеров каждого чина. Составленный на основании сего проект положения о Корпусе Горных Инженеров, Министр Финансов имел счастье поднести на предварительное усмотрение Его

Величества, всеподданнейше испрашивая Высочайшего разрешения, какой дальнейший ход должно дать сему делу.

По исправлении оного положения, согласно собственноручным заметкам Его Величества, оно удостоилось Высочайшего утверждения в 1-ый день января 1834 года.

Из положения сего между прочим видно:

1) Корпус Горных Инженеров учрежден для заведования распорядительною и искусственною частью Горного, Монетного и Соляного производства.

2) Для приготовления Горных инженеров, предположено преобразовать Горный Институт, а для приготовления Горных механиков учредить при Техническом институте особенную Горную техническую школу и медальерное отделение оной при Санкт-Петербургском Монетном Дворе.

3) Министр Финансов назначен Главноначальствующим, впоследствии переименован Главноуправляющим Корпуса Горных Инженеров, с определением к нему Начальника Штаба.

4) Для производства дел Штаба определена временная Канцелярия, состоявшая из старшего адъютанта, двух столоначальников, одного помощника их, секретаря, журналиста и писцов. К которой штатом 26 октября 1834 года прибавлено: дежурный штаб-офицер, один старший адъютант, один помощник, а в 1836 году прибавлено еще 2 чиновника для особых поручений.

14 января Высочайше конфирмована инструкция для Начальника Штаба, которая тоже удостоилась предварительного Высочайшего рассмотрения и собственноручного исправления. Инструкциею этою возложены на Начальника Штаба следующие обязанности: а) заведование всею инспекторскою частию; б) бдительное наблюдение за порядком и исполнительностью в Горном Институте в хозяйственном и учебном отношениях, а также все предположения об изменениях и улучшениях в том заведении; в) участие во всех делах Горного Совета, Ученого Комитета и в Совете Министра Финансов; г) ближайшее наблюдение за делами Горного Аудитора, с тем непременным условием, что без его участия не могут быть решаемы дела судные о горных инженерах; д) изготовление по ведомству Начальника Штаба всех бумаг по судной части, представляемых на Высочайшее утверждение; е) ревизия, по распоряжению Министра Финансов, горных заводов и исполнение особых поручений и, наконец; ж) содействие во всех отношениях к улучшению Горной части.

Затем, января 24 дня 1834 года, Высочайше утверждено положение от учреждении Совета и Ученого Комитета Корпуса Горных Инженеров, как особых учреждений при Министерстве Финансов для рассматривания важнейших до Горной части относящихся дел.

На конце 1837 года Высочайше утверждено положение о Горном Аудиториате, на основании коего в Канцелярии Штаба, для заведования делами Аудиториата прибавлен еще один стол, в который назначены: корпусный обер-аудитор, аудитор и помощник аудитора, и в 1843 году прибавлено к Департаменту определение частных золотых промыслов.

(ГАСО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 399. Л. 3-32 об. Подлинник)

№ 3. Из письма председателя Комиссии по пересмотру Горного устава В.Е. Самарского-Быховца главному начальнику Уральских горных заводов Ф.И. Фелькнеру

13 февраля 1862 г.
Милостивый государь,
Федор Иванович!

[...] я имел честь препроводить к Вашему Превосходительству Историческую записку о составе Горной администрации с Проекта Горного Положения по настоящее время, прося Вашего уведомления — не найдется ли в ней упущенным какое-либо учреждение, имевшее в свое время какое-либо особое значение [...]

В. Самарский-Быховец

(ГАСО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 399. Л. 33-33 об. Подлинник)

№ 4. Письмо главного начальника Уральских горных заводов Ф.И. Фелькнера председателю Комиссии по пересмотру Горного устава В.Е. Самарскому-Быховцу

23 июня 1862 г.
Милостивый государь,
Василий Евграфович!

Присланную Вашим Превосходительством ко мне при письме от 14 июля 1861 года Историческую записку о составе Горной администрации с Проекта Горного Положения по настоящее время, имею честь препроводить вам обратно и считаю долгом уведомить, что записка сия, по моему мнению, заключает в себе совершенно полное изложение как всех учреждений по Горному ведомству существовавших в силу Проекта Горного Положения по административной, полицейской и судебной частям, так и последовавших с 1806 года изменений в этой отрасли государственного управления.

При этом вменяю себе в обязанность объяснить, что при внимательном чтении этой записки и соображении её с источниками из которых она составлена, я встретил в ней несколько выражений, показавшихся мне несовершенно точными. Все они значатся в прилагаемой здесь записке.

Ф. Фелькнер

(ГАСО. Ф. 43, Оп. 1. Д. 399. Л. 37-37 об. Подлинник)

№ 5. Приложение к Письму Главного Начальника Уральских горных заводов к Господину Председателю Комиссии по пересмотру Горного Устава

Слова исторической записки	Замечания
В отделе **"Управление полицейское и судебное в казенных заводах"**	
1) Селения при заводах, рудниках и пристанях казенных людей подчинялись Горной Полиции.	1) К оному следовало бы сказать: "Селения при заводах, рудниках, заводских пристанях и все другие селения горнозаводских людей, подчинялись Горной полиции."
2) Земский суд действовал по округу через заводских и горных исправников.	2) Исправники в округах казенных заводов назывались всегда *горными*, а название *заводских* принадлежало исправникам частных заводов. Поэтому должно выпустить в редакции слово "заводских".
3) ... в противном же случае споры между горными людьми ведал Горный Начальник, его Помощник и Управитель завода.	3) Смысл 825 и 828 ст. Проекта был передан вернее такими словами: "в противном случае споры между горнозаводскими людьми и по жалобам на них других мест и лиц, ведал Суд составляемый Горным Начальником из его Помощника и двух горных чиновников. Для решения спорных дел менее важных Горный Начальник назначал Словесный суд. Полицейское же разбирательство принадлежало в разных случаях Горному Начальнику, Управителю, Горному Исправнику и проч.
В отделе **"Утверждение в должностях"**	
4) ... Земские Исправники по казенным и частным заводам определялись, первые, Горным Начальником, а вторые, Горным Правлением с утверждения Генерал-Губернатора.	4) Для большей точности лучше бы сказать: "... Горные Исправники по заводам казенным определялись Горным Начальником, а заводские исправники по частным заводам — Горным Правлением, с утверждением Генерал-Губернатора".
В отделе **"Издание штатов для Уральских заводов"**	
5) Штаты эти хотя были временные (на три года), но по важности и обширности труда, требовавшегося для пересмотра их и исправления, они не только вошли в Свод 1832 года, но повторились в Своде 1842 года и только в 1847 году явились в новом виде.	5) В своде законов штаты никогда помещены не были, а напечатаны в "Полном собрании Законов". Поэтому следовало бы изложить так: "Штаты эти, хотя были временные (на три года), но по важности и обширности труда, требовавшегося для пересмотра их и исправления, они были изменены, сообразно потребностям времени, только в 1847 году".
В отделе **"Обязанности и состав Горного Правления"**	
6) Независимо от сего, при Горном Правлении находятся: Чертежная Горного Правления, Комиссия Военного Суда...	6) Здесь сделаны, вероятно, канцелярские ошибки, которые должно исправить так: "Независимо от сего при первом Департаменте находится: Чертежная Горного Правления, Горный Военный Суд и проч." Горного Военного Суда лучше не называть Комиссиею для избежания недоразумений, т.к. при заводах, кроме Горных Военных Судов, существуют еще Военно-Судные Комиссии для суждения хищников и переводителей драгоценных металлов.

(ГАСО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 399. Л. 37-40 об. Подлинник)

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Берг-инспектор являлся помощником Генерал-губернатора по горной части.
2. См. документ № 5.
3. См. документ № 5.
4. См. документ № 5.
5. «Должности интересные» — лица, занимающие эти должности, несли полную материальную ответственность.
6. См. документ № 5.
7. Имеется в виду должность Председателя Горного Военного Суда, учрежденного при Горной администрации для суда над горными чиновниками.
8. См. документ № 5.
9. См. документ № 5.

О.Е. Артемова

ДНЕВНИК СЛУГИ ПОМЕЩИКОВ ГОЛУБЦОВЫХ (КРАСНОУФИМСКИЙ УЕЗД ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ, ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)

В последнее время наше общество осознало необходимость возрождения исторических и культурных традиций старой России. Это дало новый импульс исследователям к более глубокому изучению духовных интересов и устремлений прошлых поколений, их общественной, предпринимательской и частной жизни. Лишь изучая внутренний мир человека, его повседневную жизнь, можно в полной мере воссоздать картину мира той или иной эпохи, происходящие в обществе процессы и настроения. Повседневность — это мелкие факты, едва заметные во времени и пространстве. Из этих маленьких происшествий вырисовывается жизнь общества. Историку не должно быть безразлично, каким образом на разных его уровнях люди едят, одеваются, обставляют жилище [1].

История индивидуального, уникального, противостоящего массовому и повторяющемуся, занимает центральное место в исследованиях по истории частной жизни — другом новом, но пока значительно менее проявившем себя направлении историографии [2]. Одним из важнейших отличий нового этапа исторических исследований, характерного для мировой историографии, можно считать сосредоточение внимания на своеобразии поведения отдельно взятого индивида (типичного или нетипичного).

В основе данной публикации — в своём роде уникальный архивный материал, приближающий нас к жизни такой «типичной» уральской помещичьей семьи. Это дневник слуги помещиков Голубцовых, состоящий более чем из трёхсот страниц ежедневного описания в период с 1872 по 1876 г. [3]. Ряд историков обращался к этому документу в своих работах. Но предмет их исследования зачастую не сводился к детальному рассмотрению повседневной и частной жизни в дворянской усадьбе [4]. Соответственно, с точки зрения реконструкции данной темы, потенциал этого источника до конца не исчерпан. Поэтому мы посчитали необходимым остановиться на её изучении.

В жизни любого человека всегда были и остаются дни, которые со временем стираются из памяти и становятся менее значимыми. Тогда как именно эти моменты повседневности дают нам возможность понять и представить в полной мере жизнь каждого человека и общества в целом.

К сожалению, на сегодняшний день известно лишь несколько дневников жителей Пермской губернии XVIII—XIX вв. [5]. Это преимущественно личные жизнеописания. В них содержатся записи чисто семейных событий: указываются дни рождения детей, даты свадеб и других памятных событий, даты смерти родственников, а также фиксируются даты и стоимость каких-либо приобретений или, наоборот, продаж, иногда с подробным их перечислением.

Но существуют ещё и дневники, написанные не самими участниками событий, а их родственниками или приближёнными. Дневник слуги, который описывает жизнь своих господ в помещичьей усадьбе, отличается неповторимой спецификой.

Он носит не только описательный, хронологический характер, но и показывает личностное отношение автора к происходящему. Здесь слуга являлся одновременно и очевидцем жизни своих господ, и непосредственным её участником. В его дневнике мы видим ежедневное повествование о больших и малых событиях дня, о погоде, гостях, обо всём том, что составляет незаметное течение времени...

Через призму веков автор как бы «окунает» нас в мир своих переживаний и ощущений, со свойственными тому времени нравами, привычками, порядками и традициями в обществе. Мы становимся много ближе к пониманию мироощущения и настроений людей в их повседневной жизни.

Сведения об авторе этих записей очень скудны. Ни фамилии, ни родословной его нам неизвестно. Знаем только, что звали слугу Матвей. Что он был женат; имел надел и хозяйство, но дома бывал редко, так как всё время жил у барина. Других сведений о его семье в дневнике нет.

Ежевечерне слуга доставал большие белые листы бумаги и записывал туда чёрными чернилами все значимые события истекшего дня. Первая запись появилась в воскресенье 23 апреля 1872 года. Вёл дневник исправно в течение четырёх лет (в родовом фонде Голубцовых сохранились записи только с 1872 по 1875 гг.), стараясь не пропускать практически ни единого вечера. Нам не известны мотивы, почему был начат дневник и, собственно, почему внезапно оборвался в 1875 году. Думается, что его написание было сугубо личной инициативой слуги. Из общей картины записей видно, что сам барин относился к его увлечению слуги положительно, даже, можно сказать, благосклонно. Об этом можем судить из того, что Матвей нередко делал свои записи при хозяине. Возможно, слуга продолжал вести дневник и дальше, поскольку имеется описание ещё одного дня, датированное 26 июня 1876 г.

Почерк автора не всегда разборчив. Знаки препинания, в основном запятая и точка с запятой, поставлены с такой частотой, что иногда нарушают общую картину предложения, и сложно понять, к чему относится то или иное слово. Забавно, что почерк слуги и его манера написания меняются в зависимости от года. Например, в 1872 г., когда был начат дневник, структура предложений более стройная и почерк аккуратен. Тогда как в 1875 г. — он более размашистый, с множеством встречающихся орфографических ошибок. Видимо, характер текста зависел и от ряда других обстоятельств: в пути, в дороге, да и просто наспех описанные события отличаются от вечерних записей дома поспешностью изложения; насыщенный событиями день, вызывая массу впечатлений и эмоций у автора, влиял на манеру письма.

Обращают на себя внимание встречающиеся в тексте (иногда без видимой логики) обрывки фраз, лёгкие штрихи, исправленные слова, вписанные предложения. Именно потому текст становится сложно читаемым. Но как раз эти нюансы позволяют сделать вывод, что Матвей старался передать общую картину событий последовательно и точно, не упустив ни единого момента.

Слуга с большим почтением относился к своему хозяину и его супруге. Каждый раз в записках слово «барин», «барыня» он пишет с заглавной буквы. К молодым господам также уважительно обращался в дневнике по имени и отчеству — «Владимир Владимирович», «Александр Владимирович».

Матвей делал записи не только о друзьях и знакомых семейства Голубцовых, но и обо всех тех, кто окружал их жизнь: о слугах, о крестьянах, о рабочих завода и мельницы, об их жёнах и детях, даже о домашних животных.

Из записей видно, что слуга был очень исполнительным: любое приказание барина делал точно и незамедлительно, аккуратно записывая об этом в дневник.

Прежде, чем обратиться к нашим героям, следует сказать несколько слов об усадьбах и поместьях дореволюционной России.

Со второй половины XVIII в. по всей России появляются классические дворянские усадьбы.

Многие семьи проводили в столицах, как правило, зимы и потом возвращались «на покой» в свои губернии. А многие — обосновывались в своих поместьях на долгие годы.

Для Урала подобные явления не были нормой, в отличие от Подмосковья и Санкт-Петербурга, но и не являлись исключением. Уральское дворянство состояло преимущественно из помещиков и чиновников. На Урале помещичьи усадебные комплексы располагались в основном на плодородном юго-западе, в Приуральской части [6]. Одной из немногих являлась усадьба Голубцовых, дворянского семейства, обосновавшегося с XVIII века в с. Александровском Красноуфимского уезда Пермской губернии.

Город Красноуфимск, некогда заложенный как крепость для защиты от набегов башкир, в 1781 г. получил права уездного города вместе с прилежащими к нему волостями и деревнями. Постепенное развитие города привело к тому, что к середине XIX в. здесь уже проживало 2 645 чел. [7]. Основным занятием большинства жителей были земледелие и скотоводство. Около трети городской земли занимали сенокосы, выгоны, пастбища. Широко была развита охота и рыбная ловля, по причине изобилия разного рода зверя, дичи и рыбы. К концу века в городе наблюдается ускоренный рост ремёсел и мелких заводов. И уже к 1899 г. в Красноуфимске насчитывалось 5 435 человек [8].

Привлёк этот край и одного из основателей дворянских усадеб на Урале воеводу Пермской провинции Александра Фёдоровича Голубцова. В 80-х гг. XVIII века он купил в этих местах землю и мельницу. Приобретённый участок новый владелец назвал Александровским селом, и переселил сюда крестьян из своей симбирской вотчины. Построил деревянный дом на каменном фундаменте по одну сторону запруженной реки Зюрзяны и винокуренный завод — по другую.

С тех времён имение переходило по наследству от отца к сыну. И все потомки Александра Фёдоровича продолжали его традиции, заботились об усовершенствовании хозяйства, вводили различные новшества.

К середине XIX века в голубцовской вотчине помимо винокуренного завода работали стекольный завод, несколько мельниц и лесопилка; а земли насчитывалось 22 тысячи десятин, из которой пахотной — 6,6 тысячи. Крепостные мужчины отрабатывали в пользу господ по 156 рабочих дней, а женщины по — 104 [9].

Первую половину XIX века владельцы в имении практически не жили, оставляя хозяйство на смотрение управляющему, лишь изредка приезжая по де-

лам. И только в 70-х гг. XIX века сюда переезжает на постоянное местожительство правнук основателя, действительный статный советник и почётный мировой судья Красноуфимского судебно-мирового округа Пермской губернии Владимир Платонович Голубцов (1832—1887). Женой Владимира Платоновича была Варвара Алексеевна Половцева. У них было два сына: старший — Владимир, и младший — Александр. Большую часть времени супруга с детьми жила в городе, но очень часто навещала мужа и подолгу оставалась в имении.

Не случайно был выбран и опубликован данный отрывок из дневника слуги помещиков Голубцовых. Во-первых, здесь более-менее подробно повествуется о небольшом путешествии автора со своим господином в г. Пермь. Во-вторых, описание домашней жизни семьи в течение нескольких последующих дней типично. Таким образом, данный фрагмент дневника позволяет читателю ознакомиться с различными сторонами жизни Голубцовых в родовом поместье и за его пределами. Слова и фразы, которые не удалось разобрать, отмечены в публикации звездочкой.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное. Т. 1. М., 1986. С. 39—40.

2. Бессмертный Ю.Л. Человек в кругу семьи // Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени: М. 1996.; Индивидуальное и уникальное в истории // Казус. М., 1997.

3. Дневник слуги помещиков Голубцовых. ГАСО. Ф. 67. Оп. 1. Д. 69.

4. Летфулова М.Б. Дворянская усадьба Голубцовых в конце XVIII — начале XIX вв. // Чердынь и Урал в историческом и культурном наследии России / Чердынский музей. Пермь, 1999; Пирогова Е.П. Уральские помещики Голубцовы и их родовая библиотека // Сб. научных трудов: Книжные собрания Российской провинции. Екатеринбург, 1994; Плещёва Г. О гнезде соловья, перчатках перлового цвета, вишнёвом варенье... // Родина. 1997. № 5; Трофимов А. Наследники // Уральский следопыт. 1999. № 8.

5. Корепанова С.А., Микитюк В.П. Дневник купца М.П. Брагина // Первые Татищевские чтения. Тезисы докладов и сообщений. Екатеринбург. 1997. С. 89—92.

6. Летфулова М. Б. Дворянская усадьба Голубцовых... С. 182.

7. Анимица Е. Города Среднего Урала. Свердловск, 1975. С. 215.

8. Красноуфимск. Свердловск, 1986. (Города нашего края). С. 14.

9. Трофимов А. Наследники ... С. 72—73.

(Л. 166) 1875, Август.

13. Утро было тихо, 4 1/2° тепла. Барин встали в 7 часов. Кофе и чай пили. После чаю в 9 часов на стекольный завод ездили, где откладальной[1] печи костяк клали печники и мастера. В 1/2 11 часа завтракали. Новые мельники приходили рядиться с барином, что желают новые поставы[2] мельницы сделать. Барин прежде всего приказали им камень выковать, а потом увидят, допускать

---

1) откладальной — на стекольном заводе печь для закалки готовой посуды.

2) постав (мельничный) — снасть, стан, каждая пара жерновов

ли их к делу или нет. После завтрака барин ...* ездили к машине. Вернулись, отдыхать легли. В 4 часа встали, в 5 часов чай пили.

14. Утро было ясно. Михей[1] ездил в Араково бычка заколоть. Баталов[1] ездил в город к Эрдману, без успеха. Барин обедал в 4 часа, после обеда ездили в поле. Выжали ржи 3 1/3 десятины.

15. Утро холодное, ясное. Барин встали в 6 часов. Адриана позвали, приказали о лошадях закладывать. Мне приказали скоро укладывать в чемодан. И когда было всё готово, лошадей подали, в тарантас уложили, в 8 часов отправились. Поравнялись с Ч..., нарочный на верховой нас догоняет, Павлик, телеграмму от Владимира Владимировича (Л. 166 об.), в которой пишут, что они выехали 15 сегодняшнего дня из Нижнего. Барин рассчитали, что нам в Перми придётся прожить два дня лишних /над строкой: тут мы встретили Платона и извозчика/, прождать, но не вернулись назад. Сказали, ничего. В 12 часов приехали в Пошаевку /над строкой: в версте от Пошаевой Абрамова встретили/. В 1/2 3-его часа были в Ключах, в 6 часов — в Сабарке, в 1/2 8 — в Бушуевой, в 1/2 10 — в Кунгуре, в 12 часов — в Крылосовой, тут мы расположились ночевать. Помешали нам смотритель со смотрительницей: смотритель был пьян, и дрался с ямщиками, а смотрительница унимала.

16. Утро серое, к дождю склонно. В 1/2 7-го часа выехали, в 12 часов — в Перми были.

17. Утро. Пасмурно, малый дождь. Барин ходили к обедне, где виделись с Васильевым, который через 1 1/2 часа к нам пришёл. Потом барин поехали к Благовидову и Лысогорскому[2]; вернулись в 3 часа с Лысогорским — у нас обедали. Благовидов в 5 часов был.

18. Утро было дождливое, барин встали в 8 часов, в 12 уехали к Лысогорскому, в 3 часа дома обедали; в 7 часов барин поехали к Благовидову, где был богатый ужин. Вернулись барин в 12 часов.

19. Утро было дождливое. В 1/2 2 часа барин ездили к ...* узнать, что не получали ли депешу о пароходе. Последний сказал, что мы депеши не получаем до тех пор, пока пароход не опоздает; если опоздает (Л. 167), то депешу пришлют. Барин, слыша, что сей же час послали телеграмму оханскому исправнику узнать, такой-то пароход, когда прошёл в каком часу, чтобы исправник дал ответ, когда пароход пройдёт. Мы в 4 часа с барином на пристань самопеша пришли, прождали 1 1/2 часа. Барин отправились домой обедать, а я в ближайшую гостиницу чай пить. В 6 часов я опять на пристань пришёл и дожидался. А в 7 часов отходил пароход «Кавказ и Меркурий», куда барин с жандармским полковником Самойловым прошли, и я туда же. Там барин много увидели знакомых. Потом мы с барином отправились домой, где барин чай пили; в 10 часов меня послали к Кожевниковой хересом, я съездил /над строкой: и получили в эти минуты из Оханска телеграмму/. И сей же час свисток пароходный был. Мы скорей с барином собрались и ...* приезжаем туда. Там пришёл пароход «Лебедь». Потом мы сели на пристань и долго

---

1) Михей, Баталов — дворовые люди В.П. Голубцова.

2) Лысогорский — пермский вице-губернатор.

смотрели мы во мрак, и заметили вдали одну искру огня. Сказали мы, что это наш пароход; и сия точка приближалась, становилась более и более. И оказалось, что мы угадали. В 12 часов пришёл пароход, встретили мы Владимира Владимировича. Поздоровались барин и Владимир Владимирович. Уехали в гостиницу. А я с Гришей[1] вещи получили и отдали (Л. 167 об.) в гостиницу, где мы расположились. Чай пили господа и ужинали до двух с половиною часов ночи, потом спать легли.

20. Утро мокрое, дождь. Барин встали в 7 часов. Я продал ящик стекла и барину выручку отдал. Барин писали письма. Кофей кушали, читали мне письмо барыни, в котором барыня их просят её встретить. Так барин думали, кого из нас взять с собой — меня или Гришу. Решили ехать без никого. Потом Владимир Владимирович встали, кушали чай и кофей. В 11-м часу поехали барин с Владимиром Владимировичем с визитами: к Благовидову, к Лысогорскому, к воинскому начальнику и к Самойлову. Вернулись домой к половине третьему часу, обедали. Потом мне барин поручение 4 отдали, чтобы исполнить их в скором времени, что было исполнено. Потом барин к Лысогорскому отправились, а я начал им укладывать чемодан. Барин вернулись, было уже 1/2 5-го часа. Скорей мне приказывали вещи вести на пароход, я сию же минуту отправился. Барин с Владимиром Владимировичем тоже скоро приехали туда. И скоро пароход засвистел. Барин простились и поехали. А мы с Владимиром Владимировичем поехали в гостиницу. (Л. 168) А я к Управе Волостных почт насчёт тарантаса пошёл, который мне показали, я выбрал. Потом пришёл в гостиницу. Владимир Владимирович обедали, вечером в театр ездили. В 12 часов вернулись из театра, чай пили; после чего, нам Владимир Владимирович с Гришей приказали спать лечь. А сами сели писать. Писали до второго часа, потом спать легли.

21. Утро было тёплое, солнце. В 7 часов Владимир Владимирович встали, чай и кофе был. Потом мы начали укладывать, уложили. Потом я сходил за лошадьми и билетом. Лошади были скоро поданы. Мы с Гришей уложили в тарантас. И в одно время были поданы лошади актрисы, которая из Петербурга проезжала в Екатеринбург. И в 12 часов мы двумя экипажами отправились. К вечеру мы доехали до Крыласовой, где пили чай и ужинали. Заказывали яичницу.

22. В 10 часов мы были в Кунгуре. В 1/2 4-го мы были в Бушуевой. В 1/2 7 — были в Сабарке. В 10 часов мы были в Ключах. В 1/2-го часа мы были в Быковой. В 5 часов мы были в Ачите. В 7 часов мы дома. (Л. 168 об.) Чай и обед. Няненька очень была рада видеть Владимира Владимировича. На коляске приехали, которая по депеше ожидала в Ачите. В 10 часов спать легли.

23. Утро было пасмурное. Потом разгулялась погода. Я и Баталов поехали в город к Эрдману, где нам поездка не удалась. И Михей был на козлах у нас. Возвращаемся из города около тракта /над строкой: Владимир Владимирович ездили верхом в поля/ начинают машиной овёс жать. После обеда, кончивши до обеда рожь, мы приостановились, посмотрели на машину, которая плохо идёт. Вечером вернулись с жатвы, отнесли серпа и отдали точить Андрею Коневатову, спать легли в 11 часов.

---

1) Гриша — слуга Голубцовых.

24. Утро было ясное. Владимир Владимирович ездили в форме во всей. Очень народ был удивлён формой. Вернулись от обедни, завтракали. После завтрака ездили в поля на Мишке с Палашом. И Мишка пустил Палаша, не боялся. Потом вернулись, обедали. Топохов ездил в Чувилисково, в Камнаково и в Подтитишную. Барин спать легли в 11 часов.

25. Утро было ясное. Я в 10 часов отправился в Пермь. Вечером я был в Кунгуре. В 26 числа в 12 часов дня был я в Перми. Справился, можно ли в банк деньги сдать. (Л. 169) Мне сказали нельзя сего дня, день не присутственный. Я ходил на Театральную площадь, где была леменация. У купеческого клуба стоял вензель. И много плошек, а у театра плошки и окромя того, в двух местах бенгальские огни горели. И в театре был, где первоначально было пропето «Боже, царя храни!». Все актёры и актрисы стояли кружком, пели великолепно, потом представлении было.

27. Утро восхитительное, день был очень тёплый. Я в 12 часов ходил в банк, сдал деньги. И потом на телеграф, послал барину телеграмму в Нижний Новгород. После сего зашёл к Юмашевым[1], где нашёл их всех здоровыми, обедал у них. Потом пришёл домой, продал стёкла пол ящика за 12 рублей, потом с поповичем Степаном мы ходили в Данилиху, наняли лошадей, чтобы утром рано были поданы в гостиницу нам ехать.

28. Утро было тёпло, ясно. В 7 часов были лошади, чтобы ехать. Ночевали мы в Шохаровке.

Утром 29 числа в 7 часов мы отправились домой. Приехали в 1 час пополудни, где мне говорили, что от барина телеграмма, чтоб я ехал встречать барина в Пермь. (Л. 169 об.) Что телеграмма получена, я ...в ей число дома, переживал. Павлика Стан. Требовал и пр. ....

30. Утро было .... Владимир Владимирович ездили в церковь к обедне. Было ... и молебен был. Я отправился в 12-м часу, захватил с собой Павлика до Перми. И жена моя из Кошаевки уехала лошадей домой. В 3 часа я был в Ключах. Около четырёх выехал до Суксунского села. Пошёл сильный снег с дождём и вихрем. Едва, едва мог доехать до Марунова. Было 8 1/2. Возможности не было дальше ехать. Тут я остановился ночевать.

И в 5 часов утра /над строкой: 31 числа/ выехал. В 9 часов был в Кунгуре. В 11 часов опять снег пошёл и дождь. В 4 часа заделалась погода ясная. Вечера в 11 часов я приехал в Пермь, занял второй №. Тут расположился спать и Павлика положил.

Утром в 6 часов встал побежал /над строкой: 1 сентября/ на пароход на Каменскую пристань. Парохода ещё не было. Я домой. Потом пошёл в 12 часов и там с Павликом зашли в гостиницу. Чаю напились. И на пристань, ждать. В 2-ва часа пароход пришёл. Барина не оказалось; я на Меркурьевскую компанию. Справился, там должен по назначению в 5 часов. Потом его ...приходил в 7 часов, как раз при мне получали телеграмму, что из Оханска вышел в 3 часа. Значит ждать через 9 часов, т. е. в 12 часов. Я в 11-м часу (Л. 170) /в начале листа: Сентябрь, 1875 г./ пришёл ожидать парохода, ждал

---

1) Юмашевы — друзья семейства Голубцовых, живущие в г. Перми.

2 1/2 часа и дождался. Барин прибыли в 1/2 первого часа. Переехали мы в гостиницу и барин ничего не закусывали и чаю не пили. Спать легли, хотели было ехать ночью, но раздумали.

Утром /над строкой: 2 сентября/ в 1/2 7-го часа барин проснулись. Кофе и чай пили. И меня посылали к Кожевниковой и за лошадьми. И в 9 часов мы отправились. В 1/2 12 часа были в Тасимках, вечером были в Кунгуре. В 1/2 9-го часа, были в Бушуевой. Чай пили, закусывали, и опять в путь пустились.

В 4 часа утра /над строкой: 3 сентября/ были в Быковой. Из Быковой нам желательно было приехать, по случаю дурной дороги, в Ачит прямо через Лебяжье к нам. Смотритель сказал, что теперь ночью тут ехать опасно, немножко дожидаться света. Тут барин прилегли и 1 1/2 часа соснули. Рассвело, мы поехали. Дома были в 8 часов. Чай пили. Шолохов был тут конторщик. Потом завтрак. После завтрака барин легли уснуть. Спали 3 часа. Потом обед. Вечером в 11 часов спать легли.

4. Сентября. Утро холодное, дождь и снег. Барин с Владимиром Владимировичем собрались ехать в город, лошади были поданы. Вдруг снег с дождём и сильнейшим ветром. Поездку отложили до завтра.

5. Число сентября. Утро мокро тихо. Барин встали в 7 часов, Владимир Владимирович в 8 часов. 11 часов завтрак. В 1/2 12 часа отправились в город. Там были у Сведомского[1], Червинского, протопопа и полковника. Вечером в 5 часов вернулись домой. Обедали. (Л. 170 об.) /в начале листа: Сентябрь/.

6. Числа. Утро было. Снег покрыл всю землю. Меня поутру послали в Красноуфимск по делу свидетельства медицинского. В 1 час пополудни солнце проглянуло и снег весь был растаявши. Сделалось тепло. Вернулся я в 2 1/2 часа. Потом обедали. Ездили на ригу и стекольный завод и на поля. Инженер по железной дороге приехал, который поместился ночевать в Благовидевской[2]. С ним барин ездили в коляске кататься, а Владимир Владимирович на Мишке верхом. Вернулись в 1/2 8-го часа. Чай пили, ужинали. В 11 часов спать легли. Скотину из Арыково перевели.

7. Утро было, мороз. В 6 часов пошёл снег, шёл 3 часа, покрыл всю землю. Хотели, было помочь на жатву, невозможно. После 12 часов погода была хорошая. Инженер с бергером ездили в Арыково; там оглядывал местность для железной дороги. Барин и Владимир Владимирович ездили к обедне. После обедни завтракали. После завтрака приехал казначей, которому в зелёную подавали закуску. Просидевши 1 1/2 час, уехал. После него барин спать легли. Через 1/2 часа приехал протопоп с сыном. Я доложил Владимиру Владимировичу. Они их приняли, а я разбудил барина в 4 часа. Обед был. После обеда кофей. И наш священник тоже обедал и кофей пил. (Л. 171) Инженер вернулся во втором часу. Ему подавал завтрак. А во время обеда он был уехавши за Караульную гору с Баталовым. Протопоп в 6-м часу уехали. Барин ездили прогуляться. В 11 часов спать легли.

---

1) Сведомский — мировой судья.

2) Благовидевская — название одной из комнат в доме. Из дневниковых записей слуги можно сделать вывод, что эта комната выполняла функции гостевой.

8. Утро было дождливое. К 12-ти часам погода разгулялась. В 1 час приехали Сведомский, Симанов. В 1/2 2-го Скачков, которому прежде я подал закуску в Зелёную[1]. Потом стол накрыл на 7 приборов. В 3 часа был обед. После обеда чай и кофей. Отправились в 1/2 7-го часа в город. Барин и Владимиром Владимирович ездили кататься в поля. И были у попа, чай пили. Вернулись 1/2 9-го домой. В 10 часов ужинали. В 12 — спать легли. Скот гоняли сегодня на пастбища.

9. Утро, мороз 2°. В 10 часов поехали мы с барином в город в съезд с мировых судей. Приехали туда, там не собравши и прокурора ещё нет. Так сегодняшний день и не состоялось. Мы через 2 часа уехали домой. Приехали в 2 часа. Обедали в 4. До обеда барин и Владимир Владимирович ходили на кладку снопов. Потом обедали. После обеда, ездили. Вернулись в 7 часов. Чай пили. Инженер в восьмом часу ходил в баню. Потом чай. В 10 часов ушёл. Сложили ржи 2 клади.

10. Утро, 5° тепла. Снопы возить поехали. Барин встали в 1/2 8-го часа. Чаю и кофе напились. В 9 1/2 часов отправились мы в город, прибыли в 1/2 11-го часа. Собрались судьи и начали решать дела. Вернулись домой в 1/2 12-го часа. Ужинали в 1/2 2-го часа. Спать легли. Сложили хлеба 2 1/2 клади.

(Л. 172) 14 Сентября 1875 года, продолжение. Владимир Владимирович встали в 7 часов, ездили к заутрени, и к обедне. Владимир Владимирович одевали новую форму первый раз: ботфорты, лосины и красную штуку. Так было прекрасно видеть. После обедни завтракали. Становой пристав был, обедал; привёз повестку барину на счёт поляка, что который нагрубил много дерзких слов Ивану Александровичу Сведомскому, ещё в прошлом году. Так по этому делу Барина вызывают в свидетели в окружной суд. После обеда барин ездили и Владимир Владимирович в поля. В 8 часов чай пили. В 10 часов ужинали. В 1/2 12 часа спать легли. За машиной послали к Зайкову.

15. Утро было ясное, ветер холодный. Барин встали в 7 часов. Владимир Владимирович в 8 часов кофе и чай отпили. Потом барин ездил посмотреть на машину, которая от Зайкова. Направили отлично. Пошли обе машины. Выжали 5 1/2 десятин. В 11 часов после завтрака уложили в чемодан Владимира Владимировича форму. И поехали барин и Владимиром Владимирович в город. Приехали мы туда в 12 часов, где земские собирались. Собрались уже и священноцерковнослужители. Владимир Владимирович оделись в форму. Потом молебен начался. (Л. 172 об.) /в начале листа: Продолжение 15-го Сентября/ После молебна начали вычитывать доклады земства. Прочитавши их, начали закусывать. После закуски определение коммисий в 4 часа кончили и поехали домой. В 5 часов были дома. Обедали. После обеда барин и Владимир Владимирович ходили гулять по конному двору и по скотному. Потом на ригу. В 8 часов чай пили. В 11 спать легли.

16. Утро было холодное, 1/2 ° холода. Барин в 11 часов отзавтракали. Поехали в город одни без никого. Вернулись домой в 5 часов. А в отсутствие

---

1) Зелёная — комната, предназначенная для приёма гостей, а также используемая как обеденная зона.

их Владимир Владимирович, я и Гриша ходили на охоту на Казацкую степь на журавлей, были и на Комековском поле. Но журавли не дались. Убили птичку на горелых ригах. Потом стреляли по журавлям в лёт. Потом в цель стреляли. Потом пошли домой. На пути много раз стреляли по жаворонкам, но убили Владимир Владимирович одну. (Л. 173) Домой вернулись в 4 часа. Чай пили. Владимир Владимирович, и барин подъехали, обедали. После обеда барин ходили на ригу, где Пулишев наваливал стекло в Пермь к Павлу Николаевичу Петрову. В 8 часов чай пили. В 11 часов спать легли. Машины обе чинили до обеда. А после обеда Зайкова и спарухалась.

17 Утро холодное. 1/2° мороза. В 7 часов малый дождь. Барин встали в 6 часов. Кофе и чай пили. Владимир Владимирович в 1/2 8-го часа встали. Кофе и чай пили. В 10 часов завтракали. Потом поехали в город. Приехали туда, где ещё гласных не было. Вскоре появились Некачков, начали читать доклады. В 2 часа закусывали. В три часа кончили. Барин ездили к Эрдману, к Сведомскому. В 1/2 пятого часа уехали домой. В 1/2 6-го — мы были дома. Обедали. После обеда барин прилегли на полчаса. В 1/2 8-го часа чай пили. В 1/2 11-го спать легли. Машина наша опять повредилась.

18. Утро было серое. Поехали возить снопы и машиной жать тоже. Барин встали в 1/2 7-го часа. Кофей и чай пили. В 10 часов фрыштык[1]. В 11 1/2 часа отправились в город. В 9 часов был из города судебный пристав окружного суда. С барином в зелёной поговорил и отправился в город. Барин вернулся из города в 5 часов, обедали. После обеда с Владимиром Владимировичем, на ригу. Вернулись 1/2 8-го часа. Легли Барин отдохнуть, отдыхали до 11 часов. Потом чай пили. И в 1/2 1-го часа спать.

---

1) Фрыштык — (нем.) завтрак, закуска.

МИРОНОВ Б.Н. СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ ПЕРИОДА ИМПЕРИИ (XVIII — НАЧАЛО XX В.). ГЕНЕЗИС ЛИЧНОСТИ, ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ СЕМЬИ, ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА (СПб., 1999. Т. 1—2)

«Социальная история Россия периода империи» — особенное событие даже по сравнению с предыдущими, не менее интересными, работами Б.Н. Миронова, настолько ее отличают комплексность, широта охвата проблем, новизна и оригинальность в их постановке и решении, полемический настрой.

Исследование базируется на следующих принципах: социальная история как предметная область изучения, объемлющая различные аспекты истории — собственно социальные, экономические, культурные, политические («история всеобъемлющая, но рассмотренная под социальным углом зрения»); изучение исторических событий в перспективе длинной, средней и короткой темпоральности с акцентированием внимания на первые две; критическое отношение к традиционному понятийному аппарату отечественной историографии, сформировавшемуся в советский период, активное использование инструментария и методологических подходов современной мировой социальной науки; видение российского исторического процесса как нормального («Россия — не ехидна в ряду европейских народов, а нормальная страна, в истории которой трагедий, драм и противоречий нисколько не меньше, чем в истории любого другого европейского государства»).

Автор проанализировал влияние природно-климатических условий и территориальной экспансии на социальное и экономическое развитие России, эволюцию социальной структуры, динамику демографических процессов, эволюцию моделей семьи и внутрисемейных отношений, динамику крепостнических отношений, развитие социальных организаций, эволюцию правовых отношений, модификацию типов государственности в России с конца XVII в. до 1917 г. (заметим, что каждый из указанных вопросов заслуживает монографического изучения).

При этом Б.Н. Миронов пришел к следующим основным выводам.

1. Территориальная экспансия России в изучаемый период объясняется им с помощью геополитических соображений, стремления приобрести новые источники сырья и рынки сбыта, относительного аграрного перенаселения в Центре страны, схожести районов вселения и выселения в географическом плане, наличия в массовом сознании *миграционной парадигмы*, которая обеспечивала психологическую готовность к переселениям. Национальная политика, проводившаяся в рамках сформировавшегося в результате территориальной экспансии многонационального государства, строилась, по мнению Б.Н. Миронова, на основе принципов уважения статус-кво, широкого сотрудничества центрального правительства с нерусскими элитами, создания некоторых правовых преимуществ для нерусских в сравнении с русскими, игнорирования этнонаци-

ональных критериев при прохождении по социальной лестнице. Б.Н. Миронов не склонен идеализировать этнонациональные взаимоотношения в Российской империи, тем не менее, как он считает, в целом они развивались в русле «партнерства и добрососедства». В исследовании «Социальная история России» дается сбалансированная оценка результатов территориальной экспансии России. Автор отмечает как положительные, так и отрицательные последствия этого процесса. К первым, по мнению историка, можно отнести увеличение экономического потенциала страны, позитивное влияние на общественное и социально-экономическое устройство России более развитых западных областей. Формирование представления об экстенсивном развитии как приоритетном, торможение процесса формирования хорошо структурированной системы городов, ограниченные возможности в области создания инфраструктуры, адекватной потребностям страны, блокирование развития единой российской нации — все это Б.Н. Миронов относит к отрицательным последствиям территориальной экспансии. При этом исследователь призывает не ограничиваться формальным сопоставлением плюсов и минусов «специфически» российского пути развития. Как он считает, экстенсивный путь развития был неизбежным и оптимальным в природно-климатических условиях России. Убедительным представляется вывод Б.Н. Миронова о сложном и многоплановом характере взаимодействий между географическими и демографическими процессами, с одной стороны, и социально-экономическим и политическим развитием страны, с другой стороны.

2. Анализируя эволюцию социальной структуры, Б.Н. Миронов приходит к выводу, что с конца XVII в. до 1917 г. она отражала первоначально движение от бессословного (Московское государство XVI — первой половины XVII в.) к сословному (XVIII — первая половина XIX в.), а от последнего к классовому обществу (на протяжении второй половины XIX — начала XX вв.). Кульминацией в развитии сословного строя в России рассматривается конец XVIII — первая половина XIX в., когда «в основном, хотя и с некоторыми особенностями сравнительно с западноевропейскими странами, сформировались сословия, которые обладали главными признаками истинного сословия». При этом отмечается асинхронность в оформлении различных сословий: дворянство в наибольшей степени приблизилось к идеальному типу сословия, а крестьянство — в наименьшей. Однако, уже реформы 1860-х гг. нанесли удар по сословному строю, который, по мнению исследователя, к 1917 г. потерял юридическое значение. Тем не менее, сословная парадигма продолжала сохраняться в массовом сознании, что, считает Б.Н. Миронов, существенно затрудняло формирование единой российской нации и полноценного гражданского общества в стране.

3. Исследование динамики демографических процессов приводит автора к выводу о том, что она имела направленность от традиционной модели воспроизводства населения к рациональной, современной; при этом данный процесс, по мнению Б.Н. Миронова, завершился в Европейской России лишь в 1960-е гг. Что же касается развития семьи и внутрисемейных отношений, то существо его состояло в переходе от составной к малой семье, от авториатрно-патриархальных к демократическим отношениям. Гуманизация и демократизация внутрисемейных отношений — в разной степени для различных социально-сословных групп —

приобрела более заметные очертания в пореформенный период; однако, кардинальных перемен в данной области, видимо, не произошло до 1917 г. Заслуживает внимания взаимосвязь между замедленностью демократизации внутрисемейных отношений и сохранением монархической парадигмы в общественном сознании, на которую указывает исследователь.

4. Под новым углом зрения в монографии Б.Н. Миронова рассмотрена проблема эволюции «сельско-городского континуума». Автор предложил в сопоставлении проанализировать развитие города и деревни, которые традиционно в отечественной историографии рассматривались раздельно. Новаторский подход позволил сделать интересные наблюдения. В частности, Б.Н. Миронов выделил несколько этапов в эволюции города и деревни: 1) до середины XVII в., когда они представляли единое административное, социально-экономическое и культурное пространство (период слитности); 2) середина XVII — 1860-е гг., когда происходило отделение города от деревни, достигшее апогея с конца XVIII до середины следующего столетия (период дифференциации); 3) 1860-е — 1917 г., период, когда процессы дифференциации сменились тенденцией к интеграции города и деревни. Подчеркивая постоянный характер взаимодействия между городом и деревней, Б.Н. Миронов выявляет смену исторических акцентов в этом процессе. В частности, он подчеркивает рост влияния деревни на культуру и менталитет горожан в пореформенный период, связывая его с интенсификацией в данный период крестьянских миграций в город. Именно данный фактор (реанимация в среде горожан стандартов крестьянского сознания в результате их окрестьянивания), по мнению Б.Н. Миронова, помогает объяснить успехи социал-демократической пропаганды среди рабочих и рост социальной напряженности в стране, приведший к трем революциям в 1905—1917 гг.

5. Одной из ключевых проблем отечественной истории является вопрос о крепостном праве, его причинах, характере, степени распространения. Б.Н. Миронову удалось предложить собственную оригинальную трактовку этого вопроса. По мнению исследователя, крепостничество следует рассматривать дифференцированно: государственное, корпоративное и частное крепостничество — в зависимости от того, кто являлся субъектом крепостнических отношений. Подобное положение, правда, вызывает определенные методологические затруднения, которые Б.Н. Миронов обходит: дело в том, что принуждение, доминирование и разные формы зависимости — «в крови» любого надындивидуального образования, как то, например, государства или корпорации; между тем, вопрос о степени (критерии) принуждения, которая обеспечивала бы социальным отношениям ярлык «крепостнические» в монографии не обсуждается. Б.Н. Миронов доказывает, что крепостное хозяйство в XVIII — первой половине XIX вв. приносило прибыль, было доходно, что, следовательно, не экономический кризис (как утверждалось в советской историографии, «кризис и разложение» феодально-крепостной системы) привел к отмене крепостного права. (Здесь уместно вспомнить знаменитую книгу Р. Фогеля и С. Энгермана, в которой утверждалось, что рабовладельческий Юг динамично развивался накануне Гражданской войны в США.) Парадоксально звучит вывод автора о более эффективном функционировании крестьянского хозяйства в крепостническом, нежели свободном, формате. Б.Н. Миронов объясняет данное обстоятельство не-

достаточной подготовленностью крестьянина к эффективной самостоятельной предпринимательской деятельности. В таких условиях понукание, внеэкономическое принуждение, как считает исследователь, обеспечивали более высокую результативность крепостного труда по сравнению с трудом тех категорий крестьян, которым была предоставлена экономическая свобода. В целом следует согласиться с мнением, высказанным в книге, о том, что «эффективность ... различных типов управления ... относительна не только в экономической, но и в политической жизни и зависит от времени, места, обстоятельств и сферы приложения». Динамика развития крепостничества выражалась в его укреплении до первой четверти XVIII в. (а для крестьянства — до конца XVIII в.), а затем — распаде, который в основном завершается в начале XX в. Реконструируя общую динамику эволюции крепостничества, Б.Н. Миронов в значительной степени следует, развивая их, за дореволюционной отечественной, а также современной западной историографическими традициями. При этом автор стремится учесть как можно больше факторов, оказывавших воздействие на развитие крепостничества (например, признавая важную роль государства в организации «раскрепощения» общества, он, в то же время, подчеркивает роль последнего, т. е. самого общества, его борьбу, разнообразные инициативы, в этом процессе).

6. Основным содержанием развития социальных организаций — сельских и городских общин, корпораций, — как считает исследователь, была трансформация общины в общество (в данном плане концепция Б.Н. Миронова близка схеме перехода от Gemeinschaft к Gesellschaft немецкого социолога рубежа XIX—XX вв. Ф. Тённиса). Большой интерес представляет реконструкция данного процесса применительно к различным сословиям российского общества, переживавшим рационализацию (модернизацию) социальных отношений не синхронно.

7. Эволюции «надстроечных» компонентов российского общества посвящен 2-й том монографии Б.Н. Миронова (эволюция правовых отношений, типов государственности и моделей взаимодействия государства и общества), в котором утверждается мысль о поступательном характере их динамик (формирование единого правового пространства, переход от народной монархии XVII в. к более рациональному и модернизированному правовому государству, от общества как объекта управления к обществу как субъекту управления).

В целом в исследовании Б.Н. Миронова дана широкая панорама социальной жизни России конца (во многих случаях автор делает экскурсы и в более ранние периоды отечественной истории) XVII — начала XX в. (в заключении автор оценивает итоги социального развития России в императорский период и прочерчивает пунктиром путь советской модернизации). По существу, данная монография — огромный компендиум знаний и познавательных инструментов. Исследование Б.Н. Миронова будит мысль, заставляет думать.

Доминирующая идея монографии — Россия развивалась нормально и поступательно, она не являлась исключением из правил, — аргументируется практически на всем протяжении исследования, в различных ракурсах, на разных материалах. Б.Н. Миронову удалось, как мне кажется, убедительно пересмотреть многие устоявшиеся в историографии стереотипы. Это касается, в частности, вопросов о роли и месте государства и бюрократии в организации

исторического процесса, влиянии на последний национального менталитета, ценностных установок, значении мобилизации внутренних ресурсов семьи в обеспечении советской модернизации и т.д.

Чрезвычайно интересны наблюдения автора по поводу общего хода развития России в контексте мировой истории (Россия — молодой исторический организм, то, чем был Запад несколько столетий ранее; в связи с этим, по мнению Б.Н. Миронова, не имеют большого научного смысла рассуждения об особости и уникальности пути России). Думается, что этот тезис действительно интересен и перспективен и его можно развивать и дальше. Однако, на историческую ситуацию можно смотреть, как мне кажется, с разных точек зрения. Действительно в XVIII—XIX вв. Россия была исторически относительно молодым обществом. Действительно, она стремилась быстрее повзрослеть и использовала в этих целях механизмы диффузии и западные институты и ценности в качестве образцов для подражания (в этом плане страна не была оригинальной; по крайней мере с конца XIX в. диффузия вообще, вероятно, становится ведущим двигателем мирового прогресса, в определенном смысле стимулирующим процессы конвергенции). Но сопровождалась ли эта диффузия «стиранием» старых институтов и ценностей и заменой их новыми? Думается, нет. Скорее, происходило сложное взаимодействие между «традиционным» и «современным», которое сопровождалось трансформацией содержания того и другого, перестановкой акцентов в том и другом (в этом, кстати, убеждает и материал монографии). Могла ли возникавшая в результате этого амальгама «старого» и «нового» стать элементарной калькой с того, чем было, например, современное европейское сообщество? Не уверен. Вообще, может ли общество, которое находится не в вакууме, а в конкретном историческом контексте, который, в свою очередь, оказывает на него свое постоянное воздействие (через конъюнктуру мирового рынка, структуру «мировой системы», конкуренцию в области военных, политических, социокультурных технологий и т.д.), элементарно повторить чей-то исторический путь? Данный вопрос — одно из последствий прочтения монографии Б.Н. Миронова.

Данная книга — весьма крупное и значимое явление в современной историографии истории России XVII—XX вв. Думается, что исследование Б.Н. Миронова окажет большое влияние на всю последующую историографию истории России, на сообщество историков, социальных ученых, гуманитариев. Книга богата иллюстрирована, содержит в качестве приложений Хронологию основных событий социальной истории России, Библиографию, Статистическое приложение «Россия и великие державы в XIX—XX вв.».

И.В. Побережников

ПОРТАЛЬ Р. БАШКИРИЯ В XVII—XVIII вв. / ЦЭИ УНЦ РАН. Institut d'études slaves; Пер. с франц. и нем. Сост. И.В. Кучумов. Уфа, 2000. 221 с.

Издание сборника работ одного из крупнейших французских славистов Роже Порталя (1906—1994) являет собой еще одно подтверждение наметившейся многообещающей тенденции: мы наконец-то обратили внимание на зарубежные исследования по истории российских регионов. В Башкортостане у истоков этого историографического направления стоял член-корреспондент РАН, академик АН РБ Р.Г. Кузеев, который в свое время выступил инициатором первого издания такого рода — книги американского исследователя А. Доннелли [1].

Эти традиции продолжают развиваться в Центре этнологических исследований Уфимского научного центра РАН, издавшим совместно с парижским Институтом славянских исследований (Institut d'études slaves) сборник работ Р. Порталя по истории феодальной Башкирии. Следует отметить, что Р. Порталя, хорошо известного каждому славяноведу по многочисленным работам как частного, так и общего характера, почти не издавали (за исключением пары статей, опубликованных более сорока лет назад) в нашей стране. Что касается его работ по истории феодального Урала, то они были вообще малоизвестны специалистам. Российские историки крайне редко используют его фундаментальную монографию о начальном этапе уральской горнозаводской индустрии [2].

В рецензируемый сборник вошла ранее не публиковавшаяся рукопись монографии о российско-башкирских отношениях в XVII—XVIII вв., с 1949 г. хранившаяся в архиве Института славянских исследований, директором которого долгие годы был Р. Порталь. Эта рукопись («Russes et Backirs aux XVII^{e} et XVIII^{e} siecles (1662—1798)» [3]) была любезно предоставлена публикаторам французской стороной. Ее органично дополняют статьи, близкие по тематике и посвященные как политике России на юго-восточных окраинах в XVIII столетии, так и различным аспектам развития горнозаводской промышленности края.

Книгу открывает обширное введение «История феодального Башкортостана в научном наследии профессора Роже Порталя», написанное сотрудниками Центра этнологических исследований кандидатами исторических наук И.В. Кучумовым, Ф.А. Шакуровой и кандидатом филологических наук Л.Ф. Сахибгареевой. В нем не только подробно проанализированы сами работы Р. Порталя, их ценность для современной российской историографии, но и рассмотрен целый комплекс проблем истории Башкирии XVI—XVIII вв., так или иначе не получивших должного освещения нашими историками. К достоинству вступительной статьи следует отнести и ее превосходный подстрочный аппарат. Нередко он превращается в довольно пространные источниковедческие и историографические эссе. В качестве примера приведем сноску о истории подготовки к изданию рецензируемой книги (С. 201—203), где говорится о реакции некоторых кругов научной общественности Башкор-

тостана, которые в целом не разделяют «восторг» от публикаций зарубежных исследователей.

Дело в том, что в современной отечественной историографии существует мнение, будто бы иностранным историкам не удалось избежать узости источниковой базы, которая отрицательно влияет на уровень исследований. Но определяется ли научная ценность исследования числом использованных архивных источников? Из истории отечественного естествознания явствует, что XVII в. для российской физики, химии и астрономии оставался периодом накопления научных данных, и только в следующем столетии произошел качественный переход массы накопленных наблюдений на уровень науки. Очевидно, что и для истории края наступает этот критический период.

Для осуществления своего замысла Р. Порталь привлек тот круг источников, который оказался ему тогда доступен. В 1959 г. он писал: «Находясь вдали от архивов и лишенные личного знакомства с изучаемой страной, немногочисленные историки-русисты послевоенной Франции могли осуществлять лишь научно-просветительную работу, знакомя читателя с трудами советских историков (да и то фактически только с немногими из этих трудов и с запозданием). Они могли также работать со сборниками документов, литературными текстами и рукописями» [4]. Тем не менее, Р. Порталь и не ставил перед собой цель дать подробную политическую историю башкирского края в XVII—XVIII вв. Его задача была и скромнее, и в то же время сложнее: показать сущность отношений, «которые установились между русскими и башкирами (точнее, между различными социальными категориями двух народов)», дать оценку «степени цивилизаторского влияния русских на башкир», выявить в последствиях покорения Башкирии то, что привело к экономическому развитию региона и то, что способствовало его упадку в период после присоединения к России. В конечном итоге на примере русско-башкирских взаимоотношений французский профессор хотел попытаться «сравнить российскую колониальную политику с рядом других колониальных империй того времени, чтобы выявить ее специфику».

Издание работ Р. Порталя по истории Башкирии по времени совпало с методологическим кризисом отечественной исторической науки. Прежняя марксистская методология позволяла историкам избегать всестороннего анализа эмпирических данных, скрадывала явную теоретическую пустоту концепций. Профессионализм историка заключался в умении искусно вплести богатый фактический материал в определенный методологический шаблон. Подобный схоластический подход вполне оправдан с точки зрения политических резонов, однако к науке он имеет такое же отношение, как и споры средневековых теологов. Однако теперь мы утратили монополию на единственно верную теорию, и развитие исторической науки вынуждает исследователей обратить внимание в первую очередь на концептуальные методологические вопросы. В этом плане даже бедные с точки зрения источников работы зарубежных исследователей могут иметь первостепенную важность, если это касается вопросов развития научного мировоззрения, появления новых научных школ и теоретических подходов.

Все вышесказанное имеет прямое отношение к исследованию Р. Порталя. Уникальность исследования Р. Порталя заключается в энциклопедической широте научных интересов, что, впрочем, не сказалось отрицательно на глубине анализа. Пожалуй, трудно найти исследователя, который в одинаковой степени был увлечен востоковедением (традиционно сильной области французской историографии [5]) и историей славян. Изучение взаимодействия этих культур с точки зрения цивилизационного подхода в отечественной науке только начинается. На сегодняшний день наша историография создала богатую библиотеку работ по истории башкир, социальным отношениям в башкирском обществе, родо-племенному устройству, хозяйству, структуре семьи, поселениям и жилищам, одежде, обрядам, верованиям башкирского народа. Но пока еще не написан такой труд, который бы концептуально (а не компилятивно, как, например, это недавно было сделано в академической «Истории Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в.», вышедшей в Уфе) обобщил весь этот огромный материал, воссоздав таким образом портрет «башкирской цивилизации» во всем его многообразии. Между тем Р. Порталь, располагая крайне ограниченным исходным материалом, своей работой наметил путь создания такого рода синтетических конструкций, именуемых у нас «комплексными исследованиями».

В центре внимания Р. Порталя находятся многообразие этнического состава, динамика сложных социальных отношений у башкир, формы хозяйствования и их эволюция, влияние горнозаводской индустрии на развитие региона, особенности коллективной психологии и даже специфика развития башкирского фольклора. Таким образом, исследуя Башкирию XVII—XVIII вв., Р. Порталь руководствовался ведущим принципом школы «Анналов» — принципом «тотальной» («глобальной») истории. Суть такого подхода кратко и очень емко охарактеризовал А.Я. Гуревич: «...это история людей, живших в определенном пространстве и времени, рассматриваемая с максимально возможного числа точек наблюдения, в разных ракурсах, с тем чтобы восстановить все доступные историку стороны их жизнедеятельности, понять их поступки в переплетении самых разных обстоятельств и побудительных причин. «Тотальная» история отказывается от разделения жизни людей на политическую, хозяйственную, религиозную или какую-либо еще частичную историю» [6].

«Историк — не тот, кто знает. Историк — тот, кто ищет», — заявил в 1942 г. Л. Февр [7]. Р. Порталь не дал (и не мог в то время дать!) конечные ответы на сложнейшие вопросы истории башкирского народа, но он верно наметил такие пути разработки этой темы, которые, надеемся, будут воплощены в жизнь отечественными историками уже в XXI в. Яркая и драматичная история Волго-Уральского региона, развертывавшаяся в самом сердце Евразии на стыке этносов и культур, позволяет создавать локальные работы не менее монументальные, чем, скажем, «Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II» Ф. Броделя (1949) или «Филипп II и Франш-Конте» (1912) того же Л. Февра.

Интересно и то, что Р. Порталь исследует историю отношений между Россией и башкирами не с привычного для нас противопоставления вероисповедания,

этнической принадлежности, хозяйственной деятельности и т. д., а с позиции вовлечения обеих типов культуры, российской и башкирской, в горную индустрию. К слову сказать, промышленность у французского ученого служит критерием исследования не только уровня развития производительных сил общества, но и внутренних процессов в традиционном обществе: в нашем случае — в башкирском. Например, многие исследователи указывали на последствия вовлечения башкир в горную промышленность, но ни одному историку не приходила в голову мысль о влиянии горнозаводского строительства на изменение социальной парадигмы башкирского общества, на осмысление вотчинного права и т. д.

Очень любопытная картина проявляется при сопоставлении характеристики колониальной политики России в работе А. Доннелли и Р. Порталя. Первый искренне считает, что этот процесс шел исключительно в направлении усиления военного присутствия России в регионе. Р. Порталь же с самого начала говорит о тонкой и продуманной дипломатии царской администрации, которая в силу пограничного расположения региона не могла действовать только силовыми методами. Оба исследователя, осознано или нет, предлагают исторические интерпретации с точки зрения методов колониальной политики своих стран: Франции на Ближнем Востоке, США — на Дальнем Западе, но А. Доннелли видит в многовековой политике России в регионе лишь одни отрицательные моменты, а Р. Порталь старается показать всю гамму имевших тогда место противоречий.

Р. Порталь считает, что отношения, установившиеся после присоединения Башкирии к России, носили характер протектората. Он разделяет выдвинутую в свое время советским историком Н.В. Устюговым концепцию о сюзеренитете, о вассальном характере башкирского подданства. Давным-давно несправедливо подвергнутая забвению, эта концепция вновь начинает постепенно возвращаться к нам уже в видоизмененной форме. Она очень продуктивна для объяснения природы башкирских восстаний. Однако при этом нельзя забывать и о том, что, во-первых, еще в конце XVI в. правительство рассматривало Башкирию как неотъемлемую часть Российского государства. Во-вторых, вассалитет или подданство подразумевает в качестве юридического действия право «отъезда», т. е. законного отказа от вассальных отношений. Но российская администрация квалифицировала подобные случаи как измену и пресекала их, не останавливаясь в выборе средств.

Очевидно, что отношения между российской администрацией и башкирами носили беспрецедентный характер. Статус региона не был четко определен, и администрация не спешила с этим вопросом. Именно поэтому и источники, повествующие о правах и обязанностях населения, дошли до нас в ничтожном количестве. При этом все они — повествовательные. Среди них нет ни одного акта и это в середине XVI в. — в эпоху, которая является рекордной по количеству сохранившихся публично-правовых актов.

В монографии дан анализ и развития башкирского общества XVIII века. Определяющее воздействие на социологию Р. Порталя оказал крупнейший французский историк XX в. М. Блок. Авторы вступительной статьи справедливо отмечают, что Р. Порталь был ближе к раннему этапу «школы Анналов»

с его акцентированием внимания на обществе, нежели ко времени, когда ее лидером стал Л. Февр и когда «анналисты» стали пользоваться категорией «цивилизация». Впрочем, читатель обратит внимание и на обилие марксистской терминологии, в ряде случаев не всегда уместной. Термин «класс феодалов» используется и в отношении старшинской верхушки, и когда речь идет о зажиточной части башкирской общины. Наверное, следует признать, что левые взгляды самого Р. Порталя и влияние на него Н.В. Устюгова сказались не только в вопросе о подданстве башкир. Интересна трактовка Порталем причины восстания 1662—1664 гг. Он считает, что поворот в отношении с калмыками был лишь одним из многих последствий экономического кризиса странового масштаба. Так, оказывается, что Медный бунт и башкирское восстание имели одну причину — развал финансово-податной системы.

Поводя итог, нельзя не указать на некоторые неточности в переводе. Так например, в ряде случаев встречается написание слова «служивый» вместо «служилый». В целом же, издание в России сборника избранных произведений Р. Порталя будет способствовать более глубокому ознакомлению исследователей, занимающихся историей российских регионов и российской колониальной политики эпохи нового времени, с концепциями и выводами их зарубежных коллег.

Б.А. Азнабаев

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Доннелли А. Завоевание Башкирии Россией, 1552—1740 / Пер. с англ. Уфа, 1995. 2000.
2. Portal R. LOural au XVIII[e] siecle: etude dhistoire economique et sociale. Paris, 1950.
3. В составе рецензируемого сборника она вышла под названием «Россия и Башкирия: история взаимоотношений (1662—1798 гг.)».
4. Порталь Р. Изучение истории СССР во Франции // История СССР. № 1. С. 239.
5. См.: Лаумулин М.Т. Развитие востоковедения во Франции и изучение Центральной Азии // Восток. 2000. № 3. С. 169.
6. Гуревич А.Я. Уроки Люсьена Февра // Февр Л. Бои за историю. С. 522.
7. Цит. по: Там же. С. 507.

ПОРШНЕВА О.С. МЕНТАЛИТЕТ И СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН И СОЛДАТ РОССИИ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914 — МАРТ 1918 гг.). (Екатеринбург: УрО РАН, 2000. 415 с.)

Монография О.С. Поршневой относится к исследованиям, выполненным в рамках нового перспективного направления — социальной истории. Актуальность темы монографического исследования несомненна, она определена обращением к истории менталитета и социального поведения основных слоев населения России — крестьян и рабочих, чьи объективизированные представления о мире и стране задали характер глобальных социальных сдвигов. «Исследовательский пафос» работы заключен в своеобразном преломлении в ней событий «судьбоносного» 1917 г. Внимания заслуживает предпринятая О.С. Поршневой попытка социально-психологического историко-антропологического анализа «феномена войны».

Продуманной и обоснованной представляется структура монографии, состоящей из введения, пяти глав, заключения и приложения. В первой главе дан анализ методологии и историографии изучения вопроса, причем, к заслуге автора, он представлен как проблемное поле данного исследования. Как свидетельствует круг «актива» привлекаемой литературы, автор избежал сколько-нибудь значимых историографических упущений. Ему также в значительной степени удалось преодолеть такой распространенный недостаток, как ограниченное критическое внимание к опыту исследований зарубежных специалистов. Автор обосновывает необходимость в анализе заявленной проблематики междисциплинарного синтеза, использования методов и подходов смежных социальных и гуманитарных наук — социальной и исторической психологии, социологии, культурной антропологии, философии, лингвистики. При этом О.С. Поршнева демонстрирует хорошее знание близкой по тематике литературы в смежных областях гуманитарного знания.

Работа выполнена на базе широкого круга опубликованных и архивных источников, разнообразных документальных комплексов, происходивших из центральных и местных государственно-административных органов разного профиля, управленческих структур церкви, широкого спектра партийных образований. Закономерно важнейшую роль в исследовании занимают документы, исходящие непосредственно из среды рабочих, крестьян и солдат (коллективные наказы, мирские приговоры, жалобы, письма), а также источники личного происхождения (частные письма, воспоминания, задокументированные высказывания). Подчеркнем, что репрезентативная источниковая база позволила О.С. Поршневой обратиться к таким важным аспектам анализа менталитета как «социализация индивидуального» и «индивидуализация социального».

Взвешенными и отточенными представляются методы исследования. Они варьируются автором в зависимости от типа и характера источника от традиционных исторических до семиотических и квантитативных. Количественные методы применены достаточно квалифицированно, что позволило О.С. Поршневой значительно расширить информационный потенциал исследуемых массовых источников («скрытая информация»). Общенаучный теоретико-методологический опыт проникает в историческую науку преимущественно че-

рез компьютерные технологии, новые методики и от того, насколько успешно он будет усвоен и освоен историей, будут определяться в известной мере и дальнейшие пути ее развития как науки. Думается, извечный спор между историками «традиционалистами» и «клиометристами» не продуктивен и давно себя исчерпал. Ибо вне этого противостояния стоит стремление исследователя к приращению знания, глубокой обоснованности и доказательности выводов, противостоящих разного рода теоретической схоластике. Весьма знаменательно, что автор сам подчеркивает равно значимое место традиционно гуманитарных и математических методов. Это, действительно, единственно возможный путь — ставя перед собой конкретную исследовательскую задачу, формировать необходимые подходы, методы, методики.

II—IV главы монографии посвящены конкретной проработке ментального облика и социального поведения крестьянства, рабочих, солдат в годы Первой мировой войны. Обращают на себя внимание следующие положения и выводы. Нарастание социально взрывоопасного положения в российской деревне автор прорисовывает нюансами процесса «коррозии» традиционных ценностей — единства власти Бога и царя, общинного жизнетворчества. Автору удалось показать сложность процесса, который не был линейным приращением в динамике новых ментальных атрибутов, заданной трансформацией старых. На богатом материале продемонстрированы базовые и «тонкие» регуляторы поведения крестьянства. Значительный интерес вызывают сюжеты о способах и механизмах «настройки» деревни со стороны правительств.

Устойчивая структура сознания широких рабочих масс базировалась, по мнению автора, на взаимосвязи трех доминирующих ценностей — защиты Отечества, улучшения экономического положения и демократизации политического строя. Подчеркнем, что О.С. Поршнева в данном разделе аргументировано подвергает критике ряд историографических стереотипов, в частности, об антивоенных настроениях, соотношении не- и собственно экономических стачек, степени приверженности идее единения с другими силами общества, истоках опыта и мотивировки насильственного перераспределения ценностей и т.д. Автором убедительно показано (но, к сожалению, не сформулировано), что в силу более выраженной социальной активности, восприимчивости, а также политизации сознания для рабочих была характерна большая динамичность и определенность ментальных сдвигов, более короткий и «спрямленный» путь от изменения ситуации к подвижке детерминант умонастроений. Интересные наблюдения автора сфокусированы в прорисовке отношения рабочих к проблеме войны и мира, защиты отечества — своеобразного индикатора ментальных сущностей.

Как «психоментальный переворот» охарактеризованы О.С. Поршневой изменения ментальных установок и стереотипов сознания и поведения солдат русской армии за годы войны. От максимальной концентрации негативных стереотипов на образе внешнего врага, через недоверие к конкретным представителям власти (персонифицирование), солдаты пришли к перенесению комплекса отрицательных эмоций и ожесточения на представителей привилегированного общества, как настоящего врага. Убедительны аргументы, выведенные автором на основе количественного анализа содержания солдатских писем (соотношение представительства

различных смысловых единиц, определяющих отношение солдат к войне и породившему ее порядку).

Наиболее сильной и оригинальной частью монографического исследования О.С. Поршневой является, на наш взгляд, последняя глава, где, во-первых, представлен опыт реконструкции менталитета народных масс (на 1917 г.), во-вторых, по ряду аспектов проведен анализ отношения народных масс России к Брестскому миру. Этот раздел отмечен значительной степенью генерации совершенно нового знания, методической инновационностью. Думается, продемонстрированный в разделе опыт будет в дальнейшем широко востребован исследователями. На основании содержательного анализа текстов серийных источников, диссертантом были определены и интерпретированы смысловые категории. Их взаимная корреляция позволила выделить так называемые «блоки сознания» — традиционалистский (I), революционно-оборонческий (II), радикально-антивоенный (III), социалистический (IV), а также определить уровень их взаимной диффузности, что очень важно. Реконструируя менталитет, автор показывает не только его содержание (мотивы деятельности, основополагающие ценности, стереотипы представлений масс и т.д.), но и механизмы воздействия на человеческое сознание различных сторон социальной действительности, процессов модернизации и явлений традиционалистского порядка.

Результаты исследования нашли отражение не только в конкретно-исторических разделах работы, но и в обширном приложении, где в табличной форме представлены мнения рабочих, крестьян и солдат по волновавшим их вопросам общественной жизни, войны и мира, выявленные на основе определения типичных высказываний, зафиксированных в массовой корреспонденции.

Весьма сложные задачи исследования решены автором монографии достойно. О.С. Поршневой удалось показать характер и значение действовавших в начале XX в. факторов исторического процесса, обусловивших формирование новых тенденций в процессе эволюции менталитета и социального поведения рабочих, крестьян и солдат России, исследовать архетипическую и историческую обусловленность трансформации их менталитета и социального поведения в годы Первой мировой войны, установить содержание устойчивых и меняющихся элементов массового сознания и менталитета народных низов, показать значение проблемы Брестского мира в процессе выбора ценностных предпочтений и становления нового типа сознания рабочих, крестьян и солдат, которые нашли отражение на всей последующей отечественной истории. Обращает на себя внимание, что представленная работа — один из первых опытов комплексного изучения менталитета и социального поведения народных масс России, проведенного на основе методологии социокультурного исследования. Она, несомненно, будет воспринята с большим интересом и одобрением и займет достойной место в отечественной историографии.

В то же время хотелось бы высказать некоторые замечания (все они взаимосвязаны). Порой трудно дифференцируемы в контекстах используемые для характеристики менталитета термины (умонастроения и ценности, побуждения и мотивы, стереотипы и штампы, установки и ориентиры и т.д.), каждый из которых призван прояснять, «заострять» познавательные ситуации. Думается, что

более пристального внимания заслуживает и сама категория менталитета. Его заявленная «многозначность» — не есть основания для отстранения, но, напротив, — для прояснения исследовательского алгоритма и «стратегии» интерпретации. Последние, убеждены, выиграли бы от актуализации представлений (пусть многозначных!) о структуре менталитета, его координатах. Выше сказанное позволяет сделать вывод о том, что не реализован с должной степенью эффективности понятийный аппарат исследования.

Данные замечания не снижают самой высокой оценки работы. В монографии выявлена и убедительно обоснована эволюция менталитета и социального поведения рабочих, крестьян и солдат России в период Первой мировой войны, комплекс взаимодействующих факторов исторической динамики и статики, определивших ее характер и направленность. Полученные автором результаты и выводы представляют значительный научный интерес и могут быть использованы в дальнейшей разработке актуальных проблем отечественной истории.

Л.В. Сапоговская

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ (РЕЦЕНЗИЯ НА СБОРНИК ПРАВОВЫХ АКТОВ И ДОКУМЕНТОВ «СОСЛОВНО—ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (КОНЕЦ XVI — НАЧАЛО XX ВЕКА). (Редактор-составитель к.и.н. А.Ю. Конев. Тюмень: Издательство Института проблем освоения Севера СО РАН. 1999. 237 с.)

Уходят в прошлое десятилетия за десятилетиями, смывая границы между веками. Безвозвратно исчезают события и люди. Остается память. Память о прошлом, живущая в устной традиции, в материальных фрагментах былого, в чернильных строках, слившихся с пергаментом или бумагой. Она хранит идею о том, что было до нас, воссоздает картины минувшего, доносит слабый голос творивших его. Память дает нам возможность размышлять над прошлым, проектировать будущее. Однако эта субстанция столь эфемерна, что каждое новое поколение вынуждено открывать для себя историю заново.

Вот уже не одно десятилетие и столетие история Сибири — громадного восточного региона России — продолжает будоражить воображение исследователей очередного поколения, по-своему оценивающих наследие, доставшееся от предков. Различные данные, зафиксированные в летописях, скасках, отписках первопроходцев, челобитных, жалованных грамотах, царских указах, правительственных установлениях хранят отголосок живых свидетельств разворачивания геополитических, социально-экономических, этно-культурных, юридико-правовых процессов в том, тогда еще фактически неведомом крае. Благодаря интересу к прошлому и обращению к разнообразным документам Семену Ремезову удалось создать «Историю сибирскую», а Герарду Фридриху Миллеру «Историю Сибири». Оценивая этот вклад в копилку человеческих знаний, в начале 30-х годов XIX в. П. Словцов

замечал, что «История Сибири для нас выходит из пелен самозабвенья не ранее, как по падении ханской чалмы с головы кучумовой» [1]. Объяснение тому — отсутствие документов более раннего периода в архивах Сибири.

Выявление источников, «явление» их свету — первейшая задача историка. Каждое поколение «хронографов», решая ее, сталкивается с определенными проблемами. Г.Ф. Миллер, проживший в Сибири 10 лет, специально занимаясь историей края, побывал во всех городах, где хранились архивные материалы, но многого он не нашёл. Архивы Тобольска, Томска, Иркутска, Енисейска и других крупных городов утратили немало ценных документов. Их плохо хранили, поэтому сырость и огонь часто поглощали бесценное прошлое и навсегда скрывали его от потомков. Однако были и корыстные мотивы в целенаправленном уничтожении документов — навсегда спрятать действительное положение на местах, столь отдаленных от центра. В письме от 1 марта 1742 года в Академию наук Миллер сообщал, что о времени до 1593 года в сибирских архивах никаких старинных известий не попадалось. Хотя город Тюмень был основан в 1586 г., а Тобольск в 1587 г., архив Тюмени начинается с 1594 г., а Тобольска с 1625 г. Не удалось найти документы о первых десятилетиях Тобольска ни Миллеру, ни позднейшим исследователям сибирской старины даже в архивохранилище Сибирского приказа [2].

Видимо, этим объясняется то, что в рецензируемом сборнике правовых актов и документов [3] подборка начинается с самого конца XVI в. За сухими заголовками его четырех разделов — правовые акты и документы с конца XVI до начала XX в., совокупность законодательных актов и делопроизводственных материалов, раскрывающих основные направления административной, социально-экономической и сословной политики государства в регионе, практику управления краем в целом и проживающим здесь аборигенным населением в частности. Автором-составителем акцент сделан на материалах, относящихся к обско-угорскому (ханты, манси) и самодийскому (ненцы) населению региона. В сборник также включены важнейшие нормативно-юридические акты, определявшие основы правительственной политики в отношении всех групп сибирских аборигенов. Издание снабжено краткими комментариями, списком использованных источников, списком сокращений, географическим указателем, именным указателем, существенно облегчающими работу с документами.

Публикации обширного свода документов предшествует предисловие, в котором, как в зеркале, просматривается интерес исследователей к различным проблемам истории коренного населения края, взаимоотношений сибирских народов и Русского государства [4]. Автор предисловия бегло характеризует ключевые работы и методологические подходы, на которых они базируются (Г.Ф. Миллер, В.И. Вагин, Н.М. Ядринцев, С.С. Шашков, А.А. Дунин-Горкавич, С.В. Бахрушин, Л.М. Дамешек, М.М. Федоров, Е.В. Вершинин и др.). Наибольшее освещение в историографии получили проблемы социально-экономического и культурного развития, что наглядно проиллюстрировано и критически оценено в предисловии сборника. Наряду с традиционными, привычными оценками, в последнее время появились и нестандартные. Это еще раз подчеркивает то обстоятельство, что только собственное изучение документов, в частности, представленных в данной публикации, позволяет

приблизиться к истине. К сожалению, отсутствие анализа проблем сибирской истории зарубежными авторами напоминает традиционные черты отечественных исследователей недавнего прошлого. С этой традицией пора расставаться.

Опираясь на работы своих предшественников и собственные исследования, А.Ю. Конев предлагает схему исторической эволюции правового статуса и административного положения народов рассматриваемого региона. На первом этапе (конец XVI — начало XVIII вв.) узаконено присоединение территории края и проживающих на ней народов, юридически закреплено их подданство, неразрывно связанное с ясачной податью. Второй этап (20-е гг. XVIII в. — 1821 г.) знаменовал установление правовых методов в практике взаимоотношений государства и «ясашных иноверцев», характеризовался активной политикой в области духовно-идеологического влияния. На протяжении третьего этапа (1822—1917 гг.) юридически закрепляется и получает высшее развитие синтезированная система «инородческого» самоуправления и судоустройства, окончательно оформляется сословие «инородцев» в составе трех разрядов (оседлые, кочевые и бродячие), выделенные по экономико-хозяйственному, податному и административному признакам [5].

Документальные материалы, публикуемые в сборнике, сгруппированы в соответствии с данной периодизацией и включают в себя наказы и грамоты сибирским воеводам, царские грамоты, отписки воевод, челобитные ясашных. А.Ю. Конев кратко характеризует документы, свойственные каждому из этапов.

Вращаясь вокруг ясачного сбора, законодательство XVII в. не только обслуживало собственно эту сферу, но и затрагивало такие важные стороны взаимоотношений государства и населения вновь присоединяемых сибирских территорий, как землевладение и землепользование, суд, выполнение различных «служб», христианизация. Главной задачей, которую решало законодательство этого периода, было закрепление подданства ясачных «иноземцев» при минимальном вмешательстве во внутренние дела аборигенных социумов.

К концу XVII в., вытесняя наказы и грамоты, основным источником государственно-правовых норм в отношении сибирских народов становятся царские указы. В конце XVII—XVIII вв. они представлены в основном именными и сенатскими указами, а в XIX в. — высочайше утвержденными положениями Сибирского комитета и Государственного совета. Они определяли организацию местного управления, податное обложение, учет, процесс христианизации аборигенов и т.д. Составитель сборника также помещает нормативные документы, которыми регулировался судебно-административный и податной статус быстро увеличивавшейся в XVIII в. прослойки новокрещенов.

«Устав об управлении инородцев» (1822 г.) открывает третий раздел сборника. Этот основополагающий законодательный акт до последних десятилетий XIX в. определял принципы правительственной политики в отношении сибирских народов, их сословно-правовой статус, административное и экономическое устройство. Другие документы третьего раздела развивают и уточняют некоторые положения «Устава» 1822 г., касающиеся системы податного обложения, организации учета, самоуправления, судоустройства, иллюстрируют практическую реализацию нововведений.

В четвертом разделе сборника помещены документы, относящиеся ко времени подготовки и проведения преобразований, направленных на упразднение сложившихся в результате реформы 1822 г. организации низового управления и системы поземельно-податного устройства аборигенов региона. Это был период, когда правительство взяло курс на полную унификацию сословно-правового положения основной массы инородческого и русского сибирского населения.

Многие документы конца XVI—XVII вв. публиковались ранее, но учитывая труднодоступность этих публикаций XIX — начала XX вв. для специалистов по истории Сибири, живущих в провинции, их повторная публикация, предпринятая А.Ю. Коневым, представляется не только оправданной, но и, безусловно, полезной.

Таким образом, автор сборника разбил документацию соответственно логике исторического процесса, обосновал роль и значение каждого блока, вошедшего в публикацию. В результате, при их внимательном анализе возникает документальная мини-история аборигенов Севера Западной Сибири. Работа безусловно необходима и имеет свою перспективу. Желательно расширить диапазон источников, проведя изыскания в старейших архивах Сибири, осветить исторические взаимосвязи русского государства с другими иноверцами, привлечь иностранные свидетельства.

В.К. Алексеева, Е.В. Алексеева

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. СПб., 1896. С. XX.
2. Жизнь Сибири. Новониколаевск. 1923. № 8. С. 45.
3. Сословно-правовое положение и административное устройство коренных народов северо-западной Сибири (конец XVI — начало XX века). Редактор-составитель к.и.н. А.Ю. Конев. Тюмень: Издательство Института проблем освоения Севера СО РАН, 1999. 237 с.
4. Там же. С. 9—42.
5. Там же. С. 14—15.

ФЕЛЬДМАН М.А. РАБОЧИЕ КРУПНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УРАЛА В 1914—1941 гг. (ЧИСЛЕННОСТЬ, СОСТАВ, СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЛИК). (Екатеринбург: УрГУ, 2001. 430 с.)

Сегодня исследователи все чаще работают в рамках нового перспективного направления — социальной истории. К данной категории исследований относится и монография М.А. Фельдмана. Она является одной из первых в отечественной историографии попыток изучения одного из крупнейших социальных слоев общества — рабочих крупной промышленности на всем протяжении 1910—1930-х гг. Выполненная на материалах одного из крупнейших регионов — Урала, монография раскрывает вопросы численности и состава рабочих крупной промышленности, позволяет судить о поведении и действиях рабочих масс,

от которых зависели не только реализация государственных программ, но и судьба политических режимов.

Следует подчеркнуть, что труд М.А. Фельдмана является первым историческим исследованием, в котором подвергнуты комплексному анализу количественные и качественные изменения в составе рабочих крупной промышленности Урала, выявлена динамика изменений культурного уровня и условий материально-бытового положения на протяжения столь длительного отрезка истории. В работе реализован междисциплинарный синтез с использованием методов смежных социальных и гуманитарных наук — социологии, демографии, философии. Историографический обзор характеризует хорошее знание автором не только исторической, но и экономической, философской и культурологической литературы по близкой тематике. Убедительны доказательства в пользу выбора исследования именно рабочих крупной промышленности, раскрыты понятийный аппарат исследования и эволюция его содержания в гуманитарных и социальных науках.

Ценность монографии повышает и специальный раздел об источниках и методах исследования, в котором автор обосновывает возможность использования как обширной источниковой базы, так и применения традиционных и современных методов исторического анализа. Новизна рецензируемой монографии несомненно определяется и введением в научный оборот значительного числа разнообразных источников (материалов переписей населения 1926 г. и 1939 г.; профсоюзных и отраслевых учетов; ранее неизвестных материалов периодической печати; недавно рассекреченных статистических данных), материалов 4 центральных и 8 местных архивов.

Нельзя не согласиться с утверждением автора, что глубина правовых, социокультурных, имущественных различий у рабочих крупной промышленности Урала до 1917 г. носила долговременный характер и говорила о сохранении внутри рабочего социума различий сословного характера. Границу деления М.А. Фельдман связывает, прежде всего, с ведомственной принадлежностью горнозаводских округов. В монографии прослеживается влияние и характеристики раскола среди рабочих крупной промышленности региона в период Первой мировой и Гражданской войн.

Автору удалось проследить, как сохранение в советское время имперской модели развития, военного характера государства привело к восстановлению сложной иерархии в рабочей среде: разделению промышленных рабочих по этократическому принципу, т. е. на социальные группы в зависимости от политичекой лояльности режиму, социального происхождения, места проживания. На основе широкого круга источников М.А. Фельдман обоснованно приходит к выводу о том, что за 30-е гг. правящий режим, прикрепив трудящихся к месту проживания и к месту работы, фактически разделил рабочих Урала на ряд сословных групп.

Рассматривая особенности культурного уровня рабочих крупной промышленности Урала, автор убедительно показывает, какое влияние на мировоззрение рабочих оказывали традиции жизненного уклада, прежде всего, наличие личного хозяйства и религиозный фактор. В историческую литературу впервые внесены данные об итогах работы по повышению общеобразовательного уровня, технической подготовки рабочих крупного промышленного региона, сведения о числе рабочих-рационализаторов. Достоинством монографии является объективность

исследования, отсутствие «зашоренности» на какой-либо одной концепции, что позволяет воссоздать многоплановую картину реальной жизни рабочих Урала.

Автору монографии можно сделать и ряд замечаний. В работе не всегда пропорционально представлен материал по национальным республикам (Башкирии и Удмуртии), Оренбургской области. Больше внимания следовало бы уделить структурированию социальных групп рабочих крупной промышленности Урала в зависимости от культурного уровня, что избавило бы работу от определенной фрагментарности при освещении ряда сюжетов. Шире, на наш взгляд, следовало бы использовать сравнение количественных и качественных характеристик рабочих промышленности СССР и Урала. Однако отдельные замечания не снижают общей положительной и высокой оценки монографии М.А. Фельдмана. Полученные результаты и выводы представляют значительный интерес и могут быть использованы в дальнейшей разработке важных проблем отечественной истории.

В.Д. Камынин

НАШИ АВТОРЫ

АЛЕКСЕЕВ Вениамин Васильевич — академик РАН, доктор исторических наук, профессор, директор Института истории и археологии УрО РАН

АЛЕКСЕЕВА Елена Вениаминовна — кандидат исторических наук, докторант Института истории и археологии УрО РАН

АПКАРИМОВА Елена Юрьевна — кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН

АРТЕМОВ Евгений Тимофеевич — кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и археологии УрО РАН

ВЕСЕЛОВСКИЙ Сергей Яковлевич — старший научный сотрудник отдела глобальных проблем ИНИОН РАН

ВИНОГРАДОВ Владимир Алексеевич — академик РАН, советник Президиума РАН, заведующий отделом глобальных проблем ИНИОН РАН

ГОЛИКОВА Светлана Викторовна — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН

ДАШКЕВИЧ Людмила Александровна — кандидат исторических наук, заместитель генерального директора по науке, Свердловский областной краеведческий музей

ДУКА Олег Геннадьевич — кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Омского института Московского государственного университета коммерции

ЕРМАКОВ Александр Владиславович — кандидат исторических наук, доцент Нижнетагильского государственного педагогического института

КАМЫНИН Владимир Дмитриевич — доктор исторических наук, профессор Уральского государственного университета им. А.М. Горького

ЛЕБЕДЕВ Виктор Эдуардович — доктор исторических наук, профессор Уральского государственного технического университета

ЛЕЙБОВИЧ Олег Леонидович — доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой культурологии Пермского государственного технического университета

НЕФЕДОВ Сергей Александрович — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН

ПОБЕРЕЖНИКОВ Игорь Васильевич — кандидат исторических наук, заведующий отделом истории России XVI—XIX вв. Института истории и археологии УрО РАН

ПОРШНЕВА Ольга Сергеевна — доктор исторических наук, зав. кафедрой истории России Нижнетагильского государственного педагогического института

СМЫКАЛИН Александр Сергеевич — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой истории государства и права Уральской государственной юридической академии

СПЕРАНСКИЙ Андрей Владимирович — доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом истории России XX века Института истории и археологии УрО РАН

ТИМОШЕНКО Владимир Петрович — доктор исторических наук, профессор, директор Информационно-аналитического центра региональной политики Уральской Академии государственной службы

ТОКМЯНИНА Светлана Витальевна — соискатель при Институте истории и археологии УрО РАН

ТРОФИМОВ Андрей Владимирович — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории и политологии Уральского государственного экономического университета

ФЕЛЬДМАН Михаил Аркадьевич — докторант Уральского государственного университета им. А.М. Горького

ХОХОЛЕВ Денис Евгеньевич — аспирант Института истории и археологии УрО РАН

ЧАГИН Георгий Николаевич — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой древней и новой истории России Пермского государственного университета

ШАРИН Валерий Иванович — сотрудник Центра исследований современной метафизики «Декарт»

ЯХНО Ольга Николаевна — научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН

OUR AUTHORS

Veniamin V. ALEXEYEV, Full Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Historical Sciences, Professor, Director of the Institute of History and Archaeology, the Russian Academy of Sciences, Urals' Branch

Elena V. ALEXEYEVA, Candidate of Historical Sciences, Doctorate Student of the Institute of History and Archaeology, the Russian Academy of Sciences, Urals' Branch

Elena Yu. APKARIMOVA, Candidate of Historical Sciences, Research Assistant of the Institute of History and Archaeology, the Russian Academy of Sciences, Urals' Branch

Evgeny T. ARTYOMOV, Candidate of Historical Sciences, Deputy Doctor of Historical Sciences, Professor, Director of the Institute of History and Archaeology, the Russian Academy of Sciences, Urals' Branch

Georgy N. CHAGIN, Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Department at the Perm State University

Liudmila A. DASHKEVITCH, Candidate of Historical Sciences, Deputy Director of the Sverdlovsk Regional Museum

Oleg G. DUKA, Candidate of Historical Sciences, Assistant professor of the Omsk Institute of Moscow State Commerce University

Alexander V. ERMAKOV, Candidate of Historical Sciences, Assistant professor of the Nizhniy Tagil's State Pedagogical Institute

Mikhail A. FELDMAN, Doctorate Student at the Urals A.M.Gorky's State University

Svetlana V. GOLIKOVA, Candidate of Historical Sciences, Senior Research assistant of the Institute of History and Archaeology, the Russian Academy of Sciences, Urals' Branch

Vladimir D. KAMYNIN, Doctor of Historical Sciences, Professor of the Urals A.M. Gorky's State University

Denis E. KHOKHOLEV, aspirant for the Candidate of Historical Sciences degree at the Institute of History and Archaeology, the Russian Academy of Sciences, Urals' Branch

Victor E. LEBEDEV, Doctor of Historical Sciences, Professor of the Urals State Technical University

Oleg L. LEIBOVITCH, Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Department of Cultural Studies at the Perm State Technical University.

Sergei A. NEFYODOV, Candidate of Historical Sciences, Senior Research Assistant of the Institute of History and Archaeology, the Russian Academy of Sciences, Urals' Branch.

Igor V. POBEREZHNIKOV, Candidate of Historical Sciences, Head of the Department of Russian History of the XVIth—XIXth centuries, the Institute of History and Archaeology, the Russian Academy of Sciences, Urals' Branch.

Olga S. PORSHNEVA, Doctor of Historical Sciences, Head of the Department of Russian History of the Nizhniy Tagil's State Pedagogical Institute

Alexander S. SMYKALIN, Doctor of Law, Professor, Head of the Department of State and Law History of the Urals State Juridical Academy

Andrei V. SPERANSKY, Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Department of Russian History of the XXth century, the Institute of History and Archaeology, the Russian Academy of Sciences, Urals' Branch.

Valery I. SHARIN, Associate at the Research Center for Modern Metaphysics «Descartes».

Vladimir P. TIMOSHENKO, Doctor of Historical Sciences, Professor, Director of the Informational-analytical center at the Urals Academy of State Office.

Svetlana V. TOKMYANINA, aspirant for the Candidate of Historical Sciences degree at the Institute of History and Archaeology, the Russian Academy of Sciences, Urals' Branch.

Andrei V. TROFIMOV, Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Department of History and Politology at the Urals State University of Economics

S.Ya. VESELOVSKY, Senior Research Assistant of the Department of global problems, the Institute of Scientific Information of Social Sciences, the Russian Academy of Sciences

Vladimir A. VINOGRADOV, Full Member of the Russian Academy of Sciences, counsellor of the Presidium of the Russian Academy of Sciences, Head of the Department of global problems of the Institute of Scientific Information of Social Sciences, the Russian Academy of Sciences

Olga N. YAKHNO, Research Assistant of the Institute of History and Archaeology, the Russian Academy of Sciences, Urals' Branch

СОДЕРЖАНИЕ

Представляю номер 3

Статьи и сообщения

В.В. АЛЕКСЕЕВ. Основополагающая тенденция российской истории XX в. 5

В.А. ВИНОГРАДОВ, С.Я. ВЕСЕЛОВСКИЙ. Государство и собственность в России в XX столетии 15

В.Э. ЛЕБЕДЕВ. Историософское мышление: от нововременной к постмодернистской концептуальной модели 26

В.И. ШАРИН. Историческое познание и математическое мышление как формы научной рефлексии 35

О.Г. ДУКА. Вероятностно-смысловой подход как технология исследования теорий и концепций исторического процесса 50

И.В. ПОБЕРЕЖНИКОВ. Социальное изменение в теоретических проекциях 57

С.А. НЕФЕДОВ. Метод демографических циклов в исторических исследованиях 93

Е.В. АЛЕКСЕЕВА. Объяснение российской истории с помощью теории модернизации: pro et contra 108

Е.Т. АРТЕМОВ. Научная революция и модернизация российского общества 118

О.Л. ЛЕЙБОВИЧ. Историко-методологические проблемы концепции модернизации 131

О.С. ПОРШНЕВА. Методологические проблемы исторического исследования менталитета 143

В.Д. КАМЫНИН. Эволюция методологических и концептуальных представлений в провинциальной исторической науке в конце 80—90-х гг. XX столетия 158

Д.Е. ХОХОЛЕВ. Местные государственные учреждения России в последней четверти XVIII в.: историографический обзор 171

Е.Ю. АПКАРИМОВА. Городское самоуправление на Урале последней трети XIX — начала XX века в историографии 187

С.В. ГОЛИКОВА. Проблемы исторической типологии семьи 216

Л.А. ДАШКЕВИЧ. Развитие институтов социальной помощи на Урале в крепостной период: историографические и методологические аспекты проблемы 232

О.Н. ЯХНО. Повседневная жизнь горожан российской провинции на рубеже XIX—XX вв.: методологические и конкретно-исторические аспекты 244

В.П. ТИМОШЕНКО. Советский опыт освоения Азиатской России: взгляд с Запада 255

А.В. ТРОФИМОВ. Проблемы исследования роли личностного фактора в послевоенной отечественной истории (1945—1964 гг.) 273

Г.Н. ЧАГИН. Народы Среднего Урала в отечественной этнографии во второй половине XX в. 295

С.В. ТОКМЯНИНА. Проблема принудительного труда в СССР в российской историографии 310

М.А. ФЕЛЬДМАН. Рабочие промышленности Урала между переписями 1897 и 1926 гг.: вопросы численности и состава 318

А.В. ЕРМАКОВ. Развитие электроэнергетической базы Уральского региона в первой трети XX века 333

А.В. СПЕРАНСКИЙ. Социокультурная трансформация Уральского региона как фактор стабильности тыла в условиях военного времени (1941—1945 гг.) 348

А.С. СМЫКАЛИН. Немецкие военнопленные на Урале 366

Публикации

Е.Ю. РУКОСУЕВ, Е.С. ТУЛИСОВ. «Историческая записка о составе горной администрации» в 1806—1861 гг. и реформа горного законодательства в начале 60-х гг. XIX в. 375

О.Е. АРТЕМОВА. Дневник слуги помещиков Голубцовых (Красноуфимский уезд Пермской губернии; вторая половина XIX века) 396

Научная жизнь

И.В. ПОБЕРЕЖНИКОВ. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. СПб., 1999. Т. 1—2. 406

Б.А. АЗНАБАЕВ. Порталь Р. Башкирия в XVII-XVIII вв. / ЦЭИ УНЦ РАН. Institut d'etudes slaves; Пер. с франц. и нем. Сост. И.В. Кучумов. Уфа, 2000. 221 с. 411

Л.В. САПОГОВСКАЯ. Поршнева О.С. «Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат России в период Первой мировой войны (1914 — март 1918 гг.)». Екатеринбург: УрО РАН, 2000. 416

Е.В. АЛЕКСЕЕВА, В.К. АЛЕКСЕЕВА. Из глубины веков (Рецензия на сборник правовых актов и документов «Сословно-правовое положение и административное устройство коренных народов северо-западной Сибири (конец XVI — начало XX века). Редактор-составитель к.и.н. А.Ю. Конев. Тюмень. Издательство Института проблем освоения Севера СО РАН. 1999. 237 с.) 419

В.Д. КАМЫНИН. Фельдман М.А. Рабочие крупной промышленности Урала в 1914—1941 гг. (численность, состав, социальный облик). (Екатеринбург, 2001. 430 с.) 422

Наши авторы 425

Our Authors 427

CONTENTS

Introducing the issue 3

Articles and reports

V.V. ALEXEYEV. The basic tendency of the Russian history in the XX century 5

V.A. VINOGRADOV, S.Ya.VESELOVSKY. State and property in Russia in the XX century 15

V.E. LEBEDEV. Historiosophic thinking: from modern to postmodern conceptual model 26

V.I. SHARIN. Historical knowledge and mathematical thinking as the forms of scientific reflection 35

O.G. DUKA. The probability-semantic approach as a technology for the study of theories and concepts of historical process 50

I.V. POBEREZHNIKOV. Theoretical projections of social change 57

E.V. ALEXEYEVA. Interpreting Russia's history with the theory of modernization: pro et contra 93

Ye.T. ARTYOMOV. Scientific revolution and modernization of Russian society 108

O.L. LEIBOVITCH. Historical and methodological problems of the concept of modernization 118

S.A. NEFYODOV. The method of demographic cycles 131

O.S. PORSHNEVA. About methodology of historical research in mentality 143

V.D. KAMYNIN. The evolution in methodology and concepts in provincial historical science in the late 1980—1990s. 158

D.E. KHOKHOLEV. Local state institutions of Russia in the last quarter of the XVIII century: historiographic review 171

E.Yu. APKARIMOVA. Municipal self-government in the late XIX — early XX century's Urals in historiography 187

S.V. GOLIKOVA. Problems of historical typology of family 216

L.A. DASHKEVICH. Development of institutions of social help in the Urals in the period of serfdom: historiographic and methodological aspects 232

O.N. YAKHNO. Everyday life of the townsmen in Russian province in the late XIX — early XX centuries: issues of methodology and history 244

V.P. TIMOSHENKO. Soviet experience of the Asian Russia development viewed from the West 255

A.V. TROFIMOV. The problem of research in personal factor's role in a post-war domestic history (1945—1964) 273

G.N. CHAGIN. The peoples of the middle Urals in the home ethnography of the second half of the XX century 295

S.V. TOKMYANINA. The problem of the forced labour in USSR in Russian historiography 310

M.A. FELDMAN. Industrial workers of the Urals between the censuses of 1897 and 1926: questions of number and struture 318

A.V. YERMAKOV. Development of electric power base of the Ural region in 1900—1930s 333

A.V. SPERANSKY. Social and cultural transformations in the Ural region as the factor of the country's rear stability in wartime conditions (1941—1945) 348

A.S. SMYKALIN. Soviet imprisonment in the Urals viewed by German POWs' 366

Publications

E.Yu. RUKOSUEV, E.S. TULISOV «Historical memorandum concerning the structure of mining administration» in 1806—1861 and the reform of mining legislation in the early 1860s 375

O.E. ARTYOMOVA. A diary of the landowners Golubtsovs' servant (Krasnoufimsky uyezd of the Perm province, second half of the XIX century) 396

Scientific life

I.V. POBEREZHNIKOV. B.N. Mironov. Social History of Russia. Imperial period (XVIII — early XX c.). Genesis of a person, democratic family, civil society and legal state. SPb., 1999. V.1—2. 406

B.A. AZNABAYEV. R. Portal. Bashkiriya in the XVII—XVIII c. / Institut d'ŭtudes slaves; translated from the French and German. Compiler I.V. Kuchumov. Ufa, 2000. 221 p. 411

L.V. SAPOGOVSKAYA. O.S. Porshneva. Mentality and social behavior of workers, peasants and soldiers of Russia in the period of the WWI (1914 — March 1918). Ekaterinburg, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. 2000. 416

E.V. ALEKSEYEVA, V.K. ALEKSEYEVA. From the depth of the centuries. (Review of the collection of legal acts and documents «Class and legal status and administrative structure of the native peoples of the North-West Siberia (late XVI — early XX c.).» Ed. by A.Yu.Konev. Tyumen. Institute of the problems of the North development (Siberian Branch of the RAS) Publishing House. 1999. 237 p.) 419

V.D. KAMYNIN. M.A. Feldman. Workers of Urals large-scale industry in 1914—1941 (number, composition, social character). (Ekaterinburg: Urals' State University, 2001. 430 p.) 422

Our Authors 425-427

Научное издание

**УРАЛЬСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК № 7.
ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА НА РУБЕЖЕ II И III ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

Рекомендовано к изданию
Ученым советом
Института истории и археологии

Технический редактор *Н. Гощицкий*
Компьютерная верстка *И. Головачев*

ЛР № 071852 от 30.04.99 г.

Подписано в печать 20.03.2002 г.
Формат 70x100/16. Бумага Офсетная.
Гарнитура «Academy». Печать офсетная.
Усл. п. л. 27. Тираж 500 экз. Заказ № 46

Издательство «Академкнига»
620034, Екатеринбург, ул. Толедова, 43а.

Размножено с готового оригинал-макета в типографии УрО РАН.
620219, Екатеринбург, ГСП-169, ул. С. Ковалевской, 18.